

ЕВГЕНИИ
ПЕРМЯК

3

Евг. Пермяк.



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ



СОЛЬВИНСКИЕ
МЕМОРИИ



ЦАРСТВО ТИХОЙ
ЛУТОНИ



ЯРГОРОД

П27
Р2

П $\frac{70302-069}{M158(03)-79}$ Подписн.



ОЛЬВИНСКИЕ МЕМОРИИ

РОМАН

Любовь Ивановну Глебову я знал давно как автора книг по искусству. Знал я и ее мужа, виднейшего инженера, прославившего свое имя в годы первых пятилеток на Урале и позднее, в годы Отечественной войны. Глебовым был «завязан» не один промышленный узел в нашей стране.

Мне было поручено встретиться с Любовью Ивановной и попросить дополнить некоторые главы ее воспоминаний о Владимире Ильиче и особенно те, что касались суждений Ленина об искусстве и литературе. И я, после любезного согласия принять меня, появился в ее квартире.

Мы познакомились.

Седая и очень немолодая, но еще спорящая с возрастом — прической, одеждой, высоким голосом — Любовь Ивановна провела меня в свою рабочую комнату. И я повторил пожелания редакционной коллеги журнала, побавляясь, что некоторые из них ее могут огорчить. Мои опасения были напрасны.

— Мне и самой казалось, — согласилась она, — что я в погоне за краткостью многое недосказала. Я с удовольствием допишу и то, о чем вы не просите.

Поручение было выполнено. Мне оставалось поблагодарить ее и уйти. Так я бы и сделал, если б не обратил внимание на знакомую с детства бронзовую раму, какие некогда чеканили в Сольвинском заводе, где наша семья прожила несколько лет. Рама привлекла мое внимание и к женскому портрету, заключенному в ее бронзовое кружево. Побледневшее от времени и света, почти призрачное изображение миловидной женщины заставило меня вспомнить ее.

Проверяя себя, я стал искать памятную всей Сольве примету и разглядел на высоком челе красавицы круглое белое пятно. Его, видимо, кроме солнца смягчил и ретушер при увеличении портрета.

Любовь Ивановна, заметя мое пристальное внимание к портрету, спросила, что привлекло меня в нем. И я ответил:

— Мне кажется, я встречался с этим лицом в Сольвинском заводе.

— Вы оттуда?

— Почти.

— Значит, мы земляки. Я там родилась. Неужели вы знали ее?

— Да,— теперь уже твердо сказал я.— Только, к моему стыду, забыл ее имя. Моя память сохранила только про...— Тут я споткнулся и заменил недосказавшееся слово «прозвище» другим.— Я запомнил только ее прозвание.

— Какое же? — слегка улыбаясь, спросила Любовь Ивановна.

Я снова задержался с ответом, потому что те три слова, которыми называли эту женщину, мне показались неучтивыми, и я не хотел их произносить.

— Сейчас вспомню, Любовь Ивановна,— сказал я и сделал вид, что вспоминаю.

— Не затрудняйте свою память,— предупредила Любовь Ивановна.— В Сольве Елену Петровну Глебову называли Барышня Беленый Лоб.

— Да,— ответил я и вспомнил, что моя мать и моя тетка Барышню Беленый Лоб почтительно называли Еленой Петровной.

Еще не зная, какое отношение к ней имеет Любовь Ивановна, мне показалось уместным заметить, что в моей, пока еще не опубликованной книге «Страницы из детства» есть большая глава об Елене Петровне, озаглавленная ее прозвищем.

Это заинтересовало Любовь Ивановну, и мы проговорили до вечера.

Наше знакомство продолжилось. Я принес Любви Ивановне и прочитал то, что у меня было написано о Барышне Беленый Лоб, рассказал то, что я слышал о ней от родных и знакомых. Любовь Ивановна, как мне показалось, с огромным вниманием прослушала главу и, кажется, была благодарна мне.

— Все это очень мило, сердечно и красочно. Однако же источниками ваших воспоминаний были романтические вымыслы щедрой молвы и доброжелательная полуправда. Мне кажется, ползнее пользоваться более надежными источниками.

— А где их взять?

— У меня... У меня сохранилась папка записок, которым в обед сто лет и даже больше... Я вам ее охотно доверю. Воспользуйтесь ими, как вам захочется. Мне она не может пригодиться хотя бы потому, что в ней и я не второстепенное действующее лицо. Ведь я в некотором роде тоже хотя и не коренная, но Глебова.

Она принесла папку. Оклеенная красным, покоричневевшим от времени сафьяном папка скорее походила на портфель. Золотыми буквами на лицевой стороне было оттиснуто: «Сольвинские мемории» и овальная эмблема со звездами и листьями. Это, как потом я узнал, был герб рода Глебовых.

— Здесь есть и мои записки,—сказала Любовь Ивановна,—если что-то окажется неясным или недосказанным, я к вашим услугам.

II

Даже самое маленькое произведение не может обойтись без экспозиции, то есть без тех обязательных строк, которые предваряют о месте и времени действия хотя бы в общих чертах.

Действие этого романа, который можно назвать и хроникой, будет происходить в Сольвинском заводе. С него и начну.

Сольвинский завод возник и пущен в позапрошлом веке. Он, как и многие заводы Урала, назван по имени реки. Там, где стремительные порожистые Тёма и Лёва впадают в полноводную лесную реку Сольву, сама местность подсказала закладку завода.

Сольва течет меж двух отлогих увалов, тянувшихся верст на пятнадцать ровными грядами, образуя широкую пойму. В нижнем течении реки увалы, будто сговорившись запереть своевольную реку, сходятся так близко, что людям потребовалось немного усилий, чтобы запрудить ее.

Так возник громадный Сольвинский пруд, ставший

главной силой возведенного ниже его перемычки железнодорожного завода.

По берегам, на склонах увалов появились дома и улицы, сбегающие к пруду. Здесь поселились пришлые, беглые, кабальные, кандалные, сосланные и согнанные из окрестных деревень люди.

Построиться в Сольве было нетрудно. Лес рядом. Зимой много дешевых рабочих рук, да и казна помогала осесть «работному люду», чтобы он, привязанный к Сольвинскому заводу домом, огородом, покосом, живностью, не искал худа от «добра» и работал за ту плату, которую ему дают.

Так было не в одной Сольве. И всякий рассказывающий о возникновении старых заводов Урала неизбежно повторяет в различных вариантах типичную для тех лет историю становления промышленных предприятий и рабочих поселков.

В заречной части Сольвы, на берегу пруда, образовался «господский пришепт». Здесь, в добротных каменных домах, на манер питерских, размещалась немногочисленная заводская знать — «аньжинерия». Инженер был редкостью. И эти редкие инженеры не засиживались подолгу на Урале. Они приезжали сюда не для того, чтобы осесть, а разбогатеть, скопить капиталишко и вернуться в столицы. Платили им хорошо. И даже не злоупотреблявшие казенным добром за пять-десять лет оказывались обеспеченными людьми. Ну а приворожавшие на заводе нередко открывали свое дело.

Заводское начальство начальствовало мало. Иные неделями не бывали в цехах и ведение дел перепоручали мастерам, выбившимся из простых рабочих в привилегированную верхушку. Они-то и были настоящим самым страшным и злым начальством, от которого зависело все: принять, уволить, прибавить, убавить плату, наградить или оштрафовать, а то и посадить в каменный каземат под заводскую башню. Для порядка. Для острастки другим.

К господам в Сольве относились и ссыльные из больших городов. Среди них случались родовитые поселенцы. Они нередко пользовались уважением рабочего люда. Как-никак, хотя и не свой брат, а все же против жизни подлой, кабальной и беспросветной. Особую славу среди них заслужил... Впрочем, о нем будет особая глава, и не одна.

Особую славу среди сольвинцев заслужил сосланный сюда Павел Петрович Глебов, по прозвищу Жалей. Его заживо увековечили в побывальщинах и сказках. Некоторые из них были записаны и сохранились до наших дней. Например, вот эта:

«Жалей при хвастливом запойном царе состоял в думных законниках. Законы писал, а царь их подписывал. Жалел Жалей рабочего человека. Хоть строчку, да вставит в царский указ, чтобы простым людям легче жилось, больше платилось. И как-то Жалей подсудобил хмельному царю сильную грамоту о большой трудовой правде. Залюбовался пьяный царь красными строчками, заслушался складной Жалеевой речью, загляделся на золотую вязь и подмахнул манифест. Печатью припечатал да по белу свету пустил.

— Вот я какой царь! Ничего не таю. Большую правду народу открываю. Милости дарую. Теперь во всех царствах-королевствах про меня узнают. Мудрым нарекут. К святым причислят.

Говорит он так, перед зеркалом красуется, наливает да выпивает, почестей ждет.

Недолго ждать пришлось. Прибежали во дворец сенаторы-губернаторы, лекари-аптекари царя отрезвлять. Огуречным рассолом вседержителя отпаивают, нашатырным спиртом виски натирают, горчичники к пяткам ставят, лед в бычьем пузыре на голову кладут.

— Ах вы, ваше-разваше высочайшее самодержавие, как же это вы не в твердом уме, не в здоровой памяти столько насуетсловничали, наманифестили невесть чего. Народ бунтует, большую трудовую правду требует. А где ее взять, когда во всем царстве и малой нет. Фабричные горланы политиканов выкликают, над собой ставят. Их благородий в прорубь кунают, высокопоставленные хари дегтем мажут. Трон ваш, ваше вседержительство, вздрагивает. Держава по всем губерниям трещит. Тюрьмы ослобоняют. Нас туда упекчи требуют...

Затрясся царь. Закашлялся. Чуть было фальшивыми зубами не подавился. Верхнюю челюсть так заглотнул, что лекари ее еле-еле сахарными щипцами вытащили, на место вставили. Опохмелил царь свою пьяную доброту злой волчьей желчью, сел сам-семь пуд на свой шаткий трон и повелел:

— Укажу немедля большую трудовую правду когтями из народа выскрести, ногтями выцарапать. Закон сжечь, а жалостливого законника по старой дорожке его крамольного родителя на веки вечные в Сольве заточить».

И далее почти во всех записях и разночтениях этой сказки «О Жалеевой правде» одинаковое заключение:

«Заточить-то заточил царь Жалея, а большую трудовую правду в народе не извел. Потому что ее, как песню, как материнскую любовь, как людскую память, ни ногтем, ни когтем, ни огнем, ни мечом, ни петлей, ни каторгой не выскресть, не выжечь, не задушить».

Сказка исказила не очень много. Павел Петрович Глебов был привлечен к составлению проектов новых законов, облегчающих жизнь народа. Глебов, переоценив намерения царя, выступил с проектами реформ, противоречащими монархическому строю. Глебовские проекты, ходившие в списках, обратили внимание карающих властей. В успехах списков усмотрели далеко идущие последствия, угрожающие трону. Вспомнился и отец Павла Петровича Глебова, обвиненный в причастии к заговору декабристов. Плохую услугу Глебову оказали раскрытые тайные общества и союзы покушавшихся на жизнь царя. В этом свете одаренный автор проектов новых реформ выглядел цареотступником, республиканцем. В нем заподозрили опасного врага самодержавия.

«Опасного, если не в год текущий, то в годы грядущие, что неминуемо должно произойти по всем приметам мерзостного и нарастающего преуспеяния в делах, противных его величеству». Такое заключение сделал граф Кирилл Паульдорф, генерал особого назначения и еще более особого рвения любой подлостью обратить на себя внимание государя.

Фамилия Паульдорфа названа здесь не случайно. С ней мы еще встретимся.

После такого обвинения в грехах несвершенных Павла Петровича «всемиловитейше и милосерднейше» наказали малой мерой. Его сослали в Сольвинский завод на неопределенный срок. Провожавшие Глебова сочувственно успокаивали его, что милость царя неисповедима, что ссылка может быть короткой, а главное утешение состояло в том, что Павел Петрович ехал в живописнейшую южноуральскую «Швейцарию», в очаровательный по красоте Сольвинский завод, где великолепная охота, сказочная рыбная ловля, чарующий

воздух, волшебные зимы и к тому свой собственный, отцовский, наследственный дом.

«В этих словах, может быть и не злонамеренно, ирония звучала первой скрипкой в оркестре моих утешителей». Так пишет Павел Петрович в первой тетради своих «меморий».

И далее он рассказывает:

«На берегу пруда, в простолюдной части Сольвы сохранился дом моего отца. Эту полуизбу здесь называют «царева чижевка». Папа будто знал, что сюда будет сослан его сын, и перед смертью завещал сохранить место своего пожизненного заточения».

Не надеясь, что ссылка будет короткой, Павел Петрович решил расширить старый дом, а затем, передумав, возвел новый. У него для этого были все возможности. За ним сохранили права на владение поместьями и землями. Приехавший с ним в ссылку Нестор Кошелев, камердинер из бывших крепостных Глебовых, развил такую деятельность, что на другой же год по чертежам очень хорошего, также сосланного в Сольву архитектора был возведен просторный особняк, срубленный из первосортных лиственничных бревен. Вынужденно бездельничающий зодчий с большим вкусом, продуманно решил каждый угол дома, каждый его наличник, дверь, оконные переплеты рам, террасы и крыльца, показав этим, что можно сделать из простого бревна, если одухотворить его и заставить жить в произведении древнейшего из русских искусств.

— Знай наших! — коротко и задиристо оценил Нестор новое строение, обставляя его «мебелями», привезенными из подмосковной усадьбы тремя обозами зимним санным дешевым путем.

IV

Павел Петрович Глебов, несомненно, был для своего времени передовым реформистом. «Полевев» в политических воззрениях после переезда в Сольву, он все же оставался идеалистом и даже утопистом чистой воды. Иного и нельзя было ожидать от человека, полагающего, что достаточно ограничить власть царя, как наступит равноправие для всех сословий Российской Республики Равных — РРР. Знакомый с трудами Пестеля, Муравьева-Апостола, Рылеева и других декабристов, он брал

тесерь от них все лучшее для своей «Конституции РРР», надеясь, что она станет коренным и отпавным законом Республики Равных.

Многократно переписываемая, дополняемая и снова перебеливаемая рукопись была завершена, и оставалось только прибрать к рукам царя. Тогда уже известный в вольнодумных кругах, Павел Петрович Глебов прискачет в Петербург и обнародует свою хартию свободы и братства людей. Но время шло, а царь по-прежнему оставался жестоким самодержцем. В Сольву прибывали новые ссыльные, не обнадеживая на скорые перемены. Напротив, они предсказывали куда более черные дни.

Павел Петрович припрятал подальше проект конституции, на случай возможного обыска. К нему уже навевались слишком любезные господа с «господского пришепкта».

И он решил молчать, терпеть и ждать.

V

Только молчать, терпеть и ждать было не в характере кипучего, жизнедеятельного Павла Петровича. Он не мог сидеть сложа руки, не мог считать, что запаянная в оловянный ларец конституция — единственное, что может и что должен сделать он для народа. Его состояние, его доходы от имений позволяли, не дожидаясь, когда будет провозглашен РРР, пробовать в жизни то, что было в мечтах и на бумаге. И пробы начались. Они начались с того, что половину своих владений он передал сыну Петру, а второй решил распорядиться по своему разумению.

Петр, изредка навещавший отца, считал, что только перо и бумага не могут произвести государственного переворота. Он учтиво не высказывал прямых суждений о проекте конституции отца и самой РРР и, кажется, что-то скрывал от него. Связанный своей работой с промышленностью империи, Петр Павлович не раз говорил отцу, что империя не станет доподлинно великой державой, если мужик по-прежнему будет пахать деревянной сохой и фабричный труд останется таким же, как при царе Петре. Он утверждал, что решительный промышленный переворот в России может начаться и произойти только после освобождения царем «занимаемой им должности», а затем уничтожения и самой должности как таковой.

После этого разговора с сыном Павел Петрович начал с мельниц. В окрестных деревнях он, якобы решив заняться предпринимательством, возвел несколько водяных мельниц. Мельницы отдавались в аренду крестьянам, которые на сходе выбирали артельного мельника. Плата взималась за аренду ничтожная. И взималась для отвода всевидящих глаз.

Вслед за мельницами был открыт завод породистого скота, который должен был послужить основой для обновления мелкопородных местных животных: коров, овец, свиней, коней и даже собак. По желанию Марии Клавдиевны, жены Глебова, возник птичник также породистых кур, гусей, уток, индеек. Несушки были привезены из глебовских имений, закуплены за границей. Сольвинские рабочие охотно меняли яйца, снесенные своими простутками, на «заморские».

Начинания дали заметный результат, и возникло хозяйство, получившее в пародной молве название «Жалеева ферма».

Павел Петрович стал очень известным благодетелем. Известным настолько, что из Петербурга пришла благодарственная бумага. Она хотя и писалась как частное письмо от сановника, якобы покровительствующего Глебову, но в письме было сказано, что «сам, его величество государь император, изволили заметить, что верный отечеству его сын и в ссылке печется о благе и процветании верноподданных». Далее в письме намекалось на возможную и скорую встречу в столице.

Глебову было даровано почетное возвращение в столицу. И он готов был проститься с полюбившейся ему Сольвой. Но пришла весть о загадочном убийстве сего единственного сына Петра. Павел Петрович остался в Сольве. Он догадывался, а потом письма подтвердили догадку, что Петр был убит, чтобы не оказаться повешенным и не омрачить этим первый год царствования нового монарха.

Возвращаться к невозвратимому стало теперь окончательно невозможным для Павла Петровича.

Через день после известия об убийстве сына скончалась, не перенеся утраты, жена Глебова — Мария Клавдиевна. На Сольвинском кладбище появилась вторая и далеко не последняя глебовская могила.

Теперь радостью жизни Павла Петровича оставалась его внучка Эль — Леночка, Елена Петровна.

Павел Петрович, чтобы забыться, ушел в дсла. Он уже больше не строил мельниц. Они мало что изменили в деревне и скорее стали источником наживы, причиной распрей и борьбы за прибыльное место мельника, нежели добрыми помощниками крестьянам. Их не подновляли, о них не заботились. Эти мельницы были чужими, «жалеевыми», ничьими мельницами.

Ничего не изменила и ферма, где вызревала хорошая сортовая пшеница, откуда начались новые породы «жалеевского» скота и птицы. Богатели одиночки, а деревня оставалась той же — крытой соломой, забитой, убогой и темной.

Раздумывая над этим, Глебов пришел к заключению, что все несчастья в темноте. Так же сказал и верный слуга Нестор.

Павел Петрович, отдав мельницы мужикам, ферму — казне, занялся просвещением. До того как построить четыре двух- и трехклассные школы, он начал с малого. С «постижения грамоты самоуком». И если неграмотный до этого рабочий постигал «азы» и мог прочитывать по складам простые слова, Павел Петрович награждал его сапогами или деньгами, на которые можно купить новые сапоги. Если же рабочий, приходя к Глебову, читал бегло, мог написать под диктовку двадцать-тридцать слов и усвоил все четыре арифметических действия — полагалась шуба или хорошее пальто.

Желающих обуться в «жалеевские сапоги», надеть его шубу или пальто оказалось не так мало. Рабочие и мужики присольвинских деревень, боясь, что Жалей одумается или у него кончатся деньги, торопились заработать грамотой даровые рубли. И особенно в этом отношении оказались ретивы женщины. Им за грамоту была положена двойная плата. Радивые возвращались после «жалеевского экзамена» с коровой. Шутка ли — получить чистоганом за счет письма и чтения удоиную кормилицу семьи!

Павел Петрович объявил, что «для спасения души и на благо своего отечества» он всепокорнейше просит разрешения на построение в Сольве и селах, к ней прилежащих, двенадцати, по числу учеников Христа, церковноприходских школ.

Попы называли имя Глебова в проповедях. Старосты

подносили ему хлеб-соль. Отцы и матери новоявленных школьников отвешивали «батюшке Жалею Петровичу» низкие поклоны. Начальство благодарило просветителя грамотами, наградными подарками. И только немногие понимали, что Глебов в замыслах своих подкладывает мину под самодержавие, которая, может быть, и не так скоро взорвет его, но взорвет обязательно и вснепременно. А...

А проект конституции РРР пусть лежит в надежном месте. Его едва ли придется выкапывать и оглашать. Грамотный народ, а он будет грамотным, сам напишет себе свои законы и провозгласит те права, о которых не может знать он — Павел Петрович Глебов. И пусть ему не дано дара предвидения, зато он может производить в людских душах самый взрывчатый, самый пламенный порох из всех порохов — грамотность. Ключ ко всем замкам, наукам, учениям. И в этом — его назначение, его счастливая юдоль, смысл недожитых и скоротечных лет его жизни.

О ваше величество! Мы еще посмотрим, кто кого пересилит и за кем будет последнее слово!

Чем больше появлялось грамотных, тем счастливее чувствовал себя Павел Петрович. Приобщившийся к чтению, уже не разлучался с ним. А чтобы было что читать, Глебов учредил читальню «Российская грамота», переименованную сольвинцами в «Жалееву книжницу».

Расходуя уйму денег, Павел Петрович не замечал их убыли. Нестор, став теперь главным управляющим с отменными бакенбардами, Нестором Валерьяновичем, господином Кошелевым, успешно вел дела. Он внутренне глубоко и проникновенно понимал, куда и для чего нужны «жалеевы денежки».

По доходам велись и расходы. Деньги не убывали и после того, как была построена десятая школа и открыт склад удешевленной продажи книг, учебников, писчебумажного товара и всего прочего, вплоть до аспидных досок и грифелей. В складе торговал по воскресным и праздничным дням верный и честный слесарь Кузьма Жмурин. Запомните и эту фамилию, а вместе с ней запомните имя его сына Федора. Он войдет в ткань романа и в глебовский дом заметнее, чем его отец, износивший уже «жалеевские сапоги» и донашивающий его же шубу и, кажется, одним из первых уразумевший, что книжный склад правильнее назвать — оружейным.

VII

Внучка Леночка каждое лето приезжала в Сольву к своему деду с матерью Ольгой Николаевной и после, когда, с благословения Павла Петровича, вдова вторично вышла замуж за профессора университета Вихарева, пообещавшего любить падчерицу как родную дочь. А потом, когда Леночка подросла, она стала бывать у деда с ма-Гра, так она называла свою бездетную няню Аграфену Лукиничну, для благозвучия ставшую Агриппиной.

Общительную Леночку Глебову знали в Сольве ее сверстницы, ждали по весне и провожали на пристань в первые дни августа, когда она возвращалась в далекий Петербург.

Однажды Леночка приехала раньше, чем всегда. С первым парходом. Ее вызвал Павел Петрович. Он был плох. Сольвинские старухи прежде других проводили, что Леночка приехала не с одной Агриппиной, но и с офицером по морским «машинным делам».

Дед Лены знал из писем невестки о первой и пламенной любви внучки к Андрею Бестужеву, списанному с крейсера в адмиралтейство. Молодой инженер, рано получивший чин капитана второго ранга, как писала Леночкина мать, Ольга Николаевна Вихарева, стал замечен в столице, охотно принимаем в знатных домах, где его хотели видеть не только танцующим с грациями на выданье, но и логически продолжившим эти танцы перед алтарем.

Андрей Бестужев отправился в Сольвинский завод не только за согласием Павла Петровича на брак с его внучкой, он боялся отправлять Лену с одной, хотя и очень верной ма-Гра. И его опасения, как вскоре подтвердилось, были небезосновательны.

Павел Петрович близко знал отца Андрея, и еще зимой для молодых было все счастливо предрешено. И когда Андрей Бестужев появился в доме Павла Петровича, большой почувствовал себя лучше и начал вставать.

Вскоре назначили день обручения. Обручение праздновалось торжественно, шумно, весело. И в доме и в парке. В доме — господа. В парке — простой народ. Жених с невестой и Павел Петрович появлялись там и тут. Жгли пиротехнические огни, пускали из парка на пруд ракеты. Зрелище было захватывающим для всей

Сольвы. Пруд виден из каждого дома на увалах. Ракеты поражали воображение.

На другой день знакомые и незнакомые поздравляли милую внученьку Павла Петровича с обручением. Для Лены и Андрея начались счастливые дни. Хотя они не муж и жена, но обрученные, как говорят в Сольве — полуобвенчанные, и бог им простит, а сольвинские леса промолчат, коли нынешняя ранняя весна далеко заведет их в зеленую хмельную тишину.

За два дня до назначенного отъезда в Питер, после того как оба доктора — казенный и молодой земский Илья Николаевич Калугин — в один голос сказали, что жизнь Павла Петровича вне опасности, он скончался в своем кресле, не дописав письма невестке, матери Эль.

Хоронила Павла Петровича чуть ли не вся Сольва. Приехали из ближних и дальних деревень отдать дань новопреставленному Жалею. Хоронили вечером. После обычного заводского гудка, оповещавшего конец рабочего дня, был второй. Протяжный. Завывающий. Хотя подавший его Кузьма Жмурин на другой же день был порот под башней, но гудок прогудел.

Павла Петровича положили между могилами отца и жены. И никто не поверил бы, что через несколько дней в эту землю опустят еще один гроб.

VIII

Елена Глебовна два года тому назад в благотворительном концерте обратила на себя внимание двадцативосьмилетнего графа Юрия Паульдорфа. Сначала его привлекла необычайно мягкая игра Глебовой на фортепьяно, ее небольшой, но задушевный голос, а затем и она сама, зацветшая выразительно и некичливо. И когда повеса и жуир, допущенный ко двору как состоявший в свите охраны государя, понял, что «белль Эль» единственная из тех, кто может украсить его, он сделал выбор, конечно, не сомневаясь в своем успехе. Если даже он почему-то не оказался бы ей приятен, чего он тоже не допускал, то его положение, связи, титул и богатство должны были склонить красавицу назваться графиней Паульдорф и зачеркнуть те маленькие «но», которые, может быть, не позабыли Глебовы и сама Елена.

Старик Кирилл Паульдорф, как мы помним, имел прямое касательство к ссылке дела Елены, а затем и к

убийству его сына Петра. И это знали в кругах опальных и в кругах, приближенных к царю. Одни презирали Паульдорфов, как предателей, другие, ставя им предательство в заслугу, все же называли их род бульдожьим. И называли так не очень фигурально.

Первый из появившихся в России Паульдорфов носил фамилию Фаульдорфа. Он при нескольких императрицах был знаменит искусством дрессировки собак — от болонок, танцевавших под музыку, до звероподобных бульдогов. Один из них в Гатчине якобы охранял претендента на престол, будущего императора Павла I.

Павел I, ничем не прославивший себя, кроме жестокой муштры, не был чужд и злых шуток. И как-то в пьяном кругу приближенных он назвал Фаульдорфа по своему имени — Паульдорф, или Павел двора. Под двором подразумевался собачий двор. Угодливые собутыльники Павла нарисовали герб графа Паульдорфа: щит, на щите ошейник с шипами, в кругу ошейника, как в ореоле, — бульдог с оскаленными зубами. И тогда же был написан и подписан также издевательский указ о торжественном присвоении Паульдорфу титула графа.

Герб Паульдорфы постарались забыть, а новую фамилию и графский титул присвоить. После смерти Павла в архивах не осталось следов о возведении Паульдорфов в титул графов, но были свидетельские показания. Дальнейшее служение самозванных графов не подымалось выше псарни, но ее псами стали сами Паульдорфы, обладающие хорошим чутьем и мертвой хваткой. Титул был закреплен и подкреплён жалованными именами.

Граф Юрий Паульдорф был достоин своего фамильного герба, своих предков и особенно — отца.

Веря в крепость собственных зубов, он в парадной форме охраны его величества явился в дом отчима Елены профессора Дениса Викторовича Вихарева и сделал предложение. Он произнес его как рапорт. Ему сразу же было дано понять, что рука Елены и ее сердце отданы другому. Это в тот день хотя и было полуправдой, но на другой день стало полной правдой. Андрей Бестужев подтвердил, что уже скоро год, как Елена Петровна обещала стать его женой с согласия матери и названного отца.

Мстить, кажется, было не за что. Но вскоре отчим Лены получил первое предупреждение. Труд его многих

лет о первых фабриках России подвергли в университете осуждению за либерализм и революционное подстрекательство.

Затаивший злобу самолюбивый Паульдорф поклялся в кругу своих приспешников, что прекрасная Елена будет принадлежать только ему и ничто не остановит его намерений.

Вскоре Паульдорф узнал об отъезде Елены в Сольву к умирающему деду.

Рыба плыла в сеть. В глухой Сольве он сумеет достичь своей цели.

IX

Паульдорф не знал, что с Еленой отправился в Сольву и Бестужев. Это стало ему известно в день феерического обручения. В тот день он приехал в Сольву ночью, когда над прудом взлетали ракеты и у всех на устах были имена обручившихся. Это озадачило Паульдорфа, но не разоружило. Еще не все было потеряно. И он решился на последнее — выкрасть Елену, скрыться в лесах, а потом... А потом все произойдет так, как случилось на белом свете не один раз.

Сольвинскому приставу нетрудно было найти бывших каторжан из преступного мира, которые при содействии бездействия полиции выкрадут Елену сонной, одурманят ее быстродействующим средством и умчат в объятья Паульдорфа.

Неожиданная смерть Павла Петровича разрушила разбойничьи планы, заставила одуматься подкупленных преступников, исчезнувших вместе с задатками. Дрогнул и Паульдорф.

Правда, в его рано растленной душе на миг возникло самоутешение. И он подумал, что в горестные дни, когда открыт доступ к гробу в дом Глебовых, легче и проще осуществить задуманное. Однако же Паульдорф понимал, что это кощунственное злодеяние не будет ему прощено ни обществом, ни церковью, ни друзьями.

Никогда еще он не ощущал в себе такого озлобления, такой нечеловеческой ярости.

Не показывавшийся в Сольве Паульдорф скрывался на квартире пристава Хмарчука как инкогнито, прибывший с особо важным и секретным поручением, о чем свидетельствовало предписание с неясной печатью и неразборчивыми подписями.

Хмарчук был жаден, пуглив и бесчестен. Он, заданный ассигнациями и золотыми монетами, обнадеженный обещаниями продвижения по службе и переводом в губернский город, тоже пошел на попятную.

У Паульдорфа оставалось последнее — убраться с пути обреченного Бестужева.

На девятый день поминок по Павлу Петровичу в доме Глебовых появился Паульдорф в той же парадной форме, в какой он делал предложение. Нагло и шумно войдя в столовую, не удостоив сидящих за столом и кивком головы, не снимая кивера, он громко, будто рапортуя, объявил бесчестным поведение офицера флота его величества Бестужева.

Ошеломленный сказанным и самим появлением Паульдорфа, Бестужев не потерял власть над собой и нашел слова, дающие понять сидящим за столом и Паульдорфу, что он не собирается объяснять своих поступков отпрыску «Паульдогов», презираемых в этом доме. А затем он потребовал у Паульдорфа закрыть дверь тем же манером, каким он ее открыл.

Этого было достаточно, чтобы бросить уже снятую перчатку. Но Паульдорфу хотелось, чтобы вызов был сделан не им. И он не просчитался в этом, назвав Елену оскорбительнейшим для женщины словом, хотя и произнесенным по-французски, но бытующим и в русском языке близким по звучанию эпитетом.

Андрей Бестужев ответил пощечиной. Агриппина Лукинична выплеснула в лицо Паульдорфа из соусника уксусную приправу. Нестор Валерьянович за дверями дома досказал все, что невозможно было произнести на поминальном обеде и что хорошо отозвалось в ушах толпившихся у дома в ожидании обеда для «простых» и бедных.

Храбрец под улюлюканье и свист ускорил шаг, побаиваясь, что к пощечине и уксусной приправе могут добавить и большее. Кивер уже был сбит брошенным камнем. Ускоренный шаг перешел в бег.

Если б эти люди знали, что произойдет на другой день, то на Паульдорфе можно было бы считать законченной его фамилию.

Паульдорф вернулся к приставу трясущимся, негодующим и жалким. А кивер так и остался на улице до поздней ночи, пока его боязливо не подобрал услужливый помощник пристава.

Сама по себе дуэль не страшила Паульдорфа. Он знал, что убьет Андрея Бестужева. Страшен был путь на место дуэли — на Емельянов увал. Это верста или более — лесом. Сбитый камнем кивер, оглушительный свист и оскорбительные выкрики толпы у глебовского дома не выходили из головы. И если хотя бы один из фабричных прознал о времени и месте дуэли — о ней будут знать все. Пристав Хмарчук предупредил Паульдорфа, что он может и не дойти до Емельянова увала, что в Сольве есть «тронутые умом», верные памяти старика Глебова, считающие его святым и преподобным. Для таких ничего не стоит воткнуть нож или разбить голову его высокоблагородию обухом топора и пойти на каторгу, как на жертвенный подвиг во славу правды господней и защиты обиженной внучки Жалея.

— Уезжайте, ваше высокоблагородие, — предупреждал пристав. — Уезжайте тайно. Негласно. Окольной дорогой. Охрана в седлах.

Паульдорф понимал, что Хмарчук не запугивает его. И его отъезд, который хотя и будет позорным побегом от дуэли, благоразумен во всех отношениях. И ко всему этому, теперь, когда в нем вздрагивает каждый мускул, рука может изменить во время выстрела, а противник, вдохновляемый любовью и справедливостью отмщения, непременно окажется тверже, сильнее, собраннее его.

Паульдорф склонялся к побегу, но его остановила та же трусость. Трусость быть обесчещенным, осмеянным. В Петербурге непременно узнают обо всем. И тогда ему придется признаться в поступках, позорящих офицера...

— Нет! Дуэли! Только дуэли!

— Взвесьте еще раз, ваше высокоблагородие, — робко предупредил Хмарчук. Но Паульдорф решительно приказал:

— На увал!

Те конники, которые должны были стать охраной при побеге из Сольвы Паульдорфа, теперь сопровождали его на Емельянов увал. Там уже ждали Андрей Бестужев и согласившийся стать секундантом молодой доктор Калугин. Секундантом Паульдорфа, под угрозой быть растоптанным, разжалованным, уничтоженным, пришлось быть приставу Хмарчуку.

За неимением в Сольве дуэльных пистолетов воспользовались похожими на них, которые некогда были на вооружении полиции.

После торопливой церемонии, предшествующей дуэли, раздались два выстрела. Паульдорф, целившийся в сердце Бестужева, промахнулся. Пуля попала в лоб Андрея.

Убийца, бросив пистолет, поспешно, вместе с приставом, скрылся в лесу, где их ожидала конная охрана.

Об этой дуэли потом рассказывали по-разному, смотря по рассказчику. Но все уверяли, что пистолет Бестужева был заряжен пулей, выточенной из сосновой коры, окрашенной свинцовой пылью по яичному белку.

Это было неправдой. Пули были свинцовыми в обоих пистолетах. Пулю Бестужева позднее нашли в стволе сосны. Андрей промахнулся.

Паульдорф, не заезжая к своему секунданту, бежал из Сольвы. Считанные минуты уберегли его от расправы.

Сольвинский завод славился «тихими карами». Горе тому, кто переполнит чашу людского терпения. Был мастер-кровопийца — и нет его. Выдал свой своих — и прощай. Лес част и глух. Озера глубоки. Начнешь искать исчезнувшего, можешь потеряться и сам. Поэтому большое начальство в Сольву ездило в сопровождении конного конвоя.

Паульдорф избежал «тихой кары», но пристав... Впрочем, о нем в конце главы.

Андрея Николаевича Бестужева доставили в дом Глебовых уже похолодевшим. Помешательство невесты началось сразу же. Она принялась запудривать рану на лбу Андрея, а потом забелила свой лоб, утверждая, что пуля ранила и ее.

Тихое помешательство перешло в буйное на кладбище, когда гроб с убитым Андреем Николаевичем опускали в могилу. Елена рвала на себе одежду, умоляла не разлучать ее с Андреем, просилась в могилу.

На кладбище не утихал вопль толпы. Плакали мужчины и женщины. Плакали по убитому и по самим себе — бесправным, беззащитным, битым, поротым...

Полиции не оказалось на похоронах, и некому было запомнить выкрики против царя. А они были.

Лишившуюся окончательного рассудка, исцарапавшую себя в кровь, полуголую Елену еле унесли с клад-

бища. На другой день вместе с молодым доктором Калугиным в сопровождении санитаров и Агриппины Лукиничны несчастную, связанную полотенцами, отправили в Пестербург.

В доме остался только Нестор Валерьянович. Искудавший, с трясущимися руками он пил смертную. Штоф за штофом. Но хмель ничего не смягчал...

Пристав Хмарчук с неделю не выходил из дома, потому что на скобке его ворот был повешан белый крест, вырезанный из бересты. Лишь после появления в Сольве конного отряда пристав осмелел. Он знал, что берестяной крест не всегда означал верную смерть. Иногда такие кресты подвешивались к скобам как предупреждение о «тихой каре». И если предупрежденный исправлялся, он оставался жить. Но это была уже не жизнь, а вечный страх. Получивший крест на скобе ворот обычно уезжал из Сольвы. И пристав тоже решил оставить Сольвинский завод. Хмарчука перевели в Златоуст. Но и там на скобе его ворот появился белый берестяной крест. Пристава перевели с понижением в Нижне-Уфалейский завод. Снова берестяное предупреждение и даже два. Жизнь стала невыносимой. Он готов был наложить на себя руки. Но нашелся выход. В Сибири нуждались в тюремщиках. И вскоре след сольвинского пристава затерялся...

Паульдорф-отец сумел обелить сына. Андрею Бестужеву услужливые жандармы сфабриковали достаточно улик, для того чтобы выглядеть тайным врагом престола. Да и сама фамилия Бестужев звучала одиозно для двора. И было доказано, что дуэлянт предупредил пулей возмездие, которое для Бестужева было предопределенным и неизбежным. Отсидев для проформы несколько недель в крепости, Юрий Паульдорф вскоре получил очередной чин и перевод в корпус жандармов.

XI

Нестор Валерьянович, придя в себя после стольких бед, не надеялся, что кто-то когда-то будет жить в глебовском доме. В письмах матери Елены — Ольге Николаевне Вихаревой — он советовал продать дом, в котором теперь не молчат и стены, где все пробуждает в памяти умершее, которое хотя и нельзя забыть, но помнить о нем ежечасно — значит, укорачивать свои годы.

Нестор Валерьянович много читал и складно писал. Он слыл мудрым советчиком в рабочих кругах. Старик тоже привык к Сольве и обжился на Урале. Но теперь он не скрывал, что ему тяжело жить в могиле, еще не умерев. Ему казалось несправедливым сторожить то, что никому уже не пригодится.

«А за дом,— писал он,— дают три цены. Можно взять вчетверо, потому как ранешнее пустое место ныне стало базарной площадью, на которую съезжаются по субботам до пятисот телег, и купцам доходно заполучить самый что ни на есть проезжий глебовский угол. И то надо взять в ум,—убеждал Нестор,— что на площади каменщики кладут трехпридельный собор, и базарная площадь станет с годами еще базарнее, и, ежели, к слову, тут поставить трактир,—трактирщик озолотсеет на первый же год, а ежели гостиный двор, о коем и поговаривают аршинники, тогда дадут и еще более».

Нестор называл суммы цифрами и прописью, чтобы Ольге Николаевне «втолмить в голову», какие это большие деньги и что он еще не выжил из ума и не ошибается в нулях.

«И эти тысячи можно получить за дом и двор опричь парка и старого домка — «царевой чижевки», срубленной батюшкой Павла Петровича на берегу. Ее можно и похранить на случай, если кто вздумает приехать на могилы и пожелает здесь пожить».

О Елене Нестор Валерьянович не находил учтивым спрашивать в своих письмах, считая ее человеком конченным. Но в одном из писем Ольги Николаевны были строки, что дочери становится лучше: «она узнает людей и не путает имена».

Ольга Николаевна не принимала желаемое за действительное. К больной на третий год стал возвращаться разум.

Елена все это время находилась в загородном частном пансионе без названия. В нем за высокую плату и по большой протекции содержались душевнобольные. Для излечения их привлекались крупнейшие светила. Привозили виднейших психиатров из Парижа, Лондона, Вены. Для этого у пансиона было много возможностей, потому что в нем лечились и высокопоставленные особы. Сам пансион был скрыт для глаз, огорожен и охраняем как пороховой склад. Помимо этого, палаты пансиона прятались за второй оградой в глубине леса.

Попадать туда было возможно только по особому разрешению, да и то не в самый пансион, а в гостинные для свиданий.

Лечили здесь и гипнозом. Лечили и «шоком», исцеляющим шок, послуживший причиной помешательства. К Елене Петровне применяли все, но излечиваться она, конечно, начала после того, как Агриппина Лукинична «побывала в семи монастырях, приложилась к семи мощам и отстояла сорок девять служб, то есть по семь служб у каждой раки с нетленными мощами». Она не ставила свой подвиг в заслугу, потому что «похваляющийся исцелением лишает его исцеленного». Об этом ее предупреждала прозорливая старица Соломонида, пребывавшая ранее в умопомрачении и вернувшая разум мольбами ее сестры в семи монастырях.

Елена Петровна уже самостоятельно, без явного надзора, прогуливалась по саду. Ей разрешалось играть на фортепьяно, когда же видели, что игра не успокаивает, а возбуждает больную, ее уводили.

ХII

Иногда разум Елены просветлялся настолько, что в гостинной свиданий, разговаривая с ма-Гра, она просила напомнить Нестору Валерьяновичу, а потом написала ему сама, чтобы он приносил на могилы живые цветы. Когда же Агриппина Лукинична настороженно посмотрела на забеленный лоб Елены, ей было сказано, что Елена помнит, что стало признаком ее заболевания. В тот роковой день ей показалось, что рана Андрея перешла на ее лоб, но сейчас это показавшееся служит выражением верности Андрею. И все люди должны знать, что его рана никогда не заживет под забеленным слоем.

Забеление лба таким образом становилось для Елены Петровны хотя и необычным, но ритуалом траура.

Она неустанно повторяла при каждой встрече, что как только наступит окончательное излечение, нужно будет переехать в Сольву и поселиться там навсегда. Очень ясно представляла она, каким должен быть памятник на месте убийства Андрея. У нее были даже карандашные наброски памятника. И ей хотелось осуществить это как можно скорее.

— Но я не должна торопиться,— говорила она.— Я должна долечиться и навсегда избавиться от «белой мглы».

Так называла она приступы тихого беспамятства. И она боялась этих приступов. Чувствуя их приближение, больная предупреждала: «Я, кажется, опять готовлюсь уйти в «белый туман». И на другой день или через несколько дней она впадала в сонливость, подолгу лежала или сидела, уставившись в одну точку. А потом все проходило, и она радостно сообщала:

— Вот я и вернулась, родная ма-Гра, из своего «тумана».

Ей казалось, что в Сольве все было бы по-другому, но тут же она принималась убеждать себя, что, если там повторится такое же, некому будет ей помочь и она может не выйти из «белой ямы».

После одного из таких «уходов» она сказала, что ей показалось, будто она когда-то родила ребенка и слышала его плач. И тут же объяснила Агриппине Лукиничне, что это скорее всего вызвано тем, что её разум, ослабевая, рисует ей несбывшееся, которое она так торопила после обручения.

Агриппина Лукинична давно так не плакала, как после этого свидания с Леной. Она долго пробыла в лесу, не утишая своих слез. Она плакала за воспитанницу и за себя.

Проходили месяцы, приступы повторялись реже и реже. Нашлось новое лекарство для смягчения приближающегося «белого тумана». И наконец предупредительные меры стали сильнее приступов. И консилиум решил, что Елене Петровне Глебовой полезнее будет жить в Сольве, куда она так стремится и к которой подготовлена врачами. Они утверждали, что дальнейшее пребывание в пансионе чревато привыканием к нему, боязнью свободы и самостоятельности. А свобода и самостоятельность ей так же необходимы, как прогулки начинающему ходить после долгого лежания.

Елена Петровна пробыла несколько месяцев у матери в Петербурге и выглядела вполне здоровой. Только забеливание лба да утомляемость к вечеру не давали окружающим забыть о ее болезни. Хотелось дождаться полного выздоровления. Тянули время.

Сборы в Сольву искусственно задерживались. Придумывались причины самые убедительные, потому что

посветлевший разум Елены Петровны был пронизателен и остер. Малейшая ложь разгадывалась ею. К ней пришел скульптор, а затем второй и третий. Они показывали эскизы бюста Андрея Бестужева и тем самым оттягивали ее отъезд.

Елена понимала, что ей нельзя уехать, пока не будет найдено решение памятника.

После такой длительной проверки, после появления психиатра, назвавшегося одним из трех скульпторов, назначили день отъезда в Сольву.

Ольга Николаевна получила запечатанный пакет с наставлением для доктора Калугина, который теперь будет наблюдать в Сольве за Еленой и которому она, как другу Андрея, будет бесконечно доверять.

И однажды прозвучал желанный третий удар вокзального колокола, а затем послышался гудок паровоза. Он заставил, кажется, впервые улыбнуться Елену Петровну и шепнуть за окно вагона: «Андрюша, я еду к тебе...»

ХIII

В Сольвинском заводе не сразу узнали осунувшуюся, постаревшую и начавшую сидеть Елену.

В день приезда она с матерью и Агриппиной Лукиничной отправилась на кладбище. Елена предупредила:

— Только недолго на первый раз...

В Сольве, как и во многих уральских заводах, на могилы рабочих отливали чугунные плиты. Сначала модельщики вырежут ее из мягкого дерева, затем отформируют и залиют жидким расплавленным чугуном. Не так дорого и на долгие времена.

Нестор Валерьянович заказал три плиты. Елена одобрила надгробия, хотя и нашла их мрачными, но тут же опровергла себя тем, что могила не должна выглядеть нарядной.

На кладбище никто не проронил слезы. Мать и Агриппина Лукинична боялись за Елену. Елена — за себя. Она отлично понимала, что ей нужно долечиваться и не возвращать к себе «белую мглу».

Мать Елены, успокоенная надеждами на полное излечение дочери, верила, что она, привыкнув к безвозвратности утраты, вернется в Петербург и непременно най-

дет утешение и счастье. У Ольги Николаевны были основания верить, что ее дочь не останется одинокой. Прощание было без слез.

Первое время Елена Петровна покрывалась белой косынкой-накидкой, которые носили в те годы сестры милосердия. Позднее она перевязывала лоб лентой. А когда люди привыкли к ней, она перестала скрывать свое беленое пятно, объясняя его вечным трауром по убитому. И сольвинцы приняли это как должное. Называя заглазно ее Барышня Беленый Лоб, они не вкладывали в это и капли насмешливости. Так было проще и понятнее для всех. Прозвища в Сольве распространеннее фамилий, особенно одинаковых, принадлежащих многим. Кстати говоря, Глебовых в Сольве было более десяти семей. Поэтому вместо Глебовой Елену Петровну иногда называли Жалеевой. Тоже ясно — какая это из Глебовых.

Первый год жизни в Сольвинском заводе Елена Петровна отдала памятнику на Емельяновом увале. Сначала она заменила деревянную ограду беломраморными столбиками с литыми чугунными цепями, подвешенными к ним. Затем в огражденном прямоугольнике был сооружен глубокий фундамент. На фундаменте, не ожидая прибытия скульптурного бюста, каменотесы выложили наземное квадратное четырехскатное основание для колонны, на которой будет установлен бюст Андрея Николаевича Бестужева. Елена Петровна по несколько раз в день приходила на увал, а иногда и весь день проводила там.

Скульптор прислал гипсовую копию бюста только осенью. К зиме приехали из-под Екатеринбурга опытные мастера, не раз повторявшие в мраморе вылепленное из глины. Белого скульптурного мрамора, каким изобилует Южный Урал, было заготовлено Нестором Валерьяновичем с большим запасом. Если ошибутся — будут делать скульптуру снова, угодят — плата вдвое.

Работали мастера в первом глебовском доме-избе. Там же они и жили. Обедали в большом доме за общим столом. Дело подвигалось медленно. Копировали, как они говорили, «из точка в точку до волоска», но смотрели не только на гипсовый бюст, но и на фотографические портреты «для натуральности» и кое-что исправляли «для истинности» и добавляли от себя «для сердечности».

— И, к слову доведясь, не в похвалу себе, скажем,— заявил старший из них за ужином после второго графина,— мы могли бы и без гипса высечь, а по одним карточкам.

Они не очень перехваливали себя. В этом убедилась Елена Петровна, когда в окончательной отделке скульптуры увидела одухотворенное лицо Андрея. На гипсовой отливке не было улыбки, не было ее и в мраморном повторении, но она готова была спорхнуть с его уст. Подправили и глаза. Они тоже оказались не без улыбки.

Елена Петровна теперь боялась задерживаться одна в старом доме. Мрамор слишком напоминая живого Бестужева, особенно вечером. При колеблющемся пламени свечей менялись тени, менялось и выражение оживающего беломраморного лица и особенно глаз. А это было опасно...

Оставалось дожидаться весны. А она уже близилась. На южном склоне Емельянова увала появились первые проталины. Скульпторы-самоучки посоветовали заменить «казенную тумбу», или колонну, «живой белой глыбиной на манер волны». Предложенное было нарисовано «для наглядной видимости».

Когда памятник был установлен и сделана надпись дня, месяца и года рождения, дня, месяца и года гибели, мастера обнаружили «недомолвленность монументации». Досказать «недомолвленную монументацию» они предложили «сломатым пополам якорем из темной оренбургской яшмы». Сломанный якорь, по мнению мастеров, будет говорить о сломанной жизни.

— И опять же,— твердили мастера,— человек он морского звания, и к этому же все знают, что якорь означает надежду. А кто этого не уразумеет, народ растолкует.

Елена Петровна нашла доводы убедительными, и месяц спустя сломанный якорь из темной яшмы был врезан мастерами в беломраморный лицевой скат основания памятника.

Открытие памятника состоялось в пятую годовщину со дня гибели Андрея Николаевича. Протоиерей предложил отслужить на открытии большую панихиду. Елена Петровна, отклоняя намерения протоиерея, объяснила свой отказ тем, что этот памятник не мертвому, а живому, и установлен он не на могиле, а на месте злодеяния,

и окроплять его святой водой означало бы простить убийцу и смыть безвинно пролитую кровь.

Доктор Калугин посоветовал протоиерею не спорить с выздоравливающей, но еще не выздоровевшей больной.

Памятник открыли минутой молчания, раздачей богатой милостыни нищим и угощением всех пришедших. Господ угощали дорогими винами, мастеровых — круговыми ковшами из бочек.

Пьяных было много. Пели и плясали допоздна.

— И очень хорошо. Я довольна, — поделилась с Ильей Николаевичем Калугиным Елена Петровна. — Это же не поминки, а празднование бессмертия Андрея Николаевича.

Доктор не ошибался. Елена Петровна была выздоравливающей, но еще не выздоровевшей больной.

XIV

Время делало свое дело. Оно, конечно, не могло заставить забыть незабываемое, но, отдаляя страшный год, смягчало жизнь Елены Петровны. Она опекала школы, не переставшие называться «жалеевскими», расширила «книжницу». Деньги пока были в достатке. Нестор Валерьянович не стеснял в них Елену Петровну, подсказывая, что можно сделать в продление памяти ее деда.

Нашла себя Елена Петровна и в открывшейся не без ее вклада четырехклассной женской прогимназии. Преподавала там французский язык, пение и музыку. Иногда заменяла преподавательницу русской литературы. Объявила воскресные чтения сначала у себя дома и только для женщин, а потом для всех в зале общественного собрания.

Она читала проникновенно, иногда экзальтированно, позволяя слушателям не только слышать, но, кажется, и видеть происходящее.

Агриппина Лукинична, бывая на чтениях, побаивалась, что они слишком возбуждают Лену, за которую она теперь отвечает и перед богом. Доктор Калугин, тоже опасаясь этого, все же считал, что психику, подобно телу человека, должно упражнять и закалять. Елена Петровна не должна бояться вступать в единоборство с тем, что как-то напоминает ей пережитое, потому что, живя с людьми, ей невозможно уберечься от злополуч-

ного стечения обстоятельств, которые могут оказаться и сильнее «сильных строк». Ей необходимо, по мнению Қалугина, наращивать внутренний панцирь психической самозащиты.

И ничего страшного пока не случилось, если не считать чтения повести Тургенева «Вешние воды». Не дочитав ее, Елена Петровна, сославшись на головную боль, покинула зал.

Все обошлось благополучно. После «Вешних вод» она никогда не брала произведений, воскресающих ее юность, и особенно боялась тех глав романа «Война и мир», в которых князь Андрей напоминал Бестужева не только своим именем. Эти главы притягивали ее какой-то скрытой силой, будто вызывая на поединок. И ей мучительно хотелось себя проверить, но внутренний голос голосом Андрея Бестужева просил ее «не испытывать судьбу».

Самолюбие Елены Петровны вынуждено было уступить логике. Лечение самой себя, внушенное доктором Қалугиным, стоило больших усилий. Нелегко заставить неполноценный разум управлять чувствами, желаниями и поступками.

В Сольвинском заводе все, знающие Елену Петровну, замечали, что она старится скорее, чем другие. Старухи, вздыхая, сожалели, что «Барышня Беленый Лоб год за два живет». Люди и, конечно, Агриппина Лукинична понимали, что ее старит борьба «разума за разум», борьба за жизнь, которая ей не очень нужна. Елена Петровна и сама не раз говорила:

— Я живу, потому что положено жить и нести свой крест. Я живу, как живет дерево.

Лишенная материнства Елена, не замечая того, изливала накапливаемые в ней самой природой чувства любви к детям. В прогимназии и дома, давая уроки на рояле, она иногда бывала в рабочих многодетных семьях. Там не боялись даровой няньки с белым пятном на лбу: «шалая, да не безумная». Елена Петровна нередко называлась и божьим человеком. Правда, этот «божий человек» не посещал божьего храма, не говел, не причащался, зато был «праведным и правильным по всем прочим статьям своей жизни». Да кто знает, где больше бога, рассуждали старики, в церкви или в самом человеке. Да и зачем говеть, ходить сдавать попу грехи, которых нет. Да и кому их сдавать, перед кем призна-

ваться в них? Перед теми, кто сам грешен всеми мирскими грехами, которые не выварить в кипящей смоле на том свете...

Елена Петровна, не таясь перед собой и перед ма-Гра, не могла сказать, верит ли она в бога. Ей не прививали религиозных чувств в семье отчима, профессора Вихарева, который был равнодушен к религии. И ее кумир, дед Павел Петрович Глебов, всегда обходил разговоры о церкви, тем самым давая понять внучке, что лучше не касаться того, что не касается тебя. И Елена Петровна жила рядом с религией и вне ее. В таких отношениях она состояла и с сольвинским обществом, именуемым в просторечии «баре», с которым она, как и ее дед, соседствовала, не входя в его круг, но и не исключаясь из него.

Главное население Сольвы — рабочие — было ближе к ней, но тоже не столь близко. Слишком различен уровень знаний, понятий и всего образа жизни.

Рабочие четырежды в день проходили мимо ее дома через плотину. Рано утром после первого гудка, в обед — с завода и на завод, затем вечером, по окончании работы. Для нее это был темно-серый, с детства привычный людской поток, которому она хотела лучшей жизни, как и ее дед. Но она могла только хотеть, и не более. Да и сам поток тех лет еще не осознал себя главным потоком жизни. В Сольве еще только зарождались первые тайные кружки, а с ними — и первые надежды на лучшую жизнь, которая не придет сама собой, которую нужно добыть и построить.

Как могла тогда знать об этом Елена Петровна, да и кто бы рискнул, кто бы согласился открыть ей глаза, когда над ними белое пятно. И ей ничего не оставалось, как жить в самой себе и по мере своих сил помогать другим. Агриппина Лукинична, прижившая на стороне и потерявшая своего первенца, помнит материнское горе. Но эта потеря была вознаграждена находкой чужого ребенка — Лепочки Глебовой, к которой ее наняли сначала кормилицей, а потом оставили няней, а теперь она стала ей второй матерью. Отсюда и «ма-Гра». Но ведь этого нет и не предвидится у Елены. То возможное, на что иногда надеялась Агриппина Лукинична, не могло осуществиться по причинам болезни, которая всегда могла вернуться к Елене. Хорошо бы ей было найти девочку-сиротку, которая бы стала ее дочерью.

Об этом Агриппина Лукинична особенно стала задумываться после смерти Нестора. Так же может умереть и она. Положим, Нестор прожил без года девяносто лет, и она еще не собирается лечь в гору, но об Елене надо думать теперь, пока годы не остудили в ней материнства и пока она чужую могла полюбить как свою. Но где взять такую? Надежда была только на бога. И он мог бы явить свою милость за все страдания молодой еще женщины.

И «бог явил свою милость». Кто же, как не он, это сделал, коли все началось в монастыре, хотя и не в настоящем, а все же в господнем подворье, на реке Сольве.

XV

Неподалеку от Сольвы, в версте от ее окраины, еще в давние годы замышлялся монастырь и будто бы готовилось открытие мощей пресвятого и преподобного старца родом из царской фамилии, не восхотевшего занять родительский престол. Он, покинувший стольный град Москву, поселился во имя спасения души и служения богу на речке Сольве задолго до того, как был заложен Сольвинский завод. И было дадено самим богом этому старцу новое незнакомое в писаниях и святцах имя — Сольвий. От него ли речка стала называться Сольвой, или он по ней — никто, кроме бога, не знает. Бог и спрятал от людей мощи святого Сольвия, опустив их на триста сажень в земную глубину.

Легенда была придумана, как видно, не глупым, но и не достаточно дальновидным человеком. Ему, а может быть, пересказчикам, понадобилось приплести сюда Емельяна Пугачева, которого будто бы с крестом в руках встречал на увале восставший из могилы нетленный старец Сольвий и тем самым уберег Сольвинский завод от пожаров и разорения. Сольвинский завод и в самом деле был не тронут отрядами войска Пугачева. Это и мешало зарождению уже на корню крамольного монастыря. А он мог бы оказаться открытым, и мощи, конечно бы, нашлись, но само имя Пугачева да еще Емельянов увал, который так и не удалось переименовать в Екатерининский при всех стараниях властей, навлекли гнев церкви. Все же много лет спустя лесопромышленником Савватием Зориным здесь была срублена деревянная церковь. Срублена на том месте, где расщеплен-

ное молнией дерсво, повалившее много других деревьев, оставило невредимым обереженного богом Савватия Зорина.

Церковь освятили, назвали в честь неопалимой купины — Неопалимской, но служить в ней было некому. Поэтому Зорин время от времени по большим праздникам приглашал священников из сольвинских приходов и молился там в кругу своих родных и знакомых.

Но свято место пусто не бывает.

Однажды в Сольве появился монах, странствующий во Христе. Наверно, это был беглый расстрига, а может быть, каторжник из верхних слоев общества того времени. У монаха была грамота из Соловецкого монастыря, подтверждающая, что оный монах Савватий избрал путь спасения хождением в миру и сеянием слова божия и служения промыслам его. Монах произвел очень хорошее впечатление на Зорина, тем более, что его звали тоже Савватием. Тут явно не могло обойтись без промысла господня. И к тому ж засидевшаяся в девичестве до тридцати двух годов, порченная бесами дочь Зорина Анфиса вскоре по приходе Савватия почувствовала себя лучше. Полуночное возложение рук Савватия, когда бесы особенно яры, сняли с Анфисы многие недуги. Убавилась полнота ее телес, мешавшая биению сердца и коловращению застоявшихся кровей. Пропало подкинутае бесами вожделение в ее взоре, и непристойные сновидения, после которых она не желала просыпаться, покинули ее.

Это особый роман в романе. И его не следовало бы касаться, если бы в нем Елена не встретилась с той, кому впоследствии стали обязаны почти все прочитанные вами и последующие главы этого быстротечного повествования.

XVI

Ко времени, когда Елена Петровна стала бывать в зоринской церкви, перекрытой деревянной чешуей под вид старорусских храмов в Кижах, здесь самостийно возник монастырь. Было срублено два дома. Мужской и женский. В том и другом жили «монахи» и «монашки», коим, по примеру главы «монастыря», было дозволено хождение в мир как в черных одеждах, а равно и в мирских. «Монастырь» официально не назывался монасты-

рем, а числился приютом для сырых и обездоленных, добывающих хлеб в поте лица своего богоугодными трудами.

Главным богоугодным делом было пение. Оно-то и привлекло Елену Петровну. А хор был редкостным. Сюда приезжали послушать его из других заводов и городов. Савватий обладал большими музыкальными способностями и даже сочинял или варьировал чужую музыку.

Сольвинцы, и особенно сольвинские господа, уставшие от скучных служб в соборе, стали завсегдатаями деревянной церкви. В ней, как в хорошем концертном зале, случались и хоровые новинки. Здесь звучали мелодии из литургии Чайковского, видоизмененные произведения композиторов, писавших для католической церкви. Отец Савватий ввел бы в обиход своего храма и орган, если б не боялся прослыть еретиком.

Поэтому Савватий прибег к далекому сородичу органа — фисгармонии. Их было три. С ними он и его хор выезжали в богатые дома для духовных песнопений. Три фисгармонии, одна из которых, сделанная по специальному заказу в Германии, была вдвое больше обычной и воспроизводила чарующие по силе звука, почти органные низы.

Фурором деревянной церкви стала «Нсопалимая». Это была слегка измененная, знаменитая «Аве Мария». Немногие в Сольве знали эту католическую молитву. А те, что знали, не захотели упрекать Савватия в заимствовании. Слышавшие же ее впервые становились на колени, слушая высокий девичий голос и хор, имитирующий орган своим многоголосым бессловесным «а-аа-а-ааа-а», искусно меняющим «регистры» и модуляции звучания.

Попы увидели в этом ересь, которая так давно выискивалась в деревянном монастыре, готовились разматывать «логово блудниц и блудодеев, прикрывающихся служением богу». Положим, в их словах было немало правды. Живущие в обеих домах «деревянного монастыря» не только пели духовные песнопения, но и целили греховные недуги богатых мирян обоюбого пола в потаенных присольвинских лесах, куда провожались по засечкам на деревьях ищущие земной благодати. По этим засечкам не проник бы в злачные места и опытный таежный следопыт, потому что нужно было знать, какие меты

на деревьях ведут на ложные пути и какие — к цели. Да и сама цель была скрытной. То сухая берлога, устланная ковром, с лазом, прикрытым валежником, то полутемная лесная избушка, к которой страшновато подойти, были местами свиданий.

Попы пошумели и умолкли. Им противостояли денежные «тузы» в уезде, губернии и общественное мнение, называвшее деятельность «монастыря» просветительской. Да и сам управляющий Сольвинского завода Шаппо-Кожуховский сказал в беседе с губернатором довольно прямо, что в глухой Сольве нужна какая-то отдушина. И если даже правда то, что говорят о «деревянном монастыре», то чем он хуже открытых увеселительных заведений.

Епархиальный архиерей вскоре предписал не чинить препятствий зоринскому заведению. И сольвинские попы, проглотив обиду, махнули рукой на «деревянный монастырь».

XVII

Предприимчивый Савватий, понимая, что молодое население приюта для сирых и обездоленных является его главной силой, не чурался и престарелых. Нужны же были посредники между богатыми мирянами и казначеем «монастыря». Не пошлешь же для хитроумных переговоров девчонку или молодого парня. В этом деле надобны мужи престарелые, велеречивые и умелые. Они-то и находили хористок и хористов, ладных по статности, отличных по голосу и пребывающих в горе или нужде. В числе таких кандидаток в хор была замечена Люба Шагаева, последняя дочь овдовевшего слесаря, часто не выходившего на работу по болезни ног.

Личико у нее было писаное, коса жгутом, руки-ноги точеные, стан складный, а голос, как твердила Савватию расхожая старуха, «самой тонкой тонины, тоньше синичьего свиста». Но Любе не было и тринадцати лет. Такую можно взять только на выучку. И старухи заманили ее как-то в деревянную церковь.

Отстояв обедню, услышав хор, Люба стала бывать здесь ежевоскресно.

Елена Петровна заметила одухотворенное лицо девочки, стоявшей у левого клироса. Она, иногда забываясь, пела вместе с хором. И однажды Елена Петровна

стала совсем близко к левому клиросу, и ее чуткое ухо уловило высокий голос Любочки Шагаевой. Она, несомненно, могла петь только по слуховой памяти. И эта память поразила Елену Петровну еще больше, чем сам голос.

Вскоре, как говаривала Агриппина Лукинична, господу было угодно «поперхнуть» голос козырной певчей хора, выводившей самые трудные переливы в молитве неопалимой купине.

Примерно так же потом рассказывала и сама Люба. Она тогда, увлеченная пением, не замечая, дала полную силу своему голосу. Она пела как соловей, закрыв глаза, и ее голос сливался в единое звучание с голосом солирующей. Люба, не слыша и не помня себя, не заметила, когда оборвался голос ведущей в хоре, и она, не открывая глаз, до конца пропела «Неопалимую». Когда же пение кончилось, Люба не понимала, почему все то удивленно, то восторженно смотрят на нее.

Елена Петровна, не дожидаясь конца обедни, ласково взяла за руку Любу и увела к себе.

«Молитва Неопалимой» после этого дня долго не звучала в деревянной церкви. «Козырная певчая» сорвала голос. Другой равной ей не было.

Вскоре Савватий нанес визит Елене Петровне, у которой теперь поселилась Любочка Шагаева.

Из ответа Агриппины Лукиничны Савватий понял, что сюда ему впредь не следует приходить и что Любочка Шагаева теперь стала приемной богоданной дочерью Елены Петровны.

XVIII

Любочка сначала потерялась в новой жизни. Такое невозможно увидеть и во сне. Шалая Барышня Беленый Лоб, рядом с которой побаивалась Люба стоять у клироса, оказалась совсем иной. Она разговаривала так разумно, как никакая другая разумница, даже ее милая учительница в церковноприходской жалеевской школе.

Конечно, Елена Петровна была не такой, как все. Иногда она смывала для Любочки свое белое пятно. Но Любочка сказала со всей наивностью, что с пятном Елена Петровна привычнее для нее и что без пятна она все время проводит по лбу рукой.

Любочка боялась, что если Елена Петровна станет, как все, и «войдет в полный ум», то Любу вернут домой. Пусть уже она остается той, какая есть, какая любит, какая учит ее, какая сама шьет ей настоящие платья, не вымеряя, не выгадывая материю. Кто бы мог позаботиться так о Любимом отце! Только тетечка Эль. Так теперь она попросила называть себя. Тетечка Эль сходила к управляющему и попросила, чтобы отец Любы, которому трудно стоять у слесарных тисков, стал обучающим молодых мастеров. И отец им стал. И ему теперь вдвое больше платили. Это еще не все... Тетечка Эль сказала Любиному отцу, если ему трудно или покажется трудно жить без Любы, то он может занять комнату Нестора Валерьяновича или переехать вместе с Любиной бабушкой во флигель на берегу.

Любочка знает, почему отец остался в своем домишке. Наверно, он, как и ее бабушка, думал, что «шалая Барышня Беленый Лоб» поиграет в дочки-матери с Любой, как с куклой, а потом отправит свою «игрушку» в родительский дом. Как они могут так говорить, когда тетечка Эль целует Любочку утром и на ночь! Просыпается, проверяет, хорошо ли укрыта ее девочка, ее звонкий голосочек. Разве так играют в куклы? Разве можно плакать от радости? От того, что Люба нашлась для нее? Что Любин голос похож на плач того ребенка, который она прежде часто слышала во сне, а теперь не слышит?

Однажды тетечка Эль приникла к спящей Любе и признавалась ей. А Люба дремала и слышала очень непонятные слова, которые запомнились ей:

— Не тебя ли, моя родная девочка, я родила в своем больном воображении, а потом оно нашло мою дочь, и твой голос перестал плакать во мне и звать меня.

Наверно, тетечка Эль еще не излечилась, если она говорит, что в Любе есть ее черты. Хотя Люба в самом деле чем-то похожа на детский портрет тетечки Эль, когда она причесывает ее точь-в-точь, как ма-Гра причесывала свою неродную дочь Леночку.

Именем Эль тетечку называли только двое. Ее дедушка Павел Петрович Глебов да Андрей Николаевич Бестужев. И теперь Любочка — третий человек после них.

Год, всего лишь один год, прожитый у Елены Петровны, преобразил Любу. Ее тонкий слух улавливал правильное произношение слов. Он же помог Любе до того, как она научилась читать ноты, играть по памяти на

рояле. Совершенно никому не нужный французский язык оказался таким легким в разговоре, хотя и очень трудным в письме. Оказывается, нужно писать и те буквы, которых нет в разговорных словах. Любочка обязательно должна знать хотя бы пятьсот французских слов, чтобы удивить Ольгу Николаевну, когда она придет навещать свою дочь в Сольву. И тогда нужно будет тетечку Эль называть «ма тант Эль». Глупо, но нужно. Так принято. Так будет приятно Ольге Николаевне, хотя у нее очень дурное французское произношение. Потому что она не обладает музыкальным слухом. А изучение языка — это, во-первых, слуховая память. Как хорошо, что эту память Любочка унаследовала от отца. Отец может в точности свистеть шеглом, чирикать воробьем, а если надо, приманить уток. Он даже может говорить голосом мастера механического цеха, голосом зрителя завода и петь соборным диаконом.

Слуховая память — это самое главное. Поэтому в ветреную погоду всегда нужно закрывать уши, чтобы не надуло в них. И не только нужно помнить об ушах, но и об очень многом. Оказывается, мало каждую субботу ходить в баню, нужны ежедневные утренние обтирания не очень теплой водой. Нужно правильно держать себя за столом. Нужно не выносить на люди своего плохого настроения и не огорчать этим их. Вежливость тоже не простая господская выдумка. Она позволяет устанавливать наиболее мягкие отношения между людьми. И вообще не так легко быть любимой тетечкой Эль.

Посторонние люди думают, что надела петербургское платье и стала образованной. Как бы не так! Даже платье и то нужно научиться носить, хотя бы оно было из самого дешевого ситца. Люди не знают, что пять часов в день Любе приходится учиться. А потом еще два заниматься музыкой.

Конечно, Люба могла бы поступить в прогимназию. Но беда в том, что Люба запоздала. Отстала. Вот и приходится нанимать учителей и репетиторов. Это стоит не дешево, но пока есть деньги и есть возможность, можно ли не учиться? Знания нужны не только для того, чтобы выскочить замуж. Об этом хотя и рано думать, но не следует забывать. Рано или поздно появится такой же светлый человек, каким был Андрей Николаевич Бестужев. Знания нужны и для людей. Для народа, который должен быть не таким, как он есть. А каким именно,

пока не знает и сама тетечка Эль, но время покажет, каким должен быть наш народ.

Нет, нелегко быть любимой милой тетечкой Эль...

ХІХ

На четвертый год жизни у Елены Петровны Любочка побывала в Петербурге. Ее туда увезла Ольга Николаевна, приезжавшая в Сольву. Любочке в Петербурге исполнилось семнадцать лет.

Она напрасно боялась столицы. Никто и ни в чем ее не упрекнул. Видя своих сверстниц, она заметила, но, конечно, не подала вида, что многие из них знают меньше ее. И у многих из них напускного, заученного больше, чем у Любы.

Зоркая девушка подметила многое из того неприятного в людях, что они роняли, не желая. Все-таки господа, это — господа. А простой народ, рабочие люди, как бы высоко ни поднялись они, какие бы науки ни изучили, помнят, кем они порождены. И Люба помнит. Помнит и никогда не забудет.

Ольга Николаевна очень сожалела, что Любе не удалось познакомиться с Андреем Каретниковым. Он бы нашел, о чем поговорить с Любочкой.

Люба не раз слышала это имя и в Сольве и здесь. Андрей Каретников вырос в Москве у своей матери — кузины тетечки Эль — у Анны Васильевны Каретниковой. Теперь он, став студентом Технологического института, жил в Петербурге, у Ольги Николаевны. И она любила его как родного внука. Ольга Николаевна так сожалела, что Андрюша до осени пробудет на заводах в Англии.

Любе тоже очень хотелось познакомиться с ним, и она, прощаясь, сказала, что, может быть, Андрей приедет в Сольву. Этого Ольга Николаевна не обещала и не обещала как-то слишком определенно. Она будто боялась этого и в то же время так настойчиво хотела, чтобы он познакомился с Любой.

Желания, как известно, не всегда зависят от желающих. Обстоятельства жизни нередко повертывают, а го перевертывают ладью человеческих судеб так неожиданно и невероятно, что люди, не допускавшие случившегося с ними, потом находят, что так и только так могло произойти. Люба, например, круто изменившееся те-

чение своей жизни принимает теперь как неизбежное. Андрей Каретников не допустил бы, что и ему придется через два года отправиться в Сольву на длительное время. И уж, конечно, ему не могло прийти в голову, что там произойдет.

Спустя два года уже девятнадцатилетняя Люба снова собиралась в Петербург, но Елена Петровна получила письмо и даже два. Одно от матери, в котором писалось, что Андрей арестован после студенческих беспорядков и исключен из Технологического за два месяца до окончания. Второе полученное ею письмо следует привести полностью:

«Милостивая государыня Елена Петровна!

Мое имя должно быть ненавистным Вам, и я бы не напомнил о нем, если бы меня не заставил долг службы и желание хотя бы на ничтожную долю смягчить Ваш гнев за незамолимый грех моей молодости и неизгладимую вину перед Вами.

Мне известно, что Вы в добром здравии, и я нашел справедливым скрасить Вашу жизнь и облегчить наказание родного Вам молодого человека, хотя не имею чести доподлинно знать, в каком родстве вы состоите.

Андрей Каретников после противных государю поступков был приговорен к ссылке на поселение в дальние губернии Сибири. Памятуя, что в Сольве он может найти кров и близкое участие, я нашел справедливым смягчить его участь и добиться высылки на поселение под гласный надзор в Сольвинский завод, надеясь и уповая на бога, что Ваша безупречность, милостивая государыня Елена Петровна, поможет ему вернуться на путь служения царю и отечеству, а вместе с этим вернуться и в Санкт-Петербург до истечения пятилетнего срока отбывания наказания.

Буду счастлив еще раз быть полезен близкому Вам человеку.

Ваш покорный слуга отныне и веки.

Ю. Паульдорф».

Давно не посещавший «белый туман» готов был окутать побледневшую Елену Петровну. Но внутренние силы и на этот раз помогли ей побороть начавшийся приступ. Люба и Агриппина Лукинична нашли слова и способы отвлечь ее. Все обошлось опять благополучно, как давным-давно во время чтения повести «Вешние воды» — в зале общественного собрания.

Вечером в тот же день стали готовиться к встрече Андрея и представлять, как он может выглядеть. Мать очень мало и скупой писала о нем, не присылала его фотографических снимков, и он существовал как некто в студенческой форме.

XX

Андрею был отведен кабинет и спальня Павла Петровича. Ведь он тоже кем-то доводился деду Елены Петровны. Наверно, каким-нибудь правнучатым племянником. Агриппина Лукинична наотрез отказалась выяснить, кем он именно доводится, сказав, что по приезду будет видно, каков он, а потом уже высчитаем рода и колена.

Андрея ждали примерно на той неделе, а приехал он на этой. Приехал в сопровождении полицейского чина, который должен был сдать сосланного полиции, а полиция, записав его в реестр и взяв подписку о невыезде из Сольвинского завода, указала, как пройти к дому Глебовых.

Андрей Каретников вошел в дом, зная, что его здесь ждут. Войдя, он поцеловал руку Елене Петровне и сказал:

— Добрый вечер, милая тетя Эль. Я ваш двоюродный племянник. Так мне велели называть вас мать и бабушка.

— Как все, оказывается, просто,— сказала Елена Петровна, обращаясь к ма-Гра.— Если мать Андрея — моя двоюродная сестра, то ее дети — мои двоюродные племянники, а моя мать — двоюродная бабушка. Все так просто. Знакомься,— Елена Петровна указала на Любочку.

— А мы почти знакомы, Любочка, с вами, хотя и впервые видимся. Несмотря на это, мама и бабушка сказали, что вы моя невеста, а я ваш жених.

Елена Петровна и Любочка ответили звонким смехом.

— Когда же будет сделано предложение, Андрюша? — так же шутливо спросила Любочка.

— Тотчас, как я приведу себя в порядок с дороги. Зачем же откладывать?

— Шутишь, Андрюшенька, а бог-то еще в колыбели тебя обручил с Любочкой,— тоже весело, но нешутливо вмешалась Агриппина Лукинична.

Андрей шаркнул ногой и поклонился иконам в переднем углу:

— Как это мило с вашей стороны — сказал он иконам. — Как хорошо, Агриппина Лукинична, что бог не скрыл этого от вас. Теперь нам с Любочкой некуда деться. — Он расцеловался с Агриппиной Лукиничной, — почему же, бабушка-Гра, вы об этом не сказали мне в колыбели и потом, когда приезжали к нам в Москву? Но это ничего не изменяет, и у меня теперь есть полные основания рассчитывать на ночлег, не правда ли, ма тант Эль?

— Да, но не поцеловать тетку, которая может стать еще и тещей... И рассчитывать на...

— Тетя, милая тетя Лена, я неуклюже воспитан и потом меня так настораживали относительно вас, что я и сейчас не знаю, как себя лучше вести.

— Так же, — сказала Елена Петровна, — так же, дорогой и родной с первой минуты. Иди, я обниму тебя.

Люба, видя и слыша это, растеряла накопленное умение при любых обстоятельствах оставаться на высоте достоинства, заговорила совсем «по-шагаевски» и, не задумываясь, окоротила отношения:

— Андрюша, иди я тебе покажу твои апартаменты.

Люба тут же почувствовала, что так не следовало бы называть его с первой встречи, но Елена Петровна подтвердила:

— Ты не чужая в этом доме, и он не чужой тебе. Не так ли, Андрюша?

— Совершенно верно. Меня очень затруднило бы, окажись я здесь только гостем, хотя и родным. Покажи же, Любочка, где мне привести себя в порядок после дороги.

Этим занялась не Люба, а Агриппина Лукинична.

Когда Люба и Елена Петровна остались вдвоем, они принялись оценивать приезжего. В разговоре Люба сказала:

— Как хорошо, что он чем-то похож на того, с кем у него одинаковое имя.

— Похож? — переспросила Елена Николаевна.

— Мне кажется, да, если судить по памятнику. Это очень приятное совпадение, и я буду делать все, чтобы ему было хорошо у нас. И наверно, мы сделаем правильно, если пригласим гостей, чтобы Сольва ему не

показалась скучной. Он непременно произведет хорошее впечатление на барышень «пришпекта». И в добрый час. Я буду очень рада, если какая-то из них ему понравится. Пусть не очень, но так... Для танцев.

И был задуман званый вечер. Не бал, но по сольвинским измерениям не просто танцы под рояль. Оркестр добровольного пожарного общества. Повар и два лакея из общественного собрания. Ужин на трех столах. Фейерверк и ракеты. Конфетти и серпантин. После ужина концерт с приглашением лучших певчих из «деревянного монастыря», с угощением на террасе, выходящей в парк.

Андрей решил для себя плыть пока по течению. Ему нужно было входить в новый круг лиц и ничем не показывать то, что должен прятать от всех. Придет время, найдутся единомышленники, а они теперь везде, и он продолжит начатое. Продолжит осторожнее и умнее. Провал в Петербурге не разоружил его, а укрепил веру в революцию.

А теперь будет правильно даже не думать ни о чем таком... Тетка проникательна. Она может насторожить других беспокойством за него.

Революционер обязан быть скрытным.

XXI

Подготовка к званому вечеру радовала всех, и все верили, что старый дом оживет, и не замечали, что это уже произошло, как только появился Андрюша.

Теперь нельзя было кое-как выходить к столу. Пусть свой, родной, но все же мужчина. Изменился, кажется, и привычный запах в комнатах. И жизнь стала вовсе не безнадежной, не очерченной кругом дел по привычному, само собой установившемуся канону. Даже рояль стал звучать в неположенные для него часы, и звучать смелее, не боясь быть услышанным за окнами. И старые высокие часы в кабинете начали отбивать время.

Бабушка-Гра сама подняла столько лет не поднимавшуюся гирю боя, и каждый час и каждые полчаса они звенели, сначала путаясь в счете, а потом, исправленные Андрюшей, перестали ошибаться. И стало слышно, что время не стоит, а идет.

Нашлись давно забытые дедовские ружья Павла

Петровича. Оказалось, что они могут стрелять. Ружья вычистили и смазали вместе с Андрюшей слесарь-механик Федор Жмурин. Он одних лет с ним, и у него тоже пышные белокурые волосы. Его привел в дом Любин отец — Иван Никифорович. И они втроем ходили на охоту и пойдут еще, чтобы к званому ужину была своя дичь. Андрей не должен чувствовать себя в ссылке. Елена Петровна очень ясно сказала, что необходимо распечатать и открыть все окна.

— И вообще,— сказала она,— наше затворничество стало плохой привычкой. У Андрюши должна бывать молодежь. Нужно и в парке омолодить старые кустарники, а то все заросло.

В доме «мужской дух» стал преобладать. Запахло даже дегтем. Этот милый аромат принес Никиша Сельцов. Он модельщик завода и страстный рыбак. В отца. Его отец сказал, что на чердаке старой «царевой чижевки» лежит без дела английская рыболовная снасть, которой они с покойным Павлом Петровичем вылавливали «чудов-юдов-рыбин», с хрощее казенное полено.

Радовалась Елена Петровна способности Андрюши сходить с людьми сразу же, с первой встречи. Жмурин особенно понравился ей. Он, несомненно, был умен и начитан. Его малословность была богата мыслями. Они чувствовались и в самих словах и за ними. Он говорил меньше, чем, кажется, мог сказать. Не взвешивая слова, Федор Жмурин пользовался ими так же безупречно, как и отверткой, когда он разбирал и собирал старую швейную машину. В нем правилась и почтительность, в которой не было капли угодливости. Может быть, он именно тот из «темного серого потока», которыми за последние годы этот поток начал заметно светлеть?

Никиша Сельцов тоже, кажется, как и Жмурин, как и отец Любы — Иван Никифорович, что-то носит в себе, скрывает за своей улыбкой. Только полезно ли будет для Андрюши, что знакомство во всевидящей Сольве началось с этих фабричных молодых людей? Сосланному под надзор нужно быть осмотрительнее. Могут приписать и то, чего нет, о чем можно только догадываться.

Она непременно поговорит с Андрюшей, но не теперь, когда нужно ему отвлечься от пережитого и ловить

рыбу. Пусть ловит. Пусть дегтем Никишиных сапог пропахнет весь дом, пусть появившиеся на дворе лайка Нельма и в комнате рыжий сеттер Мокко непривычны. Одна будит рано утром, а другой ходит по всем комнатам и спит под роялем... Пусть, лишь бы черные тучки не появлялись на лице племянника. Они, правда, не так страшны, как «белый туман», но природа у них одна и та же. Сумасшествие, как ни странно,— заразно. Поэтому пятно на лбу нужно, во-первых, уменьшить и, во-вторых, наносить его тоньше и бледнее.

Никиша нашел спиннинги, а Андрей, видевший в Англии, как их применяют, был потрясен своим уловом на Сольвинском пруду. В Англии ловля спиннингом была скорее спортом, препровождением времени, а здесь — азартный промысел. Андрей пообещал взять всех на свой рыболовный и охотничий кошт и отказаться от присылки денег матерью, если даже его не возьмут на завод.

— Мы будем торговать, ма тант, рыбой и дикой птицей.

В доме хохотали, и хохотали громко. Елена Петровна слышала в смехе Андрюши навсегда умолкнувший смех Бестужева. Он так же возбуждался охотничьими успехами. Она, разумеется, не исключала, что ее воображение заставляло слышать и видеть то, чего не было в Андрюше на самом деле, но зачем мешать воображению помогать ей жить счастливыми воспоминаниями и воскрешать, хотя бы отраженно, лучшие дни жизни?

В самом деле — зачем?

Елена Петровна почему-то подумала, что Андрюше будет впору из того оставшегося, что носил Андрей Николаевич, кроме, конечно, военной одежды, но можно перешить и ее. Перешить не потому, что нельзя заказать новое, а потому, что Андрюша тогда будет еще ближе и приятнее. А Любе она отдаст свои платья, еще не надеванные. Они не должны истлеть. Их тоже нужно перешить, тем более что рост, плечи, длинная шея — все недостатки и достоинства фигуры Елены Петровны так схожи с Любиными. Несомненно, она и здесь многое преувеличивает, но это лучше, нежели преуменьшать.

Ей нужны были иллюзии, и она теперь сама создавала их. Теперь они были нужнее всего остального.

Как все это неожиданно и прекрасно!

Дважды откладываемый званый вечер наступил. Дом сверкал, как при деде. Были натерты воском некрашенные русские полы, сплоченные из широких листовенных плах с розовато-желтым прожильем, бревенчатые стены оскоблены и «отшорканы» речным песком, заправлены до полна керосином яркие лампы-«молнии», куплены для старых канделябров и люстр свечи. Пусть будет два света: старый и новый.

Елена Петровна была в темно-лиловом платье. Оно, пролежав столько лет, не потеряло свежести. Люба надела платье, сшитое в Петербурге, как подарок Ольги Николаевны. За прошедшие два года платье не перестало быть модным, потому что до Сольвы моды из столицы шли очень медленно.

Собрался высший сольвинский свет. Елена Петровна была приветлива и проста с гостями. Она не захотела для торжества вечера смыть теперь еле заметное белое пятно. Это могло выглядеть изменой ритуалу вечного траура и вызвало бы кривотолки, а она оказалась бы иной, непривычной. Зачем? Ведь ничего, в общем-то, не произошло.

Андрей произвел наиотличнейшее впечатление на гостей и неотразимое на молодежь. Он вошел в их круг, как вошел впервые в этот глебовский дом. Ему прощались его поразительная неспособность к танцам. Этот пробел возмещался остроумием и умением разговаривать с одним и со всеми. Замечать всех и никого не предпочитать. Поэтому в каждом из сердец барышень он, не желая того, сеял всхожие семена счастливых надежд.

На Любочку он почти не обращал внимания. И это не обижало ее. Она была своя. Люба подводила его то к дочери управляющего Римме, то к дочерям инженеров завода, приглашая от его имени на тур вальса или проскакать в галопе.

Было очень весело и душевно просто. Разглядели и Любу. Заметили и пристальное внимание к ней Елены Петровны и боялись как-то и чем-то невзначай или по легкомыслию обидеть ее любимицу. От «шалой» можно ждать всего. Откусит нос или ухо, иди тогда жалуйся. Душевнобольных не судят... А она оставалась ею почти для всех.

Люба танцевала без жеманства, без вариаций и дополнений, которые привносят танцующие не только в Сольве, но и в больших губернских городах. Она легко несла свой стан, с изяществом управляла каждым своим движением, будто укрощая себя, будто запрещая любоваться собою. А ею любовались.

Но успех Любы был еще впереди. Гости по секрету говорили друг другу о предстоящем исполнении Любой «Аве Мария», но не той «Неопалимой» на церковнославянском языке, а в ее настоящем виде. Для этого и привезена большая «монастырская» фисгармония.

Любу это мало занимало. Она согласилась петь ради тетечки Эль, а тетечка Эль хотела, чтобы люди узнали, какое сокровище живет в глебовском доме. Для Любы — куда важнее, как отнесутся к Андрею. И если бы он мог хотя бы немного поправиться дочери управляющего Римме, его бы непременно пригласили на завод. А на заводе он должен работать, чтобы не закорстеть, не превратиться в ссыльного, тупеющего от безделья. Таких достаточно в Сольве.

Люба не ошиблась в своих надеждах на этот вечер.

Во время ужина управляющий заводом Шаппо-Кожуховский поднял бокал за нового инженера казенного жлезододелательного Сольвинского завода. Он не назвал имени Андрея, а лишь, посмотрев в его сторону, добавил, что формальные казусы не будут служить препятствием назначению. И тут же поправился, чтобы под «формальными казусами» не усмотрели ссылку под гласный надзор, сказав:

— Я имею в виду несколько месяцев, не хвативших до завершения высшего образования... Но разве эти последние месяцы, а не все годы обучения делают инженера инженером?

Рукоплескания и «ура». Учтивый и умеренный поклон Андрея в сторону управляющего и аплодирующих.

Ужин стоил этого тоста. Знающая цену деньгам, которых становилось все меньше после смерти Нестора, Люба не жалела их на покупку такого осетра, который не сумеют доесть ни певчие из «деревянного монастыря», ни пожарники. Не пожалела она трат и на дорогие вина. Ну, а все прочее: кулебяки, куры, гуси и утки, воздушные пироги, мороженое и кремы — это недорогие яства.

Ужин прошел замеченным и отмеченным. Благода-

рили Агриппину Лукиничну и вызвали повара выпить бокал «большого орла» за чудеса богини Кулинарии и ее верного жреца, по имени Чревоугодие.

XXIII

После ужина состоялась прогулка по старому парку. Снова, как в день обручения Елены Петровны, жгли огни и пускали над прудом ракеты. Елену Петровну на это время Люба увела в спальню. Ракеты — плохие воспоминания.

А когда все погасло, столовая снова превратилась в зал. Теперь — в концертный.

Одежда певчих из «деревянного монастыря» не обещала, что они будут исполнять душеспасительное. Девы знали, куда и зачем они шли. Певцы, их было двое, тоже выфрантились как могли.

Акомпанировали по очереди: Люба, Елена Петровна, дочь управляющего Римма и главный фисгармонист «монастыря».

Для начала «Утро туманное», затем из «Онегина» — «Слыхали ль вы...» и романсы «Не искушай», рубинштейновская «Ночь» и, наконец, то, что поют в кабаре и ниже. Впрочем, певицы очень низко не опускались, но все же без цыганских песен с приплясыванием и «судорожением» плеч не обошлись.

Наконец, Елена Петровна, поблагодарив за доставленное удовольствие исполнителей, до того как они пропели всю намеченную ими программу, сказала:

— А теперь для завершения концерта пусть споет нам молодая хозяйка этого дома.

Как и было условлено, в столовую вкатили большую фисгармонию, играющий на ней, раскланявшись, занял свое место, Елена Петровна подошла к роялю, Люба стала в углублении его овала.

Кивок головы Любы, и все смолкло.

Рояль в сочетании с фисгармонией обновил старую церковную мелодию и, как бы подняв ее с коленей, заставил распрямиться и зазвучать торжествующим гимном. Этому немало способствовал и голос Любы. Он был не тем девичьим молящим и благоговейным голосом, а утверждавшим себя голосом женщины.

Люба закрыла глаза, как и всегда, когда ей хотелось остаться наедине с музыкой. И она осталась с нею, а

слушающие ее остались с самими собой и с ее пением. Никто не знал латинских слов, которые так отчетливо воспроизводились поющей, и в этом была особая прелесть пения. Каждый слышал и досказывал сокровенное свое, и все слышали благодарение жизни, прославление несущей ее в себе женщине.

Андрей тоже слышал и видел свое. Люба и до этого пела при нем, и он всегда восторгался ее голосом, не представляя, что пение и музыка могут так возвысить его.

Когда Люба усиливала свой голос, она возносила вместе с ним и Андрея. И он не видел ничего, кроме ее лица с закрытыми глазами и ее голоса, который тоже был зримым. Он, меняя цвета, становился то розовой зыбью океана, то радужной птицей, взмывающей в синеву небес, то снова Любой в белом платье, признающей-ся ему в любви с закрытыми глазами. И то, что подсказывалось жизнью, бабушкой Ольгой, его теткой, что казалось и ему допустимым, в эти минуты стало единственно возможным и решенным на всю жизнь.

Пение окончилось, а голос Любы не переставал звучать за открытыми окнами в парке, над просторами Сольвинского пруда и в груди Ивана Никифоровича. Он тоже слушал свою дочь. Он был зван, но решил не приходить по многим соображениям. А в парк пришел и пробыл там очень долго после того, как разошлись гости, унося с собой самые разные впечатления. Восторженные. Злые. Чарующие. Завистливые. Недоуменные. Благодарные... Как бы ни называли их все, они были неизгладимыми.

«Большое искусство радует и сердит, облагораживает или приводит в ярость, но всегда оно в конце концов побеждает и торжествует. Зависть — сильнейшая из всех страстей и пороков, но и она не может обмануть человека, потому что искусство сильнее ее».

Так записала Елена Петровна в своей тетради в эту ночь счастливой для нее бессонницы.

Наверно, эти строки написались и потому, что Елена Петровна заметила при прощании с Риммой Шаппо-Кожуховской озлобление в ее темных колючих глазках, таких же стеклянных, как и у соболя ее бального горжета. Она старалась скрыть свою злость и, заставляя себя улыбнуться, скалила иссиня-белые и острые соболии зубки.

Лучше бы Любе не петь в этот вечер. Римма может закрыть Андрею дорогу на завод или...

Или — наоборот. Что лучше, что хуже — может ответить только время.

XXIV

Сольвинский железоделательный завод много раз перестраивался, переделывался, искал свою «специальность» и, находя ее, снова менял направление в зависимости от того, что лучше шло, что требовалось казне и рынку.

Наиболее постоянными предметами, которые изготовлял завод, оставались всегда ходовые: топоры, пилы, лопаты, лемехи для сох, позднее — плуги, зубья для деревянных борон, а потом, когда стали строиться железные дороги, — костыли, болты, накладные планки для крепления и соединения рельсов, железнодорожные стрелки и специальные заказные штучные изделия. Неизменно изготовлялись здесь столовые ножи и вилки, просто ножи для хозяйственных надобностей, палаши, сабли, кортики, нагрудные знаки и бляхи, пряжки и другая армейская мелочь. В трудные годы малых заказов прибегали и к фигурному литью из ковких чугунов, пытаясь повторить литье знаменитого Каслинского завода. И это удавалось, хотя и в малой доле, но как-то подкармливало. Из литья всегда были в спросе фигурные утюги, а позднее — паровые утюги.

Столовым приборам и холодному оружию Сольвинского завода было далеко до этих же изделий Златоуста, но нужда заставляла пускаться во все тяжкие грехи, переманивали сталеплавильщиков, граверов, мастеров закалки и выдумщиков «новой фасонности». Им платили «дай бог сколько», помогали переехать, обзавестись, осесть, ссужали деньгами на свой домик и оказывали всяческое внимание. Находились и свои самородные чудодеи, которые за год-два из простых становились важными. Не брезговали и беглыми. Среди них очень часто случались находчивые фокусники.

Один такой придумал чеканку медалек на потребу башкирок, татарок и других женщин, украшавших себя медными и серебряными монетами. У сольвинских медалек были готовые ушки для пришивания к одежде, а самое главное — слова и узоры из Корана. Так медь из

отходов превращалась в деньги. Медаль размером и весом в пятак, с изречением и узором, стала стоять вдвое дороже.

Нажить больших капиталов заводу не удалось, хотя и можно бы. Дубы империи усмотрели в этом фальшивомонетничество. Медальки стали обращаться среди исповедующих ислам как деньги. Чеканку запретили. Ею занялись частные лица, сбывая перекупщикам то же самое по тройной цене, а с гальваническим покрытием и того дороже. Завод потерял даровой доход и надолго утратил охоту к поискам.

Приход на завод Андрея Каретникова сверх всяких ожиданий стал для всех приятным событием. Вольнолюбиво настроенное начальство видело в нем пострадавшего за правду. Правда, впрочем, у каждого была особая, и каждый в нем видел поборника своей правды. Была, однако, и общая правда, объединяющая в то время многих работающих на заводах Урала и Приуралья. Она состояла в недовольстве застоєм промышленности. Заводы не обновлялись, машины и станки старели, убытки росли. Высшее начальство и высочайший над ним не улучшали, да и не стремились улучшить ход дел. И виной всему этому была сановная тупость, вельможная ограниченность и само государственное устройство сверху и донизу.

Об этом не говорилось громко, но и не скрывалось в своих кругах.

В рабочей среде Андрей Каретников был отрекомендован самим его приездом в Сольву под надзор полиции. Его принадлежность к жалеевскому дому заранее аттестовала Каретникова как человека, от которого можно ждать только добра. Порукой тому было и то, что он посидел в крепости не вообще за правду, а правду трудовую. Так говорили те, кому можно было верить, например, тот же сильно грамотный Федор Жмурин. И вдобавок к этому Каретников был прост с простыми. Называл пожилых по именам и отчеству, без «эй, ты...».

XXV

Управляющий заводом Шаппо-Кожуховский назначил зауряд-инженера Андрея Сергеевича Каретникова инженером по поручениям. То есть как бы помощником управляющего. О таком лице при себе ленивый и не лю-

бывший завод Шаппо-Кожуховский подумывал давно. Разжалованный из вице-губернаторов за вольнодумство, он, по существу, тоже был здесь в неписаной и неназываемой ссылке. Тяготясь малой должностью при больших чинах, он нуждался в исполнителе, мальчике на побегушках, но с образованием. На эту роль не подходил ни один из его инженеров, да и опасно было приближать кого-то к себе. Допущенный к управлению по поручениям, мог потом захотеть управлять самостоятельно. Шаппо-Кожуховский, не уважая свою должность, боялся расстаться с ней до лучших времен.

Зауряд-инженер Каретников, названный так потому, что назвать его техником было бы несправедливым, в первые же месяцы показал себя деятельным, думающим и предприимчивым. Он, побывав на заводах многих стран во время своих летних вакаций, прошел как бы второй параллельный институту практический курс. Он не просто бывал на заводах, но и работал там, осваивая технику своими руками. Это не удивляло англичан и немцев. Андрей навсегда запомнил выражение старика механика одного из заводов Шеффилда. Дословный перевод сказанного стариком таков: «Максимально познавший машину глазами становится половиной инженера, а постигший ее еще и руками, это дубль-инженер». Или вдвойне инженер. Андрей хотел стать хотя бы только инженером, но полным. Его страсть к практической технике и технике, как науке, удивляла профессоров Технологического института. Студента Каретникова называли еще на третьем курсе «вундермейстером». Поэтому Андрей жаждал очутиться на заводе, правда, не на таком, как Сольвинский.

Но здесь, как он понял, для него были возможности применить себя.

В Шеффилде Андрей видел производство ножей и вилок. Они тогда не заинтересовали его, создателя будущих машин и станков. А теперь он столкнулся с теми же ножами и вилками в Сольве. Его поразило чудовищно древний способ их выработки. И в первый же месяц, докладывая Шаппо-Кожуховскому в его домашнем кабинете о заводских делах, он рассказал, как просто и скоро можно удешевить, улучшить и утроить выпуск столовых приборов.

Мало смыслящий в заводских делах бывший вице-губернатор все же понял суть нововведения. Андрей де-

ликатнейше, не оскорбляя управляющего чрезмерной популярностью изложения, которая взорвала бы даже мастера цеха, вложил в голову Шаппо-Кожуховского все, что было необходимо, и, конечно, не забыл о выгодах завода и неизбежных наградах управляющему.

Предполагая, что новшество, исходящее от зауряд-инженера, не износившего еще студенческую форму, может вызвать недовольство или зависть у старых инженеров, он без обиняков признался в этом и покорнейше попросил Антона Арнольдовича Шаппо-Кожуховского, чтобы все, изложенное им, исходило от его превосходительства, якобы получившего из Англии чертежи и описания по изготовлению столовых приборов, которые он переиначил на русский лад, применительно к своему заводу.

И вскоре скажем мы то, что должно быть сказано через несколько глав, мудрость управляющего была оценена и продолжена в цехах. Ножи и вилки перешли на «цепную выработку». Так называлось далекое подобие конвейера. К изготовлению их теперь могли привлекаться и молодые рабочие, потому что для освоения одного передела требовалось совсем мало времени. Постепенная «цепная» штамповка давала «черные», или необработанные, ножи и вилки почти готовыми изделиями, требующими небольших зачисток вручную. Машинное «гравирование», мало чем отличимое от ручного, украшало и подымало в цене столовые приборы, а новейшие гальванические способы покрытия изумляли самих мастеров. Оставалось найти достойную упаковку, и сольвинские изделия теперь могли получить хождение и за границей.

И они получили это хождение, а Шаппо-Кожуховский получил военный орден. Не за ножи и вилки, а за отменные кортики.

XXVI

Начав с ножей и вилок, Андрей продолжал совершенствовать технику и технологию Сольвинского завода, проводить и экономические нововведения. Пособия по болезни и увечию. Сдельную оплату и оплату по качеству. Контроль и учет выписывания «ведомостей штучности и сортности» не мастерами, а заводскими табельщиками и конторщиками, отвечающими лично перед его

превосходительством управляющим заводом за допущенные вольные или невольные погрешности в цеховых еженедельных ведомостях.

Федор Жмурин, Никита Сельцов и, конечно, отец Любы, Иван Никифорович, скоро и коротко сошлись с Андреем. Они знали досконально все пружины заводских порядков и нацеливали Андрея на главное зло, чтобы облегчить жизнь рабочего «по доброй воле и неусыпным заботам управляющего». Андрей бы и не мог сам по себе подсказать Шаппо-Кожуховскому, как для него и завода полезно действовать не поркой под башней, а поощрением рабочих, которое ровно ничего не стоит ни заводу, ни его превосходительству.

Андрей доказал, что мастера, обогащаясь, вызывают не только ненужный ропот и недовольство, но еще и мешают процветанию завода.

Шаппо-Кожуховский понял это, сказав, что именно так он думал и его молодой друг будто прочитал и на этот раз его мысли.

Роль мастера — «царька цеха» — свелась только к прямым его обязанностям: «производить, надзирать и радеть за приумножение вырабатываемого». Мастера, ставшие только мастерами, лишённые власти над оплатой рабочего, а вместе с тем и поборов, взяток и отчислений с заработанного рубля, возненавидели «беспачпортного смутьяна», считая его главным виновником их безвластия. Когда же они были лишены права штрафовать рабочих, а лишь представлять подлежащих штрафованию, опять же «самому» и с объяснением провинностей штрафуемых, мастера прибегли к подметным письмам в полицию и губернию.

В письмах называли «главных закоперщиков и смутьянов: Федьку Жмурина, Ивашку Шагаева, Никишку Сельцова...» Они-де и натаскивают выкинутого из Питера шелудивого щенка обводить вокруг своего палыча управителя. «И выходит, что заводом правит не барин, а Федька Жмурин через зауряда Каретникова».

Шаппо-Кожуховский, понимая, что «не бывает дыма без огня», предупредил Андрея:

— Мой дорогой, вы не должны, так же как и я, обращать на эти письма внимания, но вам необходимо сделать некоторые выводы.

Выводы были сделаны.

Андрей должен, он обязан быть умным, взвешивать

каждый шаг, используя все легальное и как можно искуснее скрывая тех, с кем он связан, и то, чему он отдает все свои силы и знания. А знания у него были не только инженерские. За границей он изучал не одну лишь технику, но и Маркса на немецком языке. И в русских переводах.

Немало прочитано и слышано было Каретниковым и в петербургских тайных кружках. И если в столице он не стал еще последовательным революционером, то здесь, в ссылке, он вступил на этот путь после знакомства с Федором Жмуриным.

XXVII

И сюда, в глухую Сольву, проникали запретные книги.

Однажды из Екатеринбурга Федор Жмурин привез в очередной пачке запретных книг ту, на обложке которой Андрей впервые встретил имя, ставшее потом для него символом революции, знаменем всей его жизни. Передавая Каретникову эту книгу, изданную в Штутгарте, Жмурин взволнованно сказал:

— Ключ-книга.

На ее коричневатой обложке было крупно напечатано «ЧТО ДЕЛАТЬ?». Под заглавием, мельче, — «Наболевшие вопросы нашего движения» и еще ниже — фамилия автора.

Дважды прочитал Андрей новую книгу, поразившую его ясностью мыслей, неотразимостью доказательств и непреложностью утверждений. При втором чтении Андрею показалось, что подписавший книгу Н. Ленин — не новое для него лицо. Н. Ленин очень походил на Владимира Ильина, написавшего огромный труд «Развитие капитализма в России». Тот же дух. Тот же почерк словосочетаний, построения фраз и та же неотразимость доводов.

И чем внимательнее вчитывался Андрей в строки книги «Что делать?», тем больше убеждался, что с Н. Лениным он встречался не один раз в легальной и нелегальной печати. Слух не мог обмануть его. Этот голос звучал на многих страницах, прочитанных им в Петербурге. С этого голоса и началось все то, чем полна теперь его душа, чему он поклялся быть верным всегда. И на костре, на кресте, под ножом гильотины, в петле,

затягиваемой на его горле палачом, не поколеблется Андрей Каретников, не изменит тому, что составляет суть его существования и само существование.

Кто же вы, родной мой Н. Ленин, Владимир Ильин, мой учитель, мой верный наставник? Где теперь вы, не подписавший никаким именем «Что такое «друзья народа?..». Выпадет ли мне на долю счастье поблагодарить вас лично за эти фиолетовые гектографические строки, открывшие мне глаза и научившие меня открывать их другим...

Андрей прижал к сердцу книгу «Что делать?», будто желая, чтобы она перешла в него.

Поймем это, как нужно понять, примем как должное. У всякого свои порывы и свое выражение чувств, переполняющих душу.

После прочтения этой книги — ключа революции, Андрей Каретников окончательно убедился, что главным оружием рабочего класса являются политические знания.

Необходимо знать, хотя бы в общих чертах, но знать твердо и представлять ясно, как устроено общество, что такое классы, почему одни владеют всем, а другие только своими руками.

Чтение книг Маркса, Энгельса, Н. Ленина, Владимира Ильина не достигло бы цели у неподготовленных к ним людей. Ведь Жмурины, Сельцовы пока еще одиночки. Нужно пересказывать самое главное из учения о революции, о социализме. Необходимо находить понятные всем слова, наглядные примеры, популярные формы пропаганды, чтобы политические знания стали доступны и неграмотному.

Воскресные чтения Елены Петровны многое подсказали Андрею и Жмурину. Они видели, как прозревают совсем темные люди, особенно после объяснения трудных мест прочитанного.

Нужно было создать такие краткие изложения, которые бы закладывали основы революционного сознания, стали бы такими зачатками, из которых родится самое передовое мировоззрение.

И когда Андрей Каретников и Федор Жмурин пришли к этому, они нашли способы, как довести политические основы до тех, кто тянется к революции.

Листовки, и тем более брошюры, были невозможны в Сольве. Они бы скоро попали в руки полиции. Да и

те, для кого они напечатаны, должны были уметь сносно читать.

Собирать большие группы рабочих для устного чтения тоже означало бы провал.

Поэтому было предпринято создание малых групп, Шестерок. Провалится одна группа — уцелеют остальные. Руководители шестерок не должны знать друг друга. И каждый из шестерки не должен знать, что существуют такие же другие.

По тем временам это было большим организационным новшеством.

XXVIII

И вскоре в Сольве возникло семь шестерок. Они составились из рабочих, связанных соседством, дружбой, родством, общими интересами. Собирались каждый раз в разных местах. Летом это было совсем просто. Зимой придумывали гулянки, картежные игры. А некоторые, желая «самоуком одолеть грамоту», собирались почти открыто. Например, Леонид Левитов, по прозвищу Соборный Семинарист, учил якобы грамоте по сороковке водки за урок и читал «изложения».

Изложения писались Андреем и переписывались Любой. Переписывались так, что нельзя было установить почерк, если листы изложения оказались бы в руках даже самого ухищренного разгадчика почерков. Для Любочки были вырезаны трафареты букв. Букв, напоминающих печатные. Любочка накладывала на бумагу трафарет, острием карандаша обводила внутри его вырезанную букву, и так, слово за словом, появлялись страницы.

Работа требовала много времени, терпения и усидчивости, но рука Любы вскоре привыкла выводить печатные буквы без трафаретов, и дело пошло быстрее.

Каждый такой экземпляр обходил все «школы», как называли теперь шестерки, и возвращался для уничтожения. Результаты усвоенного в «школах» сказывались в заводе. Ученик неизбежно становился учителем. Он рассказывал об устоях, на которых держится власть богатых, о том, что все — от завода до последнего гвоздя — создано трудовыми руками, а поэтому и принадлежит всем, кто это сделал. И... никаких призывов

свергнуть, отобрать, вернуть... Зачем говорить то, что напрашивалось само собой? Достаточно было и того, что являлось неопровержимым даже в полицейском участке. Пруд Сольвинский запрудили рабочие руки. Дом, в котором живет купец, построн тоже не им, как и ситец, которым он торгует, выткан ткачами. А то, что купец, а до этого фабрикант получают прибыли и на этом богатеют, не опровергнет и сам отец протоиерей. А вот справедливо ли это — смекай сам.

Этого вопроса обычно не касались те, кто входил в шестерки. И никто их не мог уличить в пропаганде. Ее неувязимость была безупречной.

Безупречным было и знакомство Андрея с главарями сольвинских шестерок — Федором Жмуриным и Никишей Сельцовым. Один — охотник, другой — рыбак, а инженер Каретников одержим и той и другой страстью. Иван Шагасв — не в счет. Он бывает в доме, потому что там его дочь. Что же касалось Соборного Семинариста — Лёвитова, то, во-первых, он племянник протоиерея, а во-вторых, служит при соборе, ведя записи таинств крещения, брака, ведает выдачей метрических выписей и блюдет соборную канцелярию. И выслан он не за политику, а за оскорбление архиерея. Да и выслан без строгого надзора, а просто с глаз долой, без права проживания в губернских городах. Ну а Любовь Шагаеву, барышню в кисее, перекинувшуюся к благородным, никак не заподозришь в крамольных делах.

Так создалось и благополучно действовало ядро революционного подполья Сольвы. И никому пока не приходило в голову, что не охота и не рыбная ловля, и не Любино родство связывают этих различных по возрасту, образованию и сословиям людей.

Андрей Каретников по-прежнему бывал в доме Шаппо-Кожуховского. Римма все еще надеялась, что настанет день, когда белокурый Аполлон упадет к ее ногам и они, прожив до конца ссылки в Сольве, переедут в Петербург, где, может быть, к этому времени умрет тетка Риммы, и завещанное ею наследство позволит осесть им навсегда в столице.

Шаппо-Кожуховский не надеялся, что его ветреная дочь может стать женой разборчивого Каретникова, опекал его потому, что без него теперь невозможно было представить процветание завода и его управляющего. Андрей в свои двадцать шесть лет пользовался уваже-

нием и седовласых инженеров. Они понимали, что Андрей Сергеевич значит и стоит больше, чем он знает и думает сам о себе.

XXIX

Все было лучше, чем ожидалось. Ссылка тоже в конце концов кончится. И если Андрею не дадут жить в Петербурге, он поступит на большой завод. И Люба, неразлучная с Еленой Петровной, сумеет уговорить ее расстаться с дорогими могилами. И она поймет, что нужно жить для живых. Агриппина Лукинична тоже поможет этому. И они продадут дом, который теперь купцы оценивают очень дорого, и обоснуются на новом месте. Может быть, в Москве.

Так казалось Андрею до тех пор, пока не изменились его отношения с теткой.

Елена Петровна прежде была так нежна к нему, по-матерински заботилась о нем, любовалась его лицом, расспрашивала о его работе на заводе, казалось, жила его жизнью, а потом... Потом она отошла от него. Почти не виделась с ним, а если этого нельзя было избежать, старалась не смотреть на него.

Агриппина Лукинична, желая объяснить происходящее, доверительно сказала Андрею:

— Ты тут, Андрюша, ни при чем. И вины перед ней у тебя нет. Вся беда в том, что ты похож на покойного Андрея Николаевича. И не одним лицом, но и голосом. Ростом. Цветом глаз. Хотя они у тебя и синее. И ей трудно вспоминать.

Агриппина Лукинична сказала ему далеко не все, что знала она и что нужно было скрывать от всех и тем более от Елены Петровны.

Она скрыла от Андрея и разговор приехавшего в Сольву после долгих лет доктора Ильи Николаевича Калугина и Елены Петровны. А разговор был совсем не докторским. Может быть, Калугин находил Елену Петровну совершенно выздоровевшей, а может быть, хотел долечить потрясением, как лечили в пансионе. А может быть, он, живя в Москве, узнал то, что известно только двоим оставшимся в живых, не считая Агриппину Лукиничну.

И Ольга Николаевна Вихарева доверила «святую ложь» доктору Калугину, чтобы он, по своему усмотре-

нию, решил, что лучше: скрыть или открыть Елсне Петровне правду.

Строя такие догадки, Агриппина Лукинична поставила в связь, что первый приход Калугина был как бы проверочным. Он, разговаривая о том, о сем, о пятом-десятом, выяснял состояние здоровья Елены Петровны.

А, уходя, сказал мимоходом Агриппине Лукиничне, что от прошлой болезни осталось только белое пятно. В другой приход он вел себя по-иному и начал исподволь, с того, что Андрюша до того похож на Андрея Николаевича Бестужева, что в голову приходит самое немыслимое.

Говоря так, он как бы хотел заставить Елсну Петровну задуматься над этим, зная, что она давно ищет отгадку сходства.

Если бы Елена Петровна слышала это все впервые, а не в сотый раз от тех, кто помнил Андрея Николаевича, кто даже по памятнику называл двух Андреев двумя каплями воды, она, может быть, и не придавала бы значения словам доктора. Но она сама с каждым днем находила новые подробности сходства, даже во вкусах и наклонностях.

И вскоре стало невозможным мертвого видеть живым, жить с ним в одном доме, сидеть три раза в день за столом, слышать знакомый смех.

А доктор Калугин, будто читая ее мысли, утверждал ее в них, завернув опять на часок к Елене Петровне. Теперь он сказал беспощаднее:

— Клянусь, это сын Андрея Николаевича,— и принялся приводить доводы, касающиеся таких подробностей, как особенности зубов, формы ушей и даже сходства в походке.— Я доктор, Елена Петровна, и мой глаз видит и то, на что не обращает внимания всякий другой человек. Строение черепа вашего племянника таково, что мои утверждения не опровергнут и анатомы. Такая схожесть может быть только наследственной.

Затем он, как и в прошлые встречи, повернул разговор на другое и вскоре ушел.

Агриппина Лукинична окончательно недоумевала, зачем нужны добрейшему Илье Николаевичу такие разговоры. И если он знает все, так почему бы ему не сказать прямо. Неужели это в самом деле медленная подготовка к потрясению? А Елена Петровна между тем ста-

новилась приветливее с Андреем. И однажды она сказала Агриппине Лукиничне.

— Андрюша не может отвечать за своего отца и за ветреность его матери. Кузина Анна была так молода, когда ее выдали замуж за человека, очень богатого и весьма немолодого. Она могла и не знать, живя в Москве, что Андрей Николаевич любит меня. А он, такой добрый человек, мог...—задержалась на полуслове Елена Петровна, подыскивая нужное выражение, — мог и «пожалеть» молодую женщину.

Потом она, снова помолчав, сказала:

— Милосердие и добродетель, сострадание и жалость искупают все остальное. Конечно, он не мог любить Анну, любя меня. Но для него было так же невозможным положить камень в протянутую руку. И если уж говорить правду, то разве не я увела его на далекое озеро? Разве не я нашептала ему в камышах о своих желаниях быть обвенчанной до венчания в церкви...

Елена Петровна опять ушла в раздумья, чему-то улыбаясь, снова стала говорить:

— Моя милая Гра, я должна быть благодарна Анне, что мой Андрей Николаевич продолжился в ней моим племянником Андрюшей, и я должна его любить как сына. Как родного сына, потому что он сын обрученного со мной Андрея Бестужева. Не случайно же Анна дала ему это имя. И не все ли теперь равно, какая наседка помогла второму рождению Андрея Бестужева. А он Бестужев, а не Каретников. И ему нужно вернуть фамилию отца.

В глазах Елены Петровны не было и малейших признаков, которых всегда опасалась Агриппина Лукинична. Напротив — в них появилось умиротворение. Она была счастлива, найдя отгадку. И Агриппине Лукиничне хотелось подтвердить ее счастливые заблуждения. Леночка могла бы жить ими до скончания века.

Но все случилось совсем не так. Убежденная в правоте своего открытия, Елена Петровна захотела услышать подтверждение из уст Анны. Ей нужно было только ее «да», и больше ничего. Это «да» нельзя было получить по почте. Нужно было поговорить с глазу на глаз. Видеть глаза Анны. Елена Петровна скажет ей прежде все слова, оправдывающие Анну, она даже поблагодарит ее за то, что когда-то могло бы убить Елену Петровну. И она приготовилась к встрече.

Узнав об отъезде Елены Петровны в Москву вместе с Любочкой от Агриппины Лукиничны, Калугин изумился таким поворотом, который и ему показался счастливым, но всего лишь подготовительным к тому, что Елена Петровна должна будет узнать.

И он сказал прямо:

— Не кто-то, а вы, Агриппина Лукинична, расскажете, не опасаясь, все, что вам известно о рождении Андрея. Теперь это нужно и можно. Об этом просили меня и Анна Васильевна Каретникова и Ольга Николаевна.

Агриппина Лукинична рассказала все.

XXX

В тот год, когда Елену Петровну поместили в загородный пансион, обнаружилось, что больная готовится стать матерью. Кто-то из светил предложил избежать печальной участи.

Но не согласилась Ольга Николаевна, воспрепятствовал и ее муж. Это было бесчеловечным.

Роды прошли в длительном беспомоществе роженицы, и мальчик, названный именем его отца, Андреем, пробыл около месяца в Петербурге у своей бабушки, на руках Агриппины Лукиничны. После поездки в Москву Ольги Николаевны Вихаревой младенец был взят в семью ее племянницы Анны Каретниковой. Каретникова некоторое время провела в подмосковном имении мужа, и никто не знал, что она вернулась оттуда с чужим ребенком.

Состояние здоровья Елены Петровны, ее желание поселиться в Сольве, а потом и переезд туда отрезали возможность соединить уже подросткового Андрюшу с его матерью. Хотя это было и бессердечным, но единственно правильным. Так считали все, и Агриппина Лукинична тоже.

А потом, когда Андрей стал студентом и ему можно было открыть правду, возникло новое опасение. Боялись, что мать, потрясенная встречей с найденным сыном, может разлучиться с ним навсегда. Да и сын, узнав, что его мать вовсе не мать, тоже неизвестно, как отнесся бы к этому.

Опять «ложь оказалась святее правды». Это доподлинные слова Агриппины Лукиничны, которые она не-

однократно повторяла и при Любе и при Андрее. А теперь, конечно, не кто-то, и тем более не Паульдорф, знавший больше, чем думали остальные, а сам бог свел мать и сына в Сольве. Он же послал доктора Калугина, и помог разрубить ему трудный узел, и заставил Елену Петровну навсегда смыть свое белое траурное пятно.

Какой же может быть траур по живому Андрею Николаевичу, вернувшемуся на землю в образе своего сына.

Душа Агриппины Лукиничны была светла и ее темнотой.

Агриппина Лукинична, приводя подробности, словно допроявляла туманную фотографическую пластинку памяти Елены Петровны, и от этого казавшееся галлюцинацией в бреду становилось пугающе счастливой правдой.

Елена Петровна почувствовала в себе, как далекое глухое эхо, родовую боль. В темени пронзительно громко заплакал ребенок. Белесая пелена возникла перед глазами Елены Петровны, и не воображение, которое она гнала долгие годы, а проясняемая ма-Гра память призрачной акварелью рисовали ей забытое в беспмятстве и отвергнутое потом самовнушением. Елена долгие годы убеждала себя, и доктор Калугин утверждал, что не было никакого младенца, а был только бред, и в бреду тоскующее материнство подложило к ее груди плачущее дитя и умолкшее, прикинувшись к ней. А теперь она снова кормила младенца...

Утраченное материнство, стремительно возникая в ней, заполняло ее, растворяя редеющую «летучую грядку» белесой дымки. Младенец все еще не отрывался от ее груди, и не хотелось приходить в себя в залитой солнцем комнате... В себя ее возвратил голос Любы. Напуганная, она впервые обрушилась на Агриппину Лукиничну:

— Ну зачем же, зачем понадобилось так безудержно торопливо потрясать ма тант Эль! Даже во мне все переворачивается и кружится голова. Очнитесь, мама... Мамочка Андрея Андреевича и моя...

Елена Петровна, не открывая глаз, будто боясь, что из них уйдет сон, шепотом сказала:

— Тс... Дай мне докормить своего мальчика и побыть еще несколько минуточек сумасшедшей...

Через несколько минут она, все еще улыбаясь, открыла глаза и шепнула Любе:

— Как это ошеломляюще прекрасно... Ты будешь матерью моих внуков... Внуков Андрея Николаевича Бестужева, моя «Аве Любовь», «Аве Женщина».

И далее Елена Петровна, запершись с Любой и Агриппиной Лукиничной, стала советоваться, как исподволь и осторожно подготовить Андрюшу, чтобы правда о его рождении узнавалась им постепенно.

За это взялась Люба.

— О, это я сумею сделать не хуже доктора Калугина, у меня достанет умения,— сказала она и выболтала Андрею все в тот же вечер.

Андрей, к удивлению Любы, не был потрясен услышанным. Оказывается, и он давно терялся в догадках, когда его называли «вылитым Андреем Николаевичем». Он очень хорошо понял и оценил благородные чувства, которые руководили родной теперь бабушкой Ольгой Николаевной, воспитавшими его теперь не родными отцом и матерью и, наконец, Агриппиной Лукиничной, так долго носившей в себе боль за мать, лишенную сына.

Наутро Андрей пришел в спальню к Елене Петровне и сказал:

— Ты знаешь, мама, есть самый лучший способ выяснения отношений, это — не выяснять их. Они сами выяснятся... Потому что тебе и мне, мама, нужна хотя бы неделя, чтобы не солгать в наших чувствах и не поторопить их.

И мать ответила:

— Ты прав, мой мальчик. Я и сама еще не решаюсь обнять тебя, хотя так этого хочу.

А потом Андрей, заметив, что на лбу Елены Петровны нет белого пятна, сказал:

— Я вижу только хорошее... Верь мне, ведь я же — это ты... Сейчас я это понимаю только головой, а потом пойму каждой своей порой... Всем, из чего я состою... Это, наверно, очень сентиментально, мама... И хорошо, что это так. И если я сейчас заплачу, то это будет тоже...

Не договорив, он бросился к матери, спрятал свое лицо в ее коленях и зарыдал так громко, что было слышно в комнате Любы, где вместе с нею плакала и Агриппина Лукинична.

Доктор Илья Николаевич Калугин появился в доме с букетом цветов, в длинном сюртуке, с коротко постриженной бородкой и в праздничном пенсне с золотой дужкой.

— Ну вот и мой последний, уже не докторский, визит,— начал он еще в передней.— Я принес вам, милая Елена Петровна, искристую микстуру, чтобы разлить ее по бокалам и выпить за исчезнувшее белое пятно, которое столько лет не уходило с высокого и умного лба одной моей пациентки.

Он говорил как никогда приподнято, не подыскивая слов и не боясь выглядеть напыщенным и смешным.

Состоялся счастливый воскресный обед. Андрей сидел между матерью и невестой. Доктора Калугина усадили в принесенное кресло деда Елены Петровны. Агриппина Лукинична и отец Любы сели рядом, беспрестанно чокаясь маленькими рюмками с настойкой и большими бокалами с рейнским вином.

— Если сегодня не напиться, то когда же? — спросил себя и всех присутствующих Иван Никифорович и опрокинул большой бокал красного вина.

За обедом Елена Петровна только один раз коснулась рукой своего лба и тут же оправдалась перед Любой:

— Я это сделала машинально.

Люба первая заметила, что волосы Елены Петровны стали белее. Значит, и радостные потрясения добавляют седину.

После обеда Иван Никифорович свистел всеми головами птиц. Агриппина Лукинична, пошатываясь, отправилась соснуть. Люба и Елена Петровна исполняли дуэты, играли в четыре руки. Доктор Калугин попросил Елену Петровну не отказать ему в туре прощального вальса.

Перед уходом Калугин, принеся из передней свой докторский саквояж, сказал Андрею, что у него есть к нему небольшой мужской разговор, и, попросив извинения, прошел вместе с ним в его комнаты.

Доктор предупредил, что вещь, которую он намерен отдать по принадлежности, сейчас будет вручена. Но до этого предыстория... И он рассказал, как после дуэли, на которой был сражен отец Андрея, убийца бежал, оставив на поляне брошенный им пистолет.

— Вот он,—сказал доктор.—Если он не выстрелит в прямом смысле, то, может быть, в переносном. Я оставляю его вам, Андрей Андреевич Бестужев. Сохраните его и никогда не показывайте своей матери.

Андрей поблагодарил доктора, обнял его и сказал:

— Он непременно выстрелит... И надеюсь, очень громко...

Доктор на это заметил:

— Царь недолговечен, хотя ему, как и многим властелинам, редко приходит в голову, что в мире ничто не проходит безнаказанно.—И тут совсем неожиданно перешел на другое.—А сын мастера Чуева, токарь Григорий Чуев, который к вам так льнет, говорят, человек подлый, лживый и... И человек с переодетой душой.

Перед уходом доктор снял пенсне, протирая его, тоже как бы мимоходом и вскользь сказал Андрею:

— Будущее—ваш союзник, а не враг. Я это знаю твердо. Смотрите вперед!

И, будто закрепляя свои слова, посмотрел через протертые стекла пенсне и, надев его, пожал руку Андрею, затем вернулся к Елене Петровне и Любе.

Андрей, не слушая доктора, думал о том, как много теперь у революции друзей, которые в этом иногда не признаются и себе, но станут под знамя Ленина, тотчас как оно будет поднято над разбуженной революцией отчизной.

Теперь Андрей твердо знал все фамилии величайшего революционера и основоположника партии, в которой он состоял вместе с Федором Жмуриным, Никитой Сельцовым, Леонидом Левитовым, Иваном Никифоровичем Шагаевым, Любовью Шагаевой и другими одиннадцатью, составляющими сольвинскую подпольную организацию.

XXXII

Любочка не могла не рассказать о том, что произошло, своему отцу. А отец не мог не поделиться с самыми закадычными друзьями на заводе, а они—со своими женами. Этого было достаточно, чтобы в Сольве не осталось дома, где бы не рассказывалась быль о найденном сыне. Это было неслыханным, неожиданным и волнующим каждую женщину. Рассказчиков просили повторять прослушанное, ставился шкалик водки, а потом и

другой. Правда обрастала роскошными соцветиями выдумки. Привирали, приукрашая действительное, потому что в народе всегда жило неистребимое влечение к историям, которые неожиданно и счастливо заканчиваются.

Устные рассказы породили рукописные сочинения: «Мать и сын», «Роковая быль», «Голос крови», «Милость господа» и другие, дожившие в архивах до наших дней, послужившие косвенными источниками для этих страниц. В папке «меморий» было несколько таких рукописных повестей. Почти все эти сочинения, наперекор истине, а иногда и опровергая ее, утверждали, что Андрей Николаевич — прямой потомок декабриста Бестужева и что это скрывают те, кому нужно скрывать.

Памятник на Емельяновом увале снова стал посещаться, там появлялись живые и бумажные цветы, кто-то поблизости от него вкопал скамью. С Андреем Каретниковым раскланивались и незнакомые, подчеркнуто называя его Андреевичем.

Поразительно хорошо шли дела у Андрея и на заводе. Шаппо-Кожуховский оказался благодарным человеком и добился в Петербурге «торжества справедливости». Он представил «перечень содеянного на благо процветания и прогресса Сольвинского завода зауряд-инженером А. С. Каретниковым, по выработке холодного оружия и его закалке по новым способам, успешному выполнению заказов железных дорог, по изготовлению ходовых изделий и многого другого, что поименовано и объяснено на сорока восьми при сем приложенных листах».

Листы в Петербурге были прочитаны, оценены и признаны достойными высокой похвалы. Сведения о поведении высланного тоже были заслуживающими одобрения.

Из Петербурга Шаппо-Кожуховский привез Андрею диплом инженера и торжественно вручил его вместе с денежной наградой завода.

Теперь можно было отпраздновать свадьбу, к которой исподволь готовились в доме Глебовых, ожидая бумаг о восстановлении Андрею фамилии, ему принадлежащей. Этого хотела Елена Петровна. Любезный и доброжелательный сольвинский нотариус Сергей Сергеевич Филимонов помог составить прошение «на высочайшее» и подкрепить его необходимыми документами.

Время шло, а ответ на прошение не приходил. Андрей не придавал значения бумагам, которые должны подтвердить не нуждавшееся в этом. Самым достоверным документом было его лицо. Но Елена Петровна считала присвоение подлинной фамилии не простой формальностью: Бестужев должен быть Бестужевым. И зачем Любочке, хотя бы на один день, становиться Каретниковой.

Леонид Левитов тоже считал, что Люба, нося звучную дворянскую фамилию Бестужевых, будет значить больше, нежели безвестная Каретникова. Любе легче будет выполнять партийные поручения и оставаться вне подозрения.

Между тем Левитов позаботился о перемене фамилии Любы и Андрея вне зависимости от того, будут они Бестужевы или нет. Для ядра подполья Левитов на всякий непредвиденный случай заготовил метрические выписки, паспорта, которые могли пригодиться в трудную минуту. В минуту, когда Жмурину лучше стать Вагановым, а ему, Левитову, — Кузнецовым или Елкиным.

Все могло случиться. Самоуспокоенность — злейший из всех самых злых врагов. В Златоусте уже арестовали троих. И если Любочка окажется обрусевшей французской женой, мадемуазель Жюли Гляссе, а Никиша Сельцов — Иваном Кадочкиным, их трудно будет разыскать в огромной империи.

Нужно предвидеть все и даже место хранения паспортов, которое невозможно обнаружить и в то же время легко найти, если его назовешь. Паспорта и метрики Левитов захоронил в трехслойных пергаментных пакетах под кладбищенскими плитами. И стоит назвать имя покойного, как любое доверенное лицо найдет нужный паспорт. Нужный, но не все остальные. У каждого своя плита, свой могильный адрес.

XXXIII

Наконец долгожданный засургученный пакет пришел. Его вручил и доставил чиновник почты. Дрожащими руками вскрыла Елена Петровна большой конверт. Любочка с раскрасневшимися щеками жаждала увидеть и прочесть свою будущую фамилию.

Ответ был обстоятельным, пространным и благопристойным в смысле подбора выражений, каллиграфии и

грамматики. В нем перечислялись статьи законоположений с поименованием параграфов. И в конце сообщалось: «На основании вышеизложенного Андрею Сергеевичу Каретникову, рожденному вне таинства брака, присваивается фамилия его матери Елены Петровны Глебовой».

— Но я же была обручена с ним! — воскликнула Елена Петровна. — Обручена!

— Мамошка, родная моя, — звонко и весело защебетала Люба, еще не зная, что она скажет дальше. А дальше слова пришли сами.

— Я так счастлива, я так рада...

— Чему? — удивилась Елена Петровна.

— Как чему? Разве плохо быть Глебовой? Разве твоя фамилия не самая дорогая для меня?

Утешения приходят тем скорее, чем настойчивее их ищут и хотят.

— И в самом деле, умница моя, — так же весело и обрадованно поддержала Любу Елена Петровна, — тебе и Андрею быть Глебовыми даже в чем-то справедливее. Ведь Андрюша — последний из Глебовых...

— Именно, именно, Леночка, — подтверждая и заливаясь слезами, вмешалась в разговор Агриппина Лукинична. И конечно, как всегда, не обошлось без всевышнего, позаботившегося о продлении многострадального рода Глебовых.

Люба, сказавшая, что ей приятнее быть Глебовой, хотела смягчить в чем-то оскорбительную последнюю строку уведомления, внутренне негодуя на нее. Теперь же, после слов Елены Петровны и бабушки-Гра, Люба, не убеждая себя, убеждалась, что каким бы хорошим ни был Андрей Николаевич Бестужев, он все же для нее оставался беломраморным изваянием. Человеком из воспоминаний, а не живым, как ма Эль — мама, мамочка, мамуся... Мать! И носить ее фамилию — значит, продолжить собой то, что началось на Сенатской площади в незабываемом декабре 1825 года дворянской революцией и завершится пролетарской, социалистической революцией, станет гордостью и честью дочери рабочего Ивана Шагаева — Любови Ивановны Глебовой.

И если родится у нее сын, она назовет его Петром. Петром Глебовым, в честь прапрадеда.

Как хорошо, что она на этой же неделе будет Глебовой.

Назначили день свадьбы. Венчание произойдет в деревянной церкви «монастыря». Там началось Любино счастье, там оно и назовет ее женой Андрея. И, конечно, будет хор. Даже два. Второй — соборный. Это последний крупный расход. Есть надежда, что будет продано заложенное имение. Правда, за него Глебовы получат не так много, и все же — пусть поют два хора. Лучше сэкономить на чем-то другом.

Как все просто было при Несторе Валерьяновиче. Но что думать об этом теперь, когда все мысли должны быть о свадьбе. Ею и нужно жить все эти последние счастливые дни.

Ею и жили все в доме Глебовых, близкие к нему и далекие от него. Для Сольвы эта свадьба будет событием. Предприимчивый Савватий уже торговал жетонами на право входа в его «деревянную церковь». Его проклинали за это, называли самыми солеными словами, но жетоны покупали. Они особенно поднялись в цене накануне свадьбы и обещали вдвое подорожать в день венчания.

Но этого не произошло. Зато произошло другое, что было названо «роковым» даже людьми, далекими от суеверия. Не было в Сольве дома, семьи, где бы не вспоминались, не сравнивались и не ставились в одну строку все тягостные события в доме Глебовых, которые повторялись из поколения в поколение. Повторилось и крушение свадьбы.

Ночью громко залаяли Нельма и Мокко. Нельму зарубили окружившие глебовский дом полицейские. Жандармы арестовали Андрея, увезли на станцию. Обыск длился до утра. Конфисковали ленинские книги, «Капитал» Маркса на немецком языке, рукописный «Коммунистический манифест», вырезки из газеты «Искра». Взяли, потом вернули дуэльный пистолет.

Любу едва удалось привести в чувство. Елена Петровна как никогда оказалась тверда и мужественна. Может быть, страх сойти снова с ума оказался сильнее постигшего ее горя.

В эту же ночь поднялась на ноги чуть ли не вся Засольвинская улица, на которой жил Федор Жмурин. Рабочие оцепили дом Федора, где шел обыск, и требовали выдачи арестованного. Жандармам пришлось

ждать восхода солнца. При свете защитники Жмурина порешили. Оставшиеся тоже побоялись быть арестованными и не решились на рукопашную. Обошлось без выстрелов. Только одному рьяному полицейскому чину проломили камнем голову.

За Никитой Сельцовым пришли на рассвете. Его не оказалось дома. Он «уехал на рыбалку» и не вернулся оттуда. Отсидевшись в сене у соседей, он связался и встретился с уцелевшим Леонидом Левитовым. Получив от него новые метрики, паспорт и одежду, благополучно бежал.

Агриппина Лукинична в ту ночь, отчаявшись, но еще надеясь на чудо, молилась в «царевой чижевке», требуя у Спасителя спасения. Ее, окоченевшей в земном поклоне перед старой иконой «Нерукотворного спаса», нашел Иван Никифорович Шагаев. Его не тронули, как Левитова, как и остальных из «ядра».

Сын мастера Чуева, Гришка Чуев, заподозренный в предательстве, сбежал из завода утром, как только увидел на скобе калитки своих ворот белый крест из бересты. Хотя, как выяснилось потом, он не был виновником ареста, и его доносы в полицию содержали только ничем не доказанные подозрения. Но, видимо, Гришка, веря, что аресты — дело его рук, не стал дожидаться «тихой кары». О нем как о провокаторе знали во всех шестерках.

Каретникова, Жмурина и Сельцова выдал на допросе златоустовский табельщик. Он из всей сольвинской организации знал только их троих. Так предполагал и не ошибся в своих подозрениях Левитов.

После похорон Агриппины Лукиничны отец Любы перебрался в глебовский дом. Старик, ожидая ареста, торопился с наставлениями дочери. Первое, что нужно было сделать, — продать проклятый дом и уехать из Сольвы. Он в эти тяжкие дни не терял веры в побег Андрея и говорил, что теперь большие деньги нужнее всего на свете. Елена Петровна думала так же и повторяла когда-то сказанное сыном: «живые должны жить для живых». Она тоже верила в силу денег и надеялась купить на них свободу сыну, а затем помочь ему бежать за границу.

Любе предстояла трудная поездка.

А пока нужно было узнать, в чем обвиняется Андрей и что ждет его.

Об этом должна была спросить Люба в губернском жандармском управлении, куда, как сказал арестовавший Андрея офицер, «будет препровожден господин Глебов-Каретников, арестованный на предмет дознания».

XXXV

Вслед за Любой уехал в епархию и Леонид Левитов. Он обещал разыскать там Любу и постараться узнать и то, чего она не сумеет выяснить.

Пусто, глухо и страшно в злополучном доме. Беспокойные тени минувшего да неумолчное эхо родных голосов не оставляют Елену Петровну. Не стало и любимца Андрея — шоколадного ласкового Мокко. Он убежал за жандармской каретой и не вернулся.

Злой, опостылевший дом, с тобой нужно расстаться!

После отъезда Любы Елена Петровна, посоветовавшись с нотариусом Филимоновым о продаже дома, попросила его стать посредником и взять на себя труд по выяснению цены и самой процедуры, связанной с продажей. Сергей Сергеевич, не похожий на делового человека, чем-то напоминающий рано состарившегося мальчика, назвал самую меньшую цену, но и она показалась Елене Петровне чудовищно преувеличенной. Тогда Сергей Сергеевич последовательно и терпеливо доказал Елене Петровне, почему самый лучший дом в Сольве, принадлежащий золотопромышленнику Приказчикову, стоит вчетверо дешевле старого деревянного дома Елены Петровны, находящегося на базарной площади. Он, повторив много раз сказанное, назвал и привходящие обстоятельства. В число этих многих привходящих обстоятельств входили две ежегодные ярмарки, которые с будущего года будут происходить на базарной площади, прокладка ветки железной дороги, углубление нижнего течения реки Сольвы для мелкосидящих судов и предполагаемое расширение завода, а вместе с этим и увеличение народонаселения.

Равнодушная к деньгам, Елена Петровна теперь боялась продешевить и сказала Сергею Сергеевичу, что она отблагодарит его за каждую лишнюю выторгованную им тысячу. Филимонов обещал покончить с продажей не позднее трех-четырёх недель. Для этого у него, не сорящего словами, были основания. И, наверно бы, он выполнил обещанное, но вернулась Люба, и пришла тре-

вожная телеграмма о безнадежном состоянии здоровья матери Елены Петровны. Поездка в Петербург стала дважды неминуемой.

Люба привезла неутешительные сведения. Андрею и Федору Жмурину во всех случаях предстояла ссылка. И при лучшем исходе Андрей мог быть приговорен к ссылке на пять лет, а Жмурин, как судимый впервые, на меньший срок, но тоже в дальние губернии Сибири.

Следователь жандармского управления в разговоре с Любой сказал, что дела всех арестованных пересланы в Петербург на утверждение его превосходительства Паульдорфа.

Следователь, не то издеваясь, не то желая сделать доброе для Любы, сказал, что у нее есть возможность встретиться с его превосходительством, чтобы вернуть ему дуэльный пистолет, если он в самом деле, как было заявлено при обыске, принадлежит тому лицу, которое было названо. Смеялся над нею следователь или нет, Люба не знала, но все же она возлагала надежды на Паульдорфа и считала, что возвращение ему его оружия может пробудить совесть у Паульдорфа, которая должна быть у каждого человека. И его совесть однажды уже пробуждалась в письме к Елене Петровне. Пробуждалась, может быть, и притворно. А может быть, и нет. Он ведь мог и не посылать это письмо и не ссылая Андрея в Сольву. Нужно использовать все и не гнушаться ничем.

— Нам теперь не до гордости, Люба,— подтвердила в вагоне Елена Петровна.— У нас одна цель — спасти Андрея. Любой ценой. И любыми унижениями.

Матери не позорно стать на колени перед убийцей, лишь бы...

Ее голос и рыдания, так долго копившиеся и сдерживаемые ею, заглушил шум поезда, проходящего через мост.

XXXVI

Следователь не обманул. Дела арестованных в Сольве, Златоусте, Екатеринбурге, Челябинске были пересланы в Петербург и не кому-то, а Паульдорфу, «опекающему» уральские и приуральские губернии.

Когда офицер, ведающий приемом посетителей, назвал Паульдорфу знакомую фамилию, он не сразу ска-

зал свое «проведите». Ему нужно было выпить воды, умерить участвовавшее дыхание, что он и сделал.

К нему вошла сухая седая старуха. Узнать в ней ту, которую он любил, было почти невозможно. Только ее большие ясные и все еще юные глаза говорили, что жизнь теплится в ней.

Елена Петровна отказалась от предложенного ей кресла. Напрягаясь, она тем же знакомым голосом, никогда не перестававшим звучать в памяти Паульдорфа, сказала:

— Ваше превосходительство, я хочу вернуть принадлежащее вам...— Вместе с этими словами Елена Петровна вынула из муфты дуэльный пистолет и положила его на стол.

Ошеломленный таким началом разговора, Паульдорф спросил:

— Зачем это теперь мне, милостивая государыня Елена Петровна?

Елена Петровна ответила фразой, приготовленной еще в поезде:

— Может быть, вы, ваше превосходительство, захотите добить остальных... Или, может быть, этот пистолет подскажет вам что-то еще...

Елена Петровна откланялась и готова была повернуться к выходу, потому что все сказалось гораздо короче и выразительнее, чем она ожидала.

— Милостивая государыня, клянусь именем государя императора, — Паульдорф повернулся к портрету царя в золотой раме. — Я сделаю все, зависящее от меня. Я уже многое смягчил, — солгал он, — приказав считать незаконными требования прокурора приговорить вашего сына к семи годам каторги.

Елена Петровна поклонилась и выдавила из себя:

— Я верю вам, граф Юрий Кириллович, — и, еще раз посмотрев на пистолет, лежащий на столе, ушла.

На другой день в квартире покойной матери Елены Петровны появился тот же офицер, что докладывал Паульдорфу о приходе Елены Петровны. Он, попросив аудиенции у милостивой государыни госпожи Глебовой, сообщил:

— Его превосходительству пока удалось добиться замны каторги вашему сыну поселением под надзор в Енисейскую губернию.

Офицер врал от имени Паульдорфа. Андрею и не

присуждалась каторга. И если б Паульдорф хотел, в его власти было снизить степень наказания.

— Имею честь, милостивая государыня госпожа Глебова,— откланялся офицер и ушел.

Поселение — это уже надежда на побег. Это не кандалы, не тюремное заключение. Елена Петровна рвалась в Сольву, как будто ее приезд и немедленная продажа дома могли приблизить день побега сына. Как будто там, в Енисейской губернии, куда еще не был отправлен Андрей, кто-то ждал денег за побег ее сына. И все же как бы ни был наивен план Елены Петровны и Любы, он был возможен и осуществим.

XXXVII

Елена Петровна появилась в Сольве почти через месяц. Нужно было подписать все необходимое, чтобы вступить в права наследства матери. Нельзя было пренебрегать и теми небольшими деньгами, которые теперь заключали в себе так много надежд.

В Сольве давно поджидали хозяйку покупателя дома. Нотариус Сергей Сергеевич Филимонов назвал две цены, и каждая из них была вдвое больше той, что при отъезде казалась невероятной.

Нужно было только решить, которую из них взять. Ту ли, что на десять тысяч выше, но половина векселями, или меньшую, но верную, из верных рук торгового дома сыновей Агафоновых.

— Меньшую,— сказала Елена Петровна.

И когда вопрос был решен и купчая крепость была подписана, возникло неожиданное препятствие. Нотариус получил уведомление, в котором утверждалось, что госпожа Глебова не может распорядиться единолично наследственным домом, принадлежащим теперь не только ей, но и ее сыну. Затем следовала юридическая казуистика о необходимости проверки, лишен или нет права наследования и права владения недвижимым имуществом приговоренный к высылке Каретников-Глебов.

И наконец ставилась под сомнение вообще продажа дома, «могущего подлежать» безвозмездной передаче казне.

Елена Петровна едва не опустила руки, но пришло письмо от Андрея. Письмо явно вскрывали и читали. Андрей просил, чтобы мать и Люба не беспокоились, по-

тому что ничего особенного не произошло. Его всего лишь переселили из-под одного надзора полиции под другой на новое место, у которого свои прелести и свое будущее.

Женщины вчитывались в каждую строку и старались уловить и понять не то, что написано в строках, а то, что за ними. Он, между прочим, писал, что в «Енисейске хотя и не так тепло, как в Женеве или Риме, но красот достаточно и здесь». Описывая величие Енисея и его окрестностей, он сожалел, как пока еще глух этой край. «...Сольва отсюда выглядит столицей»,— писал он и сравнивал ее со Швейцарией.

Люба и Елена Петровна между тем прочитали то, что нужно было прочесть. Невольно припомнился его разговор о том, что если в России жизнь станет окончательно невозможной, то он сбежит в Швейцарию. Андрей показывал на карте, как это просто сделать. Его план тогда выглядел по-мальчишески несерьезным. Так мог рассуждать только ищущий приключений гимназист четвертого-пятого класса. Он говорил, что переплыть через Черное море на лодке проще, чем кажется, что турки на феодосийские берега доставляют на фелюгах дрова и готовы за несколько золотых захватить желającego оказаться в Турции.

Этот разговор не вспомнился бы Елене Петровне, если бы в письме Андрея не было таких строк:

«Широченный Енисей хотя и нельзя сравнить с Черным морем, и все же его переплыть на баркасе в ветреную погоду труднее, чем совершить на фелюге путешествие из Феодосии в Синоп».

Рассказав о Енисее, он рассказал и о себе:

«Сельцо, к которому я приписан, могло отравить мне жизнь. Но нынче везде есть предприниматели. И трое из них, узнав, что я инженер, сделали мне выгодные предложения. Один пригласил на свой кожевенный завод, что явно мне не подходит. Второй, желая стать монополистом лесопильного дела, предлагает мне значительные деньги, чтобы я помог ему превратить его маленькую лесопилку в настоящий лесопильный завод. Это уже мне более подходит. Третий мечтает, чтобы его телеги были самыми дешевыми и самыми прочными. Он согласен взять меня пайщиком и купить мне право на проживание в Енисейске. Только теперь я понял, как много значат деньги».

Письмо перечитывалось несколько раз, и каждый раз Елена Петровна твердила Любе, что не следует отчаиваться:

— Нужно напрячь все силы и победить.

Начались новые хлопоты. Поездка к губернатору. Поездка в Петербург. Месяц волнений и тревог. И, наконец, признание единоличного права на продажу дома Еленой Петровной.

Предписание, отправленное на имя губернатора, должно было пройти по всем ступеням субординации и через уездное начальство поступить к нотариусу Филимонову. Казалось бы, теперь уже неоткуда ждать неприятностей.

Елена Петровна и Люба снова вернулись в Сольву, в ненавистный уже проданный дом. Проданный, казалось, со всем пережитым и выстраданным в нем.

— Наконец-то мы отмучились, Любочка, — радовалась Елена Петровна, уставшая после тяжелой дороги. — Еще несколько дней, и мы навсегда расстанемся с этой «царевой чижовкой». Живые должны жить для живых, — повторила она слова Андрея, ставшие для нее девизом. — Да, да, Любочка, для живых, — еще раз повторила она, потом, вздрогнув, схватилась рукой за сердце и перестала дышать.

XXXVIII

Причину смерти всегда установить легче, чем предупредить. Доктора очень подробно, и по-латыни, и по-русски, объясняли, что произошло с сердцем Елены Петровны, и даже доказывали, что иначе и не могло быть, что можно удивляться, как она так долго держалась, сопротивляясь стольким потрясениям.

Разрыв сердца, тогда еще не называвшийся инфарктом, нашли тоже закономерной наследственностью. Так умерли дед Елены Петровны и бабушка Мария Клавдиевна. Словом, с точки зрения медицинской науки, внезапная смерть была естественной. Оказывается, Елена Петровна должна была благодарить небо за то, что уход из жизни был скорым, неожиданным, и она не успела посмотреть смерти в глаза.

Можно представить, что творилось с Любой. Ее горе было таким безутешным, что Любовь Ивановна и позднее избегала рассказывать об этом.

Елену Петровну похоронили рядом с Андреем Николаевичем. Похороны не обошлись без множества зевак, для которых они стали зрелищем. Было немало таких, кто опять принес в своих платочках невыплаканные слезы и кому хотелось в плаче и причитаниях разрядить душу.

Это можно простить. Не все же жаждущие острых зрелищ могли бывать в театре, которого тогда и не существовало в Сольве, как и первого электросинематографа «Прогресс», который появится там только через семь лет и на восьмой год сгорит.

Цинизм заключался не в этом, а в том, что на похороны пришли все, кого интересовало — кто наследник, кому будет принадлежать глебовский дом, с кем теперь продолжать торг?

Знать об этом хотели и те, кто не собирался и не мог купить дома, те, кого интересовало само развитие событий. Выразимся театрально — интересовал сюжет «спектакля», последнее действие которого и развязка скрывались за темным занавесом неизвестности. И догадливейший Шаппо-Кожуховский, и всезнающий пристав разводили руками. Нотариус, который мог бы знать больше других, уехал по делам в Оренбург. По лицу Любы ничего нельзя было прочесть. Едва ли она могла скрыть, если бы что-то знала.

Власти были обязаны сделать опись оставшегося имущества, опечатать ценности и дом впредь до выяснения наследников. Люба и ее отец должны были выехать из дома Глебовых, жильцами которого они по документам не числились.

Опись началась сразу же после похорон, а до этого возле дома и в парке были приставлены надежные глаза. А вдруг да «глебовская приживалка» — иначе теперь ее не называли — прихватит ценности. Люба, как известно, не была удочерена. Замужество не состоялось. Значит, она никто, как и ее отец.

Теперь вспомнилась вся глебовская родня. Из этой родни могла быть наследницей только мать Андрея, Анна Каретникова. Но она теперь не мать, коли Каретников не Каретников, а внебрачный сын Елены Глебовой.

Пораженный в правах, как выяснилось, Андрей тоже не наследник. И все сходилось на том, что дом перейдет в казну и будет продан с торгов.

А пока заинтересованные лица корыстно или зрелищно строили догадки, в доме шла опись. Сюда пришли чины, которым положено быть, понятыми назначили людей, известных и уважаемых. Переписывалась каждая мелочь. Переписывающие следили друг за другом, чтобы что-то не миновало описи, не попало кому-то в карман. Колечко с голубым бриллиантом и то корова, а может, и две. Особенно следить нужно было за полицейскими.

Собственностью Любы не признавали даже подаренное ей. На это мягко и резонно было сказано, что после свидетельских показаний суд вернет все до мелочи и даже присудит какую-то долю за уход, как не получавшей жалованья.

Это было невыносимым для Любы. Какое жалованье? За что? Разве она не была и не осталась дочерью Елены Петровны, женой ее сына, хотя и не венчанной?

А опись и опечатывание мешков с вещами продолжалось. Любе не позволили оставить дом, когда она ринулась к двери. Она должна была подписать акт, чтобы потом не возникло ничего непредвиденного.

— Теперь не так уж долго, почтеннейшая,— успокаивал ее пристав.— Еще часик, и вы свободны.

Оставалось совсем немного. Нужно было вскрыть дедовскую палисандровую шкатулку, где хранились фамильные ценности, а затем переписать, прошнуровать и опечатать бумаги, письма, хранившиеся в письменном столике покойной. Но в этот последний час, как в хорошо разыгрываемой трагедии, как, впрочем, не могло быть иначе, в дом ворвался младший из торгового дома братьев Агафоновых, купец первой гильдии, известный на всю губернию скандалами, рукоприкладством ко многим щекам их высокоблагородий.

Он ворвался в дом и заорал на пристава истошно громко:

— Вон из моего дома...

XXXIX

У младшего Агафонова была на руках купчая и предписание из уезда, начинавшееся: «По приказанию его высокопревосходительства генерал-губернатора...» и кончавшееся словами: «...на основании вышеизложенного продажа названного дома является состоявшейся».

Претендентами на дом была еще сделана попытка признать «купчую» незаконной, как «подписанную умопомраченной». Но это уже не имело значения хотя бы потому, что не стало самого дома. Он был снесен Агафоновым так быстро, что жалобы едва ли за это время могли дойти до губернского города.

Люба поняла, что не они с Еленой Петровной добились утверждения продажи дома, а он — купец первой гильдии — Агафонов, властелин куда более страшный и сильный, чем сам губернатор.

Нотариус Сергей Сергеевич помог Любе перевести агафоновские деньги в «благополучнейший и пренадежнейший банк» и получил обещанное Еленой Петровной вознаграждение.

Люба объявила в Сольве, что переезжает с отцом на местожительство к старшему брату в Златоуст, имея в виду пожить у него несколько дней, а затем незаметно отправиться в Москву, к Анне Васильевне Каретниковой. Там она изыщет способы для побега Андрея из Енисейска. Но способы нашлись скорее, будто в самом деле вместе с разрушенным глебовским домом ушло все страшное и впереди ожидало только хорошее.

В Златоусте Люба встретила перекочевавшего туда Леонида Левитова. С него-то и началось все, что потом так счастливо закончилось. Оказывается, при его содействии из ссылки уже бежал Федор Жмурин. Побег же Андрея он считал «проще простого».

— В империи все покупается и все продается, — сказал он и посоветовал Ивану Никифоровичу отправиться в Енисейск на правах отца невесты Андрея.

Левитов очень подробно рассказал Ивану Никифоровичу, как нужно объяснить свой приезд, как следует вести себя. Он должен был прицениться к домам в городе, а может быть, и за какой-то из них дать небольшой задаток, чтобы по приезде с дочерью поселиться в Енисейске. Разузнав, как обстоят дела, кто может быть полезен, Иван Никифорович вернется в Златоуст, расскажет обо всем.

После этого в Енисейск отправится Леонид Левитов и доведет дело до конца.

По железной дороге до Красноярска путь скорый. От Красноярска до Енисейска по реке рукой подать. И все произошло как по-писаному.

В Енисейске искать Андрея долго не пришлось. Он

ждал Ивана Никифоровича. Иван Никифорович приехал открыто, сообщив пространной телеграммой о желании поселиться с дорогим зятем и милой дочерью. По приезде Иван Никифорович заявился в полицию:

— Хочу, ваше высокоблагородие, — почтительнейше начал он разговор с малым полицейским чином, — спросить вашу честь, дозволено ли будет обосноваться мне и дочери моей вместе с зятем нашим, высланным под ваш всемилостивый надзор.

Иван Никифорович произвел очень хорошее впечатление в полиции, особенно после того как пригласил «не поморговать и отведать в благопристойном заведении енисейской ушницы».

Ушица была отведена, деньги за содействие в поиске и покупке дома были взяты как должное. Андрею было разрешено проживание вместе с Иваном Никифоровичем. Пока все шло по плану, намеченному Леонидом Левитовым, если не считать встречи, которую не мог предвидеть Левитов. Встречи с человеком, давно забытым в Сольве и бежавшим из нее.

Эта встреча испугала обоих старых знакомых. И больше, кажется, испугала не Ивана Никифоровича, а лицо, встреченное им. И было чего бояться ему, потому что этому предшествовала другая его встреча — с Андреем Андреевичем Глебовым, в котором бежавший из Сольвы сразу же узнал сына убитого на дуэли Андрея Николаевича Бестужева. И вспомнилось все... И Паульдорф, и белые берестяные кресты на скобе ворот. Эти преследовавшие кресты заставили его очутиться в Енисейске, а теперь снова возникли перед глазами.

Не по его ли душу приехал старик Шагаев?

XL

Состарившийся сольвинский пристав дослуживал в тюрьме последний год. Больших чинов достичь ему не удалось, скопить на старость тоже было не из чего. Большая семья, сын пьяница, дочь, связавшаяся с уголовным и бросившая отца. На его попечении остались внуки, старая жена да еще ее сестра. А служба такая, что не с кого и нечего взять. Одни арестанты.

Сначала Иван Никифорович не знал, как держать себя с приставом, а потом, видя, что Хмарчук ничем не может ему угрожать, а полезным оказаться может, стал

встречаться с ним. И видя, как он жадно ест, как трясется его рука, когда берет он рюмку, подумал, не станет ли этот иуда спасителем Андрея. С каждым днем эта мысль становилась настойчивее. И однажды Хмарчук сам начал разговор, к которому не знал, как приступить Иван Никифорович.

Хмарчук начал с того, что жить здесь нелегко, а служить и того труднее. За каждым не уследишь, а за каждого в ответе.

— Бегут? — спросил Иван Никифорович.

— И как еще! Это не старые годы, когда кругом тайга да топь, да тысячи верст на своих двоих. Железная дорога рядом. Паспорта дешевле грибов. Портной сошьет любую одежду. Хочешь гусаром нарядит, хочешь — попом... И езжай себе до самого Питера... А тебя в чине понизят, а то и на выsidку определят. Окаянная стала наша служба... Не приведи бог...

— Да-а-а... — посочувствовал Иван Никифорович. — И главное, пострадать можешь ни за понюх табаку.

— То-то и оно, — махнул рукой и едва не прослезился Хмарчук.

Дома об этом Иван Никифорович подробно рассказывал Андрею.

— Не провокация ли?

— Не исключая. Но если и так, все равно нужно продолжать «дружить».

И снова встреча за встречей. Отношения становились короче и яснее, намерения сторон — понятнее, взаимная полезность — несомненное. Наконец Иван Никифорович спросил у Хмарчука прямо:

— А что, если бы тебе, Семен Евсеевич, предложили десять тысяч рублей наличными, можно ли бы... Это самое.

Хмарчук переспросил:

— Десять? Наличными? Да кто же их может дать...

— Да кто никто, а если бы... К слову.

— К слову, слова — дым!

— Без огня-то ведь он не бывает...

— Это все так, Иван Никифорович... Посул, что стул, выдернут его из-под тебя, и ты на полу.

На этом тот и другой разговор замяли, а через несколько дней Хмарчук пригласил Ивана Никифоровича на «променады» и, уведя его на берег Енисея, сказал:

— Пятнадцать наличными. Я не один. Будет все.

Пять тысяч вперед. Десять в Красноярске. За паспорт две сотни особо.

Такой быстроты не ожидал и Андрей. Взвесивши все возможные неожиданности, подвохи и прямое предательство, решили поверить приставу. Он во всех случаях потерял бы деньги. Это первое. А второе — зачем ему затевать такую сложную провокацию, если он теперь же может предупредить побег. Да и какая польза ему, если пойманного Андрея закуют в кандалы и накажут каторгой.

Но все же риск был немалым. Решили вызвать Левитова в Красноярск телеграммой, из которой он мог понять, что ему нужно сделать. На другой день пришел ответ. «Все здоровы, деньги для покупки дома перевела в Красноярск, твоя Люба».

Через несколько дней Иван Никифорович встретился с Левитовым. Он тоже верил приставу, но предупредил, что Андрей должен исчезнуть из Красноярска и спустя несколько недель отправиться в Москву из другого города.

Вернувшись из Красноярска, Иван Никифорович встретился с Хмарчуком, сказал, что привез деньги, и спросил, когда и как удобнее их можно вручить Семену Евсеевичу.

Прошло еще несколько дней. Хмарчук принес паспорт на имя Алексея Ивановича Сухарева с приметами Андрея и попросил только двести рублей, как и было условлено. А через неделю Андрею было принесено письменное разрешение на выезд в Красноярск, чтобы проводить и усадить в поезд своего престарелого отца. Это уже была вторая улика против Хмарчука, исключая предательство. Ему были вручены пять тысяч с переписанными, по совету Леонида Левитова, номерами. И в тот же день вечером они сели на пароход. Пристав оказался там же.

В Красноярске Андрей затерялся в толпе на пристани. Его встретил предупрежденный телеграммой Левитов. Хмарчук не удивился этому.

— Не верите все-таки, Иван Никифорович?

— А вам-то не все ли равно, любезный Семен Евсеевич? Пуганая ворона и своей родной матери боится. Я-то ведь при вас, а деньги при мне, хотя и в казначействе. Выпьем напоследок, а завтра — полный расчет.

Ивану Никифоровичу хотелось оттянуть время, что-

бы дать возможность Андрею укрыться, а может быть, и уехать из Красноярска. Хмарчук же, не веря, что ему доплатят еще десять тысяч, считая, что он получил их без того предостаточно, решил воспользоваться последней даровой попойкой.

Когда же обещанные деньги были вручены, Хмарчук не только прослезился, а завыл.

— Иван Никифорович, плюнь мне, плюнь в бесстыжие глаза. Я ведь до последней минуты «не верил тебе»,— хотел он сказать, а сказал:— Боялся, что нас проследят. А все обошлось лучше лучшего.

Он судорожно спрятал деньги за пазуху, потом, вдруг побледнев, сорвался с места и стремглав кинулся в переулок. Это насторожило Ивана Никифоровича, ему и в голову не пришло самое простое, что в подлой душе Хмарчука сверкнула страшная мысль: «А не отнимут ли деньги? Не подстерегает ли его Левитов, а может быть, и не один он?»

Поспешил скрыться и осторожный Иван Никифорович. В нем тоже зародилось не очень веселое подозрение: «Не побегал ли Хмарчук, чтобы предать, поймать и...» И, не дав развиваться этой мысли, крикнул извозчика и велел ему:

— На вокзал!

На вокзале он пересел в другой извозничий фаэтон и умчался за город. Он провел в лесу бессонную ночь, чтобы утром добраться до ближайшей деревни, нанять лошадей и отправиться до первой от Красноярска станции. Там он сел на поезд и благополучно прибыл в Москву, где его ждала Люба.

ХЛІ

Через десять дней в вагоне первого класса ехали два чиновника с бородками. Один в пенсне, как у доктора Калугина, другой, младший по чину,— в старомодных очках.

Чиновников никто не задержал в пути, никто не проверял у них паспортов, и они, не заезжая в Москву к Каретниковым, где могли их ожидать жандармские сюрпризы, проехали в Крым.

В Крыму, неподалеку от мыса, меняющего по несколько раз в день свой цвет и названного за это Хамелеоном, у подножия скал Карадага, там, где теперь в

зеленом оазисе разнотильные дома образовали шумный и пестрый курортный ансамбль, сохраняющий до сих пор звучное имя Коктебель, был пустынный, каменный, с песчаными отмелями берег. Сюда-то и прибыла турецкая фелюга, «зафрахтованная» в Феодосии слегка картавящей мадемуазель Жюли Гляссе.

Фелюга пришла на закате. Счастливым, скрывающимся меж камней, нужно было теперь дожидаться стремительно наступающей здесь темноты и покинуть свое убежище.

Заря недолго испытывала терпение Любы, но все же успела поиздеваться над нею. Люба, привыкшая за годы жизни в глебовском доме к несчастьям, обрушивающимся с жесточайшей неожиданностью в самые счастливые минуты жизни, не справлялась теперь с болезненной мнительностью.

Как-то уж очень скоро старик турок согласился доставить на тот берег «живой груз» и подозрительно мало попросил за это. Две, только две золотые десятирублевые монеты! Не ловец ли он контрабандистов и подобных им, желающих незамеченно и противозаконно оказаться за морем. Не доставит ли он их в своей фелюге в тенета господ паульдорфов, каких становится больше и больше с каждым годом. Эти многоликие господа из тайного сыска могут предстать в любой личине. В личине подвыпившего купчика, портового грузчика и, наконец, старика турка... О проклятая мнительность, сколько светлых дней юности отравила ты и отравляешь теперь этот долгожданный вечер...

Полно, полно, Любочка... Пусть тебя не пугают прошедшие по берегу двое неизвестных. Это не филеры, не паульдорфские бульдожки. Это рыбаки из деревни Нижние Отузы... Не бойся и таинственных шорохов. Это твой доброжелательный союзник — ветер. Он шевелит листву дикой маслины.

Полно, полно тебе, милая. Не так прост Леонид Левитов. Многому научила Сибирь и твоего Андрея. У них новые многозарядные пистолеты и кляпы. И если старик турок изменил бы курс направления своей фелюги, то... То Андрей и Левитов нашли бы способ помочь ему не сбиться с известного им, проверенного и перепроверенного румба. Нет, нет, милая Любочка, гони от себя коварную мнительность. Лучше предпочти в эти минуты ожидания утешительно лгущее суеверие. Глебовский

дом сломан до основания, до последнего злополучного камня его фундамента. На его месте уже поднялся первый этаж огромного магазина младшего Агафонова, вчера, кстати говоря, женившегося на барышне, уже начавшей убавлять свой возраст,— на Римме Шаппо-Кожуховской. И все горести вместе с купленным домом перейдут к ним.

Не бойся, Любочка, побудь часок наедине с самыми хорошими ожиданиями и самыми светлыми надеждами.

Ты пока не знаешь, но тебе станет известно в пути, как несчастен и как беден старик турок. У него шестеро голодных внучат и три дряхлые жены. Ему так нужны эти две золотые монеты. И он больше тебя боится, чтобы что-то не случилось...

Ничего не случится плохого. Верь, «Аве Любовь», «Аве Женщина». Вон они уже подходят. И тот и другой. Еще две-три минуты, и попутное дуновение доброжелательного ветра, которому ты, кажется, тоже полюбились, светлая душа, счастливо умчит старую посудину за горизонт, в нейтральные воды, и твой Андрей встретится, обязательно встретится с ним, услышит его голос, так знакомый вам по огненным строкам книг, брошюр, журнальным статьям, листовкам, зажигающим огнем пролетарской революции тысячи душ, таких же прекрасных, как твоя душа, Любовь Шагаева-Глебова-Бестужева-Гляссе...

В этом 1904 году Владимир Ильич Ленин соберет в Швейцарии большевиков. В этом году состоится историческое «совещание двадцати двух». Оно коснется потом и тебя, и Андрея, и Леонида Левитова, вооружит вас, вселит новые силы в победу рабочего класса, в неизбежность пролетарской революции.

А теперь в путь! В путь, Любочка! Посмотри, как черно ночью Черное море, как ясны звезды, как точно по ним ведет свою фелюгу старый турок Кемаль. Спой, Любовь! Тебя уже не услышит Паульдорф. Не услышит не потому, что он далеко. Он гораздо дальше, чем ты можешь представить. Он получил свой «берестяной крест» и следующее за ним. Это сделал анархист-террорист, однофамилец бабушки-Гра, Балакирев. Если б жива была Агриппина Лукинична, то, конечно, снова бы повторился знакомый рефрен о видящем правду и наказующем зло. Пой же, пой, Люба: «Нелюдимо наше море...»

Цель оказалась ближе, время короче, и путь легче.

Когда фелюга врезалась в песок турецкого берега, когда счастливицы ступили на него, у Андрея вырвалось:

— Теперь-то уж мы увидим тебя, учитель...

Он не слышал своих слов, ему казалось, что он не произносил их, а всего лишь подумал так. Но Левитов сказал:

— Как странно, Андрей, сейчас ты повторил из слова в слово мою мысль... Значит, мы найдем и увидим.

«На пути до Женева было еще много препон, и это было преодолено. Мы бежали из России, чтобы спастись. Мы спаслись, чтобы вернуться в Россию. Мы вернулись, чтобы бороться. И первой нашей открытой борьбой стало участие в революции 1905 года. Ленин тогда приехал в Петербург. С этого началось и продолжилось все. С этого начались и продолжились мы...»

Такой записью Любови Ивановны Глебовой заканчивается последняя тетрадь папки «Сольвинские мемуары».

* * *

Этой главой можно считать законченным и мой небольшой роман-пересказ, и мне, наверное, не следовало бы приписывать к нему строки о том, как я побывал в Сольве у Любови Ивановны, где она проводила лето в семье своего сына Петра Андреевича Глебова. Может быть, читающему и не интересно знать, какие поправки внесла Любовь Ивановна в рукопись, какие замечания сделала она, и я не буду рассказывать о них.

Но мне кажется уместным поделиться своими впечатлениями после посещения Емельянова увала, ставшего теперь новым районом города, где по-прежнему стоит памятник Андрею Николаевичу Бестужеву. Он в сквере, окруженном жилыми четырехэтажными домами, образующими широкие улицы, многие из которых названы знакомыми именами. Есть даже Жалеевский переулок.

Улицы Никиты Сельцова, Ивана Шагаева, Леонида Левитова, Федора Жмурина и других сольвинских революционеров, не называвшихся в «мемориях», начинаются от площади Декабристов. Они как бы вытекают из нее и тянутся до главной магистрали города — проспекта имени Ленина. Было ли так задумано или нет, но символика напрашивается сама собой.

Федор Жмурин живет в Сольве новым заводом его имени. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он погиб при освобождении Праги. Я был на этом заводе имени Федора Кузьмича Жмурина. На нем работает сын Любви Глебовой — Петр Андреевич. Он главный технолог. Между прочим, на этом же заводе я встретил знакомую фамилию, принадлежащую старенькой, но еще молодящейся машинистке, эвакуированной в Отечественную войну из Ленинграда и оставшейся в Сольве. Ее фамилия — Паульдорф. Мне очень хотелось спросить, кто ее предки. Но я не спросил. Не спрашивала ее об этом и Любовь Ивановна.

Вот, кажется, и все, о чем, наверное, можно было и не рассказывать на этих последних страницах, которые я закончу словами Петра Андреевича Глебова. Без них нельзя.

Он перед моим отъездом, когда мы уже близко сошлись и, кажется, подружились, не без застенчивости сказал:

— Мне давно кажется, что я живу в двух веках. В нашем и в том. И я теперь почему-то уверен, что буду жить и в третьем, еще не наступившем веке, если мои дети, Павлик и Любочка, сберегут в себе уважение к прошлому. К тому прошлому, без которого я не представляю нашего настоящего. Ведь не родилось же оно из ничего. Оно рождалось, как ни странно, и в наивных проектах «Конституции РРР» Павла Петровича Глебова, и в его «жалеевских школах», и в воскресных чтениях Барышни Беленый Лоб. Конечно, бабушка, как она пишет и как пишете вы в «мемориях», видела в сольвинских рабочих только «темно-серый поток», но все же она хотела увидеть его светлым. И это для Барышни Беленый Лоб не так мало...

Провожая меня на станцию, Петр Андреевич осторожно вернулся к начатому разговору:

— Будет очень правильно с вашей стороны, если вы измените в рукописи нашу фамилию. Мне как-то неловко будет жить и в книжке и в городе. Да и детям моим тоже как-то ни к чему все это... Думаю, что нужно называть по-другому и наш город. Его подлинное название неизбежно потребует многое дорассказать и расширить, в частности о шестерках. О забастовках. О нелегальном возвращении Сельцова и Жмурина в родной завод.

Я хотя и молчал, но внутренне соглашался. И согласился с этим окончательно, когда Петр Андреевич привел последний довод:

— Вы должны понять, что я не должен, не могу озяряться чужой славой. Хотя бы отцовской и маминой. Переименуйте, пожалуйста, нас...

Так и было сделано в этой последней редакции романа.

1968

Ц

АРСТВО ТИХОЙ
ЛУТОНИ

РОМАН

I

Рассказчик этой истории Лаврентий Матвеевич Рябинкин, человек очень старый, скрывал свои годы, шутиливо объясняя это тем, что костлявая карга Смерть может подслушать, сколько ему лет, и, исправляя свой недосмотр, скосить его одним махом.

Он был сухопар, сед, морщинист, но читал без очков, не обижался на слух, не сетовал на ноги, не жаловался на сердце. Самым удивительным достоинством Лаврентия Матвеевича была его память. Приезжим его рекомендовали говорящим архивом.

Рябинкин любил предварять свои рассказывания афоризмами, видимо, им же сочиняемыми. Вот и теперь как эпиграф к своей устной повести, ставшей канвой этого романа, он предпослал такие фразы:

«Послушаешь иную новину и подумаешь — какая же это трухлявая старина, замшелая сказка в новой раскраске, знакомая кошка в заморской одежке, а когти те же. Но забытое — не убитое, вспомнишь — и оживет».

Рассказ Лаврентия Матвеевича начинался с описания личности владельца экипажно-тарантасного заведения Патрикия Лукича Шутемова. С этого и будет начат роман.

* * *

Патрикий Шутемов, не в пример своему отцу, тележнику Луке Фокичу, был человеком фасонным, грамотным, одевался по-барски, ступал по-царски, носил длинный сюртук, пеструю жилетку, брюки на улицу, штиблеты с узким носом, на голове «шляпа-кляк», на руках перстни, из кармана в карман золотая цепь — и все как у людей высшего сословия. Бородку Патрикий стриг

титularyно, коротко, усы помадил, волосы подчеркивал, только с глазами ничего сделать не мог. Они у него как у рака, навывкате, зато зорко глядели, далеко видели. Был и ум у Патрикия Лукича, хотя и подлый, но был: умел уговорить, заговорить, оплести, в дремучий лес завести, без рубахи оставить и по миру пустить.

Этим он был в отца, только жаднее. Жадность его даже книги читать заставляла. Из книг можно было узнать, как лучше поставить свое дело, которое нужно неустанно расширять, и по возможности всеми не наказуемыми законом способами удушить тех, кто мешает или замышляет помешать этому расширению. А такие предвиделись.

Поэтому нужно читать о новых красках и лаках, о замене дорогой ручной силы дешевой, паровой, о рекламах, движущих торговлю, о предпочтительности малых прибылей при большом сбыте, скором обороте и обо всем, что в других странах известно и мелкому лавочнику, а в России еще не стало азбукой. А исходя из сего, можно не пожалеть и десятки за раздобытые книги по развитию капитализма в России, которую не зря читает Петька Колесов, замышляющий возродить отцовский тележный скрип товариществом на паях. А где пай? Кто станет пайщиком пустомельного колеса без оси, без основы всякого коловращения?

Без этой основы нет ничего. Будь то лесопилка на одну раму, как у Хохрякова, или мыловарня Сорокина, у всех у них одна ось — капитал. Без него не выкружишь и горшка. А какой капитал у Колесовых? Наберут ли они, распродавшись дотла, и двадцатую долю того, чем владеет он, Патрикий Шутемов, а капиталистом себя пока при других называть не осмеливается...

Капиталист для Патрикия Лукича — высокий титул, и не всякий тысячник может быть облечен в этот торгово-промышленный сан. Для этого сана, по разумению Шутемова, у него не хватает «ноля». Половина «ноля» припишется через год, через два, полностью «нолек» у него может быть, если сумеет он прибрать к рукам Парамона Жуланкина.

Бог даст, сбудется. Парамон темен, наследник-сын глуп, войдет в компанию, и деваться ему будет некуда. Каша круто заварена, дать ей только упреть, не подгореть — и с законным браком, милый зятек, родная доченька.

Дочь в рассуждении развития экипажно-тележного производства тоже капитал, хотя и не основной, а оборотный, но не пятое колесо в телеге. Зря, что ли, он свою Эльзу воспитывал в пансионе и дома дообразовывал в господском кругу! Вся в мать, хоть и не столбовая, но может и по-французски, и на рояле кого хочешь околдует. Не просчитается и в копейках. Зажмет — не выпустит. Пальчики тоненькие, а стальные. Клещами не перекусишь. Двух сыновей стоит такая дочь.

Другое дело — младшая, Наталья. Отцовского в ней только фамилия. Итальянской смуглоты награда. А что сделаешь? Не надо было отпускать Магдалину с тещей в Риме, Ниццы, Венеции. Но как было не отпускать, когда его самого тогда канарейка до полусмерти припела. Грех за грех. Бог, как и деньги, счет грехам любит.

Так и прожил Шутемов двадцать годиков со своей Магдалиной Григорьевной. Точно сводили дебет с кредитом. Она горничную поскладнее наймет, он — приказчика помоложе. Горничная его кабинет блюдет, приказчик ее в карете на променады возит. Баш на баш — и шабаш. Таинство брака от этого крепло, и семейных раздоров не наблюдалось.

Старшая дочь Патрикия, Елизавета по метрикам, Эльза для благозвучия, рано усвоила, что атласный пустой карман на вельможном камзоле, расшитом золотом, значит меньше дерюжной мошны, набитой им же.

И что из того, что Колесов Петя-петушок, красный гребешок, задушевно выписан, затейливо вылеплен, умственно выпечен, но кто он? Кто? Инженер-технолог, топтатель дорог, читатель вывесок. Какая он пара Эльзе? Можно ли ему дать завертеть, закружить ее своим краснобайством? Но как знать, не сидит ли Эльза одной из ста лутонинских дур на его вихревой карусели, как та же Катька Иртегова, у которой неслитно и немерено осталось от деда, да еще сибирская тетка грозит умереть и оставить ей витимское золото. С другой стороны, есть резон Эльзу выдать за Петьку Колесова и отвести от него Катькины богатства. Он при них может оставить без осей шутемовские телеги. Тогда — труба.

Трудно дышится Патрикию Лукичу, но не ломать же старый, верный план. Эльза помолвлена за Виталия Жуланкина. Не мудрец, но тоже с высшим технологическим образованием. Пусть не с петербургским, а с томским, но не все ли равно — диплом и нагрудный знак.

Говорят, что за него экзамены сдавали отцовские деньги, а Петька Колесов сдавал их даже за других,— ну и что? Кто как умеет. И если Витасик Жуланкин никто в отцовских кузнечно-механических мастерских, то это даже лучше. Зачем ему в них быть хотя бы шплинтом, когда есть Патрикий Шутемов, он через дочь поможет сделать дочерними мастерские. Вдовец Жуланкин, дай бог, будет недолговец, и Патрикий допишет нехватающий нолик в своем капитале. Но и теперь, при жизни, Парамон Жуланкин будет оковывать только шутемовские телеги и откажет в этом другим мелким тележникам, и тогда Патрикий Лукич доконает их всех, как Петькиного отца Демида Колесова, и останется самым сильным в уезде хозяином цены и оптовым поставщиком телег на все базары и ярмарки. Недобитых конкурентов добьет: раз-два!

Точно ложились карты в игре Патрикия Шутемова. Масть к масти, и он — козырной туз, главный во всей колоде. И ничего не помешало бы ему обыграть всех, если бы не приехал Петр Колесов. Никакая не карта. Шестеркой не назовешь, а спутал все ходы и пошел ва-банк.

Началось это все в прошлогоднюю масленицу.

II

В первый день масленицы Магдалина Григорьевна Шутемова, урожденная Столь, пребывая еще в ягодной поре, давала бал-маскарад в большом, прирубленном к шутемовскому дому зимнем зале. Зал был так велик, что шесть печей едва нагревали его в дни гулевых сборищ.

На шутемовский маскарад гости обязаны были приходить только в масках, исключения не делалось и пожилым. А чтобы в зал не проник кто-то из чужих, из простых, двое рослых парней проверяли, есть ли при маскированном печатная марка. Марки, печатавшиеся в маленькой скоропечатне Глобарева, заменяли бесфамильный пригласительный билет, а затем, по усмотрению гостей, вручались лучшим из претендентов на призы. В двенадцать часов маски снимались, и трем из гостей, получившим большее число марок, хозяйка дома преподносила призовые награды.

Тихая Лутоня невелика. В ней почти все знали друг

друга. В кратком губернском справочнике Тихая Лутоня именуется заштатным торгово-промышленным городом, стоящем на реке того же названия. Главное предприятие городка — завод металлических изделий графини Коробцовой-Лапшиной, на котором бывает занято до тысячи рабочих, всего же населения к началу нашего века в Лутоне насчитывалось до пяти тысяч человек. Из крупных предприятий после коробцовского завода следовали экипажно-кадетное заведение Шутемова, кузнечно-механические мастерские Жуланкина, далее салотопенно-мыловаренный завод Сорокина, лесопилка Хохрякова, кузницы, тележные мастерские без названия фамилий владельцев. Особо упоминается ныне бездействующий, а некогда знаменитый винокуренный завод Иртегова. Церквей в Лутоне указано три, одна из коих деревянная, при богадельне, основанная тем же винокуром Иртеговым, три церковноприходские школы, земская больница с приемным покоем, общество трезвости, имеющее свой дом, построенный на пожертвования, где даются представления любителями драматического искусства. Далее перечислялись базарные дни, время зимних и летних ярмарок, годовые обороты и все прочее, характеризующее Тихую Лутоню как город, заслуживающий быть приравненным по своей значимости к уездному.

Трудно в Лутоне придумать маскарадный костюм и остаться неузнанным. Наиболее удачливым в этом был Виктор Юрьевич Столль, двоюродный брат Магдалины Шутемовой, управляющий заводом графини Коробцовой-Лапшиной. Искусен был и начальник почтово-телеграфной конторы Красавин. Он мог нарядиться и гоголевской Коробочкой, и фавном с копытами. Артист, режиссер в любительской труппе и в жизни, первый сплетник и передатчик новостей, он бывал непременно гостем на всех званных вечерах.

С восьми вечера начали появляться маски. Фея, цыганка, принц, тореадор, клоун, пиковая дама, осел в сером фраке, девица-кавалерист, гусляр, князь Серебряный, леший с кларнетом, повар, лоточник, торгующий пряниками, маленькая Кармен с высоким гребнем, Степан Разин с персидской княжной, Золушка в деревянных башмаках, Снегурочка, ухарь купец с гармошкой... Позднее пошли дамы с камелиями и без таковых, но не без бриллиантов, королева с пажом и шлейфом, церемониймейстер в белых чулках и белом парике, турецкий сул-

тан, внесенный слугами, три гренадера и три грации в белом...

Одни рукоплещут, другие разводят руками, пожимают плечами, недоумевают, не узнают, хотя на этот раз были узнаны и сам Столль, нарядившийся веселым монахом, и шарманщик с шарманкой — начальник почты. Неузнанным остался только один — Сатана в ярко-красном плаще, накинутом поверх черного фрака. Сверкающий золотой цилиндр на его голове с рожками и тоже золотые, с загнутыми носками туфли ослепляли, привлекали всеобщее внимание, и никто уже не сомневался, что первый приз будет принадлежать этому хорошо сложенному и по всем приметам молодому человеку. Сатана изысканно и церемонно подходил к маскам, целуя руки у одних и расшаркиваясь перед другими, он покори́л все женские сердца после первого вальса, а затем лихой мазуркой очаровал одну из трех граций, имя которой было Эльза.

Она первой угадала, чье лицо скрывается под маской, отороченной золотистым кружевом. Сначала его узнала спина Эльзы, по руке, обнимавшей ее. Затем Сатану выдали его розовые уши. Они пылали и тогда, при встречах в Летнем саду в Петербурге, и при расставании на Николаевском вокзале. Он хотел на прощанье сказать очень нужное, но мать Эльзы помешала этому... Горящие уши тогда заменили язык. А ей пришлось ответить ему опущенными ресницами и нервным тереблением кончика кружевного платка. С тех пор они не встречались, и теперь Эльза не знает, что будет с ослом в сером фраке, которому она трижды отказала в танцах, и шестой раз танцевала с ослепительным Сатаной в черном фраке.

Узнала Сатану и Золушка в деревянных башмаках и старом платье. Его назвало ее сердце, которое с четырнадцати лет открылось для него, а он ни разу за все эти годы не заметил и не хотел замечать ее.

Может быть, он обратит на нее внимание потом, когда снимут маски и ветхий наряд сменится нарядным платьем, а деревянные маскарадные башмаки — хрустальными туфельками, каких нет здесь ни у кого. И может быть, Сатана, став прежним прекрасным принцем из ее любимой сказки, пригласит ее хотя бы на один танец...

В полночь Сатана эффектно сорвал маску и оказал-

ся Петей, Петечкой, Пьером, Питером, Петюнечкой, Петрушей, Петром Демидовичем Колесовым. Дама с камелиями, в которой все узнали Магдалину Григорьевну Шутемову, преподнесла Сатане, почтительно снявшему золотой цилиндр, бисквитно-кремовую карету с шоколадными колесами на вафельном подносе.

— А я,— объявил он,— хотя и не как Чацкий и не с корабля, а из почтовой кибитки, но все же попал на бал.

Тут Эльза «узнала» его и он «узнал» Эльзу, расцеловался он и с Витасиком Жуланкиным. Тот, радуясь, что его не узнала даже Эльза,— ха-ха! — снял ослиную голову и от этого еще больше стал выглядеть ослом.

Здороваясь, целуясь и обнимаясь, щебеча, воркуя, каркая и просто злословя, все понимали, что красавец Колесов не случайно приновил свой приезд к первому дню масленицы и, конечно, у столичного портного, загодя, сшил себе фрак, так обворожительно подчеркивающий его рост и статность.

Столлю не первому показалось, что мастерским Парамона Антоновича Жуланкина не суждено быть подъяремными Шутемову, а Витасику-дубасику пужно понять, что грация не по его формации при любой комбинации и трансформации.

Виктор Юрьевич Столль любил рифмованные каламбуры, а Витасик любил блины с зернистой икрой. И он первым сел за стол, как только голос хозяйки дома Магдалины Григорьевны объявил:

— Блины, блины! Рысью к столу!

Русские блины — лучшая из упаковок ко всем видам закусок, представленных здесь с показной щедростью и в каком-то вызывающем изобилии.

— Пей, гуляй! Широкая масленица!

«Натали-итали», как называл младшую дочь Шутемова Талю все тот же каламбурист Столль, сидела рядом с Петей Колесовым. Она угощала Петю на правах хозяйки и на правах обойденной его вниманием заместила:

— Вы проскакали со мной только в одном галопе, за это после ужина вам придется танцевать только со мной и с Золушкой, а Эльзе — с женихом в сером фраке, которого она теперь не может не узнать.

Маленькая Кармен, Таля, не заметила, как побелели розовые уши Колесова. Ей было только еще семнадцать,

и она пока еще умела читать только по глазам. А в них вспыхнуло удивление и, угаснув, перешло в негодование.

Ей немножечко жаль, что она его так огорчила. Но это ненадолго. Ее голос вернет Петиным глазам голубое пламя, и она согласится сгореть в нем.

Бал-маскарад закончился под утро. Виталий Жуланкин послушно пил налитое Эльзой и не давал остыть на своей тарелке блинам. Он уснул на диване в кабинете Шутемова, а Эльза обещающе танцевала с Колесовым и после ужина. Золушка — Катя Иртегова — была приглашена им только для приличия. Она благодарна и за это. Катя, как и маленькая Кармен — Таля, знала, что танцы ничего не предрешают в жизни, где правит Сатана, которого так искусно представил Петя, чего не поняли очень многие на балу, кроме разве проницательной Эльзы, но и она, запроданная невеста, тоже не все поняла.

III

— В девятнадцать годов всякая девка красна, да не каждая ясна. Оно, конечно, Эльза всем вышла, и статью, и поступью, юрка и звонка, но зубаста. Отец — сом, мать — щука, а она в обоих. Не родит ведь свинья бобра, а того же поросеночка.

Так внушал своему сыну Виталию в опустевшей на обед большой кузнице Парамон Жуланкин. Чернобородый, длиннорукий, в кожаном фартуке, хозяин кузнечно-механических мастерских не отличался по внешности от своих кузнецов. Он ковал два часа до обеда и столько же — после, чтобы не дать отяжелеть брюху и показать другим, как надо стараться.

— И ежели ж, допустим, она и золотая рыбка, — гнул свое Парамон Антонович, — то не насадная ли? Не на шутемовском ли крючке наживка? За тебя ли хочет он выдать дочь, а не за наши ли мастерские? Телега без железа — солдат без ружья. Положим, я не овечка и Патрикееву в стрижку не дамся...

— И я, папаша, не баран, — заявил горделиво сын. — Станет Жуланкиной — и всем Петькам от ворот поворот.

На эти слова у отца был прямой ответ, да жаль было сына, и Парамон сказал мягко:

— Ты не баран, Витаська, а барин при золотых пуговицах. В таком, сын, мундире на казенном заводе слу-

жат. Там спрос малый. Служи — не тужи да покрикивай. А Петру Колесову не поворот от ворот нужен, а приворот к нашим воротам.

Виталий попытался возражать отцу, но тот не дал ему и рта открыть. Парамон Жуланкин знал цену людям и не жалел переплатить мастеру лишнюю копейку, когда она возвращалась рублем. Работая сам, он понимал, что значат руки кузнеца, токаря, слесаря и даже самого последнего подмастерья в его прибылях. От них — все.

Однако же руки сильны головой, а без нее они бездумные клещи. К рождеству, к пасхе, к масленице, к своим именинам он вознаграждал каждого рабочего, который припрягал к своим рукам смекалку, радел за штучность и сортность изделий. Будь то тележная гайка или дверной крючок — и они копили благополучие мастеровских. От этого мастерские ширились, капитал рос, хотя и не так скоро, как хотелось бы. Но его мастера не могли дать большего, чем позволяло их разумение. Поэтому-то Парамон хотел видеть своего Виталия не только на вывеске «Жуланкин и сын», но и главой своей будущей фабрики. Однако его Виталий так и остался Витасиком, а Петька Колесов, одних с ним лет, ходит в Петрах Демидовичах, и сам Столль метит его на коробцовский завод, вторым лицом после себя. Большое жалованье сулит Столль, а Парамон даст больше — и к этому участие в прибылях.

— Вот ты и подумай, сын, — терпеливо внушает Парамон Антонович своему чаду, — до того, как от себя людей отворачивать.

Жуланкина пугало и то, что если Петр Колесов придет на графинин завод и войдет в курс, то так ли выгодно будет Парамону Антоновичу жить на дешвом коробцовском железе, платя Столлю половинную цену? Петр Колесов может захотеть показать себя перед графинею Коробцовой-Лапшиной, и, как знать, уцелеет ли тогда и сам продувной Столль? Захочет ли Петька быть при нем, когда может стать сам при себе и выговорить у Коробчихи проценты, кроме жалованья? Она хотя беспечна, но тысячам счет знает.

С приездом Петра Колесова его судьба стала занимать и тех, кто до этого к нему не имел никакого отношения. А он тем временем проводил дни у Шутемовых, целовался с Эльзой, не пропускал званых вечеров и удив-

лялся, как много в Тихой Лутоне невест. Шестнадцатилетняя златокудрая Стася Столль и та стремилась выглядеть старше своих лет. Мать Стаси, Марина Вениаминовна, любившая, когда ее называли мадам де Столль, что подчеркивало знатность происхождения, тоже придуманного ею же, плела свои сети. Она по поводу и без повода замечала, что мужчина не должен вступать в брак ранее двадцати шести лет, что подтверждается опытом и логикой светской жизни. Она же утверждала, что жена должна быть моложе своего мужа хотя бы на восемь лет, если супруги хотят быть счастливой и крепкой парой.

— Оскорбительнее всего, — настораживала она, — оказаться вам, инженеру, в образованных батраках, а таким вас хотят видеть некоторые наши знакомые.

Любезный и вежливый Петр Колесов полностью соглашался с мадам де Столль и продолжал целоваться с Эльзой всю масленую неделю, а потом оказалось, что и наступивший великий пост не предусматривает запрета на любовь, и они продолжали встречаться.

В постной пище немало прелестей. Грибные и капустные пельмени с подсолнечным, конопляным, горчичным маслом, вина, настойки и водки всех сортов были хорошим поводом для встреч обеспеченных лутонинских семей. На одном из таких рыбно-пельменных вечеров в середокрестную, половинную неделю поста, когда Витасик Жуланкин дремал, отягощенный едой и сопутствующим ей, произошло выяснение дальнейшего направления жизнью Елизаветы Патрикиевны Шутемовой и Петра Демидовича Колесова. Он предложил ей не скрывать далее, что ее помолвка с Витасиком не может продолжиться свадьбой. А чтобы карточный домик, построенный ее отцом Патрикием Лукичом не рухнул оскорбительно для Жуланкиных, а был осторожно разобран карта за картой, он соглашался уехать на какое-то время. А если Эльза захочет решить все молниеносно, то в одну из ночей они покинут Тихую Лутонию и обвенчаются там, где и когда она пожелает.

Эльза, не ожидая такой решительности, прибегла к французским и русским афоризмам, которые на всех языках мира означали, что благоразумие должно руководить ими.

С этим невозможно спорить, но в чем заключается благоразумие Эльзы? Она растянула ответ на несколько

дней, обнажаясь постепенно перед своим единственным, провидением, посланным и найденным ею на всю жизнь,— Петей.

На катке Эльза сказала:

— Любовь требует жертв, и я готова к ним.

На именинах мадам де Столь, когда ей исполнилось на год меньше, чем год назад, был ограниченный круг знакомых. Сама мудрость одела Эльзу в темное глухое платье и причесала в соответствии с тем деловым разговором, который должен был состояться в этот экстравагантный вечер.

— Пьер,— начала она, впервые назвав Колесова этим именем,— я обманула надежды своего отца, не родившись сыном, но я обязана сделать все, чтобы стать достойной его дочерью. Фирма папы должна преуспевать, и мы должны помочь ей в этом.

— Ну, разумеется, — подтвердил Колесов не очень уверенно, еще не понимая, в чем будет состоять его помощь, и побаиваясь, что Эльза оправдает предположения мадам де Столь относительно «образованного батрака». Ему, мечтавшему о большом поле деятельности инженера, было бы оскорбительно убедиться, что Шутемов в самом деле надеется, что Петр посвятит себя его телегам. Не дурак ли?

— Конечно,— повторил Петр,— я никому и никогда не отказывал в технологических советах...

— Вот и умница. Но, Пьер, папа хочет большего...

— Чего же? — насторожился Колесов.

На это Эльза, став очень сосредоточенной и чем-то похожей на отца, ответила пространно, убежденно, что Жуланкины и Шутемовы должны стать единой крупной фирмой. Слово «фирма» она произносила с особым вкусом, чуть картавя. И он благоразумно должен согласиться пойти на службу к Парамону Антоновичу и взять его в свои руки. Эльза очень мягко заметила, что Пьер не так богат и не столь много мест, где ему будут так щедро платить. Когда же он поможет соединить жуланкинские капиталы с шутемовскими, то его доходы возрастут вдвое.

— Я обещаю, что мой Пьер станет управляющим и пайщиком фирмы отца.

Колесова приташнивало. Ему хотелось прервать унижающий его разговор, но Эльза не пожелала останавливаться, и ему пришлось выслушать ее.

— Вдвоем мы очень скоро приберем жуланкинские мастерские к рукам,— сказала Эльза.

Колесов не верил услышанному и переспросил: как понимать слово «вдвоем»?

— Петя, милый, разве я вам не сказала на катке, что любовь требует жертв, и я иду на это... Мы будем счастливы. И если хотите, я вам могу это подтвердить до того, как стану Жуланкиной. Дома у нас ни души...

IV

Когда с человеком случается горе, он вспоминает старых друзей. У него возникает потребность пожаловаться, поделиться, облегчить свои страдания.

Таким другом, самым близким из всех, у Пети был Павлик Лутонин. Заштатная, затерянная, отрезанная Лутоня давно была местом, пригодным для ссылки. Ссылных было не так много, но для Пети с Павликом хватило и одного молодого, высланного под надзор доктора Хейфеца, который не только лечил, но и учил. От него они еще подростками узнали о декабристах, ранних народниках, народовольцах и, не расставшись еще с мальчишеством, играли в покушения на царя. Царем был одно время зловонный, бодливый козел при пожарной дружке, потом им стал ростовой портрет Александра III, стоявший по миновании надобности, после воцарения Николая II, за шкафом в обществе трезвости. Царь был выкраден из-за шкафа и заточен сначала в «Шлиссельбургскую крепость», которой была заброшенная штольня, а потом подорван на полуфунтовой банке охотничьего пороха и сожжен в старографском лесу вместе с рамой.

«Террористами» Павлик и Петя были недолго. Появился другой наставник, Михаил Петрович Зубцов. Тоже ссылный. Окончив духовную академию, он отказался служить вере. В числе книг у него была одна, которая называлась «Дас Капитал». Из нее он кое-что пересказывал повзрослевшим «петропавловцам» — так он шутиливо называл своих юных друзей-рыболовов. Он их решительно отвел от террора, хотя они все же до этого доконали козла.

«Дас Капитал», написанный пока еще не известным для Павлика и Пети автором, привел их впоследствии к Марксу и Энгельсу. Павлик знал кое-что, а Петя, став студентом и переехав в Петербург, узнал значительно

больше, бывая на тайных чтениях, а потом вступил в тайный кружок без особой программы — «Освобождение».

Кружок был предан и полностью арестован, за исключением четырех человек, не оказавшихся в предательском списке. Это так потрясло Петю, так подорвало в нем веру в возможность существования тайных обществ, кружков и даже союза двух человек, что он долгое время ждал ареста, подозревал в предательстве каждого из трех оставшихся, как и он, на свободе, а потом замкнулся в себе и даже не был до конца откровенен с Павлом.

Он не верил больше, что капитализм можно победить, не взорвав его изнутри, не переродив его экономическими средствами в новое общество, если не равных, то хотя бы приблизительно равноправных.

Ему думалось, что инженер как никто другой может стать организатором этой экономической борьбы рабочих с капиталистами, и рабочие легально, дозволенными законами империи способами, вернут себе все созданное ими — фабрики, заводы, шахты, а крестьяне — землю.

Эта идея, жившая в Колесове теоретически, после услышанного от Эльзы, начала воплощаться в практический план борьбы, и телеги, неожиданно для него, приобрели новое значение.

— Кто они такие? — спрашивал Петр пришедшего к нему Павла. — Кто дал им право думать обо мне как о батраке! Неужели только деньги? Можно понять Шутемова. Он хищник. Понятен и Парамон Жуланкин, для которого его фабричка — сфера жизни и он ее раб. Но Эльза? Нимфа обернулась акулой. Мать Эльзы, кичащаяся своим благородством, тоже змея. И самый лучший из них — Витасик. Он недалек, но простодушен, доверчив, незлобив. В нем нет и капли ихнего бесстыдства.

Павлик молчал. Он удивлялся, как Петя мог полюбить эту вторую Магдалину, известную своими похождениями всем лутонинцам и, конечно, отцу Пети, Демиду Петровичу, и тем более его матери.

— Если ты так распаляешь себя, Петя, значит, еще любишь ее, — утверждал Павел.

— Может быть, — не скрывал Колесов. — Но во мне родилось желание доказать, что все они пыль, мусор. На чем зиждутся их благополучие и бесстыдство? На отсталости производства телег. Они так же, как и бишу-

евский удельный князь саней и кошевок Адриан Кокотанин, держатся на сотнях поработанных кустарей. Одни гнут сани, другие поставляют колеса, дроги, оглобли, сделанные ручными, варварскими инструментами, а он всего лишь собирает все это в телеги, оковывает, подкрашивает, продает и жиреет.

— Ты говоришь так, Петя, будто узнал об этом впервые, — сказал Павел.

— Нет, Павел, я знаю это давно, но впервые задумался, что стоит телегу из рук передать машине, как она намного, может быть, вдвое, станет дешевле и от Шутемова останется только вывеска да фонарь на фигурном кронштейне.

Задумался в этот вечер и Павел Лутонин. Инструментальщик и механик по станкам завода Коробцовой-Лапшиной, он понимал, как немного нужно сделать, чтобы изготовление телеги перешло в цех. Не паровоз же и даже не молотилка. Он представил, как может вытачиваться ступица колеса, как легко можно выдалбливать станком гнезда для спиц, а спицы, как спички, будут выскакивать из станка тысячами. Дерево мягче и послушнее железа. Если бы его друг в самом деле затеял завод, то Павел мог бы многое подсказать практически. И он принялся в своем воображении приспособлять выбракованные Столлем станки для тележных механических мастерских.

Задуманное вскоре овладело Петей так, что он забыл об Эльзе, о своих обидах, оказавшихся мелкими, и потребовало от размышлений переходить к действию.

Действие началось с детального изучения телег в доживающей свой век мастерской отца.

Отец Петра, Демид Петрович Колесов, считался в Лутоне справедливым человеком. Этому способствовало главное достоинство Демиды Колесова — добросовестность. Ему верили на слово. К нему приходили за «праведным судом». Демиды Петровича уважали и его работники.

Демид Колесов, как и Патрикий Шутемов, был тележником. Его телеги ходили на доброй славе. Фамильное колесовское клеймо было хорошей рекомендацией для покупателя. Сначала оно вырезалось косой стамеской, а потом Демид завел «огневое тавро». Оно представляло собою изображение тележного колеса с двенадцати спицами и выжигалось на дрогах, ободах и даже оглоб-

лях. Каждому неграмотному оно говорило, что это колесовская телега, и если прогадаешь на ней в полтиннике, выгадаешь в ее прочности, сроке службы и легкости хода.

Работников Демид Петрович держал тоже совестливых. Уговор простой: сбезобразничал, сбездельничал — не обижайся на потерю работы. А работа была круглый год. И все шло в полной исправности. Телеги не только не застаивались, а даже покупались заглазно с зимы.

Когда Петя подрос, Демид Петрович не увидел в нем своего продолжателя и начал подумывать о старости. Пусть она не скоро придет, но ее не минуешь. Тогда трудно будет стоять за верстаком. А если хозяина нет в мастерской, дело не пойдет. Скопленные деньги Демид Петрович решил пустить в недвижимое. Оно всегда в цене. И он построил каменный двухэтажный дом для почты. Вечное и верное дело. Постоянный квартирант и ремонты за счет казны.

Вовремя построил Демид Петрович дом для почты. Она-то и стала кормить его задолго до старости. Как будто знал он, что его друг и кум Патрикий Шутемов поведет свои дела так, что колесовской телеге придет конец. Сначала Шутемов начал играть ценой. Потом переманил у Колесова хороших мастеров, его лучшего выученика Корнея Дятлова. Привадил к себе поставщиков колес, сговорился с Парамоном Жуланкиным, и тот удорожил оковку колесовских телег, которые стали от этого убыточны. Затрещали вместе с Демидом Колесовым и другие малосильные тележники, а Шутемов их «пожалел», вынудив работать на себя, взял клятву перед иконой ни одной телеги не продавать на сторону.

Демид Петрович не захотел отдавать свое прославленное тавро богатому куму, поблагодарил за высокую честь и стал делать свои дорогие телеги для немногих, понимающих заказчиков, умеющих ценить мастерство.

Таких становилось меньше и меньше. К приезду Пети в мастерской отца работали только двое, да и то по старой привычке, по большой любви к тележному делу.

Петя внимательно наблюдал, как старый мастер Ефим Трофимович Силин и его напарник Яков Егорович Баклушин любовно и тщательно занимались телегой, будто это была скрипка. Часы тратились на то, что станок лучше и точнее сделал бы за несколько мгновений. Телега и теперь делалась так же, как и во времена его

детства. Мастера, словно боясь потерять дедовское ремесло, не заменяли и отжившие инструменты.

Ефим Трофимович как-то осведомился:

— Не телеги ли, Демидович, собираешься мастерить?

— А вдруг да и соберусь? — так же шутливо поддержал разговор Петя. — Пошел бы ко мне наставником? Не работником, а наставником?

— Да кого же, Петенька, наставлять? — присоединился к разговору второй мастер, Яков Егорович. — Шутемов всех наставил и обставил.

— А теперь мы его...

— Поздно, Петяша. Он глубоко корни пустил, — сказал и задумался Яков Егорович. — Побить Шутемова можно только ценой.

— Об этом я и думаю.

— А чем цену сбавить? Телега — ручной товар. Машиной ее не выработаешь.

— Ой ли? — подзадорил Петя Якова Егоровича.

— Не все, Петя, может машина, — пожалел Ефим Трофимович и почесал затылок. — Если б могла, так Патрикий давно бы ее примашинил.

Поговорили, посмеялись два старых мастера и молодой инженер — и как будто все это было так, для перекура. А разговор почему-то запал им в душу. И всерьез его принять не хотелось, и на шутку свести было жалко. Не будет же он, из молодых да ранний, которого сам Столь обхаживает, Жуланкин Петром Демидовичем величает, ни с того ни с сего в телегу вникать. Тут что-то есть.

Предчувствия их не обманывали. Вечером Петя поделился с отцом своей затеей, и Демид Петрович воспылал желанием увидеть в сыне продолжателя своего дела на новой основе.

— Но где для начала взять деньги, Петенька?

V

А деньги были рядом, через две улицы на третьей. Бери их хоть завтра, хоть сейчас и строй, что твоей душеньке надобно. Не просто же так зачастила в дом Колесовых Марфа Максимовна Ряженкова, переселившаяся в дом Кати Иртеговой после смерти ее матери.

Ряженкова, довольная своим бездетным вдовством, двумя доходными домами, посвятила свою жизнь устрой-

ству счастья других. Это было для нее благочестивым служением людям. И у Кати Иртеговой она поселилась затем, чтобы у той была верная наставница в делах и в жизни, чтобы не дать присвататься к Катиным несчитанным деньгам смазливому охотнику до чужого богатства, каких было больше, чем надо, и в Тихой Лутоне, и в дымной Векше, и в самом Санкт-Петербурге, где училась Катя на частных женских курсах и вернулась оттуда девушкой умной, книжной и самостоятельной.

Мать Пети, Лукерья Ивановна, обожала статненькую, ладненькую, с тонкими рученьками, с пряменькими ноженьками, с розово-мраморным, гладким личиком, точеным носиком, небалованную, никем не целованную, сто раз сватанную, да никого не обнадежившую Катеньку... Ни дворянских сыновей, ни купецких ухарей, ни гусарских фертиков. Хорошо бы при такой матерью побыть. Да что там матерью, хотя бы кем-нибудь... Пыль сдувать, в гости обряжать, кружевца ей разглаживать, как за царевной ухаживать.

Стоит того картина писаная, ангельская мамочкина душа, дедов гордый, иртеговский характер, отцовская щедрость, теткина самосильная широта.

Хорошо бы Петьке такую-то умную жену и верную советницу, а другой раз, может, и верховодительницу. Петька-то голова, да не всегда в ней царь дома. Подумать только, на чью уду клюнул! Едва-едва она его не ошутемила. Хорошо, Марфа Ряженкова помогла. Она ведь подсказала Эльзе открыть Петруше свои ходы-выходы насчет Жуланкиных. Знала умная сваха, что это ветром Петьку от Эльзы отдует и навсегда отшатит. Так и случилось. И кто знает, обошлось ли тут без Катенькиного ума? Сама ли по себе Марфа Максимовна встряла в это дело? И сама ли по себе она говорит про Петрушу с Катенькой, что жизнь их свела, что никакие Эльзы, Тали, Стаси не порушат предначертанное?

Дай бы бог, матушка богородица, святой апостол Петр, отверзи ключами своими посящему имя твое райские врата... Жарко молится она перед неугасимой лампадой за счастье сына, и апостол Петр иногда вроде бы как улыбается ей с иконы, но темнит, ответа не дает, ни во сне и никаким другим образом. Поэтому Лукерья Ивановна ничего не говорит о Кате ни мужу, ни сыну. Да только им теперь ни до кого. Задумали начать свое тележное дело с продажи дома почте.

Зачем? На что? Когда счастье рядом и красная горка на носу. Тогда и открывай какое хочешь дело, хоть ту же иртеговскую водку кури, хоть пароходство на Каме заводи.

Жаль Лукерье Ивановне продавать дом, арендуемый почтой. Жаль, но разве Петьку с Демидом перекукуешь? Она откуковала свое.

Начальник почтово-телеграфной конторы Красавин был человеком предприимчивым. Он мог все. Купить, продать, ославить, возвысить, узнать, подслушать, передать, сосватать, развести... Он только не мог сладить со своей единственной дочерью Настенькой. Воспитывая ее барышней для заполучения в семью пусть не очень богатого, но образованного зятя, он выучил ее в прогимназии, покупал ей высоконравственные книги, пристроил певчей в соборный хор, чтобы была на виду, одевал по парижским журналам мод, которые, проходя через почту, задерживались им, а она выросла «политиканкой» и влюбилась в человека хотя и хорошего, но фабрично-заводского, пусть не простого рабочего, а механика, но все же не из разряда интеллигенции и с фамилией тоже не ах какой — Лутонин.

Положим, он принят Иртеговой и по нему тоскуют не в одном дому, но не «герой нашего времени», и даже не в штиблетах, а в сапогах.

От него Настя никак не могла набраться большой политики и судить о конституциях, и парламентах, и народовольцах, и других декабристах, как столичный студент, сосланный в Лутонию на поселение. Алексей Алексеевич Красавин тем более не мог допустить, что всем этим Настя обязана в первую очередь ему. И если уж мы заговорили о Настеньке, которой суждено пройти через этот роман хотя и не первым лицом, но и не последним, расскажем о ней, пока Петя одевается для встречи с Красавиным.

Алексей Алексеевич по долгу службы интересовался почтовой перепиской и особенно утолщенными пакетами и всегда производил необходимые изъятия, сохраняя целостность упаковки до сургучных печатей включительно. Из больших городов и особенно из Одессы, не говоря уж о Питере и Москве, приходили хитрые книжечки. Обложка, скажем, на ней «Аленушкины сказки», а откроешь нутро и видишь: «Без революционной теории не может быть революционного движения» ...Изъять. А взамен по-

ложить настоящие «Аленушкины сказки» или что-то другое. Ищи, кто изъял, кто подменил,— пакет идет через много почт.

Хитрее всех прячут газету «Искра» и вырезанные из нее статьи. В обложки даже ухитряются заклеивать. Найди! Раньше, при старом приставе, это было делом доходным. А теперь назначили нового «безмундирного врида». Сиречь временно исполняющего должность. И этот «врид», по слухам, из опальных бар, Анатолий Мерцалов, находит неправомочным не только брать, но и читать корреспонденцию. Или хитрит, или на самом деле не желает этим заниматься.

Но привычка берет свое.

Почтовые изъятия Алексей Алексеевич складывал стопочкой в нижний ящик комода.

Настенька давно, еще при старом становом, когда изъятия лежали дома два-три дня, прочитывала их. Теперь же, когда они лежат впрок, она дает их для чтения другим: Кате, Павлику, а более важное, например, статьи из «Искры», переписывает для Павлика.

Так отец, не желая того, воспитал дочь в сочувствии революции.

А теперь предоставим возможность Пете Колесову встретиться с Настенькиным отцом.

С начальником почтово-телеграфной конторы Красавиным у Пети разговор был простым. Нужны деньги — и все. Алексей Алексеевич скомпоновал ответ в духе монолога участливого покровителя:

— Позволю себе, драгоценнейший Петр Демидович, предложить вам скорый путь продажи. В Лутоне да и окрест ее достаточно состоятельных людей, каковые пожелают, не утруждая себя, получать на свои мертволежащие капиталы живой доход с почты. И если вам будет угодно, мною сегодня же будет пущен слухок о вашем намерении расстаться с домом, за каковой вы получите куда больше, нежели с почтового ведомства, а равно избегнете мздоимного выжимательства корыстолюбивых чиновных лиц, которые придумывают сто тысяч препон, чтобы вам меньше дать и больше взять с вас. Прошу простить за мое чистосердечие, что, смею думать, вами будет оценено.

Алексей Алексеевич Красавин, разговаривая с Колесовым, менял свой облик, как на репетициях комедии Гоголя «Ревизор», где он показывал любителям, как и

кого надобно представлять на сцене. И на этот раз он представлял то угодливым Бобчинским, то развязным Хлестаковым, то подобострастным городничим, и в каждой из этих ролей он оставался самим собой — бедным чиновником, готовым сделать все зависящее от него и быть не обойденным за свои старания.

Колесов понял, что дом уже продан и он может не беспокоиться за исход, предупредив, что вознаграждение будет тем выше, чем дороже дадут за дом.

Продажа дома состоялась через три дня. Сверхбыстрая продажа и неожиданный покупатель.

Марфа Максимовна Ряженкова, появившись у Колесовых, принесла деньги.

— У вас, оказывается, в них нужда, а у меня они зря на книжке лежат. Торговаться не буду. Сколько сказал Красавин, столько и дам.

Отца и сына Колесовых удивило, почему так щедро Марфа Максимовна и откуда у нее столько тысяч. Лукерья Ивановна ничего не сказала, да ей и не надо было ни говорить, ни спрашивать, и так все как на блюде.

Теперь можно было решать, где и каким будет механическое производство телег. Два места были на примете у Колесовых. Первое — это пустующие Екатерининские конюшни, где в теплое время года любительская труппа давала народные представления, и заброшенный винокуренный завод. Конюшни можно легко арендовать у казны, но они были малы и неудобны по месту расположения в центре Лутони, на бывшем Екатерининском плацу, ныне базарной площади.

Арендовать пустующий винокуренный завод было бы счастьем. Но как подступиться к нему, как сделать, чтобы не выболтать другим о своих намерениях?

Если бы Петя знал о разговоре Марфы Максимовны с его матерью, тогда бы ему только стоило сказать о своем желании, как оно тотчас было бы исполнено. Исполнено без условий и обязательств с его стороны.

Иртеговский винокуренный завод необычен среди таких же других. Дед Кати, Евлампий Митрофанович Иртегов, был богачом не без причуд. Он, возведя завод, оградил его стенами, напоминающими Нижегородский кремль. Меньше, ниже, но в том же облики. Водка — приманное зелье, и ее нужно стеречь и беречь. Поэтому по стенам днем и ночью ходили отставные солдаты с ружьем, а на коренной башне отбивались большим коло-

колом с бархатным голосом часы, так что вся Тихая Лутоня, а в хорошую погоду и дальние селения узнавали время по иртеговскому звону.

Завод-кремль стоял на незатопляемом берегу Тихой Лутони. Там же, у самой воды, надежный каменный причал и склады для зерна и картофеля. Осенью в плоскодонных лодках по Лутоне и ее притокам поставляли все, что могло стать водкой. Евлампий Иртегов широко покупал и еще шире торговал. Никто не знал, сколько у старика денег и в каком банке они хранятся.

Завод был закрыт в полном его расцвете своенравным Иртеговым в год повышения акцизов. Не хотел он, как оброчный мужик, пребывать в большом обложении и отдавать свой прибыль царю и его приспешникам. Им было сказано: «Пушай стоит до лучших годов, для впуков». На сына надеяться Иртегов не мог. Тот рано сжег себя зельем, выкуриваемым трезвенником Евлампием Иртеговым. Завод перешел матери Кати, а затем стал ее наследством.

С тех пор и стоит он на берегу Лутони, одинокий, молчаливый, нелюдимый и зарастающий молодым лесом.

Сюда-то и пришел Петр Колесов.

VI

Пришел сюда Петр Колесов один, будто бы мимоходом с охоты.

Страстная неделя стояла сухой. Первые прилетевшие птицы славили весну пением, щебетом, свистом за высокими зубчатыми стенами с малыми башнями по углам и коренной, побольше, над въездом. Петр обошел вокруг стен, задержался на причале. Вслед за последними льдинами по большой воде торопился первый караван барок с железом из Векши. Вел его старательный винтовой буксиришка «Глеб», названный так по имени хозяина Векшенских заводов Стрехова, поставщика металла графине Коробцовой-Лапшиной. Следом, как всегда, пойдет второй караван, и поведет его «Ольга» — жена Глеба Трифоновича Стрехова. И так, пока не спадет вода, пароходы-супруги раз двадцать сходят туда и обратно, чтобы сделать годовой запас для Лутонинского завода.

Подойдя к литым, тяжелым воротам под башней, Петр остановился. Запертые давным-давно Евлампием Иртеговым, они не отпирались.

— Теперь-то уж они совсем прикипели, приржавели, заросли, Петенька,— сказала старуха, жена сторожа Денежкина. Она знала Петю с детства и пускала его вместе с Павликом Лутониным, с Витасиком Жуланкиным в заросли.

Денежкины, наследственно сторожившие иртеговский завод, жили здесь, в старой конторе, за десять рублей в месяц.

— Гуляй, Петенька,— провела Денежкина Петю через сквозные сени каменной конторы, выходившие одной дверью в завод, другой за его стены.— Ружье-то с собой возьми. Теперь тут и крупная птица гнездится. Глухота.

Последний раз Колесов был здесь лет пять назад. Двор завода, поросший и тогда уже молодым ельником, теперь походил на лесной питомник. Ели и березы подымались до крыши главного здания завода. Заросли и склады. Ежи, зайцы, кролики нашли здесь счастливое убежище. Их запустили сюда играючи Витасик и Петя. Они размножились, обереженные от хищников, и шныряли теперь под ногами. Нашли здесь постоянное пристанище и птицы.

Обойдено все. Прикинуто. Промерено и оценено. Лучшего и невозможно представить. Капитально строил Евлампий Иртегов. На многие годы замышлялся им винокуренный кремль. Недорого стоит его воскрешение, недолгой будет расстановка станков. Как только начать и с чего разговор с Катей?

Подумав о ней, он услышал ее голос:

— Кто это бродит в моем заколдованном царстве? Кто пугает моих зверьков и птичек?

— Это я, Катя.

— Как ты забрел сюда, дерзкий стрелок? — спросила она, выйдя из ельника.

Петя уловил знакомую интонацию, ту, которая звучала, когда он, Катя, Эльза, Витасик, Павлик, Костя Денежкин и его сестра Маруся играли в «Спящую красавицу». Красавицей была, конечно, Эльза. Маруся Денежкина изображала спящую служанку царевны, мальчишки — спящих слуг. Катя была ключницей, сторожившей старый замок, которую не брал никакой сон, а Петя был царевичем-королевичем, принцем и даже Иванушкой-дурачком. Каждый раз для игры придумывались новые сюжеты. Сегодня он был тоже новым и нужно было по-новому играть.

— Я не вор, не разбойник, царевна,— ответил с поклоном Петя, не зная еще, что скажет он дальше.— Я вольный стрелок из далеких земель. Пришел посмотреть на твои уснувшие палаты, царевна.

— Уж не хочешь ли ты разбудить их, вольный стрелок?

— Разбудил бы, царевна, да не знаю как...

— А зачем тебе их пробуждение?

— Зачем? — спросил он, как обычно.— Вот это-то я и боюсь сказать вам, Екатерина Алексеевна.— Он протянул руку и, выходя из игры, сказал: — Здравствуйте, Катя!

— Здравствуйте, Петя, отвечу и я с добавлением «те», если «вы» теперь заменило наше всегдашнее «ты».

— Да нет, что ты, Катя! Мне показалось, что мы давно выросли. Стали серьезными людьми. Ты так самостоятельна, богата и независима, что мне нужно знать свое место и...

— Петя, остановись на этом «и» и не обижай меня. Зачем ты здесь?

— Захотелось. С этим местом столько связано. Здесь наши с Витасиком ежи, зайцы... Здесь я ловил птиц. Тебе не нравится?

— Да что ты, Петя! Витасик тоже приходит сюда, и очень часто.

— А он зачем?

— За тем же.— Серые глаза Кати смеялись.— За тем же, что и ты.

Мнительному Колесову показалось, что Жуланкиным пришло в голову то же, что и ему. И это было вполне правдоподобно. Жуланкин, а может быть, и проницательный Шутемов, соединяясь теперь через Эльзу и Витасика, задумали воспользоваться этим заводом.

— В каком смысле ты сказала, Катя, что Витасик приходит за тем же, что и я?

— В том же.

— В каком «том же»?

— Витасик любит птиц. И не просто любит, а одержим чижами, чечетками, снегирями, щеглами. Витасик сказал, что теперь, когда ему не нужно больше учиться, он может наверстать потерянное, и соорудил у себя в саду «птичий рай». Это птичий домик с пристроенной к нему... и не знаю, как назвать это сооружение, клеткой, что ли, только очень большой. На столбах и поперечи-

нах натянута сетка. За сеткой посажены деревца, установлена скамейка, размещены кормушки, поилки, скворечницы, гнезда и напущены птицы.

— Странно.

— Мне тоже сначала показалось это несуразным для его возраста, а потом я поняла, что в этом есть какая-то прелесть ухода от кузниц, мастерских, которые ему ненавистны, в мир его наслаждений. Ты видишь, стоит западня? Это его. У него недостает для пары не то чижихи, не то щеглихи.

Вспомнив об Эльзе, Петя заметил вскользь:

— Поймает. Скоро в его птичьем раю все будут жить парно.

— Ему завидовать не стоит.

— Но все же он удачливый ловец.

— Мы очень часто завидуем чужому выстрелу, пусть даже в воробья, не замечая рядом дичь крупнее, которая без выстрела сама в ягдташ стремится... Так кто-то, в какой-то из пьес, будто нечаянно... Случайно реплику такую обронил. И кажется, тогда ее не понял тот, для кого она ронялась.

— Почему же?

— Не знаю. Наверно, был он привередлив. А может быть, и толстокож... А то и тугодумен. Люди так научились усложнять и самое простое... Ой! Я тоже, кажется, заговорила белыми стихами, как та, в той пьесе, что вместе с репликой к его ногам была готова броситься сама... И быть растоптанной... Не вообще, конечно, а его ногами. Ты, Петя, почему вздохнул?

— Я давно вздыхаю, глядя на этот завод. Так жаль его видеть пустующим, неработающим. Спящим!

— Возьми да разбуди.

— Если б мне позволили...

Катя опять заглянула в глаза Пете.

— А кто же тебе может запретить, принц? Уж не я ли?

— Не знаю, Катя...

— Вот что, Петя, тебе не следовало бы так осторожно говорить со мной. Если тебе нужен для чего-то этот завод, бери его.

— Но у меня нет денег.

— Денег? А зачем они мне, Петя? Что мне делать с ними? Построить второй собор? Или вместо старого дедушкиного дома соорудить для себя дворец, как у

Стрехова? Но кто будет мести в комнатах, убирать пыль, топить печи, кто, наконец, будет жить в этих комнатах? Я да Марфа Максимовна? Нам с ней так мало надо. Возьми, если нужно, завод и делай с ним, что хочешь.

— Катя, но завод все же не пасхальное яичко.

— Да, конечно, за пасхальное яйцо нужно поцеловать, а завод не потребует и этого. И вообще, если тебе нужны были деньги, не следовало для этого продавать дом своего отца и прибегать к услугам Красавина. Нужно было просто сказать, что тебе нужны деньги. Я бы не спросила, зачем они тебе нужны, потому что я знаю, что ты не истратишь их на плохое. Сейчас я скажу Анне Дмитриевне, и она отдаст тебе ключи от ворот, складов и от всего, что заперто и еще не растащено.

Колесов не верил услышанному.

— Но, Катя, это, очевидно, налагает на меня какие-то обязательства?

— Никаких! — Катя расхохоталась громко, звонко и своим высоким голосом спугнула с березы грача в весеннем, сизо-вороном наряде.

Ее глаза цвели, сияли, пели. Они бездонно глубоки. Волшебны. Сказочны. Безумны. Ласковы. Добры и... Беспощадны. Рядом с ними у Эльзы не глаза, а два кружка. Две кляксы. Два пятна. Без цвета. Без страсти грешной, но... святой.

«Ах, Катя, милая Катюша, как ты сверкающе маняща!» Он ей этих слов, конечно, не сказал, как и других: «Но что ни говори, какой наядой ни кажись, ты все-таки купчиха, Кетхен. Капиталистка. И будь ты даже той, какой хотел бы я тебя увидеть и без памяти... любить — я сам собой и сам в себе. Все это ни к чему».

Взамен этих слов Петя сказал:

— Тогда, Катюша, если можно, то в аренду и нота-риально...

— Как скажешь, Петя, так и будет.

Колесов поцеловал Катину руку. Она черт знает как была пахуча, а пальцы так тонки, что их было боязно переломить прикосновением к ним губами.

— Пожалуйста, мой принц, другую тоже. Для симметрии хотя бы, — сказала Катя, протягивая левую руку, и крикнула: — Анна Дмитриевна, я сдала в аренду мой завод Петру Демидовичу Колесову! Нотариально. Отдайте ему все ключи... И этот ключик тоже возьмите себе. — Произнеся эти слова, она оторвала от маленьких старин-

ных бабкиных часов на тоненькой цепочке ключик и положила его в карман Петиной охотничьей куртки.

— Зачем?

— Чтобы я не вздумала их заводить,— покосилась она на часики, приколотые к кофте слева,—если они снова сумасбродно захотят отстукивать свои «тик-так». «Часами только тот владеет, кто может их пускать и останавливать умеет...» Это уже рифмованная реплика из... кажется, Лопе де Вега или из... меня. Петя,—при-топнула она,—смотри скромнее на меня. Я могу не так понять и ошибиться. Бери ключи и занимайся делом. Девчонки до добра не доведут. Ам!.. И во щи вместе с гребешком. — И снова смех. — В горшок!.. Дедушкина водка в том подвале.— Катя указала на кованую железную дверь.— О'ревуар, мой принц. Помоги взнудать мне Афродиту. Она послушна, но кусача...

VII

Катя знала, какой завод замышлял Петя. Отец и сын Колесовы не таились от Лукерьи Ивановны и говорили при ней о своих видах на винокуренный завод, а она не могла скрыть этого от Марфы Максимовны, а та — от Кати. Иначе как бы она оказалась на заводе в тот же день и час вместе с Петей?

Два друга, Петр и Павел, не уходили теперь с завода. Мечтали, планировали, расставляли машины, станки, котлы, которых еще не было. Подрядчик Токмаков, чуя работу, составлял смету ремонта крыш, перетирки и покраски стен. Нетерпение было так сильно, что в четверг, пятницу и субботу — в дни страстей господних — мужики согласились начать порубку леса и кустарника. Еще бы не согласиться, когда, кроме поденщины, давалось по бутылки стоялой, задубелой, похожей на коньяк водки из иртеговского подвала... Бог простит мужикам работу, зато всю святую неделю они будут гулять и славить воскресшего спасителя.

Зайцы, ежи и кролики не хотели покидать места, где они родились и прижились. Выгнанные за ворота, они снова возвращались на заводской двор, боясь воли в большом лесу.

На второй день пасхи Петр Колесов укатил в Сормово за паровыми машинами. Демид Петрович и уволившийся с завода Павел Лутонин занялись разборкой

винокурного оборудования. Снимали его осторожно и сносили на склад. А вдруг да найдется покупатель? Устарело не все.

Ворота завода снова были закрыты от кроликов, зайцев и от любопытствующих, а их было немало. В Тихой Лутоне знали все, что иртеговский завод сдан в аренду Демиду Колесову, а орудует Петр. Знали, что Денежкин, назначенный смотрителем завода, получает теперь не десять, а двадцать пять в месяц и обязан не пускать на завод посторонних.

Не знали только самого главного, каким будет новый завод, что станет вырабатывать он и как это скажется на жизни Лутони.

Занимал этот вопрос и Шутемова, и Жуланкина, и Столля. Занимал и Эльзу, отложившую свадьбу «по нездоровью».

Обменяться кольцами, надеть венцы, обойти вокруг аналая — дело нехитрое. А что потом? Схоженная карта выходит из игры. Шутемов допускал разное. На всякую помолвку можно подобрать размолвку, а венчанную не развенчаешь, так что пусть пока Эльзочка похворает, а там видно будет.

Витасик первую половину дня проводил в своем «птичьем раю», затем шел к Шутемовым. Невеста к его приходу ложилась в постель, а если она этого не успевала сделать, просила оставить ее одну, и Витасик возвращался в свой «рай», где сидели в гнездах пернатые питомцы.

Жил в своем, еще не созданном раю и мечтательный Петя Колесов. Большой разлив Камы, дыхание весны и одиночество пассажира первого парохода из Перми в Нижний Новгород помогали его размышлениям.

Вспоминая о том, что было, он стыдился теперь своих чувств к Эльзе. Как он мог желать соединиться с нею? И что было бы, если б это произошло, и как хорошо, что она так откровенно раскрылась перед ним.

Жена Столля точно определила его назначение «образованного батрака». Таким же или почти таким же является ее муж, управляющий заводом графини Коробцовой. Таким же хотели видеть его Жуланкины и Шутемовы. И где бы он ни применил себя, как бы ни называли его, он должен участвовать в производстве материальных ценностей для обогащения тех, кому принадлежит то, чем производят, и то, из чего производят.

Он стал бы рабом с высшим образованием, слугой своих господ, сажающих его за свой стол. Деревенский мироед тоже сажает за стол рядом с собой работающих у него. Разница только в столе. И на свете пока нет стола, за которым бы он сидел равным среди равных.

Но такой стол можно создать. Создать без криков, лозунгов и прокламаций. И он сумеет показать труженикам, в чем их сила, заставить поверить их не книжно, а практически, как могут они победить богатеющих на их труде, и начатое в захолустной Лутоне станет достоянием многих людей. Этому можно посвятить жизнь.

Кто-то один открыл колесо и первым применил его. И оно стало служить всему человечеству. Откроет и он людям окно в новую жизнь, и станет оно вратами царства труда и содружества.

Им уже сделаны первые шаги, и большие, успешные шаги, только странно — почему так легко и просто удалось столько сделать? В три дня продан дом отца. В течение часа был отдан винокуренный завод. Почему так добра Катя Иртегова? А что, если она тоже «Эльза», но более умная и менее торопливая? Не хочет ли она купить его и приручить? Как хорошо, что он сумел устоять, не поддавшись широте ее натуры, а предложил большую неустойку и возмещение расходов по переоборудованию завода.

Возможно, он излишне предусмотрителен и требователен. Вообще-то говоря, Катя Иртегова по-своему очаровательное создание, и, будь она менее богатой, может, стоит поверить отцу и матери, которые так недвусмысленно хотят их сближения. Но как можно верить отцу, если его отец хочет торжества над Шутемовыми и Жуланкиными для себя, для своей правды, а он, Петя, — для других, для тех, кто будет работать на этом заводе. Отец надеется, что его сын будет владеть заводом, а сын хочет всего лишь управлять им и получать положенное за управление, но не от капиталиста, а от рабочих. И его никто не назовет тогда «образованным батраком». Но если он даже станет им, то не у кого-то, а у тех, кто создает, кто производит. Поэтому нужно держаться подальше от Кати, не позволять чувствам управлять собой, они могут сломать все. Катя не сумеет полностью понять и принять его идеи, хотя она так либеральна во взглядах. Новый молодой образованный лутонинский «врид» Мерцалов тоже либерален, свободомыслящ, но все же

он «врид». И Катя остается Катей, богатой наследницей оставленных дедом капиталов и еще не полученного от витимской тетки золота, которое тоже будет ее.

Не портить отношений с Катей, не мешать ей сотрудничать с ним, не попадая, однако, к ней в кабалу, будет самым правильным и полезным для задуманного им.

VIII

В чем-то Колесов был прав относительно Кати, но все же он знал о ней меньше, чем Павел Лутонин, живший в иртеговском флигеле со своим дедом.

Дед Павла, Анисим Сергеевич Лутонин, изработавшись на заводе графини Коробцовой, перешел на тихое место, к Иртеговым. Живя при готовой квартире с дровами, не обиженный платой, он делал все необходимое по дому. Мел двор, топил печи, нанимал мыть полы, стирать, «блюл добро», покупал провиант, надзирал за кухаркой,— словом, до прихода Марфы Максимовны Ряженковой вел все хозяйство.

Павел — двумя годами старше Кати. Он осиротел, по существу, при живой матери, вышедшей замуж за доменного мастера в Векшу и отдавшей его деду. Дед, из «темных бунтовщиков», дал ему грамоту, привил свою ненависть к «самодержцу» всея Руси и его «содержателям-прижимателям», устроил внука на завод, ввел в иртеговский дом. Скромный, воспитанный дедом на большой трудовой правде, Павлик был допущен у Иртеговых к играм с Катей. Привязавшись с детства один к другому, они сохранили эти отношения до последних лет. Но теперь уже не игры, а общность судеб и взглядов связывала их.

Катя, как всякая сирота, рано повзрослела и быстро поумнела. «Образовывалась» она, как и Эльза, в Петербурге. Жила у витимской тетки Хионии, которая покидала на зиму свои золотые прииски и переезжала в петербургский дом. Тетка хотела видеть свою племянницу не просто знающей и «манерной» не менее дворцовых девок: княжон и графинек,— Хиония желала воспитать ее «хозяйкой дела», такой же, как и сама. Ей, властной женщине, Катя виделась не «при муже вчуже», живущей под ним, а вершащей всем наследницей и хозяйкой, какой была она, золотая, всемогущая вдова. Но для этого красавица должна знать не только «исто-

рии-географии», уметь «выкадрилировать менуэтки», если снадобится — в Зимнем дворце, не только гнусавить с парижским выговором, но и знать, как «отче наш», главную науку — коммерцию, для чего она наняла ей особого учителя — «коммерцгер-юристпрюдента». Так называла тетка скромного, засидевшегося в ненасытности наук, седьмой год переходящего из одного учебного заведения в другое, бородатого студента родом из Самары, бедствующего в Петербурге.

«Коммерцгер» добросовестно преподавал Кате коммерцию, состоящую из многих наук, начиная с политической экономии, учения о капитале и рынках, эксплуатации и конкуренции, кончая чтением «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

На третий год обучения Кати коммерческим наукам ее «коммерцгера» выслали на вольное поселение в дальние губернии Сибири, «по выбору места высылаемым». Катя упросила тетечку Хионочку взять учителя на Витимские прииски, да и тетка поняла, что лучшего писмоводителя по коммерческим делам ей не найти.

«Коммерцгер» вскоре оказался на Витимских приисках, а Катя дообразовывалась, как могла, «коммерческим наукам» самостоятельно. Бывая в домах просвещенных и передовых людей, она поняла, что истины, исповедуемые ее кругом, несовершенны, что установленные порядки, как и те, кто устанавливает их, не вечны. Там же, в Петербурге, она впервые услышала слово «революция» и увидела, какими бывают революционеры.

Рассказ о жизни Кати в Петербурге, где она, любимица бездетной тетки, бывала и в детстве, выглядел бы односторонне, если бы мы ограничились только ее науками. Катя рано познала блеск балов, толпу поклонников и женихов. Об этом довольно красноречиво рассказывает не лишенное юмора альбомное стихотворение, написанное Катиным «пажом». Так он звался и по своей фамилии Пажевитин, и потому, что на самом деле был ее пажом-рыцарем, влюбленным безнадежно.

Вот его альбомные стихи, — они могут вызвать улыбку, но все же без них не обойтись в этой главе.

Мой ангел Китти с колыбели,
Когда ей баю-баю пели,
Была завидная невеста.
Еще тогда искали места

В ее сердечке сыновьям
Их дальновидные отцы,
Которые по всем статьям
Стяжатели и подлецы.
Не за нее они радели,
А — что за ней, отцы хотели
Заполучить, разбогатеть...
Чего же большего хотеть?
Но...

Катя смотрит сентябрем,
От Кати веет холодом, стужей...
Ей ни один из них не нужен.
Она в четырнадцать годов
Свой выбор сделала.

Готов
Давно наряд венчальный.
И Виктор, паж ее печальный,
Смирится с Катиным вешком,
Любви надежного кошмом.

И если говорить правду, Катя была немножко влюблена в студента-филолога Виктора Пажевитина. Ее жизнь в Петербурге была шумна и весела, но все же голова у Кати там не закружилась.

Приезжая на лето в Лутонию, а потом поселившись здесь, она осторожно делилась с Павлом своими суждениями, а Павел, тоже не открывая всего, не называя тех на заводе, с кем он связан и кто влиял на него, рассказывал о социал-демократах, о главной силе общества — рабочем классе. И они, не замечая того, взаимобогащались знаниями. Появились и книги, которые можно было читать только вдвоем. Их приносила Павлу влюбленная в него тайно и нежно Настенька Красавина, приносила на время и под большим секретом. Это были брошюры, гектографические оттиски, списки с почтовых изъятий. Постепенно в их представлении революция становилась неизбежной. Они не знали, какой будет и когда произойдет эта революция, но для них было совершенно ясно, как жалки все эти Шутемовы, Жуланкины да и сама графиня Коробцова-Лапшина в своей суете и как ограничена хитрая, но недалекая Эльза в этой мышиною возне мелких обманов, грощовых выгод.

Все это прах.

Отсюда и небрежение Кати к деньгам, к богатству, как к преходящему и обреченному, подлежащему справедливому возврату тем, кто создал все, от тех, кто при-своил чужое...

Но не раздавать же принадлежащее ей неимущим. От этого ничего не изменится. Она уже пробовала покупать скот, сохи, бороны, строить избы... Капли в море. И если она раздаст все и станет учительницей, то прибавится ли по копейке на душу? Нужно создавать, приобретать необходимое всем и полезное многим, которое нельзя растащить, растворить, как куль сахара в Лутонинском пруду, от чего не посластееет в нем вода и не останется сахара.

Таким и был для нее тележный завод. Благом для многих. И она увлеклась заводом, вовлеклась в его жизнь.

Из переписки с «коммерцгером», которому она с восторгом рассказывала о заводе, следовало, однако, что начинания Пети припахивают какой-то новой разновидностью народничества. И Павел говорил, что завод чем-то похож и на «птичий рай» Витасика, на заячье раздолье в заросшем винокуренном заводе. И зайцы и птицы ограждены там от хищников большого леса, им не нужно заботиться о корме, бояться быть съеденными и растерзанными. Этим, наверно, допустимо умиляться, если забыть, что большой лес остается со всеми его звериными законами, по которым сильный побеждает слабого.

Так не будет ли «тележный рай» Пети благополучным островком в темном, бесправном «лесу»?

Катя согласна с Павликом, что нужно переустраивать весь «лес», всю империю с ее волчьими законами, и свергать не Шутемова, а «шутемовых» — от царя до сельского паука-кровопийца. Но Катя думает также, что, пока этого нет, нужно делать хоть что-то. И если стам, двумстам, а может быть, и тысяче семей будет легче жить, надо этому помогать. Конечно, опекаемая ею и недавно расширенная богадельня обеспечивает сносную старость сорока старухам, а миллионы их бедствуют, но все же сорок старух не ходят по миру.

Значит, Петечка Колесов по-своему прав. А вдруг да Петя Колесов в самом деле откроет новое и люди повторят это?

Так думала Катя особенно после возвращения Пети Колесова из Сормова. Там он сделал очень удачные покупки, ему посчастливилось раздобыть и те станки, которые, казалось, можно достать только за границей. В Сормове нашлись друзья по институту, и они во мно-

гом помогли ему. Все было погружено при нем и отправлено.

Через неделю начнется установка котлов, машин, станков.

Стольль поражался быстроте и умению молодого инженера Колесова. Мадам де Стольль прославляла Петра Демидовича дома, в гостях, при встрече со знакомыми и в письмах к знакомым, не жалея слов, не боясь преувеличений, считая самые лестные сравнения недостаточными для изображения его знаний, ума, трудолюбия, находчивости, прирожденного благородства, наследственной доброжелательности, кристальной честности и, конечно, всепобеждающего обаяния.

Таким нарисовала она Колесова и графине Варваре Федоровне Коробцовой-Лапшиной, приехавшей на свой завод, чтобы попробовать избавиться от него.

— О, я непременно хочу видеть этого гениального инженера!

За Колесовым была послана одна из трех шутомовских карет.

IX

Коробцова-Лапшина искусно скрывала свои лета. У нее для этого были сообщники, начиная с денег и кончая парижскими мастерами.

Художник Дуарте, сопровождавший графиню с целью нарисовать ее портрет на фоне особняка, помогал ей играть в жмурки с возрастом.

Колесову графиня была нужнее, чем он ей. Одевшись в солидное, визитное, не позабыв букет белых роз и белые перчатки, он появился в ее гостиной аристократом по всем статьям, от поклона до умения поцеловать руку знатной дамы, от сдержанности речи до полноты ответов на заданные вопросы.

Графиня попросила не чиниться и называть ее Варварой Федоровной.

Колесов поклонился не слишком низко, но достаточно учтиво.

После кофе с французским ликером и вяземскими пряниками графиня перешла к делу, спросив, что думает о ее заводе Петр Демидович.

Петр Демидович сказал, что завод стар и нуждается в больших затратах. И развил свое утверждение, оп-

равдывая этим Столля, с которым не следовало пока портить отношения. Далее, усомнившись в целесообразности производить расходы, которые возместятся далеко не скоро, Колесов одновременно находил опрометчивостью продажу завода, которую Столля считал «печальной неизбежностью».

Этому не удивлялся Петр Демидович. Столля, обворовывавший завод, видимо, достаточно скопил для того, чтобы стать из управляющих совладельцем завода. И ни с кем-то, а с Глебом Трифоновичем Стреховым, хозяином Векшинских заводов. Не случайно же Столля называл его фамилию как верного покупателя. Во времена основоположника уральской и прикамской промышленности Татищева Лутонинский и Векшинские заводы возводились как два звена единого предприятия. Одно превращало руду векшинского месторождения в металл, другое — металл в изделия. Так это было и теперь, когда казенные заводы стали принадлежать двум хозяевам. Векшинские — Стрехову, Лутонинский — Коробцовой-Лапшиной. Они, живя на одной реке, отрезанные от большой промышленности и железных дорог, зависели друг от друга.

— Заводчику Стрехову будет выгодно, — почтительно убеждал графиню Столля, — воссоединить разрозненное в единое целое. Так думаю я...

Так думал он. Но его намерения противоречили далеко идущим планам Петра Колесова. Поэтому Колесов сказал:

— Виктор Юрьевич прав, но Стрехов предложит за Лутонинский завод меньше, чем он при его плачевном состоянии может дать прибыли за пять-шесть лет, при условии надежных, постоянных заказов, а не случайных изделий, сбыт которых зависит от превратностей рынка. Виктор Юрьевич не может поручиться, в каком количестве могут быть куплены лемехи для сох, зубья для борон, колеса для тачек, гвозди, заклепки, скобы и все, что производит завод в расчете на этот коварно-вероломный спрос.

Графиня одобрительно кивнула. Это было доступно ее пониманию.

— И если, осмелюсь заметить вам, Варвара Федоровна, жалкие мастерские некоего Жуланкина оказываются способными иногда конкурировать с заводом, — слегка кольнул Столля и посмотрел в его сторону Коле-

сов,— то, может быть, стоит подумать, как это происходит.

— А что бы посоветовали вы, Петр Демидович, чтобы нам с Виктором Юрьевичем знать, о чем нужно подумать?

— Извольте, Варвара Федоровна, мне вовсе не трудно повторить старую истину: делать скорее, лучше, а следовательно, и дешевле.

— А это возможно? — не утерпел молчавший до этого Столль.

— Если вам будет угодно, почтеннейший Виктор Юрьевич, я рад показать, как это делается, безвозмездно, из уважения к вам и моей глубокой признательности графине Варваре Федоровне.

Графиня после этих слов заговорила совсем по-купчески:

— Полноте, батенька мой, говорить о безвозмездности. Безвозмездно и в храме не молятся. Поговорим, как мы можем сделать это возмездно.

Она позвонила колокольчиком и спросила вошедшую горничную, готов ли стол, и, не дождавшись ответа, попросила Колесова и Столля в столовую.

В столовой после первой рюмки она пригласила Колесова стать шеф-инженером ее завода, «возмездным и паевым».

— У меня, как вы знаете, Варвара Федоровна, затевается свой завод, и я весь в нем. Но и при этом я могу стать полезным вашему заводу, если завод захочет быть полезным моему, смею заверить вас, святому делу. Я могу покупать половину производимого заводом и платить двенадцать рублей заводу за то, что будет стоить ему десять рублей. Таким образом, я гарантирую прибыль в двадцать процентов и при условии, если вторая половина изделий завода не даст дохода, как это случается, к сожалению, часто, завод выйдет с десятипроцентной прибылью.

После заливной рыбы разговор возобновил Столль. Ему нужно было выяснить, что именно закажет заводу Колесов, и по заказанному определить, что будет производить его таинственный завод, и он спросил об этом. Колесов теперь не скрывал:

— Я буду делать телеги. Мне понадобится все, что в телеге железное. Оси, втулки, колпаки, оковка. Но у меня условие — завод будет делать все это по моим ука-

заниям и шаблонам. И я помогу заводу выполнять заказанное мною дешевле, в чем я заинтересован, потому что оплата будет не поштучной, а по сумме заводской стоимости! — Обратившись снова к графине, он указал на бокал: — Допустим, этот бокал заводу обходится в десять копеек — я плачу за него двенадцать. Но если я помог удешевить заводу его вдвое, я вдвое меньше плачу. Выгода бесспорна.

Графиня поняла и приняла предложение Колесова.

У Столля не нашлось возражений. Удешевленное изобретательным Колесовым можно продавать дороже другим. Продажа завода теперь не могла состояться. Но тут же, между заливной рыбой и ростбифом с кровью, Столля подумал о Жуланкине и увидел его банкротом, а себя ущемленным Колесовым.

В конце завтрака, перед мороженым с клубникой, Колесов успел заметить, что расчет в этот первый пусковой год он будет производить векселями. А после мороженого, поблагодарив за божественный завтрак и честь, оказанную ему, пригласил графиню снизойти до его именинного обеда.

— Мне, Варвара Федоровна, исполняется четверть века, но у меня нет кареты, которую я мог бы подать вам.

— Бог мой, я согласна приехать к вам на телеге!

Х

Оттягивать свадьбу Эльзы, придумывать новые причины стало невозможным. Влюбленный Витасик Жуланкин, рыдая, спрашивает:

— Не разлюбила ли ты меня, моя птиченька?

— Разве это возможно? — лжет Эльза и разрешает стоящему на коленях жениху обнимать себя, принимать к ней, пьяниться ее запахами, не запрещает его нетерпеливым рукам брать свадебные задатки, но думает о потерянном Пете.

Есть еще надежда в день его именин вымолить у него последнее свидание, с которого она уйдет женщиной и, может быть, матерью, и это обяжет его...

Представляя себе, как и где произойдет ее встреча с Петей, продолжая стоять перед зеркалом, она не чувствует разгоряченных рук Витасика, не слышит его трепетного дыхания, уносится в желаемое и живет в нем, как в свершающемся.

Патриккий Шутемов думает в том же направлении, мечтая о возможном компаньонстве с Петькой Колесовым, после породнения с ним. Но если надежд на Петьку не будет, все равно Эльзе снова придется похворать. Открылась новая, третья свадебная негоция.

Неделю тому назад Шутемовы были на похоронах жены Глеба Трифоновича Стрехова, вдовец так пялил глаза на Эльзу за похоронным обедом, что и дурак понял бы, о каком возмещении невозвратимой утраты думал грешник, знающий цену женской красоте.

А позавчера, не находя себе дома места, Стрехов приезжал к Шутемовым в модном трауре пожаловаться на бездетное одиночество, не забыв привезти Эльзе алмазную брошь, как памятное подарение от покойной Ольги Ивановны, которая любила шутемовскую дочь, как родную. Любила, как оказалось, покойница и Магдалину Григорьевну и завещала ей также на помин своей души жемчужное ожерелье. Можно ли Патрикию Лукичу не задуматься над этим, особенно после сказанного Магдалиной:

— Стрехов — это тебе не Витасик. И стреховские заводы не жуланкинские мастерские. Стрехов немолод, но у него нет наследников...

Жена повторяла мысли мужа, но, думая о журавле, нельзя было выпускать из рук синицу. Петька завтра открывает свой завод.

В петров день с утра, в ознаменование успешного, до срока законченного подряда на ремонтные работы завода, было большое угощение на берегу реки Лутони. Собрались все артели подрядчика Токмакова. В это же утро на башне заводских ворот к загодя вцементированным анкерным болтам было привинчено большое бронзовое, о двенадцати спицах, тележное колесо. По утолщенному ободу колеса отлитые вместе с ним буквы гласили: ТРУДОВОЕ ТЕЛЕЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ.

А по низу обода значилось: ТИХАЯ ЛУТОНЯ.

Что и к чему, теперь уже не надо гадать. Шутемовские лазутчики донесли Патрикию Лукичу все и во всех подробностях, а о саженом колесе особо. До спицы его пересчитали, до буквы перерисовали, и как его подымали, и сколько пудов оно весит, обсказывали взахлеб.

— Понял,— остановил Шутемов услужливых пере- сказчиков и выдал им по полтиннику.— В нутре надо знать, что у него, а наружу я сам увидеть могу.

Подозрения, в которые не хотелось верить Шутемову и которые он гнал от себя, сбывались. Тележное тавро Демидки Колесова стояло в рачьих глазах Патрикия Лукича. И смотрел ли он в окно или на стену, закрывал ли глаза, колесо было в них. Колесо было и в блюде, когда он пил чай, и на дверях, когда Шутемов выходил из дому.

Патрикий Шутемов утешал себя тем, что колесо еще не телега и телега тоже еще не товар. Надо, чтоб она легко катилась, ходко бралась и долго жила, а пока да что, нужно воспользоваться поводом и до больших вечерних гостей поздравить Колесовых с дорогим именинником, а Петьку с днем ангела и назвать его Петром Демидовичем.

Сахарное слово мало стоит, да дорого ценится.

Колесовы жили в небольшом, одноэтажном, деревянном доме, обшитом в шашку тесом, украшенном резными наличниками, крытом железом. Ворота как у всех. Три столба. Три полотна. Два воротных, одно калиточное. На воротах все еще старая вывеска — тележное колесо. Так велось. Сапожник вывешивал сапог, пекарь — крендель, красильщик — синий холщовый флаг, бондарь — бочку. Вывески пошли позднее, но и они читались не по написанному, а по нарисованному. Коли на вывеске колбаса и окорок, так ясно, что это не аптека, также и господин в пальто или мадама в салопе без слов говорили, какое это заведение.

Колесо Демид Петрович не снимал, потому что хоть и считанные десятки телег, да делались в его когда-то шумной, веселой мастерской. А так что ж, без колеса? Кто ты такой? Почтовый нахлебник.

Человек до гроба должен кем-то быть.

Шутемов не пошел через гостевое крыльцо, хотя его дверь была заметно не приперта. Через двор попроще, похозяйственное.

На дворе стояло до десятка телег. Не загляделся бы на них только слепой. Одна другой краше, и все разные. Языком так не вылижешь. Мебельная пригонка, царская выделка, и разглядеть тянет, и останавливаться неловко.

Пройдя через черный ход, Шутемов еще в кухне начал распочтеннейшие поздравления. Не успев закон-

чить своего певучего славословия, он должен был остановиться. Второй поздравитель принялся лить елей и воскурять фимиам пожеланий. Парамона Антоновича Жуланкина тоже обеспокоило бронзовое колесо, и ему небезразлично было знать, кто будет одевать колесовские телеги в железо.

Колесовы, облобызавшись с гостями на кухне, не провели их к себе: для этого надо было идти через большую горницу, теперь переименованную в столовую, где был накрыт стол на считанное число персон, в которое не входили и не подходили ни первый, с бородой клинышком, ни второй, с бородой помелом.

— А мы вас ждали вечером, как положено,— не стал хитрить Петр.— Но дорогих гостей и два раза в день принять радостно. А пока прошу вас покорно посмотреть на отцовские телеги.

Можно было обидеться, но до этого ли, когда он так открыто повел себя с ними. Не таясь, не боясь, показывает им то, что другой держал бы под семью замками, за двенадцатью печатями.

— Вы первые судьи, тонкие ценители,— сделал Петр широкий жест, как бы показывая, что для них душа нараспашку.— Десять телег. Ругайте, хвалите, смейтесь, ищите изъяны — за все спасибо скажу,— поклонился он тому и другому поясным поклоном.

Начался злой, завистливый, зоркий осмотр.

XI

Демид Петрович тем временем вынес на двор небольшой круглый стол, одна из подряженных на этот день стряпух застлала его скатертью, другая принесла тарелки, приборы. Лукерья Ивановна прихватила на кухне первый попавшийся под руку пирог и, кланяясь гостям, пригласила к столу.

— Так складнее будет Петрушину заушь разглядывать. Честь и место!

Пока Демид Петрович разливал по лафитникам мадеру, притащили стулья.

— За что выпьем? — обратился к Жуланкину Патрикий Лукич.— За чудо-телеги или за чудо-тележника?

— Оси-то кто ковал? — спросил Жуланкин.

— Да мало ли в нашей Лутоне кузнецов... — уклонился от прямого ответа Колесов.

— Я о мадере, а он об осях. Поздравим наперед с днем ангела, днем возрождения хозяев дома сего, а потом скажем, что нас просят сказать. За трех Петров — за сына, за деда, за святого апостола Петра... Аминь!

Церемонно и смачно закусив пирогом, Шутемов принялся хвалить телеги, отмечая достоинства каждой, не обойдя мелочей, тут же предостерег Колесовых:

— Такие телеги, Петр Демидович, можно делать для наслаждения глазам, но не для коммерции. Эти красавицы из красавиц могут получать медали и на иноземных выставках, стоять в кунсткамерах, славить руки русских мастеров, ублажать видом, но не умножать капиталы, вложенные в них. Не серчай на мою прямоу, Петр Демидович, и ты, мой кум, Демид Петрович.

Он что-то хотел сказать еще, но оба Колесовы поблагодарили его за похвалу и, как заметил Шутемов, не захотели выслушать его далее. Они обратили свой взор на Жуланкина, и тот понял, что теперь его очередь сказать свое мудрое слово.

— Оно, конечно же, ежели взять такую гайку да поставить на стол вместо черниленки, и губернатору писать из нее не зазорно. А ведь гайкино дело не красоваться, голубок мой Петенька, а не дать колесу соскочить с оси и не допустить хлябины.

На примере гайки Жуланкин принялся доказывать, что «дешево, да сердито» полезительнее «дорогого, да милого», ибо с телегой не целуются, а возят на ней кладь. И упредил:

— Я черен, да не ворон, и мне вчуже жалко накаркивать непогодь трудовому товариществу на паях, ежели пайщики в нем станут люди, пестующие телегу из года в год, по спице, по дрожине, как родное дитё, и болеющие за ее крепость, долговечность и малую цену.

— Золотые слова, Петрушенька, мы слышали от умудренных людей, — замыл ничемушнее поучительство Демид Петрович и принялся снова разливать вино, но у ворот послышалось громкое «тпру».

Остановилась карета. Ее узнал Шутемов, увидев в просветы ворот. Послышался голос Столля и два женских.

— Прошу извинения, я встречу графиню, — бросил на ходу Колесов-сын.

— А она, Демид, с какой стороны гостя? — не удержался Жуланкин.

— По всей видимости, сватать Петрушу на завод,— отговорился Демид Петрович.— Я в эти дела не путаюсь.

— Та-ак,— промычал Шутемов.— Выходит, мы не в компанию попали.

— Да какая они нам компания! Хорошо, что вечером не прикатили, когда соберутся свои да наши. Связали бы по рукам и ногам. Ни выпей, ни закуси...

Шутемов начал догадываться. Его догадки усугубились после встреченного на улице кабриолета, в котором сидела Катя Иртегова в пышном ситцевом сарафане, с непокрытой головой. Кабриолет остановился у колесовских ворот.

— А ты, Парамон, говоришь, что у него гайки не те. Оп, братец ты мой, в гайках толк знает и, по всему видно, умеет их навинчивать.

— Да будет тебе, Патрикий,— ободряя не столько Шутемова, сколько себя, изрек Жуланкин,— захотела овца волка съесть, да сама им была съедена.

Шутемов не отозвался. Его злила самоуверенность Жуланкина, возмущала болтовня, выдаваемая за мудрствование, сердили телеги под колесовским навесом, жгла обида угощения на дворе, мучил и приезд графини, ни у кого никогда не бывавшей в Лутоне — и вдруг: «Здравствуйте, мой милый друг Петр Демидович!», бесила и Катька Иртегова в ситцах и при бриллиантах незнаемо на сколько тысяч рублей.

В народе говорят: «Петр и Павел час убавил». Этот петров день убавил Патрикию Лукичу не меньше года жизни.

— Да не молчи ты, Парамон, вспомни что-нибудь из Священного писания.

— Не зря он тогда, на масленице,— ответил Жуланкин,— нарядился Сатаной. Надежда теперь, Патрикий, только на бога да на твою Эльзу.

— А на Эльзу-то каким боком?

— Уведет она Петьку от Катьки Иртеговой — и тогда конец его колесу.

— А как же твой Виталий без Эльзы?

Шагов через двадцать ответил медленно идущий Жуланкин. Ему хотелось избавиться от Эльзы, обезденежить Петьку и сохранить благополучие своих кузнечных мастерских.

— А что Витаська? Поревет месяц-другой, пожалеется своим птахам и женится на той же столлевской

Стаське или его Катенька пожалеет. И пушай! А мы целы будем.

Еще темнее стало в голове Шутемова. В ней стало совсем темно, когда в легкой тележке мимо, не глядя на них, промчался Стрехов и тоже остановился у колесовского дома. А вдруг Столлева жена не зря сболтнула, что вдовый Стрехов может теперь не покупать «Лутону», а жениться на ней? Вместе с графиней...

А вдруг?

XII

Косоворотка молодого Колесова и сарафан Кати задали тон обеде, а потом ужину. Развеселившаяся графиня соизволила остаться на вечер.

Петров день Колесовы праздновали еще при деде Петре хлебосольно и широко. Под навесом, забитым зимой телегами, распродаваемыми весной, ставились столы и скамьи. Гостей собиралось до ста человек, без разбора чинов и званий. За столы сажались рабочие тележной мастерской Колесова и господа. Господам на этот раз пришлось накрыть отдельный стол. Как-никак графиня барыня и Столь не простой господин. Ну, а остальные, как все, не обессудьте, знали, куда шли, какие тут порядки. Шутемов сунулся было за господский стол, но находчивая Катя Иртегова объяснила ему, что за этим столом могут сидеть только разговаривающие по-французски и что Патрикию Лукичу будет трудно сидеть молча.

Мадам де Столь, подтверждая это, заговорила с графиней на том французском, который заставлял вздрагивать художника мосье Дуарте, приглашенного сюда для зарисовок.

Эльза по праву села за «французский» стол, а ее Витасик на этом же основании был вынужден разъединиться с невестой. Она тоже была в сарафане. Петров день — национальный, народный праздник сенокоса, а вечер на дворе — это гармонь, камаринская, «Барыня», прикамская кадрили, переплясы. В бальное не вырядишься, будешь чужой.

Сарафан очень шел Эльзе, и Дуарте представил, как он изобразит эту русскую красавицу в рост у стога сена. Он непременно напишет ее портрет, и Париж оценит его работу.

Стрехов, будучи в трауре, не остался на веселье. По всей видимости, предположения Марины Столь были сущей выдумкой, чтобы поторопить свадьбу Эльзы и Витасика. Наверно, она не позабыла вспомнить о ней при Стрехове. Не случайно же, уезжая, он многозначительно сказал Эльзе:

— Счастливых вам танцев и еще более счастливого их продолжения...

После первой здравицы за именинника послышался далекий звон колокола. С этого дня на башне завода товарищества он будет отбивать часы, как при старике Иртегове.

— Далеко теперь будет слышна слава нового завода,— льстиво одобрил звон Патрикий Лукич.— А интересно бы знать, кого и как будет принимать к себе товарищество на паях?

Петр знал, что такой вопрос ему кем-то будет задан, и если б этого не сделал никто, он бы произнес здравицу за процветание трудового товарищества. Затем и был назван такой пестрый круг гостей, каждый из которых перескажет услышанное другим, другие — третьим, и будет широко известно то, что теперь не скрывалось, а, напротив, требовало гласности. Для этой цели был приглашен и либеральный «вريد» Анатолий Петрович Мерцалов, сидящий за столом «аристократов», рядом с графиней.

— Я с удовольствием отвечу вам, Патрикий Лукич, и всем, кого может заинтересовать создаваемое нами трудовое тележное товарищество на паях.

Все притихли, перестали есть. Колесов продолжил:

— Товарищество создается с целью производить хороший, дешевый и самый распространенный народный экипаж нашего времени — телегу. В товарищество может вступить всякий желающий и умеющий с пользой для себя и для других применить свои руки. Вот эти, например,— Колесов поднял одной рукой руку Ефима Силина, а другой руку сидящего рядом с ним мастера Баклушина,— которыми сделаны пробные телеги,— он указал, и все посмотрели в сторону стоящих поодаль новых телег.— И если вы, Патрикий Лукич, или вы, Парамон Антонович, или ты, Виталий, захотите приложить к общему делу свои руки, а не капиталы, то ворота трудового товарищества открыты и для вас.

— А как же без капиталов, Петр Демидович, когда

на колесе отлито: «Товарищество на паях»? — спросил мыловар Сорокин.

— Там же, на колесе, есть слово и «трудовое». Это первое слово фирмы. Значит, и пай предполагаются трудовые. Сколько вложил труда, столько и получил, а в конце года распределение прибылей по трудовым паям. Поясню. Если вы, Патрикий Лукич, или ты, Виталий; заработали на заводе за год по тысяче рублей, а чистая прибыль завода составила полтинник на каждый рубль, значит, вам предстоит дополучить еще по пятисот рублей. Поэтому каждый будет стараться больше сделать, чтобы больше заработать. И всякий в этом «Колесе» — спница, заинтересованная в убыстрении оборотов своего «товарищества», в облегчении своего труда. Добросовестность трудового взаимодействия всех будет главной силой товарищества, обман хотя бы на полушку лишит работающего уважения остальных и трудового места на заводе. Так что милости просим, Патрикий Лукич... А теперь, — обратился он ко всем, — прошу выпить за день рождения нового колеса в большой телеге нашего отечества и за его первого трудового пайщика самородного механика Павла Гавриловича Лутонина, такого же, как и я, именинника в этот петров и павлов день.

Отменный бас мыловара Леонтия Сорокина пропел «многая лета», его поддержали все, кто хотел многих лет товариществу и кто проклял его в этот вечер.

Катя Иртегова, оживленно перебегая от стола к столу, заменяла не любившую шума и веселья Лукерью Ивановну Колесову, угощала гостей, не думая, как и кем это будет понято и оценено. И Эльза, обозленная вечером и услышанным на нем, попыталась уколоть Катю, подававшую на стол вместе с другими девушками, нанятыми для помощи, громко похвалила ее:

— Ты так резва и расторопна, Катюша, как будто сегодня не петров день, а екатеринин...

— Ты угадала, мой ангел. Сегодня и мой день... И я делаю все, чтобы стать приятной Петру Демидовичу. Сейчас, например, я, как только поставлю на стол это блюдо, приглашу тебя и Петра Демидовича начать пляски.

К Эльзе был подведен именинник.

— Красивее пары не найти во всей нашей Лутоне. Господа, — обратилась ко всем Катя, — посмотрите, как они дополняют один другого.

Танца не получилось. Эльза еще надеялась, что, танцуя с Петей, она сумеет что-то шепнуть ему, завлечь его, добиться встречи, но сам вид Пети, принужденного танцевать с ней, неприязнь в его глазах остановили ее. Оба безжизненно, будто выполняя тяжелое поручение, прошлись два круга под гармонь и вернулись на свои места.

Шутемов, следивший за дочерью, понял, что с Колесовым ей больше не станцеваться, и пересел за стол к Жуланкиным.

— Теперь по справедливости второй именинник, — поклонилась Катя Лутонину. — Павел Гаврилович, вам бьет челом резвая и расторопная девка Катюшка Иртегова и просит показать добрым людям, как надобно плясать именинникам. «Барыню!» — приказала она гармонистам и запритопывала, заприплясывала, как это делают заводские озорницы, зазывая в пляс.

За столом опять перестали есть. Кому было не интересно увидеть, как иртеговская внучка в сарафане, сверкая алмазами, поведет себя в пляске с Лутониным...

Степенно начался знакомый перепляс. Как на коньках по льду, проскользила по каменным плитам двора Катя, опустив ресницы, будто боясь взглянуть на примааниваемого ею добра молодца.

С легким притопом прошелся и Лутонин, подкручивая то левый, то правый отсутствующий ус, веселя этим и простых и знатных.

Катя, показав, как длинны ее ресницы, теперь показывала, как веселы ее большие серые глаза, подняла их на Лутонина и, спохватившись, снова опустила их долу.

Во втором круге она, будто сдерживая прыть ног и движения рук, не давала им воли, а они как бы помимо нее выбалтывали, как много у них в запасе плясового огня, который они вынуждены гасить.

Такой Эльза никогда не видела Катю.

Сюжет «Барыни» нарастал и развивался по мере ускорения темпа несложной мелодии, расцветиваемой новыми вариациями знающих смак в музыкальных переливах гармонистов.

От ленивого, легкого дуновения теплого ветерка, шевелящего луговые травы, гармонисты постепенно переходили к свежему ветру, порывы которого завихряли Катин сарафан, побуждали Павла Лутонина не под-

даться в пляс зачаровывающей его жар-птице, притворившейся до этого маленькой серой уткой, а теперьжигающей его разгорающимся пламенем пляса.

Гости повыскакивали из-за столов. Гармонисты из последних сил рвут мехи, еле успевая за пляшущими.

Пляска и музыка оборвались враз. Рев и ор! «Шарман» и «браво»! Сдержанный шелест рукоплесканий ручек и громкое хлопанье сильных рабочих ладоней. Катя и Павел, взявшись за руки, как это делают артисты, раскланялись публике.

Вечер кончился поздно. Кто-то заснул за столом и опохмелялся там же утром. Кого-то увезли. Иные пошли восвояси, держась друг за друга. А кто-то и уполз.

ХIII

Красный петров день кончился, и начался день обычный. В Лутоне запахло сеном. Торопливые хозяева, боясь дождей, начали косить до сенокосного праздника. Почти в каждом дворе корова. Держали ее и Колесовы. Свое молоко надежнее, хотя и дороже. Лукерья Ивановна была не в тех годах, не такой комплекции, чтобы садиться под корову. Ходила за коровой детная вдова из обездоленных. Каждая третья кринка — ее. И ей хорошо, и богу радостно, и Лукерье Ивановне без забот. А их было много и прибывало день от дня. Ломалось привычное. С приходом Петруши все стало по-другому. Жили тихо. Никому не мешали. Получали с почты положенное. Делали бескорыстные любительские телеги, для Демидовой души, а теперь завертелась жизнь. «Паратьяную» дверь хоть не запирай. Сегодня с утра приехал какой-то чиновник из губернской управы насчет конюшен.

Конюшни, относительно которых зашел чиновник из губернии, были возведены при Екатерине Второй, вскоре после пугачевских волнений. По многим заводам строились тогда казармы. Стоял и в Тихой Лутоне кавалерийский эскадрон, после которого остались пустующие конюшни, прозванные Екатерининскими, как и плац перед ними. Плац превратился в базарную площадь, а конюшни превратить было не во что. Пробовали — не получалось. Продать? Кому? Подо что? Да и кто знает, может быть, придет время — в Лутоне снова появится воинская часть.

Так и стояли конюшни, пока Колесов дошлому начальнику почты Красавину не посоветовал подсказать губернскому начальству сдать конюшни под склад для телег. Если бы сам Колесов обратился с просьбой, то в губернии сумели бы заломить цену. А теперь основатель трудового товарищества, угощая чиновника, неопределенно отвечает на его предложение.

— Обойтись можно и без них, тесовым складом, а если аренда будет недорогой, отчего бы и не взять...— повторял Колесов-сын неторопливую манеру отца вести деловые разговоры.

Губернский чиновник скоро договорился с Колесовым, потому что подошел к завтраку приятный увещатель Алексей Алексеевич Красавин и «убедил» Петра Демидовича взять конюшни на десять лет в аренду, оплатой за кою будет обновление крыши, оштукатуривание и окраска фасада, а также приведение здания в надлежащий вид внутри.

Петру Демидовичу не пришлось благодарить чиновника, это сделал Красавин. Оставалось пригласить подрядчика Токмакова и показать ему, что и как должно быть сделано, да послать телеграмму в Векшу, меднолитейному заводу,— повторить по той же модели отливку эмблемы товарищества.

Токмаков скоро перетер стены и покрасил их золотистой охрой, выделив белым колонны и наличники окон. Крыша не была еще докрыта полностью, когда на фронте появилось бронзовое колесо трудового товарищества на паях, а ниже его, в цвет ему, крупными буквами: **ТЕЛЕЖНАЯ ВЫСТАВКА.**

В ильин день, начало недельной ярмарки в Тихой Лутоне, куда съезжалось много простого и торгового люда, был открыт доступ на выставку. Там на помостах стояло десять телег, установленных так, что каждое колесо можно было «крутануть» для проверки хода, рассмотреть оси втулки снятых левых колес. Телеги были окрашены наполовину, только с одной, правой стороны, чтобы посетитель мог видеть дерево, крепления в отделке перед покраской. И все было представлено так, что разглядывающий телегу мог оценить ее достоинства и недостатки.

Телеги показывали сделавшие их Ефим Силин и Яков Баклушин. При входе посетителям давались марки, такие же, как на масленичном маскараде у Шутемовых.

Смотревший выставку, должен был опустить свою марку в щель одного из десяти ящиков, установленных на телегах. За это опустивший марку получал книжечку с описаниями и рисунками телег, которые поступят в продажу с зимы этого года. Цена не называлась, но предупреждалось, что качество телег не будет ниже выставочных, а цены не будут выше рыночных.

На особом листке сообщалось, что желающий приобрести или заказать телегу может внести три рубля задатку и получить его обратно в том случае, если предложенная ему телега не понравится или покажется дорогой по цене.

Покупать заглазно телегу, без цены, да еще ждать, веря на слово,—выглядело глупостью, рассчитанной на дураков. Шутемов от души потешался и хохотал на ярмарке, зная главного потребителя телег — мужика, выторговывавшего каждую копейку, покупая на ярмарке готовые телеги Шутемова. Но магическая сила колесовского тавра, теперь сверкающего в лучах солнца над выставкой, обязательство с фирменной печатью возвратить деньги по квитанции, если того пожелает покупатель, боязнь, что весной таких телег может не оказаться в продаже, и, наконец, живой пример заказа телег загодя справными хозяевами привлекали и осторожных тугодумов.

Придирчиво рассматривая каждую из телег, мужики заинтересованно обсуждали, какой из них отдать предпочтение, долго раздумывая, прежде чем опустить в щель ящика свою марку.

Дочка начальника почты Настенька Красавина старательно выводила фамилию заказчика на фирменной квитанции с тем же колесом, проставляла порядковый номер, поздравляла с покупкой и, получив три рубля, ставила жирную фиолетовую печать, просила на случай потери квитанции запомнить номер и называла его. Затем на черной доске прибавляла мелом единицу против слова «заказано» и убавляла ее после слова «осталось в продаже».

На третий день ярмарки цифры заказанных и оставшихся в продаже телег сравнялись. Пятьсот и пятьсот. На четвертый день к полудню Настенька торжественно вручила тысячную квитанцию старику в лаптях и объявила:

— Вам не придется ни копейки доплачивать к вашей

тысячной телеге.— Затем крупно написала наискось квитанции: «Тысячная бесплатная».

Счастливый старик бегал по ярмарке и показывал квитанцию на даровую телегу.

А Настенька крупными буквами вывела на доске: **ЗАКАЗЫ ПРЕКРАЩЕНЫ**. Довольная своим положением представителя и пайщика трудового товарищества, она с сожалением отказывала толпящимся заказчикам:

— Наше трудовое товарищество выдает только те обязательства, которые оно может гарантировать.

Шутомов из пятисот телег, предназначенных к продаже на ярмарке, продал немногим больше половины. Надеясь на сбыт оптовикам, постоянным перекупщикам, он заключил немногим более четверти намеченных сделок, да и те под расписки.

Зима обещала быть плохой. А он понаказал своим поставщикам ободьев, спиц, ступиц и колес в сборе чуть ли не в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. И всем им нужно будет платить чистоганом. Положим, у него найдутся деньги, а что потом?

Кто мог подумать, что так взлетит Петька Колесов, дававшийся в руки Эльзе. Влюбленный тогда по уши в нее, он мог бы приписать к его капиталу вождеденный полник, а теперь он затягивает его, Патрикия Шутомова, как собаку, в свое «Колесо».

Лазутчики доносят, что Петр Колесов занят пуском станков и не изволит принимать оптовиков, предлагающих ему не векселя, а живые деньги. Ведет торг Демид Колесов и как одолжение, как милость именитым купцам, обещает продать сотню-другую телег, как только товарищество выяснит цену.

— А так что же, милостивые государи, хватать задатки, а потом краснеючи отдавать их обратно? Конечно, из уважения, в прогляд на предбудущее, можно взять десяток-другой тысяч под беспроцентные векселя, памятуя, что телеги дадут больше.

И деньги переводились на счет товарищества.

С разбором принимались и люди в товарищество. Добросовестность — первое условие. С повинной пришел Корней Дятлов, мастер-чудодей, переманенный некогда Шутовым у Демиды Колесова.

— В ногах валяться всякий может, Корней,— примирительно сказал ему Демид Петрович.— Ты уволься наперед у своего хозяина, а потом видно будет.

Корней с большой радостью уйдет от неблагодарного Шутемова, которому он, Дятлов, поставил дело. Хозяин не ценил его ум и труд, десяткой благодарил за то, за что и сто рублей было малой платой. Дятлов пойдет теперь в товарищество самым простым тележником, лишь бы расстаться с тяжелой и ненавистой должностью подгонялы, обязанного заставлять надрываться шутомовских рабочих.

Сам Шутемов, проходя по мастерским своего заведения, и слова плохого не скажет рабочему, ободрит смешком да улыбочкой, отблагодарит поясным поклоном старательного труженика, а потом вечером час-другой пропесочивает Дятлова, ставя ему в вину каждый изъян, каждую замеченную промашку. Много курят. Мало работают. Большой отход. А Дятлов стоит, как нашкодивший малец, — и: «Будет сделано, Патрикий Лукич», «Как изволите, воля ваша».

После ярмарки злой и пьяный Шутемов требовал подобрать ключи, найти ходы-выходы, чтобы телега подешевела в работе и похорошела видом. А как она может подешеветь и похорошеть, когда руки, одни руки — и ни одного станка?

От Колесова Дятлов пришел к Шутемову и сказал:

— Был в «Колесе», просился на работу — не взяли. Теперь дроги тесать наймусь в захудалую артель. Ящики сколачивать пойду к Сорокину на салотопенный завод, к Столлю модельщиком наймусь, а тебе, Патрикий Лукич, служить далее не могу. До конца месяца отбарабаню, а там как знаешь. Можешь и не платить.

Шутемов терял человека, на котором держалось все, заменить которого было некем. Твердость решения Корнея Дятлова не обещала, что его удержит надбавка четвертного билета в месяц. Если уж вышел он из покорности, если сел неприглашенным на стул, значит, можно его удержать только большим рублем.

— Крут я с тобой был, Корней Евстигнеевич, — называл он Дятлова по отчеству. — Дело требовало. Винюсь. Не словами винюсь. Двойным жалованием и пятьюстами рублями на приданое дочери.

— Патрикий Лукич, три жалованья не возьму. Шайку золота не надо. Богатей без меня. А я умер для тебя. И ты для меня умер, Патрикий Лукич.

— Тогда не о чем и говорить, если мы друг для друга покойники, возьми за упокой наших душ.

Шутемов открыл несгораемый шкаф и подал Дятлову сто рублей.

— Сдачи не надо, Корней.

— Я не трактирный половой, Патрикий Лукич, к чаевым не привык. Да и тебе теперь деньги надо строже считать. С меня, стало быть...— Он высчитал до дня заработанное и оставил на столе десятирублевку и полтинник серебром.

В этот же день в контору товарищества прибегал Парамон Жуланкин. Он тоже начал с просьбы не помнить старые обиды.

— Я и не помню их, Парамон,— усадил Демид Петрович Жуланкина.— Коли ты гостюешь у меня и Витасик твой у нас как свой, так что же нам старое помнить? Ну, отказал ты мне в оковке телег, посадил меня на мель,— разве в этом твоя вина? Не мы жизнью правим, она крутит нами. И если ты пришел предложить товариществу железную обушу-одежу для телег, то я тебе опять то же на то же скажу: не мы жизнью правим, она крутит нами. Графинин завод будет обувать и одевать телеги товарищества.

— А если я дешевле возьмусь, Демид Петрович?

— Не берись. Руками дешевле машины не сделаешь. Машина хрясь—и шайба. Пока ты одну гайку куешь, завод дюжину выработает. И с железом тебе, Парамон, ту же будет. Особенно с шинным. Успеет ли Столь накатать его по договору для товарищества?

Жуланкин ушел ни с чем.

Отобрав после выставки призовые телеги, получившие большее число марок, Петр Колесов, мастера, зная все замечания, пожелания и требования, сконструировали телегу-образец и запустили на «передачу» пробные образцы.

Не все ладилось на «передаче». Этот прообраз конвейера требовал точности, слаженности, изготовления приспособлений, мерительных шаблонов, чтобы одна в одну были каждая ступица, спица, дрожина, подушка и все части, составляющие телегу, позволяющие собирать ее без пригонки, подтески, что называется «раздва».

Такой же точности требовали и металлические детали телеги, поставляемые заводом графини. У Столя

никогда еще не было более привередливого заказчика. Точность, ничтожные допуски, проверка по образцам сделанного затрудняли: выполнение заказов рабочими, привыкшими делать на глазок и кое-как, лишь бы сбыть. Но, требуя с завода, Колесов многое и давал ему, усовершенствуя технологию, широко внедряя штампование, вводя литье там, где можно обойтись без кузнеца, изобретая новые формы для точных отливок, не требующих дополнительной обработки деталей.

Все это, удешевляя стоимость изделий, было выгодно товариществу, платившему по уговору двадцать процентов наценки. Но чем дешевле становились заказанные изделия, тем труднее приходилось заводу-поставщику. Падала весовая стоимость переработанного железа. Тот же пуд, превращенный в тележные гайки не ручным, а механизированным колесовским способом, теперь давал меньший доход заводу. Высвобождались рабочие руки, которые нечем было занять. Производительность подымалась, а оплата уменьшалась.

Стольль понимал, что Колесов, обогащая завод технически, наносит ему экономический ущерб. И он шел на это. Он хотел убедить графиню в неизбежности продажи завода, который и при усовершенствованиях инженера, в гений которого поверила графиня, не обещает процветания.

Так же считал и Петр Демидович, только видел он иного покупателя, нежели Стрехов, но пока не делился этим ни с кем, боясь «сглазить» задуманное.

— Борьба с капитализмом внутри страны может вестись только капиталистическими методами,— продолжал свой спор с Павлом Лутониным Колесов.— К весне перестанут существовать Шутемов, Жуланкин и его вассалы.

— Это все так, Петя... Перестанут существовать Шутемов, Жуланкин и кто-то еще. Пусть десять, пусть двадцать капиталистов и капиталистиков. Но перестанет ли существовать капитализм? Станут ли лучше жить миллионы обездоленных и поработенных России?

Колесов ответил уклончиво:

— Кто знает... Все начинается с малого. С «прялки Дженни» начался промышленный переворот в Англии. Крышка, подпрыгивающая на кипящем чайнике, породила паровую машину, а за нею и век пара. Стрелка компаса открыла Америку. Почему же не может ока-

заться наша тележная фабрика пионером низвержения капитализма изнутри?

С увлеченным Колесовым было бесполезно спорить. Павел понимал, что его друг находится под влиянием идей глашатаев русского утопического социализма. Лутонину очевидным было и то, что доведенный до крайней нищеты, полуграмотный рабочий люд пребывает в плену надежд на экономические улучшения.

— Время рассудит нас, Петя. Я верю, что рано или поздно ты найдешь и увидишь настоящие, короткие и прямые пути в социализм.

Колесов раздраженно заметил:

— Если ты знаешь их, так и веди по ним. А я поведу по своим. И мы разойдемся добрыми друзьями.

— Нет, зачем же нам расходиться, Петя. Мы не враги. Ты помогаешь и поможешь развеять призрачные идеи людей, борющихся за маленькое благополучие и неспособных пока видеть огромного мира, всеобщей борьбы...

XV

Живущая на отшибе Лутоня все же не была совсем отрезана от большого мира, хотя окном в него оказывалась почти одна почта. Лутонинцы редко бывали в больших городах. Немногочисленные газеты и журналы свидетельствовали о том, что жизнь не очерчена сферой действия шутомовских интриг, притеснений Столля и первыми успешными шагами товарищества.

Нет. Где-то закончилась англо-бурская война и туманно замышлялась другая — русско-японская, где-то шли переселения малоземельных крестьян в многоземельные губернии Сибири, проповедовалось рациональное ведение хозяйства, рассказывалось о короновании каких-то незнаемых их величеств. Еженедельная «Нива» показывала на своих страницах, что и где происходит. «Биржевые ведомости» каждодневно извещали о больших и малых событиях, о превратностях колебания репутации фунта стерлингов, о прибыли в августейшем семействе еще одной дочери и об интересном кооперативно-промышленном начинании инженера Колесова в заштатном городке с ласкающим великоросское ухо названием Тихая Лутоня.

Нет, нет... То, что Лутоня живет сама по себе, каза-

лось только тем, кто, пренебрегая увещеваниями Алексея Алексеевича Красавина, не подписывался на газеты и журналы. Колесов их выписывал достаточно, а Катя — бездну. Выписывал Петя и книги. Сегодня он получил 72-й том энциклопедического словаря «Брокгауз и Ефрон», от «Франконской династии» до слова «Хаки». Почти три четверти тома были отданы словам, начинающимся с «фран», и том вполне можно назвать французским. Значительную часть в нем занимали «Фридрихи». Фридрихи самые разные — I, II, III, IV, V, VI... Фридрихи «великие», «малые», «прекрасные», «укушенные», «благочестивые» «строгие», «воинственные», «победоносные», «кроткие», «мудрые»... Фридрих «одноглазый», Фридрих «сереброногий», Фридрих — «железный зуб». Фридрих — «пустой карман» и даже Фридрих — женщина, императрица, принявшая во вдовстве имя своего покойного мужа — императора германского Фридриха III.

Шестьдесят шесть Фридрихов, занимающих сорок страниц словаря, насчитал Колесов.

Боже мой! Шестьдесят шесть тезоименитых Фридрихов! Как перенаселен ими том словаря, и в нем одно лишь нужное для Колесова слово — «Фреза», полезное для тележного завода, как и рисунки фрез и фрезерных станков... Значит, не зря плачены деньги за том... А Эльза, между прочим, тоже на «Фэ». Фальшивка... Фикция... Флюгарка... Фурия... Фуфырка... Фитюлька... Фи!

Больше у Пети не нашлось оскорбительных слов для нее и для Шутемова. Шутемов вместе с Жуланкиным шел на все подлости, подвохи, клевету, глумление, провокации, подметные письма против товарищества. И в отместку было справедливо и нравственно оправдано любое наказание. И оно родилось в Пете, родилось как самооборона, как противоядие.

В начале зимы началась выдача телег из заказной тысячи. Выкупившие их очень хвалили обновки, но жаловались на цену. Жаловались, но внесенных трех рублей не требовали. Из этого можно было заключить, что телеги стоят назначенной цены.

Доподлинную цену телеге знал только сам Петр Колесов. И однажды он «под хмельком» поделился с Алексеем Алексеевичем Красавиным:

— Кажется, мы зря продали нашу «почту».

Любопытный и пронырливый Красавин поинтересовался:

— У вас так пошло дело, Петр Демидович. Из рук рвут ваши телеги.

— Но если б вы знали, дорогой Алексей Алексеевич, сколько докладывает наше товарищество к каждой телеге. И чем больше мы делаем их, тем больше растет убыток. Это я вам доверительно,—предупредил Колесов,—не дай бог узнать эту тайну нашим озлобленным конкурентам.

Вечером Алексей Алексеевич продал «тайну» Шутемову за бутылку романи и ужин. Он попросил Шутемова поклясться не выдавать приятного для него известия.

Шутемов плакал от радости, молился на образ Николая-чудотворца и подарил начальнику почты бобровую шапку.

Нужно было не зевать, лазутчики донесли, что товарищество думает приостановить выработку телег и уже уменьшило дневной выпуск. Через два дня Алексей Алексеевич принес новые сведения, и лазутчики подтвердили их.

— Склады товарищества забиты телегами. Ждать весны, ждать цены у товарищества нет возможностей,—тут же остороженько подсказал он.—Колесов готов их сбыть с убытком, лишь бы выпутаться из долгов.

Шутемов пообещал Красавину к шапке шубу с бобровым воротником, если он выведает крайнюю цену при закупке всех телег, что имеются на складах.

Красавин это сделал легко. Шутемов, прикинув, подсчитал, что хорошая телега товарищества обойдется не дороже его телеги. И если им будет скуплено все, он хозяин рынка. Товарищество не будет лезть в новый убыток и производить дорогие телеги. Но едва ли Колесов захочет продать Шутемову свои запасы. Это можно сделать только через третье лицо.

Ночной совет с Жуланкиным. Подсчитаны наличные. На векселя погрязшее в векселях товарищество не пойдет. К утру нашлось подставное лицо—купец первой гильдии Адриан Кузьмич Кокованин. И в долг даст, и в пай войдет. Утром пара, запряженная гусем, умчала Шутемова в село Бишуево—столицу саней, кошевок, сох и борон, где безраздельно княжил владетельный богачей Адриан Кокованин. Это было его село, и вся округа работала на него.

Пузатый вельможа в атласном стеганом, оторочен-

ном соболиным мехом халате думал тихо, но решал твердо.

— Скупить до последней телеги!

И по скрипучей декабрьской дороге помчался в Лутоню крытый возок с обогревом. Не у Шутемова остановился осторожный князь саней и сох, а у давней, хотя и далекой родни — у Екатерины Иртеговой.

— Принимай гостя, Катенька, принимай гостевые пушные дары. Семь куниц! Дюжина лисиц! Пусти на почлег.

Через Катю был зазван Колесов. Не к нему же в чертово «Колесо» пойдет на поклон сам-семь пуд Адриан Кузьмич Кокованин.

Колесов пришел в скромной бекеше, робко вошел в знакомую гостиную, почтительно поздоровался с Кокованиным и совсем по-приказчицки спросил:

— Чего изволите, Адриан Кузьмич? Чем могу быть полезен?

— Господин Колесов, мы, будучи наслышаны о вашей тележной переизбыточности, намерены ослобонить вас от тяжкого бремени в ожидании дальних-предальных вешних вод.

— Да, — так же почтительно признался Петр Демидович, — у товарищества негде хранить телеги. И к тому же, досточтимейший Адриан Кузьмич, товарищество ищет путей удешевления и улучшения производимого им, а на это, признаюсь, нужны капиталы.

— Как водится. Без капиталов по нашим временам и... — не стал договаривать он. — А почему вы хотели бы без запроса и наличными? Беру до последней.

Колесов назвал цену.

— Дорого.

— Столько дают.

— Кто?

Колесов назвал фамилии.

— Что ж ты не продашь им?

— Не хочу векселей!

— Вексель не деньги, господин Колесов. А если они вам взаправду нужны, то вот моя цена. — Кокованин полез в карман, достал пухлый бумажник с золотой монограммой «А. К. К.» и медленно, трещницу за трещницей, стал выкладывать веером на столе предложенную цену, потом, махнув рукой, положил серебром рубль и сказал: — Ни гроша больше.

Это была та цена на телегу, которую назвал Колесов Красавину.

— И ни рубля больше?

— Нет.

— И ни полтинника? — жалостливо торговался Колесов.

— Нет.

Колесов отошел к окну, подышал на замерзшее стекло и, обернувшись, спросил:

— И ни четвертака?

— Нет.

— Если бы знали, сколько стоит телега товариществу, Адриан Кузьмич. — При этих словах Петр переглянулся с Катей.

Катя улыбнулась.

— Я согласен.

Кокованин подал зеленый веер и вручил рубль.

— Задаток. Екатерина Алексеевна, святая душа, разними руки да дай чем обмыть покупку.

На другой же день появился в конторе товарищества Шутемов.

— Пришел понятым и браковщиком.

— Лучшего знатока и не найти, — встретил Шутемова Демид Петрович. — Только браковать нечего, Патрикий Лукич. Работа машинная. Все как одна.

— Стоит? — спросил о заводе Шутемов.

— Переустройстваемся. Дешевле хотим, а как оно выйдет, сказать не могу.

— Дело не легкое, но я верю в Петину звезду, — открыто солгал Шутемов, радуясь прогару завода.

Обоз за обозом въезжал в широкие ворота тележного завода.

Новенькие, блестящие тележные комплекты, перевязанные лыком, считались и записывались счастливым Шутемовым. Ненавистное тавро, которым мечсна телега и каждое ее колесо, теперь смеялось недостающим полем, и Шутемов думал-гадал-прикидывал, сколько сумеет он взять за каждую из красавиц, как только март пустит свои первые ручьи. Он и до Нового года еще успеет сбыть мелким перекупщикам малую толику телег на текущие траты.

Ушел последний обоз. Осталась последняя телега.

— Дарю на разживу, Патрикий Лукич, — подвел его Демид к неуложившейся телеге. — Не продавай ее.

Оставь на погляд. Спицы, как у царевой колесницы. Эхма!.. Кабы денег тьма, посветлее бы было на улице.

— Что ж теперь будет с товариществом? — не без ехидцы спросил Шутемов.

— Что теперь? То же, что и раньше. Искать, пробовать, удешевлять. Не забудь после вешних прибылей рюмку поднести, — протянул руку Демид Колесов и проводил Шутемова до ворот.

XVI

С вечера, с первой сочельнической звезды, начали справлять рождество Шутемовы. В новой шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке пришел Красавин поздравить с удачей.

Веселая получка была в этот же рождественский сочельник у пайщиков трудового товарищества. По шестьдесят одной копейке на заработанный рубль выдавалась прибыль. У кассы творилось невесть что. И слезы, и хохот. Непонятная продажа телег, молчаливость Петра Демидовича, скрытность старика Колесова действовали на рабочих угнетающе. Шутемовские подпевалы смеялись: «Скорым катом колесо покатилося, да набок свалилося», «Веселым-весело было у сказки начало, да по усам текло, а в рот не попало». И остановка завода, установка новых станков тоже говорили о том, что допущены какие-то промахи. А теперь выяснилось, что все это не так, что не мог Петр Демидович открыть свою задумку, когда столько чужих ушей.

Радость во всех домах рабочих товарищества. Таких получек за всю жизнь не видывали их жены, матери, отцы, бабки. Гусь в печи, пироги на столе, белая мука в кладовке, две даровых четвертных бутылки иртеговской водки — разве это прогар? И каждому поздравительная карточка, лично врученная Петром Демидовичем, с получением первых прибылей, с наступающим многообещающим Новым годом.

Что же это? Тоже сказка? А шестьдесят одна копейка на рубль, шестьдесят один рубль на сотню — это не по усам текло, а в дом пришло. Кто не верит, может пересчитать.

Корней Дятлов всю дорогу от завода до дому держался за карман, а придя домой, положил на стол кучу денег.

Шестьдесят одна копейка прибавки на заработанный рубль!

Эти семь слов в Тихой Лутони повторялись тысячи раз в каждом доме, кроме шутомова. Там слушают теперь только себя. Там теперь поклялись соединиться и образовать новую фирму «Шутомов, Жуланкин и К^о», которая купит завод товарищества, когда он догорит. А «шестьдесят одна копейка на рубль» — это пыль в глаза, это последняя уловка Петьки сохранить себя в глазах кредиторов.

Радостными, обнадеживающими были первые три дня рождества, а на четвертый день святки помрачнели. Мимо шутомова дома потянулись обозы с ободьями, спицами, связанными по сотне в пачку, с заготовками для ступиц. Лазутчики-счетчики Шутомова насчитали тысячу прибылых возов за пять дней. И завод не стоит ни часу. Пакуются новые тележные комплекты. Введена смазка осей без снятия колеса, через дыру в ступице, специальной медной выжимной масленкой.

— Как это понимать, Алексей Алексеевич господин Красавин?

— Плохо надо понимать, Патрикий Лукич, — недоумевает главный лазутчик.

— С какой стороны плохо-то?

— И не пойму. То ли с той, то ли с этой. Либо с отчаяния Петр Демидович на убытки идет, либо удешевил. Вернее всего, что так. Он, говорят, на рубль сбавил цену на каждую телегу, а на простую без окраски, — на два рубля.

— Да какое же он имел право? — взъелся Шутомов.

— На это право нет управы. Кто может запретить товариществу за полцены продавать телегу? Коммерция — темный лес, Патрикий Лукич. Коммерция не почта, где все неукоснительно и по статьям. — Красавин говорил так, что его трудно было понять, сочувствует он или радуется. А если сочувствует, то кому?

На бывших Екатерининских конюшнях появилась большая вывеска, объявляющая зимнюю цену телегам. Зимняя цена устанавливалась с января до конца марта. В январе телега стоила на два рубля дешевле летней цены. В феврале — на полтора рубля. В марте — на рубль. И по всему фасаду на полотнище надпись: «ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ!»

К торговле приставлены два инвалида. Продажа про-

стая. Сдай деньги на счет товарищества. Почта рядом. Принеси ярлык — и грузы тележный комплект на сани. Надо десять тележных комплектов — иди на завод. Там оптовая скидка.

Никогда телеги не шли зимой, а теперь и в простые, небазарные дни торговля. Не нахваливай, не торгуйся, не проверяй приказчика, не прикарманил ли он от выручки. Отсчет тоже простой — почтовые ярлыки.

— Как же так, Петр Демидович? — спросил, встретив его на улице, Шутемов. — Унизил цену, а мы теперь как с телегами?

— Я не насылал их вам, Патрикий Лукич, и никому не обещал останавливаться на прежней цене. Не ездил и в Бишуево предлагать телеги Кокованину. Товарищество будет и впредь снижать стоимость новых телег, улучшая их. Мы следуем вашим советам. Товарищество не мешает вам торговать по вашей цене, как и вы не можете помешать ему довольствоваться малой прибылью или даже терпеть ущерб в надежде наверстать сегодняшние убытки завтрашними прибылями. Так что вина перед вами товарищества только в том, что его телеги лучше. Совершенствуйте и вы свое производство. Вводите станки, пригласите опытного инженера и конкурируйте. Это же главный закон капитализма. К весне мы, может быть, не успеем изготовить достаточное количество телег и снова удешевить их, — тогда продадите и вы свои.

Колесов издевался вежливо. Он знал: Шутемов будет вынужден продать свои телеги с большим убытком. К весне трудовое товарищество заполнит рынок улучшенными, универсальными телегами. Об этом нужно будет сказать теперь же Шутемому. Ему уже не опередить товарищества, телега которого стоит почти вдвое дешевле продажной цены. Колесов, пригласив Шутемова подышать свежим воздухом и пройтись до уголка, пожаловался ему:

— Как трудно, Патрикий Лукич, создать крестьянскую универсальную телегу.

— Какую?

— Уни-вер-саль-ную. То есть такую, которая была бы пригодна для всех надобностей. Нужно возить навоз — пристегни к ней полук. В сенокос она превратится в а-ля фургон. К теще в гости или на праздник — поставь коробок с крыльями, так же на один винт-мтыч

лек — и ты как в карете. И так пять, а то шесть видоизменений одной и той же телеги. Этого мы не сумеем сделать к весне. Разве что к годовщине товарищества выпустим пробные образцы для выставки и для широкого обсуждения тех, кому ездить на этих универсальных телегах... Я думаю, что они будут покупаться.

На углу они расстались. Одному вправо, другому влево.

XVII

Введя штаufferные выжимные масленки, изготовляемые на заводе Коробцовой-Лапшиной, товарищество избавляло владельцев от маяты смазывания осей телеги. До этого ее нужно было поднять рычагом. Рычаг подпереть дугой, свернуть гайку, снять колесо, смазать тележной мазью ось, снова надеть колесо, навинтить гайку. И так четыре раза да еще пятое смазывание поворотных дисков передка. При смазке выжимной масленкой достаточно было отвернуть в ступице колеса болт-заглушку и вогнать туда нужное количество мази. Минутное дело. Но для этого нужна была мазь определенной густоты, не расплзающаяся при нагревании от трения. И состав такой мази был определен, а затем опробован мыловаром сорокинского салотопенного завода Симоном Иоганновичем Шварцем.

Обязательный, исполнительный немец, приглашенный Колесовым, досконально рассказал о составе мази, которая «есть дешевая и рациональная экономично».

Он не очень хорошо говорил по-русски, но в совершенстве знал свое дело и так же, как в свое время Корней Дятлов Шутемову, помогал богатеть Леонтию Сорокину.

— Это есть осенний и весенний состав мази, когда еще холодно и колесо не дает тепло. Летом, когда жарко, — с упоением разъяснял Шварц, — мазь должен быть выдерживать другой градус.

Выслушав Симона Иоганновича, уплатив ему больше, чем следовало, на что тоже был свой расчет, Колесов отправился к Сорокину.

— Я к вам, Леонтий Прохорович, не в гости, а по делам.

Не теряя времени, Петр Демидович предложил заводу Сорокина изготовлять фирменную колесную мазь

для товарищества. Обещая ему монопольный сбыт, при условии точности состава обоих сортов мази, добросовестности расфасовки в десяти-двадцатифунтовые и пудовые ящики, постоянность цены, обозначенной на фирменной этикетке трудового товарищества. Товарищество гарантировало брать ежегодно не менее тысячи пудов мази. Остальное имел право продавать сам Сорокин с теми же фирменными этикетками товарищества, не выше цены, указанной на них. При этом оговаривалось, что товарищество, создавая спрос на фирменную мазь, будет взимать за каждый этикет по десяти копеек.

— За что же?

— За то, что вашу тележную мазь, Леонтий Прохорович, покупать не будут, а нашу, рекомендованную в руководствах по уходу за телегой, будут покупать в количествах, превышающих производственные способности вашего, простите, заводика. Мазь должна стоить не дороже, а дешевле общепринятой цены. — Колесов назвал стоимость пудового, полупудового и десятифунтового ящика с мазью.

— Простите, почтеннейший Петр Демидович, произвожу мазь я, а вы определяете мне цену, — попытался Сорокин поставить Колесова на свое место.

— Дорогой Леонтий Прохорович, вместо того чтобы поблагодарить меня, вы изволите делать упреки. Товарищество хочет вам процветания, а вы не оцениваете этого. Вам уже известна судьба фирмы Шутемова и Жуланкина. Я не хочу вам этой судьбы. Но если вас принижает честь, оказываемая вашей мыловарне, товариществу не трудно сбить дощатый сарай и поставить пять, десять, пятнадцать мыловаренных котлов, и вам тогда уже не придется варить колесную мазь. Вы будете освобождены от этого убыточного дела.

Колесов встал. Приготовился протянуть руку. Сорокин усадил его.

— Я к вашим услугам, Петр Демидович.

— Очень рад, Леонтий Прохорович. Только прошу простить меня: пока вы колебались, мне показалось, что десять копеек с пуда за фирменную этикетку я назначил в убыток для товарищества. Она будет стоить пятнадцать, и, если цена покажется вам дорогой, товарищество подымет ее еще на пятачок. Жду с контрактом. Лучше в конце работы. Днем я в цехах.

Они простились. В дверях Колесов задержался

— Но покорнейше прошу не забыть, если почему-либо качество мази понизится или повысится против объявленной цена, товарищество будет вынуждено производить свою мазь. Нижайшее Марии Петровне.

Тем же ходом Колесов завернул в типографию Глобарева. Это маленькое предприятие, живя мелкими заказами, плохо кормило владельца двух бостонок, одной американки и старой машины для большеформатных афишных листов.

Христиан Аркадьевич Глобарев вызывал сочувствие у Колесова. У него была дочь на выданье, два мальчика учились в уездной гимназии. Колесову было приятно давать заказы на печатанье рекламных листов и восьмистраничных брошюр. А теперь предвиделся новый большой заказ на этикетки для колесовской мази.

— Они должны быть красочными, запоминающимися, отпечатанными четким шрифтом и, конечно, с эмблемой колеса товарищества.

Высказав пожелания, Петр Демидович пообещал дать большие заказы и согласился ссудить Глобарева под долгосрочный, беспроцентный вексель деньгами, необходимыми для приобретения новых шрифтов, новых, более совершенных скоропечатных машин.

Не отказавшись расписать с Глобаревым сороковку под колбасу, Колесов заметил:

— Ни одна этикетка не должна потеряться из типографии. Она представляет собою деньги. — Он тут же оговорился: — Христиан Аркадьевич, я это говорю для того, чтобы кто-то из рабочих не соблазнился этикетками.

Христиан Аркадьевич заверил, поблагодарил и завтра же обещал заказать граверу эскизы этикеток.

С колесной мазью было покончено в один вечер, и Колесов снова остался один. Сам с собой, как сама с собой живет Лутоня — и временами кажется, что нет вовсе большой России, Петербурга, Москвы, Харькова, Нижнего, Сормова... Правильно ли поступил он, уйдя из большой жизни в маленький мирок телег, и замкнулся в замкнутой Лутоне?

XVIII

Размышляя о служении людям, Колесов очутился подле ворот своего дома, надеясь там встретить Катю Иртегову и продолжить разговор о задуманной ею вос-

кресной школе для рабочих товарищества, а затем и о другой, о четырехклассной, где, кроме грамоты и счета, будут прививаться детям трудовые навыки. И эта новая школа трудового товарищества будет отличаться от всех существующих школ в Лутоне. Бесплатные школьные принадлежности. Бесплатный обед в школьной столовой и даровая обувь. Валенки — зимой, башмаки — летом, а потом, может быть, и одежда.

Вместо Кати его ждала Эльза. В темном платье, с исхудавшим лицом и синевой под глазами, украшавшей их. Она выглядела траурно скорбно, и весь ее облик выражал собою неутешное горе. И в этом облике скрывающей свои страдания молодой женщины она просилась в дорогую раму. Колесов невольно вспомнил о художнике графине Дуарте, — как бы он мог обогатить искусство и себя ее портретом не у стога сена, в сарафане, купленном Стреховым, а где-то у свежего могильного холма или на фоне чего-то такого тоже кладбищенского, может быть, мраморной урны.

Колесов любил живопись, и он, может быть, купил бы ее такую, во весь рост, в ореховой раме, и подарил бы картину, еще не зная кому, но людям. Люди должны любить прекрасное и любоваться им.

Эти размышления сменились другими. Зачем пришла она и для чего понадобился ей такой скорбный вид.

— Петя, сегодня прекратилась работа в мастерских моего отца. Отец не может больше делать убыточные телеги.

Радость одержанной победы невозможно было утаить от Эльзы, но приличие требовало сдержанное свое ликование, а правдивость мешала ему выражать сочувствие.

— Патрикия Лукича я всегда считал рассудительным и дальновидным человеком. Жаль только, что это не произошло осенью прошлого года. Тогда бы убытки были меньше.

— Петя, вы говорите так, будто к вам это не имеет никакого отношения. Будто вы не причастны к тому, что случилось.

Колесов ответил:

— Эльза, не я устроил такую жизнь и учредил капитализм, обогащающий одних и разоряющий других. Не я мешал вашему отцу призвать на помощь руки рабочих станки, машины, инструменты, позволяющие легче работать и больше производить. Я не внушал Пат-

рикию Лукичу заботу только о своем благополучии и забывчивость о тех, кто его создает, на ком оно держится, кому оно обязано всем — от этого вашего платья до колец, украшающих ваши и без того красивые руки. Рабочие Патрикия Лукича встретили Новый год без надежд, что он станет новым, а не старым, голодным, изнуряющим и кабальным. Как жил Корней Дятлов, главный мастер и творец шутовых телег? Вы знаете, как! И вам, Эльза, не трудно проверить изменения в его жизни, в его самочувствии, в его стремлении быть полезным людям.

— Вы бессердечны, Петя. Мы на краю гибели. — Эльза постаралась незаметно, чтобы эта незаметность была замеченной, смахнуть тонким, длинным, розовым мизинцем маленькую слезинку. — Мы накануне нищеты.

— Нищим не может быть человек, у которого руки, образование, здоровье, молодость.

— Свекор скоро начнет считать, сколько кусков сахара я кладу в чай. Это ужасно!

— Это нормально. Парамон Антонович всегда в погоне за копеечкой терял рубли. Он и теперь теряет их, продолжая оскорблять хороший металл, превращая его в убогие поковки, которые станут пищей ржавчины или, в лучшем случае, шихтой для плавильной печи графини Коробцовой.

— А что будет со мной, с Виталием?

— Виталий должен трудиться шесть дней в неделю и только в седьмой день позволять отдаваться вину.

— Кем же он может стать, Петя? Вы же знаете, какой Виталий инженер. Как я доверчиво...

— Не договаривайте, Эльза. Я не сумею посочувствовать вам по многим причинам. У вас было время узнать и определить, кто и какой инженер. Я не упрекаю вас, Эльза, во мне не осталось обиды. Нельзя обвинять иглу, которой сшили не то и не так.

Эльза снова увидела того же Петю, прямого, искреннего, чистого. Ей захотелось сказать — чистоплотного. «Иглой сшили не то и не так». И теперь ей, «шитой» игле, невозможно ушком вспять вернуться в ушедшую навсегда масленицу, в солнечные дни первых недель великого поста. «Ею сшили не то и не так».

— Я не виню вас, Эльза, но не вините и вы меня, что не сумел и никогда не сумею стать ниткой, которой вам хотелось вышивать узоры, унижающие меня. И об

этом не стоит вспоминать. Вернемся к сахару. Если хотите, чтоб он у вас был своим, я могу предложить Виталию Парамоновичу место директора павильона-выставки товарищества. Там нужен представительный инженер в форме, который толково сумеет объяснить посетителям достоинства новых телег, их особенности устройства и надежность.

— А унизительнее должности вы не можете предложить?

— Унизительнее? — Спокойствие сменилось раздражительностью. — Для меня, мечтавшего создавать машины, не унизительно быть тележным инженером товарищества.

— Вы там бог и царь. Вы хозяин завода, Петя. Вам не к лицу притворство.

— Притворство? Я мог бы не продолжать. Но мне хочется почему-то объяснить вам, что я в товариществе получаю меньше, чем Столль у графини, чем наш общий знакомый, мой однокурсник Юлиан Донатов получает у заводчика Стрехова. И я не хочу большего. Деньги, вложенные моим отцом в оборудование завода, не мои деньги. Я ем заработанный мною хлеб. Я рабочий интеллигентного труда, и даже не интеллигентного. Посмотрите на мои руки. Они в ссадинах.

Эльза не хотела касаться имени Кати Иртеговой, но язык не послушался ее:

— Зачем вам, Петя, отцовские гроши при тысячах, которые просят в вашу спальню...

Колесов побледнел:

— Я ударил бы вас, будь вы мужчиной. Я никогда не женюсь на деньгах, не продам своей свободы и своих убеждений. Не судите обо мне по... по нашим знакомым.

— Хорошо, не буду. Успокойтесь. Я не знала, что деньги могут быть помехой счастью. Лучше скажите: может быть, у вас найдется место и для меня? Я неразборчива и готова на любые услуги.

Она приблизилась к нему, пересев на диван рядом, Колесов сделал вид, что не заметил этого.

— Катя открывает четырехклассную школу. Хорошая оплата. Участие в прибылях товарищества. Разве плохо, Эльза, отдать себя детям?

— Пусть Катя отдается им.

— Она и без того вся в горении школой, в заботах о детях.

— А что ей остается еще? Когда кошке делать нечего, она лапки лижет, — переименовала Эльза мужичью поговорку.

Колесов пристально посмотрел на ухоженные руки Эльзы и обратил свое внимание на отполированные до блеска подрозовленные ногти:

— Праздные кошки не только лижут лапки, но и подкрашивают свои острые и хищные коготки.

Эльза на это горделиво заметила:

— Так поступали аристократические женщины еще в Древнем Египте и вавилонянки. Почему же не перенять и мне заботу о себе от блеска ногтей до белизны зубов. — Она улыбнулась и показала, как сверкающе белы ее зубы.

— У древних, между прочим, Эльза, была забота не об одной лишь внешней красоте. Они учились и учили постигать науки. Не повредило бы вам и это заимствование от вавилонян. Возвращать народу знания, полученные за его счет, святая и высокая обязанность каждого из нас. Павел, например, будет преподавать основы обработки материалов. Ваша сестра станет учить письму. Я — черчению. А вы... Вы могли бы заняться арифметикой.

— Почему же арифметикой?

— Вы так хорошо умеете считать, подсчитывать и решать сложные коммерческие задачи...

— Не спорю. Но счету я обучена начиная с тысячи. С четырехзначных чисел. Боюсь, что этот счет не пригодится тем, кто имеет дело только с копейками и грошами...

— Жаль, очень жаль, Эльза, что жизнь выучила вас только тысячному счету. Но, может быть, она же переучит вас, и вы начнете уважать цифры без нулей... Особенно когда копеечные люди разительно удешевят телеги.

— Вы не великодушный человек, Петя! Вы и друзей способны превратить во врагов. Прощайте. Витасик, наверно, уже дожидается у ворот. Я обрадую его предложенным вами местом в Екатерининских конюшнях...

ХІХ

Оставшись один, взбудораженный Эльзой Колесов не хотел думать ни о ней, ни о Кате и ни о самом себе, ни о своей неустроенной личной жизни. Нельзя зани-

маться ею теперь, в разгар осуществления планов. И если уже говорить положи руку на сердце, то из всех ближе его душе маленькая Кармен — Таля Шутемова. Чужая отцу, она далека от расчетов, выгод и всего, омрачающего ее любовь к Пете. Она первозданно чиста, непосредственна, как и ее голос, чарующий всякого, для кого ни звенит он.

Тале еще очень мало лет, и обратить внимание на нее теперь — значит, обидеть Катю, потерять ее расположение, а с ним потерять и то, что помогает ему так успешно служить людям.

Да, не нужно поддаваться никаким соблазнам года два-три, до тех пор пока не сбудется задуманное. Телеги — всего лишь начало постепенного вытеснения шутовых и внедрения новых предприятий, которые станут тоже выставками-школами для других. Тележный завод не самоцель, а наглядный пример, образец, который можно повторить и которым можно доказать, что любое предприятие способно стать народным, преуспевающим и побеждающим капитализм без бунтов, забастовок и следуемой за ними кары тюрьмами, каторгой, виселицами. И Павел Лутонин поймет то, чего нельзя не понять. Не сразу, но поймет, а пока нужно думать о уязвимом в телеге, об изнашиваемости осей и втулок колес. Трение — первый их враг. Поэтому нужно, чтобы изнашивалась не ось, которая стоит дорого, и не втулка колеса, которую не легко и не дешево сменить, а промежуточный вкладыш из металла более мягкого, стоящий копейки и заменяющийся другим в течение нескольких минут. И этим вкладышем может стать тонкая латунная полоска, согнутая в трубку, как лист бумаги. Через промежуток ее зазора, ее стычных краев, смазка будет проникать внутрь, где она соприкасается с осью, и на ее поверхность, трущуюся о втулку колеса. Чугунная втулка и стальная ось будут изнашиваться медленнее, а теоретически совсем не будут изнашиваться. Износ станет уделом сменного вкладыша.

Изнашиваются и боковины ступицы колеса, и упорная шейка оси. Набор шайб заставит колесо не скользить по оси вправо и влево и будет предохранять от пыли и песка оси и втулки колес.

На это не жаль Пете длинной зимней ночи. Его копеечное нововведение будет оценено благодарными владельцами долговечных телег.

Неустанно совершенствовал Колесов телегу. Дешево обходилась она товариществу. Самой дорогой из ее частей остался обод колеса. Поставщики из дальних деревень гнули его медленно, с большими усилиями, а до этого выскивали прямослойное дерево. Не легок был обод и в дальнейшей обработке. Большой отход древесины. Сложность разметки гнезд для спиц. Трудность в сборке. Неизбежность брака. Дешевле и скорее было сделать его из металла, но телега станет от этого тяжелей. Лишний пуд в ее весе на столько же убавит груз, который способна увезти лошадь.

Есть простой способ избавиться от дорогого обода, заменив его стычным из трех или четырех частей. И гнуть легче, и отход меньше, проще работа и совсем легкая сборка.

Не все единолично решал Петр Колесов, обращался он и к мастерам. А на этот раз он собрал целый совет мастеров. Боязно было нарушить веками привычное колесо с цельным ободом, с одним стыком. Не покажется ли составной обод ненадежным, не отвернутся ли от телеги ее главные покупатели?

С вниманием слушали мастера своего инженера, основателя товарищества.

Заманчивым было его желание вдвое удешевить самое дорогое в телеге — привычное колесо.

До ночи заседали мастера. Жарко спорили они, выискивая способы крепления четырех стыков вместо одного. Не чье-то дело решалось на совете, а ихнее, общее. Молчавший Корней Дятлов сказал:

— Лично я верю в стычное колесо и знаю, что не будет оно хуже теперешнего, а лучше при второй, внутренней стяжной подшинке в канавке обода. Этого не покажешь и не докажешь покупателю. Но если ему дать фирменную печатную трехлетнюю гарантию на обмен колеса в случае поломки, то какой дурак откажется купить телегу на два целковых дешевле с гарантированными колесами! А тот, кому милее терять по полтине на колесе с цельным ободом без гарантии, — пусть платит.

Дятлова в этот вечер, по предложению стариков, назначили старшим мастером отделения цеха стычных колес и пообещали увеличить плату, а пока прибавили десятку за повышение в должности.

Ночами отрабатывал свою десятку самолюбивый

мастер и через неделю дал пять конструкций стычных колес с опробованием их на излом.

Дятловские колеса пошли в работу. Телега снова понизилась в цене. Ускорилося ее рождение на главной и боковой передачах — притоках. Как бублики из печи, вылетают из ворот завода телеги. Легко рукам при машине, весело на душе...

XX

Отпировалась масленица. Кончалась зимняя льготная продажа телег. Оптовики-скупщики торопились внести деньги на счет товарищества и не упустить дешевый сапный путь в далекие волости.

Опасливо покупались телеги с новыми, стычными колесами, но даровые гарантийные колеса про запас склоняли барышников в пользу дешевой телеги. Коли дается гарантия, на колесе должен стоять год его выпуска и номер телеги, которой оно принадлежало. Год и номер набить — секундное дело, зато не может быть споров при обмене сломанного колеса на новое.

Дела идут как нельзя лучше. Кажется, не в чем упрекнуть теперь Павлу Лутонину своего друга. Ан — нет!

Не Павел Лутонин вступал с ним в спор, а сама жизнь. Телега, став легкой в работе и дешевой в цене, лишила работы тех, кто кормился, вырабатывая дома, у себя в деревнях, ступицы, спицы, гнул ободья и поставлял их таким, как Шутемов. А теперь мелких поставщиков заменила машина. Ручные колеса стали не нужны. Раньше они хотя и плохо, но прирабатывали к своей горькой крестьянской нищете, а теперь их руки пусты.

— Так что же получается, Павел, — спрашивал его и себя Колесов, — выходит, дорогая, плохая шутемовская телега приносила народу больше пользы, чем наша хорошая, дешевая?

Павел отмалчивался. Он и не мог сказать «да» или «нет». Не по его, и не по Петинной, и не по чьей-то злой воле действовал и вступал в силу страшный закон капитализма. Улучшающие производство — ухудшали жизнь тружеников. Машина — друг человека — становилась его врагом.

— Павел, если бы в моих возможностях было дать работу всем, я бы дал ее — И снова: — Не я придумал капитализм.

— И тем более не я, мы должны бороться против него. — И снова старое повторение: — Только освобождение всей страны... Только передача земли и фабрик...

— Да, но ведь это пока слова, а я дело делаю...

И опять жаркий и долгий спор, которому суждено будет продолжаться не одно десятилетие, между другими «Петрами» и «Павлами». Не только в России.

— Но хотя бы что-то еще можем мы сделать? — переводит разговор Лутонин. — Хотя бы избавиться от перекупщика-оптовика, присваивающего прибыли нашего завода? Неизвестно, какую накидку делают они на дальских ярмарках и базарах, приобретая у нас дешевые телеги.

— В этом ты прав, Павлик, но не открывать же склады в губернии! Нас не хватит на это.

— Хватит, Петя. В каждой деревне есть бедняк, который рад получить счастливый рубль за проданную телегу. Разве не в каждой волости есть почта, где можно открыть счет товарищества? Не надо быть купцом для того, чтобы получить квитанцию и отдать телегу. А это тысячи рублей в кармане товарищества и благополучие многих крестьянских семей.

Нашлась артель во главе с Алексеем Саночкиным, изгнанным с завода Столлем за смутьянство. Лутонин ручался за добросовестность Саночкина и его артели по доставке телег и созданию в больших селах пунктов по продаже телег.

Чего же лучше? Саночкина знали как человека пьющего, хорошо грамотного и добросовестного. Далее следовал контракт оплаты с версты и телеги. Нашелся новый артельный посредник, которому не жаль было переплатить.

Наш старый знакомый Алексей Алексеевич Красавин помог открыть счета в почтовых отделениях, и телеги пошли в большие села. Там они будут продаваться с надбавкой за доставку, зато без хлопот, без потери времени и прогона коня в Лутоню.

Петр Колесов догадывался, что Павел, заботясь об артели Саночкина, заботится не только о сбыте телег. Телеги могут стать удобным прикрытием революционной пропаганды в деревне. Это их дело. Оно не может коснуться его, действующего легально, открыто и законно. Дружба с Павлом не улика. Они связаны заводом, а не убеждениями. Так и Катю Иртегову можно заподо-

зреть в сообщничестве с Лутониным. Нужно меньше думать об этом и проводить свое.

На заводе Колесову делать нечего. Там все на ходу. Ему нужно избавиться и от выставки, там мог бы отлично работать Витасик Жуланкин и быть при деле, а не при птичках и не при Эльзе.

Для выставки нашелся говорун из неудачливых техников с звучной фамилией Истомин и располагающей внешностью. Он, до этого не удержавшись ни на одном заводе, тяготимый неизвестностью, теперь мог оказаться на виду. Охотно припав пост начальника над самим собой и таким же болтуном, как и он сам, служившим чертежником и названным теперь ассистентом, потребовал для обоих за счет товарищества форму с блестящими пуговицами и возместил затраты в первую же неделю.

Нашедший себя техник Истомин упоенно показывал, как легко телега меняет свое название, становясь то полком, то лесовозкой для длинных бревен и, совсем как фокус, демонстрировал превращение телеги в «карету» с плетеным коробом, а затем в грабарку для доставки руды, песка, глины.

Продуманная выставка, рассчитанная на неграмотного посетителя, показывала телегу во всех ее возможных применениях. Телега-водовозка, пожарные красные телеги с бочкой и ручным насосом, телега с раздвижной красной лестницей, телега с крытым кузовом-ящиком для перевозки продуктов, боящихся сырости и воров. Телега-линейка с пристяжными крыльями и сиденьем, почтовая телега, телега для зерна... Более двадцати видов одной и той же универсальной телеги, на все случаи жизни.

Особое место отведено для колеса. Оно представлено во всех разрезах. Наглядный показ на рисунках и в натуре пользования выжимной штауферной масленкой. Тут же рисунки и наборы латунных вкладышей и шайб различной толщины и опять же зримый показ пользования ими.

— Ничто на земле не вечно,— слышится приятный баритон техника Истомина. — Но всему можно продлить жизнь. Патентованные латунные вкладыши товарищества принимают на себя износ оси и втулки колеса нашей телеги, — декламировал он. — Фирменная колесная мазь, изготовленная по рецептам известного химика гос-

подица Шварца, позволяет колесу вращаться с наибольшей легкостью и наименьшим трением... Не верьте моим словам, господа, пусть будут свидетелями сказанного ваши собственные глаза.

Ассистент подходит к тележному колесу, установленному на возвышении, раскручивает его и просит посмотреть на стенные часы с красной секундной стрелкой.

— Считайте секунды, господа. Тончайшая фирменная мазь по рецепту господина Шварца помогает его вращению.

Когда же колесо останавливается, техник указывает на маленькие чашеобразные лопасти, припаянные к его шине, просит ассистента дать воду, и тонкая струйка воды, направленная на лопасти замершего колеса, заставляет его тронуться, затем вращаться бесшумно и плавно, вызывая восхищение посетителей и предоставляя передышку умолкшему соловью. Ассистент усиливает струю, и колесо тотчас же увеличивает скорость.

— Мне нечего добавить, господа, остается только назвать цену тележной мази.

Заключив демонстрацию легкости вращения колеса, он перешел к его смазке при помощи также патентованной и прилагаемой бесплатно к телеге выжимной машинки, вместе с комплектом шайб, вкладышей, гаек и других запасных частей.

Выставка не пустовала. Сюда приезжали и далеко живущие от Лутони предприниматели, купцы, инженеры, побывал здесь и сам губернатор. Его принимал Петр Демидович. Скромно рассказывал, чего можно достичь при добросовестности заводчиков.

Губернатор остался доволен и выставкой, и обедом в его честь. Он отблагодарил товарищество лестной записью в книге отзывов знатных посетителей выставки. И обещал свое покровительство товариществу. Так он говорил, про себя же думал: «Поживем — увидим». Пока же товарищество не внушает никаких опасений «пагубного примера, угрожающего подражанием другим заводам, где рабочие захотят преобразовать их в трудовые товарищества и тем самым будут подстрекать на революционные действия», как писалось в одном из дописаний. Встревоженный донесением губернатор не через кого-то, а лично хотел увидеть «сие опасное новшество».

Обворожительная наследница богача Иртегова, образованный и скромный Колесов, придумавший новый спо-

соб. эксплуатации, интересующий рабочих в при-
былях, оправдывающий «проверку служением» Ана-
толь Мерцалов ничем не насторожили губернатора.

Колесов торжествовал.

XXI

С наступлением весны Петру Демидовичу уже оконча-
тельно нечего было делать на заводе товарищества.
Цехи и отделения не нуждались в его усовершенство-
ваниях и надзоре. Павел Лутонин, Корней Дятлов и отец
вполне справлялись с налаженным производством. Тор-
говля через почту на главном складе, открытых и откры-
ваемых складах не нуждалась в опеке. Бывший казна-
чийский чиновник Немешаев исправно вел бухгалтерию.
Завод вполне можно было отдать на самоуправление ра-
бочим, в их собственность.

Одержимый деятельностью Петр Демидович оказал-
ся не у дел. Весенняя охота не долго занимала его.
Отдохнув после напряженной зимы, он почувствовал
тяжесть одиночества.

Катя Иртегова и он по-прежнему в добрых, друже-
ских отношениях. Петя убежден, что такими они и
останутся до тех пор, пока не разбудит ее настоящий
«принц», который представлялся ему человеком добрым
и бескорыстным, для которого станет она радостью его
жизни, а он — ее. Тогда Петр Колесов, может быть, по-
думает и о своем неизбежном, от которого не уходит
никто.

Об этом же иногда думала Катя, не торопя чувств и
желаний. Для нее все было предreshено давным-давно.
В четырнадцать лет она верила предначертаниям судь-
бы и провидению, пославшему ей Петю. Теперь она
верила в себя, в свои силы, верила, что Петя будет ее
мужем и ничто, кроме смерти, не изменит и не перере-
шит предначертанного не судьбой, а ею, потому что она
знает, что никто не может быть ближе ему, чем она.
И он поймет это и полюбит ее.

Всею своя пора, и, если она для Кати наступит
поздно, нужно ждать. Должное свершиться — свершится.

Весна возбудила в Пете с новой силой желание раз-
рушать и создавать. Ему вспомнился разговор с рыжим
мужиком, расхваливавшим телеги трудового товарище-
ства. Он сказал, что если б такими же хорошими и де-

шевыми стали сани, сохи, бороны и прочая деревенская снасть, как бы молился мужик на Петра Демидовича Колесова.

Невольно возник в памяти надменный санный царек Адриан Кокованин, строивший из себя боярина и подражавший какому-то вотчиннику грозненских времен во всем, начиная с шубы и разговора на «ты» со всяким, кто беднее его. Вспомнилась и встреча в доме Кати, когда Колесов был вынужден казаться покорным, зависимым, чтобы продать «себе в убыток» прибыльные телеги. Неплохо было бы теперь встретиться с Кокованиным и любезненько сказать ему, что трудовому товариществу захотелось посадить мужика на дешевые сани, как уже посадило оное оно на дешевую телегу, и так далее в том же духе и тем же древнерусским стилем.

«Интересно было бы, — размышлял Петя, лежа на диване, — полюбоваться при Кате, как завертелся бы бишуевский «Шуйский», как заюлил бы он, зная, что сани не телега, и поставить их на станок можно за несколько недель. Наверняка у него есть санный «Дятлов», которого можно назначить санным управляющим и создать трудовое товарищество, объединив семьи кустарей кокованинской «вотчины».

Мать прервала Петю на самом интересном месте, а именно когда Кокованин молил его, Колесова, взять отступные тысячи и сохранить ему его дело.

— Петрушенька, — сказала Лукерья Ивановна, — тебя беспреренно хочет видеть сорокинский немец мыловар.

Колесов вскочил и пошел встретить Шварца.

— Что же вы, дорогой Симон Иоганнович, не приходите за своими копейками? Их набежало, паверно, за добрые две сотни.

— О, господин Колесов Петр Демидович, я не могу получать за прохвостовый мазь деньги. Я есть человек со словом, и я не могу быть шульником.

Шварц уже лучше говорил по-русски, но ему стоило больших трудов находить слова, чтобы объяснить причину его ссоры с Леонтием Сорокиным. Ссора началась с тележной мази. Педантичный Шварц сказал сначала по-немецки, потом перевел на русский язык:

— У обмана есть много масок, но лицо у него есть одно — шульническое лицо.

Кофе, который уже научилась варить Лукерья Ива-

новна, и шустовский коньяк с колоколом на этикетке, обожаемый Шварцем, как великий кофейный ингредиент, помогли ему рассказать, а Колесову понять, что «шульник» Сорокин нарушает контракт с товариществом. Сохраняя размеры ящиков, он заставил поставляющего их «лесопильника» Хохрякова «давай толщее» доски, тем самым «уменьшайт» внутренний объем ящика, выгадывая на каждом пуде более трех фунтов мази.

— Это есть первый шульническая маска.

От первой Шварц перешел ко второй. Сорокин ставил на этикетки товарищества «рот штемпель», или красный штемпель, «высший сорт», и на этом основании он ту же мазь продавал дороже против указанной на этикетке цены.

Колесову было достаточно, чтобы тотчас же поехать к Сорокину и припасенное для Кокованина выплеснуть на «шульника».

Но педантичный немец попросил еще чашечку кофе и перешел к третьей «маске»:

— Сорокин требует варить мазь, который есть не весенний и не летний рецепт, а есть то, во что корова перерабатывает траву, но не молоко.

Колесов бросился запрягать лошадь, не дав досказать Шварцу о четвертой «маске». Она убивала и второго «шульника» — Глобарева, который на деньги товарищества и благодаря заказам товарищества преобразил свою убогую скоропечатню в настоящую типографию. И этот самый Глобарев продает Сорокину по половинной цене фирменные этикетки! Это было не просто подлостью, а плевком вместо благодарности.

Шварцу пришлось открывать плутни Глобарева уже на дворе, помогая Колесову запрягать Красотку.

На очереди была пятая «маска», но для Колесова хватило четырех. Наскоро простившись со Шварцем и попросив его побывать у него вечером, Колесов сказал:

— У меня для вас есть интересное предложение.

XXII

Дома Сорокина не было. Колесов помчался к нему на завод. Две версты показались ему длинными. Взмывленная ипоходь Красотки выражала состояние привезенного ею Колесова.

— Что случилось? — спросил, выбегая из конторы завода, Сорокин.

— То, чего следовало ожидать, — ответил Колесов, не поздоровавшись с Леонтием Прохоровичем, не назвав его по имени. — Я приехал по жалобе покупателей нашей фирменной мази, которую мы доверили изготавливать вам, и вы не оправдали оказанной чести.

— Я прошу, Петр Демидович, — пригласил его Сорокин в конторку, — тут посторонние...

— То, что будет известно всем, стоит ли скрывать от двух-трех человек? Но я пощажу вас. Поговорим с глазу на глаз. Приготовьтесь к откровенному разговору.

В маленькой бревенчатой конторке Колесов задал четыре вопроса:

— Зачем вы изменили оговоренную рецептуру мази? Кто дал вам право продавать ухудшенную мазь высшим сортом и увеличить цену против указанной на этикетке товарищества? Сколько недодаете вы мази на каждом ящике с утолщенными стенками? По какой цене и в каком количестве вы покупаете украденные у товарищества этикетки?

Сорокин опустил голову. Не ответы на вопросы обдумывал он, а что будет с ним, беспокоило его. Отрицать — невозможно, признаться — не поворачивался язык. И он спросил:

— Судом или миром, Петр Демидович?

— Это зависит от вас.

— Условия?

— Записывайте, — начал диктовать Колесов. — «Вернуть покупателям через товарищество деньги за недоданную мазь. Высчитать до копейки, до золотника. Доплатить товариеству деньги за незаконно купленные в типографии этикетки. Остальное заплатит владелец типографии. Прекратить сегодня же оклеивание ящиков с мазью нашими фирменными этикетками, а те, что уже оклеены, содрать». И последнее. Это можно не записывать. Как вам будет удобнее — передать в аренду, или продать в рассрочку ваш завод товариству, или вы предпочтете дожидаться осени, когда рядом с вашим задымит лучший завод товарищества, которому уже будет не нужна ваша каторжная салотопня? Ответ завтра. Я буду ждать вас в десять утра в конторе товарищества. Честь имею...

От Сорокина Петр Демидович уже не спеша поехал

в типографию к Глобареву. С ним он будет мягче. Глобарев не капиталист, а мелкий предприниматель. Его можно и пощадить, но нельзя оставлять типографию в его руках. Он в лучшем случае может остаться ее управляющим.

Дорога в Лутоню шла мимо лесопилки Хохрякова. Нужно заехать и к нему. У него рыльце тоже в пуху.

Хохрякова Колесов увидел около ворот лесопилки. Подъехал. Поздоровался и, не вылезая из коробка, обратился к нему:

— Как вы думаете, Елисей Федорович, не сподручнее ли будет нашему товариществу поставить свою лесопилку и где лучше?

— Да ведь хлопотное это дело, Петр Демидович.

— А что не хлопотно? Тележную мазь варить тоже не масло пахтать, зато без переплаты Сорокину. Какую цену спросили бы вы за ваше лесопильное заведение?

— А я не собираюсь его продавать, — дрогнувшим голосом ответил Хохряков.

Колесов успокоил его:

— Я и не принуждаю вас к этому. Мне хотелось узнать, во что может обойтись товариществу лесопильный завод рам на пять, на шесть... Я думаю, что товарищество при деньгах да при скорой хватке подрядчика Токмакова к осени сумеет пилить свои доски... Благополучия вам, Елисей Федорович. Извините, что задержал. — Колесов тронул вожжами и покатыл в типографию.

Хохряков долго стоял у ворот. Не хотелось верить, что ему придется расстаться с лесопилкой, которую он мечтал превратить в большой лесопильный завод. Но Колесов не бросает слов на ветер, за ним сила, люди, деньги.

Денег не было у Колесова. Товарищество не могло построить ни лесопилки, ни купить мыловаренного завода. Предстояли иные первоочередные расходы. Но Катя... Почему бы ей не сделать два добрых дела?.. Это — вечером. На очереди глобаревская типография.

С Христианом Аркадьевичем разговор был еще короче и мягче. Колесову жаль уличать его в продаже фирменных этикеток товарищества. Поэтому, ничего не объясняя, ни в чем не упрекая Глобарева, было сказано:

— Товарищество хочет видеть вас, Христиан Аркадьевич, управляющим типографией, а не ее владель-

цем. — Петр Демидович назначил месячное жалованье, упомянул об участии в общих прибылях товарищества, попросил представить опись оборудования и его стоимость.

— Слушаюсь, — ответил Глобарев.

Уходя, Колесов, не утерпев, сказал:

— Кто-то из ваших «гуттенбергов» торгует нашими фирменными этикетками. Узнайте, сколько их продано, и взыщите с виновника следуемое.

Теперь к Кате. У нее, наверно, уже кончились уроки.

— Тсс! — предупредила Колесова Марфа Максимовна. — Занимаются еще. Пишут. Милости прошу. — И Ряженкова провела Колесова в столовую.

Было слышно, как диктует Катя по слогам:

— Тер-пе-ни-е и труд... и труд, — повторяла она, выделяя букву «д», — все пе-ре-трут, — выделяла она теперь букву «т».

Петя закрыл глаза, слушал ее мелодичный голос. Как любит она детей... Какой матерью будет она... Но, что об этом? Об этом ты не должен думать Петр Колесов. У нее своя жизнь, у тебя своя.

Голос Кати не переставал звенеть в большой гостиной, превращенной в класс. С настоящими партами, с черной доской. Может быть, она играет в учительницу и набрала для игры тех, кого миновала школа. Может быть, Эльза в чем-то права? А?

Нет! Сто тысяч раз нет. Она, обучая, учится сама педагогическому искусству. Вместе с Талей Шутемовой они готовятся стать преподавателями в новой политехнической школе.

А голос не перестает звенеть:

— Теперь, дети, положите тетради на мой стол и все к роялю. Манечка будет запевать «Завтра — завтра...»

В гостиной послышался шум, а затем песенка: «Завтра — завтра, не сегодня, так ленивцы говорят...»

Песенкой или игрой на рояле всегда кончался последний урок.

Сейчас Катя проводит детей через кухню. Поможет одеться тем, кто еще не научился этому. Теперь уже не долго. Пете так хочется не торопясь рассказать всю предысторию событий этого дня, начиная с визита Шварца, а после этого попросить ее еще о двух добрых делах.

Катя слушала и делала вид, что ей интересны подробности, но, не выдержав, она сказала:

— Зачем так длинно и опасливо, Петя? Купить — так купить, на мое имя — так на мое.

— Неужели, Катя, все так просто в этот день? Я не верю тому, в чем не сомневался. Катя, могу ли я расцеловать тебя?

— Если тебя не затруднит, Петя, если тебе не покажется, что я слишком дешево покупаю твое внимание, то целуй, хотя правильнее было бы это сделать после более крупной покупки. Поцеловавшись с тобой, я могу не разжать рук на твоей шее, и ты окажешься в плену, у хитрой купеческой внучки Катьки Иртеговой.

— Ну зачем ты так говоришь?

— Затем, что ты так думаешь. И думай. Думай, как тебе хочется. Я не осуждаю тебя, потому что люблю и ни от кого не скрываю этого, кроме тебя. Ты не должен знать, как я люблюсь тобой, как хочу нравиться тебе, как ревную к каждой мошке, севшей на твое лицо. Ты не должен этого знать, чтобы не потерять уважения ко мне, поэтому считай меня поцелованной, лесопилку и салотопню купленными.

XXIII

Несложной была передача купленного Иртеговой мыловаренного завода. С ее стороны Шварц и бухгалтер товарищества Немешаев оценили здания, оборудование, сырье и готовые изделия. Сорокин не спорил в оценках. Колесов предупредил его «не испытывать терпение товарищества». Он мог из-за какого-нибудь котла или двух бочек соды, завышенных в цене, начать судебное дело и развенчать Сорокина. На фасаде выставки уже висело объявление о возвращении переплаченных денег за недовес мази по причинам, не зависящим от товарищества. Деньги возвращались всякому предъявившему тару с утолщенными стенками.

Желающих получить переплаченные копейки обратно нашлось немного, зато добросовестность, даже в таких мелочах, утвердила еще больше репутацию товарищества.

Шварц помог бухгалтеру вычислить подлинную стоимость ухудшенной мази до гроша. Сорокину оставалось только краснеть и соглашаться.

Мелочи оценили чохом. Оставалось подбить черту и определить разницу между тем, что причитается с Иртеговой и что повинен возместить Сорокин, а затем составить нотариальную купчую и на воротах завода установить вывеску:

ТРУДОВОЕ МЫЛОВАРЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ.

На типографии Глобарева уже значилась ее новая принадлежность. Лесопилка ждала своей очереди. Хохряков выплакал слезы прощания с нею и утешался, что в верховьях Лутони он возведет другую.

Когда нотариальные дела и расчеты были закончены, на мыловаренный завод пришел Павел Лутонин. Ему было поручено Катей объявить рабочим о новом их положении, об укорочении на час рабочего дня.

— Тебе и карты в руки, — напутствовал Петр Павла. — Получше представь нового управляющего и скажи, что варить мыло и мазь они будут не на него, не на кого-то, а на себя.

На открытие завода пошла и Катя. Как-никак она владелица, и завод числится ее собственностью. Ее право, отдать ли его на выкуп трудовому товариществу мыловаров или даже подарить им, но пока она хозяйка, а Павел Лутонин ее доверенное лицо.

Собрались на дворе. Вынесли скамьи, ящики, расселись на пустых бочках. Принесенный из конторы стол покрыли зеленой суконной скатертью. За стол сели Шварц, Катя, Павел и трое из мастеров завода. Катя открыла собрание.

— Господа рабочие, мастера, труженики завода, предоставляю слово такому же труженику, как и вы, Павлу Гавриловичу Лутонину.

— Мне поручено Екатериной Алексеевной Иртеговой, — начал он, — рассказать вам, каким будет завод. Этот завод хотя и не принадлежит вам, но хозяйничать на нем будете вы. И то, что заработано вашими руками, будет принадлежать вам. Вы сами установите, сколько и кому нужно платить, как распределять прибыли, как сделать, чтобы мыло и мазь становились дешевле, как облегчить свой труд. Вы выберете из своей среды в помощь управляющему заводом доверенных лиц, вместе с которыми он будет решать все дела. Рабочий день с понедельника той недели будет короче на один час.

Шумный отклик получили эти слова. И еще шумнее отозвалось собрание, когда Лутонин назвал управляющим Шварца. Было видно, как любим и уважаем этот чужеземец. Трогательны были его слова:

— Я очень благодарю вас, я очень благодарю. Мы будем иметь хороший завод. Мы будем варить лучший продукт! Наше товарищество есть наше товарищество! Штраф — нет! Крик — нет! Благодарю! Очень благодарю!

Лутонин продолжил свою речь:

— Штрафов не будет, не будет и криков, но порядок должен быть. Вас никто не будет обыскивать в проходной. Добросовестность станет вашим сторожем. А если кто-то соблазнится хотя бы на один кусок мыла, принадлежащий товариществу, тот потеряет доверие, право работать на заводе. У Сорокина можно украсть. У него только два глаза. Теперь же столько глаз, сколько вас. Это я к слову. А сейчас я поздравляю вас с открытием и прошу назвать доверенных, из коих составит совет по самоуправлению заводом при его управляющем. В этот совет должны войти не просто честные люди, но и знающие дело, умеющие купить и продать с выгодой для товарищества и с пользой для народа.

Доверенные были названы. Колесов пришел к концу собрания и сел рядом с потеснившимся стариком. Катя видела торжествующее лицо Пети. По нему читала она: «Вот еще одна победа, пала еще одна крепость».

Закрывая собрание, Катя рассказала о воскресной школе для взрослых, о новой четырехклассной школе для детей.

— А теперь, — заключила она, — останьтесь сами с собой, со своими доверенными и своим управляющим и поговорите, как вам жить и как вам работать. А это от меня.

Буланый битюг, запряженный в ломовую телегу, ввез дубовую, потемневшую от времени бочку из подвала Евлампия Иртегова. Верхом на ней сидел Корней Дятлов. Приехал поздравлять.

Покидая завод, Катя увидела в толпе Мерцалова.

— Анатолий Петрович, — окликнула его Катя, — кажется, мне теперь грозит тюремное заключение.

— Помилуйте, Екатерина Алексеевна, за что же?

— Я угощаю рабочих безакцизной дедушкиной водкой.

— Угощаете, но не торгуете, — целуя ей руку, отшутился галантный Анатолий. — Надеюсь, угостят и меня этим долголетним напитком?

— Сделайте одолжение. Я прикажу презентовать вам полную бочку. С начальством нужно быть в добрых отношениях, Анатолий Петрович.

— И особенно с таким воинственным блюстителем, как я.

Они оказались за воротами и разговаривали теперь свободнее.

— Как понравилось вам, Анатолий Петрович, наше собрание?

— Очень. Я разделяю все до последнего слова из сказанного вами и от вашего имени Павлом Гавриловичем. Беспрецедентно, смело и неуязвимо. И все же...

— Что?

— Я бы посоветовал не выносить на вывеску то, что целесообразно прикрывать ею.

— Извините, Анатолий Петрович, я не понимаю...

— Завод принадлежит вам. И на нем должно стоять ваше имя. Оно никому не будет резать глаза. Так мне кажется, как постороннему наблюдателю. Я не могу желать вам зла, тем более что вы подкупили меня обещанной водкой...

И Мерцалов принялся рассказывать о приезде в Лутонию его отца, о новом платье жены, о новых модах в Париже, о покупке чистокровной арабской лошади... обо всем, что мешало вернуться Кате к их прежнему разговору. И наконец, пожелав успехов, он поцеловал ей руку и направился к коновязи, где, пугливо озираючись, ждала его белая лошадь.

Кате показалось, что Анатолий хотел еще что-то сказать. Но, как всегда, чего-то недоговорил.

XXIV

Шварцу не нужно было создавать завод заново. Он существовал. Его следовало улучшать. Этим и занимался он с утра до ночи. На выставке вскоре появились новые сорта мыла: «Банное», «Стиральное», «Детское» — с фирменным знаком товарищества. В новых ящиках с выдвижными крышками была выставлена и колесная мазь. Неумолчный техник Истомин обращал внимание посетителей и на это новшество:

— Купивший нашу мазь убивает двух зайцев!..

Вторым зайцем был сам ящик с выдвижной крышкой, который может найти тысячу и одно применение в хозяйстве. И применения эти перечислялись.

Мыло не пуждалось в рекламе. Его качество проверялось с первой стирки, а цена говорила сама за себя. Копейка на куске мыла не могла не приниматься в расчет, а две убивали конкурентов.

Колесов не был мыловаром, но им не надо и быть, чтобы старые прессы завода Коробцовой-Лапшиной перешли на мыловаренный завод и занялись штамповкой фигурных кусков мыла: «Семейного», «Душистого», «Земляничного», «Лутонинского», «Дамского», «Дорожного», «Нежного», «Яичного»... Дорого ли стоит штамп, который может служить годы? Какие затейливые формы он позволяет придавать мылу, а главное — на нем название и цена. И тут товарищество оградило покупателя от своеволия наценки лавочников. Наживи свое и будь доволен. Кажется малой нажива — покупай у других мыловаров.

Шварц открыл фирменный магазин. В магазине продавались и те сорта, которые не шли в общую продажу: «Праздничное», «Королевское», «С добрым утром!», «Лебедь», «Незабудка»... Он гораздо был на выдумки. Не дорого стоят красители. Мало ли на свете ароматических веществ. Цвет и запах мыла помогают его успеху. А успех мыловаренного товарищества не подлежал сомнению.

И зачем понадобилось Леонтию Сорокину пускаться на мошенничество? Что мешало ему прислушаться к голосу Шварца? Теперь бы имя Леонтия Сорокина стояло на каждом куске, и он мог бы стать богатым и знатным. А сейчас? Открывать новое дело? Какое? Он ничего не умеет делать. Он не умеет даже варить колесную мазь. За него это делали другие. Открыть магазин? Какой? Чем торговать? Войти в пай? К кому? Начать служить? Кем? Проживать полученные за продажу завода тысячи, ничего не делая? Но надолго ли хватит их?

Наступили томительные дни тупого безделья. Куда деться в глухой Лутоне? Единственное место, где может Сорокин отвести душу, — это шутоковский дом. Но и там устали от него, да и ему надоело играть в подкидного дурака, проклинать Петьку Колесова, сулить ему сто бед, семь смертей, а он — хоть бы что. Ходит в своей

косоворотке, не успевает отвечать на поклоны. И Леоптию Прохоровичу Сорокину приходится говорить: «Здравствуйте, Петр Демидович». А как же по-другому?

Шутемову легче, он ни в чем не провинился перед товариществом. Дело потерял, а остался при деньгах. Головастый купец Кокованин помог сплавить на баржах в низовья Камы и на Волгу свои купленные у товарищества телеги. Там не спрашивали, что почем. Далека Лутоня. Никто не знает, что стоят там такие же телеги. Руки коротки у Колесова торговать телегами на всю Россию-матушку. Хорошую цену взял Патрикий Шутемов за телеги. Нажить не нажил, но и прогадать не прогадал. Вернулся с деньгами. Положил в рост. Хлеба не просят, а процент копят. Кто знает, каким будет земли вращенье, куда повернет жизнь «Колесо»... От безделья можно заняться экипажами. Прибылей не будет, а вывеску и фонарь под ней можно не снимать с ворот. Пусть горит по ночам и освещает имя Шутемова, которое должны знать и помнить люди. Не снял вывеску и Парамон Жуланкин. Подковы, скобы, топоры, лопаты, сечки многого к капиталу не прибавят, но кормить кормят и «фирму» блюдут.

— Ну вот, Павлик, теперь ты видишь, кто прав, — дружески говорил Петр Колесов; когда они возвращались берегом реки Лутони после покупки лесопилки на Катины деньги и передачи ее на арендных началах рабочим. — Мыловаренный завод уже начал окупаться. Не пройдет и пяти лет, как арендный завод станет собственностью его тружеников. Энергичный организатор химик Шварц собирается поставить еще пять варочных котлов и стать монополистом в губернии. Придумав новый способ торговли «мыло — почтой», он избавляется от посредников. Ну что же ты молчишь, Павлик? Зачем упорствуешь? Разве наглядные примеры не подтверждают возможности экономического разгрома капитализма?

— Петя, — предложил сесть на зеленый пригорок Лутонин, — настоящие революционеры говорят об уничтожении капитализма, а не о мыловарне. О миллионах людей, а не о сотне рабочих, которых ты и Катя сделали на время счастливыми. Это хорошо. Сто человек стали жить безбедно. А сто миллионов? Найдется для них столько Кать и Петь, которые прибегнут к такой же благотворительности?

— Важно начать...

— Важнее кончить, Петя. А кто знает, каким будет конец? Наше «Колесо» по-прежнему остается колесиком, зависимым от тысяч колес страшного, безжалостного капиталистического механизма. Будь бы у Шутемова в десять раз больше денег, он бы развалил по спице наш тележный завод. Будь бы образованнее и богаче Леонтий Сорокин, не удалось бы купить за бесценок его завод. Один ли Шварц химик на земле? И ты ли один такой сверхинженер? Представь, что такой, как ты, стал бы зятем Шутемова? И оборудовал бы для него машинное производство телег? Сейчас нет такого. А если найдется?

— Поздно находиться такому. Нашу телегу не обгонит никакая другая. На будущий год она будет стоять вдвое дешевле. Мы можем торговать в кредит. Ты слышишь — в кредит!

— Ты увлекаешься, Петя. Ты снова забываешь, что нашу телегу удешевляют рабочие завода Коробцовой. Ты заставил Столля давать больше и лучше. Ты продиктовал ему новую технологию, удешевил производство осей, шин, поковок. Пуд гаек и шайб стоит немногим дороже пуда металла.

— И отлично.

— Отлично для трудового товарищества. Но каково для рабочих завода Коробцовой? Мы переполучаем за то, что недополучают они.

— Это очень жаль, Павел... Пусть добиваются лучшего.

— А как?

— Тебе виднее, Павел. Я слышал о забастовке и о требованиях увеличить оплату за труд на коробцовском заводе.

— От кого, Петя?

— Узнал из листовки...

— Из какой, Петя, листовки?

— А ты не знаешь о ней?

— Слышал краем уха что-то такое...

— Всего лишь слышал? Ну, что ж, будем считать, что ты только слышал, и притом краем уха. А я читал, и не краем — в оба глаза, и притом внимательно. С перечитыванием.

— А зачем тебе, Петя, потребовалось такое внимание?

— Побаиваюсь, Павел, за авторов этой гектографической листовки.

— А что за них бояться? Разве они подписались?

— Не подписались, но пальцы оставили.

— Да? Каким образом? Это очень интересно.

— Если интересно, тогда слушай. Слово «социализм» пишется без мягкого знака после буквы «з». Слово «пролетарии» пишется не через «ять», а через «е» простое. И если человека, подозреваемого в написании оригинала листовки для гектографа, попросят написать эти два слова и он или она повторит эти грамматические ошибки — появится первая улика. А затем, когда займутся изучением почерка, то ему или, скажем, ей уже некуда будет деться.

— А почему ты, Петя, говоришь: или «ей»?

— Вот видишь, Павел, — усмехнулся Колесов, — ты уже пробалтываешься, беспокоясь о местоимении «ей». А если я скажу, что писавшая листовку плохо изменяет почерк, сохраняя характерные закорючки у букв «щ» и «ц» — окажется вторая улика.

— Тебе бы в жандармы, Петя, — так же смеясь, заметил Павел. — Из тебя бы получился сыщик или следователь, не худший, чем инженер. А что еще не так в почерке листовки?

— Все не так, начиная с самого почерка. В таких случаях пишут печатными буквами на листке из тетради по арифметике. На листке, разграфленном в клеточку. Не уличишь.

— Да ты еще и опытный конспиратор.

— Я просто не дурак и не сую голову туда, где ее могут оторвать. Это к слову. На тот случай, если ты и Настя или кто-то из твоих новых векшенских друзей, отбывающих ссылку, снова вздумают настойчиво рисковать свободой.

Павел понял намек. Не желая раскрывать тайны, принадлежащей не только ему и Насте, он спросил в упор:

— Ты против забастовки?

— Я против способов ее организации. Мне далеко не безразлична участь людей, которых я люблю. Зачем так сложно и рискованно, когда есть путь проще, короче и неуязвимее.

— Какой, Петя?

— Стоит нашему тележному товариществу перейти

на восьмичасовой рабочий день, и через неделю на коробцовском заводе вспыхнет забастовка. И ни тебя, ни меня никто не сумеет обвинить, что забастовка порождена нами.

— Но, милый мой Петр Демидович, — горячо заспорил Павел, — нужно не только породить, но и направить порожденное тобой. И если ты в самом деле, читая листовку, следил только за грамматикой, ты, значит, ничего не понял или не хотел понять, думая, что только ты ось и все вертится теперь вокруг тебя.

— Я так не думаю, хотя и не считаю себя пятым колесом.

— Тогда ты должен был заметить и политическую суть листовки. Рабочие должны просить не барской милости, а требовать положенное им. Не только материальные соображения должны руководить бастующим, но и сознание своего рабочего достоинства, понимание, что он, рабочий, на заводе главная фигура и что забастовка является предупреждением о более решительных мерах. О наведении новых порядков и ломке старых. Не протягивать руку требует листовка, а подымать ее. Так что, Петр Демидович, забастовка забастовке рознь. Столль тоже жаждет забастовки и по-своему организует ее. Штрафами. Увольнениями. Снижением заработка. Он убежден, что перепуганная забастовкой графиня продаст за бесценок завод Стрехову и Столль войдет к нему в пай. Болван! Он забывает, что забастовка предпрешит его конец на заводе. В листовке определенно говорится о наемных грабителях и тиранах. Листовка скомпрометирует его.

— Это слова, Павлик!

— Все начинается со слов. Недаром наш школьный попик поучал: «в начале было слово и слово было бог...» Когда революционное искрометное слово зажигает сердца, оно становится силой противоборства. Не умаляя значение пламенных слов.

— Так что же, выходит, проектируемый мною восьмичасовой рабочий день на тележном заводе никак не скажется на забастовке?

— Я, Петя, этого не говорю. Теперь все ручьи текут в один пруд народного гнева. И мутные и чистые ручьи полнят его. Одни сознательно, другие преднамеренно, третьи выпущденно текут и сливаются, не желая того, с революционным потоком. Недалек день, год, преграда

будет прорвана, и людское терпение, обратясь в гнев, хлынет и смоев все мешающее ему, все противящееся его силе...

— Толковые, я смотрю, ссыльные поселились в Векше. Я знавал таких и едва не сгорел... Ну, да что об этом. Большим потокам — большие и русла, а малые ручьи текут и без них. Останусь верен себе. Буду течь ручьем-одиночкой, памятуя, что и малые, но настойчивые ключики иногда незримо, неслышимо подмывают и рушат капитальные, веками возводимые строения. На этом, Павлуша, и порешим. Закроемся. Уйдем в себя и останемся такими же друзьями. Этого разговора между нами не было. Ни ты, ни я не вспомним о нем, ни на следствии, ни на дыбе. Все бывает в жизни. Так, что ли?

— Да, Петя!

— Руку!

— Вот моя рука!

XXV

Забастовка на коробцовском заводе сулила Колесову то, что казалось ему возможным только через два, через три года. Он мог, оставив тележный завод, с легкостью убрать Столля, для чего было достаточно дать знать графине, что завод выгоднее продать на выкуп рабочим, как это сделала Екатерина Иртегова, нежели получать с него мизерные прибыли.

Столлю также нужна была забастовка. Он уже дважды встречался с Глебом Трифоновичем Стреховым, влиял на него через Магдалину Григорьевну Шутемову, предпринимал все, чтобы завод был воссоединен с Векшей и он стал его совладельцем. Столля помогал вспыхнуть забастовке штрафами, сокращением заработков, увольнениями.

Колесов вольно или невольно помогал вспыхнуть забастовке, преследуя иные цели.

На его недавней памяти шумные восторги мыловаров после объявления о сокращении на час рабочего дня. Этот час радостно отозвался в каждой рабочей семье. В день годовщины тележного завода и там будут введены восьмичасовой рабочий день и двухсменная работа. Спрос на телеги намного превосходит производственные возможности завода. На стоимости телеги почти

не скажется сокращение рабочего времени, напротив, возрастет выпуск телег при двухсменной работе завода. Зачем же ожидать годовщины, если сегодня же, в ближайшие дни, можно сократить рабочее время и ускорить этим забастовку на заводе графини? И он сегодня же, как всегда осторожно, не раскрывая истинных замыслов, соберет мастеров.

По пути на завод Колесов встретил Симона Иоганновича. Подготовленную речь для тележников он прорепетировал на Шварце:

— Симон Иоганнович, наблюдая за работой на вашем жарком заводе, я заметил, что рабочие очень устают и во вторую половину, после обеда, делают меньше.

— О да, о да... Трудный работ, горячий огонь, большой заказ...

— Кто же мешает вам, дорогой Симон Иоганнович, увеличить работу завода до шестнадцати часов и ввести две смены по восьми часов?

Шварц на крыльях примчался на свой завод, чтобы подсчитать, «что есть минус и что есть плюс».

* * *

На совете мастеров тележного завода Петр Демидович изложил положение дел:

— Мы даем чуть ли не в половину меньше, чем нужно и можно дать. Удлинять время работы не к лицу нашему товариществу. Убыстрять скорость передачи — несомненно, скажется на качестве, а следовательно, и на сбыте. — И далее навел слушающих на то, чтобы ввести вторую смену, затем выразил опасения, что вторая смена, кончающаяся поздно, повлечет недовольство рабочих, лишившихся нормального сна. Незаметно сам подсказал то, что желал.

Корней Дятлов рассудил так:

— Выход один — убавить рабочее время. И если первая смена будет начинаться в шесть утра и заканчиваться, с перерывом на обед, в три часа, то вторая смена с трех дня успеет отстоять у станков и до полуночи быть дома.

Петр Демидович поколебался для видимости минут пять, посоветовался при мастерах с бухгалтером и подтвердил:

— Вы правы, Корней Евстигнеевич, у нас выход один — согласиться с восьмичасовым рабочим днем и

начать набор второй смены. Мы, я думаю, не прогадаем от этого.

О переходе на восьмичасовой рабочий день двух заводов стало известно в городе на другой же день. Желających поступить на мыловаренный и тем более на тележный заводы было более чем достаточно.

И, несмотря на это, в типографии были отпечатаны две сотни афишек, в которых канцелярски бесстрастно извещалось, что в связи с переходом на двухсменную работу, по восемь часов каждая, тележный завод пуждается в мастерах и рабочих. Затем назывались и цифры гарантированного заработка «от» и «до», участие в прибылях товарищества, право пользования удешевленными обедами в столовой, бесплатным обучением детей в двух школах, учрежденных госпожой Е. А. Иртеговой, а также ссудами заводской кассы взаимного кредита, и опять же «от» и «до» рублей, на срок тоже «от» и «до» месяцев, а при возведении своих домов, при покупке скота и на более продолжительные сроки, при условии поручительства двух лиц...

Такие же, чуть меньшие по размеру, афишки зазывали рабочих и на мыловаренный завод, как будто оба эти завода опасались, что не найдутся рабочие руки, которых теперь в Лутоне было больше, чем когда-либо.

Не кто иной, как Павел Лутонин, придумал и подготовил черновики афишек и попросил Колесова отредактировать их набело. Тот, сделав вид, что ему непонятна подоплека этой затеи, сказал:

— Ты молодец, Павел. Эти объявления привлекут к нам новых рабочих, и мы сумеем отобрать из них лучших мастеров. Очень разумно. Очень, очень!

Бывавший запросто у Кати Иртеговой вместе со своей жизнерадостной женой, тоже Катей, Анатолий Мерцалов заметил об афишках:

— Трудно представить себе более умные и безгрешные прокламации, призывающие к забастовке рабочих завода Коробцовой-Лапшиной.

Катя весело заспорила:

— Анатолий Петрович, так можно и в крестном ходе увидеть демонстрацию. Можно заподозрить и Христа в распространении демократических идей, а вас — в попустительстве.

— Нет, Екатерина Алексеевна, я далек от того, к чему, как вам кажется, должен быть близок. Но разве

мне запрещено думать, оценивать и делиться своими суждениями? Кроме всего, я хотя и вынужденный, но житель Тихой Лутони. И мне, как жителю, не безразлично было узнать, что рабочие завода графини потребовали у Столля восьмичасовой рабочий день. До этого они просили снизить его на час. Как на вашем мыловаренном. Они хотят надбавки по двадцать копеек на рубль.

— Этого нет в афишках товарищества.

— Но там названы цифры заработка, и самая меньшая из них превышает большую, получаемую рабочим на заводе графини.

Катя по-прежнему весело полемизировала:

— Наверно, и я поступаю опрометчиво, платя кучеру и кухарке намного больше, чем все. В Лутоне могут забастовать все кучера и кухарки. Я подаю плохой пример...

В этот вечер шутливой болтовни Мерцалов почему-то нашел нужным сообщить Кате, где-то между фраз, о том, что уездное начальство, побаиваясь, что готовящаяся забастовка может перейти в бунт, расквартировало в окрестных деревнях кавалерийскую сотню.

— Для этого есть некоторые основания. Дело в том, что появилась вторая прокламация, призывающая действовать решительнее. Но я думаю, что уездному начальству не следовало подливать масла в огонь и не мешать коробцовским рабочим выяснять свои материальные отношения с графиней. Появление сотни кавалеристов может стать провокационным, о чем я имел честь предупредить ротмистра этой сотни. Но я полагаю, что все обойдется мирно. Графиня продаст свой завод Стрехову, а тот пойдет на уступки рабочим, пообещает им кучу благ, а затем обманет и вызовет этим новую забастовку, которая неизбежно перейдет в бунт обоих заводов: Лутонинского и Векшенского. Но сейчас этого не случится... Поэтому поговорим о процветании вашей изумительной школы, Екатерина Алексеевна.

Слушая Анатоля, Катя опять не могла понять, сочувствует ли он забастовке, стоя на стороне рабочих, или только притворяется и хочет что-то узнать. Его снова можно было принять и за искусного ловца, и за человека, сочувствующего революции, но боящегося признаться в этом. Но кем бы он ни был, его нужно принимать, разговаривать с ним, прислушиваться к сказанному им

между слов. А между слов он не сочувствовал Столлю и считал его главным виновником упадка завода.

Странным казался Мерцалов и Колесову, особенно после неожиданного приезда в Лутонию Олимпия Ягилева, который в Петербурге в числе четырех избежал ареста членов тайного кружка «Освобождение». Олимпий Ягилев объяснил свой приезд тем, что, прочитав в газетах об успехах нового кооперативного тележного товарищества, ринулся повидаться с его создателем, старым другом Петечкой, и попробовать предложить свои инженерные услуги. Ягилев привез пачку разрозненных номеров газеты «Искра», связку нелегальных брошюр.

— Здесь есть отличные сочинения!

Насторожившийся Колесов ответил резко:

— Спасибо, Олик. Я этих книг не чтец. Отсек очарование чар ниспроверженья. Выжиг в себе заблуждения революционного переустройства жизни. Верю только в эволюцию разумности реформ царя. И тебе советую меньше «искрить» и рисковать собой. То, что ты сказал, я, Олик, не слышал. А что касается работы на тележном, ее скоро не будет и для меня. Извини, к себе не приглашаю. У меня отец слуга царя и бога.

Через несколько дней Колесова спросил Анатолий о приходившем к нему Ягилеве:

— Что это за личность? Он исповедовал меня, спрашивал о вас, и спрашивал искусно. Кто он?

Колесов ответил прямо:

— Наверно, провокатор, Анатолий Петрович. Но мне-то что?

— И мне так показалось, — согласился Мерцалов, — хотя и слишком просто скомпонован для этой тонкой и серьезной роли.

Вот и пойми, кто и как скомпонован и в какой роли выступает.

Не все безоблачно и безмятежно на душе и в жизни Пети Колесова.

XXVI

Не из тучи гром — забастовали рабочие жуланкинских мастерских. Они не вышли на работу — и все. На воротах мастерских Парамон Антонович прочел написанное мелом: «Восемь часов при том же заработке».

Велев сыну стереть мокрой тряпкой требования ра-

бочих, Жуланкин побежал к «вриду». Мерцалов очень внимательно выслушал его и посочувствовал:

— Ай-ай, господин Жуланкин, как вы удручили меня, я не знаю, что предпринять.

— Вернуть иродов, — потребовал он.

— Вернуть? Но, простите, Парамон... кажется, не ошибаюсь?.. Антонович. Они же не ваши крепостные... После реформы тысяча восемьсот шестьдесят первого года...

— Знаю я эту реформу. А совесть? Они же наняты! Я их кормлю.

— Не кормите. Проголодаются и придут.

— А если не проголодаются? Их, говорят, немец на мыловаренный берет! Это же почти что в харю плюнуть... Кузнец к мылу приставить? За рупь-целковый свои мастеровые руки перепродать?

— Это невероятно, — вторил Мерцалов. — Кузнец — и вдруг... Я понимаю, если бы кузнец стал тачать сапоги, это хотя и смешно, но ближе... Нельзя позволить перепродать им свои руки. Их нужно немедленно перекупить за два рубля и оставить немчуру с носом. Да-да, и сказать ему: «Немец-перец-колбаса съел теленка без хвоста», — или что-нибудь еще остроумнее...

— Господин «безмундирный врид», мне не до смеха.

— И мне, признаться, не до него, но вежливость прежде всего. Я обязан быть внимательным и участливым. Давайте разберем, Парамон... Парамон...

— Антонович, — зло подсказал Жуланкин.

— Совершенно верно. Благодарю вас. Так много имен, которые нужно помнить. Например, Колесов... Так и не могу заучить, Денисович он, или Демидович, или Столь Юрий Викторович, или Виктор Юрьевич... Просто какая-то чехарда. Да-а. Мы остановились на руках. Кому принадлежат руки, которые перепродали ваши кузнецы?

— У каждого свои.

— Вот в этом и дело, Парамон Антонович. И если эти руки мои, я вправе распорядиться ими. Если кузнецы что-то украли своими руками, я ваш покорный слуга, — поклонился Анатолий. — Если они оскорбили кого-то действием, я ударю по ним. Если они, наконец, написали на заборе непристойное, в моей власти наказать их. А заставить ковать или что-то там такое... я не имею права. Это может сделать только один господин.

Господин, как вы изволили выразиться, «рупь-целковый». С ним и прошу покорнейше иметь дело.

— А ежели ж, — Жуланкин выпул заранее приготовленную сторублевую ассигнацию, — предложу вам сис?

Мерцалов едва сдержал себя.

— Сколько вам сдачи? И по какому месту, господин купец?

Жуланкин опешил. Перед ним стоял человек, чем-то похожий на Колесова. На его гладком, хорошо выбритом лице проступили розовые пятна. В его синих глазах была решимость. Он мог ударить. Поспешно схватив со стола свою сотенную, Жуланкин рысцой выбежал из кабинета Мерцалова.

«Мало дал, — подумал Жуланкин в сенях мрачного дома. — Его перекупило товарищество», — решил он на улице и направился к Столлю — как быть?

Столь не дослушал Парамона Антоновича.

— Уже поздно идти на уступки, ваши кузнецы работают в тележном товариществе. Но вы не огорчайтесь, — предупредил Столь, — скоро появится много свободных рабочих.

— Как понимать вас, Виктор Юрьевич? — полюбопытствовал Жуланкин.

— Так, как я сказал. Графиня не согласится владеть убыточным заводом. Рабочие требуют прибавки. Двадцать копеек на рубль. И укорочения рабочих часов. А этого сделать невозможно. Я доложил об этом графине и жду ее со дня на день.

Лицо Столля тоже чем-то походило сегодня на лицо Петьки Колесова. «Неужели ж куплен и он?»

Обессиленным, раздавленным вернулся домой Парамон Жуланкин. Потухшие горны. Молчащие мастерские. Убийственная тишина. Цепная собака и та не тивкнула, не вышла из конуры, будто тоже забастовала.

Через открытое окно дальней комнаты слышалось, как дармоедка сноха бренчит на своей рояльке. Ей что? У нее своя жизнь, свои утехы. Что-то часто стала она бывать у отца, и каждый раз в те дни, когда приезжает к Шутемовым векшенский заводчик Глебко Стрехов. Спроста ли?

Плохого в этом видеть, может быть, и не следует, но и хорошего мало в том, когда человек, которому под пятьдесят, с одышкой и при животе, танцует с

чужой молодой женой и наряжается не по годам пестро и затейно.

Однако в этом Парамон хочет видеть и коммерцию. Шутемов не зря привечает Стрехов, который может завладеть графининым заводом, и тогда для Петьки Колесова не будет вольготных оковок телег.

А так ли это?

Тяжко на душе Парамона Антоновича, душно на дворе, сумеречно в ясный день. И не с кем поговорить. С сыном? А что может сказать Витасик, когда у него за сеткой в саду и в голове поют и порхают птички? В них да в Эльзе вся его жизнь.

Один ты одинешенек со своим горем, Парамон Антонович. Не сходить ли тебе пожаловаться могильному холму, под которым поконится умная, утешливая, заботливая, поторопившаяся на тот свет жена? А может быть, лучше крикнуть смешливую, раскормленную Милку и велеть подать в спальню графин для заглушения болей и мук? И он кричит:

— Где ты там?

— Тут я, тут, Парамон Антонович, — невесть откуда появляется переотягощенная здоровьем и бездельем деваха. — Сижу и жду, может, на что снадоблюсь...

В ее глазах зеленая весна, во рту белым-бело, и вся она грешным-грешна открыто и зовуще, хмельнее водки, жарче домны.

— Невыспанные нынче вы и плохо кушанные, Парамон Антонович... Каво-чего-куда прикажете?.. Я вмиг.

— Иртеговской графинчик и грибков в спальный летник. Кто тебя так расзрумянил, распалил?..

XXVII

Оставаясь как бы в стороне от забастовки, Павел Лутонин через верных людей настоял — не гасить плавающих печей, не сажать в них «козлов», не причинять никакого материального ущерба заводу, чтобы власти не могли расценить забастовку как бунт и начать расправу за причиненные убытки.

В день приезда Коробцовой-Лапшиной, на этот раз только с камеристкой, Петр Демидович отдал визит вежливости, поздравил графиню с благополучным приездом, поднес очередной букет оранжерейных пионов и памятный золотой жетон товарищества с крупным изумрудом в центре и мелкими по ободу колеса.

— В цвет ваших глаз, графиня Варвара Федоровна. Графиня тотчас приколола эмблему, как брошь, и начала разговор о положении дел на ее заводе.

Колесов всячески уклонялся от прямых ответов, начинал рассказывать о Катиной школе, вспомнил об оставленном в своем коробке двухдюжинном мыльном наборе. Попросил разрешения принести горничной эту мыльную коллекцию, а затем, когда горничная доставила в именной, роскошно инкрустированной шкатулке двадцать четыре разноцветных куска мыла, уложенных в гнезда, принялся рассказывать о свойствах каждого из них.

Графиня благодарила, подносила к носу то один, то другой кусок, повторяла свое «шарман» и «се тре бьен» и снова возвращалась к своему заводу.

— Мне, Варвара Федоровна, не хотелось бы огорчать вас в первый день вашего приезда, но вы так упорно настаиваете на этом. Извольте. — Колесов ослабил галстук, показывая этим, что ему не легко говорить; он прибег к старому приему: — Товариществу трудно платить рубль за то, что стоит несколько копеек. Товариществу невозможно просить господина Столля снизить цены на поставку металлических изделий, потому что это будет означать дефицит. Он и без того работает на красной черте возможностей состарившегося завода. И товариществу, не мне, а товариществу кажется, что дешевле построить маленький заводик, оборудовав его новейшими станками, которые при небольшом числе рабочих покроют наши потребности.

— Милый друг, Петр Демидович, я поняла вас. Женщины очень часто, а может быть, всегда, обладают вторым слухом. И если он не изменяет мне, то, пожалуйста, скажите, за сколько вы хотели бы купить завод? За сколько?!

— Варвара Федоровна, у товарищества едва ли найдутся деньги, чтобы купить, хотя бы только одну трубу вашего завода. Это не хохряковская лесопилка и не со-рокинская мыловарня.

Графиня задала вопрос, который не могла не задать:

— А на что же вы собираетесь строить свой новый маленький завод?

— На векселя. Фирмы дают большую рассрочку.

— А почему же не могу дать ее я, если векселя под-

пишет Екатерина Алексеевна Иртегова? Она, как слышана я, весьма платежеспособна.

— Я не думаю этого, Варвара Федоровна. И зачем ей быть фабриканткой, владелицей завода, который... Впрочем, ей лучше знать, как распорядиться своими деньгами, если они у нее еще есть.

— И вы не знаете этого, мой друг? — Графиня игриво пощекотала за ухом Колесова. — Ах, мой милый, наивный простачок... Я понимаю, Кэтрин очень скрытна, как все умные люди. Во что вы оцениваете мой завод, Петр Демидович? Или вам удобнее ответить на этот вопрос в зависимости от исхода забастовки.

Разговор походил на допрос. Напрасно он пришел сегодня. Но коли сглупил, нужно быть последовательным.

— У меня, Варвара Федоровна, нет второго, женского слуха, но то, что я слушал первым, мужским, не может иметь никаких последствий. И если то, что говорят, не преувеличено, не является способом напугать Столля, вам-то что до забастовки? Рабочие привязаны к Лутоне своими домами, коровами, огородами, могилами отцов и дедов, наконец. В Лутони поблизости нет завода, который бы мог взять на работу тысячу человек.

— Тысячу двести, — поправила графиня.

— Тем более. Ваш завод не мастерские Жуланкина. Пять-шесть десятков его мастеров нашли прибежище в нашем товариществе, но и они взяты из сожаления к их семьям. Закройте на неделю завод. Погасите печи и займитесь его продажей, если он в самом деле вам не нужен. Есть отличный покупатель.

— Кто?

— Глеб Трифонович Стрехов. Для Стрехова будет выгодно присоединить ваш завод к своим и превратить свой металл в изделия. Я могу подсказать, если вы захотите, его управляющему, моему однокурснику Юлиану Донатову. Это умный и дальновидный инженер с большим будущим. Он каждую субботу приезжает к Шутемову. Он, кажется, хочет стать его зятем. Младшая дочь Шутемова Таля так дивно расцвела.

— Я буду вам благодарна, Петр Демидович. Простите мне мои подозрения. Я сегодня же смою их вот этим... нет, лучше этим куском... прозрачного мыла.

Видя, что разговор закончен, Колесов поцеловал руку графини и спросил:

— Могу ли я рассчитывать видеть вас в доме моего отца?

— Непременно, непременно... и вместе с божественной Кэтрин Иртеговой. Может быть, она вспомнит, поинтересуется, не завалилась ли у нее какая-то мелочь для покупки еще одного завода...

Колесов пожал плечами, улыбнулся и раскланялся. Он сделал все необходимое, чтобы графиня встретилась с Глебом Трифоновичем Стреховым, и тот предложит ей за завод оскорбительно мало, после чего можно будет приступить к осуществлению намеченного и теперь почти предрешенного...

XXVIII

Забастовочное движение в России становилось самой яркой краской в картине ее истории первых лет двадцатого столетия. Мировой экономический кризис не мог обойти Тихую Лутоню, как бы она ни пряталась в глухомани Прикамья и каким «натуральным хозяйством», какой бы «самопотребляемой» не выглядела ее промышленность, производящая товары для внутреннего рынка нескольких волостей уезда, промышленность, питающаяся своими внутренними сырьевыми источниками. Источниками рудными, древесными, топливными и всеми другими, включая сюда зерно, мясо, масло и все «самопроизводимые и самопотребляемые» изделия, продукты и материалы.

Но капитализм не изолирует ничто. Не сам по себе дымил и коробцовский завод. И если Колесову, с одной стороны, Столлю — с другой казалось, что они являются авторами забастовки на заводе графини, то это справедливо не более чем утверждение спички, что возникший лесной пожар зависел только от нее, забывшей, что лес был сух, что жаркая погода и сильный ветер были немаловажными обстоятельствами и условиями лесного пожара.

На другой день после начала забастовки, предупрежденный Столлем, на завод прискакал задолго до первого гудка ротмистр с кавалеристами. Но делать им было нечего в пустом заводе. Там появилось двадцать или немногим более рабочих, не желающих бастовать, и пришла смена плавильщиков. Старший из них объявил Столлю:

— Гасить и снова задувать печи обойдется дорого. Но если вы прикажете, мы произведем выпуск металла и дадим остыть печам.

— Нет, зачем же наносить заведомый урон? Я обещаю вам полуторную оплату за все дни забастовки.

— Спасибо и на этом, — поблагодарил мастер. — Не худо бы и вдвойне.

— Пусть будет вдвойне, — согласился перепуганный листовками Столь, в которых его называли «продажной шкурой» и «погубителем завода». Теперь он, желавший забастовки, боялся ее. Ему виделись страшные картины беспорядков. Они уже случались на других уральских заводах, где управляющих под улюлюканье вывозили на тачке из завода, а иногда и в печь. Опасаясь этого и прося о предупреждении возможных событий, он и насторожил уездное начальство.

У проходной остался кавалерийский патруль, а Столь отправился к владелице завода Коробцовой-Лапшиной. Она рано проснулась в это утро. И выборным от цехов депутатам не пришлось дожидаться у ее роскошных дверей с витражом, изображающим неведомых ярко оперенных птиц в причудливых тропических зарослях.

Горничная пригласила:

— Милости прошу к графине, господа...

«Господа» в сапогах, в чистой, но поношенной одежде остановились молчаливо в передней.

— Проходите, проходите, голубчики, — вышла графиня навстречу к дверям гостиной и пригласила к столу с закусками и бутылками.

— Мы не чай пить, барыня. Благодарствуем, — поклонился самый старый из депутатов, в плисовых повывтертых шароварах, в сапогах, когда-то бывших лаковыми, и пиджаке с чужого плеча. — Мы насчет восьми часов и двадцати копеек надбавки на каждый рупь нашей платы...

— Да что вы, голубчики... Садитесь, пожалуйста, — действительно приглашала графиня. — Вы же не крепостные, а я не помещица. Садитесь, — приказала она.

И они сели на стулья поодаль от стола.

— Завод убыточен, господа. Прибыли, которые я получала от заказов товарищества, далее не предвидятся. Товарищество намерено строить свой маленький заводик. И вы очень разумно поступили, господа, отказав-

шись работать на моем старом, изношенном заводе и получать за длинный рабочий день жалкие гроши. Я вполне понимаю вас, голубчики мои...

Графиня расчувствовалась. Попросила воды. Приложила платок к глазам.

— Я благодарна вам, голубчики, за то, что вы освободили меня от тяжелой миссии... Миссия — это, — пояснила графиня, — обязанность, необходимость... От тяжелой необходимости уволить вас с работы. Это так жестоко. Вы поняли, как обстоят дела, и сами покинули завод, с которым я хочу расстаться навсегда. Я прикажу Виктору Юрьевичу произвести расчет с вами и закрыть завод. Ах, если б вы знали, сколько крови испортил он мне и как я счастлива, что мы расстаемся друзьями! Ни я вам ничего не буду должна, ни вы мне... Не правда ли, мы ничем не обязаны друг другу?.. Виктор Юрьевич, прошу вас за мой счет каждому рабочему выплатить сверх положенного на штоф водки, и тем, кто проработал более десяти лет, на два штофа. Прошу вас к столу, голубчики.

Никто не тронулся. Старик в плисовых шароварах, Матвей Ельников, переглянувшись со своими, спросил:

— А коли мы согласимся на прибавку по пятнадцати копеек с рубля?

— Голубчики, если вы предложите мне убавить по пятнадцати копеек с рубля, то и в этом случае я не в состоянии буду платить вам. Ну зачем же нам торговаться? Я не хочу никаких выгод, господа. Вы по доброй воле ушли, я, не сердясь на вас, закрыла завод, буду искать покупателя. Придет новый, богатый фабрикант, улучшит завод, облегчит ваш труд, и вы ему назначите свою цену. Прошу вас к столу распить на прощание.

— Благодарствуем! За все благодарствуем, — поклонился графине старик Ельников и, надев тут же, в гостиной, фуражку с лаковым потрескавшимся козырьком, крикнул пришедшим вместе с ним депутатам: — С забастовочкой вас, голубчики! С закрытием!

Столь громко вздыхал, прикидывая, какой может стать цена завода после того, как графиня поймет, что ее положение безвыходно...

Стрехов сегодня же будет знать обо всем. День-два он помедлит, поманежит графиню, а затем явится и завершит так долго подготавливаемую и ожидаемую покупку.

Для Глеба Трифоновича Стрехова, гостящего у Шутемовых, коробцовский завод был битой картой, и его в этот вечер занимало иное приобретение. Он взвешивал, кто лучше может сварганить улики, дающие повод Эльзе потребовать развода с Витасиком. Эльзе он простил ее непонятливость, когда он около года тому назад так недвусмысленно делал ей подарки и жаловался на свое одиночество... Но что было — прошло, теперь надо брать то, что есть. Она не любит Витасика; может быть, не будет любить и его, как и тех, что были, что есть и будут. Но люби не люби, а почаще взглядывай. На большее он пока не рассчитывает. Время покажет свое. Станет матерью, и материнство привяжет ее.

Подложить бы скорее к пьяненькому Витасику кудрявую улику. Такая есть на примете и недорого берет. Будущий свекор поможет найти уличителей.

Это главное. А коробцовский завод никуда не денется. Тянуть он не будет, но и не станет торопиться. Никто не перебежит ему дорогу. Никто! Кому нужна Лутоня на отшибе, без Векшенских, питающих ее железом заводов? Никому.

Хорошо думалось Глебу Трифоновичу. Все складно складывалось. Осталось прийти и взять пустующий завод. И он на следующий день с утра отправился к графине.

XXIX

Самодовольный, игриво настроенный пришел Стрехов к Коробцовой вместе с Колесовым и Донатовым.

— Честь имею, имею честь, графинюшка Варвара Федоровна, засвидетельствовать свое наипочтеннейшее, — весело произносил свое приветствие Стрехов, целуя протянутые, начавшие морщиниться руки графини.

— Молодеете и молодеете, Глеб Трифонович, — оглядела графиня раздушенного, молодцевато постриженного, в светло-серой паре и слепящей сорочке с небрежно повязанным бантом галстуком Стрехова.

— А что же остается делать в мои годы, Варвара Федоровна, чтобы не опоздать использовать положенное скоротечной жизнью? Притащили меня, как быка на привязи, как козла на веревочке, ваши поклонники, — показал он на Колесова и представил Донатова: — Имею честь, мой управляющий Юлиан Германович, друг ва-

шого любимца и обожателя Петечки... теперь уже Пистра свет Демидовича.

Подросел и Столль. С его приходом можно было покончить с предварительным и приступить к основному. Так и поступил Стрехов.

— Варвара Федоровна, — сказал он, — я не могу воспользоваться бедственным положением вашего завода и предложить справедливую цену, которая обидит вас, испортит наши старые добрососедские отношения. Да и, по правде говоря, зачем надевать мне старый хомут, когда на моей шее и без того два не новых. Перекладка моих печей в Векше у меня вот где сидит. — Он показал на сутулую спину с трудом дотянувшейся до нее рукой с массивным обручальным кольцом на «вдовьем» пальце.

— А вы, Глеб Трифонович, не бойтесь обидеть меня, — попросила Варвара Федоровна. — Назовите обидную цену.

— Увольте! — взмолился Стрехов. — Объясните, Юлиан Германович, за меня Варваре Федоровне.

Донатов встал со своего креслица и с покорным достоинством, начав с «имею честь доложить», немногословно и доказательно ронял в глазах графини цех за цехом ее завода. Он восхищался умением Столля, его способностями удерживать в своих руках убыточный завод и давать хотя и мизерно малые, но все же доходы, что можно назвать только чудом и удивляться, как мог Виктор Юрьевич так долго предотвращать неизбежную забастовку.

Коробцова-Лапшина не поверила бы Донатову, а до этого Столлю, если б она была уверена, что Стрехов хочет купить завод и они помогают ему в этом.

Стрехов, видя, что графиня не находится в том плачевном состоянии, о котором говорил Столль, передумал решать сегодня то, что через неделю или две дозреет в голове графини, и он больше выжмет и дешвле купит завод, жалеючи и сострадаая.

Отсидев положенное, Стрехов снова приложился к ручке графини, посоветовал ей дать объявление о продаже завода в «Губернских ведомостях» и уехал на ссмейный пикник Шутемовых.

Оставшись с графиней, Колесов тоже порекомендовал ей дать объявление в «Губернские ведомости» и тут же усомнился в полезности предприятия:

— Стремящийся продать всегда находится в худшем положении, чем желающий купить. Не верю я своему однокурснику Донатову, что ваш завод мертв. Он болен. И даже не болен, а обессилен. И будь бы я на месте Юлиана, алчный Стрехов купил бы ваш завод и, не останавливая его полностью, принялся бы за лечение его по частям. Столль отличный человек, но не в его силах сделать больше, чем он способен. Завод, Варвара Федоровна, не канцелярия, где можно восседать и повелевать. Завод, даже такой маленький, как наш тележный или мыловаренный, живой и капризный механизм, нуждающийся в неустанном внимании, вникании в каждую мелочь. Организм, требующий каждодневного обновления... Впрочем; это скучный разговор для светской женщины, но все же как не знать, вам, Варвара Федоровна, что у работающих на заводе есть семьи, дети, потребности быть сытыми, сносно обутыми и одетыми. Они должны жить.

— Так помогите им в этом, Петр Демидович. Я тоже не хочу им зла, но у меня нет денег... Свободных денег,— поправились графиня.— Имения заложены. За лутонинские леса предлагают унижительную цену. Столль не оправдал надежд. Возьмитесь вы, найдите способы, придумайте условия...

— Ко мне уже приходили депутации ваших рабочих и умоляли найти способы... И я бы нашел их, Варвара Федоровна, но у меня одна жизнь и одна молодость, которая, увы, на исходе. И я тоже хотел бы побывать в Париже, подучиться в Англии, пожить в Германии, поверьте, Варвара Федоровна, я не менее способен и энергичен, чем Донатов. Я бы мог удвоить выплавку металла Стрехову, но я занимаюсь телегами, мылом, лесопилкой, получая за это меньше, чем Столль, и рискуя к тому же сбережениями своего отца.

— Кто же мешает вам получать больше и не рисковать деньгами Демида Петровича?.. Неужели вы думаете, что в империи может что-то измениться, если вы благодетельствуете дешевыми телегами мужиков одного-двух уездов?

Колесов не хотел говорить на эти темы. Ему пужно было подсказать графине, что у нее остается последняя возможность избавиться от завода, продав его в рассрочку на выкуп рабочим. Но всему своя пора. Ему не следует делать того, что сделают за него другие.

В особняк графини снова пришел глава депутации, кузнец Матвей Ельников.

— Ваше сиятельство, госпожа графиня Варвара Федоровна, не угодно ли тебе будет выслушать старого дурака, который хочет развязать все узлы, все петли, что затягиваются и на твоей хозяйской шее, и на нашей.

Варвара Федоровна узнала Ельникова. Начатый так разговор заинтересовал ее.

— Вы от рабочих? Садитесь, пожалуйста. Как ваше имя?

— Нет, матушка барыня, пока я от самого себя и от чистой совести, а звать меня Матвеем. Кузнец я, как и отец мой Кондратий, как и дед мой Маркел, кои работали на вашем заводе еще при крепости.

— Не подать ли водочки, Матвей Кондратьевич?

— После подашь. Будет за что подать,— заинтриговывал Ельников.— Нет ли чужих ушей? Столь мастер в этих делах.

— Я одна.

— Рассказ мой не долгий. Да я не буду тянуть кота за хвост, потому как забастовщики добастовались до прошлогодней редьки с квасом и клянут мутил-заводил. А клятьбой да матьбой завода непустишь. А я хочу, чтобы дымил он, батюшка, и хоть впроголодь, да надымливал нам кусок хлеба.

— Как же это ты хочешь сделать, Матвей Кондратьевич? — с нескрываемым любопытством спросила графиня.

Ельников высморкался в большой платок, расправил сивые усы, чесанул пятерней бороду и ответил:

— Уж коли решился, так сделаю. Ты одна, барыня. Мужика у тебя нет. Вдова. Оплести-обвести тебя — дело плевое. А я им не дам. Мне жить мало осталось. В тюрьму сяду, а расплету-развяжу все до последней петельки. Только, Варвара Федоровна, не булькни кому-нибудь, что я скажу...

— Да уж постараюсь, Матвей Кондратьевич.

— То-то же... Женский волос да женский язык у всех баб долог, хоть бы они не то что графинями, а даже царицами были. А тут надо с умом, чтобы не спугнуть, не дать спорхнуть верному делу. Сможешь ли?

— Смогу!

— Тогда слушай. Глебко Стрехов и сукин сын Витька Столль, туды его в гроб... прости на слове, матушка...

— А ты не бойся слов, я и сама теперь думаю, что тот и другой в два гроба их и в три кола... — выругалась графиня по-мужичьи.

Светская речь, народные русские слова и площадная брань сожительствовали в лексиконе графини дружно и взаимопользуясь, применяясь в зависимости от обстоятельств.

Услышанное родное, завязанное со знанием дела ругательство подняло в глазах Матвея барыню и приблизило ее к сердцу, умеющему ценить широту души.

— Они, зажранные хари с бесстыжими шарами, будут ждать, когда ты приползешь к ним на карачках и отдашь им на проглот наш старый завод задарма... Не быть этому, как бог свят, не быть! Не будет Столль в этом доме хозяином в третьей доле.

Не дождутся они, пока мы протренькаемся до последней нитки, а протренькавшись, тоже приползем к нему овечками и начнем скулить: «Сделай милость, батюшка Столль, стриги нашу шерсть, плати нам, сколь можешь, пей нашу кровушку, господин Стрехов, деться нам некуда, мы лутонинские, здесь у нас и кров и хлеб, не на Алтай же нам ехать от своих домков». Вот в чем первая петля, барыня, и мы в ней! Только надеть петлю — это еще полдела. Надо ее затянуть. А у них руки жидки, мошна тоща, ум короток. Во что ты ценишь завод, ваше сиятельство?

Графиня не ожидала этого вопроса.

— Во сколько? Уж не купить ли ты хочешь его, Матвей Кондратьевич?

— А хоть бы и так!

— А деньги есть?

— При мне пока мало. Только на шкалик. Но для первого раза могу поклониться подарочным задатком тысяч на двести с гачком.

— Ты, Матвей Кондратьевич, наверно, с утра уже для храбрости...

— Не обижай, ваша светлость. Для такого разговора питыми не приходят. И коли тебе затруднительно называть цену завода, скажу я. Столль его на гулянке в трезвом виде ценил в мильён. Стрехов и половины не хочет

дать. Дескать, профинтится она в Парижах, то есть ты, ваше сиятельство, и за четыре сотни отдаст. Двести тысяч в зубы и двести по долговым распискам на пять лет. Разве это деньги?

— Откуда ты так разбираешься в тысячах, Матвей Кондратьевич?

— Счет не грамота. Я до ста мильёнов могу. Далее не пробовал. Да и не к чему такой счет даже царю. И у него столько денег нет. А мильён — цифра простая. Что мильён, что десятка, только в ём каждая копейка тысячей считается. Ума тут не надо, матушка барыня. И коли желательно, мильён за завод можем дать.

— Да где же ты возьмешь его, Матвей Кондратьевич?

— В рабочих руках много капиталов. Ты прикинь своим умом. Если тысяча рук выкует тебе только по рублю прибытка, то в месяц тысяча целковых. А если по десятке — десять. За год — сто двадцать. За семь лет — без двадцати тысяч полностью завод.

— Ах, вот ты о чем, Матвей Кондратьевич, — догадалась графиня. — Давно ты виделся с Петром Демидовичем Колесовым?

— Редкий день не вижу.

— Он так же думает?

— Его не поймешь. Наглухо запертый человек. Волосняной даже щели нету, чтобы увидеть, что в нем. Отцу родному не открывается полностью. Подсказку даст, а сказки не рассказывает. Мыловары, дескать, нашли ход. Взяли завод на выкуп. «Мы, — говорим ему, — тоже можем взять». А он: «Если можете, так берите, пойду к вам служить, коли наймете». Мы ему говорим, что он может считать себя нанятым управителем, и шлем к тебе, ваше сиятельство, разговоры разговаривать. А он опять в ил. В нору. «Вам, говорит, надо, вы и идите к ее сиятельству». А мы свое: «Ты, говорим, ученый человек и слова все знаешь». А он: «Слов говорить тут никаких не надо. Деньги заговорят». В сторонке хочет быть, как на мыловаренном. Катя Иртегова покупала, а он в кустах. К хохряковской лесопилке он тоже как бы касательства не имел. И теперь не хочет. А сам спит и видит твой завод трудовым товариществом. Тоже малую цену выжидает. Над ним не каплет. А нам, матушка барыня, цену ждать силы нет. Скоро в нужник ходить будет незачем. Мильён так мильён. Двести тысяч с га-

ком в задаток подарочно. Потому как эти деньги не наши, а твои. У тебя ворованные.

Выглядевшее нелепым, вздорным, несостоятельным теперь показалось Коробцовой-Лапшиной осуществимым, реальным, выгодным. Не зная, что следует сказать, как ответить Ельникову, она прибегла к уловке:

— Такое дело без штофа водки не решишь. Велю подать беленькой.

— Благодарствую, матушка барынька. Только беленькой-то у меня твои два штофа невыпитых. Берегу их на столлевские поминки. Ты уж вели подать пятирублевого, которое цветом в густой чай отдает. Стоит того наш разговор...

XXXI

Горничная разлила по рюмкам коньяк и ушла.

— Хорош клопомор, — похвалил Ельников. — Теперь о погубителе-управителе. Кому только Столь не сплавлял твое железо. И Шутемову, и Жуланкину, и бишуевскому киту Кокованину, и по мелким кузницам. Он разорил тебя и погубил нас, матушка Варвара Федоровна. У начальника почты Красавина язык на малой привязи. Он знает, сколько и где твоих капиталов прикарманено Столлем. И за сто лет он бы не выслужил у тебя таких денег. Не верь мне, матушка Варвара Федоровна. Найди ход, позови на чашку чая Алешку Красавина — за первой бутылкой он тебе все выложит. А сунь ты ему самую малость — он вывернет всю требуху. Веришь ты мне?

— Верю, Матвей Кондратьевич.

— Он в паю с Глебкой Стреховым. В третьей доле. В третьей! А теперь на вторую метит.

— Откуда вам известно об этом, Матвей Кондратьевич?

— Матушка барыня, в простом народе есть такое сословие — кучера, пригорничные девахи, спальные кральки и прочая услуга. С ушами они все, барыня-матушка. Слышат, знают и нашему брату рассказывают, а наш брат, хоть бы и меня взять, боится обсказать все как есть. Сживут со свету. Работы лишат. Подведут за навет и в Сибирь. У них все куплены, кроме Мерцалова. Этот из противоборных господ. Веришь ли ты мне?

— Больше, чем себе верю. Вижу, что ты печешься обо мне.

— Не то ты сказала, если начистоту. Не о тебе пекусь, о своем брате пекусь. Ты тоже для нас, ваше сиятельство, не сахаром была, но на этот раз наши дорожки сбежались. Столль и тебе и нам вырыл яму. Он закрыл завод. Пушай же теперь ответит, вор. До копеечки принесет. Во прах ляжет, если с умом, через нашего «врида» Анатолия Петровича дело повести. Опальный он тоже человек. Как и Петька Колесов, вашего сословия, дворянский сын, а нашего брата чувствует.

Ельников налил себе рюмку, затем другую и третью.

— Такими чирьями долго пить надо эту бутылку. А ты, ваше сиятельство, зря выпивать начала. Тебе теперь ой как тверезой надо быть. Я в стакан, пожалуй, налью. — Ельников налил и выпил. — Не булькни только, ваше сиятельство. Не вздумай Столля наветки давать. Награду пообещай, ласковенько с ним, а сама тем часом к Анатолию Петровичу.

Отсталого, малограмотного Ельникова сама жизнь, обстоятельства выводили на путь борьбы. Его внутреннее чутье, природная сметливость подсказывали правильное решение, умелые дипломатические ходы. Ельников понял, прикинувшись пьяненьким, что «игра сыграна», и он уже без «ваших сиятельств» и прочих льстивых величаний фамильярно сказал ей:

— Так по рукам, значит, Федоровна?

— По рукам, Кондратьич.

Они простились.

Кому бы пришло в голову, что источником необыкновенной осведомленности Ельникова был Павел Лутонин. Ему точно было известно о суммах, награбленных Столлем у графини. Сначала от Настеньки Красавиной, потом и от всезнающего ее отца Павел узнал о мошенничестве управляющего графини.

Тщательно был проинструктирован Павлом отправлявшийся к графине Матвей Кондратьевич Ельников. Лутонин подсказал, как нужно вести себя, в каких словах раскрыть подлости пригретого графиней Столля. И Ельников выполнил это с большим искусством. Участь Столля был предreshена.

Лутонин знал, что осторожный Колесов, которому тоже хотелось избавиться от Столля, не отважится рассказать графине «щепетильную правду». Но Павел не сомневался, что графиня не преминет свидеться с Петром Демидовичем и тот если не подтвердит сказанное

Ельниковым, то во всех случаях не разубедит Коробцову.

Расчет был точен, прицел безошибочен.

Проводив Ельникова, графиня поехала с ответным визитом к Колесовым. Там она без обиняков спросила, как следует ей отнестись к приходу Матвея Ельникова. Колесов ответил непринужденно и откровенно:

— Я верю, Варвара Федоровна, в народные предприятия. И на опыте тележного завода, успехов мыловаренного завода и, наконец, лесопилки думаю, что расчет Ельникова правилен. Он приходил ко мне, и я подтвердил ему это. Но вмешиваться, зондировать, подстрекать ту или иную сторону я не буду. Если вы хотите знать справедливую цену вашего завода, то я думаю, что завод стоит около полутора миллионов рублей. Но этих денег вам не уплатят. Старик Ельников говорит правду. Стрехов хочет ваш завод купить за четыреста тысяч. Стольль поможет ему в этом.

Сейчас графине удобно было спросить о Столле.

— Как вы думаете о нем, Петр Демидович? Он вор?

— Я бы не задавал на вашем месте, Варвара Федоровна, такого вопроса.

— Спасибо, вы уже ответили на него.

Варвара Федоровна, выяснив необходимое, хотела уйти, но послышался голос Красавина. Он всегда и всюду появлялся вовремя. Сообщив новейшие известия, польщенный обществом графини, он сожалел о легкомыслии Стрехова, медлящего с покупкой завода.

Графиня и тем более Колесов поняли, что приход Красавина не случаен.

— Да бог с ней, с покупкой,— ответила графиня и с грустью сказала: — Жаль только бедняжек Столлей. Как-то теперь отзовется закрытие завода на них? Я оставила их без средств к существованию... Что будет теперь с этими бедняжечками?..

Красавин, как режиссер любительской труппы, знал, где, как и при ком положено смеяться. У него был богатый набор реплик из пьес, знаемых наизусть. На этот раз он не прибег ни к одной из них. Столля он ненавидел за то, что тот держался высокомерно с ним и не приглашал на свои вечера, в круг избранных. И он позаимствовал слышанное от кого-то:

— Скромность украшает женщину, а наивность губит ее.

— Какое мудрое изречение, господин Красавин. Вы полагаете, что Столль найдет место?

— Вам, ваше сиятельство, следовало бы справиться в губернском купеческом банке о состоянии Виктора Юрьевича, а потом уже сожалеть об его участи.

— Тогда я рада, что у него все хорошо и на мою душе меньше одним грехом.— Говоря так, графиня внимательно следила за выражением лица Колесова. Он был доволен, что Красавин ответил за него, вор ли Столль.

Графине оставалось показать, что она пропустила мимо ушей сказанное Красавиным,— вдруг заговорила о горничной Нюре, которая так энергична и деловита, сообщила вскользь о своем желании побывать в Белогорском монастыре, где необыкновенно красивый и умный архимандрит, наставляющий на путь правильный вдов, может быть, подскажет ей, как разумнее поступить с заводом, который она решила бесповоротно продать за миллион рублей в рассрочку.

XXXII

Деловые качества в людях пробуждаются тем сильнее, чем сложнее становятся обстоятельства их жизни. С Анатолием Мерцаловым повидаться Варваре Федоровне не составило затруднений. О нем она знала больше Ельникова.

Мерцалов, блестяще начиная юридическую карьеру, был заподозрен в причастии к побегу группы революционеров, подлежащих аресту. Сановный отец, обожая своего внебрачного сына Анатоля, вымолил у государя смягчения наказания своему единственному потомку. Он предложил выслать юридически образованного сына в глухую губернию и проверить преданность его царю и отечеству на низшей должности. Влиятельный отец надеялся, что губернатор назначит Анатоля чиновником по поручениям при его особе, каким-нибудь акцизным в уезд или, на худой конец, прокуроришкой, а может быть, в самом худшем случае мировым судьей. Но губернатор предпочел проверку строже и оскорбительнее. Он предложил Анатолию временно заместить должность пристава в Тихой Лутоне. Назвав это «высоким доверием», он не обязал, однако, Мерцалова носить форменную одежду.

Проницательный и умный Анатоль, которому отец постоянно внушал, что порядочный человек во всех перипетиях жизни остается порядочным, поняв, чем ему грозит отказ и как может отразиться на отце,— поблагодарил за честь назначения и тем самым поколебал губернатора в его подозрениях.

С таким человеком Коробцовой-Лапшиной было легко разговаривать, не боясь «спугнуть верное дело», как предупреждал Матвей Ельников.

Мерцалов, считая, что хищение Столля нетрудно установить, порекомендовал довериться некоему Палицыну.

— Это артист от юриспруденции, мастер следствия и сыска, не пренебрегающий провокациями, пристрастный к легким вознаграждениям, разнюхает и выскребет все, не доводя дело до суда.

— И очень хорошо,— обрадовалась графиня.— Упечь Столля было бы жестоко с моей стороны. У него такая прелестная дочурка. Но все же он у меня... А я нуждаюсь теперь в деньгах...

Довольная обещанием мосье Анатоля пригласить телеграммой Палицына под предлогом ведения дел по продаже завода, графиня на другой день вернулась к главному.

— Завод не должен стоять, Матвей Кондратьевич,— объявила она ему.— Продать его моим рабочим за два-три дня невозможно. Потребуется, как сказал Петр Демидович, около месяца. Поэтому, если вы согласны на это время работать на прежних условиях, я прикажу завтра же открыть завод.

— И толковать больше не о чем. Верю.

— Если надо подтвердить мое согласие, пусть придут те, кто тогда приходил с вами. Я повторю письменно обещанное.

На другой день гудок объявил о начале работ. Столлю было сказано, что завод она решила продать на выкуп рабочим за миллион рублей.

Молниеносно примчался из Векши Стрехов.

— Да что вы, да как это можно? Бог с вами, драгоценнейшая Варвара Федоровна! В рассрочку? Кому?

— Платите наличными, Глеб Трифонович. Я еще не подписала договора.

— Миллион?

— Не четыреста же тысяч, как вы хотели... Да еще

я буду должна для этого приползти на... этих самых, профинтившись в Парижах.

Стрехов покраснел и отвернулся.

— Я был пьян.

— Очень сожалею, что вы злоупотребляете спиртными напитками и моим знакомством с вами. До свидания, господин Стрехов.

Стрехов попытался продолжить разговор, но Коробцова остановила его.

— Ее сиятельство простилось с вами... Милочка,— крикнула она,— проводите барина!

На очереди был Столль. Ему скажет она выразительнее, а пока его нужно приголубить и пообещать увеличить оклад, чтобы Столлю и на секунду не показалось, что она чем-то недовольна, назначив Колесова его помощником по инженерной части. Она обещала верному Виктору Юрьевичу оговорить в договоре продажи завода на выкуп, что управляющим она оставляет его, до выплаты рабочими всех денег.

Столль перестал нервничать и не обратил никакого внимания на приезд Палицына, представившегося ему одним из составителей статистического сборника по промышленности.

Не был обойден анонимным доброжелателем и пронырливый Палицын. Он получил от неизвестной дамы, подписавшейся «Ваша покорная слуга», письмо, в котором бисерным почерком перечислялись имена «клиентуры Столля» и назывались примерные суммы вознаграждений за хищение.

Палицын не взял на себя труд задумываться, кто стоял за подписью «Ваша покорная слуга». Тем более, что, по предварительно наведенным справкам, он уже кое-что знал о соучастниках Столля. Теперь же письмо от неизвестной дамы точно наводило его на необходимые ему следы.

Простовато одетый, похожий на земского деятеля, вкрадчивый и предупредительный Геннадий Наумович Палицын предъявил бумагу, по которой его надлежало допускать к архивным и текущим делам заводов и промыслов губернии. Он с первой встречи расположил к себе бухгалтера завода Ивана Адамовича Шаламова. Изможденный, согбенный работой, он жаловался Палицыну за рюмкой водки в гостинице на своего притеснителя Столля и просил не верить цифрам конторских

книг, если он, Геннадий Наумович, желает «научной статистичности» по коробцовскому заводу.

Терпеливо исследуя записи, Палицын накапливал улики, подтверждающие хищения Столля. Дороги вели к Жуланкину, к Шутемову, Кокованину, к оптовикам, покупавшим лемехи, молотилки, веялки, листовое железо.

Виктор Юрьевич Столл не удостоил Палицына и приглашением к завтраку, не предполагая, что через несколько дней Палицын пригласит его к себе на страшный завтрак. А пока статистик отправился в Векшу с той же целью. Там, восхищаясь процветанием стреховских заводов, записал цифры проданного металла Коробцовой-Лапшиной за последние девять лет, с года поступления Столля на завод графини.

Справку, чтобы таковая получила «научную ценность», подписал сам Глеб Трифонович Стрехов, размашисто и красиво. Мелким, угодливым бисером заверил ее бухгалтер — доверенный стреховских заводов и удостоверил фирменной печатью. Завернуть в Бишуево не потребовало и дня.

— Губернскую статистику интересуется, ваше степенство Адриан Кузьмич, — восхищенно и подобострастно выспрашивал Палицын чванливого Кокованина, — как много пудов железа требует в год ваша прославленная фирма.

Позван был Филька. Филькой оказался почтенный письмоводитель лет сорока. Он был рад блеснуть тщательностью записей в его книгах, куда заносилось все, вплоть до чаевых ямщикам, «подсласток» урядникам и марьяжных оплат. Кокованин требовал, чтобы ни одна копейка не прошла мимо книги. Записывались и милостыня нищим, и взятки властям. И каждая трата называлась Филькой своим именем: «На пропой мировому судье Зосимову 15 рублей», «Глафире Окаемовой за две ночи 12 рублей. Ей же на дилижанс 6 рублей 50 копеек», «Столлю додача за полосовое железо 2000 рублей», «За панихиду попу по усопшей Степаниде Лавровне Кокованиной 3 рубля и за свечи 78 копеек, итого 3 рубля 78 копеек»...

Палицын наслаждался, читая конторские записи, раскрывающие жизнь Адриана Кокованина во всех ее циничных подробностях и отвратительной наготе.

Каждый новый визит «по уточнению статистических

данных» приносил Палицыну бесспорные доказательства наглого обворовывания завода. Оставалось представить графине, знавшей о его приезде, и спросить ее, как поступать дальше.

XXXIII

Варвара Федоровна удивилась, что молодой человек, похожий на оперного Ленского, и есть Палицын.

— Я приняла бы вас, Геннадий Наумович, за певца или поэта,—обрадованно встретила Коробцова своего тайного поверенного.

— Такова профессия, ваше сиятельство. Волка кормят ноги, а меня искусство перевоплощения,— перевоплощался он теперь на глазах графини в сухого судебного чиновника.— Позволю доложить. Управляющим заводом господином Столлем Виктором Юрьевичем похищено за годы его пребывания в этой должности материальных ценностей на сумму, приближающуюся к миллиону рублей в заводских ценах. Номинально, как я предполагаю, им получено значительно меньше, что может установить только судебное следствие. В наличии у Столля в купеческом и других банках деньгами и ценными бумагами имеется двести тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей и сорок две копейки без очередного следуемого на них процентного начисления.

Графиня дважды прибегала к сердечным каплям. Упоенный своей ролью обличителя и предвкушая поживу, Палицын вынужден был делать досадные паузы, успокаивая Коробцову. И наконец, доложив об уликах, возможных свидетельских показаниях, соучастниках хищения, он, перевоплотившись в предупредительного адвоката, спросил:

— Как вам будет угодно, ваше сиятельство, получить ли то, что есть в наличии, без суда или начать тяжбу, которая может затянуться и не дать большего, чем есть у преступника? Дело беспронгрышно, но хлопотно. Я предпочел бы первое.

— И я предпочитаю первое. Но как это можно сделать, мой друг Геннадий Наумович?

— Это делается посредством двух доверенностей. В первой вы доверяете получить с господина Столля следуемые мне двадцать тысяч... Большого я не возьму.

И вторую — разрешающую открыть на ваше имя в купеческом банке счет, на который господин Столль переведет украденное им.

Доверенности были продиктованы и подписаны.

— Мне стыдно, ваше сиятельство, получать такой гонорар, — признался Палицын, — но я из него должен поблагодарить некоторых лиц в губернии...

— Да полноте, полноте вам, Геннадий Наумович... Вы достойнейший преемник Фемиды...

Через два дня в маленький кабинет Анатоля Мерцалова, который он предоставил Палицыну, как «чиновнику по особым поручениям губернатора», о чем свидетельствовала особая бумага, был приглашен Столль.

Палицын в черной, безукоризненно сшитой паре, с орденом Станислава. Перед ним на столе лежала темно-зеленая папка с крупной надписью «Дело». На папке можно было прочесть: «О хищениях на заводе графини Коробцовой-Лапшиной В. Ф.».

— Садитесь, господин Столль. Я вынужден был пригласить вас сюда потому, что в Лутоне нет другого, более удобного места для предварительного разговора по делу хищения на заводе графини Коробцовой-Лапшиной Варвары Федоровны, доверенному мне. Угодно ли вам познакомиться с документом, удостоверяющим мою личность?

— Зачем? Что вы?.. Только я не понимаю, что все это значит.

— По бледности вашего лица, по выражению ваших глаз вы, господин Столль, понимаете все отлично. И чем отличнее вы будете понимать и впредь, тем скорее мы выясним наши отношения. Здесь, в деле, заведенном на вас, имеются все необходимые документы, уличающие вас, господин Столль, в присвоении вами принадлежащего графине Варваре Федоровне на сумму около миллиона рублей... Я не вдавался в подробности, меня интересовало то, что есть у вас в наличности...

— У меня ничего нет.

— Вам угодно, чтобы я назвал сумму ваших капиталов в банках? Я могу назвать их. Скажите, как вам будет удобнее вернуть их госпоже Коробцовой-Лапшиной — по судебной ли конфискации, за которой следуют каторжные работы, или вы предпочтете воспользоваться милостью графини, согласной простить вас после того, как вы подпишете вот это обязательство? Нотариус в

соседней комнате. Видите, я облегчаю вашу участь. На размышления у вас три минуты...

— Извольте...

— Сейчас я попрошу нотариуса. Подпишете в его присутствии. К сожалению, формальности очень усложняют нашу жизнь.

Палицын пригласил нотариуса.

— Василий Захарович, вам надлежит засвидетельствовать подлинность подписи господина Столля Виктора Юрьевича. Он возвращает свой долг госпоже Коробцовой-Лапшиной.

После завершения нотариальной процедуры Палицын и Столл остались снова вдвоем.

— Перед тем, как поздравить вас, Виктор Юрьевич, с благополучным избавлением от кандалов и печальной огласки, я покорнейше прошу вас облегчить мне разговор с вашими клиентами Шутемовым, Жуланкиным, Кокованиным, купцами, торгующими железными и скобяными изделиями, чтобы вернуть недополученное с вас. У них тоже семьи, им тоже предпочтительнее спать в своей постели. В тюрьмах так жестки койки... Графиня согласна получить векселями... Помогите им вспомнить, чего и на сколько ими куплено было у вас... Купеческая память забывчива. Только пусть они не вздумают беспокоить графиню. И вы не напоминайте ей о вашем просчете. Жду вас завтра со списком ваших покупателей. До свидания, Виктор Юрьевич... С вас дюжина шампанского. Я это заслужил.

Столл не помнил, как он дошел до своего фаэтона и как добрался до дому.

XXXIV

Получив свое с графини, Геннадий Наумович Палицын мог покинуть Тихую Лутоню: Коробцова не поручала ему взыскивать деньги с Жуланкина, Кокованина и всех, кого назвал перепуганный Столл. Каждого из них можно было преследовать по суду, как соучастников хищения, купавших заведомо ворованное, без счетов завода. Но зачем же упускать идущее в руки? Была и еще одна надобность задержаться в Лутоне.

— Голубчик Геннадий Наумович,— попросила Варвара Федоровна,— помогите составить условия продажи

завода и посмотрите предложенное Колесовым, нет ли в нем каких-либо подвохов и неясностей.

Прочитанное Палицыным было им одобрено, за исключением одного недостающего параграфа, по которому владелица завода могла расторгнуть договор в случае задержки товариществом выплаты очередной суммы. В этом случае за владелицей оставалось право вернуть товариществу полученное, удержав из него неустойку, и снова стать полноправной хозяйкой завода.

Пока в типографии товарищества печатался договор для ознакомления с ним рабочих, выкупающих завод, Палицын наносил новые визиты соучастникам воровства и брал с каждого из них в зависимости от степени испуга, трусости виновного.

Жуланкину; например, было сказано:

— Глубокоуважаемый Парамон Антонович, ваши мастерские наиболее наглядно будет сравнить с грибом-паразитом на дереве, питающимся его соками. Деревом в данном случае был завод графини. Вы, глубокоуважаемый Парамон Антонович, составили состояние на ограблении Варвары Федоровны, и для того, чтобы посадить вас на скамью подсудимых, а затем за решетку, мне потребуется не более месяца. На суде выступит тысяча человек, знающих, что вы вор.

Палицын нарочно выбирал резкие слова, думая взять с Жуланкина не менее пяти тысяч за прекращение дела по взысканию. Видя, что Жуланкин при слове «вор» не попытался обидеться или хотя бы попросить Палицына быть мягче в выражениях, он удвоил сумму и получил десять тысяч рублей.

Кокованин не пожелал вознаградить Палицына, но тот показал ему оттиск зубоскальной статейки, набранной лично Глобаревым за малую мзду. Статьи́ка была озаглавлена «Позор купца первой гильдии», в ней не было и одной лживой строчки. Геннадий Наумович прочитал статью Кокованину с выражением, выделяя наиболее бесспорные обвинения, спросил:

— Сколько бы вы предложили, Адриан Кузьмич, за то, чтобы это сочинение не появилось в «Губернских ведомостях»?

Сторговались на двенадцати тысячах, с выдачей обязательства Палицыным «не поносить имя купца первой гильдии Адриана Кузьмича Кокованина в «Губернских ведомостях» и ни в каких других газетах».

Довольный малым откупом, Кокованин оставил Палицына под присмотром Фильки, а сам отправился в «шотаенную кладовуху». Так называлась небольшая стальная комната-сейф в нижнем этаже дома. Там Кокованин хранил золото, ценные бумаги, наличные деньги.

XXXV

В каждом доме были прочитаны условия выкупа завода в рассрочку. Готовилось небывалое. Против одной подписи продающей завод будет более тысячи имен покупающих завод.

Петя ликовал! Катя, счастливая его счастьем, почувствовала, что ее любовь к нему сублимируется в большую радость всех, и ее нравственность не позволяла отвлекать Петю от самого теперь дорогого для него и вводить в мир личного счастья.

Сначала было намечено от каждого десяти рабочих избрать по одному и выборным собраться в доме общества трезвости, но Колесов находил, что каждый не через посредников, а лично должен узнать, каким должно быть предприятие, принадлежащее работающим на нем.

* * *

Трижды в эти дни Лутонин и Саночкин собирали свою небольшую организацию. Выкуп завода одних настораживал, другие находили его во всех случаях делом беспронимательным. Чувствовалась близость революционных событий. Тогда завод без выкупа перейдет лутонинским рабочим.

— На худой конец,— говорил Павел Лутонин,— есть надежда на Иртегову. У нее найдутся деньги на первый взнос, и она не откажет в помощи. Конечно,— рассуждал он,— на каком-то повороте жизни она может изменить своим добродетелям, но и в этом случае наши рабочие останутся, что называется, «при своих».

— И в самом деле,— поддержал его Саночкин,— мы не должны отказываться от того, что само идет в руки. Колесовская «утопь» хотя и болотная топь, но в данном случае он льет воду на нашу мельницу. Завод будет работать, а потом увидим, что и к чему.

Матвеев Ельникова было решено выдвинуть в правление завода.

— Этот пройдет большинством голосов,— утверждал Лутонин.— Через него уже делались дела. Через него можно действовать и теперь.

Колесову при встрече Лутонин посоветовал:

— Не надевай, Петя, управительский хомут. Тебе лучше инженерить.

Колесов вполне оценил совет друга.

Как ни мала была подпольная партийная организация Лутони, но ее влияние становилось заметным.

Был назначен общий сход в заводе.

Рабочие собрались празднично. Через мастеров было сделано строгое предупреждение, чтобы не было и одного подвыпившего, и если таковой окажется, то его удалят, без вмешательства полиции, сами рабочие.

Близилась торжественная минута начала учредительного схода. Веером разложены бревна, на них вершковые доски для сидения.

Сход открыл Матвей Ельников. Он в солдатском мундире и при крестах. За тесовым, наскоро сколоченным столом депутаты, пришедшие к Коробцовой, и мастера. Там же Мерцалов и волостное правление.

День обещал быть ясным. Безветренная погода позволяла слышать каждое слово Матвея Кондратьевича.

— По желанию рабочих нашего завода и по своему разумению я призвал Петра Демидовича Колесова быть над нами главным, ему и слово.

Рабочие, поднявшись с мест, громко хлопали, пока Колесов шел из заднего ряда к помосту, с которого ему надлежало держать речь. Он был в легких сапогах, в синей куртке, какую носил теперь повседневно. И только форменная фуражка показывала, что Колесов инженер. Дав утихнуть и усесться собравшимся, он, не прибегая к торжественной велеречивости, хотя все в нем клокотало, радовалось и требовало громких слов и красноречивых призывов, сказал:

— Я согласился быть вашим приказчиком и слугой,— поклонился он рабочим.— Я отказался от высокого содержания, которое получал господин Столь. С меня хватит и половины предложенного мне.

Шумное оживление повторилось.

— Рано радоваться и шуметь, господа рабочие, пайщики будущего трудового товарищества. Мы покупаем старый завод за немалую цену, но цену приемлемую потому, что ее сиятельство графиня Коробцова-Лапшина

предоставляет нам льготную рассрочку на десять лет. Теперь от вас и только от вас зависит, будет ли завод прибыльным. Ваше право, господа, решать, кого принять на завод из уволенных рабочих, кому, за что и сколько платить, какую продолжительность рабочего дня установить.

— Восемь! — слышался звонкий голос.

— Может быть, и семь, — ответил Колесов. — Может быть, и шесть, а то и четыре. Решаете вы. Если вам угодно знать мое мнение, то в этот первый, трудный год мы едва ли сможем убавить рабочий день и на полчаса. Это мое мнение. Поэтому подумайте до того, как подписывать договор на выкуп завода.

Оживление сменилось тишиной.

— Я, ваш слуга и приказчик, отказываюсь принимать и увольнять рабочих. Вы сами сегодня выберете комитет по найму и увольнению рабочих. А комитет именно решит, кого принять на завод. Я сделаю все, чтобы не оказалось в Лутоне ни одного рабочего за оградой завода. Но я не могу сделать больше моих сил. В этот первый месяц возобновления работы из тысячи двухсот сорока трех рабочих можно занять не более семисот человек.

Стало еще тише.

— Завод нужно лечить. Завод нужно привести хотя бы в пригодный для работы вид. И первый месяц будет ремонтным, убыточным месяцем. Подумайте, господа, перед тем, как подписывать договор на выкуп.

— А как, Петр Демидович, — спросил громко Матвей Ельников, — жить тем, которые не попадут на завод?

— Это дело комитета завода. Может быть, комитет захочет принять всех, чтобы каждый работал через день. Или, может быть, комитет решит работать полный день за половинную плату. Мое дело — доложить, ваше — решать, Матвей Кондратьевич. Жертвы неизбежны.

Закончив свою речь, Колесов застраховал себя от возможных прорух, устранился от самого страшного — найма рабочих. Он знал, что комитет будет вынужден либо отбирать лучших, либо предоставить работу всем и вдвое снизить оплату. В том и в другом случае предприятие в первый же месяц даст прибыль, и он сумеет прикупить станки, отремонтировать старое оборудование и заставить завод работать в полную силу.

На помосте один за другим выступали будущие хо-

заява завода, и большинство приходили к заключению, что работу должны получить все. Матвей Ельников рассудил так:

— С голоду не умрем, а завод выпестуем. Деться нам некуда.— Он повторил давно известное о домах, огородах, коровах, с которыми невозможно расстаться кореным лутонинским жителям, и попросил выкликать фамилии комитетчиков.

Двенадцать человек с тринадцатым Матвеем Ельниковым должны будут стать правлением завода, в которое вошел и Колесов, отказавшийся назваться его председателем, предложив на этот пост, при своем замеществе, Ельникова.

Началось последнее — подписание договора выкупа. Подписывались по цехам. За неграмотных рабочих на особых листах расписывались их товарищи, сыновья, родня. Некоторые осеяли себя крестным знамением перед тем, как поставить подпись.

Правление и Колесов, по требованию нотариуса, подписали самый договор, остальные листы с подписями будут подшиты к нему, пронумерованы и прошнурованы.

И на этот раз, с разрешения Мерцалова, Катя Иртегова поздравила товарищество и прибывших гостей дедовской водкой. Во избежание перепития разлив и угощение были переданы в руки урядников.

Петр Демидович предусмотрел и эту мелочь.

— Вот видишь, Павлик, без листовок, без агитаторов, при участии властей и нотариуса в Тихой Лутоне произошла мирная революция на самом главном коробцовском заводе.

Павлу нечего было возразить.

Утром длинный, радостный гудок провозгласил начало новой жизни. Задолго до гудка проснулись рабочие бывшего коробцовского завода, над проходной которого висела временная вывеска: «Рабочее трудовое товарищество на паях».

XXXVI

Столлъ не миновал огласки в столичных либеральных газетах. Алексей Алексеевич Красавин делал из них выписки, чтобы прочитать их в кругах и сферах, в которые он вхож, а кроме этого, пользуясь доступом дочери На-

стенки к единственной пока в Лутоне пишущей машинке «Ремингтон», принадлежащей Кате Иртеговой, размножил выписки для хождения по рукам. В газетах, доставляемых почтой Столлю, Красавин с удовольствием обводил черной рамкой печатные строки, касавшиеся побежденного заносчивого недруга.

У каждого свои интриги. У русского царя и японского микадо — одни, у Стрехова и Эльзы — другие, у Алексея Алексеевича и Столля — третьи. Красавин доканывал и выживал «бесстолльного Столля» из Лутони, сочиняя по его же способу каламбуры:

Жил-был столльник — столь столличный,
Что остался без лица,
Без столла и без столлицы,—
Выстоллили столлеца.

Говорят, что эти строки, переходящие с языка на язык, сочинены не без участия Настеньки Красавиной, исполняющей теперь должность казначея-доверенного тележного товарищества, без подписи которого не производится ни одна денежная операция. Радивая, расчетливая и строгая хозяйка трудовой казны,— Павлик молится на нее, а она по-прежнему поет в соборном хоре и руководит маленьким оркестром народных инструментов, который совершенно легально собирается на «сыгровки», когда «музыкантам» нужно провести нелегальное собрание или очередное чтение политической литературы. Павлик играет там на мандолине, новые «оркестранты» принимаются с большим отбором, после тщательной проверки и согласия всех остальных. Это же не какой-нибудь оркестр для всех, а домашний, для души. Тугоухий Матвей Ельников начинает там, тоже для души, овладевать мелодическим подзвучиванием на колокольцах, а мастер игры на деревянных ложках старший обозный по доставке телег в большие села Алексей Саночкин тоже очень хорошо звучит в плясовых мелодиях. Не было отказано в приеме в оркестр рожечником полицейского урядника Попова, осуществляющего тайный надзор, помимо «врида» и попутно — за ним. Урядник Попов очень скоро убедился, что оркестр — это оркестр, и предпочел ему общество любителей драматического искусства, в котором состояли трое высланных в Лутонию и где перестал состоять трагикомик Столлер, на афишах подписывавшийся Африканом Райским.

В скобках скажем — «оркестр» и Павел Лутонин несколько преувеличенно называли себя «подпольщиками». Такими они в доподлинном, профессиональном смысле этого слова не были. Кружок и даже несколько таких кружков в Лутоне и Векше существовали пока автономно. Читали запретную политическую литературу, учились революции, но мало еще действовали, слабо влияли на ход событий. И при этом в таких кружках формировались и закаливались борцы грядущей революции.

Теперь о Столле. Покинувший Лутоню Столле нашел пристанище у Стрехова. Он дал ему место управляющего небольшого медеплавильного завода. Столле лелеял надежду, что Эльза, став женой его хозяина, заставит назначить своего двоюродного дядю главным управляющим заводов и рудников Стрехова. И все шло к этому.

В Тихой Лутоне знали все об уходе Стрехова за Эльзой, о поездках Эльзы с семьей в Векшу без Витасика. Он первое время старался не замечать флирта жены и даже прощал его, объясняя себе, что дом Жуланкиных скучен и ей, молодой женщине, нужно бывать на людях. Иногда он скрывал ревность, уходил к птицам и выплакивал там свои обиды, приходил к Кате Иртеговой за утешением. Она, как могла, успокаивала и обещала неверную Эльзу, хотя и знала, что рано или поздно Витасику придется узнать правду. Но как сказать ему, что Эльза добивается, чтобы развод был начат им, и она, согласясь на него, потребует половину жуланкинских капиталов?

В последний раз Витасик, не выдержав, запретил Эльзе поездку в Векшу на именины Стрехова, который оскорбительно пригласил ее без мужа.

— Я не виновата, что ты так зарекомендовал себя и тебя не приглашают в гости.

— Но ты же моя жена, Эльза, и как ты можешь не обижаться вместе со мной? — убеждал ее Витасик. — Надо мной будут смеяться, если ты поедешь одна. Я не перенесу такого позора.

— Не перенесешь? И что же сделаешь?

— Я покончу с собой...

— Да-а? И у тебя хватит на это мужества?

— Хватит! — плача, выкрикнул Витасик.

Разговор происходил в спальне. Эльза эффектно переодевалась перед зеркалом, примеряя одно платье за другим.

— И как же ты думаешь покончить с собой? Утопишься или отравишься? — игриво спросила Эльза. — Некоторые, наиболее трусливые, предпочитают бросаться с церковной колокольни. Прыг — и наступает мгновенная смерть.

— Не шути, Эльза... Тебе трудно будет жить после моей смерти.

— Ты думаешь? Впрочем, да. Я должна буду целый год носить траур и не появляться на людях. Ходить на твою могилу, а до этого хоронить тебя... Это ужасно! Помоги, пожалуйста, застегнуть мне платье. Как я выгляжу в нем? Не слишком ли оно ярко для избранного общества? Я не хочу выделяться...

— Ты не поедешь, Эльза!

— У тебя, оказывается, есть характер и громкий голос? Крикни, пожалуйста, еще, может быть, я испугаюсь...

— Эльза, я повешусь на воротах твоего отца, и все узнают, кто разбил мое счастье...

Послышался громкий смех Эльзы.

— Но нужна же для этого надежная веревка... Идея! Смотри, какой крепкий пояс! Его можно завязать в настоящую петлю. — Эльза подала Витасику шелковый голубой, свитый жгутом пояс от своего халата.

Витасик закрыл глаза.

— Ах, Эльза, ты так наивна в своей жестокости ко мне...

— Ты думаешь, он тонок или недостаточно скользок? Шелк же! Смотри, как легко затягивается петля.

— Может быть, ты еще предложишь мне и мыло? Взбешенная Эльза взяла с доски мраморного умывальника голубой кусок мыла с надписью «Незабудка».

— Какое дивное название, и в цвет поясу. Изволь.

— Как дорого ты заплатишь за это, Эльза...

Она была уже вне себя и, совсем как гулящая девка, подошла к нему и остановилась лицом к лицу.

— Пугай пугливых, слезливый жуланчик. — Затем, вернувшись к зеркалу, сказала: — Не позабудь оставить духовное завещание, если у тебя есть что мне завещать...

Так смеялась Эльза вечером перед отъездом в Векшу, на именины Глеба Трифоновича Стрехова, а утром, когда Шутемовы вернулись, дом их был окружен полицией и толпой. Витасик висел на кронштейне ворот, под

фонарем, в петле из голубого жгута, в его окоченевшей руке был зажат кусок голубого мыла.

Эльзе ничего не оставалось, как упасть в глубокий обморок, не выходя из кареты, а Шутемов, воспользовавшись этим, громогласно послал за доктором и, опасаясь за жизнь дочери, отвез ее к соседям, потому что в свои ворота мешал въехать Витасик. Его не снимали в ожидании следователя.

XXXVII

Опустим тяжелые главы мрачных похорон Виталия Жуланкина. Там, на кладбище, Парамон дважды бросался с ножом на Шутемова, пытаясь прикончить погубителя сына вместе с подкинутой ему в дом змеей. По этой причине Шутемовы не могли быть и на похоронном обеде. Озверевший Жуланкин клялся за поминальным столом обезглавить Патрикия и удавить на том же поясе стреховскую сучонку.

Катя Иртегова, слушая проклятья Парамона Жуланкина, верила, что угрозы ополоумевшего отца могут быть приведены в исполнение. В Лутоне были отъявленные поселенцы из уголовных, которые за деньги могли и отрубить голову Шутемову, и сжечь ее, чтобы он, как говорил Парамон, предстал перед всевышним безликим, безглавым туловом. Могли они за жуланкинские двести сотни повесить и Эльзу, а до этого устроить ей «свадьбу».

Жестокость Жуланкина способна придумать и не такую казнь. Что ему теперь тюрьма или каторга — без жены, без сына, при потухших горнах мастерских...

После похорон Витасика для Шутемовых жизнь в Тихой Лутоне стала невозможной. Эльзе нельзя было показаться на улице. В глазах каждого встречного она выглядела убийцей.

Магдалина Григорьевна уговорила мужа перебраться на время в Петербург. Этого же хотел и Глеб Трифонович Стрехов. Видеться с Эльзой в Векше он уже не мог. Там знали, что произошло после его именин. А в Петербурге никому нет дела до приехавших из Лутони, кто знает их в огромном городе...

В доме Шутемова осталась только его младшая дочь Таля да кое-кто из челяди.

В Лутоне скоро забылась трагическая история, и

только любители ужасов пересказывали ее во всех подробностях, сдабривая добавлениями по своему вкусу и применительно к слушателям.

Рабочие Лутонинского завода металлических изделий жили трудно, но счастливой жизнью хозяев. Не всем верилось, что все это на самом деле так произошло. И словом «сказка», которым злоупотребляют русские люди, называли лутонинцы рабочие успехи своего завода. Многих новорожденных сыновей крестили теперь Петрами, а девочек Екатеринами. Что ни говори, а Екатерина Иртегова первой купила и отдала на выкуп рабочим мыловаренный завод. Тележный не в счет.

Тележный завод не нуждался больше в его создателе Колесове. Там шли дела лучше некуда. Выборное правление товарищества, его мастера, понаторевшие в машинном изготовлении телег, заботились теперь о расширении сбыта. Нашелся новейший способ продажи в кредит. Каждый крестьянин, желающий купить телегу, мог получить ее, уплатив за нее только рубль. Для этого достаточно было двух поручителей-односельчан, подписи которых заверялись сельским старостой или даже писарем. Купивший за рубль телегу получал долговую книжку с наклеенной по всей форме рублевой маркой товарищества.

Вместо скупщика, торговца появилась новая фигура агента по сбыту. Агентом мог стать всякий. Почтальон, мелкий лавочник, тот же сельский писарь, учитель, земский служащий... Мало ли в волостях лиц, кому гривенник с рубля не лишний. Для этого только нужно заявить о своем желании товариществу, а там снабдят долговыми книжками, бланками обязательств — и торгуй телегами. Приобрети с десятипроцентной скидкой долговых марок и ходи по своим должникам, купившим телеги, наклеивай в их книжки марки, взимай очередной взнос. Наклеил за день марок на десять рублей — рубль твой. Куда проще.

Когда долговая книжка оклеивалась марками на положенную долговую сумму, покупатель получал обратно свое долговое обязательство.

Рабочее товарищество укреплялось, его учредители гордились своими успехами. Больше всех ликовал Петр Демидович Колесов. Убежденный в победе над капитализмом мирным путем, он уже видел, каким станет в ближайшие годы коробцовский завод. Дешевые моло-

тилки, веялки, конные приводы будут раскупаться так же, как телеги, как мыло, как мазь.

Завод уже избегает торговать лемехами. Зачем, когда свой лесопильный, свой деревообрабатывающий цех, трудно ли самим изготовить соху? Крепкую, надежную в работе, красивую по внешнему виду. А бороны? Не очень-то премудрое сооружение борона — рама да зубья. Пошли в ход и бороны. Торговый опыт есть. Техник Истомин рассказывает на выставке в бывших конюшнях о новых изделиях нового товарищества. Зимняя, удешевленная цена помогает «летнему товару» сбываться зимой. Не бездействуют склады в больших селах. Всем найдется дело.

Заводу рабочего товарищества труднее становиться на ноги, но что не сделают руки, когда они свои и для себя. У завода пока еще мало возможностей подновлять оборудование, но все же кое-что удастся. Гвоздильный станок не дорогое сооружение, а гвоздь доходный товар. Столь сбывал листовое железо жестянщикам. Не выгоднее ли из него делать самым дешевым заводским способом те же ведра, тазы, лейки, а из обрезков мелочь — кружки, терки, поварешки?

Завод рабочего трудового товарищества стал безубыточным. Он мог бы давать большие прибыли, если бы главный его материал — металл — не был дорогим. Стрехов драл большие деньги за чугун и сталь. Он знал, что ему не могут быть конкурентами далекие заводы, выплавляющие дешевый и лучший металл. Дешевый и лучший, но далекий. Доставка его по железной дороге, с перегрузкой на Каму, затем семьдесят верст конем... Три погрузки, три выгрузки требуют больших расходов и сил. Один уральский слиток будет стоить двух стреховских. Река Тихая Лутоня — даровая дорога. Двадцать пять верст по большой вешней воде — четыре-пять часов хода. Векшенские слитки грузятся чуть ли не из печи прямо в барки. Причалил к лутонинской заводской плотине — и выгружай через нее слитки по желобу и в завод. Грошевая переброска. И если б не река, не нужда Лутони в металле, давно бы кончился Стрехов, съели бы поставщики дешевого металла. Он и теперь побаивается возможной постройки железной дороги через Лутоню. Тогда гаси печи, запевай «надгробное рыдание», Глеб Трифионович, — кто захочет переплачивать тебе? А пока...

Пока снимай с Лутонинского завода семь шкур. Деться ему некуда. Плати!

XXXVIII

Осспью, перед ледоставом, Стрехов надбавил цену. Из Петербурга пришла его телеграмма, требующая перезаключения контракта. Приехавший из Векши управляющий Донатов сказал своему другу:

— Я думаю, Петя, что это не последняя надбавка. Видимо, Стрехов отыгрывается за приобретенный завод.

Было уже поздно ехать за далеким железом. Останавливалось судоходство. Товарищество вынуждено подписать кабальный контракт с двадцатипроцентной надбавкой. Невеселые предчувствия посетили Колесова. Но ничего, перебиться бы год. Весной будет куплен металл в Нижнем Тагиле. За лето его доставят и выгрузят на камский берег, и по первому снегу, когда замерзнут болота и топи, санным путем он придет в Лутоню.

Посмотрим, кто кого. Лутоня сумеет тогда жить без Векши, проживет ли Векша без Лутони? Куда продаст Стрехов свое железо? Кто, кроме маленьких кузниц, мелких мастерских, купит его тысячи пудов? Не пройдет и года, как Векшенские заводы повторяют судьбу завода Коробцовой. Шелковым явится Стрехов на поклон товариществу и не только предложит меньшую цену, но и согласится вернуть подлую наценку по новому контракту. А ему скажут: «Не надо, у нас есть поставщик». Матвей Ельников найдет, что сказать, что предложить, когда Стрехов будет вынужден погасить свои печи, когда забастовку в Векше не нужно будет подсказывать, она вспыхнет сама собой.

Не делясь, как всегда, ни с кем своими мыслями, Колесову хотелось скорее прожить этот год, свести концы с концами без прибылей и убытков, а затем... Трудно даже представить, что будет затем. Едва ли на земле найдется кто-то счастливее его. Продержаться бы только год. Один год. Только не догадался бы Стрехов, что его ждет...

Не догадается. Ему теперь не до заводов. Он занят Эльзой. Развозит ее по столичным театрам, сорит деньгами, приближая свой конец.

Стрехов в Петербурге переживает вторую молодость. Он считает дни до конца траура Эльзы. Венчаться они

будут в далекой церкви, а свадебный пир произойдет в его доме. А потом они отправятся в свадебное... Франция Германия, Италия...

Так могло быть и, наверное, было бы так, если бы не Шутемов, завязывающий новый узел руками дочери. Ею и была подсказана надбавка на стреховское железо. Она еще подскажет большее Стрехову, и он все сделает для Эльзы. Не вмешалась бы только Катька Иртегова со своими капиталами, которых у нее может оказаться ой-ой сколько.

Шутемовы знали об отъезде Иртеговой к умирающей тетке в Сибирь. Об этом сообщила матери оставшаяся в Лутоне младшая дочь Таля, не огорчившаяся отъездом Кати. У всякого свои планы и виды. Без Кати ей легче встречаться с Петечкой Колесовым, отец волен ненавидеть его, как и он отца, это их дело. Если будет нужно, Таля может порвать с отцом, не взявшим ее в Петербург. В ней ничего шутемовского. После смерти Витасика Тале многое открылось.

Чтобы как можно меньше находиться дома, где Тале иногда слышится плачущий голос Витасика, она поступила в школу. Там она не одна, и дети любят ее. Хорошо к ней относятся и Катя. Она старается устроить ее жизнь и восторгается при ней Юлианом Донатовым, наверно, для того, чтобы отвлечь ее от Пети Колесова. И чем настойчивее это делает Катя, тем больше понимает Таля, какой редкий, удивительно цельный и благородный человек Петя Колесов. Ей все нравится в Иртеговой, кроме того, что она скрывает то, что нельзя скрыть. Таля, может быть, и погасила бы в себе желание стать Колесовой и отомстить Эльзе за Витасика и за Петю, если бы он любил Катю. Однажды Таля, мучимая желанием узнать, как относится к Иртеговой Петя, спросила его, и он ответил:

— Я никогда и ничем не огорчу Катю и, если случится так, что я не в силах буду не огорчить ее, усду из Лутони.

А теперь уехала Катя, зачем же Таля должна помогать Пете не огорчать Катю и огорчаться сама? Во имя какой справедливости, какого нравственного долга ей следует предпочесть Юлиана Донатова, который, как говорят все, «ее судьба», — так же кажется и ей, но ведь только кажется... Неужели сделанное Катей для счастья Пети, для создания товарищества, обязывает приносить

жертвы? Значит, снова властвуют деньги. Будь бы они у Тали, разве бы она не поступила так же?

Как жаль, что Петя не может быть откровенным с ней, а она с ним. Но не обязательно же все и всегда выяснять и называть. Молчание тоже не молчит. Неизвестно еще, как повернется и куда потечет жизнь Пети Колесова. Судя по болтливым строкам писем ее матери, затевается что-то недоброе против товарищества. Мать прямо пишет: «Будь умницей, моя Натали, не обольщайся успехами, ты знаешь, кого,—они, как я думаю, недолговечны».

Слышала Таля и от Юлиана Донатова, побывавшего у Стрехова в Петербурге, что весной он ждет большую драку, которая, во-первых, принесет всем много бед, во-вторых, неизвестно, чем кончится.

Таля всячески выводывала у Юлиана, какая и с кем будет драка, а Юлиан, обязавшись молчать, ограничивался туманными намеками, но после того, как Таля разрешила поцеловать себя, Юлиан выдал тайну.

Чего не сделает она для Петечки Колесова и против отца, Эльзы и Стрехова.

— Петечка,—сразу же выдала она секрет, хранить который поклялась Донатову,—вас хотят погубить...

И за второй поцелуй маленькая Кармен рассказала, что Лутонинский завод товарищества Стрехов и ее отец хотят оставить без железа.

— Они все в сговоре, и, кажется, графиня тоже побивается, что ваш завод не сумеет внести первые сто тысяч выкупа.

Колесов был растроган верностью товариществу Тали и потрясен известием о подлом ударе в спину. Стрехов шел на уплату по контракту большой неустойки, лишь бы остановить завод.

XXXIX

Как ни был велик Петербург, старые знакомые не затерялись в большом городе. Первым встретился там Шутемову прогоревший мыловар Леонтий Прохорович Сорокин. Он, тоскуя по своему делу, нашел его. Потолкавшись в коммерческих кругах, побывав на новейших мыловаренных заводах, Сорокин увидел, что немец Шварц, погубивший его, хотя и сделал большие успехи в производстве дешевого мыла, но по сравнению с уви-

денным в Петербурге мыловаренное товарищество в Лутоне жалконький заводик. При встрече с Шутековым Сорокин мечтал вслух:

— Я, Патрикий Лукич, не из тех дурачков, кто прощает обиды. Мне одна фирма,— позвольте-с, пока дело не сделано, не называть ее,— предложила открыть в Лутоне магазин и оптовый склад. Неограниченный кредит. Огромная скидка. Первосортное мыло. И никакого риска...

Сорокин восхищенно и торжествующе рисовал картину краха мыловаренного завода и, не желая того, разбудил в Шутекове стремление действовать теперь же, не откладывая до лучших времен, когда Стрехов поубавит долги, выпутается из векселей и сумеет продержаться без Лутони, отказав ей в поставке металла. Но для этого почти год Векшенские заводы должны работать на склад, платить деньги рабочим, неся бремя текущих расходов без притока средств.

Для этого необходимы большие деньги. И будь бы они у Стрехова, он бы давно обескровил Лутонинский завод, чтобы овладеть им, а овладев, пустить в дело запасы своего металла и выйти победителем, хозяином с лихими прибылями.

Столь, мечтавший вернуться в Лутонию, помог Шутекову подсчитать, во что может обойтись «игра», кто может участвовать в ней, у кого можно взять деньги под срочные векселя. Далекое становилось близким. Шутеков вкладывал все, что у него было. Кокованин, чувствуя близкий конец своей санной вотчины, рвался разорить товарищество и обещал большую подмогу. Хохряков и тот предлагал в кредит свои малые, но небесполезные в святом возмездии тысячи.

Стрехову Эльза представила полный расчет, доказывающий состоятельность плана разгромного наступления.

— Или сейчас, Глеб Трифионович,— сказала она,— или никогда! Графиня вынуждена будет порвать договор с обанкротившимся товариществом! Я хочу стать королевой всей Тихой Лутони, всех ее заводов и стану ею.

Поцелуи снова взяли перевес, а умение вовремя выскользнуть из объятий роднусаика Глебобусика завершили нагрев воображения, и Шутеков мог ковать из своего будущего зятя меч расплаты.

Радости бескрайни. Сила и влияние Эльзы возросли непомерно после полученного из Лутони письма о смерти Парамона Антоновича Жуланкина. Он, пьяный, уснул в мороз и окоченел на могиле сына. Эльза становилась по закону единственной наследницей жуланкинских денег, движимого и недвижимого имущества. Стрехову не трудно было понять, что не он один может осчастливить богатую невесту. Магдалина Григорьевна делала все, чтобы Стрехов попризадумался. В квартире Шутемовых на Малой Охте стали появляться, кроме Глеба Трифоновича, люди различных возрастов, состояний, чинов и достоинств. Пусть среди них нет таких же богатых, как он, все же красавица с деньгами может предпочесть ему другого.

Магдалина Григорьевна умело подчиняла Стрехова. Дочь помогала матери. Плелись и небылицы о возможностях поселиться в Петербурге. Влюбленный Глеб Трифонович постепенно начал походить на Витасика. Куда делись его барство, самоуверенность, его «все могу»! Он уже бегал за пирожным Эльзе, и чем дальше, тем больше она чувствовала свою власть над ним и наслаждалась ею.

В Тихую Лутонию отправили доверенного по делам наследства. Отправился туда и сам Шутемов. Теперь его уже никто не зарубит топором. Можно не бояться и отслужить ханжескую панихиду на жуланкинских могилах.

В Лутоне Патрикия Шутемова ждала приятная новость. Открытые Сорокиным магазины и оптовый склад в первую же неделю показали, как легко удушить сильному слабого. Мыло, поставляемое Сорокиным, было дешевле и лучше. Оно шло. Мыло товарищества лежало.

Симон Иоганнович Шварц первым понял, что заводу товарищества угрожает несчастье. Он прибежал к Петру Демидовичу:

— Что делать? Нужно спасать!

— А как?

Действовал страшный, волчий закон удушения, закон конкуренции.

Правление трудового товарищества мыловаренного завода, ища способов удешевить свое мыло, предложило удлинить рабочий день. Рабочие были вынуждены отказаться от своего завоевания, которым так гордились. Но

и это не принесло сколько-нибудь заметных успехов. Начались увольнения.

Кого уволить? Кого оставить? По какому признаку? По малосемейности или по давности работы? По степени мастерства? И какие бы из этих принципов ни избирало правление, товарищ должен увольнять товарища. Это невыносимо. Решили увольнять по жребии. Кто что вытянет, тому и быть.

Сто сорок два билета положены в шапку. Сто сорок две участи. Четный номер — остаешься, нечетный — уволен.

Действовал еще один закон капитализма — безработица, а вслед за ней покупка дешевых рук.

Оставшиеся на заводе понимали, что нельзя варить мыло для надежд на лучшие дни... А чем платить за работу? Да и будут ли лучшие дни? А поставка сырья идет своим чередом, поставщик требует причитающееся. Отказался — плати неустойку. Векселя? Кто же их возьмет у прогорающей фабрики, да еще без хозяина? С кого взыщешь? С голытьбы? Что можно у нее описать?

Завод угасал, и никто не мог помочь ему. Предметом его изделий оставались колесная мазь да самые дешевые сорта мыла, которые невыгодно было ввозить издалека.

XL

Уволенных мыловаров рассовали туда-сюда на поденные работы, пристроили в «марочные агенты» по сбыту телег, но что делать тем, кто скоро лишится работы на бывшем коробцовском заводе?

С осени Стрехов уменьшил поставки железа, а с Нового года отказал в них. Пришел последний обоз со слитками. Старший обозный объявил:

— Велено сказать, что на этом конец.

Зимних запасов не хватит и до весны. А что весной? Весной можно доставить на камский берег тагильское железо, но ему придется там лежать до санного пути. До конца октября. А чем платить все это время рабочим простаивающего завода? Где взять деньги на уплату ста тысяч выкупного взноса Коробцовой-Лапшиной?

Конец!

Золотой сон Петра Колесова сменился жестоким пробуждением.

Рушилось все. Хоть пулю в лоб.

Вечером в тяжелых раздумьях, в поисках способов заставить Стрехова выполнить контракт с товариществом Петр Колесов не услышал, как подъехала к их дому карета Шутемовых. Из нее вышла очень нарядно и богато одетая женщина в шляпе с опущенной черной вуалью. Она прошла через кухню и поздоровалась с Лукерьей Ивановной. Та не сразу узнала Эльзу.

Ссоры между ними не было, но встретились холодно. Что ни говори, а Жуланкины на ее совести. И этой совети хватило выхлопотать наследство.

Лукерья Ивановна пригласила Эльзу в комнаты, позвала сына и оставила их вдвоем.

— Мы, кажется, не ссорились с вами, Петр Демидович. Здравствуйте. И я пришла не затем, чтобы испортить наши отношения. Нам еще жить да жить и встречаться.

— Да, конечно,— пришлось ответить Колесову.— Какими судьбами?

— Все теми же. Я не так скоро теряю свои привязанности к людям, которые когда-то дарили меня вниманием.

— Ну зачем об этом после всего, что произошло...

— А что произошло? Меня выдали насильно замуж за человека, которого я не любила... Так требовало дело отца. И я в угоду его телегам позволила пересечь меня... Теперь снова хотят, чтобы я стала женой человека старого и не уважаемого мною...

— Не выходите.

— Как я могу, когда отцом расписано все до колеса... И я опять не должна противиться ему. И мне так жаль, что мой отец злопамятен. Он вам не может простить краха своего заведения.

— Ну и пусть не прощает. Я боролся с ним его же методом.

— Ах, как это печально! — притворно воскликнула Эльза.— И мне очень горько, что так устроено общество, в котором мы живем. Я так уговаривала его не мешать вам и вашему новому рабочему товариществу.

— Благодарю за сочувствие, любезнейшая Елизавета Патрикеевна.

— Патрикиевна,— поправила она и снова стала лисой: — Я восхищена вашими подвигами. Вы спасли столько людей, вернув их на работу, и я плакала, когда

узнала, что Глеб Трифонович не будет больше продавать вам свой металл.

— Спасибо еще раз за слезы. Но плачет, как и смеется, тот, кто это делает последним.

— Я рада, что вы еще надеетесь, Петр Демидович. И я надеюсь. Я не устаю говорить Стрехову: куда же он сбудет железо, если одна-единственная Лутоня покупает у него почти все? — а он даже и не захотел слушать меня. Конечно, я мало смыслю в железе, но все же, дорогой мой Петр Демидович, я отлично понимаю, что без векшенского металла ваш завод понесет большой урон. Лутоня отрезана от мира. Возить за тридевять земель — это значит непомерно удорожить металл. Как безжалостны мужчины! Не правда ли?

Эльза испытующе посмотрела на Колесова. Ей хотелось узнать, не придумал ли Колесов что-то и не нашел ли спасительный маневр. Он способен на чудеса. А ему показалось, что Эльза пришла парламентаром от Стрехова и хочет предложить новую надбавку. Колесов пойдет на любые уступки, лишь бы прожить до начала зимы.

— Может быть, Глебу Трифоновичу нужно надбавить цену?

— Не думаю. Он хочет купить коробцовский завод.

— Но мы же в договоре с графиней.

— Ах, Петр Демидович, женщины так вероломны!

Их глаза снова встретились. Глумящиеся глаза Эльзы и его испуганные глаза.

— Вы за этим пришли?

— Не только за этим, Петр Демидович. Я хотела узнать, кто будет продавать тележный завод — Катя или вы? Ведь в него вложена ваша «почта».

— А почему вы думаете, что он будет продаваться?

— Даже не знаю, почему... Наверное, потому, что мне так показалось. Когда завод графини будет принадлежать Глебу Трифоновичу, он может не захотеть окочыивать ваши телеги, а вы не захотите, чтобы рабочие тележного завода остались без гроша, и, жалея их, продадите его отцу.

Колесов побагровел. Расчет Эльзы был верным. Патрикий Шутемов будет владеть всем, что создали, открыли Павел Лутонин, Корней Дятлов, мастера и он. Петр Колесов, отдавший столько технических усовершенствований. И это найденное, изобретенное пожнет Шутемов.

— Теперь вам остается спросить цену мне.

— Вы бесценны.— В глазах Эльзы глумление сменилось доброй, почти, материнской, умиротворяющей назидательностью.— Я повторю сказанное мне вами в этой же комнате. Не мною придуман и создан этот мир с его законами. Все покупаемо и продаваемо. Заводы, леса, земли, люди... Не можете же вы стать исключением. Пройдет время—смягчатся, а потом забудутся наши ссоры, умолкнут взаимные обиды, Глеб исполнит желание своей жены и пригласит самого умного, самого лучшего инженера управлять заводами, которые принадлежат ему, а потом будут принадлежать оставшейся после, увы, его неизбежного ухода из жизни еще молодой и, конечно, бездетной вдове. Это цинично? Это оскорбляет вас? И вам хочется ударить меня? Ударьте. Вам будет легче. А я хочу облегчить ваши страдания...

XLI

Наступила тягостная, унижительная весна надвигающегося краха рабочего товарищества. В Лутонию зачастил Стольль. Зайти на завод он, видимо, не рисковал. Смотрел на него, не вылезая из фаэтона, с плотины. И отсюда было видно, как затихали его цехи.

Шутомов вел себя наглее. Придя на тележный завод, он ходил по нему хозяином.

— Не рано ли радуешься, Патрикий Лукич? — спросил его в упор Корней Дятлов.

— Горюю, Корней Евсеевич, гляючи на горы неоконченных телег.

— Окуем. Дай срок. На своем горбу натаскаем железо, а завода не остановим. Выдюжим. Выдюжит ли Стрехов?

— Не петушился бы ты, Дятлов. Поберег бы себя на будущее. Я ведь умею казнить и миловать могу.

Повеселел и Елисей Федорович Хохряков. Ему за вложенные под векселя деньги на борьбу Стрехов обещал возврат лесопилки. Ждать недолго.

Вслед за прошедшим по Тихой Лутоне льдом прибыли первые два каравана барок с металлом из Векши. Многие из рабочих воспрянули духом. Им показалось, что Стрехов снял запрет и завод не остановится.

Напрасные надежды! Чугун и сталь выгружались на плотину под охрану стреховских сторожей. Они не скры-

вая говорили, что ихний хозяин большой водой доставит весь железный запас и пустит его в дело, как только будет перекуплена у графини «Лутоня».

Каждый день подводили барки знакомые стреховские буксиры «Глеб» и бывшая «Ольга», получившая новое имя, накрашенное на бортах, ведрах, спасательных кругах вызывающе ярко, — «Эльза». Петр Колесов почти не выходил из дому. Лукерья Ивановна плакала втихомолку на кухне. Демид Петрович подбадривал сына:

— Наши тележники будут стоять насмерть. Камой пригоним шинное железо. Не горюй, Петруша. По малым кузницам рассуем поковки. Пробедствуем лето, а там опять на своих на двоих.

— Я и не сомневаюсь, отец. Но разве дело в тележном заводе? Разве для него я отдавал силы, годы и отдал бы жизнь?.. Тележный завод, отец, был моей первой ступенькой...

Ему не хотелось и теперь открывать отцу рухнувшие замыслы, да отец и не понял бы его. Жизнь и ее радости ограничивались для Демиды Петровича каменными стенами бывшего винокуренного завода, и он всегда был противником впутывания сына в чужие дела. А чужим для него было все, начиная с сорокинской мыловарни. Лесопилка еще так-сяк, она как бы цех тележного завода, а на кой ляд графинин завод, от которого столько бед? Для тележного завода хватило бы и жуланкинских мастерских, которые можно было арендовать или купить при жизни Парамона.

Был один и остался один Колесов. Теперь ему нужно чистосердечно раскаться и признаться, что планы, лелеемые им, не могли и не могут стать явью в зверином окружении подлого, жестокого мира стреховых, шутовых, сорокиных, кокованиных, хохряковых... и бороться нужно не с ними, а с миром, который они составляют, свергать строй, уклад, ломать всю жизнь, олицетворяемую Эльзой... Павлик прав. У рабочего класса один путь борьбы, один способ победы — революция.

Нужно дожидаться возвращения Кати Иртеговой, покаяться ей во всем — и в Сормово. Там сильные люди, хорошая подпольная организация, и он вернется из сказки о трудовом царстве Тихой Лутони к большевикам.

Колесов не знал, что Катя Иртегова, похоронившая на Витиме свою тетку, вчера вечером приехала в Лутоню и узнала от Павлика о происходящем.

Утром Марфа Максимовна пришла за Петей, и трое друзей встретились.

Разговор начался с утешений Кати:

— Все исправится, все наладится, никогда не следует терять головы. Нужно все взвесить, выяснить, попробовать припугнуть Стрехова, принять меры и заставить его продать железо.

Молчавший до этого Колесов спросил:

— А долг графине? Сто тысяч рублей при бездействующем заводе? Сто тысяч, Катя!

— Всего только сто? Их можно внести завтра же.

— Так просто? Катя, у тебя все легко.

— Это на самом деле не трудно. Берут двести пяти-сотрублевых бумажек, кладут их в ридикюль и говорят: «Пожалуйста, Варвара Федоровна, вношу раньше срока, чтобы вам не думалось».

— А простой рабочих? Из какого ридикюля будут получать они, Катя?

— Из того же.

— Катя, мне безумно трудно видеть тебя такой беспечной...

— Петя, мне еще труднее видеть тебя подавленным и отчаявшимся. Остановка завода — общее горе. И все должны разделить его. Одним придумать работу, другим платить половинную плату. И если тысяча человек будет получать по полтиннику в день, ничего не делая, то это только пятьсот рублей в день. Пятнадцать тысяч в месяц. Девяносто тысяч до осени. До нового железа из Тагила. То есть нужно еще только девяносто тысяч. Ну, сто. Всего двести. Но нужны ли будут они? Не лопнет ли Стрехов через месяц или через два, вложив все в свое железо и задолжав всем?

— Откуда ты знаешь это, Катя?

— Спроси Юлиана Донатова. Он точно знает, кому и сколько должен Стрехов и когда наступают сроки выплаты по векселям.

— Он был с тобой откровенен? Когда?

— Я останавливалась в Векше. Он прибежал ко мне. Я ему, оказывается, нужнее всех других. Он так боится потерять Талю. А она все еще колеблется, кому отдать пальму первенства — Юлиану или тебе. Я пообещала повлиять на Талю. Это, надеюсь, будет в моих силах. У Стрехова нет беспечных и наивных друзей, которые ему предложат свой ридикюль. Ему уже нечем будет

платить своим рабочим. Все вбито в омертвленный на нашей плотине металл.

Все Кате по силам. Она может заставить Стрехова отступить. Но что это изменит? Долгой ли будет ее победа? Настало время открыться и рассказать все.

— Послушай, Катя, и ты, Павлик, о том, как я ушел от себя,— начал свои признания взволнованный Петр Колесов.

XLII

— Катя, я не был откровенен с тобой не потому, что я скрытен. Какие же могут быть тайны у меня от Павла, от тебя, от моего отца? Но я боялся, что сказанное одному может стать известно третьему, четвертому, пятому... И меня опередят, подрежут на корню, перебегут мне дорогу или просто уничтожат. А теперь, когда все, что я делал, чему хотел отдать себя, оказалось волшебными сказками, которые я рассказывал себе и другим, я хотел... Нет, нужно, чтобы вы знали все, с самого начала... Мне уже нечего и не для чего прятать.

Я сожалею, что так поздно проснулся. Все это мне внушалось товарищами по кружку в Петербурге. А я выдумывал свое. И оно стремительно рухнуло. Ожило то, что было во мне, но не принималось, отрицалось мною. Я хотел мирных путей, а их нет и не может быть.

Когда в Петербурге предали нашу группу, а я и четверо моих товарищей не оказались в ее списках и нас не арестовали, мне стало понятно, что тайн нет на земле, если они известны хотя бы двум. И я стал партией в самом себе. Такую партию не подслушаешь, не предашь, не уличишь.

Что же я хотел? Я хотел построить небольшое царство Тихой Лутони и показать и доказать, что способом экономического наступления рабочего класса на капитализм можно уничтожить его. Я никогда, ни при ком не употреблял слов «социализм», «социалистический», заменяя их непреследуемыми словами «трудовое, рабочее товарищество на паях», «трудовая артель», «промышленная компания» и другими вполне приемлемыми названиями. Я начал с тележного завода. Не все ли равно, с чего начинать? Так случилось после разрыва с Эльзой. А хотел я начать с Бишуева, объединив там семьи, делающие сани, и обанкротить Кокованина, а по-

том подбираться к Лутоне. У меня был безошибочный, точно рассчитанный план разгрома наших заводчиков. С Шутемовым, как вы знаете, расправиться было не трудно. Для этого нужно было заставить вместо рук делать машиной телегу. И я сделал это. То же и с мылом. Я не ставлю себе в заслугу капитуляцию Сорокина. То же и лесопилку. Но это все были подступы к главному. К заводу графини. И это не составило большого труда. И мы бы выкупили его, если бы Шутемов не разгадал мои замыслы. На очереди у меня были Векшенские заводы Стрехова. Это очень отсталые заводы. Юлиан Донатов отличный инженер. Он многое сделал для Стрехова. Но далеко не все, чтобы Векшенские заводы могли выплавлять металл дешевле по сравнению с другими. Стрехов живет потому, что его металл почти полностью покупает Лутоня. Без Лутони нет Векши, как, впрочем, нет и Лутони без Векши. Вы это знаете без меня. И я думал, что как только немного окрепнут товарищества, отказаться от векшенского железа. Отказаться на один год. Переплатить за кушвинский, за тагильский, за какой-то еще металл. Пойти на дорогую доставку чугуна и стали по железной дороге, с перегрузкой в баржи на Каме и с новой перегрузкой на сани. И тогда бы Стрехов, живущий Лутоней, оказался с металлом, который некому да и невозможно продать в отрезанной от железных дорог Векше. И стреховские заводы повторили бы судьбу — коробцовского. Не мог бы он плавить руду и варить сталь в убыток. И завод бы стал нашим. И все стало бы наше. Все эти санные, бондарные, гончарные и другие мелкокапиталистические предприятия превратились бы в товарищества, которые образовали бы в бассейне Лутони союз трудовых товариществ. Это было бы ни в чем не нуждающееся царство. Своя руда, свое железо, свой завод металлических изделий. И тогда бы можно было заняться деревней.

Если мы дали дешевую телегу, разве мы не могли бы дать дешевые молотки, бороны, плуги?.. А они могут быть очень дешевыми. Кто бы нам мог помешать создать без шума, без флагов и демонстраций сельскохозяйственные товарищества, артели по совместной обработке земли? Кто? Царь остается царем, губернатор — губернатором, урядник — урядником, империя — империей, и в ней трудовое царство Тихой Лутони. Тихое

царство, платящее подати и налоги. Ни тебе забастовок, ни тайных сборищ. Исправно вывешиваются флаги в царские дни, поется «Боже, царя храни». В Лутоню приезжали бы люди из других губерний, из-за границы. Их никто бы не агитировал, не звал, как не звали мыловары и тележники коробцовских рабочих провозглашать восьмичасовой рабочий день. Они бы сами поняли, что это возможно. Пропаганда социализма была бы безмолвной. Глазам не нужны в помощники язык и уши. Все на виду. Смотри, учись и повторяй. А повторять было бы что. Векша стала бы первоклассным металлургическим заводом. Стрехов не знает, что у него под боком каменный уголь. А каменный уголь, Катя,— это кокс. А кокс — это переворот в металлургии. Стрехову бог знает что стоит древесный уголь. Сотни углежогов изводят драгоценный лес, который мог стать... Что говорить, вы сами знаете, во что превращается дерево... Я случайно узнал о месторождении каменного угля. Почти на поверхности. Приходи и бери. Ставь коксовательную печь. Протяни к Векше самую примитивную узкоколейку. Можно даже конную, это же в пяти верстах от Векши, и металл сказочно удешевится, ускорится выплавка. Я едва не лишился сознания, наткнувшись на выход угля. Если бы знала графиня, какое сокровище таится в недрах ее лесных привекшенских угодий! А купить у графини лес было бы легче и проще, нежели ее завод.

А теперь все кончено.

Шутемов открыл глаза Стрехову, и то, что хотел сделать я для счастья тысяч людей, они сделают для себя. А я искренне верил, что главное и единственное в переустройстве жизни — экономический подрыв капитализма изнутри, экономические реформы, а Марксово учение считал философией не для России. Мне нужно многому учиться и переучиваться... И прежде всего — реалистическим взглядам на жизнь во всех ее проявлениях...

Завеса стремительно и молниеносно спала с моих глаз. Мне ничего не нужно находить. Я возвращаюсь к тому, от чего ушел. Возвращаюсь, чтобы двигаться дальше.

Вот и все. Сказочник уходит из своей сказки. Я сказал об этом рабочим, и меня никто не обвинил. Не вините и вы. Я уезжаю в Сормово. В жизнь, в борьбу, в рабочее движение...

— Не торопишься ли ты, Петя? — спросила его Катя, когда он закончил свою длинную исповедь.

— Нет, Катя. Во мне все оборвалось. Я ушел из своей сказки. Меня в ней больше нет и завтра не будет в Лутоне.

— Петя,— обнял его Павел Лутонин,— ты должен поверить — мне горестно и радостно, что я оказался прав, предвидя то, что случилось и чего не могло не случиться.

— Значит, вы оба покидаете меня? — спросила Катя.— И я одна остаюсь в сказке, из которой не хочу и не буду никуда уходить. И попробую без вас досказать ее, как могу, сколько хватит у меня сил и голоса.

Произнеся эти слова, Катя вдруг перестала быть мягкой, предупредительной, доброй, стала другой. Серьезная, строгая, властная, она, словно подтверждая, что теперь будет действовать одна, не удерживала их.

— Позавтракаем в другое, более радостное утро,— простилась она.— Сегодня оно хмуро, но погода изменчива.

Катя не предполагала в себе тех качеств, которые она обнаружила в это утро по уходе Колесова и Лутонина.

План действий родился тут же. Он уместился на одной страничке ее маленькой памятной книжки под номерами очередности намеченного:

«1. Пригласить Палицына. Узнать через Анатоля его имя и отчество.

2. Начать строить дорогу на Каму.

3. Купить у В. Ф. привекшенские леса.

4. Предупредить В. Ф. о несостоятельности Стрехова.

5. Запретить Денежкину пускать Шутемова на тележный завод.

6. Вернуть купчую Демиду Петровичу.

7. А дальше действовать смотря по обстоятельствам и советам Палицына».

Выполнение намеченного началось сразу же. Анатолию было сказано:

— Дорогой Анатолий Петрович, мне нужно вводиться в право тетушкиного наследства на Витиме. Лучшего поверенного, чем Палицын, забыла его имя, не найти. Помогите мне разыскать его.

Геннадий Наумович Палицын был снова вызван в Лутону.

Разговор о дороге был начат с Матвеем Кондратьевичем Ельниковым. Он пришел в справном виде, в хороших сапогах и суконной паре. Председатель правления завода, выбранный хотя и для видимости, а все же выбранный. Ему она сказала так:

— Матвей Кондратьевич, хочу строить дорогу от Лутони до Камы. Она замышлялась еще покойным дедом и графом Коробцовым-Лапшиным, но не замыслилась. Когда до Камы можно будет приехать сухим колесом, заводу не потребуется стреховский металл.

— Так ведь это ж, голубка моя Катенька, тыщи да тыщи...

— Да уж такие ли тыщи, Матвей Кондратьевич? Наскребу.

Подошел старый скородел подрядчик Токмаков. С пожелтевшими картами начатой и оставленной дороги.

— Торговаться не будем,— предупредила его Катя,— время не ждет. Вам я даю жалованье триста рублей в месяц, дорожным десятникам — по сто рублей.

— А рабочие?

— Заводские рабочие. Рубль поденщина. Семьсот человек. Прикиньте.

— Куда же с такой оравой? Углядишь за всеми? — усомнился Токмаков.

— Глядеть за ними не надо будет,— вмешался Ельников.— У них свои глаза есть и свое понятие. Себе строят дорогу, к своему заводу.

Токмаков не принадлежал к тугодумам. Семьсот человек — неслыханная сила. Где насыпь, где гать, а где и мостишко на скорую руку, до лучших времен.

— Берусь, Екатерина Алексеевна. Сперва проеду проверю по старым столбам через топи, а от Лутони можно начинать хоть завтра.

Снова сход на остановившемся заводе рабочего товарищества и разговор без утайки. Говорил с рабочими Ельников.

— Будет дорога, будет и железо. Рупь в день — немалые деньги. Желаящие строить дорогу — на запись к десятникам по артелям.

И началось строительство дороги на Каму. Артели провожали с духовым оркестром, с веселыми напутст-

виями. Узнав об этом, Стрехов впервые поколебался в затаенном Шутековым запрете на железо. А вдруг да в самом деле пройдет на Каму дорога?

— Пугают,— успокаивал Шутеков дрогнувшего Глеба Трифоновича.— Это же тысячи и тысячи,— повторил он из слова в слово опасения, высказанные Ельником.— Где столько возьмет она?

Возьмет она столько или не возьмет, а наведаться к ней казалось необходимым Стрехову. Поздравить с приездом, выразить соболезнования по поводу кончины витимской тетушки.

XLIV

Стрехов, одевшись потемнее, потраурнее, изобразив скорбь на своем лице, пришел в дом Иртеговой.

Катя поблагодарила за честь, оказанную ей, и ждала, с чего начнет и как поведет себя дальше Стрехов. Наверно, уже узнал о купленном у графини лесу.

— Удивляюсь, Екатерина Алексеевна, зачем вам понадобилась дорога на Каму?

— Надоело ездить через Векшу, за сто верст киселя хлебать, колеса ломать, в избах ночевать. А тут прямошенько. Меньше шестидесяти верст. Токмаков нашел, как спрямить путь. Да и дедушкина память мне дорога. Он так уговаривал графа достроить дорогу.

Стрехов изобразил добренькую улыбочку и заботливо принялся внушать:

— Дорога возьмет очень много денег, подумали ли вы об этом, Екатерина Алексеевна?

— Токмаков пусть думает. У меня своих забот достаточно.

— Но ведь деньги же! — вернулся к начатому разговору Стрехов.— Ваши деньги!

— Ну, конечно, мои, Глеб Трифонович. Но куда мне их столько? За десять жизней не прожить. А тут еще, кроме дедушкиных, тетушкины прииски... Не дворцы же мне строить. Не в монастыри же их отдавать. Дорога людям нужнее.

— Но и о себе, Екатерина Алексеевна, не следует забывать.

— А я и не забываю. Купила лес у графини,— сказала она совсем небрежно.

— Какой лес? — настороженно спросил Стрехов.

— Пока верхний. Привекшенский.

— Привекшенский? А зачем он вам, осмелюсь спросить?

— Люблю собирать грибы. С детства это у меня. А когда свой лес, то и грибы свои. Никто до нас с Марфой Максимовной их не оберет. Там столько белых...

— Вы правы, Екатерина Алексеевна. Грибы и углежжение — доходнейшие статьи.

Катя испуганно посмотрела на Стрехова.

— Углежжение? Бог с вами, это же перевод леса и гибель грибам! Ради них он и куплен мной.

Стрехов заерзал на стуле.

— Да, но на чем будет производиться плавка чугуна, если не будет древесного угля? Лес для этого и существует, чтобы сгорать.

Катя махнула рукой и с той же непосредственностью сказала:

— Пусть чей-то лес рубится для угля, но не мой. Стрехов почувствовал легкое удушье.

— Но я же в договоре с графиней на прорубку и выжигание угля.

— Она мне этого не говорила. Правда, Варвара Федоровна жаловалась, что вы ей должны за порубки сколько-то тысяч и предлагаете вместо денег вексель. Как плохо, когда приходится прибегать к векселям. Это всегда портит отношения должников и кредиторов. Слава богу, что ни я вам, ни вы мне ничем не обязаны. Хотите чаю? Или, может быть, дедовской?

— Благодарю, я при таком известии не откажусь от нее. Но как же, где я теперь буду производить порубки?

— Глеб Трифонович, ну, право же, такие вопросы скучны мне. Что я, лесничий? Углежог? Рассказали бы лучше о Петербурге, где вы провели почти всю зиму.

— Петербург никуда не денется, расскажу после того, как мы покончим с лесом.— Стрехов далее не мог сдерживать себя.— Если вы, Екатерина Алексеевна, в некотором роде ударом за удар... Я готов поговорить о запрете на железо и смягчить свои некоторые...

Катя устало вздохнула и нехотя спросила:

— О каком железе вы, Глеб Трифонович?..

— О моем. На который я наложил запрет.

— А мне-то что до него? Наложили так наложили. Железо-то ведь ваше. Ваше право и распорядиться им.

— Екатерина Алексеевна, позволю себе подвергнуть

сомнению сказанное вами. Мне кажется, вы не хотите, чтобы я стал владельцем завода графини Коробцовой-Лапшиной.

— Так вы и не будете им. Варвара Федоровна нуждается в наличных, а у вас их, кажется, нет. При чем же здесь я, мое желание или нежелание? И если бы я хотела помешать вам стать владельцем завода графини, то я купила бы его.

— На какие деньги, Екатерина Алексеевна?

— Ну, знаете, Глеб Трифонович, извините меня, но вы слишком любопытны. Мне пока не надо брать под векселя и не пришлось бы, если б, допустим, вы захотели предложить мне ваши Векшенские заводы. Они, в сущности, стоят тоже не так много... Я, кажется, расстроила вас, Глеб Трифонович?

— В некотором роде, Екатерина Алексеевна, приятного мало, когда о приобретении заводов говорится с такой же легкостью, как о покупке шляпки в гостинном дворе.

— Ну что за сравнение! Чтобы купить шляпку, нужны дни, а то и недели, а завод — можно даже заочно. Его же не надо примерять и вертеться перед зеркалом.

Стрехов слушал, мотал на ус и побаивался за сердце, дававшее усиленные перебои.

— Екатерина Алексеевна, если Петру Демидовичу угодно, то покорнейше прошу передать ему — я снимаю запрет на железо.

— Глеб Трифонович! — всплеснула руками Катя. — Петербург испортил вас! Вмешивать меня в ваши размышления, просить стать посредницей — это по меньшей мере невежливо. А кроме этого, если вы снимете запрет, завод начнет работать и нанятые мною рабочие бросят мою дорогу... Нет, уж не делайте, пожалуйста, этого. Зачем ни с того ни с сего менять свое решение? Я не ожидала от вас этого. Да и куда им теперь ваше железо? Они, хитрецы, воспользуются моей дорогой и, не дожидаясь зимы, купят где-то там, за хребтом, и сталь, и чугун, и медь... Вы тоже, если захотите, можете воспользоваться моей дорогой и продать ваши железные запасы. Дорога же общая, для всех.

Боясь за сердце, Глеб Трифонович не стал продолжать разговор. Он понял, как складываются или как кто-то складывает обстоятельства, посмотрел на часы, сослался на званный обед, ушел.

Вторично приехавший к Иртеговой Геннадий Наумович Палицын пунктуально доложил ей о фамилиях и адресах векселедержателей и предварительно выявленной сумме долга Стрехова. Она почти вдвое превышала оптимальную стоимость его заводов и рудников, включая сюда же стреховский дом на берегу Тихой Лу-
тони.

— Что же теперь посоветуете вы, Геннадий Наумович?

— Теперь, во-первых, нужно, чтобы все знали, что господин Стрехов несостоятельный должник, нахватавший по векселям вдвое больше своей платежеспособности. Для этого в «Губернских ведомостях» нужна статья о недопустимой для порядочного капиталиста измене своим обязательствам по поставкам металла заводу, принадлежавшему графине Коробцовой-Лапшиной, повлекшей за собой возмущение умов и брожение среди рабочих. Угодно ли вам прослушать эту сочиненную мною статью?

— Нет,— ответила Катя,— я не должна знать о ней.

— Как вам будет угодно, Екатерина Алексеевна. В статье нет ни одной строки неправды. После появления статьи векселедержатели опротестуют свои векселя, выяснят, что они в лучшем случае получают после продажи завода, и я могу приступить к скупке векселей, по цене, нами предложенной. Я думаю, что за каждый рубль нужно будет уплатить не более сорока пяти копеек. И остается третье и последнее: передача заводов Стрехова векселедержательнице госпоже Иртеговой Екатерине Алексеевне. Прикажете действовать?

— Да, Геннадий Наумович. Зачем же медлить?

Палицын отправился на телеграф.

За годы службы в почтово-телеграфной конторе Алексей Алексеевич Красавин не передавал такой длинной телеграммы от частного лица. Телеграмма-статья в пятьсот двадцать шесть слов, озаглавленная «Сеющие бурю», рассказывала, как заводчик Стрехов, задумавший купить Лутонинский механический завод, отказал ему в договорной поставке железа и, доведя его до бедственного состояния, обанкротился сам.

Подписавший телеграмму «Очевидец» не исключал «возможности справедливых на этот раз волнений рабо-

чих Векшенских заводов, не получающих второй месяц заработанных денег. Игрок, сеющий ветер, господин Стрехов пожинает первые горести угрожающей ему бури». Далее беглое перо Палицына сожалело, что у заводчика мало надежд на кредит под новые векселя, когда неоплаченные старые вдвое превышают по сумме долга оптимальную стоимость Векшенских заводов.

Ради этой фразы и писалась статья в «Губернские ведомости», и если ее по каким-то причинам не поместят там, все равно она будет известна всем причастным к векселям Стрехова.

Пройдоха Палицын не ошибся. Начальник почты Красавин дважды собственноручно переписал телеграмму, в надежде на вознаграждение и угощение за предупредительные известия со стороны тех, кому должен Стрехов, и самого Стрехова. У Тихой Лутони нет прямого провода в губернский город. Статью дважды перестучат любознательные телеграфисты и не сохранят ее в тайне. Предупредить, предостеречь, а иногда и спасти — единственный приработок телеграфиста.

Алексей Алексеевич Красавин выгодно продал «пре-неприятнейшее известие», во-первых, Патрикию Лукичу Шутемову, главному соучастнику Стрехова, во-вторых, Леонтию Прохоровичу Сорокину, заложившему свой магазин во имя «священной борьбы» с ненавистными товариществами, и лишившемуся своей лесопилки Хохрякову. Он тоже жаждал мести и отдал под краткосрочный вексель свои тысячи Стрехову на скорейшее растерзание своих погубителей. В Бишуево, к могучему кредитору Стрехова, к Адриану Кузьмичу Кокованину, вместе с утренней почтой Красавин помчался рано утром. Князь саней и властитель Бишуева принял Алексея Алексеевича в исподних и сидючи в своей кровати под алым шелковым балдахином с кистями. Он дважды выслушал выразительное чтение телеграммы.

Снова треклятый Патришка Шутемов, тартар ему и преисподняя, втягивает его в свой тележный омут! Как выбить теперь с Глебки Стрехова свои тысячи по просроченным векселям?

— Убью! Зашибу на один мах! — угрожающе поднял он могучий волосатый кулак. — Запрягать! — распорядился Кокованин и торопко начал одеваться, чтобы первым прискакать в Векшу и первым заявить протест на векселя.

Телеграмма, еще не дойдя до «Губернских ведомостей», передавалась полностью и вкратце. От телеграфиста телеграфисту. Они знают один другого по стуку ключа, по «почерку» точек и тире. Векшенский, пообещав лутонинскому телеграфисту поделиться полученным от Стрехова, известил Глеба Трифоновича до завтрака.

Стрехову не потребовалось второго чтения телеграммы. С первых слов ему стало понятно, что пожар может начаться с неминуемой забастовки, которая будет признана «справедливым волнением рабочих».

Вручив телеграфисту красненькую и поблагодарив его, скрывая страх, Глеб Трифонович тоже велел запрягать и вызвал Донатова.

— Завтра начнется выплата рабочим за прошлый месяц. Объявите, мой друг, об этом немедленно, а на пути прочитайте этот телеграфный донос. Сделайте все, чтобы успокоить рабочих. Мигом на завод!

По лицу Стрехова Юлиан Германович понял, что заводы больше не принадлежат его хозяину. Глебу Трифоновичу этого в голову пока не приходило. Он в лучшем случае мог лишиться надежды на покупку Лутонинского завода, отложив ее до лучших времен. Проданное железо вернет все вложенное в него, он уладит с кредиторами, отсрочит векселя и останется без выигрыша, но при своих.

На половине пути в Лутонию он встретил будущего тестя, мчащегося в Векшу с той же целью предотвратить «справедливые волнения». Шутемов, вбивший все свое состояние в «верное дело», опьяненный борьбой, вез в Векшу новый вклад на расчет с рабочими — деньги Эльзы.

— Выдержим, Глеб Трифонович! Не вешай голову! Когда рабочие получают сполна, можно судить этого «Очевидца» за подлог, за навет.

О продаже товариществу железа Шутемов и слышать не хотел. Зачем же тогда было огород городить? Зачем же тогда ему было входить в сговор, если Лутонинский завод не станет стреховским, а тележный завод не будет шутемовским?

Шутемов не знал о действительном положении дел, он еще верил, что графиня будет вынуждена расторгнуть договор с товариществом, и погнал вместе со своими тысячами в Векшу, а Стрехов, скрывая свои наме-

рения, отправился в Лутоню, чтобы найти способы и условия замирения с товариществом Лутонинского завода.

Глеб Трифонович не предполагал, что через три версты, при выезде из леса, он встретит разъяренного бишевского властелина.

— Убыю! — повторил он. — Зашибу на один мах, если не получу полняком своих денег!

— Получите! Адриан Кузьмич, за этим и еду. Как можно придавать значение какой-то зубоскальской телеграмме...

Обещание охладило пыл Кокованина. Зная, что Стрехову нечем заплатить, он рассчитывал на слитки. Железо не деньги, но всегда товар. Расчеты Адриана Кузьмича были бы безошибочны в том случае, если б он был одним заимодавцем Стрехова, если б только он хотел получить металл за свои векселя. Телеграфисты, а потом и сам Палицын сумели оповестить всех, кому был должен Стрехов. Выгруженное в Лутоне железо не могло оплатить и четверти опротестованных векселей. Шум угрожающе нарастал.

XLVI

— Теперь, пожалуйста, Екатерина Алексеевна, — просил Палицын, — не давайте никому никаких обещаний, а если есть возможность, предпримите вояж на несколько дней.

Палицына известили о публикации в «Губернских ведомостях» его статьи. Еще день-два — и она будет прочитана всеми. Эти дни Геннадий Наумович использует для предварительных встреч с кредиторами, их представителями, кроме Шутемова, векселя которого не будут приобретены даже за четверть цены. У Палицына заготовлено, заучено одинаковое для всех оповещение: «Мне известно лицо, желающее приобрести векселя господина Стрехова по добросовестной, отвечающей их действительной стоимости цене». Вместе с этими словами вручалась с золотым обрезом и тиснениями визитная карточка с указанием местопребывания Палицына.

Кокованин первым пожаловал к нему.

— Имею честь предложить... — Им была названа сумма долга и показаны векселя.

— Как я могу, любезнейший Адриан Кузьмич, предложить вам что-то, не зная, во сколько будут оценены

Векшенские заводы и рудники, а равным образом не представляя, скольким людям и сколько задолжал Глеб Трифонович? Предложить мало — значит обидеть вас; дать больше, чем реально могут быть возмещены векселя, — поставить меня в крайне затруднительное положение перед лицом, доверившим ведение дел.

— Так что же, господин Палицын, вы думаете купить векселя с понижением? Но кто захочет нести урон? — спросил Кокованин.

— Никто не захочет нести урона, но никто не пожелает вступать в длительную тяжбу с господином Стреховым и ожидать, пока будет продано принадлежащее ему, а затем установлено, какими копейками оценится вексельный рубль, — проникновенно и напевно разъяснил Палицын. — И всякому будет выгодно получить наличными сразу же после передаточной надписи на обороте векселя, нежели ожидать долгое время, пока продадут заводы, и получить, может быть, меньше, чем будет предложено лицом, поручившим мне стать посредником. Но я могу заверить вас, уважаемый Адриан Кузьмич, что ваши векселя будут оплачены в первую очередь, в самую первую очередь, и, надеюсь, вы, как и прежде, не забудете мне этой услуги.

Настойчивый Кокованин не уходил и добивался, во что будет оценен вексельный рубль.

— Да уж, я думаю, во всяком случае, не менее сорока копеек.

— Сорока? — взревел Кокованин. — Это ж грабеж, господин Палицын!

— Это хуже, чем грабеж, — присоединился Палицын. — Это убийство среди бела дня и притом не наказуемое законом убийство. Навыдавать векселей вдвое больше своей платежеспособности, ввести в заблуждение добропорядочных, доверчивых людей — не имеет названия. Я негодную вместе с вами. Но что стоит наше негодование? Какая польза вам или мне, если даже господин Стрехов будет заточен? От этого вексельный рубль не станет дороже... Но у вас есть еще время, Адриан Кузьмич, сбыть кому-нибудь, может быть тому же Шутемову, свои векселя копеек по семьдесят за рубль... Хотя у него едва ли есть деньги.

Кокованину оставалось ждать. Никто не купит его векселя. «Губернские ведомости» читают все, а кто не читает, тому прочтут.

Побывали у Палицына Леонтий Сорокин и Хохряков. Ответ был тот же.

— Могу записать на очередь. Буду иметь в виду.— Вежливый поклон и выражение сочувствия.

Наконец стоимость заводов и рудников определалась. Выяснилась сумма долгов Стрехова.

Палицын объявил покупную цену векселям — сорок три копейки за рубль, без уплаты процентов. Нотариусу Василию Захаровичу Козинцеву снова предстояла хлопотливая и выгодная работа. Передаточные надписи и оплата векселей производились в казначействе. Счет шел на многие тысячи. Тихая Лутоня хотя и тиха, но с большими деньгами в кармане появляться было рискованно.

Кредиторы и доверенные лица пришли в казначейство, но никто из них не хотел первым продать свои векселя за такую низкую цену. Брешь пробил Патрикий Лукич Шутемов. Этот ворон лучше других знал, что большего ему не получить.

— Вот мои векселя,— сказал он,— пользуйтесь. Кому, господин Палицын, прикажете сделать передаточные надписи?

Геннадий Наумович взял векселя, прочел суммы и фамилию векселедержателя, негромко и чрезвычайно предупредительно сказал:

— Ваши векселя, господин Шутемов, не могут быть куплены благодаря некоторым тонкостям. Лицо, покупающее их, не желает поссорить вас и господина Стрехова. Поэтому справедливее и человечнее, если с Глебом Трифоновичем вы сами выясните ваши денежные отношения.

— Как звать это лицо, которое заботится о тонкостях наших отношений?

— Теперь его можно назвать,— снова почтительно склонил голову Палицын.— Это Екатерина Алексеевна Иртегова.

Провалившийся пол, обрушившийся потолок, взорвавшаяся бомба произвели бы меньшее впечатление на Шутемова и остальных.

— Кто следующий, господа? — обратился Палицын к сидящим за столом, покрытым темным сукном, кредиторам.— Не знаю, хватит ли сегодня денег всем. Первым у меня на очереди почтеннейший господин Кокованин Адриан Кузьмич.

Все посмотрели на него. Он медлил. Ждал чего-то

еще. Разглядывал сидящих. Они молчали. Но их молчание говорило: «Что же ты? Если Шутемов продает свои векселя, он-то уж лучше знает, каковы дела на Векшенских заводах». Но стреляный богачей знал, что с векселями бывает немало уловок. А вдруг да Стрехов сговорился с Катериной Иртеговой и она выкупает для него векселя, чтобы сократить сумму долгов и выпутать его из петли?

— Тогда я,— предложил Леонтий Сорокин и положил векселя.

«И этот может быть подставным продавателем»,— подумал Кокованин, решив посмотреть, как будут вести себя остальные. Один за другим кредиторы предъявляли векселя, и, когда их было сдано более чем на шестьсот тысяч рублей, Кокованин уже не мог подозревать всех приехавших сюда в сговоре с Глебом Стреховым. Кокованину ничего не оставалось, как получить за свои сто тысяч — сорок три, да еще уплатить нотариусу за передаточную надпись.

О боже! За что наказуешь?

Бог, как всегда, молчал. За него пришлось ответить самому себе. Пришлось признаться, что так тебе и надо, старый дурак, снова связавшийся с прохвостом Шутемовым. Кокованин хотел заехать к нему и вылить на него кипящую злобу, но Шутемов, как видно, сам пострадал горше Кокованина. Что взыщет он с Глеба Стрехова? Что? Тросточку с позолоченным набалдашником да горсть волос.

XLVII

В течение недели были скуплены все векселя и закладные, кроме шутемовских. Палицыну оставалось спросить Глеба Трифоновича: желает ли он передать заводы, рудники, дом на Лутоне и все принадлежащее ему Екатерине Алексеевне, или он изберет какой-то иной путь?

— Но во всех случаях, Глеб Трифонович, сумма, взыскиваемая с вас по нарицательным цифрам векселей и добавлением процентов, составит вдвое больше принадлежащего вам. Мне трудно повторять,— опять «терзался» Палицын,— такие слова, как «тюрьма», «позор», «скамья подсудимых»,— эпитеты, произнесенные вашими кредиторами, которые, несомненно, могут появиться в

«Губернских ведомостях», — но моя горькая обязанность не скрывать, что может ожидать вас.

А Глеба Трифоновича ожидало худшее. Гораздо худшее.

Екатерина Иртегова делала свое, а Лутонин и Сачочкин тем временем связались с векшенскими рабочими. Там тоже были свои люди. На этот раз гектографическая листовка оказала немалое влияние на судьбу Векшенских заводов, листовки передавали из рук в руки, читали вслух. Листовки рассказывали о злодеяниях Стрехова, об ущербе, нанесенном им лутонинским и векшенским рабочим.

Сама собой возникла демонстрация. У дома Стрехова появилась густая толпа доменщиков, сталеваров, прокатчиков.

Спрятавшийся Стрехов слышал грозные выкрики демонстрантов.

Они требовали снять запрет на векшенский металл. Грозили разделаться самосудом.

— В пруд его!

— На тачку злодея и в мартеновскую печь!

Всего можно было теперь ожидать от разъяренных демонстрантов. На Урале и в Прикамье все чаще и чаще возникали волнения на заводах. До Стрехова давно доходили слухи о неминуемом перевороте в империи. Осведомленные люди еще в Петербурге предупреждали Стрехова о непрочности престола его величества, о недовольстве произволом царских сановников.

Лутонинцы, приехавшие в Векшу, опасались, что демонстрация может закончиться кровавой расправой с векшенскими рабочими. Предусмотрительные вожаки постарались не доводить дело до самосуда над Стреховым.

Перетрусивший Стрехов сумел улизнуть из дома. Демонстранты, узнав об этом, разошлись. Глебу Трифоновичу стало яснее ясного, что проиграно все и ничего не спасет его, поверившего в злую игру, затеянную Шутевым.

Оставалось последнее — явиться на поклон к Иртеговой.

Исхудавшим, жалким, постаревшим пришел он к ней. Она выслушала его мольбы и вопли. Позволила ему постоять на коленях, выплакать слезы, а затем спросила:

— За что и как я должна пожалеть вас? За то, что вы не пожалели детей и жен лутонинских рабочих? За то, что вы изменили своему слову и придумали запрет на железо? Но я кое-что сумею сделать для вас, если вы не будете мешать передаче всего принадлежащего вам, за исключением одежды, дорогих вам сувениров, наследственных памяток и портрета Эльзы Шутемовой, который вам будет дорог как воспоминание. Первое, что вы должны сделать сегодня же, — написать под диктовку Геннадия Наумовича нотариально заверенное распоряжение о передаче мне всего железа, а затем приступить к передаче ваших заводов. Большого я вам не скажу. — Пригласив из соседней комнаты Палицына, Иртегова распорядилась: — Вы слышали, Геннадий Наумович, что предстоит сделать вам. Пожалуйста. Не допустите урона. Бухгалтер завода и Юлиан Германович Донатов помогут вам не ошибиться.

Стрехов покорно поклонился уходя.

— Да-а... — будто бы вспомнила Катя. — Из вашего дома на берегу Лутони вы можете взять все ваши вещи. И мебель... Но как можно скорее. Токмакову я поручаю переоборудование дома. В нем будет первое в наших местах среднее учебное заведение...

— Ги-гимназия? — заикнулся Стрехов.

— Нет. Реально-техническое училище... Лутонинско-Векшенское реально-техническое училище... А вы, пока до подыскивания квартиры, Глеб Трифонович, можете занять домик садовника...

Стрехов еще раз поклонился и ушел.

Следом за Стреховым в дом Кати пришла Эльза.

— Я пришла продать векселя.

— Да? А я думала — попросить на текущие расходы.

— Мне, Катя, не нужна милостыня.

— Ты хочешь, чтобы она выглядела и называлась продажей бумаг, которые невозможно применить даже как бумагу для записок Марфы Максимовны, что надо не забыть назавтра.

— Но чего-то стоят векселя?

— Стоят того, чтобы Стрехов оплатил их полностью. Поэтому я ваши векселя не покупала за бесценок. Он их обязан оплатить, как джентльмен, пока у вас разные карманы.

— Это жестоко... Я не ожидала!

— Эльза, тебе ли упрекать меня в жестокости? Ты

убила своего мужа, а за ним и его отца. Мало этого — ты еще обобрала мертвых, добившись наследства. В чем же моя жестокость? В том, что я не отдала в кабалу тебе и Стрехову Лутонинский завод? В том, что я помещала бесчестной игре с железом?

— Мы разорены, Катя,— заливалась слезами Эльза.— Отец просит купить векселя по той же цене, как у всех...

— Я думала, ты скажешь что-то другое. Я думала, у тебя найдутся хотя бы какие-то слова раскаяния, а ты о деньгах... Как только терпит тебя земля?

— Я пришла продать векселя.— Эльза выпрямилась и приняла свой независимый вид.

— Ты ничего не поняла, Эльза, и у меня нет желания помочь тебе.

— А если я помогу Тале выйти замуж за Донатова, купишь ли тогда...

Катя резко ответила:

— Ты не гнушаешься ничем. Таля и без тебя станет женой Донатова. Теперь я варю кашу, и только я. Если Петя узнает, что и вторую дочь Патрикия Лукича, тоже в его интересах, можно уговорить стать женой Донатова, едва ли самолюбивый Колесов захочет соединить с ней свою жизнь. Во всех случаях я не посоветую ему этого делать.

— Хочешь его сберечь для себя?

— Эльза! Сейчас ты переступила порог в недозволенное, в самое дорогое для меня. Я больше не знаю тебя. Но если ты попытаешься вмешаться в мою жизнь, господин Палицын очень быстро распутает дело о самоубийстве Витасика и тебе придется многое вспомнить на следствии.

XLVIII

Палицын, мастер коротких путей и убедительных слов, покончил с передачей Векшенских заводов. Стрехов остался во флигельке, где жил его кучер, до приискания пристанища. Его дом был заперт, опечатан и сдан под охрану садовника.

Лутонинский завод возобновил работу под прежней вывеской. Телеги получили оковку, оси втулки, колокол на башне не заунывно, а громко и призывно отбивал часы.

Шутемов запродавал дом и переселился с семьей в Бишуево. Кокованин взял его в приказчики по торговой части. Не бескорыстно, но — пожалел и поселил в пустующем нижнем этаже дома, как своих. Пусть Шутемовы не родня, но чем черт не шутит, деньги могут и породнить их. Пятьдесят годов, судя по Стрехову, не старость. И если Глебка мог припеть молодую лисичку, чем хуже он? Бороду можно укоротить и велеть портному омолодить одежду. А пока посочувствовать Эльзе с матерью и отправить их в променад, хоть на те же воды.

Змей и тех приручают. Люди податливее, особенно если они жадны. Надо только не торопясь, благословясь... Топор до своего дорубится...

Все как будто находило свое логическое развитие. Катя не погрешила против основ своей нравственности и своих убеждений. Она могла произвести в капиталистической Лутоне единственно возможную в данное время, при данных обстоятельствах «революцию» капиталистическими средствами. И она ее произвела при помощи своих миллионов.

Теперь оставалось назначить над скупленными заводами лучшую власть и ее главу. Ею может быть только Петя, справедливый и единственный. И будут ли эти заводы выглядеть для него «свадебным подарком» или выражением ее беспредельной любви к людям и, конечно, к Пете, во всех случаях она сделала для родной Лутони все возможное из всего возможного, как формулировала она для себя — при данной экономической и политической конъюнктуре.

Заводы должны стать безубыточными, а если они окажутся прибыльными, то для самих себя, так как ей они принадлежат только нотариально. Она самим фактом покупки вернула заводы тем, кто их создал, кому они принадлежат по самой высшей справедливости.

Так же бы, конечно, поступил Петя, стремившийся легально вырвать у капитализма все возможное для рабочих. Самолюбие ли Кати, обида ли за крах колесовских предприятий, желание ли досадить своре «шутемовых» руководили теперь ею, наперекор тому, что она знала от «коммерцгера». Большие деньги и запальчивые годы юности, любовь к Пете тоже вплетались в этот узор ее противоречивых поступков.

Они и не могли быть иными при ее воззрениях. «Коммерцгер» заложил «основы» ее политических знаний и

был выслан. В Лутоне Катя, «досамообразовываясь», была подвержена всем «ветрам». Близкий к ней Павел не мог рисковать организацией, не мог ввести в нее Иртегову. С этим не согласились бы другие, знающие Катю с филантропической стороны. В результате Катя оставалась одна. Сама по себе. Ей казалось, что Петя, стремившийся легально вырвать у капитализма все возможное для поработенных, поступал так же.

Иное развитие претерпевал Петя. Он поступил на Сормовский завод, где у него было много студенческих друзей, спустя год он был принят в подпольную организацию РСДРП. Товарищи по организации единодушно поддерживали ленинскую позицию, отвергающую мирный экономический реформизм и настаивающую на решительных революционных действиях.

Колесов, испытавший иллюзорность экономических утопий на собственном крахе, стал на бескомпромиссную ленинскую точку зрения.

Теперь он приехал в Лутону, чтобы спросить Катю о деньгах его отца, вложенных в тележный завод, после продажи дома, занимаемого почтой, и тем самым закончить свои последние «капиталистические отношения» с отцом и Катей. По приезде Петя узнал от матери, что Марфа Максимовна вернула его отцу «купчую на почту» с нотариальной дарственной надписью. Предположения оправдались. Не Ряженкова, а Катя от ее имени купила в тот год почту, и она же вернула ее. Теперь он со всеми в расчете. Нужно проститься с Катей, сказать то, что давно хочет услышать Таля, и увезти ее в Сормово. Она тоже одинока и неприкаянна, как и он.

XLIX

Собираясь пойти в иртеговский дом, Колесов услышал на кухне знакомый голос Кати. Она спрашивала у матери, дома ли он.

— Ну вот, Петечка,— сказала Катя, входя в его комнату, нарядная, сияющая,— я и досказала сказку о царстве Тихой Лутони.

— Зачем ты сделала это, Катя? И откуда у тебя столько денег?

— Я и сама не знала, что их столько. Я думала, что придется отдать все, что у меня есть, а не понадобились и теткинны прииски. А зачем я купила заводы, спраши-

ваешь ты... Затем, что не могла не купить их. Видимо, я тщеславна. Наверно, мне хочется оставить после себя след в родной Лутоне. Все будут знать, что я их купила не для прибылей. Мне не нужно от них и тех процентов, которые я получила до того, как заводы были деньгами. Я разуверилась, Петя, в мелкой помощи одиночкам. Селиван Бадьин из Малиновки, который возил нам хорошие сосновые дрова, получил от меня наградную тысячу рублей. Мне хотелось, чтобы его дети были обуты, чтобы он купил коров, лошадей, построил новую, большую избу и был счастлив. Бадьин на мою тысячу открыл бакалейную лавку. Стал пауком. Его жена и дети по-прежнему ходят босиком. Он из тысячи хочет сделать две, а из двух три. Больше он не возит нам сосновые дрова, а предлагает доставлять с малой прибылью «провиянт». Я выгнала его, как и Эльзу. Скотина не может стать человеком, а только Шутемовым. Другое дело — рабочие. Никто не бросит в меня камень. Я не потребую с них выкупа заводов, которые построены их отцами. Они, принадлежа мне, принадлежат им. Разве плохо поступила я?

— Я этого не говорю, Катя. Но что руководило тобой? Неужели тебе кажется, что ты влияешь на ход истории, революции...

— Нет, я ничего не преувеличиваю. Революция придет и без моих денег, и без твоих телег. Но когда она придет? А рабочие должны существовать, хоть как-то.

— Ты, Катя, играешь с огнем.

— Да, наверное, Петя, но я неопалима. Кто поверит, что сумасбродная богачка, по сути дела капиталистка, скупающая заводы, причастна к революции? Кто? И если я даю деньги Павлу, другу детства, меня в худшем случае могут заподозрить в чем-то неблагоприятном, принять за бесящуюся с жира молодую купчиху... Но я об этом не беспокоюсь, Петя, мне не перед кем оправдываться. Я не бегая с одного свидания на другое, как...

— Как кто?

— Как одна наша общая знакомая. Она все еще не может сделать выбор.

— Катя, ты хочешь унижить в моих глазах Талю? Это тебе не к лицу.

— Не к лицу? Не к лицу мне предостерегать людей и самого дорогого из них?

Далее Колесов не мог оставаться спокойным.

— Что ты можешь знать?

— Я не виновата, Петя, что Донатов делится со мной, жалуется мне. Он видел вас в уединении перед твоим отъездом в Сормово и просил меня повлиять на тебя. А как я могу это сделать, когда мне временами... не каждый день, но иногда так хочется, чтобы ты попробовал быть счастливым с нею и оценил бы и ее красоту, и ее пустоту. Я за падения, которые способствуют подъему не только в политике, а и в любви и даже в пересоле щей.

Колесов сжался.

— Катя, как ты ужасно выражаешься... Как Эльза!

— Я выражаюсь, как если б я была твоя жена, а ты бы был моим всегда, во всем свободным мужем. Маленькая Кармен не виновата в своем наследственном любвеобилии и бескорыстной добродетели в любви.

L

Катя ушла на кухню, выпила там из общего жбана квасу, как было принято в колесовском доме, и вернулась к Пете.

— Так я говорю затем, что я хочу помочь твоему благоразумию. Ты знаешь, я тоже флиртвала без тебя,— сказала Катя, как никогда еще до этого кокетливо.— На время палицынских операций мы с графиней уезжали в Белогорский монастырь. Светское прибежище для вдов и старых дев. Там все, кроме цыганского хора. Зато полон клирос смазливых иноков. Басов и теноров, вышколенных под тирольских вокалистов, солирующих для возбуждения религиозных чувств у маловерных.— Катя сняла со стены Петину гитару, едва касаясь тонкими розовыми пальцами струн, придала своему голосу звучание скрипки: — «Слава в вышних богу! На земле мир, и в человецех благоволение!»

Лукерья Ивановна, слушая слова молитвы на кухне, перекрестилась на солнышко над сараем. Сидевший там же Демид Петрович выпил из жбана бражки-медовушки.

— Ты знаешь, Петя, там и я произвела впечатление. Холеный красавец, молодой архимандрит готов был обменять свои черные одежды и клобук на шляпу и сюртук. Но приехал граф. Граф — конкурент, соперник многогрешного архимандрита. Граф Лев — в смысле салонном и в смысле Левушка. Так называла его Варвара Фе-

доровна. Он ее племянник. Тоже Коробцов, но не Лапшин, а Дашкин. Через тире. Он камергер с каким-то добавлением. Не «коммерцгер», как тетушкин душеприказчик, а ка... камергер с приставкой. Тридцати трех лет. На шее орден какого-то святого. Демократ, как и его тетка. Чужд сословной нетерпимости, особенно когда в другом сословии слышится сословие слов: золото, заводы и выкарабкивание из долгов. И он, как сказал бы Павлик, «с ходу, не вылезая из телеги», предложил мне называться графиней Коробцовой-Дашкиной.

— И что же ты? — спросил Петя, раздраженный игривостью развеселившейся Кати.

— Я возмутилась... «Как вы смели в святой обители, в год траура по тете Хине...»

— И чем же кончилось?

— Кончилось тем, что вместо одной Кати он получил три. По сто рублей каждая. Граф проигрался по дороге в Белогорский монастырь и попросил в кредит двести «серебряных камей с барельефом государя». Я попросила Марфу Максимовну дать триста. За элегантное стояние на одном колене подле часовенки... такой, знаешь, в стиле псевдорусского ампира, с завитками на капителях из орлеца, под вид рожек годовалого барана.— Глаза Кати при этих ненужных подробностях затягиваемого ответа лучезарно смеялись.— За искусство опять же элегантного,— иронически оттачивала она каждое слово,— слезоточения. За шарм бомондного признания, с витиеватым вкраплением строк из шекспировских сонетов в доподлинном звучании... За это можно было дать пятисотрублевого Петра... Но это имя свято для меня. Петр — первый и последний из всех царей на свете, единственно любимый царь. Мой царь!

Лукерья Ивановна плакала от счастья на кухне. Демид Петрович допил жбан и налил в рюмку водки.

Петр с возмущением спросил:

— Для чего ты сообщаем мне об этом, Катя?

— Для того, чтоб ты не жалел меня и не подумал, что я безнадежная и обреченная старая дева.— Произнеся эти слова, Катя неожиданно спросила: — Хочешь, Петя, я для тебя станцую «Карманьолю»?

Не дожидаясь ответа, она сбросила легкий жакет и оказалась в кружевной кофте с короткими рукавами. Талия Кати была затянута высоким корсажем, как будто она так нарядилась нарочно, чтобы выглядеть

французской времен Парижской коммуны. Прищелкивая пальцами рук над белокурой головкой, она, слегка пританцовывая, воинственно-призывно запела известную французскую революционную песню:

Станцуем «Карманьолу»!
Пусть гремит гром борьбы!
Тра-ля! Тра-ля! Тра-ля-ля...ля!
На гильотину короля!

Петя крикнул:

— Никто еще так не издевался надо мной!

Катя перестала танцевать, опустила руки.

— Спасибо, Петя! Никто еще не был так неблагодарен мне! Как у тебя хватило бессердечия оборвать мой танец... Спасибо, Петр Демидович...

В кухне впервые в жизни при жене, при сыне и теперь при Кате солоно и сложно-бранно выругался Демид Петрович.

Гневно в большую горницу, где надевала Катя жакет, влетела Лукерья Ивановна. Она хотела задержать Катю. Но Катя крикнула уже на ходу Пете:

— Не провожай меня! На этот раз я сама взнуздаю Афродиту.

II

Без сна прошла ночь перед отъездом Колесова. А под утро, заснув, он видел Талю целующейся с Донатовым. Он бросил в них подвернувшийся под руку горшок с геранью и очутился на какой-то очень высокой горе. С горы были видны заводы, леса, рудники и все царство Тихой Лутони, огороженное высокой кирпичной стеной, такой же, как стена винокуренного завода. Маленьким, карликовым привиделось ему это огороженное царство в огромной, теряющейся за горизонтом земле.

Хотелось проснуться, но сон не уходил. Снилось Катя в белом платье принцессы, в котором она была на шутовском маскараде, сбросив Золушкины лохмотья. Она восседала на белом троне. Матвей Ельников и Корней Дятлов в поповских ризах короновали ее. Корона сверкала множеством камней. Все ликовали. Бросали в воздух шапки. Он узнавал знакомых мыловаров, тележников, рабочих коробцовского завода. Старики молились на нее. Потом толпа расступилась. Внесли боль-

шой круглый стол. На стол кошкой вспрыгнула, нагая Таля с кастаньетами. Она, танцуя, стала превращаться в Эльзу. Катя поднялась с трона, подошла к Эльзе и подала ей кусок мыла. Над головой Эльзы появился кованный кронштейн с петлей... Послышался визг, перешедший в ржание жеребенка.

Жеребенок продолжал ржать за окном колесовского дома, когда Петя открыл глаза. Его клонило ко сну, но снова вернуться в нелепый калейдоскоп кошмаров было страшно.

Он встал, обтерся холодной водой, выпил стакан крепкого чая, закрыл на засов ворота и попросил мать говорить всем, кто бы к нему ни пришел, что его нет дома.

— Если же явится Таля,—предупредил он,—то скажи ей... Ничего не надо ей говорить. Я напишу.

И он написал ей:

«Наталья Патрикиевна! Мне по причинам, от меня не зависящим, трудно видеть Вас. Да и Вам бы встреча со мной на этот раз не могла стать приятной. Будьте счастливы! П. К.»

Не перечитывая первого письма, он положил перед собой новый лист. На нем еле заметно проступило лицо Кати. Петя смахнул его рукой. Лицо Кати улыбнулось, но не исчезло.

Петя взял другой лист. Повторилось то же самое, и он стал писать по ее лицу:

«Милая Катя! Люди не всегда знают, что происходит с ними и в них. В тебе проснулась купчиха и заговорило не только наследство предков, но и наследственность. Ты, думаю я, хочешь скрыть это от других и, может быть, от самой себя, придумывая не по злой воле, а по голосу твоей совести и по лучшему, что есть в тебе, оправдания своим поступкам, своему желанию владеть и властвовать. И в этом, я думаю, отчасти виноват я, разбудив тогда, в день нашей встречи на заросшем винокуренном заводе, спящее царство,—другого слова не подберу, да и не хочу подбирать,—твоего деда.

Я допускаю, что могут быть добродетельные капиталисты, но таким не может быть капитализм. Он развивается своим путем, и твои заводы не могут стать исключением. Я, взявшись управлять или владеть ими, что одно и то же, должен буду стать при них, как бы я

ни убеждал себя, что нахожусь над ними. И хочешь ты или нет, сам строй, сам образ жизни заставит тебя действовать теми же капиталистическими способами, которых не минует ни один самый доброжелательный, идеально-благородный капиталист, называющий себя и даже чувствующий себя бескорыстным организатором производства, отказывающий себе в излишествах, не пользующийся во зло прибылями, ведущий аскетический образ жизни, сердобольно пекущийся о благе своих рабочих. Все равно такой сверхидеальный капиталист остается самим собой, вынужденным оставаться частью, сопряженной и связанной со своим капиталистическим механизмом, и подчиняться его законам вращения, движения, приборам, кризисам, конкуренции, жестокости козней бирж и банков, или капитулировать, сложить оружие, превратиться в ничто. У капитализма нет компромиссов... В самой его природе противоречия и конфликты, порабощение и нажива и борьба насмерть. В России капитализм пока еще в чем-то прогрессивен. Однобоко, но прогрессивен. Он свергает пережитки варварских мануфактур, подобных шутовскому заведению и, конечно, кокованинской вотчине саней. Стрехов бит потому, что он тоже капиталист-варвар. Донатов сделает скачок, применив кокс, ускорит плавки, удешевит металл. Но как только пройдет через Векшу и Лутоню железная дорога,— а ее строительство предreshено,— Векша и Лутоня будут убыточными. И перед Векшей и перед Лутоней снова встанет вопрос — капитулировать или бороться. Бороться ценой, качеством, местом на рынке, а это потребует усиления эксплуатации, снижения оплаты рабочим, стремления теми же руками сделать больше, уменьшать число рабочих, увеличить число безработных, порождать нищету и бедствия народа... И я, или ты, или сам Христос в облике капиталиста не совершат чуда, не остановят стихии развития капитализма. И только революция во всей стране или в нескольких странах приведет к трудовому царству равных и свободных.

Эти истины не являются плодом моих домыслов и моего опыта. Мне в Сормове подарили «для моего дальнейшего разэкономистивания» (так и сказали) перепечатанную на таком же, как у тебя, ремингтоне статью из четвертого номера «Искры». Я готовился тебе и Пашке прочитать ее как обоснование моего уxo-

да из «царства Тихой Лутони», но я не хочу, я не могу встречаться больше с тобой, потому что я не устою далее перед «Карманьолой» и «великое тяготение» к тебе опошло «тягой». Все мы, увы, немножечко «вальдшнепы и вальдшнепки».

Так вот я выписываю из статьи:

«Наше движение и в идейном и в практическом, организационном отношении всего более страдает от своей раздробленности, оттого что громадное большинство социал-демократов почти всецело поглощено чисто местной... (читай, Катя: лутонинской) работой, суживающей и их (читай, Катя: мой) кругозор, и размах их деятельности...» (Читай, Катенция: тележный размах.)

Выписываю еще несколько строк:

«И *первым* шагом вперед по пути избавления от этого недостатка, по пути превращения нескольких местных движений должна быть постановка общерусской газеты».

Эти строчки для тебя, Катя, для твоих тоскующих денег. И, наконец, опять для меня и таких, как я:

«Мы сделали первый шаг, мы пробудили в рабочем классе страсть «экономических» фабричных обличений. Мы должны сделать следующий шаг: пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть *политических* обличений».

Ты ведь и сама читала Ленина. Но ты, моя милая и бесценная Катюша, читала через те избирательные очки, которые надели на тебя обстоятельства (окружающие, время, особенности конструкции твоей доброй души). Ты избирала из его учения о революции то, что больше импонировало тебе и твоим благодетелям, которые все же либерально-буржуазны в самом неплохом смысле этого слова. Также выборочно-деформированно решил я претворить в жизнь учение о социализме легально-избирательными способами, опустив из поля зрения самое главное — диктатуру пролетариата, то есть такой государственный, государственный, а не «артельный», не «внутризаводской, лутонинский» строй, который охраняет тружеников от произвола буржуазии (пример — запрет на железо Стреховым), от ее разрушительных, бесчеловечных происков (пример — подрывной план Шутемовых по отношению к товариществам), от ее бесстыдства во имя обогащения (пример — Эльза и ее гнусные похождения), от узаконен-

ного мошенничества и ограбления (пример — Сорокин и его надувательства) и, наконец, от всех образующих их класс поработителей и его капиталистическое государство. Без свержения этого государства и замены его во всех звеньях и проявлениях государством народа, с рабочим классом во главе, невозможны никакие социалистические преобразования, хотя бы в самых малых масштабах.

Извини, Катя, за повторения, но в данном случае лучше «пересказать», чем недосказать. Ты, Катя, это слишком «пересказанное» письмо сожжешь при Матвее Ельникове, который тебе и вручит его.

Катя! Ты солнышко! Ты редкостная «невозможность», появившаяся на свет в твоей среде. Сегодня, Катя, я окончательно понял, что люблю тебя и люблю давно, внушая себе гибельность этой любви для меня. Теперь я этого не внушаю себе, а внушаю тебе. Она будет гибельной для тебя и для твоих денег. А ими, Катюша, как я понял, пренебрегать нельзя.

Ступив на путь революционной борьбы, я скоро могу оказаться в тюрьме и на каторге. Ты, конечно, как самая разнекрасовская женщина отправишься разделять со мной кандалыные горести. Это ужасно будет для тебя, ангел мой, потому что теперь каторга не так «либеральна», как при декабристах. Сосланным хотя бы и на твой наследственный Витим не дадут строить дома и заниматься богоугодными делами. Ты окажешься для меня такими тяжелыми кандалами, что я не сумею даже бежать, зная, что ты в этом случае останешься заложницей. (Сожги письмо при Ельникове до последнего клочка.) С тобой не будут современные жандармы миндальничать, как с Волконской. И тогда свобода будет для меня худшей каторгой, а побег — предательством по отношению к тебе.

Я все продумал, моя Золушка, и даже нахожу силы, чтобы не проститься с тобой, не поцеловать тебя. Ты «не разожмешь рук на моей шее», да и я не дам разжаться им. Таля была не моей изменой тебе, а моими «колебаниями», моим «способом» необходимого ухода от тебя. Так мне казалось еще вчера и не кажется сегодня. Теперь я твой, твой навсегда. Твой живой и мертвый.

Катя, если ты еще «не разлутонила» все деньги, не бросай их на революционную работу вообще. Деньги

нужно давать на печать большевиков. Печать — теперь самое главное в нашей борьбе (умоляю — сожги письмо при Ельникове). Их не обязательно давать из рук в руки. Можно перевести в заграничные банки (Лондон, Париж, Женева, Прага) на предъявителя десяти-или сторублевой ассигнации номер такой-то. Тогда их может получить любой человек, которому партия доверит получить. Целую тебя, мое солнце, моя несостоявшаяся жена.

Не вздумай искать меня в Сормове и тем самым навести на мой след лиц, прекраснодушно «мерцающих», но еще неизвестно для кого.

Если хочешь, перечитай это письмо. Матвей Ельников подождет и дождется, пока оно сгорит в твоём камине.

Целую тысячи раз.
Принц из кроличье-заячьего
королевства. П. К.»

III

Такого счастливого письма не ожидала Катя. Оно венчало ее лучше, чем это виделось и ожидалось сю. Сердце Пети, он сам стал принадлежать ей по велению его души, его разума и его любви.

Конечно, напрасно Петя оставил ее одну, без маленького. Кате при ее независимости вовсе не обязательно объяснять, кто является отцом рожденного ею ребенка, да ни у кого не повернется язык спросить, венчана она или нет. В этом отношении неплохо быть купчихой-миллионершей. Она еще покажет ему, какая в ней «проснулась купчиха». И если она проснулась в самом деле, то для кого, во имя каких идей и целей? Не бесчестнее ли было бы, если б она позволила бездействовать своим деньгам? Они же у нее тоже не беспартийны, как и она сама, не входящая в партию.

В этот же день Талья Шутемова плакала, прибежав с письмом к разлучнице.

Она угрожала Кате поездкой в Сормово, и если Петя там отвергнет ее, тогда она, как Витасик, уйдет из этой злосчастной жизни.

А через два дня на третий маленькая Кармен ушла из «этой злосчастной жизни» в другую, счастливую жизнь вместе с Юлианом Донатовым.

— Юлик,—признавалась она ему, проснувшись утром в доме, принадлежащем еще недавно Стрехову,—как хорошо, что ты такой решительный и беспощадный... Спасибо тебе, блаженство мое!

Ожидалась еще одна свадьба. Соединяла свою жизнь дочь начальника почты Настенька Красавина с Павлом Лутониным. Они пришли просить «благословения» у Кати. Катя радовалась и проливала слезы. Обещала устроить пир на весь мир. И, конечно, на торжество своего друга приедет Петя... Приедет, наскучавшись, счастливый счастьем других, обязательно задумается и о своем, которое давно бережется и копится для него, чтобы пролиться через край, утопить его в неге радостей, в омуте неизведанного. И если он все еще думает, что подполье помеха ему, то на этот раз Катя не даст разуму властвовать над собой...

Судя по всему, Катя не ошиблась. Из Сормова уже пришла первая весточка, из которой можно было понять, что Петя, «погорячившись, был не во всем прав». Это хороший признак.

Она верила, что все сбудется. И все бы сбылось, если бы по желаниям Кати строилась жизнь и на нее не влияло все, из чего она состоит, от досадных мелочей до больших событий, потрясающих общественные устои.

III

К Иртеговой пришел Анатолий Петрович Мерцалов. В этом не было ничего неожиданного. Он и раньше бывал у нее. Но сегодня Анатоль появился очень нарядным.

— Как я нравлюсь вам в этой экипировке, Екатерина Алексеевна?

— Очень! Вы совсем другой.

— Поздравьте меня, я отбыл проверку. С меня сняты подозрения. При моем тишайшем безмундирном вридствовании у нас в Тихой и благословенной Лутоне жизнь протекала мирно, беспротокольно, безарестно, безмятежно... Вор и грабитель Виктор Юрьевич Столль без вмешательств юстиции, как истинный христианин, раскаялся в своих подлостях и домашним способом восстановил репутацию порядочного человека. Его соучастники тоже оказались людьми рассудительными

и предпочли откуп скандальной огласке. Елизавета Патрикиевна Шутемова не обременила дознаниями в своем неутешном горе, заставившем ее снятый шелковый пояс с одной шеи накинуть на другую. Петр Демидович Колесов, наш общий любимец, ничем не настояжил власти, производя свои экономические крахи, не нарушая и запятой в священных уложениях империи о частной собственности, не давая и малейшего повода властям заподозрить его в чем-либо противоречащем хранимой самим богом монархии. Вы, Екатерина Алексеевна, со всей присущей вам непогрешимостью подвергли справедливому наказанию околдованного любовными чарами векшенского ихтиозавра господина Стрехова и его стаю, предотвратив назревавшие волнения и стяжав славу избавительницы. И все это было блистательно до неуязвимости, но...

— Что «но», Анатолий Петрович? — спросила Катя.

— Но, дорогая Екатерина Алексеевна, в Лутоне появился не «врид», а постоянный ревностный, дсятельный и одаренный всеми достоинствами настоящего слуги пристав.

— Как вы сложно сегодня строите фразы, Анатолий Петрович, — сказала Катя. — Зачем так вы разговариваете? Разве нельзя проще?

— Милая Екатерина Алексеевна, моя простота мне уже стоила трех лет хождения по лезвию бритвы. Я безгранично верю вам, но, к сожалению, вынужден прибегать к иносказаниям неуличимым и недоказуемым. Позвольте уж в том же регистре посоветовать вам кое-что на прощание.

— Я к вашим услугам, Анатолий Петрович.

— Екатерина Алексеевна, я могу быть откровенен не больше, чем нужно. Если вы на самом деле хотите лучшей участи своим заводам и тем, кто работает на них, то лишите ваших врагов поводов для обвинения вас в продолжении начатого Петром Демидовичем. Это был опасный и счастливо кончившийся эксперимент... Петр Демидович вовремя разочаровался в нем. Теперь все ждут, как поведете себя вы, вступая во владение заводами.

— Как я должна повести себя, на ваш взгляд?

— Правильно. Опровержительно.

— То есть?

— Ваши заводы должны быть названы вашими.

«Завод металлических изделий Екатерины Иртеговой», «Завод универсальных телег Екатерины Иртеговой». То же и Векшенские, и мыловаренный, и все до выставки в бывших Екатерининских конюшнях.

— Это измена.

— Это спасение. Удар по доно... по вашим недругам. Вы можете увеличить оплату рабочим. Построить им сто школ. Подавать обед к станку. Награждать. И даже сократить рабочий день после вами же организованной забастовки. Это ваше право хозяйки, фабрикантки, владычицы. Либо вы будете жить по законам этой стаи, либо она растерзает вас. «Не я придумал капитализм», как любил повторять Петр Демидович. Это первое.

— Что же второе?

— Вор и мошенник Столль, главный организатор подвохов против вас, должен быть назначен управляющим Лутонинскими заводами. Ход конем. Удар в челюсть.

— Что скажут в Лутоне?

— Что бы ни сказали в Лутоне. Важнее обезоружить тех, кто может не только говорить, но и действовать. У вас не будет вернее слуги и прославителя, нежели прирожденный и потомственный дон мерзавец де Столль. Вы обласкаете его и прогоните при первой провинке. Недостаточно дает прибылей. Притесняет рабочих. И даже потому, что не очень низко поклонился при встрече с вами. Обидел вашу болонку. Не вовремя чихнул. Вы хозяйка! Владычица!

— Что же третье?

— Управлять Векшенскими заводами я бы назначил Донатова. Честен, одарен, ненавидит Столля и Стрехова. Устроить ему торжественное венчание с Наталией Шутемовой и подчинить внутренне.

— Как вы все знаете о нас всех, а мы так мало знаем о вас.

— И хорошо, что мало... Новый веник должен быть вами принят. На кухне. Угощен. Вознагражден в честь приезда на устройство его в Лутоне и за надежное охранение от политических и всяких других бед на принадлежащих вам заводах. Деньги вручит и займется угощением пристава Марфа Максимовна, а не вы, хозяйка, миллионерша Екатерина Иртегова. Таких уважают и боятся, Екатерина Алексеевна.

— Как имя приехавшему?

— «Любезнейший», «почтеннейший», «господин Качков», а в случае надобности можно проще: «Эй, вы!» Если собаку не держат в строгости, она может укусить.

— Однако?..

— Это афоризм. И последнее. Павел Лутонин должен испортить с вами отношения. Нелогично же ему называть Катей и на «ты» своего «классового врага». И будет совсем хорошо и для него, и для вас, если он исчезнет из губернии. Дело в том, Екатерина Алексеевна, что почерк первой размноженной на гектографе прокламации предательски совпадает с почерком Настеньки Красавиной, ныне Лутониной, и будет разумным, если они оба предпримут свадебное путешествие без возвращения в Лутонию. Больше я не добавлю ни одного слова. Через несколько минут придет проститься с вами моя драгоценнейшая. Она вся в Петербурге. Завтра мы будем в пути.

Пришла Катя, жена Мерцалова, и начался прощальный завтрак. А после него начнется все то, что и она, Екатерина Иртегова, теперь находила обязательным для себя, для заводов, для рабочих и для своих противников.

LIV

Катя, став для всех Екатериной Алексеевной, мало доступной и замкнутой, осталась одна. Сама с собой. У нее по-прежнему бывали отец и мать Колесовы, по-прежнему домом правила Марфа Максимовна. Бывала Таля Донатова вместе с мужем, когда он приезжал на доклады о делах Векшенских заводов. Проникала и мадам де Столл, находя поводы и причины услужить, выполнить поручение. Появлялся и мыловар-химик Шварц, управляющий мыловаренным заводом Екатерины Иртеговой и парфюмерным магазином, принадлежавшим Сорокину и купленным за долги по векселям той же госпожой Иртеговой. Шварц успешно торговал привозными товарами вперемежку с продукцией своего завода.

Корней Дятлов, став управляющим завода универсальных телег, не узнавая прежнюю Катю, прославлял заводчицу, не веря про себя в ее разительную перемену.

Карста графини Коробцовой-Лапшиной перешла к Кате вместе с ее домом, на фронтоне которого было

золотыми буквами написано; «Управление Лутонинскими и Векшенскими заводами Екатерины Иртеговой». Управляла сама.

Так было до зимы. Зимой, в екатеринин день, утром пришел поздравить хозяйку и «благодетельницу» Матвей Ельников. Он принес письмо от исчезнувшего и разыскиваемого полицией Павла Лутонина.

— При мне, Катенька, прочтешь и при мне сожжешь,— попросил Ельников.— Как тогда.

Письмо было кратким:

«Катя, уезжай из Лутони. Начинаются события, которые могут не пощадить тебя. Не все же знают, какова ты на самом деле. Твой Павел».

Матвей Кондратьевич прибавил:

— Будем кончать с ними. Не вноси пока Коробцовой ничего. Завод выкупится сам. А ты езжай в Питеры, в Парижи, в Москву. Когда дерутся, не разбирают, по ком бьют. Храни тебя бог, Катенька.

Нелегально, заросший бородой, в дорогой оленьей дохе, в бобровой шапке-ушанке, приехал купец купцом Катин «коммерцгер» Евдоким Иванович. Он завершил по доверенности Кати продажу Витимских приисков, перевел деньги в петербургские банки, туда же, в дом покойной Хионии Евлампиевны, особым вагоном отправил ее имущество.

Рассказав Кате, как обстоят в империи дела — полнейшая неудача в войне с Японией, начавшиеся волнения по всей стране,— он тоже советовал Кате немедленно оставить Лутонию во избежание различных непредвиденностей.

Узнав о покупке Катей заводов, Евдоким Иванович сказал:

— Это, Катенька, промах с вашей стороны. Как же это вы не посоветовались со своим «коммерцгером». Революция и без вас отняла бы заводы. Но, снявши голову — по волосам не плачут.

То же говорил Кате и Павел Лутонин. Но, как она, живущая и действующая сама по себе, могла предвидеть надвигающиеся события. Да и кто может сказать, какой будет эта революция? Перейдут ли заводы в достояние рабочих? Разговор идет пока о царе, о самодержавии, а не о господах капиталистах.

Смутно было в голове Екатерины Иртеговой. Смутно было и в России перед надвигающейся бурей.

Ничто так не удерживало Катю в Лутоне, как ее новая, светлая, просторная школа. Только теперь она поняла, что учительствование — это ее призвание, ее жизнь. До этого ей казалось, что она руководима только высокими целями просветительства, а сейчас она почувствовала, что, кроме этой благородной миссии, ее влечет и сама профессия, сам процесс преподавания, само волшебство передачи умений и знаний. Ведь она не просто сеет всхожие семена, но и формирует нового, не похожего на своих родителей человека, продолжающего их в новой жизни, которая еще не наступила, но обязательно наступит.

Перед отъездом она долго беседовала с Талей, назначив ее начальницей четырехклассной школы, и обещала щедро наградить, если в школе будет все так же, как при ней, как во время ее отъезда на Витим.

Таля поклялась и расцеловалась с Катей.

Катя и Марфа Максимовна уехали в Петербург. Донатов остался главным управляющим всех заводов. Молодой инженер был польщен доверием и обрадован правом самостоятельных действий. Он покажет себя. И все увидят, что при хорошем ведении дел можно смягчить начинающееся брожение и добиться благоденствия.

Так верил и надеялся Юлиан Донатов до тех пор, пока в Векше не началось восстание. Вспыхнули пожары. Прискакали усмирители. Полилась кровь. Кончилось победой. И власть перешла в руки Совета рабочих депутатов.

В Тихой Лутоне стихийно расправились с ненавистным Столлем и приставом Качковым — их утопили в пруду.

На дорогах повалили лес, образовали оборонительные засски, поставили сторожевые вооруженные отряды. Вышедшего из подполья Павла Лутонина избрали председателем Совета рабочих депутатов. Заводы назвали революционными товариществами, из которых должен был составиться революционный союз трудовых товариществ.

Екатерина Иртегова приняла революцию 1905 года как предрешенный конец самодержавия, а вместе с ним и капитализма.

Из писем от лутонинских друзей она знала обо всем и обо всех и в том числе о Пете. Ему теперь не до нее.

Он в огне революции, на Волге, в счастье борьбы, в радостях победы.

Время, переполненное событиями, мчалось неудержимо. Шумно в столице. Клокочет империя. Подымается деревня. Либералы и другие одержимые мелкобуржуазными идейками, как, например, тот же Мерцалов, верили в Думу, большевики использовали ее, как трибуну, как возможность легально бороться против капитализма.

Но самодержавие было еще сильно. Рабочий класс России закалялся в борьбе и готовился к новым решительным схваткам не только с царем, но и с капиталистами.

LV

В Петербурге Катю разыскал Геннадий Наумович Палицын.

Он появился у нее в новой личине.

— Ах-ах...— начал рассыпаться он, жалуясь на свой горький хлеб и тягостную миссию его профессии.— Как вы могли, Екатерина Алексеевна, пропустить срок очередного платежа выкупа завода по переписанному на ваше имя договору?

Иртегова, рассматривая потолстевшего, выглядевшего преуспевающим буржуа Палицына, ответила:

— Лутонинский завод взяли его настоящие хозяева.

— Но, к сожалению или к счастью,— следил Палицын за выражением лица Иртеговой.— «Фемида» не признала их таковыми. Варвара Федоровна продала мятежный завод смешанному акционерному обществу. Находясь в Париже, она доверила мне юридическое завершение продажи завода французам.

— Каким французам, Геннадий Наумович?

Палицын ответил со знанием дела:

— Две трети капиталов смешанного акционерного общества французские. Это очень могучее общество.

— За этим вы и приехали ко мне, господин Палицын? Разве в Лутоне перестала существовать почта? Зачем вам понадобилось быть конвертом?

— Вы остроумны и лаконичны, как всегда, Екатерина Алексеевна,— заюлил Палицын, меняя облик представительного буржуа на коммивояжерский.— Я и в самом деле не более чем конверт, куда вложено устное

письмо, которое нельзя было доверить любознательной почте. Личное письмо.

— Тогда пусть оно присядет на это кресло и заговорит,— попросила Иртегова.

Палицын попросил разрешения курить, начал с давно известного. Сначала он напомнил, что Лутоня без Векши, как и Векша без Лутони, обречены на затухание. Затем он сказал, что в ближайшее время пройдет через Тихую Лутоню железная дорога и смешанному акционерному обществу не нужен будет дорогой векшенский металл.

Катя поняла, куда клонит Палицын, и опередила его:

— Какую сумму предлагает акционерное общество за Векшенские заводы в своем «устном письме»?

— Не меньшую, чем уплатили вы за выкупленные векселя господина Стрехова и по купчим за лес. Зачем теперь это все вам, когда в Тихой Лутоне почти нет ваших друзей? Одни на каторге, другие в ее преддверии... Для вас и тележный завод будет тяжелым напоминанием.

— Кто же хочет купить его?

— Эльза Патрикиевна, госпожа Кокованина. Она снова осталась вдовой. Ее мужу, Адриану Кузьмичу, не дали проснуться в постели...— глубоко вздохнул Палицын и сделал паузу, чтобы проверить, какое впечатление это произведет на Иртегову.— Положим, Кокованин сам виноват в своей смерти. Жестокая эксплуатация санников привела их в спальню Адриана Кузьмича... Суд народа в данном случае был судом божьим... Хотя и неизвестно, кто вершил суд.

— А Шутемовы избежали этого суда, Геннадий Наумович?

— Видимо, бог, не знаю, в каком он был в этот день мундире,— открыто иронизировал Палицын,— предупредил их, и они, кроме Эльзы Патрикиевны, не оказались дома...

— Оставив в нем его хозяина? — спросила Катя.— Не так ли?

— Пути господни неисповедимы, Екатерина Алексеевна, как и пути людские. Старику Матвею Ельникову достался счастливый путь. Он удачно скрылся после разгона съезда революционных товариществ, происходившего в Лутоне... А вот милейший и светлейший Петр Демпи-

дович...— Тут Палицыну снова было необходимо сделать глубокий вздох и паузу, чтобы решить, как действовать дальше.

Иртегова близка была к обмороку. Палицын, испугавшись, что его перенажим может привести к разрыву сердца и тогда так удачно начавшееся дело оборвется с ее жизнью, торопливо предупредил:

— Он жив, за это я ручаюсь. Но за дальнейшее ручаться не могу.

— Его арестовали?

Палицын помедлил. Пожал плечами. Развел руками.

— Все так таинственно, темно, опасно, что я, признаться, не мог быть чрезмерно любопытен. Я только слышал и не расспрашивал, боясь, что моя заинтересованность насторожит, и я из самых добрых побуждений мог бы повредить...

— Вы, Геннадий Наумович, всегда были моим мудрым советником,— стала признаваться Катя в расположении к Палицыну.— Зачем теперь мне Векша без Лутона? Я вызову Донатова, поручу ему и вам избавить меня от завода.

На его лбу от радостного волнения проступили капельки пота. Утирая их надушенным платком, он, стараясь выглядеть объективным посредником, сказал устало и одобчительно:

— Логика всегда берет над вами верх. Наверное, подчиняясь ей, вы захотите избавиться и от тележного завода...

— Нет. Никогда. Пусть он приносит мне убытки. Пусть требует каких угодно доплат. В нем очень много для меня заключено.

— Мне ли не знать этого, Екатерина Алексеевна. В нем теперь заключено еще больше, чем вы думаете и чем я мог предполагать. Коварнейшая из женщин, каких не доводилось мне видеть и в преступных кругах, узнав о моей поездке к вам в Петербург относительно Векшенских заводов, заставила меня содрогнуться и превратиться в невинного комарика по сравнению с нею, смертельно жалящей змеей, как справедливо называл ее Парамон Антонович Жуланкин, не успевший отомстить за сына.

Предпосылая такой сложно вышиваемый узор, Палицын искусно выматывал Иртегову, чтобы стать в ее глазах не соучастником, а спасителем.

— Я это знаю, Геннадий Наумович. Только, пожалуйста, без золочения пилюли. Что хочет Эльза?

— Она хочет уплатить вам за тележный завод векселями упокоенного ныне Стрехова.

— Как поворачивается у вас язык, Геннадий Наумович, повторять ее слова?

На это Палицын дрожащим голосом признался:

— Я и сам не знаю, как она заставила мой язык стать жалом. Но на моем месте так поступил бы всякий честный человек. К векселям, не имеющим теперь никакой цены, она дает придачу... придачу, которая подчинила меня ей и подчинит вас, Екатерина Алексеевна.

— Какую?

— Мужайтесь. Имя этой придаче — Петр Демидович Колесов.

— Как?!

— Если б я знал, «как»! Думаю, что у нее Петр Демидович нашел убежище, которое стало для него западней. Ловушкой.

— Да правда ли это?

— И я не поверил бы ей, но вот письмо.

Палицын вручил Иртеговой конверт без надписи. В конверте на небольшом листке Петиной рукой было написано:

«Катя, Шутемовы требуют твоего согласия ценой моей свободы. Остальное расскажет Палицын. П. К.»

— Откуда у вас это письмо, Геннадий Наумович?

— От нее же. Она передала мне его в открытом виде. Я положил письмо в конверт.

— Почему же вы не обратились к властям, чтобы арестовать Эльзу и добиться у нее, где находится Петр Демидович?

— Добиться? Добиться, вы говорите, Екатерина Алексеевна, и предать Петра Демидовича полиции, которая жаждет отправить его на каторгу?

— Я поняла. Я все поняла, Геннадий Наумович,— сказала Катя.— Шутемовы будут владеть тележным заводом. Будут. Но кто поручится, что Петр Демидович не будет схвачен ими же предупрежденными жандармами?

— Я! Да, я,— сказал Палицын.— Об этом я думал всю дорогу. Напряг весь свой ум. Завод вы продадите за векселя после того, как Петр Демидович будет в безопасности, где-то за пределами досягаемости... В Бер-

лине, в Риме... Лучше в Лондоне. Туда есть ход через нашего старого знакомого — Анатолия Петровича Мерцалова.

— Кто он сейчас?

— Он был при Думе кем-то... Теперь — не знаю. К кому-то примыкает, от кого-то отрешивается, а в общем сам с собой. Свободный литератор-публицист...

Катя устала в одну точку. Она взвешивала и проверяла. Ей не верилось, что Эльза может пойти на риск и переправить Петю в Лондон до передачи ей завода, и она сказала Палицыну:

— Что-то в этой подлой сделке есть непродуманное, легкомысленное со стороны Эльзы. Змеи недоверчивы. А вдруг я раздумаю подписывать купчую после того, как Петр Демидович окажется в Лондоне? Она не способна верить честному слову... И тем более — врага.

Палицын одобрительно склонил голову.

— Вы абсолютны в своих догадках, Екатерина Алексеевна. Она и отцу без нотариальной расписки не дает денег. Ее жестокая игра рассчитана до последнего хода. Я, ненавидя это спрессованное олицетворение капитализма в ее коварстве, не могу отказать ей в умении вести бой. Я тоже спросил Эльзу Патрикиевну: «А вдруг Екатерина Алексеевна не вознаградит за свободу Петра Демидовича заводом?..»

— И что же она?

— Она рассмеялась на это и сказала: «Пусть попробует... Тогда ее друг детства милый Павлик Лутонин будет мною отправлен на каторгу в Сибирь».

Трудно было Кате скрывать свое волнение.

— И он у нее в руках?

— Очевидно, если верить записке Павла Гавриловича к невесте. Он просит ее обменять на его свободу адресные карточки должников по марочной продаже телег в рассрочку. Их тысяч на сто. Настенька Красавина в свое время, по требованию Павла Гавриловича, спрятала их в надежное место.

— Ах, щука!

— Ну что вы, Екатерина Алексеевна, — хуже. В мать. Адресные карточки в сохранности у Настеньки. Я говорил с нею в Казани. Она вручит их Павлу Гавриловичу в безопасном месте, а Павел Гаврилович мне в обмен на заграничный паспорт. Так что все продумано ею до миллиметра.

Глаза Палицына были мутны, наглы и бессовестны. Он, конечно, был в этой афере не третьим лицом. Но как его уличить в этом? Нужно благодарить и соглашаться...

LVI

Палицын знал все. Он войдет пайщиком тележного завода. Ему предложена треть доходов. Палицын лично переоденет, переотправит в Лондон Колесова, сидящего теперь в западне у Эльзы вместе с Павлом Лутониным. Ему дорога жизнь Колесова, и он сохранит ее и не доверит родному отцу сокровище, которое другие могут перепрятать и перепродать. Для Колесова куплены дорогие «подлинные» виды на жительство за границей и на право переезда туда. Он поселит его в любой из стран, прибыв с ним его личным секретарем. Разве можно при беспронгрышной лотерее жалеть деньги на билеты? Лутонин и тот верный купон на сто тысяч рублей.

Все подготовлено Геннадием Наумовичем. Он не боится Иртеговой. У него есть за пазухой нож и против все. Она помогала большевикам. И ее можно прижать, если она вздумает уличить Палицына.

— Теперь только ваше согласие, Екатерина Алексеевна,— заключил Палицын.— Я верю вам больше, чем себе. Формальности потом, когда я, рискуя жизнью и свободой, спасу дорогого моему сердцу Петра Демидовича.

— Нужны вам какие-нибудь письменные обязательства?

— Нет. Я даже не возьму вперед и тех немногих тысяч, которые необходимы для переезда...

Пока Палицын спасает Колесова, нам нужно узнать, как он очутился в руках Эльзы.

В день открытия учредительного съезда революционных рабочих товариществ бассейна реки Тихая Лутоня из Сормова приехал Петр Демидович Колесов.

Карательные роты, тайно засевшие в лесах, готовились разгромить революционные заводы.

Обреченная Лутоня сопротивлялась недолго. Последним сдался тележный завод. Его высокие стены позволяли обороняться и надеяться на подмогу. Неравные силы осажденных и штурмующих «иртеговский кремль» привели к поражению запершихся в нем рабочих,

Старуха Анна Дмитриевна Денежкина поклонилась победителям ключами от подвала с иртеговской водкой. Солдаты ринулись в подвал. Арестованные рабочие прорвали цепь поредевшего конвоя. Бежали с ними Колесов и Лутонин. Перейдя бродом через обмелевшую Лутоню, они выбрались на лесную бишуевскую дорогу.

В лесу скрывающиеся рассыпались маленькими группами. Колесов и Лутонин бежали вместе. Под Бишуевом они, чувствуя себя уже в безопасности, наткнулись на засаду. Было темно. Очутившись на окраине села, они узнали знакомые штабеля саней. Здесь в детстве они играли в «воров и сыщиков» с бишуевскими однокашниками по школе, к которым они вместе с Витасиком приходили для игр в кокованинских санных штабелях. Лучшего места не представишь и не придумаешь. Как их найти в тысячах саней, образующих огромные кварталы с узенькими улочками и переулками.

Санний «город» и теперь накапливался с весны, чтобы к зиме «разъехаться» по сотням деревень санями, дровнями, розвальнями, кошевками.

— Лезь, Павел, тут не найдут, — позвал Колесов шепотом Лутонина. И вскоре оба затерялись в санных катакомбах.

— Здесь и переспим, Петя, а там увидим, — сказал Павел, растянувшись вместе с Колесовым в одной из кошевок в верхних рядах глубинного штабеля.

Усталые, измученные, они под утро уснули. А утром их разбудил знакомый голос:

— Теперь скажите, Петр Демидович и Павел Гаврилович, что нет судьбы, нет веления господня...

Это был голос Патрикия Шутемова.

Отозваться или нет? Что лучше? Отмолчаться и в крайнем случае отстреляться и — в лес? Предаст или спрячет?

Если бы хотел предать, то навел бы на след карателей, а он пришел безбоязненно, безоружно, один.

«Может быть, хочет откупа?» — подумали они, тот и другой.

— Если угодно молчать, — снова заговорил Шутемов, — молчите. Я человек терпеливый, покладистый. Бояться меня вам нет резона. Мне скорее надо бояться, если я открою вас. За это спалят меня дотла или прикончат тихо и чинно ваши социалисты и тележники. А если спасу, не таюсь — в накладе не останусь.

Колесов, потрясенный не столько встречей, сколько тем, как она могла произойти, откликнулся первым:

— Не знаю, как и поступить, Патрикий Лукич...

— Тогда мне знать, Петя, — совсем обнадеживающе мягко сказал Патрикий Лукич. — Найдем надежнее нору. Денек-два отсидитесь у меня, а потом... Перемаскирую и спасу. Шутемов зла не помнит, хотя и не забывает денежных операций.

— Спасибо, Патрикий Лукич.

В кокованинском доме, где жили теперь Шутемовы, Петр и Павел были обласканы и укрыты. По улице мимо окон еще проскакивали конные патрули, но в этом доме им нечего делать. Однако же к вечеру Патрикий Лукич, одержимый сомнениями, сказал:

— Береженого бог бережет, а с чертом шутки плохи... Обыскивают всех.

И Эльза подтвердила опасения отца. Они, думая порознь, думали вместе. Выдать Колесова никогда не поздно. Но есть ли в этом смысл? Заботясь всегда только о смысле и пользе для себя, дочь и отец поняли, что «Петя-петушок, красный гребешок» может быть выкуплен богатой «курицей», как и Пашка Лутонин. А чтобы они ночью не вздумали исчезнуть, их нужно уберечь и от тюрьмы, и от свободы.

— Петр Демидович, — испуганно сказал ему Шутемов, — ищут вас по всем окрестным селам. Обещана за поимку награда, — врал он. — А санный сторож, который подглядел и узнал вас ночью, хотя и молчун, но вдруг позарится на деньги и продаст обоих. За тебя-то тысячу дают, а за Павла — две. Не знаю, почему такая несправедливость в цене? — издевательски сокрушался он. — Ты-то ведь дороже и громче, Петя. Тебя они хотят сразу в кандалы, а Пашу-то еще думают пропустить через окружной суд. Переселю-ка я вас в такое место, что и вы будете как у Христа за пазухой, и я буду спокойно спать, а после найдем ходы-выходы...

Их перевели в «потаенную кладовуху», ставшую для них ловушкой. Теперь отец и дочь могли заняться тем, как выгоднее и безопаснее продать Иртеговой ее сокровище.

Вот тут-то и пришла отчаянная мысль «купить» на стреховские векселя иртеговский завод. Палицын встретился неожиданно-негаданно. Он-то и додумал за Шутемовых все остальное. Додумал и осуществил...

Из Лондона Екатерине Иртеговой пришла счастливая телеграмма: «Спасибо, Солнце мое»,— а затем Палицын привез письмо, подтверждающее телеграмму.

Катя подписала купчие на Векшенские заводы. Особо, дарственно и нотариально, передала она Шутемову дедовский завод. Так было правдивее во всех отношениях. Зачем ставить себя в ложное положение и получать потерявшие свою силу векселя? В дарственной надписи было оговорено, что она вступает в силу 22 октября. Это был день именин Шутемова, и Катя сказала, что передача завода должна выглядеть подарочно. С этим не спорил Палицын. Он понимал, что Иртегова хочет быть уверенной, что Павел вместе с Настей к этому дню окажутся за границей, а она успеет отбыть в Лондон. Он также понимал, что Катя резервировала за собой право попридержать, а то и отменить дарственную передачу тележного завода, если Павел Лутонин не окажется на свободе или его свобода будет подвергнута опасностям. Как ни хитер Палицын, но Иртеговой тоже пальца в рот класть не следует, и он знал, что лучше не спорить и не выторговывать большего. И без того взят драконовский выкуп.

Через неделю она получила иносказательную телеграмму от Настеньки Красавиной:

«Отправку двух образцов фирменных телег заграничную выставку отменили будем по ним производить в южных губерниях так нужнее для фирмы и для дальнейшей борьбы на внутреннем рынке сбыта. Спасибо за щедрый кредит счастливого пути Анастасия Екатерининская-Конюшников».

Телеграмма пришла из Харькова, и вскоре, перед отъездом Кати в Лондон, пришла вторая, из Ростова-на-Дону:

«Разыскали родных, находимся полнейшем благополучии целуем Винокурские».

Все понятно. Павлик и Настенька перешли в подполье, избавившись от Палицына, уверенного, что они за границей. Палицын дал тоже иносказательную телеграмму из Москвы:

«Заграничные долги по купчей уплачены мною лично процентами не беспокойтесь ваш покорный слуга Геннадий Наумов».

Пришло Кате и «коммерческое письмо», написанное очень знакомым почерком. В нем сообщалось о биржевых делах, предупреждалось о валютных колебаниях и о возникновении нового акционерного общества. Екатерина Алексеевна любезно приглашалась приобрести акции. Называлась фамилия купца первой гильдии; назывался банковский счет в Киеве.

Это писал милый Евдоким Иванович, «коммерцгер», бежавший из Питера. Он разыскал Павла и Настеньку. Письмо заканчивалось: «Надеюсь наладить связи с Лондоном и завязать торговые отношения».

Много раз перечитывалось Катей радостное известие. Хорошие надежды вселяло оно в ее душу. Не падать духом, верить, надеяться.

Не навсегда же она уезжает в Лондон. Непорываемы нити с дорогой Родиной. Не гаснет и не погаснет огонь Революции.

Павлик!.. Настенька!.. Милый Евдоким Иванович, вы не одиноки в глубоком подполье!

Думая так, Катя снова почувствовала неловкость за свой отъезд. Но возможно ли что иное? Не беспечным ли было бы для нее остаться в России? Не нашла ли бы ее Эльза и тот же Палицын, после того как тележный завод станет шутовымским? Нет, нет... Она не должна казнить себя. Отъезд за границу — единственный способ реальной помощи грядущей революции, единственный выход сохранить себя и все принадлежащее ей, которое будет отдано для свержения ненавистного строя. У каждого свой путь борьбы и свое место в этой борьбе.

Мглистым было финляндское утро, когда Катя Иртегова отбывала в далекий путь. Впереди неизвестный Лондон, позади родная Тихая Лутона. Марфа Максимовна Ряженкова, проводив до Гельсингфорса свою Катеньку, навстречу супружеству-замужеству, мысленно записала в синодик своей памяти еще одно доброе дело по устройству счастья других и вернулась блюстительницей старого иртеговского дома.

Провожал Катю ее верный паж Витя Пажевитин вместе со своей женой-красоткой Асенькой, преподавательницей женской гимназии. Верный себе поэт прочитал и отдал Кате прощальные стихи:

«Заря пленительного счастья»
Уже горит за тучей черной.
Трещат опоры самовластья!

Его надежды иллюзорны —
Исотвратим конец позорный!
Заря горит за тучей черной!
Заря горит! Горит заря!
«На гильотину короля!»

Катя поцеловала Пажевитина. Ася поцеловала Катю и сказала:

— Спасибо, Китти, за то, что вы оградили его от себя и сохранили для одной бесприданницы...

Катя, как всегда, быстра и находчива.

— Тогда, Асенька, передайте ей в приданое вот это.— Она сняла и закрепила на тоненькой шейке Аси «алмазный ошейник» тети Хины, купленный в Индии.— Он, кажется, велик. Его можно тысяч на семь укоротить. У тети, Виктор знает, была полная шея.

Но это теперь за кормой. Это было 21 октября, а сегодня Катя в пути. Сегодня, 22 октября, она представляла, каким счастливым победителем придет Патрикий Шутемов на тележный завод, дождавшись в конце концов приписки вожделенного «нолика» к своим капиталам. И он пришел...

Нет, он прибежал, он примчался вместе с полицией и пожарниками. Рабочие утром 22 октября разрушили завод. Взорвали перенагревом котлы. Сломали станки. Выбили стекла.

У Шутемова стало темно в глазах. Подломились ноги. Помутился разум.

На причале горят склады. Колокол на башне бьет набат. Вся Лутоня бежит на пожар... Винный подвал открыт. Выбиваются донья из уцелевших бочек. Пьют ковшами, ладонями, картузами, шапками. В ведрах, в горшках, в сапогах утаскивают даровую стоялую иртеговскую водку.

Пустой сейф не заперт. Исчезли чертежи станков, приспособлений и технологические схемы передач. Нет и заверенных поручительских «марочных» обязательств мужиков, купивших в рассрочку телеги. У Шутемова на руках только адресные карточки должников. Пойди по ним получи. Собери сто тысяч рублей с гаком...

На воротах главного корпуса еще не высохла дегтярная надпись с подтеками. Ее, между прочим, сочинил внук Матвея Ельникова, молодой сборщик колес Лаврушка Рябинкин, впоследствии Лаврентий Матвеевич Рябинкин, «живой архив Лутоня», подсказавший

этот роман и его название. Тогда на воротах он делал первые шаги в области рифмованной словесности:

«Царствуй и владей, душитель Патрикей».

А как вальяжно все сварганивалось у душеителя. Завод выглядел подарком Екатерины Иртеговой, искупающей свою вину за разорение Шутемова, что смягчило бы неприязнь рабочих к новому хозяину. Этот день стал бы днем возвращения заводу прежнего названия «товарищества на паях», опять в тех же целях смягчения отношений между хозяином и рабочими. Конечно, пай стали бы начисляться другим бухгалтером и не в том размере, раз в двадцать — тридцать меньше. Но об этом узнали бы потом. Так настоял умница Палицын и убедил, как важно для сбыта и роста капитала сохранить прославленную фабричную марку телег, известную теперь за пределами губернии.

Так назывался бы завод до тех пор, пока на нем не появилась бы новая вывеска: «Палицын и компания», а до этого Шутемов должен будет сесть в тюрьму и лишиться прав состояния вместе с дочерью за удушение Кокованина в постели, хотя они этого и не делали, но кто этому поверит, когда всплывет дело о повешении Витасика и злонамеренное замужество Эльзы, принудившей Адриана Кузьмича в день свадьбы подписать духовное завещание на движимое и недвижимое, а до этого разорение тем же любовным обманом векшенского заводчика Стрехова и последовавшее за ним самоубийство... И, наконец, спасение, укрытие двух отъявленных бунтовщиков, освобождение их за денежный выкуп, бежавших неизвестно куда, что подтвердят, во-первых, сторож, охранявший штабеля саней, а во-вторых, фотографические снимки сидящих в «потаенной кладовухе», сделанные Палицыным для показа их Иртеговой, чтобы та поверила, что Колесов и Лутонин живы и находятся в безопасности. Теперь же снимки, как и свидетельство перепуганной насмерть Магдалины, подтвердят другое. И этим делом займется не он, не Палицын, а такой же искусник, его ассистент, уже проверенный им иллюзионист и психолог. Но...

Но если Шутемов добровольно откажется от прав на владение заводом, безвозмездно «продаст» его компаньону Палицыну, то ему ничего не будет угрожать при условии выезда из губернии и обязательства никогда не появляться в Лутоне. Этот последний, бессуд-

ный вариант менее рискован для Палицына. А Екатерина Алексеевна Иртегова и не подумает выводить на чистую воду Геннадия Наумовича. Иначе затрещит все, и у живущих под чужими фамилиями политических эмигрантов возникнет много хлопот и неприятностей.

Так что Геннадию Наумовичу не миновать назваться фабрикантом. Сначала тележным... А потом жизнь покажет. Санное дело ему тоже не следует упускать из поля зрения. Но не следует и торопиться. Сначала одно, потом другое. Нужно дать Шутемову войти «счастливым хозяином» на завод, предоставить ему возможность принять на себя первые косые взгляды и недовольство рабочих, а может быть, и оскорбления. А потом, когда люди попривыкнут, смирятся со своей участью, можно начать действовать. Начать действовать с «пряника», пообещать увеличить пай, полиберальничать, озлобить тележников против Шутемова, а затем заняться подкопом и под него.

Нужно дать и Эльзе поверить, что она станет его женой, и развеять ее ночные сомнения, когда она под «боярским» кокованинским балдахином выплакивает на груди Палицына неотвязные подозрения, что «Генюси-сластусик» покинет свою «вороную лошадку» и оседлает белокурую Стаську Столля, у которой, кроме золотистой гривы, оказались отцовские триста тысяч рублей, не положенные им в купеческий банк и потому не найденные тогда Палицыным при розыске краденых денег графини Коробцовой-Лапшиной.

Дальновидная Эльза не ошибалась в своих подозрениях. Именно так и задумано Геннадием Наумовичем. После того, когда подставное «правосудие» возьмется за ее отца, он назовет заслуженным именем Эльзу и, «рыдая», лишится возможности назвать преступную подсудную любовницу своей женой. Он «вынужден» будет жениться на Стасе, на что ей дано согласие словесно и поцелуйно в Санкт-Петербурге. Туда она бежала с матерью после печального исхода отца, не пожелав похоронить утопленного. Лишние волнения. Да и отпевание не воскресит и не оправдает осужденного и проклятого всеми, а тень может бросить на оставшихся в живых, потому что Столля презренен как вор, о чем теперь стало известно и в кругах, ненавидящих революцию. Поэтому Стасе нужно как можно скорее расстаться с одиозной отцовской фамилией. Дочь не отвечает

за своего отца, а что касается оставшихся денег, то не она же присвоила их. И может быть, это не присвоенные деньги, а справедливо взятые, как недоплаченные графинею за его длительное служение на ее заводе, награда за смерть, которую он принял тоже благодаря службе у графини.

Следовательно, Стася чиста, безвинна, девственно благоуханна, и Геннадий Наумович, так похожий на Ленского, девятью годами старше ее, явится, как говорит ее мэм, гармонической парой, бесспорной гарантией идеальной и крепкой семьи, особенно после того, как он станет фабрикантом. Не каким-то управляющим, как отец, а настоящим, многообещающим, образованным капиталистом.

Это же и есть ее счастье, которое ей давно было необходимо.

LVIII

Но все случилось иначе. Павел Лутонин сумел написать и бросить письмо Марфе Максимовне, чтобы она рассказала все «старому Дятлу». С этого и началось. Яков Дятлов и уцелевшие члены правления товарищества были организаторами «святого возмездия».

Когда пожар был потушен, водочные подвалы опустошены и остались закопченные дымом стены «иртеговского кремля» да коробки цехов, когда связали и увезли помешавшегося на пожаре Шутемова, а кокованнинская отапливаемая кибитка уносила Эльзу и Палицына в Пермь, новейший английский пассажирский пароход совершал первый обратный рейс из Гельсингфорса в Лондон.

На палубе парохода, всматриваясь вдаль, стояла Катя Иртегова в легкой, просторной теткиной горностаевой шубке, спрятав сверкающие крупными голубыми бриллиантами руки в большую муфту, сшитую, как и шапочка, из того же особо ценимого на королевских церемониях Англии дворцового, снежно-белого меха с темными хвостиками.

Дул теплый для октября зюйд-вест, пытающийся вовлечь море хотя бы в трехбалльный шторм, а оно, ограничившись мелкими барашками, всего лишь посередело, как и небо.

Впереди на горизонте виднелась чужая земля, кото-

рая пока оказывается надежнее и тверже родной. Сюда переведены главные Катины деньги. Они будут возвращаться в Россию политическими книгами, брошюрами во имя торжества большого царства труда и маленького внутри его — царства Тихой Лутони.

Наконец-то ее деньги найдут благородное и святое применение.

Едущие в сверхдорогих каютах этой привилегированной палубы и даже чопорные дамы, принадлежащие к английской знати, выясняли, кто эта прекрасная леди из России, едущая инкогнито и ни с кем не выразившая желания завязать знакомство. Одни узнавали в ней по какой-то литографии великую княжну, другие видели в ней примадонну императорского балета и не сомневались, что Лондон будет потрясен, увидя ее на сцене. Эти догадки ценители хореографии полушепотом подтверждали: «Она поразительно сложена...», «В ней узнается русская школа величественной пластики...», «Ее движения даже во время обеда незнакомо грациозны». И никому, конечно, в голову не приходило, что эта живописная пери, способная украсить и достойно продолжить любой из аристократических родов Великобритании, может иметь хотя бы отдаленное отношение к русской революции, эхо которой не умолкало в Европе и за океаном.

Кто бы поверил, что эта «прима» на каменных плитах колесовского двора отплясывала в сарафане под озорную гармонь вместе с большевиком Павлом Лутониным в козловых сапогах огневую-плясовую «Барыню», а потом помогала мыть посуду и убирать со столов? Кто бы? Никто. Но все пришли к заключению, что Россия — оч-ч-чень таинственная страна, которая еще себя покажет миру.

А Катя, ничего не зная и не замечая, думала о своем.

И я думаю о своем.

Петя, милый, наивненький Петя Колесов, как ты тогда, на балу-маскараде, не разглядел Золушку и завертелся с этой, для коей недостаточно выразительны и режущие слух эпитеты русского народного просторечья, ставшей мимолетной забавой низкого, продажного Палицына, тоскующего по дну лутонинского пруда, встречу с которым ему через год устроит озверевший Яков Дятлов. Ему нечего больше терять, потеряв самое

дорогое в его жизни — радость труда... Он не простит Палицыну арестов тележников, расправ и порок по его доносам. Дорого будут стоять ему рубцы от розог на спине Якова Дятлова.

* * *

Пройдут годы и годы... Одни поколения сменят другие... И печальная повесть о неведомом царстве Тихой Лутони будет выглядеть старым сказом, древним преданием минувшего давным-давно.

Сказом, развенчанным и умершим, который кое-где и кое-кто попытается воскресить, во имя спасения собственной шкуры, рассказывая небылицы о «народном капитализме», о благостном перерождении царств звериных законов в царство труда и свободы. И как тут не вспомнишь присказку старика Лаврентия Матвеевича Рябникина о «старой кошке в заморской одежке», но с теми же когтями...

1969

ЯРГОРОД

РОМАН

**БЫЛО ЭТО ИЛИ НЕ БЫЛО, А К СЕРДЦУ
ЛЬНЕТ И НА ЛЮДИ ПРОСИТСЯ...**

Из сказового зачина

I

На козлах громоздкого тарантаса величественно и тронно восседал Вукол Лукич Ладушкин. Живописному старику так шла эта сказочная, ласковая фамилия, и кажется, невозможно было сыскать иной, более близкой к его нраву и облику.

Раскормленные лошади нерадиво тянули на отлогий увал превесьма старинный, но далеко еще не изъездивший себя экипаж. За спиной Вукола Лукича обменивались впечатлениями двое, встреченные им на вертолетной площадке. Ладушкин, прислушиваясь, тщетно попытывался у своей памяти, откуда ему знаком до последней картавинки ворковитый голос пожилого пассажира, ударяющего своим видом в сановитого артиста.

Память Вукола молчала. Она, переотягощенная хранением того, что никогда не понадобится ее владельцу, не удерживала за последние годы и самое необходимое. Тесно ей в большой стариковской голове. А куда деть, как сбросить запавшее в нее и освободить место для нового, более ценного? Она как-никак не старая кладовка, не захламленный чердак, откуда можно повыкидывать ненужное и предать его огню, а то и продать или подарить охотникам до ветхой рухляди. Такие находятся. Может быть, и эти двое тоже хотят вырвать клочок шерсти из тощего хвоста уходящей старины, и особенно тот, что постарше.

Тот, что постарше, назвался по прибытии Николаем Васильевичем Макарьевым. Ему, надо полагать, было далеко за пятьдесят, но чисто-начисто выбритое лицо, умело зачесанная лысинка, приткая походка, клетчатая курточка молодцеватого покроя помогали скрадывать годы.

Второй, по разумению Вукола Лукича, не прожил и двадцати пяти лет. Он был статен, ладен, ясен глазами, девичьим лицом, напевен голосом и подходяще звался — Юрием. Пухловатая бородка, судя по всему, отращивалась для прибавления возраста и весовитости.

В этом худого не было. Нутру человека виднее, какая ему нужна наружность. Вукол знает, что и он тоже не забывает о себе. Не дает норова своей гриве. На кой ляд ему благолепие среброкудрого Саваофа, царящего на пожухших облаках в куполе собора старого монастыря. Зачем позволять бороде буйство черемухового куста. Даже озорные, не желающие сесть брови и те надобно укрощать маленькими внучкиными ножонками.

Себя не обманешь. Годы есть годы, и никуда от них не уйдешь. Оно конечно... Вуколу иной раз бывает лестно, когда им любят неотгоревшие вдовьи глаза. А иные едва не молятся на его богоподобную статью, чуя за ней таежную силу скрытой живучести не по годам. Однако же узда нужна и душе человека, если ему желательно не сбиться с пути-дороги.

Пока разговаривали сами с собой неумолчные мысли Вукола Лукича, тарантас оказался на гриве увала. Ладушкин остановил лошадей и оповестил:

— Вот вам и наше чудо-юдо город Яргород. Коням здесь положен передых, седокам — разминка телес, кучеру — медовые слова: «Просим жаловать и любить, печаль-горе избыть, радость у нас найти...» И тому подобная пожелательная патока.

Ладушкин солнечно улыбнулся и пояснил:

— В старорежимные года, Николай Васильевич, наши ямщики умели завитушечными словесами выморщить у седоков лишний чаевой семнк. А теперь любуйтесь!

Отсюда, с увальной гряды, приехавшие увидели знакомый город. Он как бы сошел с картины «Умолкшая слава» художника Ивана Акимовича Лалетина и, увеличившись, ожил в своем естестве, предпочтя золотому багету рамы хвойное окаймление лесов. Ожил и темно-красный кремль с большеглавым собором, в окружении прянично расписанных колоколенок, толстостенных монастырских и тюремных зданий.

— Трудно поверить, что все это наяву, — нескрываясь восхищался Макарьев, снова утруждая голосом

память Ладушкина, решившего во что бы то ни стало дознаться, где он не только слышал, но и, как оказалось теперь, видел этого Николая Васильевича.

Любовался городом и молодой человек — Юрий Рыжаев:

— Я думаю, картина писалась Иваном Акимовичем с этой точки. Она, мне кажется, должна стать отправной и для нас.

— Может быть, и так, Юрочка. Может быть, в такой же утренний час, когда все так ярко освещено, — отозвался Макарьев, не отрывая глаз от города.

Его улицы, расходящиеся лучами от кремлевского холма, похожего на сопку с усеченной вершиной, упирались своими концами в еле заметный крепостной вал.

Николай Васильевич обратился к биноклю, но и без него можно было увидеть, что город стар и даже древен. Дома похожи на терема. Островерхие избы с двух этажах. Крытые дворы. Колодезные журавли. Приземистые большие бани. Широкие деревянные тротуары. Коновязи на площади... И только телевизионные антенны да линия электропередачи уводили Макарьева из прошлого в настоящее.

— А с чего, Вукол Лукич, посоветовали бы вы начать знакомство с городом? — спросил Макарьев, когда лошади снова покатали тарантас.

— Да ведь кто как, Николай Васильевич. Одни начинают с базара, другие — с кремля... Вам-то, по-моему, надо начинать с Полихрония.

— А что это такое?

— Это, с вашего позволения, будет Полихроний Сергеевич Зотов.

— Полихроний? Такое имя? — удивился Рыжаев.

— Имя как имя. Полихрониев в святцах три. Зимний, осенний и летний. У нашего Полихрония именинное число по старому календарю тридцатое июля. В один день с моим покойным батюшкой.

— А кто такой Полихроний Сергеевич?

— Долгий это рассказ, Николай Васильевич. Верст на двадцать езды. А нам километра три осталось. В них и скороговоркой не укладешься.

— Но все-таки кто же он? — не отставал Макарьев.

— Музейный человек. Его вам не миновать, если вы в наш Яргород не просто так, а специально.

Ладушкину еще больше захотелось узнать, кем будут, зачем припожаловали эти люди. Учивость помешала ему задать прямой вопрос, но вскоре он выяснил гораздо больше, чем хотел.

— Судя по антеннам,— прервал разговор Макарьев,— у вас чуть ли не в каждом доме телевизор.

— Есть и по два. А как же без них? Хорошие светлые окна,— принялся рассуждать Ладушкин.— Все края, все земли можно через них увидеть.

Ответ понравился Макарьеву.

— Именно окна... Именно светлые. И хорошо, что у вас много таких окон в Яргороде.

— Да как не хорошо, Николай Васильевич. Плохо только, что при множестве этих окон у нас нет дверей. Почитай, всего лишь одна, да и та булыжная с выбоинами. В распутицу начисто непроезжая. Который год нашу дорогу обещают гудроном со щебенкой залить. Да все откладывают. Очередь до нашего тупика не доходит. Вот и живем, как бы сказать, бездверно. И если б не вертолеты, то совсем как на острове с весны до осени. Зимой-то санный поезд ходит. Вагончики такие, на полозьях, большой челябинский трактор тянет. С обогревом вагончики. Наша выдумка. Километров десять в час санный поезд идет. Тише лошади.

— Надо верить в лучшее, Вукол Лукич,— сказал Макарьев, потому что иного ему было нечего сказать.

— Так мы и верим, Николай Васильевич.

— И хорошо делаете. Дождетесь и вы своей знатной юдоли. Возьмите, к примеру, Суздаль...

— Вспомнил! — вдруг крикнул Ладушкин.— Тпррру, голубчики. Узнал я вас, Николай Васильевич. По первой программе вы объясняли о Суздале, а по второй — о Кижях, тоже вашу картину обсказывали... Только тогда на вас очки постаромоднее были, а не эти. Они-то и не дали мне вас узнать. А теперь полные анкетные данные. Значит, вы к нам тоже по телевидческим делам.

— Почти...

— Но-но! — Лошади взяли рывком.— Дождался ты, наш родимый батюшка Яргород, и тебя весь белый свет увидит... Но-но, милые! Только вы, Николай Васильевич, не с увала начинайте показывать, а с дороги. И когда увидят, какова езда летом к нашему красотеющему городу, то, может, и форменную бетонку проведут.

II

Миновав старые деревянные сторожевые башни на валу, приехавшие очутились в городе. Чистый, опрятный, ухоженный, он чем-то перекликался с Ладушкиным, не давая повода упрекнуть себя в небрежении к своей внешности.

Город, заметно сопротивляясь старости, украшал свои улицы молодыми деревцами, яркими цветами, новейшими светящимися вывесками, нарядными палисадниками, приятной раскраской домов. Город будто хотел скрыть груз лет, остановить свое увядание.

— А где, Вукол Лукич,— спросил Макарьев,— посоветуете вы нам найти пристанище?

— У нас это не «проблематика», Николай Васильевич. Можно в «кельях», а лучше в «казематах».

— То есть в тюрьме?

— По-старому оно так, а по нашим временам первеющая гостиница, номер один. Решетки повыдерганы, окна чуть не по сажени каменщики пробили. Полы в паркетную шашку. Блестят под птичий глаз. Стены обшиты кедровым тесом, мореной лиственницей и дорогой, валютной, яргородской фанерой. «Казематы» слюксированы по две, а то и по три камеры в один семейный номер. Мы, как бы сказать, интуристично тоже промышляем. Ездят всякие разные. Ну, конечно, из Москвы тоже прилетают любители до наших мест, а иные и подлечиться на маркиных грязях. По телеграфу «казематы» заказывают. Артисты останавливаются. Уж на что Иван Акимович Лалетин тонкой кисти мастер — и тот за постой в «казематах» благодарственно залу под сводами расписал.

Услышав имя своего друга, Макарьев обрадованно попросил:

— В «казематы», Вукол Лукич, в «казематы».

Лошади, будто услышав знакомое слово, принялись разубеждать приезжих, показывая напоследок свою резвость, легко примчали тарантас к сводчатому крыльцу с пузатыми, расписанными под старину колоннами. Стеклянная вывеска оповещала древнеславянскими литерами: «Гостиница № 1».

«Казематы» привлекают всякого побывавшего в них, удивляя неожиданным превращением тюрьмы в приветливый отель, чаруя своеобразием убранства комнат и неподдельным радушием встречающих.

Каждый новый человек обращал на себя внимание местных жителей, тем более если прибывший известное лицо. Таким был Макарьев. До того как он и Рыжаев расположились, завершили все необходимые гостиничные формальности, в городе возник вопрос: а для чего, для каких целей понадобилось им снимать Яргород? И не просто, как оказалось, хроникально, а создать цветной документальный фильм.

«Почему и для чего?» — спрашивали себя и друг друга коренные жители. Спрашивали они не из простого любопытства. За этим «почему и для чего» стояло волнующее всех, хотя и предположительное, строительство под Яргородом гидроэлектростанции, а вместе с нею затопление Яргородской или Пятиреченской низины. Хотя слухи об этом подвергались сомнениям, все же приезд Макарьева и задумываемый им фильм наводили на размышления.

Не хотят ли град Яргород увековечить в кино тем, каким он есть, не ушедшим пока под воду, подобно граду Китежу? Об этом первым задумался Вукол Ладушкин, а задумавшись, в тот же первый день приезда Макарьева зашел к нему вечером, якобы узнать, как он устроился, как отдохнул с дороги. Начав так, он перешел к главному:

— А скажите, пожалуйста, Николай Васильевич, на какой предмет, ни с того ни с сего, как вы изволили оповестить регистраторшу, «многометражно и всесторонне»?

Макарьев ответил:

— Нужно вовремя захватить то, что может уйти.

— Куда? Под воду?

— Под какую воду, Вукол Лукич?

— Не скрытничали бы вы в разговоре со мной, Николай Васильевич. Кто на козлах сидит, случается, больше слышит и дальше видит.

Макарьев недоумевал. Он в самом деле ничего не знал о затоплении Пятиречья и вместе с ним Яргорода. Узнав об этом от Ладушкина, тоже задумался и, не скрывая, сказал:

— Теперь и я, Вукол Лукич, склонен подозревать, что не случайно так стремительно поддерживали мой замысел снять фильм, который я пока условно называл «Яргородская старина». Сейчас и мне начинает казаться, что вы правы. Уж очень как-то быстро и деньги, и

людей, и аппаратуру в первую очередь. И вдобавок съемки в сжатые сроки.

Больше и не нужно было Ладушкину. Все как на ладошечке. И совсем уж не были важны для Вукола Лукича иные предположения Макарьева!

— А может быть,— размышлял он,— причиной этому не затопление, а совсем другое. Я слышал, что Яргород будет переустраиваться и станет центром нового промышленного района. У нас же вы знаете как... Сегодня село, а завтра — город на сто улиц.

— Вашими бы устами, да жить нам улицами стали... Только я теперь уж ни во что не верю. Спасибо и на том, что вы телевидческую панихиду отслужите Яргороду, сохраните его... Экранно... Видимо... Памятно...

Ничего не ответил на это Макарьев, почувствовав, что миссия, так вдохновлявшая его еще час тому назад, теперь выглядит чем-то предпогребальным. Ему не хотелось верить, что Ладушкин прав и что с высоты козел он видит больше других. И если бы слух о затоплении Яргорода имел под собой хоть малую долю вероятности, то об этом не могли не сказать ему в Москве.

III

Между тем в Яргороде к осведомленным людям относились и кучера. Это слово, как и кучерская профессия, не уходило из города и в наши автомобильные годы. Гужевой транспорт при здешних плохих дорогах был незаменим, особенно в распутицу. А отсюда большие конные дворы. Одним из них заведовал Вукол Лукич Ладушкин.

На этом конном дворе в досужий обеденный час кучера и конюхи толковали о том, что волновало теперь не только их. Все сходились на том, что лесохимические, гидролизные, бумажные, фанерные и всякие прочие новые предприятия будут перерабатывать лесной переизбыток бескрайних дебрей яргородского Пятиречья. Против и подумать грех. Не гибнуть же на корню такому богатому зеленому добру. Все должно служить на пользу людям. Заводы для нас — благо. И толковать тут не о чем,— твердо заявлял Вукол Лукич. И так же ясно, что заводам нужна сила. Большая сила. Не конным же приводом приводить их в действие. Нужна электрическая станция... Но какая?

— В этом-то и дело, какая? — продолжил разговор шорник из молодых по фамилии Васенин, числящийся в передовых после сооружения им санного поезда. — Какая, — повторил он, — гидро или тепло? То есть водяная или торфяная? Нет спора, вода могучая и даровая сила. А торф? Разве торф у нас не даровой? А уголь? Пускай бурый-каурый или какой-то там, не знаю какой, не все ли едино, какой он масти, лишь бы горел. И этот тоже не мерян, толком не разведан, а куда ни сунься, везде свои уши кажет. Ужели ж и его затопить?

Все задержавшиеся в столовой конного двора решительно были за построение электрической станции, а может быть, и не одной, работающей на местном топливе. Всем хотелось верить, что затоплению не бывать. И особенно этого хотелось Вуколу Ладушкину. Сегодня он снова успокаивал себя и других, заверяя, что родному, незнамо как любимому городу не грозит затопление, а совсем наоборот — неслыханное возвышение и усмерненное возвращение его славы.

Не одна слепая вера питала Вукола Лукича. Не только золотые сны о «воспылании из угасания» Яргорода ободряли его, но и размолвки на этот счет среди людей ученых, умудренных в науках. В науках наземных, водных, а также тех, что сквозь толщу недр могут узнавать, что погребено там миллионы лет тому назад. И если в этом споре великие провидцы подземных тайников будут правы, тогда стариковские сны и научные мечтания его дотошного внука Романа обернутся такой явью, которую не уместит самая пылкая воображительная голова.

Пусть он, Вукол Ладушкин, темнее темного в этих делах, но ведь не надо большой светлоты, чтобы увидеть на озерцах маслянистые мазутные пятна. Откуда-то просочились они на заречных болотах. А в бескеросинные годы гражданской войны Леонтий, по прозвищу Лешачок, знал калужинки, где эту маслянистую мазутную жидкость можно было наливать в большие бутылки, чтобы тайно продавать для плошек-светильников. Лешачок скрыл эти калужинки. Говорит, забыл. Не в этом суть, а в том, что они были. А коли были, значит, есть. Это все тоже надобно писать в ту же строку...

— А строка-то эта стародавняя, — рассказывал Вукол Лукич. — Прознал про наши места рисковый много-

тысячный богатей Зацепин. Через тюремного надзирателя узнал. Казематы он надзирал, а в них поисковый горный инженер томился. Иволгин. Пятиречье как свои пять знал Иволгин. Гоняли его вместе с другими политическими лес валить. Вот с этих лесовальных работ и начались буровые работы.

Любивший говорить пространно и обстоятельно, Ладушкин не пропускал и второстепенных подробностей о том, как под большой залог было разрешено Иволгину и еще семерым заточенным в камерах переселиться в заречный острог, обнесенный двухсаженным тыном, построенный за счет того же Зацепина, обязавшегося оплачивать и стражу, а вместе с нею и надзирателя за непредусмотренный по его должности выездной надзор.

Мальчишечьи глаза Вуколки Ладушкина до сей поры хранят очертания буровой вышки, сооруженной из лиственничных хлыстов. Помнит он и бараки, где жили нанятые вольные рабочие, с обособленным пристроем для приказчика-распорядителя, назначенного Зацепиным. Двадцать верст до Яргорода — далекая дорога. Живал на «нефтяном прииске» и сам Зацепин, ожидая, когда хлынет из-под земли его миллионное богатство.

Чем глубже уходил бур, тем тише шел он и больше требовал денег. Совсем близко чуялась нефть, да капиталов не достало. Однако же на какой-то сотне саженей глубины нюхнули они перед полным банкротством, сколь сладко пахнет подземный миллион.

Суждения Вукола Лукича и других догадчиков на конном дворе были хотя и очень далеким, но все же аналогичным спором, который шел в сферах, где решался вопрос, каким быть яргородскому индустриальному району.

При всей несоизмеримости уровней доводов, утверждений, отрицаний, существо их оставалось тем же в своем зерне-первоначале, потому что разногласия в большей или меньшей степени были доступны всем слоям населения, заинтересованным в судьбе Пятиречья.

Пока гидротехники спорили с теплотехниками, сторонниками возведения станции на торфе и угле, требуя выяснения его запасов, назывались новые энергетические кандидаты. Правда, ни один из них пока не появился на поверхности, если не считать маслянистых пятен да газирующего источника на берегу излучины

Тьмини. В летописях тоже сохранились строки о «темных жирах на водах пятиреченских». Сейсморазведочные данные, хотя и туманно-предположительно, утверждали наличие газа и нефти под Яргородом. Принимались во внимание и давние прогнозы ученых. Все это вместе взятое и привело сюда поисковиков, разведчиков недр, трудившихся настойчиво, но безрезультатно. Ни нефти, ни газа не находилось. Зато находились люди, которые считали напрасными траты сил и средств на бурение скважин в Пятиречье, подтверждая это «пустыми» скважинами.

Отчаивались и многотерпеливые геологоразведчики. Нервничали. А время шло. Вместе с ним уходили надежды на успех. Реальными снова становились вода и торф, да отчасти уголь. Нужно было решать, что предпочесть, и в зависимости от этого проектировать месторасположение заводов и комбинатов яргородского промышленного узла.

В Яргород направлялся молодой ученый, выдающийся гидролог Михаил Сергеевич Мацоев, экспедиции которого было поручено обстоятельное комплексное изучение Пятиречья.

Пока Мацоев находится в пути, мы отложим рассказ об этом герое нашего повествования и вернемся к Макарьеву.

Он и его ассистент Юрий Рыжаев уже знакомятся с Яргородом. Следуя за ними, нам предоставится возможность узнать ближе город и некоторых живущих в нем.

IV

Николай Васильевич Макарьев, по совету Ладушкина, познакомился с Полихронием Сергеевичем Зотовым. Перед тем как пойти к нему, Макарьев узнал от Вукола Лукича о личности Зотова.

Ладушкин рассказывал длинно, на все его «двадцать верст». У нас нет этой возможности, хотя бы потому, что Полихроний Сергеевич не первостепенное действующее лицо.

Начнем с предков.

Дед Полихрония Сергеевича был иконописцем яргородского монастыря. Монастырь купил его у графа Строганова за большие деньги. Молодой тогда иконопи-

сец Никишка Зотов, не греша против уставных догм иконописи, ухитрялся наделять писомых им святых живым человеческим естеством так искусно, что его переманивали в другие обители, сулили ему и семье замену его подлой кабалности жалованной грамотой о вольной воле. А он, мало веря посулам, прижившись в Яргороде, писал мирских жителей, облачая их в евангелистические одежды.

Сын монастырского иконописца Сергей Зотов унаследовал любовь к отцовскому мастерству. Случались и у него стоящие иконки, которые и теперь ходят в большом рубле у знатоков этого рода искусства.

Однако же наследник прославленного живописца занедужил деревянной резьбой и предпочел ее кисти. Резал он иконостасы, фигурные кресты, иконы-складни для медного литья, которое было в большом спросе у старообрядцев. Не отказывался и от заказов инаковерующих, поклонявшихся идолам. Мастерил славных божков, за что платили куда щедрее. Не торгуясь, вознаграждали шкурками дорогого и редкого зверя.

Резчик Сергей Никитич зажил своим домом, вне стен монастыря. Он долго был бездетен. Когда же у него появился сын, он решил назвать его именем, содержащим тайный смысл, о чем поведал ему отец казначей монастыря, носивший имя Полихроний, что значит — многолетний. Отцу казначею было тогда под сто лет. Как можно было не поверить ему и не дать сыну имя Полихроний.

Родители Полихрония решили свое единственное чадо выучить не менее чем на архимандрита. Закончив духовную академию, Полихроний Сергеевич стал преподавателем в Яргороде, а потом покинул его.

— Любовь-матушка выселила Полихрония, — поведал Макарьеву Вукол Лукич. — А потом она же его вернула в родной город. Рассказывать об этом не берусь. Не все знаемое может быть пересказываемо. Если захочет, сам вам опишет, а если нет, значит, — нет. Замечу, однако, что живет он в уважаемом доме Адоевых. И, наверно, неспроста...

Так закончил Ладушкин свой длинный рассказ, который мы, как ни стремились, тоже не сумели сделать коротким, стараясь обстоятельно подготовить встречу Макарьева с Зотовым в монастырском архиве, которым ведает теперь Полихроний Сергеевич, как и созданным

им музеем. Встретились они в рабочей комнате Полихрония Сергеевича при архиве, где было тихо, где никто в этот воскресный день не мог помешать их разговору.

Макарьеву рисовался Зотов маленьким, согбенным, морщинистым старцем в затрапезном виде. А перед ним предстал высокий, сухощавый, с поседевшей бородкой клинышком, жизнерадостный человек лет шестидесяти, а не восьмидесяти трех. Он был в длинном черном сюртуке. При манишке и гуттаперчевых манжетах. И хотя в его внешности наличествовало так много из конца прошлого и начала нашего века, по всему остальному он был очень современен. Одежда выглядела на нем нарочитой. Будто она была ему необходима для данной роли лектора, профессора, историка из прошлого. Словно из уважения к теме разговора он принял этот облик.

На самом же деле Полихроний Сергеевич был франтом, не поклоняющимся старорежимности одеяния, но стремящимся сохранить все то, что ему казалось не подлежащим забвению.

— Вы спрашиваете, Николай Васильевич, могу ли я вам подсказать сюжет вашего фильма? — спросил Зотов. — Наверно, нет, а может быть, и да. Каждая жизнь, каждый человек — сюжет. Особенно теперь, когда город разворошен слухами, имеющими под собой почву и беспочвенно сеющими и злаки и плевелы. Поэтому куда бы ни заглянул ваш объектив, он увидит незаурядное. У нас в Яргороде все на виду, потому что город мал. Мне кажется, что сюжет вашего фильма может стать соединением многолинейного в единую картину жизни города. Каким бы ни оказался ваш фильм, он будет обязательно хорошим фильмом.

Макарьев привстал и поклонился.

— Как же вы так заранее, Полихроний Сергеевич? А вдруг да...

— Никаких «а вдруг». Город так насыщен и богат своеобразием жизни. От исторической экспозиции вам, разумеется, не уйти. Видите, я уже пытаюсь выражаться режиссерски. Историческая экспозиция неминуема.

— Преобязательно! И первый вопрос, который я хотел бы задать вам, Полихроний Сергеевич, это — почему так называется ваш город?

— С этого я и хотел начать.

Зотов стал за спинку своего кресла, предупредив, что стоя ему привычнее начать свой рассказ-лекцию.

V

— Преданий о названии города очень много. Одно из них гласит, что после распада Золотой орды начавшиеся междоусобицы привели к дроблению некогда могучего государства на мелкие царствишки, ханства, орды и просто кочующие, говоря на современном языке, банды, шайки, живущие разбоем и набегами. Одна из этих банд обосновалась в нашем Пятиречье, возведя на берегу Тьмини город по имени царька Ярга. Так, между прочим, называется одна из наших пяти рек. Другая легенда, повторяя чем-то первую, называет иное имя. Ярослав. Из новгородских смельчаков. И этот Ярослав, будучи прекрасен ликом, мягок нравом, покорил своим «ярким светом», истиной добра и малой данью окрест кочующие племена, до этого жившие в тяжелой ханской кабале. И воздвигнутый город на горе назвался Яргородом. Третья — а может, сороковая — легенда гласит, что город был заложен великим атаманом Ярмаком. Не Ермаком, а Ярмаком. Так он и назван в монастырской летописи, где безвестный летописец, не лишенный лингвистических мудрствований, считает, что имя Ярмак составилось из двух слов — «яр» «мак». Ярый мак. Оставивший нам эту летопись в душе, по видимости, был пиитом. Еще один монах из более поздних сочинителей доказывает, что город назван так в честь бога Солнца, древнего славянского вседержителя неба и земли — Ярилы.

— Прелестно, Полихроний Сергеевич, — восхищался Николай Васильевич Макарьев, — нелепо, анахронично, но прекрасно. А вы как думаете, откуда произошло название города?

— Мои суждения не блещут фантазией, — ответил Зотов. — Яргород — это город на яру. Яром, как вы знаете, называют высокий берег. В каких-то списках Яргород именовали Юргород, что одно и то же. «Юр» и «яр» — почти синонимы. И до сих пор бытует ныне уже записанная на магнитофоне былина, в которой есть такие строки:

Ой, да во граде на юру, древнем Юргороде!
Ой, да на высоком на яру, в славном Яргороде,

пропел Полихроний Сергеевич, подражая гусярю-ска-
зителю.

— Дальше, пожалуйста, Полихроний Сергеевич,—
попросил Макарьев.

— На «дальше» у меня голоса неостанет, да и
длинно. Минут на сорок. Если появится желание, може-
те прослушать запись в фонотеке нашего радиоузла.
А теперь антракт.

Полихроний Сергеевич достал из шкафа настольный
бочоночек:

— Прошу отведавать стоялого. Монастырские трапез-
ники знали, как бога обойти, как питье зеленого змия
ниспосланным господом медом заменить. В старину та-
кие меда бывали, что и стойких питухов обезноживали.
А этот в малоградусном разряде числится.

Гравированные серебряные ковшики были наполне-
ны и осушены.

— Ну, а теперь опять галопом по векам и эпохам,—
продолжал Зотов.— Город вскоре оказался переваль-
ным торговым пунктом, через который проходила одна
из самых коротких, правда, только зимних, торговых
дорог за Урал. Обилие рек позволяло сплачивать товары
в Яргород, чтобы, дождавшись первых морозов, санным
путем переправлять их за «Камень», за «Каменный
пояс земли», как в разные годы называли Уральские
горы. Товары оседали и в самом Яргороде. Появилась
значительная категория перекупщиков. Возник осенний
переторг, превратившийся потом в знаменитую Ярго-
родскую ярмарку. Сюда же привозились товары из-за
хребта. Их появилось особенно много в петровские и
послепетровские годы. Начинались времена металличе-
ских изделий. По замерзшим болотам, по скованным
льдом рекам товары перевозились в глубь Азии.

Макарьев, видя, что Полихроний Сергеевич утомлен
длинным рассказом, предложил выпить еще по ковшич-
ку, оговорившись:

— Глуп гость, угощающий хозяина...

— Пожалуйста, пожалуйста, Николай Василье-
вич...

Мед помог сделать новую передышку и оживить
рассказ.

— Так вот, изволите ли видеть, Николай Василье-

вич, наш Яргород стал знатным, богатым и, пожалуй, крупным по тем временам городом. Он длительное время был претендентом в губернские города, выполняя в некотором роде эту миссию. Здесь возникли предприятия типа дореформенных мануфактур. Со временем появились у нас и паровые машины. Сюда проникали искатели легкой наживы из иностранцев. Возникли гимназии. Женская и мужская. Прибывало население. А потом... Потом Яргород постепенно стал превращаться в Тишь-город, Глушь-город и, я бы сказал, в Бывш-город... В большое село с каменными постройками, с красавцем кремлем, в монастырь-город. Монастырь оставался единственным доходным предприятием, особенно после того, как деловитый игумен монастыря Никодим, в миру Кузьма Мытников, родом из купеческого звания, открыл мощи преподобного Иеремии. Отличные, доложу вам, Николай Васильевич, мощи. До сих пор остаются предметом изучений серьезных специалистов. Как и кто мог столь нетленно забальзамировать тело причисленного к лику святых под именем Иеремия? Но шут с ним, с Иеремией. Не в имени дело, а в том, что мощи припахивали... Припахивали, довольно сильно, нефтью.

— Та-ак,— промычал Макарьев.— Это уже интересно...

— И мне так думается, Николай Васильевич. Откуда могла взяться нефть? Или она входила одним из компонентов в бальзам... Или?.. Не знаю, что сказать!

— Может быть, просочилась из недр?

— Не знаю, может быть... Могила потерялась. Перепалась. Но, если хотите, наверно, найдутся указчики... Хотя прошло так много времени.

Зотов задумался, прошелся по комнатухе и пригласил Макарьева вернуться на столбовую дорогу.

— Столбовая дорога — сиречь железная дорога, соединяющая Европу и Азию, прошла не через нас, а мимо нашего Яргорода — переторг-города, пребывающего и поныне на отшибе. Вот и весь краткий курс яргородской истории, а все остальное на виду, на слуху, дорогой Николай Васильевич. А как эта история повернется, едва ли кто знает.

— А вы что думаете об этом, Полихроний Сергеевич?

— По-разному, Николай Васильевич. У меня не только семь пятниц на неделе, а и на дню семь суббот и одно воскресенье.

— Значит, одно, да есть. А в чем состоит оно?

— Как-нибудь об этом потом...

Полихроний Сергеевич устал. Утомился и Макарьев вместе с вами, читающими эти «архивные» главы. Поэтому сейчас из прошлого возвратимся в наши дни.

VI

По той же дороге несколько дней спустя другой Ладушкин, Ладушкин-внук, вез на шустром, обожаемом в этих местах вездеходе окончившую педагогический институт Машеньку Адоеву и того самого молодого ученого-гидролога Михаила Сергеевича Мацоева, которого мы уже называли. Они познакомились с Машенькой в поезде, оказавшись попутчиками, и, как это бывает, рассказали друг другу о себе.

Мацоев узнал, что его очаровательная белокурая собеседница, повторяя профессию своей матери, будет преподавать в Яргороде родной язык и литературу.

Рассказав о цели своей поездки в Яргород, Мацоев насторожил Машеньку Адоеву. Она постаралась расположить Михаила Сергеевича к себе, к милому Яргороду и тем более к Ромаше Ладушкину, который, как она знала, встретит ее. Так бывало всегда.

Оказалось, что Мацоев знает Романа Тихоновича Ладушкина по Москве, а потом выяснилось, что и Мацоев может быть назван давним знакомым, хотя они никогда и нигде не встречались.

Фамилия Мацоевых называлась в Машенькиной семье. Дед Машеньки был в дружбе и переписке с профессором Мацоевым и даже состоял с ним в каком-то родстве. Поэтому Маша осторожно спросила:

— Не правда ли, ваша фамилия встречается не так часто? Я, например, слышу ее второй раз.

— А где же вы слышали ее в первый?

— У моего дедушки гостил его друг и дальний родственник профессор Мацоев.

— Профессор? Профессор чего... Как его имя? — заинтересовался Мацоев.

— На этот вопрос вам могут ответить бабушка и мама.

— Вы знаете, Машенька, если ваш дедушка был со-

ставителем букварей и учебников для народных училищ, тогда гостивший у вас был не кто иной, как мой дед. А мы... Я не знаю, кто мы... Но какая-то родня, на каком-то киселе...

— Боже, боже... Это невероятнее невероятного,— Машенька готова была обнять и расцеловать Мацоева.— Нужно сегодня же выяснить, в каком родстве мы находимся. Мне почему-то кажется, что мы кузены. Пускай троюродные... пятиродные или какие еще... Но больше я вас не могу называть Михаилом Сергеевичем. Вы мой кузен. Вы слышите... А я—ваша кузина, шер Мишель. И если это будет не так, то не окажется более несчастной, чем я.

— Это так, Машенька. По-другому и не может быть. А если может быть, то не будет. Должна же у меня быть на свете хотя бы одна, хотя бы тридцатитрехродная сестра.

— И у меня тоже должен быть...

Проходивший мимо открытых дверей купе вагона сказал грузному и пожилому пассажиру:

— Как нынче все стало просто и доступно.

Так он сказал потому, что Машенька в эту минуту подставила Мацоеву щечку и тот поцеловал ее.

— Теперь-то уж, шер Мишель, я поняла, что вы, без всякого сомнения, будете жить в Яргороде у нас.

— Вы так думаете, Машенька?

— Не только я. И мама, и бабушка... И мама, и бабушка,— повторила Машенька,— будут оскорблены, если вздумаете... Если вы начнете придумывать всякие причины...

Начатое в вагоне продолжилось на вертолетной площадке, где Роман Ладушкин встречал Машеньку Адоеву. Она, до того как поздороваться с ним, представила Мацоева:

— Мой кузен. Шер Мишель. Знакомьтесь!

— Мы знакомы с Михаилом Сергеевичем,— Ладушкин подал Мацоеву руку.— Как хорошо, что нашу кашу будет расхлебывать не кто-то, а вы. С приездом!

— Благодарю вас, Роман Тихонович...

VII

Перегрузка багажа была минутной. В пути Ладушкин снова заговорил о «каше». Мацоев нехотя ответил:

— Целесообразность подскажет ход событий.

Маша посмотрела на Мацоева.

— Михаил Сергеевич, я познакомилась с одним человеком, а увидела другого. Другой голос и другое все.

— Нет, все тот же... Только другая тема и другой поворот разговора. Если бы я мог ответить Роману Тихоновичу определенно, то мне бы не понадобилось приезжать сюда.

Роман Ладушкин, обрадовавшись встрече, теперь не лелеял надежд. Мацоев, подвергший сомнению проект строительства Пятиреченской ГЭС, может и защитить его. И Мацоев подтвердил это:

— Меня сюда послали не потому, что я этого хотел, а потому, что я усомнился в замыслах инженера Гаева. Да, усомнился. Но сомнения — не отрицание.

Далее они старались не касаться затопления и цели приезда Мацоева. Когда же вездеход взлетел на гребень знакомого нам увала, Роман Тихонович по дедовской традиции остановил машину и пригласил Мацоева полюбоваться бескрайностью лесов:

— Неужели, Михаил Сергеевич, найдутся люди, способные упрятать все это под воду?

— Я вместе с вами жалею эти прекрасные леса,— ответил Мацоев.— И все же, Роман Тихонович, как ни прекрасны ваши ландшафты, их прелесть не может подчеркнуть насущную необходимость края.

Высокий, рыжий, очень некрасивый, гривастый, узловатый Мацоев вышел из машины, остановился, задумался, что-то хотел сказать, как заметила Машенька, передумал и сказал другое:

— Я сюда послан не продолжать спор, а завершить его. И думаю, что завершу. Мне в этом поможет покойный Иван Павлович Танеев. Я смею назвать его отцом моей науки. Любящим наставником, бичующим судьей и добрым другом. Вы же знаете, Роман Тихонович, моего учителя.

— Еще бы... И я отчасти считаю себя учеником Ивана Павловича.

— Тогда нам легче будет понять друг друга и объединиться.

— Я верю, что вы объединитесь,— вмешалась Машенька.

— Но только я хочу заметить,— предупредил Ладушкин,— кроме гидрологии, науки, так сказать, на-

земной, есть и моя подземная наука. В данном случае, Михаил Сергеевич, они неразделимы.

При этих словах Роман Тихонович указал на далекие буровые вышки. На лице Мацоева прочлось сочувствие.

— Мне известно, вы терпите неудачу за неудачей. А я почему-то верю в нефть. Не знаю почему, но — верю.

— И я, — обрадовалась Маша. — Если трое верят в одно и то же, они уже объединились верой.

— Есть и четвертый, Маша. Ваш учитель, Михаил Сергеевич, — сказал Ладушкин, — тоже предсказывал нефть в наших местах.

— Я этого не помню, Роман Тихонович.

— Есть его письмо о нефти.

— Кому?

— Вы едва ли знаете это имя. Вы познакомитесь с ним. У него до всего доходят руки. Вот он-то и спросил в письме Ивана Павловича о нефти. Иван Павлович ответил. Я помню почти дословно: «В запрогнозированных учеными месторождениях сибирской нефти, полагаю, что восточные склоны Урала тем более не должны оказаться исключаяющим ее».

— Я могу прочитать это письмо?

— Вы непременно прочтете, шер Мишель. Вам его покажет Полихроний Сергеевич Зотов. Вы встретитесь с ним сегодня же в нашем доме.

Машина тронулась. Мацоев молчал до вала, а миновав его, сказал:

— Напрасно вы думаете, Роман Тихонович, что я только «наземник». Разумеется, недра для меня темнее, чем для вас, но не беспросветны.

VIII

До того как Мацоев, Машенька и Ладушкин от западных «Каменных ворот», пересекая город, придут на Приваловую улицу, где неподалеку от восточных «Торговых ворот», окруженный деревьями, стоит молчаливый адоевский дом, нам нужно в справочно-беглом темпе узнать об учительской династии Адоевых.

Первым из Адоевых в Яргороде появился Леонтий Федорович. Он был заточен в крепость за «чрезмерное усердствование в насаждении народной грамотности».

Потом помилован и «пожалован» свободным проживанием в губерниях по ту сторону Уральских гор.

Его сын, Максим Леонтьевич, с трудом добился права быть принятым в университет. Окончив его с отличием, вернулся в Яргород, где преуспел в деле просвещения, за что был чтим и уважаем. За это же Максим Леонтьевич попал в немилость властей. Его хотя и не лишили права преподавания в учебных заведениях, но запретили «начальствование в оных». В Яргороде нашлись люди, которые, сочувствуя Адоеву, извлекли пользу из его бедственного положения. Ему было предложено создать частное реально-коммерческое училище. Владеющие деньгами нашли способы сделать главой реально-коммерческого училища Максима Леонтьевича.

Училище вскоре стало образцовым. Но главные успехи Максима Леонтьевича были вне стен училища и за пределами Яргорода. Адоев, недовольный теми учебниками, что печатались и рекомендовались, называя их далекой от народа схоластикой, попробовал составить свой букварь. Друг студенческих лет Максима Леонтьевича, профессор Михаил Степанович Мацоев, был влиятельным лицом. Он-то, рецензируя адоевский букварь, доказал его ценность и необходимость быть изданным и допущенным.

За первым букварем последовал второй и третий. Для сельских школ. Для городских школ. Появилась и книга, названная «После букваря». За нею Адоев представил «Хрестоматию для народных училищ». Обратила на себя внимание и грамматика Адоева. Не ожидая и не желая, Адоев стал известным автором учебников и состоятельным человеком. Гроши, полушки, отчисляемые издателем с каждой проданной книжки, составили суммы, позволившие Адоеву построить свою школу, названную им «школой народной грамотности и ремесел». Школа была бы закрыта, если бы не имя автора хрестоматий, азбук для взрослых и самоучителей по письму и счету.

Тронуть Максима Леонтьевича, у которого именитые издатели добивались монопольного права на издание его учебников, было не так-то просто.

Благоверная Максима Леонтьевича, ныне здравствующая Марфа Владимировна, видя чрезмерно широкую благотворительность мужа и опасаясь, что удачи не всегда будут сопутствовать ему, занялась сбережени-

ями на черный день, какими, по ее убеждению, мог быть дом.

И в Яргороде на кольцевой Приваловой улице появился адоевский дом. Так он зовется и теперь. Строился дом на большую семью, на широкие гостевые приемы. А гостей у Адоевых бывало «со всех волостей» и многих губерний.

Увлеченный своей педагогической деятельностью, Максим Леонтьевич не вникал в строительство дома, ни в чем не перечил своей Марфиньке.

Друг семьи Адоевых Зотов не жалел ни сил, ни времени, помогая Марфиньке в ее строительной затее.

Адоевский дом стал местом, где мог встречаться «разночинный и ссыльный люд», который не всегда и не всюду принимался в Яргороде, а здесь был приглашаем и уважаем. У Адоевых бывали чтения, литературные утреники, званые вечера с танцами и «открытые субботы», перенесенные потом на пятницы. Субботний вечер, по разъяснению духовных лиц, должен принадлежать молениям, а не гуляниям.

Вполне понятно, что адоевский дом находился под надзором полиции. При этом не тайным, а явным. Этого хотел и сам Адоев, заявив однажды исправнику, что, во избежание непредвиденного, ему бы желательно для лучшего самочувствия гостевое присутствие в его доме лиц, пекущихся о благонравии умов.

Умный и осторожный Адоев предпочитал гласность скрытности, зная, что в Яргороде нет и не может быть тайн. Ненавидя самодержавие и веря в неизбежность его падения, Максим Леонтьевич честно признавался себе в неспособности к политической деятельности. Однако Адоев верил, что все написанное им, собранное в учебниках и хрестоматиях, озаряло внутренний мир детей верой в лучшее, будило в них ненависть к порабощению. Будило так «дозволенно», что и мракобес не осмелился бы назвать труды Адоева крамолой.

Это было понято и оценено теми, кто учился грамоте по адоевскому букварю. Неподалеку от адоевского дома установлен бюст Максима Леонтьевича, рано ушедшего из жизни.

Полихроний Сергеевич, оставаясь другом дома, помогал Марфе Владимировне воспитывать дочь Оленьку. Сегодня Ольга Максимовна ждет Машеньку, свою дочку.

Бабушка и мать Машеньки Адоевой с утра готовились к встрече. Старенькая Марфа Владимировна нарядна, весела и молодцевата. На ней лет двадцать не надеванное кружевное платье на лиловой атласной подкладке. Она в наколке из тех темно-ржавых, когда-то модных кружев. В ее ушах старинные, вышедшие из моды и снова входящие в нее удлинненные серьги. Оказалось, что высокие каблуки ничуть не противопоказаны ее ногам, а браслеты и кольца не старят ее морщинистые руки, а только подчеркивают, как хороши были они, как изящны и теперь тонкие и длинные пальцы.

Мать Маши, Ольга Максимовна, надела привычный светло-коричневый костюм. Так лучше и проще. Зачем что-то изменять в своей внешности. Ей поздно молодиться, но и не следует выглядеть старше своих сорока шести лет.

Самое трудное было представить себя тещей. Само слово «теща» не ласкает слух. А она готовится стать ею. И пусть жених Машеньки увидит в ней не мать, а старшую сестру невесты.

Так правильнее. И не просто правильнее, а правильно. Такой она стала за последние годы в отношениях с Машенькой. И уж, конечно, Ольга Максимовна будет называть Валерия Викторовича Княженикина по имени и отчеству. Так же, как и он ее.

Вообще-то говоря, хорошо, что ему больше тридцати. Все-таки, когда девчонка выходит замуж за мальчишку, в этом часто бывает много непродуманного. Это Ольга Максимовна знает по себе. От ее молоденького, легкомысленного мужа осталось только Машенькино отчество — Николаевна, и больше ничего. А тут все взвешено. Любовь, как бы ни была пылка, не должна пренебрегать всем остальным. Рассудочность тоже не всегда плохая сваха.

Ольга Максимовна вдруг спохватывается. Не слишком ли она укоротила юбку? Кажется, нет. Нельзя же в самом деле одеваться наперекор всем.

Шум приближающейся машины перевел мысли Ольги Максимовны.

— Втроем приехали, — возвестил голос Марфы Владимировны. — Только почему он такой длинный и неуклюжий.

Ольга Максимовна увидела вышедших из машины. Третьим был не Княженикин.

— Сейчас, сейчас, мамочка, я тебе все, все расскажу, — будто предупреждая недоумение матери, говорила ей Машенька через открытое окно. — Это такой невероятный гость, такая изумительная находка, что бабушке немедленно нужно принять двойную дозу валерьяновых капель.

Остальное Машенька договорила в передней, вводя за руку Мацоева.

— Имею честь отрекомендовать вам внука Михаила Степановича Мацоева, друга моего дедушки и вашего друга, бабушка, Михаила Сергеевича Мацоева.

— Не из тучи гром! — схватила за голову Марфа Владимировна. — Миша, Мишенька! Да когда ты успел такой соснищей вымахать! Я же тебя ребятенком знала. Здравствуй, дедушкин портрет. Из рыжиночки в рыжиночку — Михаил Степанович. Подставляй лоб! А ты, Ольга, тем часом накапай мне в самом деле этих...

— Я же предупреждала, мама. Сейчас, я сама.

Мацоев неловко нагнулся. Вытянул шею и подставил лоб.

— Господи, — снова заговорила Марфа Владимировна, — и шея дедовской длины. Иди, я тебе покажу самого себя в рамке.

Михаила Сергеевича провели в комнату, где среди других был портрет деда Мацоева.

— Вы знаете, я так взволнован, что и мне, кажется, нужно накапать этих самых... Или лучше просто воды, — заикаясь, попросил Мацоев. — Прошу извинить... Когда я нервничаю, у меня начинается... — он икнул, — вот это самое.

— Ну надо же так повториться, Мишенька, — радовалась Марфа Владимировна, — и это у тебя от деда. Он тоже, как что-то не так... Даже лепешки содовые при себе носил. И ты носи.

Выпив стакан воды, принесенный Ольгой Максимовной, Мацоев спросил:

— А вам не кажется, что я постепенно начинаю превращаться в ликующего осла? Я не видел, как помню себя, такого гостеприимства. Я отвык, а может быть, и не привыкал быть дома, даже — дома. И откуда во мне такая развязность... Вы понимаете, я уже не представляю, что могло быть иначе, что я мог остановиться не в

этом доме, а в каком-то другом... Однако я должен познакомиться...

— Наверно, — весело отозвалась Ольга Максимовна. — Но это никогда не поздно. Имею честь... Ольга Максимовна Адоева. Заслуженная учительница... Кавалер двух орденов и четырех медалей.

Она сделала реверанс, какой делают в старых испанских комедиях.

Машенька не ожидала такой веселости от матери. Она не могла предположить звонкого хохота у Мацоева.

— Извольте, сеньора, — раскланялся Мацоев. — Я тоже кавалер не без орденов и не без степеней. Мой ассистент доложит вам по приезде, как я славен, знатен и скучен. Впрочем, вы в этом убедитесь тотчас, как только я, счастливо выбитый из колеи, верну в нее свои колеса.

После этих слов Мацоев, как бы подтверждая сказанное, как бы выходя из навязанной ему роли, помрачнел. И все заметили эту перемену.

Ольга Максимовна первой под села к нему, а за нею и Машенька.

— Что с вами, Михаил Сергеевич?

— Вы знаете, Ольга Максимовна... Я вдруг увидел себя ослепленным болваном, такое однажды случилось в моей жизни... и что не должен останавливаться в вашем доме.

— Вы с ума сошли, — прикрикнула Маша, — как вы смели?

— Да, Михаил Сергеевич, вы, пожалуй, впрямь или этот самый слепой... — как учительница с учеником, стала говорить Ольга Максимовна, — или... или жестокий человек. Можно пренебречь мною. Можно посмеяться над Машкой, такой доверчивой. Но плюнуть в душу старой женщины, которая обожала вашего деда. За это, извините, указывают на дверь...

Мацоев страшно обрадовался:

— Как хорошо, что Марфа Владимировна не слышала моей дурацкой тирады.

— Приведите, пожалуйста, в порядок свои «колеса», и затем — к столу. А где же Ромаша?

— Я тут, у окна. Жду, какие будут распоряжения относительно багажа. Теперь я вижу, что его нужно внести, а затем отобрать у Михаила Сергеевича паспорт

для прописки, попридержав его на случай самовольной выписки. Сейчас я это сделаю.

Снова стало весело. Улыбка Ладушкина осветила и Мацоева. Встав против зеркала, он обратился к нему:

— Правдолюбивейший из портретистов! Вам, наверно, никогда еще не приходилось отражать более очевидных слюнтяев, нежели ваш покорный отразитель. Смейтесь, зеркало!

— Пусть только попробует, — сказала Машенька. — Я разобью его вдребезги. Ах, какую чепуху я несу, Михаил Сергеевич. Видимо, психонервно-душевно и всякая другая переизбыточность, — она показала на голову, — заразительно заразна... Я вас люблю.

— И я, — сказала очень громко Ольга Максимовна.

— Присоедините и мою любовь вместе с этим, — Ладушкин поставил на журнальный столик бутылку шампанского. — И если для меня найдется место за столом, то я не буду требовать чаевых за доставку двух пассажиров и девяти мест багажа.

Х

Всякий многочитающий, а следовательно, многоопытный, человек обычно предвидит течение событий и предрешает развязку судеб действующих лиц, с которыми он знакомится на страницах романа, повести или какого-то другого произведения, и нередко, махнув рукой, не дочитывает начатого. На это не должен быть в обиде пишущий, но за ним остается право предупредить своего собеседника, что иногда книжные страницы, подобно страницам жизни, неожиданно оказываются совсем не теми, как хотелось бы, как наиболее желаемо, а иногда и логично. Поэтому, оставив домыслы, предоставим людям и всему, что происходит в Яргороде, оставаться самим собой.

Пусть сама собой будет и Машенька, вернувшаяся совсем не той, какой она увиделась нам. Она весела, потому что не может позволить себе огорчить мать, бабушку, Полихрония Сергеевича. Ее ждали с женихом. Все было готово к ее свадьбе. А теперь? Мать она предупредила:

— Пока не спрашивай о нем. Я и сама не пойму теперь, как относиться к нему.

Ольга Максимовна, зная не менее себя свою единст-

венную, с первых минут встречи с ней поняла, что ее «голубоглазая незабудочка», «ясеневая ветрочка», ее «легкокрылая ласточка» в своем неумолчном щебете, в беснующемся хохоте скрывает горечь и боль. И ее внимание к Мацоеву, стремление расположить его к себе, матери, бабушке тоже предсказывало Ольге Максимовне желание дочери хотя бы оттянуть и тем самым смягчить неминуемый разговор о рухнувшем счастье.

Бедная доченька, неужели не обманывают материнские предчувствия? Может быть, еще можно чем-то помочь, как-то повлиять, вмешаться. Мало ли в юности размолвок, маленьких, легко устранимых ссор. Не дожидаться же Ольге Максимовне, когда шадящая ее дочь придет выплакать свои обиды.

Нет, мать не должна оставлять свою Машеньку наедине с ее муками.

Когда смолк старый адоевский дом, Ольга Максимовна вошла в комнату дочери. Она лежала с открытыми глазами. Освещенное луной розовое родное личико увиделось мертвенно-бледным, исхудавшим. Слезы досказывали о случившемся.

— Я знала, что ты придешь, и боялась за тебя. Ничего такого не произошло, мама. Валерий не разлюбил меня. Я даже склонна оправдать Валерия. Наверно, всякий другой на его месте поступил бы так же...

— Как? — спросила мать, присевшая на край кровати. — Как?

— Мама, у него блестящее будущее. Он так талантлив и успешен в своих исторических трудах. Наш Яргород, его богатые нетронутые архивы манили Валерия. Он видел здесь тему будущей докторской диссертации. Но появился инженер Гаев.

— Кто этот Гаев, Машенька?

— Тот самый гидроинженер, который хочет затопить наш Яргород. Положим, это пока еще все спорно... Мацоеву поручено проверить, прав ли Гаев. Гаев так жаждет превратить Пятиречье в море. Он и рассказал Валерию о море так убедительно, в таких подробностях, что для Валерия наши архивы потеряли всякий смысл и, как он выразился, стали «бесперспективными диссертационно». Бесперспективным стало и все остальное...

— Маленькая моя, ничего особенного не произошло, — прервала дочь Ольга Максимовна и принялась утешать.

Прервем и мы Ольгу Максимовну и расскажем историю об историке Княженикине.

Валерий Викторович Княженикин, девятью годами старше Машеньки Адоевой, рано заявил о себе как о будущем историке, знатоке прошлого Урала. В студенческие годы появились его первые публикации, обратившие на себя внимание. Блистательно закончив аспирантуру, он стал известен трудами о Чердыни, носившей некогда название «Пермь Великая». После исследований о походе Ермака, о первых солеварнях он стал одним из самых молодых кандидатов исторических наук.

Усидчивый, терпеливый, ушедший в науку Княженикин был далек от нежных чувств. Не внемля чарам обольстительных девиц, казался безнадежно отрешенным сухарем, пожизненным жрецом науки, «приявшим академическую схиму».

Так говорили. Так не было на самом деле. Княженикин давно и тайно был влюблен в студентку, выделявшуюся среди своих подруг достоинствами героинь тургеневских времен. Мечтательна, скромна в нарядах, последовательна во взглядах, застенчива и вместе с тем смела, когда ей нужно было защитить свои суждения.

Княженикин оценил и то, что юноши, достойные предмета своих воздыханий, были только кругом добрых ее друзей, товарищей по курсу. Ровна, приветлива со всеми, она не выделяла ни одного, кто будет награжден ее первой девичьей улыбкой. Поэтому Адоева слыла среди сверстниц «синим чулком», и ей сулили участь старой девы. Они не знали, не допускали, что сердце Машеньки Адоевой сделало свой выбор. Не замечая, она роняла знаки внимания тому, кто стал ее мечтой.

Ее мечта, Валерий Княженикин, как-то признался в кругу своих друзей:

— Адоева незнакомо прелестна. Она чарующе заметна тем, что не стремится быть заметной.

Княженикин так искренне и вдохновенно говорил о Машеньке, что собравшиеся у него друзья сказали:

— Признайся в этом ей и женись.

Княженикин, смущенно покраснев, спросил:

— Кто может поручиться за исход, если б я осмелился...

Княженикину не дали договорить. Да и не нужно было договаривать. Все понимали, что не пройдет и

дня, Адоева узнает, каким огнем пылает Княженикин.

Так и произошло. Весь курс заговорил о Маше. Вот вам и барышня «из лет минувших и далеких», воспитанная матерью на женских образах классических романов. Наверняка и древний Яргород формировал в ней героиню, из тех, что нынче не берут и в мелодрамы, предпочитая розовому лаку буйство ярких красок. И все же...

И все же друзья Маши понимали, что ее «старомодные идеалы» не расходятся с основами морали наших дней. И те, кто стали жертвами заманчивых мгновений, молча сожалели об отгоревшей торопливости влечений. Адоева по праву заслужила большое счастье с безупречным, уважаемым, красивым, известным человеком.

Валерий Викторович, настужь распахнув себя, впустил и поселил в себе Машеньку.

Объяснение произошло после сдачи зачета Княженикину в его кабинете.

— Простите, Валерий Викторович, но я должна спросить вас...

— Я к вашим услугам, Машенька. — Так он никогда не называл ее, а назвав, не заметил, что в это милое, широко бытующее имя он вложил столько тепла, что для нее все предрешилось. Поэтому ей тем более нужно было упрекнуть его:

— Скажите, Валерий Викторович, зачем понадобилось вам такое гласное, широкое признание? Зачем вы заставили меня услышать от других, что я ждала от вас?

Княженикин признался честно:

— Машенька, я трус. Машенька, простите, но я боялся вас, боялся за себя... И вообще во мне бы не нашлись... Я бы проглотил вместе с языком слова, которые я, кроме матери, не говорил никому.

Маша осмелела:

— Чистосердечное признание всегда смягчает наказание. Я, придя к вам в этот поздний час, готовилась вас отчитать. Но, видя вашу бледность и не находя теперь в себе обидного для вас словечка, я все же не снимаю обвинений.

— Чем я могу снять ваши обвинения? Готов на плаху!

— Лучше на берег. На берег возле спуска.

Счастливый Княженикин понял, что теперь все решено.

Весной дышала осень. Черемухой цвела зима. Их встречи были часты. Библиотека, драматический театр, лыжные прогулки, музеи, каток, вечеринки у знакомых, экскурсии, поездки «просто так» — все становилось местом их свиданий.

Близились зимние каникулы. Маша не могла не побывать у матери.

— Валерий, нам предстоит разлука. Долгими покажутся эти две недели.

— Долгими? Ты что? Как мы можем разлучиться хотя бы на два дня? Я все продумал, Маша.

— Что все?

— Машенька, мне кажется, как говорили встарь, мы должны испросить, пусть символическое, так называемое благословение на брак у Ольги Максимовны. Нужно представиться и бабушке Марфе Владимировне, откомендоваться Полихронию Сергеевичу и вообще оформить и зафиксировать моим визитом наше соединение... Оговорить, предусмотреть, как мы устроим жизнь...

— Валерий, — остановила его Маша, — все это правильно, но почему так диссертационно?

На это было сказано:

— Прости меня, Мария, но мы переступаем значительный порог. Слияние двух любящих, а не случайно вспыхнувших сердец требует серьезности ничуть не меньшей, чем большой научный труд.

В его словах снова услышалась искренность и прямота и вместе с тем вплелась какая-то откровенная рациональность. Это чужая нить в лирической канве. Зато в ней нет ни грани лжи. А это главное. И если быть справедливой до конца, то и ее душа не соткана из солнечных лучей. В ней тоже есть свои изъяны. Маша, еще недавно молясь на Княженикина, теперь сама хотела поклонения.

Любовь обязана щадить. Влюбленные должны взаимно помогать друг другу освобождаться от всего папосного, мешающего их счастью.

В Яргороде они появились порознь. Сначала приехала она, а через три дня — Княженикин. Так находил он правильное. Правильнее для молвы и для традиций. Валерий предпочел остановиться в гостинице. Яргородцы оценили и это, Княженикин получил хорошую огласку.

В Яргороде любили, когда все чин чинком, а не кое-как.

Настал день представления матери Машеньки и ее бабушке. Жених пришел в темной паре, в ослепительно белой рубашке, в умеренно расцвеченном галстуке, в теплых меховых башмаках. С подарками. Бабушке — легкий халат на гагачьем пуху, настоящую оренбургскую шаль, для эффекта уложенную в именной чайный стакан.

— Купил старуху, купил, — нескрываясь радовалась Марфа Владимировна, когда из стакана была извлечена огромная пуховая шаль.

Ольге Максимовне по подсказке Машеньки Княженикин преподнес затейливый кофейный сервиз и янтарные бусы.

Поблагодарив за подарок, Ольга Максимовна заметила:

— Хороший суфлер у вас был, Валерий Викторович. — И, тут же надев бусы, сказала: — Сервиз обловим сегодня же.

Не был обойден и Полихроний Сергеевич. Давно хотелось ему обзавестись большой, в половину пищевого листа, лупой, позволяющей читать неразборчивые старинные письма. Перед ним предстало желаемое.

— Не знаю, как и чем отблагодарить вас, Валерий Викторович, — поклонился в пояс Полихроний Сергеевич. — Но думаю, что, если жизнь не оборвет мои годы, я не останусь в долгу, когда вы займетесь яргородской, неподнятой, архивной целиной.

Жених очаровал Адоевых. Особенно люб показался он старой, придирчивой, зоркой Марфе Владимировне. Непьющ, некурящ. Чист лицом, ясен во взоре. Учтив, опрятен, малословен. Нетороплив в движениях, предупредителен в мелочах. Одним словом, лучшего не пожелаешь для внучки. И очень дорого было старухе, что все было, как должно быть. «Не сходом, не сбегом», как случилось и в самом Яргороде. Сойдутся тишком, а потом объявят: «Поздравьте, мы муж и жена».

Мать Машеньки, Ольга Максимовна, не была привержена к дедовским этикетам, зная по себе, что не отцы, не матери, не деды с бабками, а сама любовь венчает молодых. Она и была порукой счастья дочери.

После взаимно выраженных симпатий оставалось объявить вечер обручения. Теперь обручение в Яргороде не религиозный ритуал, как и венчание в «палатах вое-

воды», ставших Дворцом бракосочетаний, но все же обручение не просто дань старине. В нем было что-то похожее на присягу, обещание на людях в супружеской верности обручаемых.

Вечер прошел торжественно и памятно. На другой день стало известно, что Машенька «пропита», просватана, что в городе весной появится второй, молодой «Полихроний» и будет писать книгу о дорогом и любимом Яргороде.

Так хотелось, мечталось, и, кажется, ничто не могло изменить предначертанного.

Адоевы ждали весны. Подновляли дом. Омоложался старый кабинет Максима Леонтьевича. Заменялась или переобивалась отслужившая мебель.

Оживут молчаливые стены, и, может быть, скоро зазвонит детский голосок.

Хорошо дышится. Веселые снятся сны. Без сожаления отрываются листки настенного календаря, приближая желанный день пышного венчания в «палатах вос воды».

В белом цвету черемуховые леса. Вот-вот придет телеграмма о выезде. Ромаша Ладушкин звонит трижды в день. Кому, как не ему, встретить милую Машеньку и ее жениха.

Дни шли, а телеграмма не приходила.

XIII

Позади последние экзамены. Вручен диплом. Теперь Машеньке Адоевой ничто не мешает вернуться в родной город в самый разгар весны.

Рвется в Яргород и Валерий Княженикин. Там ждут его «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Рассказанное Полихронием Сергеевичем и показанное им в архиве сулит молодому историку бездну открытий и находок. Он даст научно обоснованную историю старейшего из поселений, на месте которого возник Яргород. Напишет новые страницы о распаде «Золотой орды». Обогатит историю подробностями похода Ермака, расскажет о племенах-первонасельниках Пятиречья и озаглавит книгу привлекательно и кратко — «Яргород».

Валерий видит свою книгу, держит ее в руках, одетую в холщовый переплет. На обложке яркой кино-

варью красуется ее короткое название. Золотой орнаментальной вязью обрамлена большая начальная буква «Я». А выше на обложке переплета мельче и скромнее имя автора. Удивительно, как эта старорусская фамилия Княженикин подходит для историка.

Хорошо виделось Валерию Княженикину, с каким успехом защитит он докторскую диссертацию. В его надеждах нет и крупницы преувеличения. Напротив, он преуменьшал свои возможности в беседе с московским журналистом, сказав: «Может быть, мои попытки заняться яргородским архивом как-то полезно скажутся...» И правильно. Зачем опережать мечту: кто знает, может быть, он напишет не один, а два-три тома...

Скорей бы, скорей наступал отъезд.

Из Яргорода письма каждый день. Мать пишет, что в Яргороде после стольких лет снова появилась Сусь. Жизнедеятельная, неутомимая Сусанна. Она украсит свадьбу, закружит, завертит и очарует всех. Как жаль, что у нее, такой заметной и картинной, не задалась личная жизнь. Влюбилась в какого-то разведенного заумного святошу, а он ее не понял. Но не бывает худа без добра. Ромаша и она — такая пара. Вот бы их соединить. Роман одинок...

Маша много думает о Романе. Как он близок ей. Она была еще совсем девчонкой, а он уже студентом, но между ними не чувствовалось разницы лет. А потом, до встречи с Княженикиным... Ромаша проводил в Яргороде летний отпуск. Они катались на яхте, ходили вместе по грибы, купались в Тьмини, ловили рыбу и... И больше ничего. Но все же почему-то ей кажется, что она виновата перед ним. Не одна же нефть позвала Ромашу в Яргород из Приобья.

Вот если бы он влюбился в Сусь, а она — в него... Тогда бы у Маши счастье было полным. Какая-то неловкость преследует ее. Она чувствует какую-то вину.

Какую?

Маша это выяснит потом, а теперь ей нужно знать, почему Валерий хмур, и она спросила его без обиняков:

— Валерий, что случилось?

Он ей ответил:

— Ничего особенного. Так. Пустяки...

— Какие?

— Мы, Машенька, должны поговорить. Мне кажется, мы в чем-то просчитались.

— Просчитались? Валерий, ты меня пугаешь.

— И я напуган, Маша. Нам нужно здраво, неторопливо и всесторонне обсудить, как правильное поступить...

— С чем?

— Я все расскажу тебе. Только не здесь. Пройдем туда. Там глуше.

Они прошли в глубь загородного парка, смыкающегося с лесом. Здесь им рисовалась жизнь в Яргороде.

— Валерий, я жду. Садись!

Княженикин сел, как никогда, поодаль. Как никогда, он, взвешивая и отбирая слова, начал издали:

— Маша, я хочу быть понятым. Понятым, как будто ты — не ты, а я. И если ты сумеешь заставить себя быть мною, хотя бы ненадолго, то поймешь и примешь то, что необходимо нам обоим.

Маша, видя замешательство Валерия, предупредила:

— Зачем тебе понадобилось так начинать? Разве я когда-то чем-то была разделена с тобой? Разве не всегда твое было моим? Валерий, если твою душу тяготит какой-то промах, какая-то ошибка юности... Забудь о ней. Я не должна знать... Все, что было, могло быть до меня, мне не подсудно. Я тоже не безгрешна. В десятом классе я влюбилась. Вздыхала. Плакала. И все прошло. Ты знаешь его. Ромаша Ладущкин.

— Машенька, я не об этом. Нам не в чем раскаиваться друг перед другом. Но я хочу, чтобы раскаиваясь к нам не пришли позднее, когда тебе и мне будет труднее, чем сейчас, менять курс жизни, ломать самих себя и делать несчастными других.

Предчувствия не обманули Машу. Скамья стала темнее. Глуше щебет птиц. Зловещей тишина...

XIV

— Валерий, говори прямее. Не бойся! Я не из плаксивых. Ты разлюбил меня?

Княженикин этого не ожидал.

— Ну что ты, Маша? Как ты могла сказать такое?.. Как ты могла?

Княженикину не хотелось возвращаться к начатому разговору. Ему теперь казалось правильное перенести его в Яргород и там, в кругу семьи Адоевых, признаться в своих намерениях. Маша едва ли его поймет и согласится с обстоятельствами, о которых он узнал при встре-

че со своим другом школьных лет. Княженикин попросил:

— Отложим наш разговор. Он не обрадует тебя.

— Тогда, Валерий, я требую! немедленно, сейчас же расскажи мне все. Сейчас же!

— Машенька, я не могу... Не только не могу, но и не должен ради тебя, ради всех нас переселяться в Яргород.

— Почему?

— Машенька! — взмолился Княженикин. — В Яргороде я не найду себя, а потеряю. О прошлом пишут во имя будущего, а его у Яргорода нет. Нет, как и не будет самого Яргорода. Это горько, очень горько... Но виноват ли в этом я? Кому нужны труды о городе, который станет морским дном?

Маша отодвинулась на край скамьи.

— Кто сказал тебе об этом?

— Гаев. Вадим Гаев. Друг детства. Он будет строить электростанцию и возводить плотину. Яргород обречен...

Маша крикнула:

— На этом остановись, Валерий. На этом остановлюсь и я.

— Нет, что ты, Маша... Как же можно остановиться? Тебе и мне, — испуганно и торопливо принялся увещевать ее Валерий. — Маша, разве Яргород единственный наш путь? Мне предлагают три работы. Три! По Строгановым, по Демидовым и третью, составительскую, — о Магнитке. Это реально и перспективно. Чем плохо, Маша, если Ольга Максимовна поселится у нас в квартире? В хорошей, новой. Со всеми удобствами...

— А бабушка?

— И бабушке найдется место.

— Не сомневаюсь. Но есть много тонкостей, которые я не сумею объяснить, а ты — понять. Яргород для мамы не место жительства, а ее среда. Среда ее существования. Среда, с которой мама связана тысячами нитей, привязанностей, корней и... И оборвать все это... Нет, Валерий, есть вещи, которые не объяснишь.

— Но жили же вы столько лет в разлуке...

— Я знала, что ты это скажешь. «Если вы столько лет жили в разлуке с матерью, то почему ты не можешь...» Не могу. Мама так долго была одна, так ждала, когда я вернусь, и вдруг... Это же измена. Я верю, тебе дадут отличную квартиру, и лучшие из комнат будут принадлежать маме и бабушке. Но ты пойми, Валерий...

Чужие улицы, незнакомые дома, ни одного маминого ученика. И самый воздух, все окружение, от телеграфного столба до телефонной будки, все другое. Среди тысяч граждан, превосходных и превосходящих наших провинциальных яргородцев, ни одного знакомого лица.

— Но как же, Маша, — сказал Валерий, — как же другие люди уживаются в новых городах?

— Я не о других, Валерий, а о матери и о себе. Не могу же я обмануть моих учеников. Моих! Я им обещала на встрече в школе стать их учительницей. Конечно, найдется много оправданий. Вышла замуж. Осталась там, где служит муж. Но совесть? Верность городу, в котором я родилась, который вырастил меня, дал лучшее, что есть во мне...

Княженикин терпеливо слушал Машу. Молчал. Она его ни в чем не переубедила.

— Машенька, мне все понятно. Хочу, чтобы поняла и ты. Что будет с Ольгой Максимовной, с Марфой Владимировной, когда море затопит Яргород? Не под водой же оставаться им ради привязанности к родным местам? Есть обстоятельства, которые не переспоришь. Куда-то нужно будет переселяться Ольге Максимовне? А куда? Куда, как не к дочери?

На Машином лице розовые пятна. Ей трудно дышать. Скамья покачивается. Покачиваются и деревья. Они в тумане. В белесой мгле. Потом в снегу. И снова солнце. И снова все окутывается белым.

— Валерий, милый... Это так неожиданно... Дай мне понять себя. Я так боюсь своих мыслей. Мне нужно, мне очень нужно остаться одной...

— Зачем же одной? Одной труднее.

— Труднее, — повторила она, — но я хочу сама... Понять себя и поверить тебе...

И она поняла. Не скоро, но поняла. Уединившись, она не осталась одна. С нею были мать, бабушка и все, кому она безгранично верила, с кем могла посоветоваться здесь, вдали от Яргорода.

Полихроний Сергеевич говорил ей: «Во-первых, затопление Пятиречья весьма недостоверно. Во-вторых, меня настораживает легкость его измены яргородскому архиву. Ему все равно, о какой старине он будет писать: о строгановской, демидовской или нашей. И, в-третьих, раз он так легко меняет свои привязанности, справедливо спросить, не легкомыслен ли он вообще».

Мать спорила: «Он хочет лучшего для всех нас. Не исключено, что Яргород может быть затоплен. Я же писала тебе об этом...»

Бабушка: «Но зачем же загодя готовить себе саван?»

И старый Вукол Лукич вмешался в разговор: «У всякой рыбы своя вода, своя глубина. Он, видать, из верхоплавков».

«Не слушай, Маша, деда,— просит ее Ромаша,— верь своим чувствам. Если любишь — забудь об остальном».

«Я-то люблю его, Ромаша, а любит ли он... Я этого теперь не знаю».

И так до утра. А утром снова то же.

Любит ли он?

Конечно, любит!

Но так ли, как она? Не «прикладнически» ли? Фу, какое слово, но коль оно пришло на ум, то почему-то пришло. Да, он любит, но не много ли рассудочности в его любви? Живя в одной жизни, не живут ли они в разных ее сферах? «У всякой рыбы своя вода, свои глубины». Яргород ли решает их судьбу? И если уж на то пошло, она готова переехать, но что изменится? Изменится ли он?

А каким ты хочешь видеть его, Мария Николаевна Адоева?

Не знаю. Но не таким. Он ровен. Однообразен. Безошибочен. Саморазмерен, самовзвешен, самооценен. В нем все правильно. Он редко улыбается. Смеющимся она его не помнит. Он ничему не удивляется, ни в чем не ошибается и смертельно боится ошибиться, поскольку знаться.

Он скучен, а потом будет еще скучнее.

Какие страшные слова! И все это правда. Он третий день не дает о себе знать. Он выжидает. Он уверен, что и она придет к его, конечно, единственно верным выводам.

Нет! Она предпочтет сумасбродство его холодной логике, его благополучию, запланированному до цвета мебели, до коврика, до расстановки безделушек на его письменном столе, до ник-к-келированной дощечки с его фамилией на дверях квартиры.

Прощайте, Валерий Викторович Княженикин. Меня больше нет для вас.

Так она ему и напишет!

Так она ему и написала, бросив письмо в почтовый ящик перед отходом ночного поезда.

XV

Узнав о случившемся, Ольга Максимовна, как могла, утешала дочь.

— Как можно винить Княженикина, не захотевшего поселиться в Яргороде, судьба которого на самом деле гадательна?

— Гадательна? И это говоришь ты, мама? Ты?!

Маша отсела от Ольги Максимовны. Рывком положила между собой и матерью подушку. Так она делала в раннем детстве, говоря: «Я больше не вожусь с тобой».

— И я попала в опалу, — сказала Ольга Максимовна. — Разве можно сердиться на независящее от нас?

— Независящее, мама? Ромаша так не думает. Не думает так и Мацюев.

— Может быть, и не думает, — мягко поправила мать, — но и ничего не говорит утвердительного.

— Скажет. Я знаю, скажет. Михаил Сергеевич не верит в море, я прочла это в его глазах.

— Тем лучше для тебя и для всех нас. Твой Валерий никуда не денется, — увещевала Ольга Максимовна. — Разве он желал худшего тебе и мне, приглашая поселиться в его квартире? Так устроена жизнь. Матери всегда разлучаются с дочерьми, выходящими замуж.

— Мама! — возмущалась Маша. — Это не твой голос, не твои слова, не твоё желание.

Ольга Максимовна убрала подушку и снова обняла дочь.

— Может быть, и не мое. Но разве кто-то разлучит нас? Если Яргорода не станет, я и бабушка переедем к вам. А если прав окажется Ромаша Ладушкин, то Княженикин бросит все и займется нашим городом.

Разговаривая с дочерью, мать старалась не смотреть ей в глаза, потому что она кривила душой, лишь бы утешить Машу. Маша поняла все.

— Мапочка, уже светает. Наверно, проснулась бабушка. Нам не надо скрывать от нее. Княженикина для меня больше не существует.

— Все будет хорошо, Маша, — попробовала вернуться к прежнему разговору Ольга Максимовна.

И Маша подтвердила:

— Все будет хорошо. Плохое позади. Хорошо ли будет ему?..

Ольга Максимовна ничего не ответила. Любил ли Княженикин в самом деле ее дочь? Может быть, всего лишь пришла его пора обзавестись семьей, и он избрал Машеньку так же продуманно и дальновидно, как избирал темы своих исторических работ? И может быть, следует не сетовать на Княженикина, а поблагодарить его за чистосердечие...

XVI

Еще не было девяти, когда Мацоев пришел в Яргородский горком партии и спросил уборщицу:

— Извините, пожалуйста... Я, наверно, рано?

Невысокая женщина лет сорока, дometая крыльцо, посмотрела на вошедшего и ответила:

— Смотря к кому! Если к Надежде Владимировне, то в самый раз. Она у нас рано приходит. По междугороднему телефону утром скорее дают. К кому же вы?

— Мне к первому секретарю.

— Она и есть первый.

Мацоев посмотрел в записную книжку и снова:

— Извините, пожалуйста. У меня же записано: Надежда Владимировна Смагинцева.

— Коли записано, так проходите, пока Тонька не пришла.

— А кто она такая?

— Кто? Да, можно сказать, тоже секретарь. Только при телефоне и при дверях Надежды Владимировны, а гонору-у-у-у сколько. Ровно на ней весь Яргород держится. Начнет спрашивать, откуда, по какому вопросу и все такое прочее... Вон она выпорхнула из-за угла. Проскальзывайте скорее...

— Сейчас же, сию минуту проскользну.

Двери кабинета Смагинцевой были открыты. Слышался негромкий голос, разговаривающий по телефону. Мацоев услышал конец фразы: «Я так и сделаю... Непременно свяжусь с Мацоевым».

Трубка была положена. Михаил Сергеевич нашел удобным пройти к Смагинцевой, но кто-то удержал его за полу пиджака.

— Товарищ! Еще без пяти.

Мацоев оглянулся и увидел ту, которую уборщица

называла Тонькой. Она закрыла дверь кабинета и принялась делать внушение:

— Если каждый будет приходить, когда ему вздумается...

Договорить ей не удалось. Открылась дверь.

— Здравствуйте. Вы ко мне?

— К вам, Надежда Владимировна. Я Мацоев.

— Ну, знаете ли,— обрадовалась Смагинцева,— сегодня не случайно, выходя из дома, я встретила женщину с полными ведрами. Это, говорят, неоспоримая примета удачи. Садитесь, пожалуйста, Михаил Сергеевич. Мне только что называли вас по телефону, и через минуту вы, как по мановению волшебного жезла.

После этих слов Мацоев почувствовал, что Надежда Владимировна приятна ему, и он сказал:

— Надежда Владимировна, я так же, выходя из дома, встретил женщин с полными ведрами. Сразу троих. А теперь встречаю четвертую. Тоже с полными ведрами любезного юмора и простоты. Как это не неуместно, но я не могу скрыть,— мне приятно знакомство с вами.

— Мне тоже, Михаил Сергеевич. Я представляла вас замкнутым, нелюдимым и...

— Я такой и есть. И замкнутый, и нелюдимый, и... не очень мягкий человек.

— Не наговаривайте на себя.

— Вы убедитесь в этом, Надежда Владимировна.

— Ну вот мы и познакомились. И после того, как вы разглядите мою внешность, что вполне закономерно, начнется рабочий день. Тогда я уже заговорю по-другому: «Слушаю вас, товарищ Мацоев», а вы пока разглядывайте...

— Хорошо. Я, Надежда Владимировна, пришел, впервые, чтобы доложиться. Докладываюсь. Приехал сюда на длительное время. Зачем, вы знаете.

— Да.

— Второе... Второе, может быть, следовало решать не у вас, но лучше, если вы будете знать об этом втором. Нужно расквартировать нашу экспедицию. Человек тридцать. Мне хочется, чтобы они с меньшими затратами спл...

— Я поняла вас, Михаил Сергеевич. Не беспокойтесь, Яргород любит приезжих. Не беспокойтесь.

— И наконец, третье. Тоже, наверное, не по адресу.

Нам будут нужны средства передвижения. Водные и сухопутные.

— В Яргороде достаточно судов — от катеров с каютами до мелкосидящих моторных лодок. А что касается сухопутного передвижения, то мы по «сивкам-буркам» да вороним занимаем первое место по области.

— Тогда все, Надежда Владимировна. Очень рад, что за несколько минут я так преуспел. Поверьте, не нахожу слов чтобы выразить...

— И не надо находить. Я ведь коренная яргородка, и для меня не безразличен ваш приезд. Скажите, Михаил Сергеевич, когда примерно, в каком году мы должны начать заботы о переселении...

Мацоев переспросил:

— О переселении, Надежда Владимировна? Мне показалось, что я разговариваю с первым секретарем городского комитета партии, а не с кем-то, кто черпает сведения, прошу прощения, из пустых ведер.

— Так вы называете Гаева и беседу с ним в нашей газете?

— Когда она была? Разве Гаев в Яргороде?

— Вы этого не знаете? Тогда читайте.

Смагинцева развернула лежавшую на столе газету, «Трудовая вахта» и подала Мацоеву.

— Можно, я прочитаю здесь, при вас, Надежда Владимировна?

— Читайте, читайте. Не торопитесь. Я хочу знать ваше мнение о беседе Гаева.

Чтение заняло немного времени. Смагинцева увидела Мацоева взволнованным.

— Надежда Владимировна, я прошу помочь мне встретиться с Гаевым у вас. Я хочу познакомиться с ним и поговорить в вашем присутствии. Не обращайтесь, пожалуйста, на меня внимание... Это черт знает что. Мне нужно собраться с мыслями. Я позвоню...

Мацоев поклонился Смагинцевой и ушел.

XVII

Адоевы не узнали Михаила Сергеевича.

— Что с вами? — недоумевала Ольга Максимовна.

— Разве вы не читали, о чем беседует Гаев с «нашим корреспондентом» в «Трудовой вахте»?

— Нет!

— Тогда прочтите.

Мацоев прошел в отведенную ему комнату. Закрылся.

Машенька не успела дочитать беседу Гаева в «Трудовой вахте», как появился ее редактор Шапошников и очень учтиво попросил разрешения увидеть Михаила Сергеевича. Ему через дверь сказала об этом Машенька. Он вышел. Поздоровался. Шапошников осторожно начал:

— Позвольте осведомить вас, Михаил Сергеевич... Беседа с товарищем Гаевым записана из слова в слово под магнитофон. Для радио и для газеты. Скажите, Михаил Сергеевич, что там не так?

— Я скажу об этом Гаеву. При вас. При Надежде Владимировне, при ком угодно.

— Именно за этим я и приехал. Надежда Владимировна попросила пригласить вас на встречу.

— Когда?

— В четырнадцать ноль-ноль.

— Спасибо. Я буду ровно из поля в поле. — Мацоев зло усмехнулся и, расклапавшись, ушел к себе.

— Вы понимаете, — оправдывался теперь перед Машенькой Шапошников, — я не хотел обидеть этой беседой Михаила Сергеевича...

— А обидели не только его, а всех ваших читателей. Еще ничего не решено... Зачем же надо было...

Шапошников, не дослушав, возразил:

— Но из Москвы же он... Как можно было ему отказать, когда он пришел в редакцию.

— Да, конечно... Вы правы. Извините, у меня в духовке пирог...

Никакого пирога в духовке не было. Маша боялась сказать лишнее. В ней все негодовало.

Выпроводив Шапошникова, она поставила громкий будильник на без пятнадцати два, чтобы не опоздал шер Мишель.

Он не опоздал. Вышел за полчаса. Ему нужно было побродить по городу, успокоиться, подготовиться к разговору и хотя бы примерно представить, каким выглядит Гаев, что это за личность.

Как бывает иногда в жизни, один человек видит другого не таким, какой он есть, а подсказанным отношением к нему. Мацоев хотел видеть в Гаеве фата, выскочку, позера. Таким он и увидел его, начиная с внешности.

Гаев пришел в горком в сверхнарядном, тщательно отутюженном светлом костюме. Темный галстук в золотистый горошек, светло-желтые остроносые ботинки, платочек, торчащий из кармана пиджака, массивный перстень на указательном пальце; золотые запонки, как и перстень, сверкая сердоликами, тоже обращали на себя внимание.

Заботу о внешности Гаева продолжали тоненькие полоски усов, миндалевидная эспаньолка, бачки, опущенные ниже мочек ушей, гладко зачесанные назад длинноватые волосы... А между тем все это не было чем-то исключительным. Такова новейшая мода, еще не дошедшая до Яргорода, но уже бытующая в дальних странах.

«В подобном виде приходят на эстрадный концерт, но не на деловую встречу», — подумала Смагинцева. Впрочем, Надежда Владимировна была довольна, увидев Гаева таким. Он теперь не внушал опасения. Вряд ли этого человека можно принимать всерьез.

Мацоев начал разговор:

— Скажите, Вадим Ерастович, разве уже утверждено строительство ГЭС, которую вы назвали Яргородской?

— Пока нет, но будет! Я предполагаю ее строить.

— Предположение не решение, глубокоуважаемый Вадим Ерастович.

— Нет, но — почти. Что вы хотите от меня, Михаил Сергеевич?

— Есть проект?

— Эскизный.

— Этого я не заметил в вашей беседе, Вадим Ерастович. Вы утверждаете другое.

— Так я думаю. Так мне кажется. И вообще... И вообще, Михаил Сергеевич, мы ведем разговор в инстанции не того уровня, где может решаться...

Смагинцева поднялась и стоя сказала:

— Коммунист Гаев, перестаньте любоваться собой и перстнем. Инстанция, в которой мы не собираемся ничего решать, не ниже уровня газеты, куда вы пришли, чтобы предложить свою беседу. Прошу ответить, товарищ Гаев на вопрос коммуниста Мацоева и на мой: есть проект и самый термин — «Яргородская ГЭС»?

— Будет, повторяю, будет, товарищ Смагинцева. Будет, несмотря на местнические сопротивления.

— Разве мы сопротивляемся? Разве кто-то из сидящих здесь дал повод назвать местническим сопротивлением наше желание узнать, не является ли строительство ГЭС только вашим желанием?

Гаев вспыхнул:

— У меня много сторонников. Я не один. Меня поддерживают... Впрочем, я не уполномочен называть имена тех, кто поддерживает меня. Там! — он указал вверх. — Но не от их имени я выступал в газете. Вы невнимательно читали. Там говорится: «мне кажется», «я думаю», «очевидно, вопрос будет решен в этом аспекте»... И так далее. Я ничего не утверждал. Но почему я должен скрывать то, что я вижу, предполагаю? Да, я мечтаю об этой ГЭС, которая не может называться иначе, как Яргородской. Как она преобразит край! Какую промышленность породит! Неужели ради этого нельзя пожертвовать Яргородом, который давно уже перестал быть городом?

— Так вы, Вадим Ерастович, — спросил Мацоев, — убеждены, что Яргород будет затоплен?

— Да, если перемычка будет ниже его.

— Вы даже не знаете пока, выше или ниже?

— Пока нет. Как утверждают, Михаил Сергеевич.

— Мне очень жаль уличать вас в... Я умолчу, в чем... Но если перемычка, допустим, будет ниже Яргорода, то заранее можно сказать, что воды вашего весьма неглубокого моря не затопят и городской вал, если верить старым геодезическим данным.

— Никто не знает, какой высоты будет плотина, — оборонялся Гаев.

— Но всякий знает, Вадим Ерастович, что каждый добавочный метр высоты плотины потребует удлинения дамбы на многие километры. Сейчас, как и тогда, на междуправительственной комиссии министерств, я не сумею сказать точно, в каком соотношении будет высота плотины с размерами моря. Это будет сказано, до сантиметра. Пока же ваше море и вашу беседу в газете я называю прожектерскими. Я не оговорился. Зачем вам понадобилось прибегать к провокационным публикациям? Их едва ли можно назвать и полудобросовестными. Я говорю об этом перед тем, как выступить по радио и в газете «Трудовая вахта», после того как ее редактор сделает для себя необходимые выводы. Организационные выводы. И самое последнее. Сказанное мною будет

так же предположительно и так же с оговорками: «мне кажется», «я думаю», «это мое частное мнение», которое я не буду делать тайной от всех читающих «Трудовую вахту» и слушающих местные радиопередачи.

Мацоев вернулся на свое место.

— Мне кажется, — сказала Смагинцева, — мы выяснили все и несколько больше, чем нам хотелось. Может быть, вы, товарищ Гаев, хотите ответить Михаилу Сергеевичу?

— Нет. Благодарю вас. За меня ответит время. Оно всегда наиболее исчерпывающе и неопровержимо произносит свое заключительное слово.

XVIII

Рано утром Гаев уехал из Яргорода. Часом позднее «Яргородские радионовости» предоставили слово гидрологу Михаилу Сергеевичу Мацоеву.

Он говорил две-три минуты. Им было сказано, что вопрос о море и строительстве в Пятиречье ГЭС никем не решался и не предreshался.

— Затем и послана сюда наша экспедиция, — разъяснял он, — чтобы дать свое заключение... Заключение, — подчеркнул он, — а не решение о Пятиречье. Мне кажется, что выводы экспедиции будут объективными во всех отношениях.

Мацоев не сказал ничего определенного. Не обещал. Не утверждал. Но в его голосе слышалось хорошее, добродетельное, правдивое.

— Этот решит как надо, — сказал Вукол Лукич Ладушкин после передачи. — Верю и надеюсь.

Верил и надеялся не он один. На Приваловой улице у адоевского дома пришлось поставить патруль дружинников. Они упрашивали не устраивать сборищ и не мешать уличному движению, хотя на этой окраинной улице почти никакого движения не было. Сегодня же на ней шумно илюдно. Пришедшие хотели увидеть Михаила Сергеевича.

Он, теряясь, краснея, выпущден был выйти за ворота.

Там ждали его и люди почтенных лет.

— Дайте мне только одно словечушко ему сказать, — упрашивала, протискиваясь, старая женщина, и, пробившись, она поклонилась в пояс Мацоеву.

— Скажи, родимец Миха́йло Серге́евич, продавать мне дом или повыждать месяцок-другой?

— Я, право, не знаю, о чем вы?

— О доме она, — пояснил Мацоеву чей-то голос и посоветовал старухе: — Повремени, повремени, Серге́евна.

— Вы меня ставите в затруднительное положение, — оправдывался Мацоев. — Я могу всего лишь заверить вас, товарищи, в самом внимательном отношении нашей экспедиции к порученной работе, и не больше.

— А большего нам и не надо, — ответил за всех чей-то другой голос. — Все будет как надо. По домам, товарищи!

Пришедшие начали расходиться.

— Как единодушно не хотят моря в Яргороде, — сказал Мацоев Полихронию Серге́евичу, когда они вернулись в дом.

— Не заблуждайтесь, Михаил Серге́евич. Яргород не однороден. Женщина, которая спрашивала вас о доме, против моря не потому, что руководствуется какими-то высокими соображениями. Ей нужно уехать из Яргорода к сыну, к внукам в Златоуст. Но ее держит дом. После того как начались разговоры о затоплении, дома страшно упали в цене. Теперь их просто-напросто не покупают. А ей, ее зовут Фекла Серге́евна Касьянова, жаль бросить дом. Хороший дом. После вашего выступления по радио у нее появились надежды продать свой дом. Но теперь она боится продешевить. Ей хочется взять больше. И как только ей дадут хорошую цену, она покинет Яргород, и тогда хоть потоп.

— Таких, наверно, не она одна, Полихроний Серге́евич?

— Достаточно таких. И это нормально, когда все так неопределенно, — неторопливо рассуждал Полихроний Серге́евич. — Есть в Яргороде люди, которые хотят моря.

— Есть и такие? Странно.

— Чего же тут страшного? Возьмите того же довольно известного мастера по выработке знаменитой яргородской фанеры Никиту Первонасельникова. Им тоже руководит дом. Плохой, старый, отживший свой век дом. Ему не поможет и капитальный ремонт. Возводить новый много хлопот. Да и зачем рисковать? А если Яргород будет затоплен, Первонасельникову дадут новое

бесплатное жилище. Поэтому он за море. Принципиально Фекла Касьянова и Никита Первонасельников — два сапога пара. Только один из них левый, другой правый. Носки врозь, а пятки вместе. Основа одна и та же. Личное благополучие.

— Кто же представляет большинство?

— Большинство, — не колеблясь ответил Зотов, — представляют такие, как Вукол Ладушкин. Они в какой-то степени, может быть, и квасные, но патриоты. Может быть, и доморощенные, но стратеги, которые исходят из общественных интересов. К таким отношусь и я. Есть и четвертая категория.

— Какая, Полихроний Сергеевич?

— К ним относятся те, кто не желает хирургического вмешательства в организм города, в привычное течение жизни. Если говорить откровенно, то население Яргорода следует отнести к обывательскому разряду. Рабочая прослойка не очень велика. Деревообделочный комбинат да мелкие мастерские. Самый большой и передовой отряд рабочих — это на нефтеразведке. На них я возлагаю большие надежды во всех отношениях.

— Да-а, — как-то сдержанно сказал Мацоев. — Энтузиазм рабочих нефтеразведки достоин восхищения, но недра, к сожалению, не всегда бывают благодарны энтузиастам.

— Жизнь покажет.

ХІХ

«Жизнь покажет», — повторим и мы слова Полихрония Сергеевича, а пока послушаем, о чем говорят наши кинематографисты.

Николай Васильевич Макарьев, с ним и Рыжаев в беседе с единственным в городе «нашим корреспондентом» Алексеем Михеевым как бы раскрывали недосказанное Мацоевым. Они говорили о перспективах города, о фабриках и заводах, которые, по их мнению, будут построены вокруг Яргорода.

Слушатель всегда слышит и запоминает желаемое. Так происходило и на этот раз. Яргородцам не было дела до того, что с ними разговаривает режиссер, мечтающий вслух, предупреждающий, что «ему хочется видеть», не утверждая, что это так и будет. Для яргородцев это был голос по местному радио, а коли этот голос говорит о

будущем города, то ясно и ребенку, что город не будет затоплен.

Теперь послушаем, каким будет фильм. Об этом и спросил «наш корреспондент». Макарьев ответил:

— Все зависит от того, какое участие примут в нем граждане Яргорода, что подскажут они, какие пожелания и отклики радиослушатели выскажут киногруппе.

Макарьев рассказывал о желании показать Яргород во всей разнокрасочности его жизни. Он призывал принять участие в созидании фильма всех, кто пожелает. Попросил он и людей почтенного возраста сняться для экрана в старинных одеждах, вспомнить обрядовые и хороводные песни, а может быть, воссоздать старые свадьбы, девишники, посиделки.

— Фильм о городе должен стать общим делом, делом всех вас, товарищи, слушающие меня.

Вслед за Макарьевым Юрий Рыжаев обещал в одном из кинотеатров города показать заснятое на пленку и после показа обсудить, что нужно отобрать, что исключить, что доснять для фильма, который станет достоянием страны на многие годы.

Слушатели остались очень довольны передачей. В редакцию радиоузла стали поступать письма, советы, написанные бойкой рукой молодых людей и неторопливым пером стариков, старух и людей, искушенных в кинематографии, видимо, любителей, снимавших свои узкоплёночные фильмы. Эти присылали даже сценарии, среди которых были заслуживающие внимания подделки.

Макарьев и Рыжаев убеждались, что жизнь в Яргороде, расширение знакомств подскажут им больше, чем они предполагают. Так уже случалось не один раз. Макарьев задумывал одно, а по ходу съемок возникало неожиданное.

Здесь кстати следует заметить, что неожиданностей в Яргороде будет много, не потому, что это самобытный город. Все города по-своему самобытны. Яргород становится ареной, на которой произойдут и уже происходят события, касающиеся многих живущих здесь. Тот же печальный финал романа Машеньки кажется частным случаем из личной жизни. А частным ли? Не следствие ли это проекта Гаева?

Отдельна ли, сама по себе личная жизнь Полихрония Сергеевича, Романа Тихоновича Ладушкина и тех,

кого нам предстоит узнать? Не в одном ли узле их судьбы? Разделен ли с ними так называемый производственный, в данном случае энергетический, конфликт?

Для Макарьева это не праздные вопросы. И он весь в них. Он, понимая, что происходит, говорит своему ассистенту:

— Юраша, это пока еще ленточки, а бантики впери.

Юрий многозначительно вторит:

— Мы приехали в драматическую завязку. И не в одну. А что и как развяжется, я думаю, не знает и самый главный развязыватель Мацоев.

Поблагодарим Рыжаева за эту реплику. Мацоев на самом деле не знает этого. Но не знаете и вы, Юрий Рыжаев, что и вам, наблюдающему яргородскую жизнь, тоже предстоит стать одной из многих «ленточек», а потом и «бантиком»... И не знайте пока. Считайте, что вы живете в Яргороде сами по себе, порознь от яргородских событий, не замечая, что вы уже в них, а они в вас.

Примерно так же думает и Михаил Сергеевич Мацоев. Приехал, выполнил порученное и уехал. Так думают и многие из нас, забывая, что нельзя «уехать» ни из одного часа, прожитого тобой, полагая, что это «прожитое» не останется жить в тебе, а ты в нем.

XX

Мацоев по приезде участников экспедиции заботился об устройстве всех и каждого. Смагинцева сделала больше, чем обещала. Особым вниманием был окружен Петр Константинович Дюрягин. Он в годах. Ему по стажу, знаниям и опыту положено бы стать главой экспедиции, но возраст... Преклонный возраст и юношеская поспешность Дюрягина заставили предпочесть ему Мацоева. Петр Константинович и не взялся бы за начальствование. Его назначили заместителем начальника, чему он был рад. «Зам не сам». И очень хорошо. Мацоева он любит, знает, верит ему, а кто при ком — это дело бухгалтерное. Они будут друг при друге.

Дюрягина давно манило Пятиречье. Он, думая о нем, искал способ осушения его болот. Теперь же вместо осушения предлагают обводнение. Значит, он фантазер? А может быть, фантазер другой? Это надо выяснить и решить. Дюрягин не мог не поехать в Пятиречье. Он не

скрыл, что едет с предвзятым мнением. Об этом знали назначавшие его сюда и находили тем более полезным участие Петра Константиновича в экспедиции. Он либо убедит других, либо разубедится сам. Но во всех случаях Дюрягин будет объективен. Заговорят не слова, а цифры.

Мацоев готовился тщательно. Неделей раньше, неделей позднее, лишь бы во всеоружии, до мелочей предусмотреть все и наверстать потерянные на подготовку дни скорой и спорой работой, без непредвиденных задержек.

Снаряжение, приборы, инструменты были доставлены из Москвы в большом избытке. Вместе с ними пришел сюрпризный автомобиль «амфибия». В Яргороде впервые появился автомобиль-лодка. Их видели здесь только на экране. Толпы любознательных мальчишек. Они рассматривают со знанием дела, дают друг другу пояснения, ощупывают гребной винт, рассуждают о высокой проходимости «амфибии» по суше и плаванию по воде. Все сходятся на том, что это самая настоящая машина для Яргорода. Они радуются, что Михаил Сергеевич Мацоев на такой «амфибии» изъездит все реки, вымеряет до последнего сантиметра что нужно, и «возьмет к погтю» Гаева.

Мальчишки знают все. Они бывают и на буровых. Им известна глубина скважин. Для них Пятиречье — родной дом. Если надо, ребятя поможет «экспедиторам» Мацоева. В каникулы начнет работать ШОСЭ. Так сокращенно назван школьный отряд содействия экспедиции. Мало ли дел. Указать кратчайшие тропы, огибающие болота, броды через реки, рыбные места. Научить, как бороться с комарами, разве не будет полезным. А соорудить переносные берестяные укрытия от дождя. Сбегать куда надо. Раздобыть сухой торф «долгого горения». Наловить для ухи рыбы — и то помощь. А помогать нужно как никогда.

Мацоев может взять кого-то из них «на постоянно», на все лето. Из тех, кто постарше.

Хороший человек Михаил Сергеевич. Борода его делает похожим на льва. На самом же деле он добрый-предобрый, ласковый-преласковый, как Мурзик Вукола Лукнча.

Мацоев, любя детей, не отказывал им прокатиться на его «амфибии». Особенно большое катание было

сегодня, потому что у него разъездной день. Сейчас он везет последнюю четверку школьников. Сам рядом с шофером, а ребята — позади.

«Амфибия» возвращалась в адоевский дом. На развилке дорог, одна из которых вела к главным подбашенным воротам кремля, Мацоев увидел молодую женщину и оторопел. «Амфибия» свернула на вторую дорогу развилки. Красавица мелькнула, как видение, но не уходила из глаз Михаила Сергеевича, и он принялся убеждать свои глаза, что это была не она, а другая, что глаза, обманувшись, обманули его. А глаза упорно не соглашались.

Он говорил:

— Да не могла же она оказаться в Яргороде, это до нелепости невообразимо.

А глаза свое:

— Могла ли или не могла, вообразимо это или невообразимо, но это была она.

И как ни хотелось Мацоеву переспорить увиденное глазами, он поверил им. Глаза никогда не обманывали его. Это была, наверно, она. Вернее всего, она. И наконец — не все ли равно ему, она или не она. Что ему до нее? Что?

XXI

Домой Мацоев все же явился растерянным. Видя, что это замечено Машей, сказал:

— Ах, знаете, столько суеты, столько самых разных и непредвиденных встреч, что не сразу придешь в себя после этой карусели. Скорей бы уж уйти в работу.

Машенька принесла ему зеленые щи, зная, что он любит их, и сразу же второе, также зная, что Мацоев не любит антрактов в обеде. Вторым блюдом были маленькие, тоненькие картофельные котлеты с грибным соусом.

Мацоев подпрыгнул на стуле. Поцеловал дважды, трижды, четырежды... пять, десять раз Машенькину левую ручку, в которой была еще не положенная на стол вилка.

— Осторожнее, не наколитесь. Что с вами сегодня?

— Вы не представляете, как я любил в детстве такие котлеты.

— Поэтому я и приготовила их.

— Разве я говорил об этом?

— Не один раз и очень подробно.

— Как вы внимательны ко мне, Машенька. Мне никогда не возместить вашей заботы обо мне.

— Вы уже возместили. Разве для меня не награда это ваше подсакивание, это ваше совсем детское выражение глаз?

— Кто вас научил так искренне говорить приятную неправду?

— Это у меня от рождения.

Разговаривая с Машенькой, Михаил Сергеевич не ел, а с жадностью уплетал котлеты. Грибной соус оставлял заметные следы на его рыжей бороде. Когда же Мацоев доел последнюю котлету, он с неподдельным сожалением спросил:

— Их только шесть?

— Нет, почему же шесть. Есть еще... Но неудобно же наваливать в тарелку два десятка...

— Да, да, разумеется, неудобно. Этим вы бы подчеркнули, что я обжора. Вы не сделали этого. А мне ничуть не трудно признаться, что съем все остальное.

Маша принесла полное блюдо таких же маленьких, плоских картофельных котлет. Мацоев теперь окончательно не следил за бородой, торопливо ел, звучно прихлебывая грибной соус десертной ложкой. Не сумев доестъ всего, он облегченно вздохнул.

— Наконец-то я, свинья свиной, самая счастливая из всех счастливых свиней. Наелся.

Маша бесцеремонно утерла салфеткой бороду Мацоева, потом набело — своим маленьким платочком и с материнской строгостью заметила ему:

— В следующий раз перед тем, как подать картофельные котлеты, я буду повязывать вам клеенчатый фартук и придумаю какой-нибудь марлевый... набородник... Гурьевская кашка, надеюсь, будет уже излишней...

— Уже некуда, хотя и ее тоже так любил в детстве... Вы знаете, Машенька, у меня из детства остались самыми светлыми воспоминаниями картофельные котлеты с грибным соусом, гурьевская кашка и... И, кажется, больше ничего.

— Не очень много...

— Нет, осталось что-то еще, но периферийно... На периферии памяти. Вы знаете, Машенька... Вы, конечно, знаете и не можете не знать, как я вас люблю. Так я любил только своего учителя Ивана Павловича Танеева,

да еще, может быть... Нет, я ее не любил. Не хотел любить, не мог, не должен, не имел права... А вас я люблю. Теперь, после грибных котлет, это прояснилось полностью... Хотите, я вам сегодня же подарю мотороллер?

— Разве я говорила вам, что мечтаю о нем?..

— И не однажды... А очень часто. Чаше, чем я о картофельных котлетах.

— Но я же не имела в виду...

— А я имел в виду и хотел вам подарить мотороллер ко дню вашего рождения... Но это можно сделать сегодня же...

Маша усадила Мацоева. Он в самом деле готов был отправиться вместе с нею в главный и единственный, скажем в скобках, универмаг.

— Сидеть смирно! Я подожду дня рождения,— отшутилась она.— К этому дню накопятся еще некоторые любимые вами кушанья.

— Какие?

— Например, томленные в сметане перепела с брусничным вареньем.

— Откуда вы знаете все?.. Да, я любил их, но это уже было позднее, когда был жив Иван Павлович Тае-нев. Мы съедали их с ним по полдюжине...

— И еще по два десятка раков...

Мацоев снова подскочил.

— Неужели я такой болтливый и забывчивый пошляк?

— И вовсе нет... Вы не такой и не тот, каким вам почему-то бывает нужно казаться.

— Может быть, Машенька. А сегодня я, как никогда, «тот»! И хочу, чтобы меня видели тем. Тем, каким я начался, а потом продолжился. Именно вы. Разговаривая с вами, я разговариваю с самим собой. У меня, Машенька, было безжалостное детство... С первого дня рождения. Первое слово, которое я, будучи двух-трехдневным, разумеется, не слышал, но это слово было сказано впервые увидевшей меня матерью.

— Что же это за слово?

— Мать ужаснулась, увидев меня, и, теряя сознание, крикнула: «Обезьяненок!»

— Боже! — Машенька придвинулась к Мацоеву.— Неужели это правда? Может быть, придумали и обогали ее?

— Нет, Машенька, это было правдой. Правдой было

и то, что она не сумела превозмочь в себе свое, я бы сказал, физиологическое отвращение ко мне. Мама кормила меня, повязывая свои глаза платком, пока не была приглашена кормилица. У матери пропало молоко, она совершенно серьезно сказала, что это произошло потому, что противится ее организм. Она не видела меня до года. А потом отвращение ко мне сменилось терпимостью. Второго ребенка не было после меня. Мать боялась повторения. Дед, видя страдания моей матери, прощал их и взял меня к себе. Я был его повторением, хотя и в очень ухудшенном виде, но походил на него.

XXII

Мацоев хорошо помнил себя с четырех-пяти лет. Он рос сметливым, одаренным. Им восхищались в школе. Окружающие, привыкнув, не обращали внимания на его внешность. По улице же школьник, а затем студент, он проходил сквозь строй глаз, рассматривающих его и нескрываяемо поражающих его внешностью. И в глазах всех виделось ему свое второе имя, данное при рождении матерью, но не уменьшительное «обезьяненок», а соответственное его возрасту — «обезьяна».

Машеньке Михаил Сергеевич рассказывал подробнее, мы же прибегаем к пересказу, не желая сосредоточивать внимания на не украшающем эти страницы из ряда вон выдающемся, огорчающем пишущего не менее, чем читающего.

В семье стариков Мацоевых дедушкой была бабушка, а бабушкой дедушка. Он рассказывал сказки, нежил и холил внука, баловал его и делал все, чтобы мальчик вырос добрым, всепрощающим человеком. Этому способствовала и нянюшка Анна Самсоновна, прижившаяся в мацоевской семье. Сентиментальность, повышенная сдобольность, наивная доверчивость внушали бабушке, которая была дедушкой, боязнь за внука. Он может вырасти хлипким, сговорчивым, без царя в голове, легко поддающимся любым влияниям, послушной всем ветрам мельницей.

Бабушка Миши Василиса Васильевна Мацоева принадлежала к натурам волевым и сильным. Метеоролог по специальности, математик по призванию, она была прохладна к гуманитарным наукам. Ей Миша обязан избранной им профессией. Она внушила ему строгость к

себе, к своим суждениям, к ответственности за сказанное.

«Проверь, а потом поверь и, если поверил, стой на своем, чего бы это тебе ни стоило, хоть суммы, хоть тюрьмы».

Миша редко виделся с матерью и отцом, служившим в торговых представительствах за рубежом. Годы войны надолго разлучили с Мишей Сергея Михайловича Мацоева, оказавшегося в США. Вернувшись оттуда на считанные недели, он получил назначение в Англию.

Любовь матери пришла к Мише, когда он бесповоротно и окончательно принадлежал бабушке, недолюбливавшей невестку.

С годами у Миши Мацоева выработался защитный панцирь, своеобразный иммунитет. Да и не до себя было ему, захваченному работой. К тому же как-то стиралось, забывалось все то, что в детстве ранило его.

Стараясь как можно меньше быть на людях или находиться в кругу тех, кто привык, присмотрелся к его лицу, Миша, а потом Михаил Сергеевич Мацоев отдавался книгам, науке, экспедициям. Экспедиции прельщали его и тем, что в далеких малонаселенных местах он чувствовал себя лучше. Каждая новая встреча ранила Мацоева «дивованием» им. А люди оставались людьми. И самые хорошие из них не чурались зрелища. А Мацоев был зрелищем. Нашелся подлый язык, сказавший, что Мацоев мог бы стать богатеем, согласившись показываться за плату.

Но был человек, который обожал своего Мишеньку Мацоева. Это академик Иван Павлович Танеев. Он отдал ему все свои знания и свои «незнания». Так им назывались гипотезы, замыслы, сокровенные научные «фантазии», мечты, которые он не скрывал от своего преемника.

Танеев любил и лицо Мацоева, находя его «излучающим прекрасное». Он предрекал, что его лицо нельзя оценить и полюбить ординарной женщине, но это лицо сведет с ума, влюбит настоящую, мыслящую красавицу. Красавицу, знающую, чем разнятся условная и безусловная красота.

Мацоев, слушая Танеева, зная, что Иван Павлович несказанно добр к нему и еще более утешителен, все же был счастлив, внимая ему.

Сказочно-волшебные сны снятся и серьезным людям.

Снились они и Мацоеву. Однажды он провалился в таежную трясину и, утонув, ожил другим. Ожил молодым повторением Ивана Павловича Танеева. Подобные превращения случались часто. Таежная трясина заменялась кавказским «источником красоты», голубым озером, а то и просто ванной, заполненной розовым маслом. А однажды ему приснился Иван Павлович. Он снял висевший на стене его комнаты свой портрет и сказал:

— Мне тогда было столько же лет, столько же месяцев, дней, часов и минут, сколько сейчас тебе, Миша.— Говоря так, Танеев следил за стрелкой часов, считая секунды.— Их остается тридцать, теперь уже двадцать девять, и мое лицо перейдет на тебя. Смотри же... Оно переходит.

Мацоев отчетливо увидел, как лицо молодого Танеева выходило из рамки, а лицо Мацоева уходило в нее...

Проснувшийся Мацоев, еще не выйдя из сна, побежал проверить, так ли это... Он протер глаза. В рамке по-прежнему оставался молодой Иван Павлович Танеев.

Это был последний сон. После него Мацоеву вообще редко снились сны.

Машенька плакала, когда Мацоев закончил в саду пересказанное нами. Она не могла не плакать слезами негодования, слезами восхищения, клятвенными слезами, желая оправдать сказанное академиком Танеевым.

— Иван Павлович сказал правду. Вы будете любимы, непременно будете любимы... И если бы я могла оказаться такой... Той, которую называл Иван Павлович, и вы бы могли полюбить меня...

— Мог бы, но не могу,— остановил ее Мацоев.— Не имею права.

Он крепко пожал Машенькину руку, дружески положил на плечо свою большую рыжеволосатую ручищу и как будто ни в чем не бывало пошутил:

— Теперь вы понимаете, как неосмотрительно было с вашей стороны подавать к столу картофельные котлеты с грибным соусом...

XXIII

После этого ни Маша, ни Мацоев не возвращались к рассказанному им. Но стечение обстоятельств, увиденная проездом на «амфибии» молодая женщина заставят его, потребуют от него вспомнить о дальнейшем. А пока

он занимался Пятиречьем. Строил временные помещения для хранения приборов и геодезических инструментов, определял не затопляемые во время ливневых паводков места для палаток, занимаясь и тем, что можно было поручить другим. Ему хотелось переключить себя от «видения», представшего из подбашенных ворот. Не думать о нем.

Николай Васильевич Макарьев тоже ушел в свою «экспедицию», ища подступы к фильму, обогащаясь и тем, что, может быть, не пригодится ему, а может и стать золотой жилой фильма. Бывая там и сям, не чураясь и того, что никак не могло понадобиться ему, он случайно нашел конец нитки клубка, которому суждено будет перемотаться кинематографической лентой.

От Вукола Лукича он узнал о «тронутом архитекторе» Борисе Михайловиче Шилове.

— Разное говорят о нем, Николай Васильевич. Самое разное. Одни возвеличивают его подвижником, а другие придерживаются супротивного полюса. Побывали бы вы у него,— посоветовал Вукол Лукич,— как знать, может быть, вы увидите его не совсем чокнутым. А если он и малость «того», то совсем в другой перспекции.

О Шилове Николай Васильевич узнал все, что было можно. Это не трудно в Яргороде, где знают, у кого какая каша варится, кто чем дышит, о чем думает и куда глядит.

То, что узнал Макарьев, бесполезно знать и нам.

Борис Михайлович Шилов коренной яргородец. Ему под пятьдесят, как и его жене Елене Васильевне. Она и он, подобно Машеньке Адоевой, осели в Яргороде во имя своих родителей.

Борису Михайловичу Шилову предложили в городском Совете скромную должность по строительному надзору и архитектурным делам. А так как в Яргороде почти ничего не строилось, то контролировать было нечего. Зато была возможность брать работы по проектированию в других городах. Шилов, начав с малых заводских объектов, зарекомендовал себя оригинальными решениями, смелым применением новых материалов, стал знаменит. Дважды лауреат Государственных премий, член Союза архитекторов, приглашаемый в большие индустриальные центры, он мог перевезти родных и оставить свой Яргород.

Этого не произошло. Не произошло, как рассказы-

вала Макарьеву жена Шилова Елена Васильевна, потому что:

— Заболел он, Николай Васильевич. Скрыто-душевно заболел. От Иволгина.

Оказывается, все началось с того, что друг детства Шилова, директор деревообделочного завода Иволгин, развил в своих мечтах, каким видится ему в недалеком будущем новый комбинат, состоящий из нескольких заводов. Главный из них фанерный.

У Иволгина при деревообделочном заводе был полукустарный фанерный цех. Фанеры изготовлялось мало, зато высокосортной. Отделочной. Иван Николаевич Иволгин одевал фанерные листы в «рубашки» затейливой игры древесного рисунка. Изобретая новые способы и новые составы протравливания лицевой шпоны фанерного листа, зеркально полируя его, он заставлял ничем не примечательную древесину поражать только ей присущей игрой узоров.

Яргородская фанера славилась, спрашивалась, распределялась по особым фондам, получала призы и медали на выставках страны, за рубежом. Разрезанная на пластинки, размером немногим более игровой карты, она становилась сувениром.

Иволгин твердо знал, что недалеко то время, когда маленький фанерный цех породит завод. Иволгин мечтал так страстно, что Шилов предложил ему создать проект фанерного комбината.

— С этого и началась болезнь моего Бориса Михайловича,— жаловалась Макарьеву Елена Васильевна.— А потом, когда не то сорока на хвосте, не то доктор Маркин принесли слухок, что вокруг Яргорода будут строиться заводы, мой благоверный заманячил твердо и бесповоротно. Все заказы мимо. Выполнял только те проекты, от которых невозможно было ему отказаться, а в остальном сам себе заказчик и сам проектировщик.

Примерно так же говорили в Яргороде и другие, заверяя, что с этого и началось легкое помешательство Бориса Михайловича Шилова, когда он взялся за планирование Яргородского промышленного района.

Сначала Шиловым был набросан, затем вычерчен генеральный план расположения новых предприятий. На чертежных досках начали появляться и самые предприятия. Бумажный комбинат на Тише. Лесохимические заводы. Завод по переработке и консервированию рыбы.

Сама по себе напросилась мебельная фабрика. Вера в открытие нефти породила проект ТЭЦ, которая на случай «осечки с нефтью» могла стать электростанцией, работающей на торфе или угле.

При встрече с Макарьевым Борис Михайлович Шилов сказал о себе:

— Каждый по-своему выражает свои взгляды, свои мечты. Будь бы я пишущим человеком, то действовал бы пером, рисовал бы в статьях, каким я вижу, каким, по моему мнению, должен стать новый индустриальный район. Этого не дано мне. И я счел внутренним долгом отстаивать и провозглашать свое присущими мне средствами заводского зодчего. Так нагляднее, реальнее, убедительнее. Из моих проектов накопилась выставка. На сеновале. Иного, более удобного помещения я не нашел. Прошу вас, Николай Васильевич, в мою мечту, на старей сеновал.

XXIV

Сеновал, куда пригласил Шилов Николая Васильевича, удивил его своими размерами. Это деревянное строение позволяло предкам архитектора хранить большие запасы славящегося своей «духовитостью» сена. Зимой оно давало хороший прибыль. По первому санному пути в Яргород прибывали перекупщики всего заготовляемого яргородцами летом. Дрова, луб, береста, корье, сушеные ягоды — от черемухи до малины, кедровые орехи, строевые бревна, корзины, коробка, сани, дуги, ободья для колес, колодки для хомутов и все, чем богато было Пятиречье, сбывалось перекупщикам.

«Лето копит, зима кормит». «Кто от мая и до снега мается, до вешних дней в меду купается». Так наставляли яргородские старики молодых. «Летом потеть, зимой — в избе сидеть». Шиловы летом потели, косили никем не мерянные луга и обеспечивали себе прибыль для зимы.

Как далекое напоминание о давних годах, на шиловском дворе остался сеновал. Его давно бы пора распилить на дрова, но ему нашлось новое неожиданное применение. Он стал галереей архитектурных проектов Шилова.

Макарьев ахнул:

— Кто бы поверил, Борис Михайлович, в этот «эрми-

таж» на сеновале. Не знаешь, с чего и начинать. Все умопомрачительно до головокружения...

Крутые скаты крыши сеновала с их внутренней стороны были задрапированы крапивной мешковиной. Она служила хорошим фоном для экспонируемых трудов сияющего архитектора, довольного первым впечатлением Николая Васильевича Макарьева.

— Как же так, Борис Михайлович,— спросил на всякий случай Макарьев,— неужели для этой прелести не нашлось в городе лучшего места?

— Мест у нас больше чем надо. Предлагали бывшую ризницу монастыря. Малую трапезную. Старую иконописную мастерскую. Что хочешь бери, да как-то далеко. Не под руками. Да и зачем экспонировать не получившее завершения. А тут все под руками и под надзором ее высоколаяния Нельмы.— Это имя принадлежало крупной ездовой собаке, сопровождающей хозяина и гостя.

Центральное место на сеновале занимал помост. На нем был представлен в макетах преображенный Яргород и его заводские окрестности.

— С этого и начнем, Николай Васильевич,— предложил Шилов.— Как видите, перед вами панорама Пятиречья ближайших лет. Здесь почти все предлагаемое мною,— пояснил Шилов.— Почти я говорю потому, что кое-что еще находится в работе, в переработке и не стало на свои места.

— Батенька мой, Борис Михайлович, это же невесть какие затраты времени, средств и сил!

— Да, не скрою, Николай Васильевич,— сказал Шилов,— не дешевая экспозиция. Но это пустяки по сравнению с ожидаемыми мною результатами. Когда пробьет счастливый час и Яргород проснется, все будет подготовлено для пробуждения. Вы же знаете, сколько времени уходит на изыскания, проектирование. А этого почти не понадобится. Разве небольшие коррективы. Весь индустриальный комплекс, от коммуникаций до стадиона и Дворца культуры. Все это обязано многим людям. В школах нашлось столько добровольцев макетчиков, моделистов, чертежников, что я едва успевал руководить ими. Не правда ли, Николай Васильевич, прекрасен и нагляден завтрашний день нашего Яргорода, нашего Пятиречья?

Макарьев откликнулся похвалами, разглядывая зеркально-стеклянные реки, леса, дороги, мосты, любовно

сделанные корпуса цехов заводов, предприятий, не упускаемая из поля зрения Шилова.

Он, в художнической блузе, с приятной русой бородкой, окаймляющей его порозовевшее от волнения лицо, располагал к себе. В его разговорной манере не было словесной узорчатости, свойственной людям, которым есть что показать и чем гордиться.

Шилов увлекал своими пояснениями Николая Васильевича. Макарьев чувствовал, что с каждым новым рассматриваемым им заводом влюбляется в архитектора и в созданное им. Созданное вдохновенно, с глубоким знанием дела и теми драгоценными подробностями, которые всегда ценимы людьми, отдавшими себя искусству.

Борис Михайлович Шилов ничем не подтверждал того, что говорилось другими относительно него, живущего в очаровании им же созданной индустриальной эпопеи. Образованный, с широким кругозором, Макарьев знал людей, отдававших себя, всю свою жизнь делу, которое становилось их жизнью. И все же...

И все же Макарьев заметил в блеске карих глаз Шилова искорки, заставившие Николая Васильевича внимательнее присмотреться к своему новому знакомому. В нем было что-то подтверждающее некоторое отклонение от норм, присущее людям, живущим в творческом экстазе. Поэтому Николай Васильевич осторожно спросил:

— А что будет, если обстоятельства внесут не некоторые, а значительные коррективы в ваши замыслы, Борис Михайлович?

На это Шилов громко и убежденно заявил:

— Есть здравый смысл, есть истины, которые не подвластны никаким обстоятельствам. Я исключаю такие силы, которые могли бы зачеркнуть рожденное не мною, а выношенное в умах тысяч людей. С Вукола Ладушкина до светил из академий. Я не открываю нового, а логически развиваю созданное, действующее в улучшенном виде.

Искорки засверкали отчетливее в глазах Шилова, их блеск не подтверждал подозрения Макарьева. Он видел энтузиаста, воплотившего на сотнях листов проектов, экспонируемых на сеновале, неоспоримое, продуманное, способное перейти с ватмана и калек на строительные площадки.

Макарьев знал, что и он тоже не без отклонений, не

без искорок смотрел теперь на представленное здесь глазами профессионала-кинематографиста. И ему представилось...

Ему представилось, как на экране проходят, кадр за кадром, пыльные улицы Яргорода, старинные дома, коновязь на площади, огороды, стены и башни бывшего монастыря, а затем общим планом показывается сам Яргород и...

И неожиданным медленным наплывом проступает новый город, новая панорама, которая теперь на стенде шиловского сеновала так восхищает Николая Васильевича и непременно восхитит зрителей. А затем...

Затем опять наплывы нового на старое. Там, где лес, возникает бумагоделательный комбинат, за ним химический, фанерный...

— Борис Михайлович, я, пришлый, посторонний человек, постепенно вовлекаюсь в активную борьбу и становлюсь вашим союзником, — признался Макарьев. — Все это убеждает меня.

Шилов сказанное принял как должное.

— Этого я и ожидал от вас. Всякому мыслящему человеку понятно, что здесь не фантазия, а эскизная явь, загляд в будущее нашего Пятиречья.

Самоуверенность Шилова не прозвучала кичливо. В его словах слышалась убежденность, за нею стояли экономические подтверждения, знание края, понимание перспектив его развития и все, что на деловом языке зовется всесторонне обоснованным прогнозом.

В конце дня, проведенного на сеновале, Макарьев понял то, что мог понять, и поверил остальному.

— Я ваш поклонник, Борис Михайлович, и пропагандист. И все показанное вами должно стать и станет достоянием экрана.

XXV

Вечером в гостинице Николай Васильевич, уставший за день, лежа на диване, рассказывал Юрию Рыжаеву о встрече с Шиловым.

— Юраша, ты должен снять первый самостоятельный фильм и назвать его так, чтобы он, не выглядя документальным, не был бы и игровым. Шилов — это чудо! Относительно его проектов Полихроний Сергеевич судит здраво и трезво. Он говорит, что бы ни произошло с Яр-

городом, шиловские проекты оживут в других краях. Побывай у Шилова, Юраша.

Рыжаев явился к Шилову вместе с приехавшим в Яргород оператором Яковом Яшиным. Увиденное молодыми людьми подсказало одночастный фильм, условно названный «Заглядывая в завтра». Может быть, придет лучшее название, но зачем же откладывать съемки.

И съемки начались.

В Яргороде скоро изменят свое мнение о Шилове, как и о Филиппе Павловиче Маркине, помешанном на целебной грязи зловонного болотца, названного теперь «яргородской грязелечебницей». Она в четырех-пяти километрах от Яргорода.

Приехавший туда Макарьев увидел два барака. Их возвели по настоянию того же Полихрония Сергеевича. Он, как и другие, испытал чудодейственную силу зловонной грязи на себе и добился в городском Совете ассигнования средств на замышляемую Маркиным грязелечебницу. Средства были даны, но грязелечебницу не взяли на городской бюджет. Доктор Маркин предложил перейти на самоокупаемость. Знавший целебную силу грязи, Маркин верил, что найдутся пациенты и «яргородская лечебница» окажется на славе и он сумеет построить большой хороший санаторий. Слава яргородской грязи ширилась из года в год. Побывавшие на грязях прославляли их в печати. И все шло к тому, что мечта старого доктора осуществится. Но... Но все в Яргороде теперь низалось на одну нить. Гаев проклинал и Филиппом Павловичем Маркиным. С этого он и начал разговор с Макарьевым.

— Вы только представьте, скольких людей этот лиходей, иначе я его и не называю, лишит скорого выздоровления. Болото феноменально. За месяц, а то и за три недели оно подымало на ноги безнадежных. Наша грязь идет в брикетах и за рубеж. Какой-то Шпицлер из Дании, вы можете себе представить, Николай Васильевич, предлагал концессию на болото. Ну, не дурак ли... Но если даже он дурак в смысле политическом, то так не назовешь его в остальном. Уж кто-кто, а этот толстосум проверил нашу грязь. Вы посмотрите...

Доктор указал на белеющие в лесу палатки.

— В них живут больные?

— А где им жить? Привозят с собой эти жилища. Положим, летом в них не так уж плохо, но зимой... Зи-

мой у нас глухой сезон. Эти два, извините за выражение, корпуса при двухъярусной коечной конструкции не позволяют разместить более ста больных. У нас на счету в банке уйма денег. Но разве нам разрешат построить хотя бы маленькую палатку. Море! Чтоб утонул в нем Гаев! Вся надежда на Михаила Сергеевича Мацоева.

Николай Васильевич, слушая Маркина, вспоминая Шилова, обещал себе не оставаться бездеятельным в борьбе против Гаева.

Беседуя с доктором, Макарьев спросил:

— А радикулит, Филипп Павлович, ваша грязь тоже излечивает?

— О всевышний, ты слышишь, о чем меня спрашивают? Досточтимейший Николай Васильевич, идите и спросите у больных.

«Теплое болото» вошло в сценарий. Оно будет снято в холодное утро, когда особенно заметно, какое оно теплое, парящее.

Чудесная волшебная яргородская земля!

XXVI

Происходящее в жизни одновременно в описаниях неизбежно разделяется страницами, главами. И одновременность требует вынужденной очередности. Когда Макарьев познакомился с архитектором Борисом Михайловичем Шиловым, а потом с доктором Маркиным, Мацоев, все еще оставаясь в городе, встретился с «видением» так близко, что уже невозможно было вступать в пререкания со своими глазами.

Это была она! Он знал и помнил ее зацветающей, а теперь она цвела. Цвела невыразимо. Слепяще. Разяще. Убийственно и как-то еще, что можно выразить многими словами, но для Мацоева не было ни одного из них.

— Вы ли это? — хотел крикнуть Мацоев, но не крикнулось. Его губы и язык беззвучно произнесли эти слова. Голос отказался прозвучать. Он онемел! Отказались и глаза. Глаза перестали видеть. На какое-то мгновение или чуть больше. Никто не знает меры протяженности мгновения. Оно бывает равным и секунде, и году, и нескольким годам, и вечности, оставаясь мгновением.

Не окликнув проходящую мимо него, Мацоев остановился, потом отвернулся и сделал вид, что не заметил ее. Нет, он «не сделал вид», вид «сделался» как бы незави-

симо от него. Интуитивно. Охранительно. Оказывается, встреча испугала Мацоева. Ошеломила. В ней было тоже что-то такое, чему не найдешь объяснения. Не «рок» же свел их здесь, в далеком бездорожном тупике, в безвестном Яргороде. Встретятся они в Париже, в каком-то из городов Латинской Америки и даже на мысе Доброй Надежды, это было бы можно объяснить и понять, а тут, в Яргороде...

Мацоев прислонился к телеграфному столбу. Столб сочувственно-родственно помог прийти в себя остолбеневшему, собраться с мыслями, понять, как это произошло. Не могла же она приехать сюда, чтобы увидеться с ним. Это проще было сделать в Москве. Да и зачем ей нужна встреча, когда он так оскорбил и унизил ее своей прямоотой. Но как знать, может быть, теперь она предпочла забыть обиды и попытаться осуществить несостоявшееся.

Придя в себя, он почувствовал, что далее не нужна поддержка телеграфного столба. Нужна более надежная опора. Ноги. Свои собственные ноги. Он, став на них твердо, сделал шаг, потом другой и пошел, куда пошло. А пошло туда, с чего началось, потом оборвалось и снова продолжилось в Яргороде.

Казавшееся ушедшим, умершим, а то и никогда не бывшим — ожило.

Память молниеносно листает страницы прожитого Михаилом Сергеевичем Мацоевым и той, что вернулась и, вернувшись, вольется заметным притоком в это пятиреченское повествование.

Всякий приток начинается с истока. Так начнем и мы, вернувшись вместе с Мацоевым из Яргорода в Москву, когда он, еще очень молодой, успешно защитил докторскую диссертацию «Анализ водного баланса». Рукопись диссертации, предполагавшейся быть кандидатской, до того, как стать книгой, размножалась самостийно, машинописно, ротаторно, становилась насущнейшим пособием и руководством не одних лишь специалистов-гидрологов, но и широкого круга лиц, имеющих отношение к мелиорации, ирригации, проектировщиков водоемов, оросительных каналов и гидроэлектрических станций. Работа Мацоева, написанная в манере свободного повествования, образного разговора, представляла собою популярное, общедоступное изложение глубокого научного анализа среднегодового прихода-расхода и вероятного саль-

до водных ресурсов. Обобщая труды предшественников, Мацоев, как бы фокусируя их, создал научное произведение широкого диапазона звучания и универсального пользования.

Бабушка Мацоева, Василиса Васильевна, если б она была жива, узнала бы в многих строках и в самом духе диссертации, как сказалось заложенное ею в годы детства и юности внука. И одержимый филолог, дед Михаил Степанович Мацоев, тоже бы не раскаялся в своих поучениях и безбоязненности говорить и писать, читать лекции, делать доклады, прибегая к выразительной простоте родного языка, сторонясь лексического щегольства и жонглирования заумными терминами, пренебрегая равнозначными общепринятыми словами.

Кандидатская диссертация на защите перешла в докторскую.

Должна же быть хоть в чем-то благосклонной жизнь к Мацоеву. И она, будто компенсируя обиженного внешностью молодого доктора, исправляла свое глумление над ним. Вознаграждала единомышленников голосовавших за него, прославляла в печати, по радио. По телевидению этого было сделать нельзя. Мацоев не согласился бы показаться на экране миллионам зрителей, отлично понимая, каким комедийным контрастом увиделось бы его лицо и как гомерически смешно конфликтовало бы оно с его академически строго звучащим званием доктора. Поэтому по телевидению разговаривал не он, а говорили о нем. Показывали не его, а книги, написанные им.

В счастливые для Мацоева дни к нему на кафедру пришла девушка. Робкая. Предупредительная.

Аттестуя вошедшую, которая назвалась Лиззи, скажем, что в кругах, знавших ее, говорили о ней как о девушке энергичной, трудолюбивой и одаренной. В ее годы никто не требовал от нее глубоких знаний, но никто не мог ей отказать в завидном запасе сведений из самых различных отраслей науки, техники, искусства и литературы. Никогда не бравировав этим, она смущенно признавалась, что ей доставляет радость принять участие в далеком от нее разговоре и поделиться теми немногими сведениями, которые, может быть, кому-то будут полезны. И ее суждения почти всегда были приятны и очень часто привлекательны. Привлекательны тем, что Лиззи незаметно роняла жемчужины, приводившие в восхище-

ние тех, кто знал им цену. Одна из таких жемчужин запала в сердце Мацоева.

Лиззи пришла к нему взять интервью. Надо сказать, что Лиззи, будучи девушкой, еще не нашедшей своей профессии, пробовала себя теперь в журналистике. Представившись Мацоеву, она поразила знанием предмета, о котором должна была написать заметку в одну из газет. Она цитировала по памяти целые абзацы из книги «Анализ водного баланса», останавливаясь на запятых и точках, усиливая голосом наиболее значительные фразы.

— Я думаю их привести в газете.

— В какой? — спросил Мацоев.

— В какой именно, — призналась она, — я не знаю и сама. Там, где возьмут. — И, стыдливо опустив глаза, сделала еще одно признание: — Я так усердно ищу себя, что, кажется, скоро потеряюсь в поисках.

Отзывчивого Мацоева заинтересовало сказанное ею и сама она как обаятельнейшее воплощение простоты.

В ее лице, прическе, одежде не было ничего, что заставляло бы обратить на себя внимание, привлекало бы взгляды посторонних людей. Она стеснялась подымать на него глаза, будто находя их тоже нескромным украшением своего лица, как и белизну зубов, как и выющиеся на висках локоны, как и все остальное, стремившееся против ее воли быть увиденным.

— И сколько же лет вы себя ищете, Лиззи? — Она просила так называть себя.

— Наверно, пять, — ответила она. — С десятого класса. Филология не увлекла меня, и я занялась живописью. А живопись не увлеклась мною. — Тут она улыбнулась и кротко заглянула в глаза Мацоеву. — Меня приняли в театральное училище, но там не достало мне того, чем не должна пренебрегать актриса, если она стремится блистать.

Каждый раз, когда Лиззи прерывала свой рассказ, Мацоев просил, а затем упрасивал ее рассказывать о себе, заметив:

— Как знать, может быть, я чем-то, хотя бы советом, могу быть полезен вам. Если люди не будут помогать друг другу, человечество задохнется в собственной про-топлазме.

Воодушевленная этим, Лиззи рассказывала и о том, что скрывалось, по ее признанию, от других.

— Вы так, Михаил Сергеевич, располагаете к откровенности, что я становлюсь болтлива. Что только не перепробовала я в моих поисках. Я писала мемуары и воспоминания за других. Выполняла библиографические поручения. Давала уроки по произношению, репетировала речи с теми, кто должен, но не мог выступать по телевидению. Обучала танцам неспособных к ним. Придумывала фасоны платьев. Консультировала знатных новоселов по меблированию и убранству их квартир. И даже соединяла сердца далеких во многих отношениях людей в любящие пары. Не сумев соединить свое сердце с самым дорогим спутником жизни, имя которому Призвание.

Интервью затянулось надолго и продолжилось прогулкой по Москве, и закончилось в квартире Мацоева.

Наутро Мацоев проснулся женатым человеком. Он, кроме имени Лиззи, узнал ее фамилию. Слезкина. В ней было тоже что-то трогательное.

«Это так необычно и странно, такого никогда не бывало со мной». Сказал, но не произнес этих слов Мацоев.

А она услышала эти слова и ответила кротко, опустив глаза:

— Я испробовала еще одну мою возможность. Может быть, она и есть доподлинная моя.

— Лиззи, милая Лиззи, что вы говорите?

— То, что есть. То, что выглядит тем, чему нельзя не выглядеть иначе. Я прошу вас лишь об одном. Отвернитесь и пощадите меня. Сохраните за мной последнюю малость уважения к себе. Мне нужно привести себя в тот вид, в каком я пришла сюда.

— Лиззи, чудесная Лиззи, не наговаривайте на себя, не уничтожайте меня. Разве в жизни, в огромной многовековой жизни людей, любовь не начиналась с первой встречи и не была чистой, долгой, до края ее края. Лиззи, милая Лиззи, я никогда... вы слышите, никогда не верил, не допускал, не надеялся, что кто-то когда-то, хотя бы... Хотя бы из сожаления полюбит меня. А ты, а ты, моя Лиззи, так безоглядно, свято и чисто, молитвенно и целомудренно... Нет, нет, нет... У меня нет слов... И вообще нет слов тому, что их не имеет и не может быть названо. Скажи, не раскаиваешься ли ты? Не наваяние ли, не какие-то незнанные силы властвовали над тобой?

Лиззи заплакала. Горячо прильнула к нему и прокричала:

— Счастье мое! Муж мой!..

XXVII

Начавшийся роман Мацоева и Лиззи мог бы стать произведением, существующим сам по себе, если бы он не был, скажем еще раз, притоком нашего повествования. Притоком малым, но не малозначащим. Поэтому уделим ему внимание ничуть не большее, чем он заслуживает, хотя его крутые излучины, пороги, подводные и коварные камни могли бы стать захватывающим путешествием на многие десятки страниц.

Мацоев познакомился с матерью Лиззи, Людмилой Эмильевной Слезкиной. Эта еще молодая, приветливая женщина заведовала районной библиотекой, а для души «сочиняла» платья для хоровых ансамблей. Она при первой же встрече рассказала, что ее милая доченька не знает своего отца, как, впрочем, и сама Людмила Эмильевна, к своему стыду, тоже не была уверена, какое отчество следует присвоить ее новорожденной дочери.

— Я, Михаил Сергеевич, не раскаиваюсь в своей женской добродетельности, в своей бездумности цветения... Что было, то было. И вам надо знать все. Лиззи носит мою фамилию и мое отчество. Эмильевна.

На Мацоева это не произвело никакого впечатления. «Что было, то было», — повторили его мысли. Судья ли он матери Лиззи. И если уж на то пошло, то будь он не тем, что есть, может быть, и Лиззи оказалась бы не в лучшем положении, чем ее мать.

Лиззи поселилась у Мацоева до того, как по существующим законоположениям он мог прописать ее. Квартира в старом доме на Арбате преобразилась за несколько недель. Бережно сохраняя все, что было связано с дедом и бабушкой милого Мишеньки, она умело, с большим вкусом обставляла комнаты, не притесняя прошлое настоящим, а как бы подчеркивая взаимное уважение.

Старуха Анна Самсоновна, которую и теперь называл Мацоев нянечкой, вернувшись после долгой отлучки из родной деревни, оценила переустройство «дедова логова» и особенно была довольна приведением в божеский вид стародавних икон в ее комнате. За это Лиззи она стала называть Зоренькой-Лазоренькой. Старухе особенно было дорого, что беленькая сдобненькая писанка-ясынка

любит ее Мишуленьку. А он был ее. Ее радостью. Ее горестью. Выпестованным в холе. Выстраданным в горе за обездоленное страшною его личико, за надругательское тиранство злых сердец с мальчишечьих годков до зрелых лет. А тут...

А тут на тебе... С визгом бежит Лазоренька к дверям навстречу ему, как только послышатся его два звонка с одним отголосочком. С коленей не слазит, глаз не сводит, млеет и тает, поет-расцветает, маком алеет, былинкой никнет... И все для него.

Мишулинькиным счастьем осчастливилась старость Анны Самсоновны. Давно ли смерть ходила вокруг да около. Давно ли Самсоновна, ложась, не чаяла проснуться. А теперь конец восьмого десятка ее так подмолодил, что другой раз и сама заводила молодые песни. И особенно складно выпевались они, когда стала заметна скорая прибыль в семье.

Хотелось Самсоновне, чтобы эта прибыль была не женского поля ягодка, а мужского пола человек. Боялась старуха, что если девчущечку даст господь, то сатана бесприменно изгадит ее лицо отцовским обличьем. Тогда заживо считай ее мертвой для радостей жизни. Кто возьмет, кому нужна будет такая... А мальчик, каким он ни будь, перестрадает свое неблагообразие, но переживет и найдет свою Зореньку-Лазореньку, как и отец.

Родился мальчик. Родился красавчиком с первого дня. Ни красноты, ни рыжины, ни одной отцовской уродинки. Весь в мать. Ангелок. Верх взяли над сатаной старые иконы. Дошла до бога, и понял бог греховную молитву Самсоновны о том, чтобы сын не был похож на отца.

Юлием, в честь деда Лиззи, назвали красавчика. Молоденькую, чистюлечку из чистюль, с настоящим рязанским выговором из деревни Самсоновна сродственницу выписала. Лушу. Мало лет ей. Зато честности через край. Там она восьмой класс еле-еле дотянула, здесь все десять вытянет. Трудненько придется, зато дорого вознаградится. Самсоновна в первый же день наследственно завещала свою сберегательную книжку на Лушу.

Радости полон дом. Юлика чуть не каждый день взвешивают на весах. Доктор-сосед, Мишулин друг, надо не надо, то и дело навевается. Все хорошо. Большая лампадка у икон полным светом горит. А сатана свое подлое дело никогда не забывает. Запустил он ядовитого, черно-

го червя в светлую Самсонихину голову. И стал этот червь подсчитывать дни, недели, месяцы. И по этим дням, неделям, месяцам Юлик на многовато опередил свой приход на белый свет.

Спать перестала Самсоновна. Все считает-пересчитывает. И на пальцах, и на спичках для точности. На четки перешла. По отрывному календарю листик за листиком перебрала. И все давало ей один и тот же ответ.

По медицине, говорят, родился в самый раз. А по спичкам, по четкам, по пальцам эта «всаморазность» расходуется месяца на два с немалым гачком.

Миша! Мишуленька! Да неужто она тебя обмишулила, обвела! Неужто Юлечка не Мацоев, не Михайлович, а бог весть чеевич! И к тому же ни одной знакомой приметинки, родинки.

Чей же он?

XXVIII

Заглянула как-то Самсоновна в Лиззины глаза, а потом их на Юлика перевела. Ему уж годик был. Ни о чем не спросила тогда она ее. Лиззи сама ответила на неспрошенное. Отвернулась и ушла.

Всплыла кукушечья правда. А как сказать о ней обманутому отцу? Он же души не чает в Юлике-Люлике. Правда свята, но и зла своей святостью. Умертвила старуха в себе сатанинского червя. Скрыла Лиззин обман. А понять ей дала, что и к чему. Не называла ее больше Зоренькой-Лазоренькой. А умираючи, шепнула:

— И перед смертью, Лизавета, даже не все попу говорят... Люби мужа! Стоит он этого. Стоит.

С облегчением похоронила Лиззи старую няньку. Казалось, с нею все ушло. Казалось, но не ушло.

Сатана принял живой человеческий облик, лишенный всякой потусторонности. Им стала староватенькая бабенка, крючковатая носом и страшноватая гадючьими глазами. Полей звалась она. Без отчества. Не подходило оно к ее промыслу. А промысел был у нее таким, что и не назовешь. Одна в квартире жила она. В неприметном коридорном тупичке большого дома. Жила безбедно. И пенсия ладная. И сыновья — один с Севера, другой из Закаспия — посылали матери еще по половине пенсии. Можно было жить, не оглядываясь. А у кого избыток, тому всегда мало. И увидела Полина, что ее квартирный

ключ может стать золотым ключиком. Мало ли пар в Москве, которым негде пароваться, особенно в непогоду и зимнюю стужу. Нашлись такие. Попервоначально по малой цене свой ключик передоверяла. А потом вошла в курс. И кому ни попадя не позволяла она открывать двери в свою однокомнатную. Выискивались денежные и, скажем, валютные открыватели. И одна из них, не назвавшаяся своим именем красатулечка, большим рублем стала платить за ключ и переобставила на современный манер ее однокомнатное прибежище.

Обещала Полина не подсматривать, кто приходит к безымянной красатулечке. Но как-то увидела ее голубя. Лица не запомнила. В больших темных очках был. И леший с ним. Зачем ей знать, кто и каков он. А красатулечку-то она вызнала. А потом и адресок ее установила. Для «на всякий случай». Оно конечно, чем человек меньше знает, тем крепче спит. Но раз на раз не приходится. Многознаемость тоже, случается, хорошую службу служит.

На этот раз она такой и была.

Припожаловал крючковатый нос вместе с гадючьими глазками к Лиззи Эмильевне Мацоевой, когда никого в доме не было. Выждала Полина такой час и:

— Здравствуй, красуленька моя. С поклончиком я к тебе.

Лиззи заметно помучневела и тем обрадовала совсем уже посатаневшую Полину.

— Здравствуйте, Апполинария Григорьевна.

— Ты не величай меня. Зови по-старому. И не робей. Я по делу. Внучку замуж отдаю, и хотелось бы мне ее, невинницу-девственницу, кооперативной квартиркой компатишки на три взаместо приданого одарить. Помоги. У тебя есть чем помочь. Много я не прошу, но и малого не возьму.

Старуха назвала цифру, которая привела Лиззи в ярость. Но Лиззи сдержала себя.

— За что же?

— За что — ни за что, а коли прошу, значит, так надобно, — приказательно сказала Полина, а потом, как бы между прочим, вставила: — Видела твоего Юлика. И признала в нем «синие очки» по ушкам, по затылочку, по волосикам и по высокому лобику. — Потом она вынула из кармана юбки носовой платок, шумно высморкалась и добавила: — Пораздумай! Я не тороплю. Неделю по-

дожду. Ну, а больше-то уж не найду возможности. Срок взносу подойдет. Да не бледней, не бледней, лапонька. Я по-божески. Другая бы донага раздела тебя, лишь бы не разлучать с таким богоданным Михаилом Архангеловичем! Христом Христос в своем неведении, и да пребудет оно тайной тайностью и умрет со мной. А для внученьки желательно сделать доброе, святое дело, и ты, Лиззеточка, посвятей для этого... Не поскупись.

Услышав звонок, Полина быстро затараторила:

— Если надобны вам, гражданочка, старинные кружевца, принесу их на той неделке...

Напрасно она произносила эти слова. Пришел почтальон и сказал:

— Щель узка. Толстые бандероли не пролезают. Пожалуйста.

Он ушел. Полина ушла следом, не попрощавшись, сказав:

— Увидимся. Адрес знаешь. Сотенными бумагами принеси. Их легче считать...

XXIX

Лиззи поняла и взвесила, что называется, «конъюнктуру». Она могла бы отдать требуемое от нее. И отдала бы. Но ее останавливала наглость старухи. Ее хищное бесстыдство. Лиззи не сомневалась, что, уступи ей, она не остановится и будет требовать еще и еще и в конце концов предаст. Не правильнее ли отрезать вымогательские угрозы и назвать ее мужу шантажисткой? У нее нет доказательств. Нет и того лица, которое повторил Юлик. Он вернулся в свою страну, поблагодарив Лиззи щедрее предшествующих ему.

Полина позвонила на шестой день и сказала:

— Завтра жду, лапочка, а ежели не пожалуешь, не обессудь.

Маленький розовый ротик Лиззи, сверкающий жемчужными зубками, голосок, соперничающий с флейтой, визгливо конструировали такую многосложную брань, что содрогнулся бы всякий услышавший ее.

— Предавай же, смердящая заживо...— Тут снова последовали каленные дожигающего свечения проклятья.

Было слышно, как ахнула старуха и выронила трубку, а Лиззи грациозно повесила свою трубку на рычаг

стенного телефона, побежала к дверям на два знакомых звонка и один коротенький «дозвончик» и, еще не открыв дверь, начала трель:

— Тили-тили... Тили-бом-були... Рыжик-чирик-любуйся... Ненаглядное «жюли»... Наконец-то вы пришли...

Она повисла на шее своего «жюли-любуйся», помогла ему снять пальто и шепнула:

— Мишенька, дома никого, и такое солнце... Как хочу, чтобы оно знало и видало, какие мы бесстыдники.

Лиззи закружила его, закружился и он, не зная, что это последний супружеский вальс, как не знала и она, что произойдет завтра.

А завтра было таким же солнечным с утра и могильно-беспросветным, крошечно-темным вечером.

Лютое озлобление Полины помогло ей встретиться с Мацоевым у подъезда его дома. Он возвращался в преотличнейшем настроении и насвистывал «тили-тили-бом-були»...

— Михаил Сергеевич! — услышал он хриловатый голос. — Не погнушайтесь. Остановитесь!

Он остановился.

— Кто вы и что вам угодно?

— Мне угодно, Михаил Сергеевич, покаяться и пасть перед вами на колени. — И она опустилась на колени и замерла в поклоне.

Мацоев растерялся. Отскочил. Потом поднял ее.

— Как вы можете так... Тут же люди...

— Что мне люди? До них ли, когда нет больше моих сил носить в себе, окаянной, грех перед вами, Михаил Сергеевич, и перед ангельской душенькой Юлика.

Имя сына сделало свое. Полина и рассчитывала на это.

— Тогда прошу вас объяснить хотя бы там, — Мацоев указал на детскую площадку, и они перешли улицу. На площадке в этот час было пусто. Он искал место, чтобы сесть.

— Ничего, не беспокойтесь, — попросила она. — Исповедоваться положено стоя. Мне мало надо сказать слов, и я не отягчу ваши ноги.

Полина была кратка. Она подготовилась к встрече и не один раз перешептала про себя то, что нужно было сказать.

Потрясенный услышанным, Мацоев нашел в себе силы сдержать себя и отразить удар.

— Сударыня, зачем вы утруждали себя? Все это я знаю от Лиззи. И то, что было у нее до встречи со мной, забыто и ею и мною. Таким образом, имею честь.— Он поднял шляпу, хотел повернуться и уйти. Но Полина удержала его за пальто.

— За это не винят женщину и не считают того, что было до росписи с вами. Бытое — смытое. Но простимо ли детной матери, мужней жене нарушать закон, хотя бы и не церковный?

Это остановило Мацоева. Остановило тем более, когда она сказала:

— Она же туристствовала к нему. Тоже женатому. И туристствовала не один раз...

Это было правдой. Лиззи отправлялась в туристические поездки. А далее старуха лгала нагло и бессовестно:

— А он слал ей через меня марьяжные письма. Я не передавала их грешнице. Думала этим пресекчи ее беспутство. Но кошке не обернуться голубицей. Лиззи нашла другие крыши и глумяще намякуивала, сколь вы, святой человек, нестерпимо отвратны ей своей... Не назову, не повторю эти прозвания, не желая чернить свой язык и оглушать ваши уши. Если надобны улики, они у меня ссть. Скупала я их.

Мацоев спросил:

— А зачем они были нужны вам? Зачем скупали вы их?

— Каюсь! Подлая я. Завистливая. Хотела продать их ей. Внушенька у меня замуж выходит.

Полина, меняя маску кающейся грешницы на другую, перевоплощалась в любящую бабушку сиротки внучки Марфиньки, которую она называла и Мавринькой, нетвердо помня выдуманное имя выдуманной внучки. А затем принялась называть мужские имена.

Они назывались Мацоеву и до этого его близкими. Назывались ничего не утверждающе, а как бы преду-преждая Михаила Сергеевича: «От этого красавца можно ожидать всякое...» или прямее: «Ваш ли он друг?»

Тогда Михаил Сергеевич не обращал внимания на шутки подобного рода, а теперь вспомнилось все, чему не придавалось никакого значения, и стало неопровержимой, безжалостной правдой.

Не дослушав Полину и не простившись с ней, он сказал:

— Я не знаю вашего имени. Не хочу его знать. И забуду об этой встрече навсегда. Ее не было для меня.

Полина осталась на детской площадке. Ноги не держали ее. А сесть было некуда, кроме деревянного конька-горбунка, оседлав которого дети играли в знаменитую сказку. Сев на конька, как садятся на скамью, она хотела понять Мацоева и не могла. А понять было нужно. Необходимо было найти объяснения, почему он так спокойно выслушал ее. Не святой же, в самом деле. Как можно прощать корыстной бабенке надругание над собой. Она, размышляя, нашла объяснения и сказала себе:

— Обезьяна и есть обезьяна. Ей лишь бы тешить свои обезьяньи нужности, ни о чем не думая, ничего не зная, никуда не глядя.

Довольная складностью сказанного, она поплелась к троллейбусной остановке, надеясь, что начатое ею будет доведено до конца и она добьется своего.

XXX

Дома Мацоев, как всегда, был встречен Лиззи, отворившей двери. Как всегда, она хотела повиснуть у него на шее. Он отстранился. Она догадалась, что произошло, а догадавшись, решила проверить.

— Почему ты так поздно? Юлик уже спит.

— Для этого я и опоздал.

В его лице читалась тревога. Значит, старуха предала. Но, может быть, произошло что-то другое...

— Что-то случилось, Рыжик?

— Пока еще нет.— Он ожег ее зажелтевшими глазами.— Тебе, может быть, хочется сказать, что не сказалось в свое время? Еще не поздно...

Она давно готовилась к этому. Сначала ей хотелось опередить предательницу Полину и смягчить удар, но ее останавливала надежда на то, что старуха побоится... Выдавая ее, она выдаст и себя. Зачем же ей рисковать? Старая ведьма не промолчала. Что же Лиззи делать теперь, когда мгновения решают ее участь? Не упасть ли ей в обморок и, выгадав время, придумать, как она была обманута бесчестным соблазнителем? Забиться ли в истерику и, придя в себя, дать клятву верности? А может быть, разыграть попытку выброситься из окна?.. И он никогда и не вспомнит ей...

Так бы и было. Но зачем ей быть прощенной и стать обязанной ему? Не лучше ли обязанным сделать его? Унизить. Уничтожить. Растереть подошвой... А потом — как милость снисходительно позволить ему медленное... в течение многих недель возвращение к ней...

Она решилась. Лиззи завязывает поединок:

— Я давно ждала и дождалась. Старые, гнилые зубы оставили меня без скорлупы.

— Зачем так грубо, Лиззи? Я не от кого-то, а от тебя хочу услышать правду.

— Так слушай! — оборвала она его и в исступлении жестокости и гнева начала злее, чем хотела: — Орангутанг! И ты мог вообразить, что тебя полюбит женщина? Будь она калеккой, прокаженной, умопомраченной, — распалая себя, Лиззи неистовствовала, — и даже будь она от рождения слепой, то и тогда бы ее осязание, ее руки не позволили бы ей терпеть это омерзение...

Она не договорила, задышавшись, давась словами. Лиззи хотела оглушить его, но в запале не рассчитала удара и убила в нем себя. Но не переигрывать же ей теперь, не возвращать же сказанное. Будь что будет.

— Все, что ты узнал, — правда. Скажу больше того, чтобы очарованному пню не пришло в голову, что я хотя бы на один миг принадлежала ему. Пню не понять, каких усилий стоил мне этот адский фарс. Каким надруганием над собой была эта игра. Теперь я вышла из нее. Удав, тебе бы пресмыкаться у моих ног, не подымая головы. Ты должен поклониться моему обману, моей подвижнической лжи, которая так долго тебе казалась счастливой правдой. Благодарен ли ты?

— Да, — не задумываясь, ответил Михаил Сергеевич. — Я благодарен.

Лиззи окончательно наглела:

— Как же будет выражена эта благодарность?

— Я думаю, мне надо надеть пальто, сказать «прощайте» и уйти.

— Не упрощай! Нужно же как-то разделить...

— Я ни на что не претендую... Кроме рукописей и книг... И тех немногих памятных вещей, которые принадлежали бабушке и деду. Они не пригодятся вам. Но как поступить с Юликом? Нужен ли он вам?

Прежде чем ответить, Лиззи задумалась. Зачем-то посмотрела на потолок. Вздохнула. И еще раз вздохнула и призналась:

— Я плохая мать. Иной стать не сумею. Луша ближе Юлику. А вы для него — все. И я бы отдала его вам, будь я другой. Теряя Юлика, я теряю положенное ему. Я откровенно жадна и не стыжусь этого. Думаю, что вы не поскупитесь, когда я назову желаемую сумму. К ней мы еще вернемся. Развязав первый узел, развяжем и второй и... третий.

— Третий? Какой?

— Уродливый и рыжий, появившись, он может снова насильно связать нас.

— Вы лжете, Лиззи!

— Лгу! Но кто уличит меня? Не вы ли?

— Я не уличитель. Но знайте, Лиззи, не все узлы развязываете только вы. Я вам ничем не угрожаю и ничего не предприму ради Юлика... Сделайте и его и мою любовь к нему постыдным оружием наживы...

Он ушел. Луша слышала, как закрылась за ним входная дверь. Она слышала все и узнала все.

Юлик сладко спал и кому-то улыбался во сне. Луша подошла к нему и поправила сползшее одеяло.

Что скажет она завтра ему, когда он проснется...

XXXI

— Лиззи, где паппи? — Так заставляла мать Юлика называть отца. Слово «паппи» было созвучно с ее именем, которым мальчик, по ее же настоянию, называл мать. Без матери Юлик называл папу «папой».

— Паппи в командировке, — солгала Лиззи и прочитала телеграмму, в которой отец много и очень много раз целовал своего сына. От него же вечером пришла посылка с электровозом, вагонами, рельсами, светофорами, стрелками, станцией, туннелем в горе... Лиззи, пораздумав, решила, что Михаил Сергеевич вернется, что в нем возьмет верх его всепрощающий дедушка. Лиззи не сомневалась, что будет найдено компромиссное решение. Можно, живя в одной квартире, жить порознь. Мало ли вариантов сумеет незаметно подсказать она, а он великодушно подсказанное примет за свое и ради Юлика смирится с неизбежным.

Надежда была напрасной. Лиззи не представляла, что бабушка значила в Михаиле Сергеевиче больше, чем дед. Внук не знал, с какой силой воли бабушкино наследство распрямило его душу, заставило навсегда отр-

зять Лиззи, вытравить чувства к ней и ожесточить себя против нее.

Самоуверенная Лиззи продолжала обманывать сына, обещая скорый приезд отца. Но мальчик видел в глазах матери ложь, в глазах Луши — печаль. Лгало все. И посылка, и телеграммы. Их пришло уже три. Не лгали догадки. Как папа мог уехать, не простившись с ним, не поцеловав его? Как мог он не позвонить по телефону, если он звонил всегда из далеких-далеких городов? И наконец Юлик спросил у Луши, спросил не по-ребячьи строго:

— Ты, Луша, после папы любишь меня больше всех. И я больше всех люблю тебя после него. Положи руки на свое сердце и скажи, где папа?

Луша разрыдалась. Вошла Лиззи. Юлик повторил вопрос. У матери хватило бессердечия, и она сказала:

— Он оставил нас.

Юлик покачулся. Сел на пол. Холодный пот. Озноб. Закрытые, вздрагивающие веки. Учащенное дыхание. Доктор из соседней квартиры. Первая помощь. За ней укол и долгий тревожный сон.

— Эмоциональный шок. Испуг. Дальнейшее покажет. Необходимо показать специалисту.

Доктор-сосед дважды приходил в этот день, а наутро пришел с другим. И этот другой доктор попросил оставить его вдвоем с мальчиком.

Юлик был слаб после укола, но на вопросы доктора отвечал не затрудняя себя, не напрягаясь. Он помнил все, кроме беспамятства. И рассказал, как его обманывала Лиззи. Как потом Луша громко-громко плакала и Лиззи сказала правду. Юлик повторил из слова в слово эту правду, услышанную от матери: «Он оставил нас».

Причина болезни была установлена. Нужно было установить остальное. Состоялся разговор с матерью с глазу на глаз. Начался он так:

— Лиззи Эмильевна, было бы правильно, если бы и вы знали мое имя: Евгений Семенович Крамов. Запишите. Или лучше это я сделаю сам. У вас дрожат руки. Успокойтесь. Опасного пока ничего нет. Подчеркиваю — пока. Это шок. Я не знаю, не смею и не желаю знать, что произошло в вашей семье.

— Мой муж, Михаил Сергеевич Мацоев, оставил нас.

— Об этом мне сообщил ваш сын. Повторяю, я не хочу знать, что произошло. Но я обязан сказать, что

нужно сделать. Михаил Сергеевич по счастливой случайности знаком со мной. Мне известно, как он любит своего сына и как Юлик обожает отца.

— Я поражена вашей осведомленностью.

— Это уж как вам угодно. Я должен вылечить вашего сына и предупредить возможные повторения... Вы, надеюсь, понимаете, какие. Сын должен в ближайшее время поселиться у отца. И об этом скажете ему не вы, а я. Затем сказанное мною подтвердит Юлику по телефону Михаил Сергеевич. При мне.

— Это невозможно, уважаемый...— прочитала она на бумажке имя Крамова и назвала его,— лишить мать сына.

— Не лишить, Лиззи Эмильевна, а — сохранить.

— На-на-надеюсь, на время? — заикаясь, спросила Лиззи.

— Разумеется, на время... И время покажет, подскажет все остальное? Так вы согласны?

— Да, если это единственный выход.

— Благодарю вас.— Откланявшись, Евгений Семенович направился в комнату, где лежал Юлик. Он вошел туда, смеясь и приплясывая.

— Юлий Михайлович, все складывается счастливо и просто. Завтра ты переедешь к своему папе!

— Неправда... Значит, и вы обманываете меня...

Губы Юлика затряслись, зрачки расширились.

— Мальчик, мой умный мальчик, очень хорошо, что ты перестал быть доверчивым. Очень хорошо. И я бы на твоём месте не поверил этому. Но как можно не поверить своему папе... С ним ты сейчас, сию минуту, поговоришь по телефону.

Евгений Семенович взял мальчика на руки, попросил провести его к телефону. И разговор состоялся. Сказанное доктором подтвердил самый родной, самый дорогой голос из всех голосов. Не верить было уже нельзя.

— Но почему завтра, а не сегодня, не сейчас?..

— О чем ты? — удивился Крамов.— Сегодня так сегодня... Сейчас так сейчас... Одевайся! Одевайтесь и вы,— обратился он к Луше.

— Он же болен,— вмешалась Лиззи.

— Тем более нельзя откладывать лечение.

— Но надо же собрать...

— Какие там сборы... Завтра Луша привезет остальное.

Лиззи плакала. Целовала руки Юлика. Нацеловывала и его, а он хотел как можно скорее вырваться из ее объятий и очутиться в объятиях отца.

XXXII

Машина доктора Крамова остановилась возле большого дома на Сивцевом Вражке.

— Вот мы и приехали, Юлий Михайлович. Сейчас нам предстоит еще маленькое путешествие на лифте. Затем мы нажмем кнопку звонка.

— Нужно позвонить два раза громко и один чуть-чуть,— подсказал Юлик.

— Хорошо! Так и будет сделано,— сказал развеселившийся доктор Крамов.— Но сумею ли я правильно позвонить? Может быть, это сделаешь ты?

— Меня только нужно поддержать, пока я звоню.

Быстрый лифт поднял приехавших. Луша еще быстрее подняла Юлика к блестящей кнопке.

— Это раз... Это два и еще половинка маленького разика...

Дверь открылась. А с ней открылись и объятия отца.

Незнакомые люди. Чужие стены и вещи. Но здесь отец, и Луша тоже здесь. Значит, все с ним.

Евгений Семенович боялся нового потрясения радости. Такое бывало в его практике. Могло быть и на этот раз.

— Все хорошо,— сказал он, прощаясь.— Но завтра я заверну к вам, Михаил Сергеевич.

Сейчас мы, с некоторым опозданием, должны узнать, что за квартира, где поселился Мацоев.

В тот вечер, когда с Лиззи было выяснено все, Михаил Сергеевич долго перебирал знакомых, где бы он мог найти пристанище. Таких было много, и не было ни одного, кому бы мог он рассказать о происшедшем. Оставался только его учитель, Иван Павлович Танеев, но недавно Мацоев, хотя и косвенно, обидел его в печати. Шла речь о поисках и восстановлении древнейших колодцев некогда цветущих пустынь и полупустынь, оказавшихся во власти песков. Эту идею выдвинул Мацоев после поездки вместе с археологами в Среднюю Азию. Новый успех молодого ученого кому-то показался «изобретением велосипеда», и вскоре в тощем информационном бюллетене появилась язвительная заметка, без

упоминания фамилии Мацоева, — «Гидрологическое крохоборство». В числе подписавших ее был и академик Танеев. Заметка была бегло прочитана Ивану Павловичу по телефону, и он, сторонник больших оросительных систем, согласился поставить свое имя, не имея понятия, не зная, кого касалась заметка.

Оскорбленный прочитанным, Мацоев ответил большой уничтожающей статьей о кабинетном верхоглядстве, о пренебрежении к малым источникам, рождающим большую воду, сожалел о «некоторых прославленных мужах, девальвирующих свое имя, ставя его рядом с именами пасквилянтов».

В примечании редакция полностью присоединилась к автору статьи «Забутые сокровища пустынь». После этой публикации, прозвучавшей и по радио, Мацоев решил, что он перестал существовать для Ивана Павловича.

Было уже совсем поздно, когда ноги Мацоева привели его на Сивцев Вражек, в дом, где жил Танеев. Нужно же было где-то ночевать и когда-то объясниться с учителем.

— Мишенька, а я думал, что ты навсегда забыл свой старый колодец и все еще в обиде на меня, одураченного завистливыми шарлатанами. — Танеев обнял его.

Все объяснилось хорошо и просто.

— Иногда ноги разумнее головы, — оправдывался Мацоев.

Мацоев рассказал о происшедшем так быстро и коротко, что Танееву не пришлось ничего выяснять или спрашивать. Он сказал:

— Мишенька, моя «Сахара» — твоя «Сахара». Из шести ее оазисов бери все, кроме моего. — И тут же по-стариковски визгливо крикнул: — Аришута! Ужин на двонх!

На зов выбежала легкая на ногу старушечка, зевая и крестя беззубый рот, протирая заспанные глаза, спросила:

— А кто второй? — И, увидев Мацоева, хлопнула сухими руками по костям, которые уже нельзя было называть бедрами, боязливо спросила: — Откуда ты, Мишенька?

— Проснешься, узнаешь, а теперь, Аришута, для разбега лимон с сахаром и сопутствующее к сему. — Сказав так, Иван Павлович наставительнейше принялся

вразумлять Мацоева: — Обесславленный — не обезглавленный. У лжи долог и остер язык, да скоротечен. Не долговек. Ты один, и я один, а вместе мы двое. Аришутка третья. Мишенька, не приведи бог и не допусти домовой, которого Арина перевезла из старой квартиры и поселила в кухонном шкафу, чтобы она взялась за твою Лиззи-слиззи. Старуха безбоязненна в гневе. Она живой смертью может навестить ее и одним своим видом вогнать твою...

Вошедшая Арина Лазаревна принесла нарезанный ломтиками лимон и приземистую бутылку коньяку.

— Сами откроете. Пальцы-то уж слабеют у меня, — сообщила она Мацоеву. — В иноземных державах глыбки и туги пробки засаживают. Шикують!

Скорый ужин закончился обоюдно счастливым «коммюнике» о переселении Мацоева в квартиру Ивана Павловича. С этого вечера и началась новая жизнь одинокого академика Танеева, а вскоре появились еще два новых жильца. Первый тут же был назван Иваном Павловичем внуком. Юлик принял это как должное и впервые в жизни произнес слово «дедушка», принадлежащее не кому-то неизвестному в читанных ему сказках, а настоящему, живому, ласковому учителю отца.

Второй жилец тоже был принят с радостью. Арина Лазаревна сказала Луше:

— И по глазам твоим, и по голосу, и по всей твоей ласковости вижу, что промеж нами кошке не пробежать.

Арина Лазаревна показала, где, что и к чему в их квартире. Каков распорядок их жизни и что за нрав у Ивана Павловича.

— А как станется дальше, миром-собором будем решать.

Шестикомнатная «Сахара» тем же «миром-собором» обжилась на второй же день. Юлик поселился с Лушей. Мацоеву предложили пустующую комнату покойной жены Ивана Павловича. Арина Лазаревна привела свои доводы:

— И тебе хорошо будет, и покойной Ларисе Петровне не обидно. Не кто-то будет жить в оставленной ею светлой горнице, а любимец ее бездетной душеньки.

Михаил Сергеевич снова стал Мишенькой и как бы вернулся в юность, в дедушкину квартиру. Тот же дух и, кажется, тот же запах старых книг, то же множество

портретов, фотографий в рамках под стеклом, молчащий рояль, никогда не зажигаемые витые розовые свечи в бронзовых канделябрах, отжившие лысые ковры, стулья с высокими, когда-то модными спинками, живущие, как и многое другое, по велению инертнейшей особы госпожи Привычки.

Все известные Мацоеву, условно говоря, «профессорские семьи» чем-то были схожи. Наверное, спустя годы и он, Мацоев, состарившись, останется с верной Лушей. И она уже считает себя опорой Михаила Сергеевича по домашности, преемницей Анны Самсоновны и говорит о себе в множественном числе: «Мы Мацоевы...»

XXXIII

Перевезли книги, рукописи, мебель, принадлежавшие деду Мацоева. Притихшая Лиззи вела себя на редкость учтиво. Умная Луша оставила кроватку Юлика, показывая этим, что мальчик вернется к матери.

Лиззи отвернулась. Она всплакнула. Луша тоже отвернулась, чтобы не показать радости. Они простились, обнявшись.

— Береги его, Луша.

— Зачем эти слова, Лиззи Эмильевна? Не нянька же я при нем. И он мне не чужое дитя.

Прошла неделя. Прошел месяц. Лиззи не напоминала о возвращении сына. Она встречалась с ним на бульваре возле памятника Гоголю. Туда приводила его Луша. Побывать в старой квартире Юлик не захотел и на ту «одну маленьку минуточку», на которую его приглашала Лиззи. Он сказал ей, не думая обидеть:

— Заманишь и опять обманешь.

Лиззи сделала вид, что не расслышала сказанного Юликом, и Луша тоже постаралась пропустить мимо эти слова. Но и та и другая поняли, что мальчик боится старой квартиры, не верит матери. Не верит.

Лиззи припомнилось, как однажды она просила Лушу оставить Юлика, оставить тоже «на одну минуточку». Лиззи хотелось поговорить с ним без Луши.

— Мать же я, — сказала она, — пройдишь до киоска...

— Нет! — крикнул Юлик и схватился за Лушину юбку.

А сегодня он сказал:

— Лучше ты приходи к нам, Лиззи.

Это уже было невыносимо. Лиззи не могла, не смела появиться в квартире Танеева. Она страшилась его. Она помнила по прежним встречам недоброе выражение колючих глаз старика. Он никогда и ничем не выразил своего неуважения к ней, а оно чувствовалось, слышалось и в его учтивости, похвалах, и в его предупредительности. Лиззи была уверена, что этот добрячок в черной академической ермолке зол на нее и знает о ней больше, чем все другие. Знает не по сплетням, а по своей необыкновенной способности просматривания крепко-накрепко запертого и глубоко скрытого.

Танеев теперь стал дедушкой Юлика. Положим, он ему такой же дедушка, как и Мацоев, считающий себя отцом. Достаточно заявить об этом суду, и закон расставит все по своим местам. Но что будет потом? Как отнесется к ней общественное мнение и что будет напечатано в «Вечерней Москве»? Заметка ли на тридцать-сорок строк «Из зала суда» или фельетон с уничтожающим Лиззи заглавием? Да и может ли она поручиться, что параграфы закона не окажутся бессильными, когда всплывет все. Будет замечено и то, что родную мать Юлик называет Лиззи. Не мама, а Лиззи. Как объяснишь, что это было ее желание, что она считала благозвучнее и оригинальнее, предпочтительнее, если сын станет называть ее, как старшую сестру. Но что скажут читатели относительно этой оригинальности? Все окажется на кончике острого пера фельетониста.

Благоразумие, терпеливость и уступчивость Лиззи помогли ей закрепить свое благополучие, которым в ее понимании было «сносное материальное обеспечение». За этой протокольно выраженной фразой стояли просьбы, не требования, а просьбы. Она попросила нотариально передать обещанное Мацоевым в день его ухода. И это было сделано. Лиззи нашла справедливым получать ежемесячное «вспомоществование» на воспитание сына.

— И хотя он пока живет у вас, Михаил Сергеевич, — убеждала она Мацоева в телефонном разговоре, — но может случиться всякое. И если б я, — слегка припугнула она, — нашла в себе силы потребовать развод, то вы, надеюсь, понимаете сами...

— Понимаю, понимаю. Я все понимаю и принимаю. Сколько? — спросил Мацоев.

Лиззи назвала сумму. Мацоев пообещал выплачивать

се до тех пор, пока она не вздумает посягнуть на его отцовство.

Лиззи не просто пообещала, а клятвенно заверила Мацоева:

— Какая мать может желать худшего своему ребенку? Клянусь не разлучать вас. — И тут же на всякий случай оговорила: — Не разлучать до тех пор, пока вы или кто-то не заставит Юлика назваться сыном другой женщины.

— Это, увы, исключено для меня.

Он сказал «исключено». Сказал убежденно, зная свою обреченность на одиночество. В этом теперь его не разуверит даже и самый правдивый, самый любимый, самый проникательный Иван Павлович.

А он говорил:

— Мишенька, тебе еще всего ничего. Верь мне, пайдутся, не могут не найтись такие женские глаза, которые увидят, как ты прекрасен, какое счастье узнать тебя. И все будет дорого в тебе. Миша, это таинство. Я понимаю, Лиззи отравила в тебе веру в людей. Но все переходяще...

XXXIV

За последнее время Иван Павлович Танеев особенно часто убеждал своего Мишеньку в неизбежности появления в его жизни той, что озарит его своим светом и заново породит его. А однажды он даже сказал:

— Я, кажется, знаю ее имя...

Это было сказано после появления Сусанны Веригиной.

В институте, где по совместительству работал Михаил Сергеевич, обращала на себя внимание аспирантка Веригина. Обратил на нее внимание и Мацоев. Не внешность Сусанны Веригиной привлекала его, хотя и невозможно было не заметить, как она хороша. Но не эти качества изумляли Мацоева, он скорее боялся их. Сусанна не по возрасту и не по-девичьи была хватка, зорка и предана гидрологии.

Сусанна в двадцать два года высвободила под пашню более пятисот упрямых гектаров заболоченных земель в приуральском колхозе «Знамя труда». Ездил туда. Установила на месте, при сложном рельефе, направление сточных канав и дренажей. Колхоз в благо-

дарность ей назвал «Сырую пустошь» «Сусанниным раздольем», и первый большой, высокий каравай, испеченный из первого урожая, был доставлен в Москву. Знатный бригадир колхоза торжественно поднес этот каравай институту, «воспитавшему такую осушительницу». Сусанне был подарен сундук с уральским приданым.

— Тут, милая наша Сусанночка, все. От шубки до юбки. От белoshвейного шитья до всего прочего по домашности и для жениха вышитый раскрой на рубаху... Семь наших мастериц майский узор вышивали, а сшить рубаху не могли... Мерки не знали.

Актный зал института содрогался от восторженного шума и рукоплесканий, когда веселый бригадир с уральским оканьем складно и деликатно перечислял подаренное.

Может быть, именно в этот день Мацоев увидел в Сусанне самое дорогое и близкое для него, то, что жило и живет в нем с первых шагов его дерзаний.

Догадал же ее черт родиться девкой.

Иван Павлович Танеев заметил расположение Миши к Сусанне и ее — к нему. Заметив это, влиятельный академик сделал все, чтобы по справедливости выделить Веригину. При встрече с нею он сказал ей не без юмора, присущего ему, но не шутя:

— Если вы, Сусанна, не охладеее к науке, и обстоятельства не заставят вас ослабить жадность к знаниям, я ветхозаветнейше, патриарше предрeскаю вам величайшее счастье ученого, открывателя, счастье не называться, не числиться им, а — быть!

Не без доброй отеческой руки Ивана Павловича Сусанна, уже ассистентка профессора Мацоева и его приватная помощница, стала бывать в танеевской квартире. Безупречно исполнительная, строго обязательная, она умела находить нужные карты, делать выписки из справочников, сообщать о новинках в гидрологии и смежных с нею науках. Она поражала Мацоева осведомленностью, способностью находить и подсказывать именно то, что и было необходимо ему. Какое-то необъяснимое, чуть ли не «телепатическое» чтение его мыслей приводило в изумление Мацоева. Ему иногда казалось, что этим она обязана Ивану Павловичу, не скрывавшему свои симпатии к Сусанне. Но и он не менее Мацоева потрясался ее «многовидением».

При всех сугубо деловых качествах Сусанны ее внеш-

ность, манера одеваться предательски противоречили всему остальному.

— Она,— как сказал однажды Иван Павлович,— вызывающе «антична». Природа будто для нее обобрала добрую сотню красавиц, наделив до неправдоподобия щедро женственными, не женскими,— уточнил он,— а женственными прелестями. И ко всему этому она не умеренна в одежде. Положим, ей никогда не изменяет вкус, но зачем так все коротко и открыто? Положим,— повторил он,— нужно ли прятать то, что должно радовать людские глаза, но ведь «людь людю рознь». Оно конечно, такую не обидит и нахальный храбрец. Ее глаза заклянут и удава. А руки... Плохо будет тому лицу, к которому она прикоснется своей античной пятерней.

Сусанна стала привычной в квартире Танеева. Арипа Лазаревна дала ей ключ от входной двери, чтобы «не бегать, не маять ноги на отворяния».

Полюбила ее и Луша. Полюбила и потому, что Юлик радовался встрече с нею. Как только выдавалась удобная минутка, он зазывал ее к себе в комнату:

— Посиди, пожалуйста, посиди со мной.

Это значило: «Посади меня на колени». Это значило: «Я хочу обнять тебя». Это значило: «Я люблю твой запах». Это значило: «Мне хочется слушать твой голос».

В этом не было ничего удивительного. Как могла не нравиться Юлику Сусанна, которой нравился он. И Сусанна не скрывала своих чувств к мальчику. Не задумывалась над ними. Любила, и все.

Старик Танеев объяснял эту любовь к внуку «подспудно просыпающимся материнством». Луша никак не объясняла ее. Она знала, что Юлика нельзя не любить. Невозможно не любоваться им.

У Михаила Сергеевича было свое, особое мнение, которое пока не стало безусловным, и Мацоев старался приглушить его. Но чем больше он противился ему, тем настойчивее становилось оно. Настойчивее и назойливее.

Ничем, ни одной чертой, ни самой третьестепенной подробностью, выискиваемой Мацоевым в Сусанне, она не походила на Лиззи. В Сусанне все было другим. Противоположным. Несравнимым. Два разных начала. Абсолютная полярность. Взаимоисключение. И все это было правдой. Сусанна вся на виду. В семье Танеева она дома. Ее не затрудняло сесть за рояль и спеть глупую песенку, например:

На фестивале танца
Влюбилась в мавританца.
А он и в ус не дует —
С другой танцует.

Она могла остаться ночевать в комнате Арины Лазаревны, сказать: «Я так голодна сегодня» и без жеманства сесть к обеденному столу. Новогодней елкой занималась только она. Мало того, она умела и осторожно подсказывала и Мацоеву и Танееву, как нужно им одеваться.

— Простота простотой, а небрежность, переходящая в пренебрежение одеждой, недопустима для человека в любом возрасте.

И странно. Тот и другой повиновались ей. И было приятно повиноваться. Луша беспрекословно расставлялась со своей старомодной одеждой. Как одевать Юлика, Сусанна не спрашивала.

Счастливейшую пору заката переживал Иван Павлович Танеев. Из чужих, совершенно чужих людей сложилась семья. Они все, не связанные ни одной нитью родства оказались кровно родными.

Лиззи не досаждала им. Ее встречи с Юликом были редкими, короткими. И, как замечала Луша, Лиззи отчуждалась от сына. И, кажется, тяготилась этими встречами. Может быть, нужно сделать не так уж много, чтобы размежевать ее и Юлика. И если бы за это взялась умная, сильная Сусанна, то все бы расплелось-размоталось до последней петельки.

Но может ли Луша, имеет ли она право рассказать Сусанне то, о чем никогда не говорят в семье? Где не называется даже имя Лиззи. Ее нет на земле.

Ее нет, но она была. Она жила в этой семье. Жила в памяти Мацоева. Жила ядовито и прочно. Жила тлетворно. Разрушающе.

Как ни сопротивлялся Мацоев, но не устоял и спросил себя:

«А кто и что может стать порукой, кто может сказать, что влюбившая в себя нас всех Сусанна не та же Лиззи, тысячекратно изощреннее ее умом, тактом, вниманием и всем, что является ею? Женщины очень часто бывают хитрее, чем они хотят, чем знают о себе. Или я ошибаюсь?»

Задав себе такие вопросы, Мацоев дал яду разлиться в его душе. Отравить в ней самое бесценное в нем — до-

верие к людям, Сусанна, не зная того, возводила в душе Мацоева против себя цитадель на прочном фундаменте, цементируемую неоспоримыми подозрениями.

Начала она это сооружение с самого дорогого, самого святого для него. С Юлика. Он называет ее во сне. Она стала ему ближе Луши, а может быть, и ближе отца. Разве нельзя предположить и увидеть в этом тончайший и вернейший из способов ее проникновения в сердца всех остальных?

Можно!

XXXV

Иван Павлович, любивший только своего Мишеньку, теперь любит и ее. Любит и афиширует эту любовь, называя ее Сусанночкой и на «ты».

Ну, Луша, Арина Лазаревна, эти не в счет. Для одной было достаточно внешнего внимания и заботы о ее новой экипировке. Для другой хватило и того, что Сусанна не оспаривала пребывание домового в стенном шкафу кухни.

Труднее было очаровать Мацоева. Придерживаясь только деловых отношений с ним, Сусанна, ни разу не переступив их, постепенно и осторожно входила в его жизнь «незаменимой необходимостью». И она в самом деле незаменима. Она уже не помощник, а соучастник, а иногда и советчик в его делах. Он доверяет ей. Она умна. Дальновидна. Смела в суждениях. Смела доказательно, обоснованно и убежденно. И, ошибаясь или заблуждаясь, она не выглядит прожектеркой, оставаясь мыслящей, ищущей новое. Она была прежде всего лишь пужна ему, теперь — необходима.

Не кто-то, а Сусанна продолжила поиски древних оросительных колодцев и рытье новых, дважды побывав в местах боев с песком пустынь. Не кто-то, а она подсказала Михаилу Сергеевичу запруды сухих балок и оврагов для сбережения в них талых вод. Об этом много писалось и говорилось теоретически общо. Сусанне же хотелось на живых примерах показать и доказать, как много это значит и как мало требует затрат.

Был организован большой выборочный объезд студенческих бригад по южным областям страны. Мацоев и она избирали места для насыпи дамб. Студенты подымали сельскую молодежь. Руководители работали. По-

явились малые водоемы. Они становились зримым, заманчивым примером для соседних колхозов, повторяющих увиденное.

Казавшееся долгим и сложным оказалось скорым и простым.

Появился фотографический альбом, названный Сусанной «До и после». В нем было очень мало слов. Только подписи. Где, что и когда, какими силами, во сколько человеко-дней был создан водоем. На левых страницах альбома были снимки — «до», на правых — «после». И никаких призывов, назойливых рекомендаций.

Смотри и делай выводы сам. Вот сухая балка с жалким кустарником. А на странице справа: стаи белых уток, купающиеся дети. Снимок сделан с той же точки. И снова слева: темный овраг, на дне его светлеет маленький ручеек... А справа: водное зеркало, насосная установка, в глубине дождевание большого поля.

Красота!

Мацоев с наслаждением рассматривал страницы «До и после» с дарственной надписью Сусанны.

Каким счастьем было бы для него, если б Сусанна была мужчиной, — убеждает он себя. Или — на худой конец — замужней женщиной. И, может быть, она будет ею. Для этого у нее так много данных. Он знает, кто и сколько этих «кто» ищет ее расположения. А она не снизошла до разрешения побывать с нею в театре и почтенным людям.

И это Мацоев кладет на ту же чашу весов борьбы Сусанны за свою репутацию. Такое прежде ему не приходило в голову, а недавно, совсем недавно, вечером она задержалась в его комнате, и ему сначала показалось, а потом он убедился, как омутлив ее зеленый взор, какая бездна обещаний в нем и как много говорят ее глаза.

Лиззи! Все повторяется. Тогда тоже началось с глаз. Если бы не было Лиззи! Если бы его обманула вместо нее Сусанна. Он не проклял бы ее обмана, а может быть, благодарил бы жизнь за него.

— Сусанна, — сказал он ей в тот вечер, — вы, кажется, кокетничаете со мной.

— Михаил Сергеевич, я оскорбила бы этим вас и мое уважение к вам. Я просто-напросто не сумела скрыть, что люблюсь вами.

— Я не слышал этих слов, Сусанна Николаевна. Не слышал потому, что хочу сохранить добрые отношения с вами.

— Спасибо, Михаил Сергеевич. Я помогу всеми силами сохранить ваши добрые отношения ко мне. Только, прошу вас, никогда не бейте по щекам женщину, какой бы плохой она ни была. Это недостойно мужчины, каким бы хорошим он ни был.

Сусанна ушла в комнату Юлика. Он слышал, как она громко и звонко сказала: «До завтра, мой Люлик-люль».

«Мой Люлик-люль». Зачем она называет Юлика его словами? В голову пришла неожиданная мысль: «А что, если сын потребует, чтобы она...»

Стало душно и стыдно. Как может потребовать этого Юлик? Это чушь. А чушь ли? Оказывается, может... Может стать наживкой на ее крючке.

Простим эти чужие для Мацоева слова и его болезненную настороженность к Сусанне. Он вовсе не женоненавистник. Он любит Сусанну. Любит, разубеждая в этом себя. Не только Лиззи мешает ему поверить Сусанне. Не только она...

В семнадцать лет Миша Мацоев был влюблен в одноклассницу, которая звалась весенним именем Майя. Она была добра, внимательна, сердечна к Мише. Откровенна, как ни с кем. Ее девичьи секреты доверялись Мише. Они всегда бывали вместе. О них писалось на классной доске: «М+М». Это привычно и незыблемо. $M+M=?$, но при чем тут глупый знак вопроса, когда все ясно. Пройдет не так много лет, и между ними исчезнет «плюс», они станут единым «М», «М»ацоевы. Правда, об этом никогда не говорилось. Зачем же им опережать то, чему положен свой срок. Так говорила бабушка, и дедушка не опровергал ее. Опровергала новая, на этот раз загадочная формула на классной доске: « $M+\Phi=AX!$ » Формула вскоре раскрылась Майей. Она с восторгом рассказала Мише о своей любви и первых поцелуях с Флавиком Синицыным:

— Он кончает институт, у него свой «Москвич»... Сто километров в час, а можно и сто тридцать... Флавик так красив, так любит быструю езду... И вообще все решено,— делилась Майя, доверяя самому дорогому другу свою тайну.— Об этом, кроме тебя, Мишенька, никто не знает, а от тебя я никогда и ничего не прячу. Ты должен быть счастлив за меня...

Безвинно жестокая наивность Майи заставила ее познакомиться Мишу с Флавиком Синицыным, чтобы услышать слова похвал и восхищений. Миша увидел избалованного вниманием девиц жуира из тех удачников, чья внешность скрывала бледность мыслей, бедность знаний, узость интересов и непостоянство чувств.

— Он же пуст, Майя...

Так и сказал Миша, оставшись вдвоем с Майей, несколько смягчив свои суждения о Флавике. За это Миша был назван «рыжей желчью». Майя не захотела больше знать его и видеть.

Это был первый удар по надломленной доверчивости души.

Мучительно перестрадав свой самообман, в студенческие годы одаренный Михаил Мацоев стал замечен. Им восторгались. Гордились дружбой с ним. Внимали его словам. Дарили его вниманием и уважением, но не любовью...

Одна бедовая медичка из непривередливых дурнушек после затянувшегося пикника в лесу сказала ему:

— Ночью все кошки серы. Под наркозом ароматов трав и хвои могла бы пылко пожалеть вас не любя...

На другое лето это же сказала в таежной избушке приобской заимки молоденькая кержачка — вдовушка Васяна, придя после полуночи в каморку к своему стеснительному и очень приветливому постояльцу.

— Пожалеть тебя сам бог велит, а полюбить и дьявол не заставит. Прими же во имя господа его святой огонь и угаси его во мне с молитвой...

Позднее его настойчиво и празднично хотела пожалеть жена старого археолога, тридцатилетняя цветущая наядка. Она нравилась ему, но ему хотелось не жалости, не снисходительности, не благотворительной подачки, а — любви.

И так всю юность, а потом уже, как венец — венец всему этому, появилась Лиззи.

Вспоминая теперь разрозненные звенья, соединяя их в одну логическую цепь, ему невозможно было поверить Сусанне, если ей даже кажется, что она влюблена в него и очарована им. Как он мог позволить ей ошибиться. Потом, поняв, что ею руководили великодушные, жертвенность, принятые за любовь, она будет страдать и ненавидеть себя, сожалея о непоправимом.

А вчера...

А вчера Сусанна была возбуждена и, как никогда, прекрасна. Свежа, нарядна, одухотворена. У нее день рождения, ей исполнилось двадцать пять лет. Он подарил ей массивные, темно-зеленые, малахитовые бусы и такую же, тоже бабушкину, овальную пряжку для кушака. Этим сказалось больше, чем хотелось.

Она подошла к нему, положила на его плечи свои пахнущие Юликом и весной руки.

— Михаил Сергеевич, что мешает вам сказать самое главное, необходимое нам обоим? Что?

Ему хотелось ответить поцелуем, но на ее вдохновенном лице проступило другое, насмешливое лицо Лиззи. Он вздрогнул и снял руки Сусанны со своих плеч.

— Сусанна Николаевна,— подчеркнуто добавил он к ее имени отчество,— если вы хотите сохранить наши прежние отношения, никогда не спрашивайте меня об этом.

Лиззи, снова зловеще усмехнувшись на лице Сусанны, исчезла.

— Это не ваш голос, не ваши слова, Михаил Сергеевич.

Опустив голову, Сусанна медленно прошла к двери и, перед тем как открыть ее, оглянулась. Ее глаза еще надеялись, что он вернет ее, а он сказал ей:

— Послезавтра в одиннадцать обсуждается Сахалин, не позабудьте, пожалуйста.

— Ничего и никогда я не забываю,— ответила Сусанна и, тихо закрыв за собою дверь, ушла.

Она ушла, а ее руки остались на его плечах. Когда же он закрывал глаза, она стояла перед ним, и лицо Михаила Сергеевича чувствовало тепло ее дыхания.

Он поздно уснул, не гася большой свет, и видел сонки Сахалина и ее в снежно-белой кухлянке. Лиззи была далеко-далеко, и никто не мешал признаваться в любви Сусанне.

На другой день Луша передала Мацоеву письмо. На конверте было написано: «Передать сегодня вечером, лично в руки Михаилу Сергеевичу».

Письмо начиналось без обращения:

«Я счастлива, я давно счастлива, зная, что Вы любите меня. Любите и боитесь этой любви. Гоните ее от себя, внушаете себе неприязнь ко мне, опасаясь пустить

меня в свою душу. А я давно в ней. С первого Вашего робкого безмолвного признания в любви ко мне.

Это было, когда Иван Павлович и Вы разговаривали о водоразделе Печоры с Камой. Наши глаза встретились, и я влилась в Вас.

Тогда я не стремилась к этому, хотя и не противилась. Потом же мое непротивление перерастало в желание видеть, слышать Вас. Это же происходило с Вами. Вы, может быть не замечая, тосковали, когда я два-три дня не появлялась у вас, звонили мне и придумывали всевозможные поручения, просили о том, что Вам было не нужно. Каждый Ваш звонок был радостью для меня. Ваши глаза не умеют скрывать чувств и мыслей. Вы и сейчас думаете и скучаете обо мне. Вчера Вы заснули поздно и видели меня во сне. Видели ведь? Видели! Но Вы боитесь меня и во сне. Я знаю — почему и не виню Вас за это. На Вашем месте я, наверно, думала бы так же. Юлик рассказал, что было с ним и с Вами. Я не хотела знать этого, но мальчику нельзя запретить изливать свою душу. Вам это сделать труднее. Я хотела помочь Вам преодолеть придуманные Вами же преграды. Для этого я делала все. Эксплуатировала и голос и рояль. Клеветала на себя одеждой. Обращала Ваше внимание на свою внешность. «Завлекала,— как говорит Луша,— своими марьяжными заманками». Засиживалась до утра, помогая Вам в работе. И когда мы занимались Каспийским морем, и когда Вы о нем и о себе сказали: «Когда же кончится это обмеление?» — я тогда очень близко, будто бы не замечая, придвинулась к Вам, и Вы начали «наполняться». И тут же какая-то злая рука, я знаю чья, открыла шлюз... И доброе, чистое наполнение ушло из Вас... И потом, это, кажется, было в субботу, когда мы давали примерные схемы снегозадержания в горах и регулирования паводков малых рек, Вы снова были готовы перешагнуть несуществующую грань, но проклятое, надуманное «благоразумие» остановило Вас, и я, будь проклята моя нерешительность, тогда не помогла доперешагнуть ко мне.

Вам не понять, каких страданий, каких мучений мне это стоило.

Каких страданий стоило и стоит Вам удушение любви ко мне? Во имя каких высоких соображений? Может быть, Вы боитесь мачехи для Юлика? Моя любовь к Вам влюбила меня и в него. Его любовь ко мне —

усыновила. Он дважды называл меня «мама». Мне очень нелегко было внушить, что ему не следует так называть меня, хотя знаю, и очень твердо знаю, как ему нужна мать — я, а Вам, Михаил Сергеевич, — нянька. Тоже — я.

Я это поняла, как никогда, в поездке по оврагам и особенно когда мы были на Сахалине. Там я начала понимать, а теперь окончательно поняла, что мы слиты единством и противоположностью душ, характеров, сердец.

Во мне мало того, что избыточно в Тебе. В Тебе мое счастье, мое открытие себя. В Тебе вторая половина моего «я». Во мне же то, чего недостает Тебе.

Наша схожесть и различия гармоничны. Они как позитив и негатив одного лица. Мы взаимно и одновременно звук и отзвук. Вместе мы аккорд, а порознь — только звуки.

Остается последний лист. А я и в малой доле не сказала, как я люблю Тебя, как хочу стать Твоей женой, подругой, рабыней и царицей, нежной матерью не рожденного мною и Тобой сына, соединяющего нас.

Я счастлива любовью к Тебе и благодарна за то, что Ты ее во мне зажег.

Как хорошо, что я люблю Тебя первого. Рыжие всегда ревнивы, даже к прошлому. А прошлого у меня не было, как и нет настоящего, а только — будущее. И оно будет. Коли уж я положила руки на Твои плечи.

Уже светает. Как много наговорила я. Нужно же было написать только две строки, две-три фразы. Вот они.

Мы нашлись не для того, чтобы потеряться. Любовь промывает себе русло. Я с детства терпелива.

Твоя Сусанна».

XXXVII

Бегло прочитав письмо, Михаил Сергеевич перечитывал его медленно и вдумчиво, взвешивая каждое слово. Письмо произвело на него впечатление продуманного сочинения, с нарочитыми описками, с хорошо сконструированной искренностью.

Но спрашивается: зачем понадобилось ей кривить душой?

После последней перечитки письма он верит написанному ею. Ее сострадание, великодушие и какие-то еще

очень благородные, как и сама она, чувства заставили поверить, самовнушить себе, что это ее любовь. Вспоминается Шекспир: «Она меня за муки полюбила...» Но как только пройдет сострадание и она увидит, что он счастлив, ее оставит самовнушение, и Сусанна окажется несчастной.

Может ли он, любя ее, разрешить ей ошибиться? Легко ли ему будет видеть ее несчастной? Нет, он этого никогда не сделает.

Но как убедить Сусанну в заблуждениях? Поверит ли она его словам? Не зарыдает ли она, не разбудит ли в нем дедушку Михаила Степановича и не заставит ли его вместе с нею губительно и непоправимо обмануться?

Заставит! Ее руки все еще ожигают его плечи. Но ведь у нее не только руки. Прав Иван Павлович, называя ее вызывающе «античной». Таковую не переубедить, но можно и нужно охладить. Спасти обидой. И может быть, даже оскорблением. Она за это возненавидит его и будет благодарна потом... Потом, когда найдется ее «Флавик» или какой-то там, которого он заранее ненавидит и «рыжее своей рыжины» ревнует. И что же из этого? Лучше страдать одному, чем вдвоем.

Мацоев напряжен. В голову приходит невероятное.

Может быть, ему воспользоваться ее же наблюдениями и платоническую любовь Луши обратить в другую и этим отрезать все пути к себе? Чем Луша не мать для Юлика? Чем не жена? Такая не изменит и не разлюбит. Она не так красива, но удивительно приятна. Чиста. Брезглива. Требовательна к людям.

Нет, он Лушу не полюбит и не полюбит никого, коли на свете есть Сусанна. Она всегда будет стоять перед глазами. И нет для него иной. И если б даже... Страшно подумать... Если б даже она ушла из жизни, — не ушла бы из него.

Как душно в комнате. Нужно проветрить. Освежить голову.

Бабушка, дай силы внуку!

И бабушка вручает внуку красный карандаш. Он в самом деле как-то странно вдруг оказался у него в руках.

Мацоев берет письмо Сусанны и наискось, как резолюцию, крупными буквами пишет:

«Сусанна Николаевна! Возвращаю Вам Ваше письмо, я не хочу оставлять его у себя, щадя Вас, Ваши

зablуждения или что-то иное, что я не могу назвать. Прощайте, нам не следует больше встречаться».

И далсе подпись, число, месяц и год. Все, как в резолюции.

Из глаз Михаила Сергеевича дедушка выжал слезы, и одна из них капнула на письмо. А бабушка смахнула его рукой большую позеленевшую от чернил каплю и приказала через Лушу вернуть Сусанне ее письмо.

Луша передала письмо, и вскоре после этого Сусанна уехала из Москвы, не простившись с Мацоевым, послав на имя Ивана Павловича открытку:

«Милый, родной Иван Павлович! Я уехала далеко-далеко. Не выясняйте причину моего отъезда. Она пелена. Ваша С. Веригина».

Иван Павлович понял, что произошло, но ничем не показал этого Мацоеву. Надеюсь, что «все образуется». Так он надеялся до последнего часа своей жизни.

Мацоев считал, что потерянная для него Сусанна не потерялась для себя и нашлась где-то, с кем-то... И счастливо нашлась.

А она нашлась не для кого-то, а для него, на развилке у телеграфного столба в Яргороде.

XXXVIII

Далекий приток впал в наше повествование. Мы можем вернуться в Яргород и посмотреть, как запасливый Николай Васильевич Макарьев расширяет свои знакомства, допуская, что каждое из них может стать неожиданной краской в рождающейся многоцветной мозаике яргородского фильма. И как знать, может быть, случайная встреча с Урманом Ивановичем Урмановым тоже не окажется лишней.

Урман Иванович Урманов и сам доподлинно не знает, почему ему дано это имя. В младенчестве он лишился во время лесного пожара родителей. Его спасли. Вынесли из густых чащоб горящего урмана, а потом назвали именем этого леса — Урман. Правда это или нет, но так рассказывали ему.

Урман вырос в мансийской бездетной семье, поэтому считал себя мансийцем, а язык манси — родным языком.

Урман с детства пристрастился к рыбной ловле, а затем и к охоте. Удачливый, пытливый, находчивый, доб-

рый и бескорыстный, он летом славился на реках, зимой в лесу. Заметный жених. С таким не пропадешь. Много девичьих глаз зазывали его на лесные тропы, на песчаные, озаренные луной отмели, в заманчивые камыши. Не шел на весенний девичий зов Урман. Любовь не просыпалась в нем. Когда же она проснулась, Урман перестал привлекать невест. Он оказался безногим при ногах.

Кто его только не лечил. И доктор, и поп. И старухи, знающие тайную силу трав. И старик шаман, скрывавшийся в лесу. Друзья любили Урмана и пробовали все доступное, а время шло. Отчаявшийся стать ходячим, он услышал по радио голос вылечившего свои ноги в яргордской грязелечебнице и поверил счастливо услышанному.

Долга речная дорога в Яргород, зато близок воздушный путь. Злее принялся Урман плести мережи, мастерить ловушки для зверя, шить, чинить одежду и делать все, что было по силам безногому, чтобы заработать много денег на дорогое лечение. А лечение оказалось дешевым. Дешевым и скорым. Урману трудно было поверить в свои ожившие ноги, а еще труднее была угроза возвращения болезни, а вместе с нею страданий и унижений, которые он претерпел.

Как можно уезжать из Яргорода, где такое спасительное, теплое болото, такой доктор, такие леса и реки... Где такая женщина, как Марья. Она одна. Совсем одна, и в доме некому насадить топор на новое топорище, некому наколоть дров, накосить сена, починить крышу, наловить рыбы. А он здоров. Сильные руки. Хорошие ноги. Зачем они ему одному? Но захочет ли назваться она его женой?

У него мало русских слов, а у нее ни одного его родного слова. И не только слова разделяют их, но и много другого общего недостает им. Он знает, что Марья думает о том же. У глаз для всех людей один язык. И как-то он сказал:

— Марья, мне, однако, ой-ой как надо крышу. Я буду жить в Яргороде. Тебе, Марья, нужен работник. Я буду твоим работником. Плати мне за это крышей.

Вместо Марьи ответила ее тетка:

— Будь, Урман. За это не толиčko крыша будет платой, но и место за столом, за которым ты сидишь.

Урман поклонился.

Старуха едва заметно улыбнулась. Яснее ясного стало, что к чему.

— Только ты, Урман, деревянного божка, которого за голенищем носишь, в сенях где-кося прятать, а в дом не носи. Мы хоть и не набожны, но крещеные.

— Так и у меня, однако, крест на гайтане,— сказал Урман,— а божка я, однако, только для охоты за голенищем беру.

— Помогает? — спросила старуха.

— Так не было пока осечки.

— Ну, тогда дьявол с ним, с идолком. Никто толком не знает, какой бог — бог.

Урман остался в доме Марьи Полухиной, в той же прирубленной к нему токарне, где покойный ее муж в зимнее время изготовлял точеную всякую всячину.

Работник скоро утвердил себя хозяином. Проконопачил пазы старых стен дома. Перекрыл новым тесом прогнившую крышу. Вычистил застоявшийся колодец. Вдвое убавил Марье работу. Полегчала ее жизнь. Повеселело и дома. Хороший человек Урман. Работающий. Приветливый. Заботливый не напоказ, а изнутри себя и по сути дела.

Прижившись в Яргороде, Урман прослыл отличным рыболовом, лучшим охотником и мастером резьбы по кости.

Его принимали охотно в рыболовецкие артели, зимой зазывали на охоту, и он всегда приносил удачу. Это происходило потому, что русский бог хотя и самый хороший бог, но мало понимает в охотничьих делах. Высоко живет. Плохо видит. А идолок за голенищем помогал найти след зверя, указать, где больше рыбы. Над этим смеялся и сам Урман, а с идолком, вырезанным им из клыка мамонта, не расставался, потому, что не кто-то, а он привел его во вдовый дом Марьи Полухиной.

Яргородская молва недолго глумилась, называя Марью «Урмановой марьяжкой». Брак был зарегистрирован. Полухина стала Урмановой. Добрые люди подсказали газете напечатать статью с портретом Урмана, рассказывающую о его трудовых заслугах. Одной из них называлась звероводческая заимка.

Урман знал, что лесной зверь может жить и размножаться в клетке, проверил это у себя на дворе, поймав ловушками живых соболей. После первого приплода Урман расширил дело. Появились песцы, черно-бурые

лисы. Возник небольшой питомник, а затем настоящее звероводческое предприятие. Урман подобрал людей, научил ухаживать за лесным зверем, выискал и директора из старых охотников. А сам остался шефом-звероводом. Не его дело сидеть в конторе, когда кругом лес.

Макарьев, узнав об Урмане, заинтересовался им. В фильме он мог стать выигрышным персонажем. При хорошем дикторском тексте можно было на живом примере показать, как образовалась новая счастливая семья из людей, далеких по национальности, обычаям и нравам.

Николаю Васильевичу захотелось побывать и на звероводческой заимке. Показывая огороженный сеткой лесной участок, Урман рассказывал:

— Для соболя сетка не стена. Живи, соболь, в клетке. А тот зверь, которому сетка — стена, живет, однако, ой-ой как хорошо. Как дома. Как в тайге.

Не упуская подробностей, Урман рассказывал, как ему удалось перехитрить зверя, как ой-ой какие большие деньги дает пушнина.

— Смотри, вон они бегают,— Урман указал на выводок черно-бурых лис.— Не боятся. Снимай, пожалуйста!

Макарьев ожидал, что Урман попросит, чтобы и его питомник попал на экран. Ничуть! У него была другая цель.

— Скажи! Ты, Николай Васильевич, ученый человек. Скажи, какой веры девка Ойль?

— Какая Ойль?

— Не знаешь?

— Не знаю. Слышал это имя, но не знаю.

— Ой-ой! Опять в свою нору. Плохо так, Николай Васильевич! Ой-ой как плохо. Ойль все может,— повторил Урман.

— Да что она может?

— Все, Николай Васильевич. Роману может помогать! Каюк может сделать Гаеву! Если правда, не знаешь, какой веры Ойль, Зотова спроси. Адоева Ольга Максимовна тоже знает Ойлы! Узнай! Скажи мне! А я тебе за это хоть соболей, хоть белок. Сам настреляю! Каюк нужен Гаеву! Нельзя губить такую заимку.

Провожая Николая Васильевича, Урман доказывал, какой убыток принесет море, сколько зверя загубит оно. Как ой-ой будет плакать финансовый отдел.

Все низалось на одну нить! Все. Думая так, Николай Васильевич вскоре забыл о случайной встрече с Урманом, не на все же нужно обращать внимание и запоминать о какой-то Ойль. А мы постараемся обратить внимание и на Урмана и запомнить имя Ойль. Она тоже, как окажется, низалась на ту же нить яргородских надежд.

Макарьева привлекла другая нить давнего клубка, забытого в людской памяти и хранящегося у Полихрония Сергеевича в особой архивной папке, названной «Иленные шведы и волок через горы Уральские». Там-то в знакомой комнате архива Николай Васильевич встретил Сусанну и познакомился с ней, узнав скудные подробности появления ее в Яргороде. Узнал и о «шведской папке». Тоже немного. Обо всем этом мы могли бы рассказать подробнее сейчас же, здесь же, но всякое, даже разброс повествуемое требует хотя бы относительной последовательности. Очередь до «шведской папки» дойдет. А теперь о Сусанне.

Она принимала все меры, чтобы встретиться с Матцесвым. Это, как мы знаем, ей не удалось. Пришлось прибегнуть к обходному пути, через Петра Константиновича Дюрягина. Он, проводя день в Пятиречье, вечером возвращался в «казематы». Гостиница для ночлега в его возрасте была предпочтительнее.

Дюрягин сразу же узнал Сусанну и вспомнил о приятных вечерах в квартире покойного и незабвенного Ивана Павловича.

Сусанна, рассказывая ему о работе на Севере, сочла излишней скромность и не скрыла своих успехов.

— Я хотела бы применить себя, Петр Константинович, в экспедиции.

На это Дюрягин сказал:

— Мне хотя и дано право приема на работу, и я бы с огромной радостью хотел вас видеть своей первой помощницей, но вы же знакомы с «самим». И было бы деликатнее поговорить с ним.

Сусанна попросила Дюрягина не объяснять ему, почему ей не хотелось просить об этом Михаила Сергеевича. Тогда Дюрягин, не раздумывая, договорил свой каламбур:

— Зам хотя и не сам, но не пятое колесо в телеге. Считайте себя моей самой первой помощницей.

На другой день она вместе с Петром Константиновичем отправилась в Пятиречье.

Приступившая к работе экспедиция была разделена на пять групп, на пять партий, по числу рек: Тьминь, Ярга, Леньва, Тиша, Мертвь,— и составлявших Пятиречье. Последние три из них оправдывали свои названия. Они текли медленно, едва заметно, выглядя бездвижными. При легком же дуновении встречного ветра реки как бы изменяли направление своего течения с северного на южное. Увидевши их такими, всякий сказал бы, как нелепо ждать от них большой воды и надеяться, что эти пять засонь могут заполнить море.

Так некоторые из экспедиции и отозвались о реках, повторяя догадки историков, что они не случайно получили такие имена, утверждая, что самая тихая из пяти рек Мертвь могла бы озаглавить все огромное Пятиречье.

Мацоев знал, как многоводны эти реки весной, как стремительно выходили они из берегов после дождей. Вскоре это подтвердил первый летний ливень. Реки прибывали на глазах. Тиша буйствовала. Леньва ожила, разъяренной тигрицей... А через два-три дня они, умиротворенно остекленев, по-прежнему были зеркально бездвижны, ленивы.

Среднегодовой дебит вод Пятиречья известен. В самый бесснежный, сухой год гидроэнергетические запасы с избытком обеспечат работу ГЭС средней мощности. В этом сомнения нет. Сомнения в размерах моря и его испарениях. Не превратится ли в облака, не выпьется ли землей бо́льшая часть воды при мелком и огромном разливе моря?

Сомнений высказывалось много. Большинство составляющих экспедицию пришли сюда с предвзятыми, predetermined выводами. Поэтому Мацоев предупредил:

— Порученное нам должно быть выполнено предельно точно. Мы должны сделать выводы, которые не могут быть взяты под сомнение. Обмер лесов. Запасы и прирост древесины. Объем торфяных залежей. Все плюсы и минусы. Помните, товарищи, мы предрешаем,— наставлял Михаил Сергеевич,— каким быть Пятиречью. Нам доверено бескомпромиссно, государственно взвесить все до мелочей. Мы обязаны это сделать со всей научной объективностью. И если инженер Вадим Ерастович Гаев прав, он должен быть правым.

Долог световой день. Вместе с солнцем подымались работающие в Пятиречье. До вечерней зари специалисты протаскивали низину, перепроверяя старые данные, составляя новую подробную карту.

Сусанна весь день в седле, на быстроходном скутере, на гусеничном тракторе с широкими траками. Петр Константинович видел, понимал, что помощница не помощничает, а замещает его. Замещает, в чем-то превосходя Дюрягина, предвосхищает намечаемое им и даже... И даже подсказывает, в чем-то с мягкой, совсем необидной дочерней прямоотой поправляет его и, кажется, немножечко, тоже почтительно, в чем-то капитально руководит им.

Неужели любивший ее Иван Павлович Танеев прав, предрская ей большое свечение? Но почему она, так обстоятельно и смело ставящая гидрологические «диагнозы», ни разу не коснулась тайного желания Дюрягина не обходить эту Пятиреченскую изменчивость, а осушить ее? И как-то Дюрягин спросил об этом Сусанну. Она ответила:

— Петр Константинович, нам поручено установить, реально ли море. И мы обязаны оставаться в границах государственного поручения. Когда же будут сделаны выводы и дано заключение теми, кому это доверено, мы получим право утверждать свое.

— Вы золото, Сусанночка. Мы должны выполнять порученное и очерченное. А потом посмотрим, как нам следует поступить...

За все это время Сусанна не встретила с Мацовым, находясь в пяти километрах от него, хотя и знала, что ему было известно о ее работе в экспедиции, о ее успехах на Ямале. Сусанна знала и о том, что Михаил Сергеевич, бывая в городе, каждый раз задерживается на развилке дорог, явно желая встретить ее. И наконец встреча состоялась.

Он увидел ее на кремлевском холме. Она была в белом платье, в соломенной шляпе с большими полями и с темно-зеленой лентой. Бабушкины малахитовые бусы и знакомая пряжка на кушаке были хорошим предзнаменованием для встречи и разговора, которого он хотел и боялся.

И вот они встретились. Это было в воскресенье. Встретились, не зная, как вести себя после трехлетней разлуки. Он начал первым.

— Это вы, Сусанна!

— Это я, Михаил Сергеевич! Здравствуйте! Теперь вам трудно сделать вид, что вы не заметили меня или не узнали. А мне еще труднее помочь вам поверить, что я тоже не заметила вашей незамечаемости. Здравствуйте! И пожалуйста, не оглядывайтесь на столб. Он тут. Но у вас есть более надежная опора, которая вам не даст упасть или пошатнуться.

Сусанна взяла его под руку. Они пошли короткой прямой тропой к главным, Исхирионовым, воротам кремля. Шли молча.

— Спросите же о чем-нибудь и не вздыхайте. Я же тут. И никуда не денусь. Боже мой, как вы запустили себя! Кто за вами смотрит? Какой-то немыслимый пиджак. Изжеванная шляпа. Протертые на коленях... эти самые... И борода... Правда, она так украшает вас, но ведь надо же следить за ней.

— Да, конечно. Мне уже говорили об этом... Я попал в очень хорошую семью. И там удивительная девушка. Машенька. Она так внимательна ко мне. И вообще, я как в дедушкиной семье... Такой открытый дом. Радующие к людям... И представьте, любят меня. Это очень странно. Не правда ли?

— Очень! Очень странно! — подтвердила, любуясь им, Сусанна, прижимая к себе руку Мацоева.

— Но вы знаете, Сусанна, я теперь стал безразличен ко всему такому...

— А почему же вы дрожите?

— Мне бывает как-то не по себе, когда меня берут под руку.

Сусанна высвободила свою руку из-под его руки:

— Так вам лучше?

— Да, это наиболее удобная ходьба. Я ведь, вообще-то говоря, ни с кем и никогда не ходил под руку.

Они молча прошли Исхирионовы ворота, миновав «казематы» и «кельи», где помещалась вторая гостиница, оказались в изумрудной тишине, в безмолвии успевшей старины, и только допевающие весенние рулады птицы оживляли заповедный покой бывшего монастыря.

— Спросите же хоть о чем-нибудь, — повторила Сусанна. — Ведь мы же не виделись три года.

— Тысячу семьдесят шесть дней...

— Вы считали дни?

— Нет, просто так прикинул,— сказал и покраснел Мацеев.— Я люблю точность, даже там, где она и не нужна.

— Благодарю вас, Михаил Сергеевич, за ненужную вам точность. Скажите же еще что-нибудь. Неужели вам не о чем спросить?

— Видите ли, вопросов так много, что не знаешь, какой выбрать... Как и зачем вы оказались в Яргороде?

— Проездом. А потом решила задержаться. Меня многое связывает с этими местами.

— Вы замужем, Сусанна?

— Смотрите, какой нарядный чирик. Не представляю, как выглядит Юлик. Ему вчера исполнилось десять лет. Поздравляю вас, дорогой Михаил Сергеевич.

— Спасибо, Сусанна Николаевна. У вас отличная память.

— Жаловаться на память мне грешно. Я помню многие дни рождения.— Она поправила на шее бусы.— Вам первого апреля исполнилось тридцать семь.

— Увы! А вам только еще двадцать восемь.

— Неужели двадцать восемь? А я все еще живу в своих двадцати пяти.— Она снова коснулась бус.

— Вы замужем, Сусанна?

— И Луше тоже двадцать восемь. Луша старше меня всего на три дня. У вас ли она?

— А где же быть ей? Она пока верна своим обещаниям не покидать Юлика и меня.

— Это делает ей честь, но лишает своей семьи.

— Я предлагал ей в нашей «Сахаре» две комнаты. В нее влюбился отличный человек. Механик гаража...— Мацеев снова тихо спросил:— Вы замужем, Сусанна?

Сусанна продолжала свое:

— И что же Луша?

— Сказала, что он молод для нее. Моложе на год. А она считала — на пять. У нее свой счет пропорциям годов супругов. Ей нужен муж лет на семь, на восемь старше ее. Такой не разлюбит. Вы замужем, Сусанна? — вконец спросил Мацеев.

— А Лиззи, Михаил Сергеевич, видится с Юликом?

— Нет! Ну что вы! Юлика я выкупил у Лиззи.

— Выкупили?

— Простите, я оговорился. Высудил. После развода

она отдала мне сына. Вы, черт возьми, замужем, Сусанна? — крикнул он так, что отозвалось эхо.

— Что? Я не расслышала. Очень громко кричат грачи. Лиззи вышла замуж?

— Да! Да! Но какое мне дело до нее! — Мацоев преградил дорогу Сусанне, став против нее. — Вы замужем, Сусанна?

— Неужели это может вас интересовать?

— А как же? Мы же не просто так... А в некотором роде...

— Что «в некотором роде»?

— Не знаю что, но что-то...

— Это верно. Припоминаю. Я, кажется, писала вам заявление и о чем-то просила вас. О чем, забыла. И вы не то синим, не то красным карандашом наложили размашистую резолюцию — отказ...

— Не будьте злопамятны, Сусанна. Я тогда хотел вам лучшего. И вы, я думаю, нашли его, выйдя замуж.

— Даже дважды.

— Дважды?

— Дважды, если не считать... Но зачем я должна вам признаваться в том, что называют французы «пти интим».

— У вас есть дети?

— Шестеро. Четверо от первого брака, двое от второго. Жду осенью седьмого. От амура.

— Какой нелепый юмор!

— А чем же я должна ответить? Правдой? Но разве вы поверили бы в нее? Скажите, поверили бы? Честно!

— Нет!

— И не верьте. Так будет легче вам, а может быть, и мне. Забудем то, что было и чего не было, но могло бы быть в вашем больном и мнительном воображении. Сожжем тысячу семьдесят шесть дней и начнем счет с этого воскресенья. Встретимся заново. Как тогда, в тот вечер. Помните, вы рассматривали на карте водораздел Печоры с Камой, и я... — Сусанна досказала незаконченную фразу глазами. От этого кусты и деревья стали зеленей, солнце ярче, слышней запели птицы.

Мацоев помрачнел.

— Но сумею ли я сжечь в себе...

— Сумеете. Я помогу. Богов сжигали. — Сказав так, Сусанна указала на мемориальную дощечку, на которой значилось: «Идолово пепелище». А мелкими буквами

пояснялось: «Здесь сжигались языческие боги и давались клятвы отрешившимися от них, принявшими новую веру».

Сусанна громко прочитала надпись.

— Вы, конечно, не поверите, что я не преднамеренно привела вас сюда, на эти каменные плиты жертвенника.

— Нет, почему же, я верю. Я так любил театр. Обоже- жественном «Синюю птицу». Я сам играл. Конечно, не на сцене, а для себя.— Мацоев легко вскочил на плиты пепелища и воскликнул:— Сусанна, пусть сгорят на этом жертвеннике те дни, которые нас разлучили, и все, что случилось в эти дни. Вам это не кажется глупым?

— Ничуть!

— Станьте рядом! И закройте глаза.

— Михаил Сергеевич, жертвенник высок, а юбка, извините, узка. Ну, что же вы?

— Сейчас,— Михаил Сергеевич спрыгнул с плит. Присел. Поднял Сусанну на пепелище, а затем заша- гнул на него сам.

— Закрывать глаза? — спросила Сусанна.

— Да. Будем считать до ста. Молча, про себя.

— Простите, Михаил Сергеевич, а вам не хочется до сожжения поцеловать меня? Ведь это же все сгорит, и у нас начнутся новые, серьезные отношения...

— Извольте. Сжигать так уж сжигать, чтобы было что... забыть.— Они закрыли глаза. Обнялись и замерли в долгом поцелуе.

XLI

— Я досчитала до двухсот пятидесяти... Боюсь опе- шелиться.

— А я только до девяноста двух...

— Вы очень медленно считали, Михаил Сергеевич!

— И тем не менее сжег прошлое. Вас, Сусанна, снять с плит?

— Нет, что вы, Михаил Сергеевич, я сама.

Континентальный Мацоев, в характере которого прочно сохранились два наследственных начала, стыдил себя за легкомыслие «дурацкого сожжения». И, пере- ходя из одной противоположности в другую, не давая этого заметить Сусанне, стараясь выглядеть последова- тельным, спросил ее:

— Сусанна Николаевна, как вы относитесь к морю Гаева? Мне совершенно необходимо поговорить с вами об этом на принципиальной высоте.

Сусанна, зная, что происходит в Михаиле Сергеевиче, ответила, как будто ничего до этого не происходило:

— Такой принципиальной и обзорной высотой может быть третий ярус Исхирионовой башни. Это самая высокая точка в Яргороде. Хотите увидеть Пятиречье нагляднее, чем на картах?

Она направилась к башне.

— Исхирионовой башня называлась по имени архангела Исхириона. Он в старину дено и ночью стоял на ней незримым стражем яргородского кремля. Прозорливый дальновидец Исхирион трубил в сторону надвигающейся ратной опасности, предупреждая охраняемый им город о набегах врагов.

Впоследствии, при надстройке башни, Исхирион стал зримым. Его вычеканили из серебряного листа, с позолоченной трубой в руках и установили на стальном штоке шпиля башни. Установили так, что и незначительное дуновение ветра повертывало его.

Закончив об Исхирионе, Сусанна сказала:

— Вот мы и на третьем ярусе.

Здесь их гостеприимно приглашали плетеные кресла и шезлонги.

— Для туристов? — спросил Мацоев.

— И для влюбленных пар, — ответила Сусанна. — Этот ярус называют местом потерь и находок. К нам это не имеет никакого отношения. Мы нашли навсегда и не потеряемся никогда. Хотя...

— Что «хотя», Сусанна?

— Вы кое-что найдете, а кое-что потеряете здесь. Вас огорчит потеря и не обрадует находка. Посмотрите внимательнее на Пятиречье.

— Я уже смотрел на него с высоты, подымаясь на вертолете.

— И оно видится вам тем же?

— Пожалуй, тем же...

— Тем же ли?

Мацоев пытливо посмотрел на Сусанну и спросил:

— Вы верите в море Гаева?

— В его лужу, хотите вы сказать. Она имеет свои достоинства.

— Достоинства? Какие?

— Портретные. Она представляется мне широкой, как и его натура увлекающегося пустомели. Море было бы, если бы оно могло быть, гибельно мелким, но все же глубже мелкой душонки Гаева. Будь Гаев хотя бы осиновым чурбаном, а не окаменелым дуботолом, он бы обосновал и сделал реально возможным, не подлежащим никакому сомнению, никаким перепроверкам Пятиреченское море.

— Вот как? И вы можете доказать эту нелепость?

— Легко и просто, Михаил Сергеевич!

— Говорите же, Сусанна, говорите.

— Скажу, непременно скажу и не дам ошибиться вам в своих выводах и не позволю вам не заметить, что так очевидно даже для Никиты Фокича Первонасельникова.

— Кто это такой?

— Краснодеревец. Большой мастер по фанере. Охотник. Знает Пятиречье. Он разговаривал со мной и читал письмо.

— Какое?

— Жалобу на вас.

— Куда?

— Куда-то, чуть ли не в Верховный Совет. Но это ровным счетом ничего не значит. Куда бы ни писал он. Он прав в своей основе.

— Он и убедил вас?

— Заставил поверить. Вы, конечно, знаете, Михаил Сергеевич, об увале перед Яргородом, который называют Последним. Он последний перед Яргородом, но не последний на этой низменности. Посмотрите... Сегодня нет марева и хорошо виден другой, Восточный увал. Вот он тянется вдоль горизонта ровной полосой почти непрерываемо.

— Вижу!

— Эти два увала километрах в пятнадцати ниже города сходятся довольно близко. Нужна совсем небольшая перемычка, чтобы соединить их и преградить течение четырех рек. Пятая — Мертвь — ушла за увал, но можно повернуть и ее.

— Допустим, — сказал, раздумывая, Мацюев, — но так ли высоки увалы, чтобы стать естественной дамбой моря?

— Они невысоки, но выше, чем казалось мне. Зато увалы могут стать надежным скальным основанием для

паращивания дамбы большого, многоводного и глубокого моря.

Мацоев снова задумался, а потом сказал:

— Чепуха! Бредни! И это не входит в заданное и очерченное точно. От и до.

— Я знаю все «от» и «до»... До последней извилины. Но я всегда была верна вам, как помощница, и ни вы, ни Иван Павлович никогда не уличили меня в завихрениях. И если случалось подобное, я обычно предупреждала: «Мне в голову пришло...» или: «Я, наверное, скажу сейчас глупость...». На этот же раз я повторяю — море реально, что легко подтвердить самым черновым геодезическим промером. Не заметить этого вы не имеете права. И я не дам вам остаться в очерченном кругу заданного. Это рано или поздно унизит вас.

ХХII

Настойчивость Сусанны сердила Мацоева. Она, казалось, не разговаривала, а поучала, «глаголила». Все теперь раздражало взвинченного Мацоева. И ее короткое летнее платье, румянец щек, темно-каштановое изобилие волос и голос, чем-то схожий с надоедливym воркованием голубя под крышей башни. Черт бы его побрал вместе с голубкой, заманно отбегающей от него и тотчас возвращающейся к нему, как только он замолкал.

— Допустим, вы правы, Сусанна,— заговорил Мацоев, скрывая раздражение.— Но в этом случае море затопит несравненно большие пространства.

— Да. И дорогой моему сердцу Яргород.

Мацоев волновался. Принял содовую таблетку. Выругался про себя, но, как оказалось,— вслух.

— Отстегнулся бы лучше у вас язык, Сусанна, а не чулок.

— Извините. Я не заметила. Отвернитесь...

— Отвернулись бы лучше вы от этого увала.— Мацоев терял власть над собой.— Неужели вы, осушительница болот, желаете затопления? Зачем оно в этих местах?

Сусанна ответила с той же назидательностью:

— Да оно не нужно. Его и не будет.

— Так зачем же насылать мне его? Зачем настаивать?

— Я настаиваю не на нем, а на объективности выводов вашего заключительного доклада.

— Но для какой этой самой...

— Назовем эту самую «Лиззи»,— подсказала Сусанна.

— Вот именно... Так для какой, черт возьми, Лиззи нужна объективность моих выводов, если морю не бывать?

— Есть и другие обстоятельства, зачеркивающие море. Первое— не захотят отдавать столько земель, лесов, торфа, угля, рудных и нерудных ископаемых. Второе— как можно залить нефтеносный район?

— А вы уверены, что он нефтеносный?

— Не уверена, но верю. Верю Ромаше Ладушкину.

— Вы так называете его? Почему?

— Мы давно знакомы... Верю, наконец, сказке о дарах владычицы Ойль.

— Кого? Кого?

— Вы еще услышите о ней... И наконец, в-четвертых. Четвертого я не открою, не перепроверив семьсот семьдесят семь раз с семью семерками в периоде, но могу иероглифически начертать хотя бы здесь. У вас есть карандаш? Хотя это я нацарапаю на стене башни острием пилочки для ногтей.

После этих слов Сусанна выскоблила на стене стрелку, а перед ней букву «Ю».

— Я не разгадчик ребусов.

— Это не ребус, Михаил Сергеевич, а точная формула— символ моего гидрологического открытия... Прогноза, заставившего меня остаться в Яргороде.

— А я был склонен думать, что в Яргороде заставило вас остаться другое. Какая самонадеянность!

— «Другое» приехало потом. Не сердитесь на меня, Михаил Сергеевич! Я все та же.

— Да, но Ямал, мне кажется, вскружил вам голову. Вы, конечно, там были звездой значительной величины. Я представляю, как с вами там считались.

— Очень. Я не сидела там сложа руки. И думала, что это будет вам приятно.

— А откуда я бы узнал о ваших успехах там?

— Я бы приехала в Москву и рассказала вам...

— Вы собирались побывать у меня, Сусанна?

— Не только побывать. Снова работать с вами.

— И положить свои руки на мои плечи?

— Нет, вы бы их сами положили...

— Я?! После трех лет этих самых... Чего— я не

знаю, как называть! Я же р-р-рыжий и ревнивый, как... Вы знаете, что я могу вас зарезать или сбросить. Вон туда, на камни...

— Лучше сбросить!

— Почему же лучше?

— Перед тем, как бросить, вам придется взять меня в охапку... А это рискованно...

— Я опять в игре, как мальчик!

Мацоев рассерженно махнул шляпой на воркующего голубя. Он и голубка испуганно выпорхнули из-под крыши в проем башни.

Сусанна отвернулась. Темнее стал яркий свет вечернего солнца. Любопытный воробей осторожно сел на спинку шезлонга и, чирикнув, улетел. Мацоев подошел к Сусанне, осторожно повернул ее к себе лицом, взял за руки и, положив их на свои плечи, еле слышно сказал ей:

— Доворковались мы, Сусанна...

XLIII

— Ну, вот мы и нашли правильные взаимоотношения, которые не помешают всему остальному,— как бы между прочим сказала Сусанна ожидавшему ее у подножия башни Мацоеву.

— Ой ли?

— Убедитесь, Михаил Сергеевич. Я никогда и ни на что не буду претендовать. Останусь той, какой вам захочется, какой я увижусь вам, какой буду нужна.

— Невероятно... Все невероятно и неестественно, начиная с вашего появления в Яргороде.

— Все рано или поздно объяснится, Михаил Сергеевич. Станет на свои места. Что же касается моего появления в Яргороде, Адоевы расскажут вам.

— Так вы знакомы...

— Да, да. И больше, чем знакома с ними...

Сусанна махнула ему рукой на той же развилке у телеграфного столба, а он хотел учтиво приподнять шляпу, но ее не было на голове.

«Черт с ней, с шляпой. Не возвращаться же на третий ярус».

Телеграфный столб, как всегда, молчал. Архангел Исихирион замер в безветрии вечера, трубя на юг. Пришла в голову стрелка с буквой «Ю». Мацоеву так не

хотелось верить ни одному слову, сказанному Сусанной, и для себя развенчать ее. Но этого почему-то не получилось. Она, казалось, была больше, лучше и нравственно выше его.

Думая о Сусанне, Михаил Сергеевич растравил в себе ревность. Ревность к тем годам, когда Сусанна была, может быть, не одна. Об этом Мацоев не хотел знать, не должен и думать. И вообще их отношения будут... Черт его знает, какими они будут, но во всех случаях разумными. Целесообразными. Нашлось наконец нужное слово — целесообразными, но не нашлось объяснения к нему.

— В самом деле, что значит «целесообразными»? Ничего не значит. Ровным счетом ничего. И он решил не искать слов, отношения обойдутся без них. Они сложатся сами собой. Но сложатся не без его воли, твердости, извешенности.

Михаил Сергеевич не заметил, как оказался дома и вошел в столовую. Оставляя размышления за порогом, он услышал голос Машеньки.

— Шер Мишель,— сказала она, выскакивая из-за стола, где за вечерним чаем собрались все Адоевы и там же был Роман Ладушкин,— ваше лицо всегда было солнечным, а сегодня оно сияет, как никогда. Что-то произошло хорошее?

— Не знаю, хорошее или не очень хорошее, но сегодня у меня возникла потребность рассказать вам, как самым близким и единственно близким людям, о том, как посмеялась надо мной одна женщина. Некая Лиззи. Я не хочу больше жить среди вас «человеком в себе». Есть ли у вас время и желание выслушать меня? Повесть будет длинной, но не утомительной даже для Николая Васильевича Макарьева, если бы он был здесь.

— Мишенька! — прозвучал веселый голос Марфы Владимировны.— Я готова слушать тебя до утра. Говори же, говори.

— И я,— отозвалась Ольга Максимовна.

— И я,— повторил Полихроний Сергеевич.

— Ну, а уж мы-то с Ромашей,— заверила Машенька,— так хотим, так хотим...

— В таком случае, Машенька, сделайте так, чтобы в комнате было сумеречнее. А вы,— обратился он к Ладушкину,— налейте в рюмку среднего размера положен-

ное быть палитому в нее, для большего этого самого и тому подобного.

Шторы, закрытые Машенькой, утемнили зарю заката. Выпитое помогло Мацоеву с издевкой над собою начать рассказ с прихода Лиззи на кафедру.

Рассказ Мацоева влюблял в него и стены, и чучело глухаря, и остановившиеся напольные часы... Дубовую мебель, цветы на столе, старый ковер под столом и зарю, задержавшуюся в своем угасании.

И — чем больше глумился над собой Мацоев, тем обильнее текли Машенькины восторженные слезы, тем ближе становился рассказчик Зотову, в судьбе которого было много схожего.

Вздыхал и бесслезный Ладушкин.

Когда же Мацоев заговорил о Сусанне, на это никто не обратил внимания. Мало ли на свете Сусанн. Но после того, как к имени Сусанны прибавилась ее фамилия Веригина, все переглянулись... Машенька подала знак, и никто не задал ему вопроса, который невозможно было не задать. Когда же Мацоев рассказал о встрече с нею, Марфа Владимировна произнесла те слова, которые не могла не произнести:

— Судьба! Рок! Провидение!

— Но почему же нам-то Сусанна ничего не говорила об этом? — удивилась Ольга Максимовна.

— Почему она должна?.. — спросил Мацоев. — Разве вы близко знаете ее?

— Вот тебе и на! — оживился Полихроний Сергеевич. — Да она же выросла на наших руках!

— Как?

— А так, Михаил Сергеевич! Сусанночка родилась в комнате, где живете вы!

— Как? — опять спросил Мацоев.

— А так, — ответила ему Марфа Владимировна. — Теперь скажите, что это не рок, не судьба, не провидение и не все прочее потустороннее, хотя это было по эту сторону, в Яргороде. Слушайте...

XLIV

Марфа Владимировна, а вместе с нею и остальные, кроме Машеньки, рассказывали Мацоеву, дополняя один другого, как в сорок первом военном году в Яргород был эвакуирован молодой хирург Веригин Нико-

лай Петрович и его душечка из душечек Марина Михайловна. Тоже хирург. Их расквартировали в адоевском доме. Машеньки тогда еще и не предвиделось. Веригины сначала жили сами по себе. Но потом случилось так, что смешались пайки, собрались в одно продовольственные карточки и...

— Мы все,— рассказывала Марфа Владимировна,— стали сообща подголаживать, а другой раз и шиковать за общим столом. Особенно после того, как Веригину дали лимитный паек, как главному хирургу госпиталя, и нашему Полихрончику тоже была дана такая же предпочтительная продовольственная книжица, как начальнику госпиталя, созданного в «казематах».

— Вы были начальником госпиталя, Полихроний Сергеевич? — недоумевающе перебил Марфу Владимировну Мацоев. — Вы же в некотором роде...

— Война не спрашивает, кто ты и в каком роде, в «некотором» или в каком-то другом. Назначили, обелохлатили, и все. Справлялся. Вник. Вошел в курс. Война есть война!

Рассказ продолжился Ольгой Максимовной.

— А потом, Мишенька,— с этого вечера она и остальные называли его этим именем,— а потом, Мишенька, отличного хирурга отправили на фронт. Он оставил свою Мариночку вместе с той самой Сусанной, которая, появившись на свет в нашем доме, назвалась этим именем, именем матери своего погибшего на фронте отца. Встанем!

И все встали.

— Теперь сядем,— попросила Ольга Максимовна,— и продолжим о живых, которые, помня мертвых, должны жить. Сусь родилась в этой комнате, потому что иных мест не было. Дома были забиты эвакуированными, больницы — ранеными. Словом, война и есть война. Восприимчивым отцом Сусанны в акушерском смысле и во всех остальных стал доктор Маркин Филипп Павлович. Вы знаете его. Ну, а дальше... Дальше девочка росла на руках матери... Моей матери. Родная мать в госпитале, Полихроний Сергеевич там же, я в школе и даже в двух. Сусанночка росла, надо сказать, дурнушкой.

— Вот она,— принесла Машенька семейный альбом и показала фотографические снимки Сусанны. — Обезьянка обезьянкой.

Это обидное с детства слово кольнуло Мацоева, а потом обрадовало.

— В самом деле, какой прелестной, удивительно симпатичной обезьянкой росла она.

— Зато потом,— сказала Марфа Владимировна,— «гадкий утенок» вырос... Да, вы же знаете, кем выросла она. В сорок четвертом мы проводили ее ребенком и не видели ее лет до пятнадцати, когда она приехала вместе с теткой побывать в родном для нее доме, где она родилась...

— А почему же не с матерью, Марфа Владимировна?

— Ах, Мишенька!.. Мать ее была молода и красива... Она, разумеется, ничем не напоминала вашу, извините за выражение, Лиззи, но жизнь взяла свое. Она вышла замуж за вдовца. У него трое своих детей. Мать была недолговечна, и Сусь узнала, почему фунт лиха, рано начав самостоятельную жизнь. Училась и работала по вечерам.

— Я не знал этого. Она всегда так держалась...

— И хорошо, что не знал ты об этом, Мишенька. Настоящие люди не любят, когда их жалеют.

— Но как же теперь она оказалась в Яргороде?.. Впрочем, это неслепый вопрос... Она, очевидно, приехала, чтобы повидаться с вами.

Мацосву были рассказаны новые подробности. Сусанна написала письмо Адоевым, что по причинам, которые ей трудно объяснить, она уехала на Ямал. И там оказалась замеченной, отмеченной и награжденной. Дважды и высоко. Живя на Ямале безвыездно более трех лет, она захотела побывать за границей.

— Денег уйма, отпускных месяцев набралось прорва,— пояснила Марфа Владимировна,— и она завернула к нам. Куда же еще, когда никого нигде. А завернув к нам, задержалась. К этому, видимо, были особые причины, о которых она не говорит, но не скрывает, что ее удерживает Пятиречье.

— Вот как. Это уже не просто интересно, а гораздо больше,— признался Мацоев, заметно нервничая.— Без providения здесь определенно не обошлось.

Мацоев узнал, что Сусанна жила у Адоевых в «своей» комнате и перед приездом Машеньки с ожидаемым Княженикиным перебралась к доктору Маркину.

— Когда же вместо Княженикина приехали вы,—

сказала Ольга Максимовна,—она не пожелала вернуться к нам, что, я думаю, теперь не требует выяснения. А если требует, выясняйте сами...

— Шер Мишель,—восхищенно предложила Машенька, пересев из креслица рядом с Мацоевым,—хотите, я буду вашей маклачкой!

— Маша! — оговорила ее мать.— Как ты можешь...

— Как могу! Хорошо,—поправились она обнимая Мацоева,—вашей свахой... Вашенькой-свашенькой-Машенькой. Блаженненьким быть очень хорошо, а умным еще лучше.

Мацоев, услышав это, вскочил. Маша едва не упала. Его лицо побагровело.

— Я люблю вас. Люблю всех. И ничего не прошу взамен, кроме хотя бы маленького уважения и невмешательства в мою жизнь, в мое «я». Да, я дурак. Рыжий, набитый, бородатый дурак. Но мне нельзя запретить думать той маленькой извилилкой в моей голове, которая не позволяет мне снова обманываться.

XLV

Коли уж снова вспомнилась Лиззи, мы должны знать, что произошло с нею и что стало с Юликом.

Лиззи, которую мы откровенно презираем, влюбилась в молодого талантливого художника из Касимова. Влюбчив был и он. Лиззи призналась ему во всем. Ее ценою ведь растрогала молодого человека. Он захотел «настоящего законного брака» и не хотел живого напоминания о прошлом Лиззи: Юлика. Не очень хотела сына и отвыкшая от него Лиззи. К тому же десятилетний Юлик мог сам решить, с кем ему остаться после развода.

Лиззи, как никогда, была любезна с Мацоевым. Любезна и откровенно подла.

— Зачем вам, Михаил Сергеевич, пужна огласка? Зачем Юлику знать, кто его настоящий отец? Есть способ,—сказала она,—и волки, к которым отношусь я, будут сыты, и овцы, я имею в виду вас и Юлика, будут целы. Я отказываюсь от сына, а вы — от Государственной премии в мою пользу. Расчет после развода. Я верю вам. Верю больше, чем себе.

Разговор, происходивший у памятника Гоголю, где Лиззи уже не встречалась с Юликом, отказавшимся ви-

деть ее, закончился, как она и ожидала, полным успехом. Мацоев ответил двумя словами:

— Я согласен.

Развод не потребовал больших хлопот. Выкуп был вручен из рук в руки. Без свидетелей. Так спокойнее. Бывает всякое.

Юлик остался в «Сахаре» вдвоем с Лушей. Мацоев уехал в Яргород.

Лиззи ушла из жизни Мацоева, из жизни Юлика. И только изредка всплывала она, когда Михаил Сергеевич думал о сыне.

Супружеское счастье было недолгим. Поселившись в большой бывшей квартире Мацоева, его кабинет художник переоборудовал в мастерскую. Стали появляться натурщицы. В этом нет ничего удивительного, если б не было маленькой, прехорошенькой Людочки. Она позировала особенно часто и подолгу. Иногда до утра.

Все выяснилось. Жизнь для Лиззи стала невозможной, особенно после приезда из Касимова матери неверного мужа. Приехавшая и поселившаяся на законном основании в квартире сына его мать оскорбляла Лиззи, называя ее и теми обидными словами, которых она, при всех ее пороках, не заслуживала.

Коса нашла на камень. Развод. Обмен большой квартиры на две меньших. Такие находились. В Москве достаточно разрозненно живущих, желающих соединиться. Лиззи не захотела оставаться в Москве. Не могла.

Выяснилось, что Мацоев для нее небезразличен. Она, оказывается, к нему питала какие-то хорошие чувства. А теперь ей показалось, что в ней зарождается что-то похожее на любовь. Это ей показалось в писчебумажном магазине на Арбате. Там Юлик и Михаил Сергеевич покупали бумагу, тетради, альбом для рисования. Лиззи, не замеченная ими, наблюдала их. Юлика она не видела давно и с Мацоевым встречалась год тому назад.

Борода, о которой, как мы помним, лестно отзывалась Сусанна, украсила Михаила Сергеевича. И вообще что-то привлекательное увиделось ей, а может быть, вообразилось, когда она рассматривала своего бывшего мужа. Юлик же был бесподобен. В Лиззи просыпались к Юлику чувства, которых она боялась. Встреча с сыном ей теперь была страшна.

За несколько минут раздумий в писчебумажном ма-

газине Лиззи поняла, что с Москвой она должна расстаться. Здесь все, все будет напоминать потерянное. Арбат. Скамьи возле памятника Гоголю. Здание суда. Магазин «Детский мир». Родильный дом. МТЮЗ в Мамоновском переулке. Елочный базар. Полина, которая почему-то часто попадалась ей на глаза. И самое страшное — она может встретить Юлика. Столкнуться с ним лицом к лицу. Как вести себя? Не узнать? Это невозможно. Разговаривать с ним? О чем?

С Москвой она должна проститься.

Началась продажа мебели. Три из пяти комнат, принадлежащих ей, она сменяла на квартиру в Києве. Куда и переехала, оставив Москву и уйдя из этого романа.

Уходя из него, она оставила некоторые надежды, и нам следует поверить в них. Размышляя о себе, Лиззи понимала, что всего случившегося с нею могло бы и не быть. Она одарена. И это правда. Мы видели в ней дар актрисы. Она играла до последнего дня отъезда из Москвы злые роли. Она нам ненавистна как человек, но разве мы можем отказать ей в гибкой подлости ума, в умении менять маски, убеждать, пугать, очаровывать, интриговать, позировать, притворяться овцой, перерождаться в хищную волчицу, в голубку и в змею. Разве это не дар?

Другое дело, как он был применен и куда направлен.

У Лиззи был отличный вкус к одежде. Его ей привила мать. И как знать, какой бы законодательницей мод мы увидели ее, если б она не предпочла коротких, подлых, легких путей трудным дорогам большинства.

Об этом и думала она по дороге в Киев. Кто-то сказал: «Ничто не поздно для человека, пока он жив». Кто скажет, что будет с Лиззи?.. И коли уж она в чем-то поколебалась, что-то осудила в себе, это хороший признак.

XLVI

Покончим и с Полиной, тем более что ее уже нет в живых. После прощального визита Лиззи она слегла. О ней можно бы не вспоминать, если б она коварно не наследила в душе Михаила Сергеевича Мацоева. С ним она виделась не более пятнадцати минут, а сказанное ею не забылось. Она, черня одну, бросила черную тень на другую, неведомую ей Сусанну.

Михаил Сергеевич всячески гонит от себя подозрения о том, как вела себя Сусанна на Ямале. Не верить ей нельзя, но ядовитая логика не допускает, чтобы женщина, дожив до двадцати восьми годов, избежала соблазнительных улыбок. Мацоев отношение к нему Сусанны отражает на неведомых ему других. Мнительность и воображение помогают ему представить чуть ли не зримо ужасные картины.

Ревность других в нас часто вызывает сожаление, и тем более, когда она неосновательна. И мы даже смеемся над ревнивцами, вышучиваем их. Но себе не кажемся смешными, когда мы ищем неверность там, где ее нет, сходим с ума, не спим ночей от нами же придуманных измен.

Не шуткой ли было сказанное обиженной Сусанной при первой встрече с Мацоевым о двух ее замужествах, о шести ее детях и ожидаемом седьмом. Но и эту явную нелепость не забывает болезненная ревность. Она шепчет Михаилу Сергеевичу: «Если она так много наговаривает на себя и признается в невозможном, только глупец не заподозрит ее в умении скрыть то малое, которое ее чернит ничуть не меньше, чем большое».

А почему чернит? Разве бы он пренебрег Сусанной, если б она была вдовой или разведенной даже дважды? Нет.

Так спрашивает его и отвечает ему дедушка Михаил Степанович Мацоев. Он прав. Но от его правоты не становится легче. Знай бы Михаил Сергеевич о Сусанне все, как счастлив был бы он, любя ее. А он любит. Тоскует по ней во сне. Видит ее плывущей по Тьмине. Разлука с нею на два-три дня становится нестерпимой. При встрече с нею он вчера спросил:

— Что будет с нами? Как сложатся наши отношения?

— Хорошо! Не задумывайся над этим. Не выясняй.

Ей будто все известно, и ее ничто не беспокоит. У нее какой-то особый склад ума. Романтик в ней сочетается с аналитиком. Мечтательность — с точностью расчета. Женственная мягкость не ослабляет ее упорства, твердости, бесстрашия.

Она во всех одеждах хороша. Кружевной наряд, брезентовая роба, ситцевый сарафан, шортики и майка, кожаная куртка, джинсы, комбинезон... Ей все к лицу.

Ее ничто не портит. Никакая работа у нее не валится из рук. С геодезическими приборами она знакома досконально, читает карты как букварь, тайга для нее — парк, топор, пила что пилка для ногтей, стирка — забава, чинка, штопка — отдых, безделие — каторга. Ей все сводручно.

Не такая ли тебе нужна жена, соратник и товарищ. Михаил Сергеевич Мацоев? Не ясно ли она тебе сказала: «Не выясняй!»

И он не выяснял, верил, что все будет хорошо, но как, каким будет это «хорошо»? Он знает, что главой семьи бывает женщина. Так было в семье его деда, в семье Дюрягиных, в семье Ивана Павловича... Во многих семьях. И такой могла бы стать Сусанна, если бы она не посягала на неприкосновенное, не вмешивалась бы во невмешаемое, в его лабораторию мышления. Это самое страшное для него. А она пытается влиять, вторгаться в его творческую сферу... Но и об этом пока не следует думать. Не надо пока отвлекаться. Он же руководитель ответственной экспедиции. Она и должна оставаться самым главным. Самым святым.

А это так и было. При всех неожиданных для Мацоева одержимостях он оставался на высоте порученного ему. И никто не мог, если бы и хотел, упрекнуть его в послаблениях и прочих упущениях в работе. Он по-прежнему оставался взыскательным командиром. Поощряя отличившихся, Мацоев был беспощаден к самонадеянно оценивающим изучаемое «на глазок», требуя до скрупулезности детальнейшего обследования.

Чем успешнее шли дела, тем большего хотелось. Жарок июнь. А здесь он жарче вдвое. Бой! Низина в окружении. На допросе.

Она даст точные показания и не утаит ничего.

Терпение, товарищи! Тщательные промеры. Наступит день, и карта отобразит лицо Пятиречья до последней складочки, бугорка, ложбинки. Несостоятельность моря очевидна. Близок день, когда будет сведено воедино живущее пока порознь.

Порознь и сам по себе жил второй Восточный увал, о котором говорила Сусанна. Это чушь. Она талантлива, пытлива, и ей свойственны поэтому завихрения. Ну, посудите сами, она вместе с каким-то охотником установила то, мимо чего прошли сотни специалистов, па что никто не обратил внимания. И тем не менее Сусан-

на заслуживает уважения, принадлежит к натурам неуспокоенным, ищущим и... и находящим.

Не просто же так, не за женские прелести ее отмечали на Ямале. Можно допустить, что привходящее сыграло какую-то роль, навсрно, незначительную.

Она, несомненно, во-первых, ученый и, во-вторых... Впрочем, во-вторых и он тоже... что не мешает ему быть тем, кем он есть во-первых.

Мацоев старался забыть о Восточном увале, отойти от него, а увал не хотел отходить. Он стоял в глазах, как и стрелка с буквой «Ю», выскобленная Сусанной на стене башни. Черт ее знает, что скрыла она за этой буквой. Может быть, имя его сына Юлика? И зачем она вернулась в его жизнь и все перевернула в нем?

Но лучше ли бы стало, если б этого не произошло? Лучше ли? Отвечай!

А ответа нет.

Не побывать ли в Яргороде, на людях? Не проветрить ли голову? Не позвонить ли Юлику? Да-да! Так и сделает он в ближайшую пятницу.

А теперь...

Теперь оставим Мацоева и вернемся в Яргород.

XLVII

В Яргороде было по-прежнему тихо и мирно. Волнения позади. Впереди — хорошие надежды.

Повеселело и в доме Адоевых. Наступили каникулы. Ольга Максимовна возобновила пятницы. Собиравшиеся на них приносили под благовидными предлогами и без них необходимое к столу. Домашнее и купленное в гастрономическом магазине. Пятничные вечера в складчину окрашивались юношеским, студенческим весельем. Здесь ты и гость, и хозяин. Здесь все непринужденно и просто.

Любезен дом Адоевых. Приветлива столовая. Традиционно добродушна гостиная. Ход через кухню и то, как бы приглашая, говорит: «Милости просим, без церемоний».

Приходившие по пятницам сами сервировали стол и перед уходом убирали со стола, мыли посуду. Ромаша Ладушкин первый заводила. Второй — архитектор Шилов, такой же завсегдатай дома, как и доктор Маркин.

Роман Ладушкин весел. В его глазах убежденность, ясность. Мы знаем, что и он из «одержимых», все же

пока у него нет оснований ликовать. На нефтеразведывательных буровых — ничего, кроме огорчений. Поэтому Машенька в один из вечеров, а он бывал у Адоевых почти ежевечерне, заметила ему:

— Ромаша, у тебя такой вид, как будто тебе все известно и ты обо всем знаешь заранее.

— А это так и есть, Машенька.

— Как же именно?

— Неожиданно и просто. В один обыкновенный день... В какой, не знаю... Может быть, сегодня, или завтра утром, или через месяц на какой-то из буровых послышится вопль... За воплем польются счастливые слезы. Крики! Испуг! Сумасшедшая радость! Кто-то лишится чувств. Кто-то, держась за сердце, спокойно скажет: «Нефть! Примите меры! Заприте фонтан!» Наверно, этим человеком буду не я, хотя и бывалим. И не один раз. Вернее всего, что в этот час меня отправят в карете «Скорой помощи», а может быть, я помчусь... Куда?

— Конечно, к нам.

— Конечно, к вам. С ведерком, или бидоном, или с чем-то, что попадет под руку и будет наполнено нефтью. Не останется ни одного встреченного мною лица без нефтяного мазка. И тут начнется все то, что начиналось, что я видел, пережил, перестрадал. Заняты все провода. По телефону отменены междугородные разговоры. Прилет корреспондентов. Интервью. Прибытие начальства. Гостиницы забиты.

Машенька пощупала голову возбужденного Ладушкина и объяснила:

— Я это так. На всякий случай. Говори спокойнее.

— Спокойнее? Как это можно, когда Яргород не сходит со страниц газет, с экранов телевизоров, по всем программам всех передач. Разносы маловеров! Бурение новых скважин. Приезд строителей, нефтяников. Срочное бетонирование нового аэродрома. Возвращение покинувших свой город. Девичий переполох. Ажиотаж вокруг портных. Женский город становится мужским. Скважина за скважиной вступают в строй. И наконец...

— Что наконец, Ромаша?

— Наконец, на сером волке прискакивает твой Валерий-Кавалерий. Ты холодна. Возмущена. Старые обиды в тебе клóкочут с новой силой. А он...

— Что он, Ромаша?

— Сердце не камень. И если оно тверже камня, то все равно смягчится и простит. «Нет жертвеннее чувства, нежели любовь», — сказал поэт...

— Так он сказал, наверно, о тебе, Ромаша...

В этот вечер Роман Ладушкин и не предполагал, что дальнейшим поискам нефти под Яргородом угрожала докладная, в которой последовательно, по пунктам доказывалась несостоятельность запрогнозированного нефтегазового месторождения. Энтузиастов, таких, как Ладушкин, не обвиняли в излишней самоуверенности, но считали потерявшими чувство меры.

На буровых об этой докладной не знали, но и там находились люди, называвшие открыто разведывательное бурение «мартышкиным трудом» и хуже.

XLVIII

В очередную пятницу у Адосевых собрался широкий круг друзей и знакомых. Приехали на «амфибии» Мацоев и Сусанна. Ей хотелось повидаться с Машенькой, спросить Романа Ладушкина о делах на буровых.

Макарьев пришел с Юрием Рыжасвым и принес богатый вклад.

Из Москвы ему прибыла «сладкая посылка» — четыре шоколадных вафельных торта.

Замышлялась пятница — песни. Каждый, даже безголосый, обязан был что-то спеть. Но сломались все намеченные планы. Это, не желая, сделала Сусанна, сядясь за рояль:

— Сейчас я для начала нашего вокального вечера спою сочиненную мною и посвященную некоему из вас идиллическую песенку. Прошу извинить заранее за ограниченность моего рукоделия, как стихотворного, а «также» композиторского.

И рояль зазвучал, а за ним се чистое контральто:

Царица Ойль глубоко
Запрятала свой клад.
Искатель синеокий
Искал сто лет подряд
Запрятанный глубоко
Царицей Ойль свой клад.
Сто лет подряд
Искал подряд,
Заветный клад,
Заветный клад.
И как-то Ойль сказала.
Искателю во сне...

Сусанна прервала игру, повернулась к слушающим:
— Дальше не успела досочинить. Досочиню потом. Ойль сказала ему, что клады открываются только тем, кто не прячет в своем сердце свои клады.— Она перевела глаза с Ладушкина на Машеньку и повторила пророческое:

Сто лет подряд
Искал он клад,
Заветный клад,
Заветный клад.

— А клад был рядом,— хохоча, вместе с роялем закончила Сусанна и академически строго раскланялась слушателям.

Всем понравилось пропетое, и, когда утихли аплодисменты, Машенька сказала Ладушкину:

— Теперь ты, надеюсь, понял, почему так неблагоприятна к тебе Ойль!

— Извините, дамы и господа,— обратился ко всем Николай Васильевич Макарьев.— Миллион двести тысяч раз я слышу имя Ойль и ни одного раза не услышал, кому оно принадлежит.— Он посмотрел на Ольгу Максимовну.— Но мне доподлинно известно, что некая особа знает об этой таинственной Ойль.

— Некая особа не отрицает этого,— откликнулась Ольга Максимовна.— Она в детстве слышала сказку о дарах владычицы Ойль, а потом, став матерью, сама рассказывала ее своей дочери, а до этого Сусанночке и Ромаше.

— Так расскажите нам, Ольга Максимовна,— попросил Макарьев.

— Я с удовольствием бы, милые друзья, но перезабыла все слова. К тому же здесь находится первоисточник сказки.

Ольга Максимовна назвала Полихрония Сергеевича.

— Тогда, товарищи,— сказал Макарьев,— обратимся к первоисточнику. К вам, Полихроний Сергеевич.

— Нет уж, покорнейше прошу меня уволить от чести называться автором этого древнейшего сказания. Я слышал в юношеские годы этот миф из уст покойного санскритолога, совмещавшего преподавание и рассказывание историй, которые он якобы почерпнул из вавилонских литературных древностей.

— Тем более это должно быть интересным,— не унимался Макарьев.

— Пожалуйста, Полихроний Сергеевич,— попросил его любимец Ромаша Ладушкин.— Мне, по известным вам причинам, особенно приятно будет услышать еще раз эту сказку.

— Тогда сдаюсь. Однако побаиваюсь, окажусь ли я удобослушасмым. Не скучна ли будет в моем изложении эта якобы вавилонская словесность, не убого ли прозвучит клинопись моего косноязычия.

— Какой хитрец вы, Полихроний Сергеевич,— сказал доктор Маркин.

— И в самом деле,— продолжил Макарьев,— хороший рассказчик всегда предупреждает о своей боязни быть скучным, а потом... Потом фейерверк красноречия, сверканье слов. Так будет и на этот раз.

— Ну, что же... Режиссерам виднее, кто и какой артист. Попробую.

Раздались хлопки. Ольга Максимовна, зная особенности Полихрония Сергеевича, поставила в центр гостиной стул с высокой спинкой. Став за нее, Зотов произнес вступительные слова:

— Не буду искать истоков этой сказки, как скажется, так и скажу. Прошу внимания и тишины. Пусть муза вавилонских мудрецов будет снисходительна к вашему покорному слуге.

Откашлявшись, дождавшись полной тишины, Зотов объявил название сказки:

— «Дары владычицы Ойль».

Снова пауза, и сказка началась...

XLIX

— Однажды... или, скажем, в одно самое древнейшее, доисторическое утро раскрылся неизвестный на земле цветок, красу которого не осмеливались описывать и древние пииты. Не берусь за это тем более я... Дорисуйте в своем воображении красоты этого цветка, представьте его благоухание, прелесть красок, нежность лепестков и все, чем был потрясен старший сын всевидящего Солнца, по имени Первый Луч.

Сын Солнца, Первый Луч, в это доисторическое утро, прогоняя ночь и зажигая день, осветил невиданный цветок. Осветил и так лучезарно улыбнулся, так восхитился увиденным, что на всю вселенную воскликнул: «Ойль!»

«Ойль! Ойль!» — повторяли лучи-братья.

«Ойль! — провозгласило Солнце. — Ойль, я тебе дарую бессмертие».

После этих слов цветов, получивший имя Ойль, превратился в женщину. Она была золотисто-смугла, как и лепестки породившего ее цветка, златокудра и огневейна, как Солнце, даровавшее ей бессмертие, и жизнелюбива, как ее мать — Земля.

Всё, все и вся преклонились перед ней, потому что не было и не будет благоуханнее и волшебнее цветка, нежели женщина.

Так утверждал мой санскритолог. Этого же мнения придерживаются и некоторые другие, обожающие иной цветок по имени Машенька. Однако прошу соблюдать тишину и не выбивать сказителя из седла, хотя бы и справедливыми на этот раз рукоплесканиями.

Как уже было поведено, все преклонялись перед Ойль. Потому что, кроме красоты, в ней олицетворились все добрые начала.

При этом в ту давнюю предавность нашлась завистница, которая себя считала могущественнейшей из всех сил природы. Она звалась Стихией. Это имя ненавистно людям и по сей день.

Своенравная и коварная Стихия поклялась извести Ойль. Но как можно извести дочь Земли, которую обессмертило Солнце. Оставалось только единственное — спрятать Ойль от поклонявшихся ей. Скрыть от всего восхищавшегося ею. Это было в силах злой Стихии. Она, потрясая Землю, руша горы, превращая моря в сушу и сушу в океаны, коверкая лицо планеты, решила низвести Ойль в мрак и безмолвие преисподней. Низвести глубже подземных вод в царство темных горимых морей, в которых прекрасная Ойль будет обречена на безвестность вечного заточения.

Ойль исчезла.

Проходили века, тысячелетия, миллионы лет, и забылась Ойль. И только звезды помнили о ней, рассказывая иногда в тихие ночи, как появилась Ойль и как она была низведена в Тартар. И те, чьи уши умели слушать звезды, узнали, что красавица очаровала темные горимые, подземные моря, провозгласившие ее своей владычицей.

Владычица Ойль, познавшая на земле радость горения, могла помочь морям, жаждущим огня, пробиться

на поверхность. Придавленные толщей напластований, подземные моря долго и упорно пробивались к свету. И там, где толща оказывалась рыхлее, проступали темные горимые дары Ойль. Так называли ее те, кто умел слушать звезды и заставлял свои мысли видеть невидимое.

И чем глубже людские мысли проникали в недра земли, тем щедрее награждала их Ойль своими дарами. В наше время мысль обернулась буром, и он помог дарам Ойль стать драгоценным достоянием человечества...

* * *

Зотов повернулся, отошел к окну, показывая этим, что сказка досказана. Затем снова повернулся и виновато обратился к молчащим:

— Прошу вашего снисхождения за то, что я посягнул вырубить топором то, чему положено быть изваяно тончайшим из всех тонких резцов музыки изящества и поэзии.

L

Сказка отзывалась в сердцах слушателей. Они все были единомышленниками, и каждому хотелось, чтобы Ойль открыла свои дары в низине Пятиречья. Больше всех этого хотел Роман Тихонович Ладушкин. Он в этот вечер жил снова в очаровании сказки, как и остальные, тем более впечатлительные кинематографисты.

— Извините, Полихроний Сергеевич,— обратился Макарьев,— почему вы имя Ойль произносили с мягким знаком? В английском языке Ойль оканчивается твердым, а не мягким «эль».

Полихроний Сергеевич ответил:

— Английский язык не родоначален. Ему предшествовали древние языки. Это одно. Другое — Ойль с мягким знаком звучит женственнее, сказочнее и нежнее. Это, я думаю, бесспорно.

— Бесспорно и вне всяких сомнений,— горячо поддерживал Юрий Рыжаев, сидевший в глубине гостиной на правах самого юного гостя адоевской пятницы. — Ойль! Это находка, Полихроний Сергеевич. Кратко! Броско! Музыкально! Ойль звучит, как тонкая певучая струна. Как возглас удивившегося человека. Как... — Тут Рыжаев встретился с глазами Машеньки и ей и всем

сказал: — Как я шумлив. Но как молчать, когда я потрясен! Остановите кто-нибудь меня. А то — воспламенюсь.

— И это будет прелестно с вашей стороны, — ободрила Машенька. — Воспламеняйтесь, Юрий. Это продолжит сказку.

Послышались голоса одобрения. Ладушкин сказал:

— В самом деле, Юрий, вы же артист...

— Увы, плохой! Но если бы я ставил эту сказку, то... Представьте, что я буровая вышка.

Рыжаев вышел на середину комнаты. Раздался хохот.

— Рост позволяет мне выглядеть ею. — Рыжаев поднял руки и свел их над головой. — Вышка мертва. Тишина. Ночь. Звезды. Ни шороха, ни звука. И вдруг! — крикнул Юрий. Все вздрогнули. Машенька взвизгнула. — И вдруг, — повторил он, — какое-то бурление под мной. Под вышкой. Удар! Вышка падает. — Юрий качнулся. — Взрыв! — Он ударяет по крышке рояля. — Изпод земли появляется она. Ойль! В оркестре волнение всех инструментов!

Сусанна перебегает к роялю. Импровизирует. Воспроизводит волнение.

— Может быть, нужна не такая музыка, — оправдывается она. — Конечно, не такая. Нужна волшебная, чарующая.

— Да! Волшебная, чарующая! Она предшествует появлению Ойль, — говорит и показывает Юрий Рыжасв. — Смугловатая, призрачная Ойль начинает торжественный танец, — и он танцует. — Скажите, разве это не кульминация фильма... Фильма, который никто не поставит.

— Как знать, — послышался голос Макарьева, и вслед за ним все оживленно заговорили, споря, предлагая, придумывая сцены, словно здесь решалось, каким быть фильму.

— Мама, — шепнула Машенька, — я не представляла, что в нем столько темперамента. — И, повернувшись к Рыжаеву, сказала: — Вы очаровали всех, всех... Я верю, что эта сказка увидит вторую жизнь. Вам не уйти от нее, а ей — от вас.

Роман Ладушкин, внимательно следя за Машей, подумал, что ее недавняя утрата меркнет. Наверно, недалеко то время, когда она полюбит достойного ее. Таким

не может стать Рыжаев. Он из другого, далекого ей мира. Но как знать... Любовь тоже владычица, и сильнее, чем Ойль. Думая так, Ладушкин впервые допустил, что и он может стать ее избранником, но тут же прогнал непрощенные мысли.

Между тем гости сервировали стол. Сегодня будет оживленный ужин. Роман ушел в столовую.

Мацоев остался в гостиной. Сказка озадачила его. — Зачем понадобилось им муслировать лелеемые мечты о нефти,— сожалел он.— От этого самообольщения будет еще труднее убеждаться, что Ойль не припасла для них своих даров.

Сусанна не соглашалась:

— Михаил Сергеевич, я поражена. Не вы ли верили в удачу Ладушкина?

— Верил? Я не отрицал случайность и ничего не утверждал. Я и сейчас не отрицаю. Случайности бывают всюду, но построить на них научные...

— Простите, Михаил Сергеевич, я перебыю вас. Разве не вы говорили, что случайности имеют свою закономерность, если они находятся в цепи предшествующего им?

— Предшествующего? Но что предшествовало этому предполагаемому месторождению, Сусанна? Что?

— Цепь, та же самая цепь, которая подсказала Яргородскую нефтеразведку. В этом нетрудно убедиться. Вы просто не в духе сегодня, милейший Михаил Сергеевич. И я знаю почему!

— Знаете о том, чего не знаю я.

— Нет, вы знаете, и вас пугает знакомое. Напрасно. Этого не будет. Восторжествует «стрелка с буквой «Ю». Яргороду ничего не угрожает.

— Хватит. Сегодня я не хочу ни о чем думать. Наши головы тоже имеют право на выходной, если не день, то вечер. Пошли к людям... Как хочется сегодня мне напиться...

— Напиться? Нет, я этого не дам вам, Михаил Сергеевич. Хотя,— сказала, раздумывая, Сусанна,— хмель некоторых отрезвляет.

На людях Мацоев и Сусанна вели себя как старые знакомые, ничем не показывая того, что замечалось другими. Замечалось и скрывалось, пока это было возможно. Но не пройдет и часа, как все пришедшие сюда будут свидетелями сцены, которая прервет игру в «деликат-

ные молчанки». Пока же дадим начаться дружескому ужину.

В столовой, куда вошли Сусанна и Мацоев, усаживались за длинный стол. В оживленном гае слышалось имя Ойль, назывался и Мацоев. Кто-то убеждал, что Пятиреченское море скоро забудется вместе с печально известным Гаевым. Кто-то предсказывал нефтяной фонтан в этом месяце.

Мацоева сердило все, начиная с песенки Сусанны и кончая ее длинным концертным платьем. Она его надела для вечера песни, для цикла любимых Мацоевым романсов, которые она исполняла в незабываемые гостевые вечера, случавшиеся при жизни Ивана Павловича Ташеева. Сусанной любовались собравшиеся на пятницу, Макарьев разглядывал ее с головы до ног, прикидывая, как она может пригодиться для фильма. Всякий видит свое. Свое видел и Михаил Сергеевич. Он представлял другой вечер, где-то в другом доме на Ямале. Не закрывши же рот провела она эти три года. Пела же она и там. И наверно, такой же или какой-то другой похожий на Макарьева пялил на нее глаза.

Зачем ей привлекать внимание, зачем ей выглядеть контрастом рядом с ним?

Она делала это для него, чтобы украсить собой Мацоева, когда будет сидеть с ним рядом, чтобы знали все, как он мил и дорог ей, как она гордится им. До этого Сусанне хотелось при всех признаться ему в любви, когда она будет петь романсы и смотреть только на него, приведенного ею в «полную безупречность» от бороды и до ботинок.

Ей хотелось гласности. Мацоев избегал ее.

Заговорили опять об Ойль, о нефти под Яргородом и удивлялись, почему молчит Мацоев. Доктор Маркин спросил его в упор:

— Михаил Сергеевич, скажите что-нибудь о нефти...

Мацоев отодвинул свою рюмку, налил себе в стакан водки, поднял его и тостом ответил Маркину:

— За счастливые случайности, друзья! — И выпил половину налитого.

LI

Счастливой случайностью стало в этот вечер появление в оживленной столовой двух приезжих.

Одним из них был мальчик лет десяти. Вторым, вер-

нее второй,— молодая, не обиженная полнотой и румянцем женщина. Она, как и мальчик, была не по-дорожному нарядно одета. Их никто не знал, кроме опустившей глаза Сусанны и оцепеневшего от изумления Мацоева.

Женщина остановилась в дверях. Мальчик подбежал к Машеньке.

— Это вы Машенька Адоева?

— Я. А кто ты?

— А я Юлий Мацоев. Где мой папа? — спросил он и увидел Сусанну.— Это ты? Это ты?! — с пронзительным визгом бросился к ней Юлик.— Неужели это ты, Сусанна?

Мацоев не двинулся. Не шевельнул языком. А Юлик обнимал Сусанну. Проверял ее по запаху. Снова обнимал. Садился к ней на колени. Вскakiвал с них. Потом ощупывал лицо, руки, плечи и, словно убедившись, что это она, заплакал, взвизгивая и вздрагивая:

— Нашел я, нашел тебя, Сусанночка моя!

Надо ли говорить, почему стало тихо в столовой, так тихо, что был слышен каждый всхлип мальчика.

— Нашел, Люлик мой Люль. Ты устал с дороги...

— Нет, я устал быть один.— Юлик не замечал гостей.— Я так хворал без тебя. У меня так больно было тут,— он показал левой рукой на затылок и ухватился за шею Сусанны, словно боясь выпустить ее из своих рук, и в это время увидел отца:

— Папа! Так вы поженились?

Мацоева знобило. Он не мог справиться с икотой. Ему очень трудно было произнести:

— Потом... Ты все узнаешь...

Сидевшие за столом, кажется, перестали дышать. Машенька блее скатерти. У Зотова тряслась борода. Ольга Максимовна подала матери успокоительное. Приехавшая с Юликом Луша плакала за дверью. Где же еще ей плакать? Мацоев приходил в себя.

— Юлик, я с тобой... Ты видишь, Юль-Люль, я с тобой. Мы всегда теперь будем с тобой...

— Иди, я тебя умою, мой Люль. Тебе нужно отдохнуть,— увещевает Сусанна, желая как можно скорее увести Юлика, а он:

— Я не буду спать... Я не буду спать!

— И я тоже не буду,— обещает ласково Сусанна, уводя Юлика в комнату Машеньки.

— Если вы уважаете этот дом, наши друзья и дорогие нам люди,— обратился ко всем Полихроний Сергеевич,— не выясняйте, пожалуйста, подробностей, и все виденное и слышанное вами — пусть останется в этих стенах.

Те, к кому относилось это, молча поклонились Зотову, как бы обещая ему исполнить его просьбу.

Завершать ужин было уже неудобно, и многие поднялись.

Но Макарьев сказал:

— Будем разумны! Ничего не произошло в этих стенах. Просто-напросто в этот вечер вкрапилась сцена из жизни нам неизвестной,— Макарьев был уже хмелеват, и его язык не очень был послушен ему, зато ясность мыслей не покидала его.— И мы не оборвем, а, мягко закруглив эту пятницу, посвященную Ойль, вернемся к ней.

Возвращения к Ойль не получилось, но закругление нашлось.

Полихроний Сергеевич снова стал за стул и объявил:

— Друзья! Осиротевший при живой матери мальчик нашел свою настоящую мать.

Солнце давно село, и отгорела заря. Юлик долго боролся с дремотой, когда же она оказалась сильнее его, он попросил Сусанну:

— Положи свое платье и все другое под мою подушку, запри дверь и ключ отдай мне.

— Юлик, нельзя же мять такое хорошее платье. Это негигиенично. Понимаешь, негигиенично. Я лучше подложу под тебя мою руку, и ты услышишь, если я шевельнусь.

Раздевшись, Сусанна хотела погасить свет.

— Не надо,— нервничал Юлик.— При свете лучше.

Сусанна не спала. Она хотела, но боялась уснуть. Боялась вынуть из-под Юлика отекающую руку и разбудить его.

Она думала о долгих ночах на Ямале. Юлик был неразлучен с нею и там, а теперь он тут. Рядом. На ее руке. И странно... Очень странно! Оказывается, Юлик дороже, ближе и роднее, чем он, которым она жила эти три года, и не наглядится на него теперь. Но это другая любовь, хотя и в этой любви к человеку старше ее есть тоже что-то материнское, а к Юлику только материнское.

Странно... Раньше это не приходило в голову, а теперь она знает, что ничто, как бы ни повернулась жизнь, ничто не разлучит ее с этим ее, и только ее, сыном.

III

Утром в комнату постучался Мацоев. Сусанна открыла дверь. Она одевалась при нем. Для Юлика теперь не оставалось никаких сомнений, что папа — ее муж. Но он еще раз проверил:

— Папа, а почему ты не поцеловал маму с добрым утром?

Мацоев не поверил своим ушам. Вопрос Юлика прозвучал противоестественно для его лет. Выглядел подсказанным ему. Но не выяснять же. Нужно ответить.

— Сусанна, родная моя, как я глуп, постеснявшись сына... Такого большого, умного, любящего тебя и меня... Он все еще не верит...

— И я бы не поверила на его месте...

Мацоев обнял Сусанну и Юлика, принялся целовать их.

Приятная для Юлика и, может быть, для вас идиллическая сцена в комнате Машеньки не должна обманывать. Мацоеву важнее всего узнать, что заставило Лушу и Юлика приехать в Яргород.

Сусанна, заметив его беспокойство, осторожно спросила:

— Ты чем-то недоволен?

— Бестактностью.

— Чьей?

— Обстоятельств.

— Каких?

— Торопливых. Разве ты не понимаешь, что я теперь должен играть роль...

— Какую?

— Я не нахожу ей названия.

— А чем она тебя затрудняет?.. Что изменится в наших отношениях? О них не знает только тот, кто ничего не хочет знать и видеть.

— Так кто же я теперь по отношению к тебе? Кто ты по отношению ко мне?

— Это касается только нас.

— Но мы же не на острове. Или тебе безразлично, что будут думать и говорить о нас?

— Меня не унизит, что будут думать обо мне. И если кто-то скажет, что я твоя малоуважаемая... эта... ублажительница, что ли, тебя это тоже никак не оскорбит. Дай бог всякому иметь такую куклу. Живет же при тебе дсбелая красотка Луша, и никому нет дела до нее. Не будет дела и до меня. Наши отношения чисты, хотя и не выяснены до конца, но мы-то знаем, что они чисты...

— Все повторяется. Я снова на крючке.

— Скажи лучше — в капкане. В кандалах! Неужели все еще ее тень падает на меня? Неужели твоя душа не может выйти из ржавого болота, в которое она ее втоптала? Это ужасно! Хочешь, я завтра же... Сегодня же... Сейчас же исчезну, как тогда, и освобожу тебя от кандалов...

— Сусанна, что ты... Подумай, что ты говоришь... Я знаю, ты можешь это сделать.— Он взял за руки Сусанну, обнял ее.— Разве я могу потерять тебя, Сусанна? Что будет с Юликом? Я знаю, я хорошо знаю, какой я отвратительный человечиска... Как трудно тебе со мной... Когда я с тобой — я верю тебе, когда же остаюсь один... Ты не обращай внимания на это... Только зачем тебе было нужно делать Юлика катализатором наших отношений?

Сусанна перешла к окну. Ее взволнованность заставила Мацоева смягчить сказанное:

— Или я ошибаюсь? Тогда прости меня, Сусанна...

— За что же? За то, что ты проникателен?

— Ну, вот видишь, как хорошо, когда ты не скрываешь от меня. Ты написала ему или Луше?

— И ей, и ему... звонила с почты по телефону... Звала его... Плакала в трубку... Посылала фотографические снимки... И что-то еще... Да-а... Вспомнила: наговорила большую катушку магнитофонной пленки на радиоузде. Рассказала рыдающим голосом, как тяжело мне без него, и... И добилась своего. Трудно ли обмануть мальчишку, растущего без матери и по сути дела без отца. Я делала все, чтобы завладеть тобой...

Мацоев прервал ее:

— Ты снова навираешь на себя... И тоже не без обещания. Ты хочешь, чтобы я, не поверив в навранное, не повсрился и в правду. Ты выиграла. Я побежден. Диктую условия...

Открылась дверь, вошел сияющий, умытый, причесанный Юлик:

— Папа и мама, Ольга Максимовна велела позвать вас завтракать. На столе так много всего и для меня кофейное желе... Идите же, идите. Вас ждут...

ЛIII

Злой бес неверия и сомнений требовал у Михаила Сергеевича установить истину причин, заставивших приехать в Яргород Юлика и Лушу, он решил начать с нее:

— Не правда ли, Луша, так редкая мать может любить своего ребенка, как Сусанна Юлика...

— Святые слова. А уж он-то ее... Будто до последней кровиночки родимое дитяtko.

— Это я знаю. Он ее сын. Ее больше, чем мой.

Луша ничего на это не ответила. И заговорила о себе:

— Теперь я, можно сказать, скоро буду вольным казакom. У меня ведь тоже должна быть какая-то своя скворечня.

— Несомненно. Должна. И будет,— пообещал Михаил Сергеевич, вернувшись к начатому.— Как я благодарен Сусанне за письма к Юлику.

— Юлику она ничего не писала...

— Извини — тебе для Юлика.

— И мне она не писывала ни строчечки.

— Луша, ты никогда не говорила мне неправды. Она сказала, что писала.

— Может быть, и писала, а я не получала от нее никаких писем.

— Видимо, не доходили.

Мацоев решил, что Луша предупреждена Сусанной, и не стал уличать ее во лжи. Он узнает от Юлика все. С ним разговор был начат в саду так:

— Как же ты отважился поехать в такую даль?

— Я устал, папа, жить без тебя. Мне надоело слушать Лушины песни про любовь. Все про любовь, про любовь и пластинки и телевизор. А потом я получил письмо и карточку Машеньки.

— От кого?

— От тебя. И мне так понравилась тогда Машенька, а теперь Ольга Максимовна и Поли...

— Полихроний Сергеевич,— подсказал Мацоев.

— И он. И мне так захотелось в Яргород.

— А я думал, ко мне...

— Папа, зачем ты так говоришь? Разве ты не знаешь, что ты всегда был у меня под подушкой. И я... Я сказал Луше, если она не отвезет меня в Яргород завтра же... Завтра же! То отвезет в больницу. А Луша... Луша больше всего боится этого слова. Я даже начал нарочно снова заикаться... И мы приехали!

— А что писала тебе...— хотел он сказать — Сусанна, но сказал: — Машенька.

— Мне ничего не писала она. Она же не знает меня!

— И никто не писал из Яргорода?

— Папа,— настороженно спросил Юлик,— ты что-то хочешь выпросить у меня?

— Нет, ну что ты! Мне просто удивительно, почему тебе не писала Сусанна, она же давно стала твоей матерью.

— Это удивительно и мне,— Юлик нахмурил брови.

— Юлик, только ты не спрашивай ее о письмах. Она ни в чем не виновата перед тобой, а виноват я.

— Я не верю этому, папа. Ты такой...

— Какой?

— Не знаю какой... Но если она любит тебя больше, чем я, значит, ты самый лучший и самый красивый...

— Красивый?

— А какой же?

Продолжать разговор с сыном Мацосев не сумел. Выручила Сусанна. Она искала их. Юлик не побежал ей навстречу. Она подошла к нему и спросила:

— Люль! Ты чем-то расстроен?

— Нет, я ничем не расстроен, Сусанна, только скажи мне, если я твой сын и ты моя мама, почему ты не написала, что ты нашлась, вернулась, что...— Юлик заплакал, уткнувшись в березу.— Неужели ты тоже Лиззи?

Мацосев, не помня себя, забывая о плачущем сыне, схватил Сусанну, поднял ее на руки и, не замечая своей неловкости, целуя ее, сказал:

— Я прошу у тебя прощения перед Юликом, перед всем белым светом...

Увиденное и услышанное высушило слезы мальчика, и он, повторяя отцовские слова, сказал:

— Мама, я тоже прошу у тебя прощения перед всем белым светом...

И кажется, на этом можно было поставить фигурально и орфографически точку и мелодраматически завер-

шить счастливое выяснение отношений. Отношения же не были выяснены. Они всего лишь начали выясняться.

Сусанна вечером в воскресенье не вернулась в Пятиречье. Доктор Маркин сказал:

— Там уже все определилось... Юлика нельзя оставлять без тебя, Сусанна, пока он не освоится с домом и не полюбит Адоевых.

Сусанна осталась в Яргороде. Мацоев из одного потрясения «перебазировался» во второе.

LIV

Только Сусанне было известно, как повернулся ход мыслей Мацоева. Еще недавно все в экспедиции и он сам были уверены, что не пройдет и месяца, когда сводная карта Пятиречья покажет несостоятельность затопления низины Пятиречья. Старые карты грешили вопиющими ошибками. Оставалось суммировать промеры, свести и связать их на новой карте.

Занимавшиеся торфом подтверждали, что его запасов не сжечь и за полвека, если электрическая станция окажется вдвое-втрое большей по мощности. Торфяники наткнулись на новые выходы бурых углей, которые можно добывать открытым способом. Ими же высказывались предположения о залегании нефти восточнее от Яргорода. Предполагаемое месторождение связывали с прибрежным, яргородским, где Ладушкин терпит неудачи, но терпит потому, что нефтеносный горизонт находится ниже, чем где-либо в этих местах. А в этих местах ему положено быть, потому что где-то здесь проходила береговая линия доисторического моря. В книгах о нефти написано черным по белому: «...практика изучения нефтяных месторождений показала, что большинство их приурочено к областям борьбы моря с сушей...» Это первое, есть и второе.

Старшие школьники из отряда содействия экспедиции дополнили найденные выходы нефти на болотах и озерах. Можно подвергнуть сомнению маслянистые пятна, как можно усомниться и в «Лешачковой калужинке», с поверхности которой легко собиралась ложками темноватая жидкость, которая горела. Старый «Лешачок» не притворялся глухим и немощным, когда ему было сказано, для чего нужна его калужинка. И «Лешачок» так точно сказал, где находится его «горящая вода», что не составило труда найти указанное место.

Кто-то считал эту «горящую воду» не подземного, а поверхностного болотного происхождения. Но она пахла керосином.

Нашлась и могила «нетленного» старца Иеремии. Его бывшее место захоронения указала мечтавшая тоже быть «нетленной» Еремеиха. На дне глубокой могилы земля была маслянистой. И тот же керосиновый запах.

Домыслы часто не обманывают геологов, но нельзя основываться только на них и следовать им. Это для Мацоева значило бы изменить своим принципам. Он послан не для догадок и предположений, а для оценки того, что есть, что зримо, а не гадательно. Он в данном случае фотограф, фактограф, констатирующий наличное, реальное и, если хотите, «ликвидное», бухгалтерски переводимое в рубли. От него ждут выводов, а не домыслов.

Что есть, то есть. В Ленъве оказалось золото. Фиксируй. Грязь «Теплого болота» валютна. Упомяни. Не забудь пушнину. Сколько ее и какой. Округленно. Что говорят ихтиологи о рыбе. Учти. Это же инвентаризация наличия природы Пятиречья. Луга. Травы. Пахотные земли. Все на балансе. Каким будет микроклимат после затопления — метеорологи прогнозируют особо. Кратко — выводы, подробно — факты и обоснования.

Что же касается «Лешачковой калужинки» и Иеремисвой могилы, то нужно со всей добросовестностью рассказать и о них, нанести на карту. Может быть, доставить для анализа бутылъ этой «горящей воды» неизвестного происхождения.

Представительные итоги обследования Пятиречья в заданных границах исключали затопление низины. От него ущерба будет больше, чем пользы. Михаил Сергеевич, не греша перед наукой, перед своей совестью, напишет об этом в заключительных строках своего доклада. Уже можно было приступить к его конспекту, но произошло непредвиденное.

LV

Из отдела писем редакции газеты «Правда» на имя Мацоева пришел пакет. В пакете копия рукописи статьи «Мацоев и другие», подписанная Н. Первонасельниковым. Фамилия вспомнилась, вспомнился и разговор о Восточном увале на третьем ярусе Исихирионовой башни.

Отдел писем просил Михаила Сергеевича «ответить по существу вопроса, затрагиваемого тов. Н. Первонасельниковым». Сделать это было легко, но все же следовало побывать на Восточном увале. И Мацоев предпринял облет Восточного и Западного увалов.

Вертолет сделал несколько посадок. Дважды облетал оба увала.

Мацоев, еще вчера посмеивавшийся над статьей Первонасельникова, увидел чашу большого искусственного моря, подготовленную самой природой. Не веря своим глазам, Мацоев на другой же день поехал с геодезистами на «амфибии». Увиденное вчера подтверждалось.

Здесь уместно сказать, что Михаил Сергеевич в делах не был подвержен уступкам, сговору с самим собой. Поэтому следует предварить то, что произойдет в суждениях Мацоева относительно Пятиреченского моря, рассказом о Грайской ГЭС.

Эта гидроэлектрическая станция не вызывала сомнений у специалистов. Нужны были повторные уточняющие проверки. В частности, подсчет испаряемости будущего Грайского моря. Эти уточнения принципиально ничего не могли изменить в решенном, а лишь внести возможные поправки.

Шефствуя над своим любимцем, тогда еще только ступившим на путь самостоятельной работы, Иван Павлович Танеев порекомендовал для проверки испаряемости молодого гидролога Мацоева.

Обследуя Граю, установив некоторые погрешности в подсчетах испаряемости, Мацоев вторгся в проект Грайской ГЭС и нашел его несостоятельным. Проект Грайгэс на ученом совете был назван Мацоевым «непродуманной и дорогой затеей».

Иван Павлович готов был, как в таких случаях говорят, провалиться сквозь землю. Мацоев предлагал вместо одной большой ГЭС, при тех же затратах, строить две меньших, дающих больший эффект и спасающих от затопления значительные площади.

Танеев надеялся, что увлекающийся Мишенька пересмотрит свои выкладки, а затем признается в своих заблуждениях.

И он признался. Но как?

Он сказал, что недостаточность опыта и знаний была виной тому, что вместо одной ГЭС он предложил две. Теперь же, снова побывав на горной Грае, он убедился,

что в ее долине нужно строить три станции, а может быть, и четыре. Каскад ГЭС.

Сказанное подтверждалось еще и экономией средств. На стол были положены расчеты.

Проектировавшие и утверждавшие проект Грайской ГЭС яро защищали «честь мундира», особенно после того как Танеев, хотя и косвенно, все же поддержал Мацоева. Ему и предложили либо подтвердить несостоятельность проекта, либо призвать к порядку своего ученика.

Танеев отказался от поручения, сказав, что ему может помешать пристрастие к Мацоеву. Назначили Дюрягина. Дюрягин и его помощники полностью подтвердили предлагаемое Михаилом Сергеевичем Мацоевым.

Проект Грайгэс поступил в архив. За этим последовали серьезные выводы. Перемещения, взыскания, новые назначения и все, что полагалось в данном случае.

Имя Мацоева стало известным. Его упорство и смелость оценены. Ему тогда было немногим более двадцати пяти лет. Теперь же он, пройдя большую практическую школу, верный себе, ниспровергал не кого-то, а себя.

Море требовало огромных затрат. Нужно было снять торфяные напластования, выбрать неглубоко залегающие бурые угли. Трудоемкая, но окупающая себя работа. Нарращивание дамб на скальном основании увалов даст добавочную глубину моря.

Сомнений не оставалось. Будет большое и глубокое море. Он должен выйти за пределы заданного «от» и «до». Он не формально выполняет порученное ему.

Сусанна, ты права!

Утром на экспедиционном вертолете Мацоев летал над увалами. Садился на них. Ходил по ним. Снова взлетал. И снова садился. И наконец, сказал увалам:

— Сусанна все-таки, кажется, права, черт бы ее побрал и вас вместе с нею.

LVI

Сусанна в это время купалась с Юликом и Машенькой. Юлик говорил Маше «ты», так просила она, потому что Машенька оказалась его родной тетей. А родной тетей она оказалась потому, что родилась в том же доме, что и Сусанна. А Сусанна теперь его мама.

Не сразу уложилось в голове Юлика объяснение род-

ства, но уложилось. Ему хотелось этого. И он рассудил очень толково и мудро для его лет. Иван Павлович Танеев не был его дедушкой, но стал им. А Маша и все Адосевы — какая-то родня его отцу. Они еще не знают — какая. Нужно ли узнавать какая, когда и без того много всяких дел. Но не называть же тетей такую молоденькую Машеньку?

— Знаешь что, Машенька,— сказал он, поразмыслив.— Ты еще не совсем выросла. И у тебя еще ничего нет, что нужно для теть.

— Чего же, Юлик?

— Пусть лучше Луша объяснит.

— Тогда,— сказала Машенька,— будь моим младшим братиком.

— Буду! Будь и ты моей старшей сестричкой.— И он поцеловал ее худенькое плечо. А затем побежал к Сусанне.— Мама, я знаю, почему Машенька такая худышка.

— Почему?

— Она плохо ест, и у нее нет нормального кровообращения. А это сказывается на всем организме человека. Посмотри, какой у тебя здоровый организм, и сравни. И у меня уже все тужеет... Потрогай! — сказал он, согнув в локте руку. — Тужеет?

— Так это так и должно быть, Люль...

Сусанна очень серьезно проверила мускулы Юлика и, вздохнув, не солгала:

— Хвалиться пока нам нечем... Но к осени, я обещаю тебе, ты потужеешь. Теперь у тебя есть я, твоя мать, и ты будешь моим сильным, здоровым сыном, с нормальным кровообращением.

Луша, стоя спиной, застегивая пуговицы платья, не поворачиваясь, сказала:

— Я не таюсь, Сусанночка, я отдала ему все, что могла, а теперь во мне, по правде говоря, недостаточно такого внимания, которое нужно ему.

— А потом, мама, — совершенно серьезно сказал Юлик, — Луша может опоздать выйти замуж. Ты же знаешь, какие нынче стали разборчивые женихи. Папа и тот так долго разбирался в тебе.

Наступило молчание, которое справедливо назвать общеупотребительным словом — неловкое молчание. Оно длилось недолго, Сусанна вышла из него и вывела остальных:

— Какая стала я забывчивая. Сижу и думаю и не могу вспомнить, куда мы были должны пойти с Люлем после купания. А потом увидела этот обломок тележного колеса и сразу вспомнила:

— Что, мама, что?

— То, что нужно.

— А что, мамочка, что?

— Купить одному мальчику с длинненьким язычком одну вещь, которая начинается на ту же букву, чем умываются, в чем купаются, где плавают рыбы...

Юлик написал на песке букву «В» и сказал:

— А вторую можешь не загадывать. Я знаю их все.— Принялся считать по пальцам и, сосчитав, шепнул Сусанне: — Все девять.

— Девять?

— Ну, считай же сама, если не можешь в уме, я напишу их на песке.

На песке к букве «В» Юлик дописал остальные, составившие слово: велосипед.

Луша всплеснула руками, ахнула, охнула:

— А я думала — валенки!

Юлик громко захохотал, радуясь недогадливости Луши. А Луша радовалась радости Юлика. Он все еще оставался ребенком, хотя в чем-то опережал свой возраст, и в этом виновата она, засидевшаяся в тоскливой «бессемежности».

Делясь с Юликом, насколько это было возможно; она говорила, что хорошо было бы и ей свить гнездо и обзавестись своим птенчиком.

Луше не с кем было делиться в опустевшей «Сахаре». Она да Юлик.

Песни, как они ни хороши, как много ни знает она их, а разве ими выпоешь свою душу, тоскующую по другой живой душе...

Найдется ли она для нес?

Найдется! И уже нашлась в день ее приезда.

LVII

Аэрофотосъемка, сформированная шестая исследовательская партия под начальствованием самого начальника экспедиции Михаила Сергеевича Мацоева подтверждали предрешенное Мацоевым. И каждый день убеждал работающих и Мацоева в единственном вари-

анте возможного затопления огромных пространств низины Пятиречья, в низовом, межувальном варианте.

Долина рек между Западным и Восточным увалами податливо ложилась на карту. Рельеф местности услужливо позировал геодезистам. Погода не омрачала днями, не досаждало и комарье.

Благоприятствовало все, кроме смятения души Мацосва.

На ученом совете экспедиции выводы Мацосова и всей шестой партии не подвергались сомнению. Было решено признать несостоятельным предлагаемый инженером Гаевым проект и тут же сказать, что экспедиция нашла целесообразным расширить объем порученных ей работ и перейти к Западному и Восточному увалам, подсказывающим иное, большое море.

Это вчерне. Как основа для выводов, которые будут подготовлены Мацосовым и снова обсуждены на ученом совете экспедиции. На этом сошлись все члены совета. Промолчал только Петр Константинович Дюрягин. На что обратил особое внимание Мацосов. Дюрягин не просто член ученого совета, а второе лицо после Мацосова. Дюрягина спросили, каково его мнение. Он ответил уклончиво:

— Я из тугодумов. До выводов еще далеко. И пока они пишутся, мои тихие жернова,— наклонил он лысую голову,— перемелют неожиданный ход событий, и я, очевидно, допойму еще не понятое мною.

А что допоймет, как допоймет, Петром Константиновичем сказано не было.

После совета, оставшись с глазу на глаз с Мацосовым, Дюрягин был откровеннее:

— Вы правы, Михаил Сергеевич, в этом варианте море вероятно по глубине и по затратам. По всем статьям! Но, Михаил Сергеевич, есть третий вариант...

— Какой?

— Пока его еще нельзя пазвать вариантом, а лишь намеками на вариант, я умолчу о нем. Умолчу не потому, что хочу что-то скрыть от вас. Боюсь оказаться в фантазерах. Кроме того, нахожу неправомерным для себя осложнять работу по уточнению физиономии предложенного вами моря. Оно, повторяю, реально как вариант.— Да, как вариант,— повторил Дюрягин.

Большого при всех стараниях Михаила Сергеевича Дюрягин не сказал, пообещав принять все меры, чтобы

новый вариант моря был представлен на карте и подробнейше объяснен.

На этом и кончился разговор. Началась работа над картой большого моря.

LVIII

Яргородская, как и всякая другая, молва опережала события, радуясь счастьем Сусанны, Мацоева и маленького Юлика, известного теперь доброй половине города. Луша, не желая, помогала молве то молчанием, то настойчивым отрицанием.

Внешне Мацоев и Сусанна выглядели счастливой парой. Михаил Сергеевич не подтверждал, но и не отрицал этого. Ему теперь было не до себя, не до своей личной жизни и даже не до Юлика. Мальчик счастлив. Его любят Адоевы. В его милом голоске слышался другой, которому не удалось зазвучать. Княженикина вычеркнули, выскоблили, выжгли из памяти. Его имя никогда не называлось. Оно могло оскорбить и стены.

Стены стенами, а память памятью. Машенька изредка вспоминала Княженикина и находила его чем-то похожим на Гаева. Этот шел на все, лишь бы стать замеченным, не упустить личную удачу. Разве не ради нее Гаев придумал новый маневр, предложив подковообразную плотину, при которой Яргород будет огражден от затопления. Он хотел расположить к себе яргородцев. Пошлак! Опубликовал об этом новую статейку в областной газете. Кому не ясно, что Гаев пытается купить своей «подковой» Мацоева. Какая примитивность мышления. Дурак! Вертлявый Исхирион! Михаил Сергеевич тверд и неподкупен.

Если бы знала Машенька, размышляя перед сном, какие изменения произошли в Пятиречье, чем занят Мацоев.

Спи, Маша, спи. Уже двенадцать ночи. Завтра появится твой шер Мишель. Он забежит на пять минут и ничего не скажет. Да и что сказать ему? Дюрягин точен в своих выражениях: «В этом варианте море вероятно...» Всего лишь «вероятно». Оно и в самом деле только вероятно. Как может он, Мацоев, отождествлять вероятное с абсолютным, неизбежным, единственно верным. Слово «вариант» тоже предполагает: выбор, возможность, разнovidность.

«Угол падения равен углу отражения», — не вариант. «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками», — не вероятность, а неопровержимость.

Михаил Сергеевич на этот раз, кажется, искал сговора с самим собой. За рухнувшим проектом Грайской ГЭС ничего не стояло, кроме проекта и промахов проектантов. Теперь же...

Теперь совсем другое. За всем этим стоят Машенька... Адоевы. Полихроний Сергеевич. Город. Его граждане. Его сложившиеся с ними добрые отношения.

Он понимал, что так заставляет его чувствовать и думать все тот же милый дедушка Михаил Степанович. Но он также знал, что бабушка, всегда бравшая верх, победит в нем и на этот раз. Но пока море только вариант, и нужно говорить о нем как о варианте. Так и сказал Мацоев при встрече в горкоме с Надеждой Владимировной Смагинцевой.

— Вариант моря Гаева неприемлем. Мой вариант, хочу я этого или нет, — вероятен. Так говорю не только я, но и Петр Константинович Дюрягин.

Смагинцева осторожно спросила:

— Яргород в этом случае будет затоплен, Михаил Сергеевич?

— Останется только кремль, а может быть, только главная башня. Все будет зависеть от утвержденной высоты плотины.

— Признаюсь, Михаил Сергеевич, я не обрадована.

— Но что поделаешь, Надежда Владимировна? Но кому-кому, а нам нужно понять и принять то, что есть, и быть на высоте.

— Несомненно.

— Допустимый вариант моря может стать известным только после того, как вероятное будет утвержденным. Опасаюсь, что так и будет.

— А в нефть вы больше не верите, Михаил Сергеевич?

— Пожалуй, нет. Закономерность случайностей — это пока слова. Чутье некоторых моих сотрудников, предсказывающих нефть, тоже эфемерно. Кажется, готовится указание о прекращении дальнейшего разведывательного бурения.

Смагинцева еле слышно сказала:

— Надо быть на высоте, а я... Вы сами видите, как я чувствую себя.

— Не торжествую и я, Надежда Владимировна, но до этого пет дела ни морю, ни увалам.

Смагинцева пересела на стул перед столом напротив Мацоева:

— Как Юлик?

— Ничего, спасибо. Кажется, приживается в семье Алоевых. О нем вам тоже Сусанна рассказала, Надежда Владимировна?

— Нет, он сам. Я встретила Юлика на улице с Полихронием Сергеевичем. Очень приятный мальчик, только... Только немножечко перегоняет свой возраст. Его неплохо бы вернуть в свои десять лет. Отец должен заниматься сыном.

— Это верно, Надежда Владимировна... Но сын и дела не всегда совместимы. Он теперь в надежных руках.

— Сусанна чистейшая личность.

— Я не думал, Надежда Владимировна, что и в горюшке меня будут сватать.

— Да будет вам, Михаил Сергеевич. Ваша настоятельность чудовищна. Я не посредник. А вот что касается седловины и замыслов Сусанны Николаевны, то здесь я не могу оставаться нейтральной. Что вы скажете об этом пятиреченском варианте гидролога Веригиной?

Мацоев пожал плечами:

— Впервые слышу.

— Странно.

— Почему же... Сусанна не так откровенна, как может показаться. Где эта седловина и что она из себя представляет?

— Она значительно выше Яргорода.

— Тогда седловина не может иметь касательства к порученному экспедиции. Это за пределами объекта нашего исследования.

Смагинцева ответила не без усмешки:

— Восточный увал тоже за пределами вашего исследования, но между тем... Нет, нет, я ни на что вас не ориентирую. Я просто так спросила.

— Едва ли просто, Надежда Владимировна.

— Ну, может быть, не очень просто, но без особых намерений.

Звонок из обкома был хорошим поводом для ухода Мацоева.

— Я еще побываю у вас, Надежда Владимировна.

Юрий Рыжаев заканчивал свою «короткометражку» о Шилове, о его галерее проектов на сеновале, не переставая мечтать о фильме «Дары волшебницы Ойль». Слово «владычица» звучало архаично и тяжеловесно. В его пылкой голове один замысел сменял другой, третий, четвертый. Но в каждом из них бил могучий нефтяной фонтан. Он снился кому-то из героев фильма. Может быть, Ладушкину, но лучше — буровому мастеру Рамазану Маметкулову. Его лицо на редкость фотогенично. В этом лице все самое выразительное из виденных Юрием восточных лиц. Юрий несколько раз побывал на буровой, выискивая лучшие ракурсы съемки.

Рамазан будет хорош во всех. Пожалуй, ему и должен привидеться сон, в котором из фонтана появится Ойль. Она широко раскинет руки. Глубоко вдохнет воздух родной ей земли. Увидев солнце, протянет к нему руки. А потом случится так, что смуглая, почти коричневая Ойль, озолоченная лучами солнца, сделает па, второе и закружится в вихре танца. У Юрия есть друг, который поставит этот вихревой танец.

Но где найти Ойль? Он перебирает всех известных ему актрис. На ум приходят яргородские красавицы. А здесь их как нигде. Недаром же Вукол Лукич Ладушкин твердит: «Из Яргорода никто не уезжает холостым».

В Яргороде Юрий почти не встречал женских лиц, которые не обращают на себя внимание. Яргородские старухи и те, увянув, сохраняли следы мипувшего очарования, а девушки... Но среди них не отыщешь Ойль.

Взять ту же Машеньку Адоеву. Русалка, но не Ойль. Сусанна красочна, обворожительна. Она могла бы стать лесной чаровницей, зеленоглазой хозяйкой Медной горы, Венерой, наконец, а не Ойль.

Рыжаев искал свою героиню, а героиня — его. Они найдут друг друга. Не «судьба» и не случайность сведет их, а сказка Зотова, ставшая достоянием яргородских завалинок. Пересказчики не жалели красок и не боялись поэтических вымыслов местных опосредствований. Открытие нефти жило в их надеждах и чаяниях. Находились старухи, убежденные в ими же выдуманном погребении злосчастной девицы-красавицы, Ойленьки-горлепки, не где-то, а под Яргородом. Злая Стихия, переименованная в страшную ведьму Страхию, опасаясь, что

нефтяники «пробуравят продых» спящей Ойль и оживят, порешила ее «уморить морем». Сильно праведная долго-вская Евстигнейха самолично видела нечистую Страху, «спервоначала во сне, а потом в яви». Во сне — крылатой ведьмой, а в яви — не кем иным, как Вадькой Гасвым, коим она и обернулась.

Старик Вукол Лукич Ладушкин говорил про Евстигнейху: «Такую никакой наукой не растемнить». А сам слушал ее, отбирая суть и отвеивая муть. Слушал ее и Урман Иванович Урманов. Слушал в шестом или седьмом пересказе. И у каждого свой полет. Все они разнились между собою по крыльям и по перу, но не по нутру. А оно-то и нужно было Урману до того, как он предпримет замышляемое. А пока он вынашивает свою задумку, мы побываем на смотре художественной самодеятельности.

Смотр происходил в городском парке культуры и отдыха. Рыжаев получил туда особый пригласительный билет с нарисованными на нем незабудками. Он решил, что организаторы смотра хотят показать свои танцы и песни в фильме, и отправился туда с оператором Яковым Яшиным в надежде на кинематографический улов. Улов был другим. Юрий Рыжаев, повторим мы, искал героиню, а героиня — его. Она-то и подсказала послать молодому режиссеру пригласительный билет с нарисованными сю незабудками.

Ансамбль за ансамблем. Старинные и современные наряды. Кто не знает старания молодых парней и девушек блеснуть пляской, удивить голосом.

Все было очень хорошо. Ничуть не хуже, чем на телевизионных экранах. Перед Юрием Рыжаевым прошло так много новых мелодий, самобытных красок, что ему хотелось незаметно сначала потеряться среди зрителей, а затем ретироваться в свои «казематы». Но в это время на сцене проскакал в галопе, верхом на палочке молодой татарин и, замерев, объявил:

— Татарский девичий ансамбль села Якшина под руководством Саиды Рамазановой.

В оркестре зазвучала татарская мелодия. Она заметно была модернизирована. Сначала медленно, зазывно музыканты как бы приглашали начать танец. Робко, закрывая коричневатым тюлем свои лица, появились смуглые танцовщицы. Танец, как видно, задумывался человеком, искусственным в хореографии.

Начиная вяло, оркестр наращивал темп пляса. Среди танцовщиц заметно выделялась высокая девушка, покрытая коричневым тюлем с золотистыми блестками. Это, несомненно, была прима ансамбля. Она привлекала внимание притихшего зала, и зал оживился, когда была сброшена вуаль и предстала скрывавшаяся под ним. В ней все было изящно и грациозно. От прямизны ее ног, тонких, послушных музыке рук до гибкого стана, обворожительного лица. В ней все выделяло ее.

Рыжаев не верил увиденному. Когда же солирующая танцовщица закружилась в смерче звуков, у Юрия вырвалось:

— Ойль!

— Ойль! Ойль! Ойль! — повторили зрители.

После окончания танца прима, раскланиваясь неистовствовавшему залу, поклонилась отбившему ладони Рыжаеву особо. И он заметил это.

Когда завершился смотр, Рыжаева подозвал его знакомец, буровой мастер Рамазан Нуруллович Маметкулов.

— Отдышись, — сказал он, — а потом я познакомлю тебя с моей дочерью Саидой, — и, улыбаясь, добавил: — Хорошо, что и ты увидел в ней Ойль.

— И я? А кто же еще?

— Мало ли у нас людей, которые теперь рассказывают эту сказку по-татарски.

Юрий в этот вечер был познакомлен Рамазаном с его дочерью. Он предупредил Рыжаева:

— Не вздумай только... А если вздумаешь, в пустую скважину спусти. К той Ойль. К настоящей!

Так началось знакомство Юрия и Саиды. У нас есть полная возможность сделать приятное предположение, и на этот раз мы не ошибемся.

LX

В адоевском доме плелась еще одна сеть. Луша стала франтить. Превращая сбережения в наряды, получая щедрые подарки от Сусанны, заботившейся о внешности Луши, она обратила на себя внимание надежных, неженатых «королей всех мастей». «Валеты» не в счет. На них она и не глядела. «Валет что букет, день поцветет и сникнет». А ей не до баловства. Баловаться она могла и в Москве.

Она пока в цвету. Отцветье придет, может, и не так скоро. Ей нужен только «он», не старый, не молодой, а с первого взгляда самостоятельный человек.

Об этом она и сказала Сусанне.

— Втюренная я, Сусанночка, и он не в своем от меня. И по картам и без них. Не спрашивай, как звать. Боюсь, отговоришь. А это петля для меня. Я уж спозналась с ним. И он раз от разу сатанеет, а я ведьменею. Такой конь, такой трактор, что и я при моей пухлоте тощая пашня для него.

Луша, разгоряченная своими словами, стыдясь их, не раскаивалась, что они были сказаны, потому что ей некому другому было открыться. Не Машеньке же, зеленой травиночке.

— Сусаненька, ясынька, лученька лучезарная, только ты можешь понять, как я млею и без него, а лишь думая о нем. Лошадиха я, наверно. Пушай даже и хуже кто... Только я не прокляну его, если ж он даже бросит меня и оставит вместе с моим озорством под кедром. Я поклонюсь кедру земно и поцелую его разлапые лапы и скажу: «Спасибо тебе, Кедрушко-батюшко, за те радости-сладости, которые ты прикрыл собой от сторонних глаз». Не прокляну его и тогда, ежели он во мне зашевелится дорогой памяткой.

Растроганная Сусанна увела Лушу в баню. Это было самое надежное место, где можно выреваться им обоим. Адоевская баня светла, чиста, ухожена. В войну в ней жила семья художника Лалетина. И баня не была баней, а уютным особнячком на две комнаты.

Не останавливая своих слез и не стыдясь их, Сусанна сказала:

— Млей дома, а не под кедром. Не покажи, что ты боишься того, чего боишься. Сколько ему лет?

— Сорок третий, Сусаненька, а на проверку и тридцати ему не дашь.

— Никуда не денется! Ешь меньше. Раньше вставай. Туже затягивайся. Ты же писанка.

— Не врешь?

— Кому и когда я врала?

Луша повеселела. Приосанилась.

— Похудею. На этой же неделе похудею. И отойду от него, на сколько-то там, не знаю, на сколько дён. Проверю, каков он без меня.

— Это уж ты сама решай, Луша.

— Сама и решу. Еще подумает, что я беспросветная. Чем ярей конь, тем злее узда ему требуется.

Сусанна знала, кто полюбил Лушу и кто станет ее мужем. Не о нем и не о ней думала она, потому что их жизнь предрешена. Как быть с Юликом? Она может остаться при нем и заменить Лушу, но и у нее своих дел ничуть не меньше, нежели у Мацоева. Пока до начала учебного года у Юлика две, даже три «Луши». Машенька, Ольга Максимовна и Марфа Владимировна. А потом будет видно. В крайнем случае она в Яргороде найдет замену Луше, задарит ее, влюбит и увезет в Москву. Через три-четыре года Юлик станет взрослым мальчиком и ему не будут нужны никакие «опеки». Да и сго отец поймет, что любить сына — это значит не «люльничать» с ним, а воспитывать его.

LXI

Чисты небеса над Яргородом. В это лето дожди случались только по ночам. Будто сама природа заботилась о скорейшем завершении работы экспедиции и оберегала ее от непогоды.

Небеса проявляли несомненное внимание к Саиде и Юрию Рыжаеву. Мог ли ожидать он, что в татарском селе Якшине под Яргородом живет та, которой суждено влюблять в себя миллионы зрителей. Юрий нашел свою звезду, и она очень скоро засверкает на экранах мира. Ойль будет ее первой ролью.

Пока не нужно думать, что будет потом. Они всего лишь знакомы. Правда, Саида сразу же сказала ему:

— Как я должна быть благодарна встрече с вами при полной луне. Она обманчива, но я хочу ей верить. Верьте и вы мне. Я так надеюсь, что наша встреча много обещает... Мне стыдно признаться в этом... Но стыдно и скрывать свои желания. Доверчивость не так опасна, как говорят.

Рыжаев готов был тут же, в поле, по которому шли они, сказать ей больше, сказать ей очень много, но побоялся. Его признания могли бы насторожить Саиду. Любовь с первого взгляда убедительна в театре. Там три-четыре акта пьесы вынужденно торопят действие. А здесь, хотя они так явно влюблены друг в друга, ему необходимо знать о Саиде, а ей — о нем.

Саида первой заговорила о себе:

— Я рано потеряла мать. Меня воспитывала бабушка. Отец, любя меня, не ввел в дом мачеху, но скоро, кажется, введет. Он познакомил меня с нею. Она очень мягка, добра, и я, наверно, буду называть ее мамой. Третьей мамой.

— А кто была вторая?

— Вы знаете ее. Я, правда, так ее не называла. Для меня она было просто Ольга Максимовна.

— Адоева?

— Конечно. Я очень обязана ей. Она первой заметила мои наклонности. Она посоветовала мне поступить в хореографический кружок. Кружок почти был школой. Я не мечтала о балете. Так же, как берущий уроки на рояле не стремится стать профессиональным музыкантом. Искусство никому не было лишним, ни в одной профессии. Пригодилось бы оно и мне, врачу.

— Так вы, Саида, будущий врач?

— Прошедший. На первом курсе, после студенческого концерта, мне сказали: «Саида, твой удел балет». И как-то, я даже сама не знаю, меня пригласили в театр. Я противилась. Меня он пугал. И отец был недоволен. Он судил по-своему: «Доктор — это мастер. Плясунья — это...» Им было сказано, кто такая плясунья. Я не повторю. Так началось.

— А как продолжилось, Саида? — торопил Рыжаев.

— Лучше, чем предполагалось. В театре я недолго была в кордебалете. Меня держали в запасных, я иногда на репетициях дублировала прим. И однажды дублерша заменила заболевшую перед спектаклем балерину. Не из первых, но заметных. На этом, Юрий, мне лучше бы остановиться, но зачем я должна бояться выглядеть нескромной. Успех был бешеный. У меня подкашивались ноги, когда я девятый раз выходила раскланиваться... И после этого имя моего отца стало появляться на афишах моей фамилией. По-татарски фамилия дается по имени отца. Это ему, я думаю, было приятно, а он по-прежнему профессию плясуньи считал несерьезной. Между прочим, замечу. Отец, до того как стать им, ожидал сына. И в этом уверяли его и якшинские старухи и опытные акушерки. И он дал имя первенцу Саид! И ужас — родилась я. Но не менять же имя. Выход был найден. Отец добавил букву «а», и мужское имя стало женским. Но мне, когда я подросла, было сказано, что внук должен быть назван Сандом.

— Непременно Саидом! Иначе я и не представляю, — сказал Рыжаев и густо покраснел.

Порозовела и Саида. Остановилась. Сорвала василек, затем ромашку. Потом она подошла к Рыжаеву:

— Какое у вас красное лицо. Наверное, от жары. От солнца?

— От солнца.

— Тогда спасибо солнцу. Оно красноречивее луны.

LXII

Сумасшедшая Сусанна уезжает к своей букве «Ю». Так было сказано. Она берет с собой и Юлика. Он уже заметно «потуженел». Ему куплена в Якшине ублюдочная лошадка, названная собачьим именем Жучка. Ее держали как невидаль. На ней катались якшинские мальчишки. Лошадка была смирна, бесплодна, ласкова и несчастна. За нее не хотели взять и десяти рублей. Ее ценили дешевле ездовой собаки. Когда же узнали, что Жучка нужна сыну Мацоева, назначили цену всего лишь три рубля. Для порядка и для украшения в косу дочери хозяина Жучки. Она стала вторым значительным подарком после велосипеда. Юлик целовал мать и Урмана Ивановича. Ее переназвали в Жюли. Появилось и мягкое седло. Сидеть в этом седле на Жюли было несравненно удобнее, чем на велосипеде.

Мацоев уже не хотел замечать тонкую и крепкую паутину, которой оплетает его Сусанна. Черт с ней. Он согласен сидеть в ее тенетах. Это откровенные тенета. И его никто не обманывает. Напротив, открыто признаваясь, Сусанна без обиняков говорит:

— Я не стремлюсь поработать тебя и порабощаю.

Честное признание. Не хочешь — не порабощайся. Но что будет тогда?

Отпускать Юлика ничуть не боязно. Сусанна любит его не «паутинно-тенетно», а «животно-самочно». Это от ее бездетности, породившей в ней материнскую привязанность к Юлику. И Мацоев знает, что ее «сумасшедшинка» сильнее материнской любви к его сыну. Мацоеву почему-то никогда не приходило в голову, что и он, бездетный отец, тоже любит чужого ребенка, скрывая это ото всех и от себя.

Рассуждая теоретически отстраненно, Сусанна нужнее Люлику-Люль, чем он. И надо мириться, прощать

Сусанне ямальское «невесть что» и закрыть глаза. Закрыть глаза на все. Зачем теперь об этом думать, рассуждать о ней и о себе, когда нужно отдать всего себя докладу и выводам о Пятиречье. Нужно сказать спасибо ей, что она увозит Юлика. Ему неизбежно бы потребовалось отдавать часы, которых нет. Не скажешь же: «Я занят, Люль-люли, сходи с Лушей на рыбную ловлю» или: «Я устал быть твоей лошадкой и катать тебя по саду».

Нет, нет... Без Сусанны, без ее тенет нет жизни, нет свободы. Может быть, справедливо отдать ей свою фамилию, и черт с ней, пусть она чувствует, что добилась цели.

Юлику был сшит настоящий экспедиционный костюм. Куплены сапоги и шляпа с сеткой, предохраняющей от комаров. К его поясу она привязала настоящий нож в кожаных белых ножнах. Стоит только сверкнуть этим ножом, как волки заскулят по-щенячьи и убегут за тридевять земель.

— Мама, — просил Юлик, — нужно приделать на узду, сюда, между ушей Жюли, мой компас, чтобы не сбиться с дороги.

— Это сделаем в пути, Люль...

Люль махнул отцу, Полихронию Сергеевичу и всем провожавшим его.

— Осторожней, — предупредил Юлик Машеньку. — Жюли может лягнуть тебя. Она же лошадь... И я не могу за нее ручаться. Не скучайте.

Мацоев открыл ворота. За воротами ждал Урман и еще двое в седлах и три лошади с вьюками.

Мацоев поцеловал сына, потом Сусанну и сказал:

— Сусанна, ты самородный кавалерист.

Первым тронулся Урман, за ним Юлик, за Юликом Сусанна, а кто потом, Мацоеву было безразлично, кто за кем и кто — кто. Он думал о том, как заботлива Сусанна. Его Юлик был вторым после Урмана, что несомненно было приятно мальчишке. Но был он вторым не поэтому. Сусанна должна была видеть его, быть за его спиной, знать, как он ведет себя, как чувствует в седле.

Проводив глазами пеструю кавалькаду, закрывая ворота, Мацоев не переставал думать о Сусанне. На ум пришла старая русская поговорка: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». А Сусанна тешилась своим открытием. Таинственный иероглиф стрелки с буквой «Ю» был раскрыт. Чарующая наивность. Первая ли она

одержима ею? Кто в разные годы своей жизни не делал «великих открытий» и не смеялся потом над «открытием» и над собой? Многим ли удалось дать человечеству «закон всемирного тяготения», «периодическую систему элементов», беспроволочный телеграф и даже... велосипед?

Разве он, Мацоев, не придумывал в юности способы транспортировки снега из тундр в южные, засушливые земли страны? Или Иван Павлович Танеев разве не развивал в своих «фантазиях» идею создания неистощимого артезианского колодца диаметром до километра?

Всякая научная идея оживает, воплощается в жизнь только после того, когда у нее появляются мышцы. Мускулатура. Во всех остальных случаях она остается мечтой. Это в лучшем случае, а в худшем — досужим мечтательством.

Идея Сусанны безмускульна. У нее нет мышц!

А нет ли? А вдруг они окажутся?

Ее утверждения об увалах тоже выглядели умозрительной чепухой... А потом...

Мацоеву не хочется далее размышлять и тем самым позволять Сусанне вторгаться в его святая святых, который теперь является доклад о Пятиречье.

К черту стрелку, выцарапанную пилочкой для ногтей Сусанны. Она теперь откровенно целит в «мускулатуру» его доклада...

LXIII

Машенька не отставала от Мацоева. Она приносила то кофе в комнату, где он писал, то умоляла его хотя бы на пять минут выйти в сад и оторваться от бумаг. Она делала все, чтобы остаться с ним наедине и задать ему такой вопрос, на который он вынужден будет ответить прямо.

Наконец она добилась своего. Мацоев, привыкший подыматься с солнцем, объясняя это профессиональным режимом дня, был подкараулен Машенькой в глубине сада. Она выбежала из зарослей малины и шепотом предупредила:

— Если вы сейчас не скажете мне о ваших выводах, я ни за что не поручусь. Вы слышите?!

Мацоев, испуганный внезапным появлением Маши, ее злобещим шепотом и блеском глаз, попросил ее:

— Успокойтесь! Придите в себя! И я тоже должен... — Он показал на сердце. — Вы так неожиданно... Я не сердечник, но и не дерево. Смотрите, даже на дубе вздрагивают листья. Вы как рысь.

— Хуже! Садитесь на скамью. И не вздумайте подяться. Я усажу вас снова. Рыси коварны! Они могут вонзиться когтями... Прыгнуть на плечи...

— Нет, этого не надо, Машенька... Пусть будет вам известно все. Я не оправдал надежд. Возможен печальный вариант... Вариант, я говорю, а не решение. Яргород может оказаться под водой, если...

— Опять «если»?

— Да, если мои суждения будут приняты. А я боюсь, что их не отклонят.

— Бойтесь и утверждаете их. Как это бессердечно.

— Я понимаю. Вам жаль город. Школу. Этот сад.

— Не только. Жаль землю. Леса, просторы. Пашни. Луга и, конечно, город. Я понимаю, наш городишко не Париж. Его перенесут на другой яр. Построят лучшие новые дома. Наш дом тоже переедет. И будет лучше. Новее. Все это понятно, но скажите, почему мне трудно не разрыдаться...

Машенька припала к груди Мацоева и заплакала. Он обнял ее, придерживая вздрагивающие плечи, шептал ей:

— Поберегите, Машенька, свое сердечко... Возьмите себя в руки...

Рубашка Михаила Сергеевича была мокра от слез.

На дорожке показалась Ольга Максимовна. Она остановилась, увидев обнявшихся Мацоева и дочь, вернулась.

Солнце поднялось. Слезы выплакались. Ольга Максимовна наблюдала из окна.

Мацоев и Машенька долго ходили по дорожкам адолевского сада. Михаил Сергеевич подробно рассказывал, что только так он мог поступить и нет иных возможностей. Маша слышала, как в нем говорила сама душа. Большая добрая душа. В ней не было и самого малого закутка, где могло быть что-то скрыто. Как широко она сегодня распахнулась перед ней. Сколько пережил он, открыв «свое большое море», и сколько ему еще придется пережить, когда опустевший Яргород будет медленно уходить под воду.

Молчаливым был завтрак. Ольга Максимовна стара-

лась отвлечь от неотступных мыслей Мацоева и Машеньку. Она рассказывала о предстоящем просмотре снятого на пленку Макарьевым и Рыжаевым. Сообщила и о том, что Луша готовит приданое.

— Отслужила Луша. Честно отслужила. Десять лет. Как я теперь без нее?

— Все обойдется, Михаил Сергеевич. Сусанпочка очень энергична и предприимчива.

— Я в этом не сомневаюсь, Ольга Максимовна.

— Да где же они так долго? Уже третий день. На седловине должны быть продувные ветры. Не надо было брать Юлика...

— Надо,— послышался голос Юлика.— Без меня бы скучала мама, а я — без нее.

— Как же ты так тихо, Юлик? — Маша подбежала к Юлику. За ней отец.

— Ну, рассказывай, Люль, как вы там?

— Потом, папа, потом... Я очень хочу есть.

— Сейчас, сейчас, но нужно переодеться из дорожнего. Давай помогу...

Вместо Машеньки переодеванием Люлика занялась Луша.

Вошла Сусанна. Она сияла.

— Удачно оседлала свою седловину? — спросил Мацоев.

— Очень. Больше, чем удачно. Теперь я почти окончательно могу сказать, что ты, мой друг, можешь не казнить себя за «большое море» и не бояться говорить в своем докладе то, что есть и чего не будет. Не будет, Ольга Максимовна,— повторила Сусанна. — Не будет!

— Не знаю теперь, кому и верить...

— Верьте ей, Ольга Максимовна. Так лучше.

— А вы тоже верите Сусанне?

— Не знаю, Ольга Максимовна, как и ответить. — Мацоеву не хотелось вступать в спор, выбивать себя из рабочей колеи, отвлекаться, терять мысли, формулировки, не перешедшие еще на бумагу и сейчас теснящиеся в его отрешенной от всего постороннего голове.

А Сусанна не могла молчать. Ей, заботящейся о широте и всесторонности анализа Пятиречья, о репутации Мацоева, необходимо было вмешаться. Так она сделала в первую встречу с ним, в разговоре на Ихирионовой башне. Тогда она не могла рассказать о своих замыслах, исключаящих так пазываемое «большое мо-

ре». Она выглядела бы в его глазах витающей в облаках и скомпрометировала бы свое открытие. Убежденная в нем, она и теперь не может доказать его бесспорность. Поэтому Сусанна сказала ему:

— Как было бы плохо, если бы статья Первонасельникова пришла после того, как ты, отвергнув гаевское море, закончил бы и послал бы этот свой доклад. В каком свете ты выглядел бы потом, когда бы тебе другие сказали об увалах.

— Но этого же, Сусанна, не случилось.

— Я не хочу, чтобы случилось худшее. Я не могу допустить, как друг, как твой сотрудник, наконец, не говоря уж об остальном, чтобы ты хотя бы не упомянул о моем варианте как варианте о перспективных возможностях седловины для лучшего использования рек. Седловина не может быть обойдена. Мой разговор не чайный, не семейный разговор... Я думаю не о себе, а о тебе, о судьбах и перспективах Пятиречья.

Насмешливость глаз Мацоева, его недобрая улыбка предупредили ответ Сусанне:

— Не кажется ли тебе, что ты, не желая, чем-то схожа с Вадимом Ерастовичем Гаевым?

— Чем же?

— Отвечу без не свойственных науке реверансов. Я враг золочения пилюль.

— Я тоже. Проглочу любую, тем паче предложенную тобой. И не одну, а дюжину.

— Тогда глотай. Ты тоже прожектер.

— Я проглотила. Жду вторую.

— Ты тоже свое «я» предпочитаешь остальному.

— Жду третью...

— Друзья мои! — прикрикнула, как на расшалившихся школьников, Ольга Максимовна. — Неужели для этого я фаршировала рыбу? Прошу отведать ее. Вы за столом. Мы завтракаем, а не заседаем. Говорите о чем угодно, о видах на урожай, об этой рыбе, о погоде...

— Простите, Ольга Максимовна, — сказала Сусанна. — Я первой перехожу на погоду. Барометр обещает грозу и ливень. А я его опровергаю. Наверное, это тоже прожектерство с моей стороны. — Она посмотрела на Мацосва. — Но случается, что самые надежные «барометры» не реагируют на...

— Сусанна, милая. Ты и погоду поворачиваешь к прежней теме. Я запрещаю тебе...

— Зачем, Ольга Максимовна? Не надо запрещать. Сусанна не умолкнет, пока я за столом. Поэтому мне нужно попросить извинения и заняться докладом.

Мацоев ушел к себе.

— И надо же было тебе, Сусанна, сыпать соль на его раны,— рассерженно сказала Маша и взяла тарелку с недоеденной Мацоевым рыбой. — Пусть там доедает. И кофе тоже подам ему туда.

— Язык мой друг и недруг,— упрекнула себя Сусанна и тут же оправдалась: — Но нельзя же в самом деле заранее отвергать то, что ему неизвестно, о чем он даже не хочет знать.

Сусанну никто уже не слушал, кроме Полихрония Сергеевича. Он живо и пристрастно интересовался результатами поездки Сусанны. Интересовался не любознательности ради. Зотов был соучастником Сусанны, а до этого подсказчиком.

Что же подсказал он, с чего начались поездки Сусанны и какое открытие сделала она, для нас не праздные вопросы. Нам придется снова нарушить единство времени нашего повествования и вернуться в конец минувшей зимы.

LXIV

В конце минувшей зимы, в день Восьмого марта, после долгой разлуки в Яргород приехала Сусанна. Радостной была встреча с домом, в котором она родилась, с семьей, в которой она росла. Ей было рассказано о предстоящем замужестве Машеньки. Она рассказывала с упоением о работе на Ямале. И как-то вскользь прозвучало признание Сусанны о ее отвергнутой любви. Она, не называя имени Мацоева, повторила все то, что мы знаем о жизни Михаила Сергеевича в квартире академика Танеева.

Нашлись слова утешения. Нашлись и советы. Марфа Владимировна тогда сказала:

— И ничего у тебя, Сусь, не оборвалось, а только началось. И когда твой осторожный возлюбленный увидит, что чувства к нему не мимолетны, оценит, поверит и поймет.

Сусанна тоже надеялась на лучшее, собираясь месяц провести в Москве и встретиться с Мацоевым. Этого, как мы знаем, не произошло. Не произошло не потому, что

Мацоев приехал в Яргород. В марте Сусанна не знала о его командировке в Яргород. Другое задержало ее.

Перед Зотовым предстала не та Сусь, какой он ее видел в последний раз в Москве. С ней можно было разговаривать, как с проверившим себя на деле гидрологом, и надеяться найти живой отклик в ее ищущей, пытливой натуре. И разговор был начат:

— Ямал не мал, там есть где приложить руки, но и родной твой город тоже в этом смысле не пустое место. Так много спорят теперь о нашем Пятиречье. Делают открытия, одно новей другого. А эта новизна имеет за собой некоторую давность. Не зря один остряк в какой-то из газет назвал новое прочно-напрочно забытым старым.

Предпослав эти слова, Зотов перешел к рассказу:

— Некогда, Сусанночка, а именно в начале восемнадцатого века, в наших местах отбывали поселение пленные шведы. Дотошные варяжские потомки, дружившие с морями и реками, умевшие отыскивать водные пути, занялись Пятиречьем. И занялись им не досуже, а практически заманчиво. Заманчиво настолько, что нашлись среди наших торговых богатеев меценаты, не пожалевшие золотой казны на изыскание ушкуйного пути из Пятиречья за хребет. Сиречь из Азии в Европу и обратно. Это путь, Сусанночка, не «из варяг в греки», а во сто раз погромче. Шутка ли, при небольшом волоке переправлять суда через Урал!!

Сусанна слушала Зотова, что называется, с открытым ртом.

— Неужели был такой проект?

— Не только был, но и сохранился. Чудом сохранился, и не на одном листе, и в разных решениях. В дешевом мелководном и далеком благодаря речным излучинам. В дорогом, но близком, требующем рытья спрямительных каналов.

— Это очень интересно, Полихроний Сергеевич! Очень, очень. Даже дух захватывает, как интересно.

— И я так думаю, Сусь. Но почему-то никто из больших и малых гидроспециалистов не интересовался шведскими план-картами. Как знать, может, ты, Сусанночка, по-новому увидишь старые потуги. Тогда была лопата. Теперь ее сменили экскаваторы, взрывные материалы. Тогда без волока немыслимо было перемахнуть Урал... Теперь же совсем другое. Короче — вот план-карты в их

первозданном виде, а эти скопированные на кальку светлейшим из всех тронутых и одержимых в Яргороде архитектором Борисом Шиловым. Русский перевод слов и названий сделан моей рукой. Вручаю копии. Оригиналы пусть хранятся для потомков.

Перед Сусанной предстало Пятиречье и пунктирные пути каналов и волоков. Так же пунктиром намечались дамбы, преграждающие реки.

Быстрая, решительная Сусанна тогда сказала:

— Я готова следовать по этому пунктиру. Но как без проводника? Я не из отважных, и тайга не парк.

— Проводник найдется. Он мастер ходить и по звездам.

Зотов назвал Урмана. Назвал его и потому, что знал, как он будет рад сделать все, чтобы море не затопило его лесов, его звероводческую заимку.

LXV

В начале апреля лед в Пятиречье и не думает трогаться. А берега рек уже подсыхают. Грачи, за ними скворцы уже припожаловали в Яргород. Веселы прибрежные леса. Хорошо дышится Сусанне. Удобно сидится ей в седле.

Предусмотрительный Урман Иванович взял на конном дворе четырех коней. Два под седлами, один под вьюком, четвертый про запас. Споткнется конь. Наколется. Охромеет. Или еще какая беда. Есть замена.

План-карты удивили Сусанну точностью. Хотя в них и были некоторые погрешности, но, может быть, это вина не картографов, а рек, меняющих свои русла.

Не разбиравшийся в картах Урман поражал Сусанну пониманием цели их поездки. Он корректировал «пунктир» на карте. Он подсказывал Сусанне, что малая горюшка не «ой-ой», а «тьфу три раза».

Из первой поездки Сусанна вернулась убежденной в возможности поворота рек яргородской низины на запад. Ее пока смущала седловина Уральских гор, где они, снижаясь, как бы приглашали реки воспользоваться горным «прогалом». Нужны были дополнительные промеры высот и хотя бы предположительный объем работ.

Это проделала Сусанна во вторую поездку.

Второе посещение седловины было обстоятельнее. Сусанна до этого побывала у Надежды Владимировны

Смагинцевой дома. Просто так. В гостях. Давно не виделись. Рассказывая о себе, Сусанна рассказала, как бы между прочим, о «шведской карте», а затем о первой поездке.

Надежда Владимировна очень заинтересовалась рассказанным. Смагинцева знала больше, чем думала Сусанна. О перепуске рек из Азии в Европу поговаривали громче и настойчивее. Надежда Владимировна предложила помощь. Второе посещение седловины походило на маленькую экспедицию. Кроме Сусанны и Урмана отправились еще трое. Районный землемер, студент-дипломант Сережа Заечкин и создатель санного поезда Васенин. Пять лошадей под седлами, три под выюками и две запасных.

Знакомая дорога всегда короче. Задерживали засечки на деревьях.

— Третий раз, Сусанна Николаевна, и без меня не заблудишься,— объяснял Урман, вырубая топориком на ели очередную стрелку.

Поездка заняла семь дней. Три берестяных чума на пути следования оставил Урман и снова объяснил:

— Как домой сюда ездить можно.

Вторая поездка окончательно убедила Сусанну в несомненной возможности перепуска рек. Но чтобы вооруженно защитить задумываемое, нужны были более точные данные. Без них можно было провалить то, что стало ей дорого.

Третья поездка на седловину состоялась после завершения экспедиции. В эту поездку был взят Юлик. Сусанне хотелось еще перепроверить некоторые отметки, сделать фотографические снимки горных ландшафтов для Петра Константиновича Дюрягина. Он знал от Сусанны о седловине и находил вполне осуществимым предлагаемое ею. Так говорил он потому, что давно был сторонником осушения Пятиречья, а не затопления. Он верил в успех Сусанны, но это была какая-то «теоретическая вера», ни к чему не обязывающая «вера вообще», а хотелось большего. Хотелось суждения о данном проекте.

Желаемое сбылось. Полихроний Сергеевич после встречи с Надеждой Владимировной Смагинцевой решил побывать в «казематах» у Дюрягина.

Полихроний Сергеевич принес оригиналы старых «шведских карт», Сусанна — новые свои.

Показывая папку архивных материалов о волоке, Похлехроний Сергеевич прочитал императрицыно заключение. Оно гласило: «Замысел похвален, но траты на него бездумны».

— Это тогда, Петр Константинович,— внушал Зотов,— в те годы. А в наши, смею думать, для рек вполне возможна переброска...

— Перепуск,— поправил Дюрягин.

— Так я сказал потому,— оправдался самолюбивый Зотов,— что слово «переброска» применительно к рекам употребляется в печати.

— Однако же вода не камень, не песок, которые можно перебросить. Воду и реки в том числе сподручнее перепускать, переливать и даже перегонять, хотя этот глагол наиболее применим к стадам животных. Мы на этот счет,— почему-то нашел возможным разъяснить Дюрягин,— даже поспорили, когда речь зашла о Печоре. Рачитель точных терминов покойный Танеев внедрил для рек слово «перепуск». И этим словом пользуются все, кто имел какое-либо отношение к школе Танеева. Это,— заметил Дюрягин,— между прочим, и не принципиально.

Зотов охотно согласился и сказал:

— Я смею думать, что в наши дни перепуск рек облегчается машиной.

— Я тоже смею думать, справедливо исправить ошибку азиатских рек, очертя голову метнувшихся на многоводный Север.

Рассматривая принесенные материалы, слушая пояснения Сусанны, Дюрягин заметно воспламенялся.

Видя это, Надежда Владимировна попросила:

— Петр Константинович, будьте строгим, но доброжелательным судьей.

— Буду, буду,— пообещал Дюрягин, не отрываясь от карт.

До вечера Петр Константинович слушал объяснения и доводы Сусанны. Дюрягин спрашивал, переспрашивал, сверял и наконец объявил:

— Друзья мои, если это не событийная научная находка, значит, я старый осел или, на худой конец, выживающий из ума фантазеришка. И, чтобы установить, кто же я в конце концов, мне совершенно необходимо побывать там самому. Карта картой, фотографии фотографиями, но свой глаз надежнее.

Мацоев был недоволен предприятием Дюрягина. Пустая, никому не нужная трата денег и сил. И такая несвойственная для серьезного ученого «поклевка» на затею, граничащую с авантюрой. Однако же Дюрягин, значительно старший по возрасту, заслуженно прославивший себя многими смелыми работами, настоял на своем. Мацоев искренне сожалел:

— Вы не представляете, Петр Константинович, как трудна будет для вас поездка в седле. Я не найду себе места, если что-то случится с вами. Разрешите, я закажу для вас вертолет.

— Я не летатель на этой стрекозе. Давно ли я совершал немалые броски на верблюдах и на ишаках,— стоял на своем Дюрягин.— Сусанна Николаевна надежный проводник, а Урман Иванович стоит десятерых таежных леших. И вам бы следовало, дружок мой Михаил Сергеевич, махнуть на седловину.

Мацоев сдержанно ответил:

— Я рад бы, дорогой Петр Константинович, да не хватает оптимизма. Увы!..

После этих слов придется назвать ставшую канонической «кошку», пробежавшую между Мацоевым и Дюрягиным. На этот раз она была не черной, но и не белоснежной.

Пусть открытие, сделанное Сусанной, находится за пределами границ заданного исследования экспедиции. Пусть. Но ведь и Восточный увал тоже не входил в план работ, а им занялся Михаил Сергеевич, повторял он сказанное Смагинцевой. Почему же Мацоев безразличен к проекту Сусанны? Проекту, ставящему под сомнение море... Как можно хотя бы не обратить на это внимание? Это же не просто имеет местное значение. Это географически сенсационно. Сенсационно планетарно.

Дюрягин не стремился стать первооткрывателем и вписать свое имя в историю. Первооткрывателем, если будет что открывать, останется Сусанна. Именно Сусанна, а не шведские искатели волоков. Они оставили наводящий пунктир, а Сусанна прочертила новую твердую, короткую линию и нашла свой путь не для волока, а для рек через Урал. Это ее заслуга.

Черная линия, проведенная на карте рукой Сусанны по приезде на место, виделась Петру Константиновичу

Дюрягину широким каналом. Увалы и скалы не смущали его. Железнодорожные выемки гораздо глубже. Едва ли потребуются шлюзы и станции для перекачки. Хорошая плотина поможет ленивым рекам направить самоотекотом свои воды в Европу. А если, как говорит Сусанна, потребуется туннель, то почему бы его не соорудить.

Затраты?

Они будут немалыми, зато какая масса бездельничающих рек будет орошать засушливые земли. Какую прибыль даст вода орошенным землям!

Пока что думалось очень хорошо. Дюрягин видел и называл канал «Евразийским». Пусть он появится не в этой пятилетке и, может быть, не в той, но всякому будет ясно, что защищать «большое море» в предвидении канала окажется труднее. И милый Михаил Сергеевич это поймет.

Михаил Сергеевич тем временем дописывал выводы экспедиции по изучению Пятиречья и сожалел, что заключительные страницы выглядят бледнее начальных. Неужели это происходит потому, что где-то в глубине сада Луша перепевает, подражая какой-то певице, пошловатенькие любовные песенки:

Не печалься, зорешка, в разлуке,
День сменит ночь, и солнышко взойдет...

Или еще тривиальнее:

Тебе я все прошу и все забуду,
Забудь и ты мою измену...

Откуда берет она такую дребедень? Кто сочиняет подобную муть? Лушу можно простить, но Полихроний Сергеевич...

Тишайший Полихроний Сергеевич тоже ни с того ни с сего оказался музыкантом и глухо «напиливает» на виолончели Марфе Владимировне: «Уймитесь, волнения страсти». Положим, у них был трогательный роман, о нем не говорят, но все знают в Яргороде, что спустя год после смерти деда Машеньки, Максима Леонтьевича, Зотов поселился в доме Адоевых и Ольга Максимовна стала называть Зотова Поли. Так она называет его и теперь без посторонних. Это все прелестно и романтично, но какие же в эти годы «Уймитесь, волнения страсти» и тем более «Не искушай меня без нужды».

Милый, бесконечно милый, но страшный дом. С ним жаль расставаться, но и невозможно долго жить под его крышей.

А виолончель поет: «Уж я не верю в уверенья...»

«Не верю и я,— отвечает струнам думающий о Сусанне Михаил Сергеевич.— И напрасно ей и Дюрягину кажется, что я не верю из упрямства...»

— Вам что-то нужно, Михаил Сергеевич? — спросила вошедшая Маша.

— Нет, извините, Машенька. Я разговариваю с самим собой.— Теперь у него нашелся молчаливый слушатель, и он продолжал свои мысли вслух: — Они думают, что я не говорю о седловине потому, что не хочу. Я написал о ней две страницы и зачеркнул их.

— Зачем же? Зачем вы это сделали?

— Затем, что я хочу, чтобы они сами сказали о ней. Я знаю давние желания Петра Константиновича. И я согласен с ним. Пятиречье надо не затоплять, а осушать. Но мало ли что я знаю. Например, я знаю, что вы должны выйти замуж за Ладушкина. Я этого хочу. Но что значат мои желания? Две копейки. При этом дореформенные две копейки.

— Я ваше желание ценю неизмеримо больше, но ведь для этого нужно, чтобы и Ромаша думал так же, как вы.

— Да, конечно. И он будет думать так. Но будут ли думать так же, как Сусанна и, конечно, Петр Константинович, другие? Те, кому виднее, куда течь рекам. Кто решает, куда им течь. У всякой идеи должны быть мускулы.— Теперь он это найденное им слово употреблял очень часто.— Вы понимаете, Машенька, мускулы. Мышцы. А до этого еще костяк. Иначе это протоплазма.

— А ваше новое море разве не про...— Машенька не закончила слова.

— Мне трудно спорить в этом доме. Особенно с вами, Машенька. Даже Юлик в курсе всех дел. Он вчера спросил меня: «Моя Жюли тоже утонет?» Как-ково?

— И что вы ответили ему?

— Я в первый раз в жизни нагрубил ему и попросил дурацкие вопросы задавать не мне, а тому, кто ссорит отца с сыном. Луша, видите ли, тоже имеет свои гидрогеологические суждения. Она считает, что море уйдет в

землю через яргородские и якшинские колодцы, которых она насчитывает сколько-то, не помню сколько, сот. А затем она предупреждает, делая страшные глаза, что всплывут из могил затопленного кладбища гробы и море будет заражено трупным ядом. Кажется, нелепость, а производит впечатление. Во всяком случае, как-то сказывается на мне. Черт меня дернул согласиться поехать в Яргород. Мне предстояла поездка на Нил. Вы понимаете, Машенька, на Нил! Это же была бы событийная в моей жизни поездка. Сменял ее на Пятиречье. Здесь я чуть ли не проклинаюсь. Здесь я теряю, если уже не потерял, самого близкого из всех оставшихся в живых, преданного мне человека — Лушу...

— Зато нашли Сусанну...

— Она нашлась бы и в Москве. Она, как выясняется, придумала трехлетнюю проверку. Испытание временем. Зачем? Разве испытывают ослон? Их взнуздывают и попускают ими... Скорей бы закончить это,— он указал на рукопись доклада,— и уехать.

LXVII

Дадим Михаилу Сергеевичу завершить черновую рукопись доклада. Избавим себя от описания нелегкого путешествия Дюрягина с перевала на перевал по воображаемой трассе Евразийского канала, обратимся к оставленным нами Саиде Рамазановой и Юрию Рыжаеву.

У них уже все было решено, и об этом говорят и в Яргороде, и в прилежащем к нему селе Якшине. В неведении из наших героев пребывает только вездесущий, всюду бывающий Николай Васильевич Макарьев. Но и он сейчас услышит новость из первых уст.

— Дорогой мой шеф, учитель и покровитель,— торжественно и с легкой дрожью в голосе сообщает ему щегольски одетый Юрий Рыжаев.— Я имею честь пригласить вас в дом моей невесты Саиды Рамазановой.

— Уже?

— Уже!

— Останови пол, Юрий. Он нестерпимо быстро кружится подо мной.

— Пол, остановись! — приказывает Юрий. — Про-

шу,— он пододвигает кресло. — В таких случаях надежнее сидеть!

— Уже «озагсились»?

— Через неделю. Во Дворце. При всем честном народе и при участии Яши Яшина. Хочу увековечить этот день. Мама может и не прилетать. Увидит кинокадры.

— Ну что ж, разумно. Только пленка за твой счет.

— Бесспорно. Зачем же наносить себе ущерб?

— Не понимаю, Юра.

— Ну, как же не понять... Лет через десять, мой милый Николай Васильевич, эти кадры окупятся стократно. Кого не привлечет свадьба известной киноактрисы, родившейся в маленькой татарской деревне и венчавшейся в древних палатах яргородского воеводы?

— И венчавшейся не с кем-то, а с прославленным кинорежиссером Юрием Рыжаевым.

— Я этого тоже не исключаю, прошу великодушия за дерзость... Кто в мои годы не мечтает... Разве вы, Николай Васильевич, не начинали свой путь с третьего помощника седьмого ассистента?

— Ершист, ершист, Юраша! Что подарить невесте?

— Вы сами будете подарком!

— А к нему в придачу два кольца. Пока обещание. А потом и кольца. На чем же мы туда поедем?

— Николай Васильевич, неужели для вас есть лучшая карета, чем эта? — Юрий указал на окно. А за окном Вукол Лукич Ладушкин сидел на козлах знакомого нам тарантаса.

До Якишина от вала километр. Примчались на полной рыси вороных.

— На них же в палаты поедут новобрачные,— весело подмигнул Вукол Лукич и не преминул напомнить: — Не я ли говорил, Юраша, что неженатые из Яргорода не уезжают холостыми.

Татарское село Якишино пряталось в зелени деревьев небольшой низинки. Опрятная широкая улица. Из окон выглядывали любопытные лица женщин.

Макарьеву предложили первым войти в дом. Он, ступив, остановился на крыльце.

— Какая чистота. Не разутся ли?

Чистота обратила на себя еще большее внимание, когда Макарьев переступил порог. Стены сверкали сосновым янтаре. Осматривая убранство и тут же, как всег-

да, прикидывая, не пригодится ли увиденное для экрана, Николай Васильевич не заметил нарядной женщины, которая его встречала. Увидев ее, Макарьев ахнул:

— Луша, а вы-то здесь каким манером?

— Самым простым, Николай Васильевич. Прошу любить и жаловать. Вы любите сидеть на низеньком. Извольте. И ножки протянете с устатку, и брюшку будет вольготнее.

— Спасибо, Луша.

— Лукерья Ефимовна, — улыбочиво поправила она. — Я теперь, можно сказать, «отлушила», «отдомработничала».

— И прелестно сделали, — похвалил Николай Васильевич. — А где же, Лукерья Ефимовна, невеста?

— Перед вами, Николай Васильевич, — подбоченясь, ответила Луша. — Разве вам Юрашечка не говорил?

— Не-ет... — смущенно сказал Макарьев. — Он мне называл другую.

— Другая рвет цветы. Сейчас придет.

Рыжаев, боясь, что Николай Васильевич может принять услышанное им за шутку и сказать неподходящее, вмешался в разговор:

— Напрасно я не предупредил вас, Николай Васильевич. Лукерья Ефимовна выходит замуж за Рамазана Нурулловича. За отца Саиды. Так что предстоят две свадьбы в один день.

— Однако, — Макарьев утер пот со лба. — Это, я вам доложу, сюрприз. Для какого жанра, я еще не знаю, но, думаю, не для скучного.

Вошла с букетом Саида.

— Это посаженному отцу, — поклонилась она, подавая букет Макарьеву. — Здравствуйте, Николай Васильевич!

— Ойлы! Ей-богу, Ойлы! Такой я ее и вижу. Щечку, доченька!

— И даже две.

— А где второй жених?

— Принаряжается для дорогого гостя, — ответила Луша и позвала: — Рамазан, пора к столу.

Из соседней комнаты послышался голос:

— Саида! Помоги мне завязать ошейник!

Не дожидаясь дочери, Рамазан вошел с неповязанным галстуком.

— Здравствуйте, Рамазан Нуруллович! Как все это неожиданно.

— Ожиданно, Николай Васильевич. Долго ожидал. Как мальчик, бегал на свиданья и выбегал свое.

Он обнял Лушу, а она:

— Смотрите, Николай Васильевич, какой султан! Правится ли вам мой суженый-ряженный?

— Не промахнулись вы, Лукерья Ефимовна. Скажу без лести: ваш нареченный мог бы в кинематографе стать если не султаном, то серднеедом женщин, при виде его снимающих чадру.

— Спасибо, милый Николай Васильевич,— вместо отца поблагодарила Саида.— Я не теряю надежды увидеть его на экране. Только в другой роли. В своей.

— В какой же, Саида?

— В той, где Рамазан Нуруллович Маметкулов выпускает из скважины... Вы знаете кого.

— Пусть эти слова моей дочери будут первой здравницей!

Рамазан распахнул широкую двустворчатую дверь в большую горницу, обставленную новой ореховой мебелью. Посредине красовался старательно сервированный стол.

Первым прошел Макарьев. За ним Луша.

— Мое приданое, — похвалилась она. — Похоже на дело?

— Очень даже похоже, Лукерья Ефимовна.

За окном послышался голос Ольги Максимовны.

— Вот и посаженная мать, — объяснил ее появление Рамазан. — Сегодня организационное совещание с русско-татарским угощением. Будем решать свадебный распорядок дня...

LXVIII

По старым законам романистики следовало бы переставить главы и прежде рассказать, как встретились Рамазан и Луша, а потом рассказывать о приезде Макарьева в Якшино. Но пишущий, нередко оставаясь рабом сюжета, служит ему и тем из читающих, кто предпочитает неожиданное заранее известному.

Луша встретилась с Рамазаном на вертолетной площадке. Он отвозил туда на своем мотоцикле гостившего у него друга из Башкирии. Отчаявшаяся Луша, не надеясь попасть в Яргород до утра, обратилась к Рамазану:

— Дядечка, не довезете ли вы, пожалуйста, меня с мальчиком до города?

Отзывчивый Рамазан сразу же пригласил ее в коляску. А потом, разглядев просительницу, он добавил:

— Очень буду рад услужить молодой матери.

— Я пока еще не мать, а, можно сказать, воспитательница.

— Тем лучше. Садитесь, товарищ воспитательница, а воспитанника сажайте на колени.

— Вот спасибо-то, спасибо вам, — оживилась Луша. — А чемоданишко-то куда?

— Найдем и ему место. Куда, к кому вас прикажете?

— К Адоевым, дорогой дядечка. — Заметив, что это произвело впечатление, Луша сказала: — Родня мы им, Мацоевы мы.

— Очень приятно. Рамазан Маметкулов, — отрекомендовался он.

Так началось знакомство, продолжившееся в пути со многими остановками и на малой скорости.

— Быстро ехать нельзя. Выбоины. Ветер. Мальчика простудить можно. И вас укачает.

— Какой вы любезный-прелюбезный, товарищ Маметкулов. Только не забранит ли вас благоверная за долгую отлучку?

Рамазан понял смысл заданного Лушей вопроса и ответил:

— Один я. — И как бы пожаловался: — Совсем один. Дочь только. В Уфе живет...

Это был первый стежок в любовном шитье. За ним последовал второй. Наутро Рамазан «проездом» на буровую заехал к Адоевым, чтобы узнать, не простудил ли он вчерашних пассажиров. Луша поняла Рамазана как нужно и сделала третий стежок. Глазами. И четвертый — языком:

— А я знала, что вы наведаетесь, Рамазан Нурулович.

Она знала в это утро больше. И, зная, принялась плести золотые кружева, а он — мостить дорогу к ее сердцу.

Не так просто было ему, немолодому знатному мастеру, живущему на хорошей славе, выдать людям то, что не скрывают в юные годы. Можно ли поручиться за ее глаза, сулящие так много? Не посмеются ли они потом,

когда он ответит на их зов и пригласит Лушеньку-душеньку прокатиться за увал, покружить по луговым коврам и подышать свежим ветром.

Зоркого Рамазана обнадеживали большие перемены в ее нарядах. И сам он тоже, как бы в ответ Луше, не одевался, как всегда, во что попало, а старался не отставать от времени и моды.

Луша заглядывала на буровые. Там пребогатый шавель, да и хотелось убедиться, «неужели в самом деле можно пробуравить землю на такую глубину». А потом знающие люди присоветовали ей пить кумыс «от кашля», и нашлась причина бывать в Якшине. Редкий раз на пути туда или оттуда ей не встречался Рамазан. А если не встречался, она, «притомившись от ходьбы», садилась отдыхать в придорожных кустах. И, отдыхая час-другой, услышав «говор» приближающегося мотоцикла, выходила на дорогу. Рамазан останавливался, здоровался, расспрашивал о «кашле», рассказывал о неудачах на буровых. И однажды он заметил в ее взоре упрек, а затем этот упрек сказался и словами:

— Да что это, право, Рамазан Нуруллович, за разговор — о кашле да о кашле. Как будто я вовсе чахоточная и со мной не о чем поговорить.

Рамазан понял Лушу и спросил:

— Мы давно разговариваем о другом, да боимся заговорить о нем...

— Кто это боится? Не я ли уж?

— Я! Я боюсь, Луша, — так назвал он ее впервые.

— Смешно, право, мне... Шайтан — и вдруг боится лесной привады.

Рамазан спросил смелее:

— А в каком лесу она приваживает?

— В дальнем! Хоть бы в том, — Луша указала на заречный мыс, прозванный Сохатым. — Там тишь, глушь и безлюдье.

— Когда она бывает там?

— «Она»? Уж не юлил бы, юловатый бес. Глазищи-то готовы сжечь меня. Побереги огонь до завтра.

Встреча состоялась. На Сохатый мыс Луша пришла первой и, прячась в соснячке, ждала его. А дождавшись, долго наблюдала за ним. Проверяла. Так она и сказала ему:

— Проверяла, каков ты в ожиданиях. А теперь доверься лесу. Он молчун. Садись и не трясись. Не съем.

Рамазан сел под кедром с Лушей.

— Ближе,— сказала она.— И если тебе по-русски боязно сказать то, что ты хочешь, скажи мне по-татарски. Я пойму. Больше ста слов заучила в Якиине.

Плечистый, сильный Рамазан притихшим зайцем сидел подле розовой, улыбающейся и влюбленной Луши.

— Я все еще не верю и робею...

— Думаешь, я верю, Рамазан? Думаешь, я не робею? В наши годы-годики хоть и не боязно кипеть, да жалко, если этот кип за один пых откипит.

— На всю жизнь, Луша. На всю жизнь... Клянусь моей Саидой!

— Не клянись, мой сокол. Не обещай мне ничего. Я и без клятвы обниму тебя, мой Огневей! Сон мой! Конь крылатый! Не подчерняй только височки. Их серебро краше фальши, как бы задушевней... Для меня.

Рамазан потер руками волосы на своих висках и виновато пообещал:

— Не буду больше. Боялся седины. А теперь нет.

В лесу послышался шорох.

— Не люди ли? — спросила, прислушавшись, Луша. — Не укрыться ли нам где поглуше?

— Нет, Луша, это ветер.

— Тогда уйдем от ветра. Он болтун... — улыбнулась Луша, зная, что им будут замечены ямочки на ее щеках. — Ноги отяжелели. Не подняться мне...

— Пусть руки им помогут, Луша.

Рамазан поднял ее, хохочущую, и понес. Она, обвинив его пахнущими пряно руками и обжигающими шею Рамазана, спросила:

— Не тяжела ли тебе такая ноша?

— Разве облако может быть тяжелым?

— А вдруг я туча? — прошептала Луша.

— Тогда быть грозе...

— Будет! Молнии-то уже посверкивают в твоих глазах...

Они расстались на рассвете. Расставшись, Луша избегала встреч с Рамазаном, а он искал их, теряясь в догадках, боясь, что Луша разжала при прощании с ним навсегда свои руки.

Луша же, терзаясь, проверяла, как поведет он себя после праздника в лесу. Не отгорела ли теперь она в его глазах, не посчитал ли он ее не той, кто она есть на

самом деле? Не показался ли ему пожар любви не первым любовным вспыхом?

Так бывает, и так могло быть. Но так не было. Рамазан пришел к ней. Он принес кумыс. Предлог обрадовал ее. И она сказала:

— На мысу я потеряла мою гребенку. Не поискать ли?

Этим она сказала больше, чем хотелось Рамазану. И встреча повторилась. За ней другая, третья...

Он любит, любит, любит... Она уже стыдится своих проверок. Признается ему в лукавстве. Он счастлив. Больше им не нужен ни мыс, ни кумыс. Зачем таиться от людей?

Луша пришла в Якшино познакомиться с Саидой. Саида сказала:

— Дочь не может быть судьей отцу.

— А ты будь им, Саида. Ему и мне. Я не мачехой хочу войти в дом ваш. У меня не было детей.

Саида обняла Лушу:

— Слово «мать» и слово «дочь» пусть будут нашими словами.

LXIX

Под расписными сводами в «палатах воеводы» мужем и женой были названы Рамазан Нуруллович и Лукерья Ефимовна, принявшая фамилию мужа.

Макарьев был уверен, что бракосочетание войдет в документальный фильм. Смешанные браки нередки в Яргороде. Николай Васильевич не собирался в дикторском тексте замечать о том, что красноречивей скажет пленка. Смуглый Рамазан, при орденах, в черной паре, и светловолосая счастливая невеста, в белом длинном венчальном платье, умиляли татар и русских, пришедших полюбоваться торжествами. Не оставят они равнодушными и зрителей рождающегося фильма.

Обмен кольцами... Темная большая рабочая рука и белая пухлая рука невесты.

Поцелуй вступивших в брак.

Поцелуи поздравлявших новобрачных волновали и Яшу Яшина, удачно ловившего объективом происходящее в палатах. В каждой профессии свои счастливые находки, а их у молодого оператора сегодня не уместить и в две катушки.

Впереди еще вторая пара. Аппарат перезаряжен. Диафрагма медленно раскрывается. Медленно по длинной ковровой дорожке к столу президиума идут Юрий и Саида. На ней длинное со шлейфом платье. Длинная, как в старину, фата, украшенная полувенцом из флердоранжа. Это подарок Марфы Владимировны. И ее же подарок плетеные кружевные по локоть перчатки. Лицо Саиды покрыто дымчатой вуалью. Так хотели якшинские тетки Саиды. Жених подымет вуаль, когда будет объявлен первый поцелуй жениха и невесты.

Жених в нежно-кремовой чесучовой паре. Подарок Саиды. За женихом и невестой идут Роман Ладушкин и Машенька. Он со стороны жениха, она со стороны невесты засвидетельствуют своими подписями брак молодой четы.

Машенька ликует. Она рада за Саиду. На лице Романа Ладушкина тоже свет, как и внутри его солнечно и ясно. Будто не Рыжаев, а он сегодня здесь жених.

— Роман, признайся, ты завидуешь им? Завидуешь?

Ладушкин молчит, а Маша снова шепчет:

— Не притворяйся глухарем... Я знаю, о чем ты думаешь.

— Я думаю теперь только о нефти...

— А я о дураках,— шепнула громче Маша и, услышав приглашение девушки из загса, направилась к столу — Иди, Роман, тебя тоже зовут.

Роман услышал, подошел к столу. Девушка указала, где нужно поставить свои подписи. Ладушкин и Маша вернулись на свои места.

Обряд бракосочетания был торжественным и недолгим. Маша пожалела:

— И это все?

— Все! — сказала Саида. — Теперь осталось только «горько-горько».

Свадебное торжество было назначено в этих же палатах. В Якшине у Рамазана не усядется и десятая часть гостей двух свадеб. В доме Адоевых, куда приглашала Ольга Максимовна, Рамазан и Юрий нашли неудобным устраивать пиршество. Ресторан тоже не подходящее место. А здесь, в палатах, есть где развернуться.

Началась расстановка принесенных столов. Поставили их в два ряда. Две свадьбы. Двойные гости. Зарабатывающий много Рамазан взял все расходы на себя.

Пока приглашенные официанты расставляли посуду, вечер начался танцами. Танцы открыли новобрачные. За ними закружились в вальсе и молодые и старые. Показал прыть и Полихроний Сергеевич, пригласив Ольгу Максимовну. Макарьев приглашал девушек из танцевального ансамбля Якишина. Маша в этот вечер не отставала от Ладушкина.

— Ромаша, ну как тебе не стыдно, ты же влюблен в меня. Сделай хотя бы маленькую попытку поухаживать за мной. Я так одинока. Так забыта всеми... Ну, что тебе стоит влюбить меня... Ромаша... Ну же... Ну, держись же за талию! Разве ты не чувствуешь, как горячо мое дыхание...

— Чувствую,— отвечал Ладушкин. — И воспаляюсь. Того гляди, начну дымить...

— И задымишь, Ромаша. Теперь я опытная чаровница. Меня Саида и особенно Лукерья многому научили... Возьму вот и поцелую тебя при всех... Или сяду за ужином к тебе на колени и запою: «Каким вином нас угощали...» А затем объявлю, что ты сделал мне предложение.

— Не поверят, Маша...

— Тогда придумаю что-то еще... Да держи меня как кавалер... Стыдно за тебя... Танцуешь словно с помелом.

Ладушкин не вытерпел и сказал:

— Помело из нас кто-то другой.

Машенька обрадовалась:

— Ага... Ревнуешь...

— Мне чуждо это чувство. Каждый сверчок должен...

— Тогда я буду твоим шестком. Хочешь? Нет, серьезно?

— Маша, хватит. Я могу обидеться. Музыка молчит, а ты все еще кружишься...

— Значит, она еще звучит во мне.

Ладушкин хотел сесть с Ольгой Максимовной, но Маша потянула его за руку и громко сказала:

— Роман Тихонович, наше место подле жениха и невесты. Не позабудь передать поздравления Михаила Сергеевича и Сусанны. Сейчас это сделать очень удобно.

Ладушкин от имени Мацоева и Сусанны принес извинения.

— Завтра будет обсуждаться доклад Михаила Сер-

геевича. Он и Сусанна Николаевна очень сожалеют, что не могут быть. Мне поручено от их имени поздравить двух невест и двух женихов предварительно... Окончательное же поздравление и вручение свадебных подарков состоится в следующее воскресенье в ресторане гостиницы, куда мне приказано пригласить новобрачных, а до этого велено крикнуть: горько, горько!

Этим и началось шумное застолье, продолжавшееся еще шумнее. Русские танцы сменялись татарскими. Потом плясали вперемежку. Вперемежку подавались гуси, утки, пироги, не позабылись и пельмени. Яша Яшин сбегал за новой катушкой пленки. Нужно же было «схватить» и кушанья, и пляски, и старинные наряды русских и татарских женщин. Им предоставилась возможность покрасоваться, показать, как одевались они в молодые годы.

Всю ночь не выключались магнитофоны. Будет чем озвучить свадебный пир, когда он перейдет на монтажный столик.

Пир кончился под утро. Его завершала Саида. Она исполняла давно репетируемый ею танец Ойль. Жених жег фонтанирующие дымящие бенгальские огни. Они были фоном для танцующих. И все видели в этих огнях долгожданный нефтяной фонтан.

Если бы им было известно о намерении запретить дальнейшее бурение под Яргородом! Танцевала ли бы Саида? Было ли бы таким радостным свадебное торжество?

А пока...

Пока все хорошо. Довольные гости расходятся. Рамазан увозит свое «облако» в Якшино. Юрий Рыжаев ведет Саиду в номер гостиницы. Там они будут жить.

Дежурная по этажу вручила Рыжаеву нарядную телеграмму:

«Милую Саиду, милого Юрочку поздравляю законным браком тчк. Сожалею, что долгая дорога лишила меня счастья быть на свадьбе моей дочери и сына. Целую. Ваша мама».

LXX

Поздно проснулись новобрачные и гости после свадебного пира.

Они проснулись в часы разгара заседания, на кото-

ром Мацоев закончил чтение доклада. Мацоев чтил медленно, чтобы каждая фраза, обдуманная им, была оценена и понята теми, кому надлежит поставить свои подписи на документе, который позволит решить «яргородскую проблему» и завершить междуведомственные споры.

Михаил Сергеевич обладал способностью выражать свои суждения так, что за строками виделось излагаемое им. Лаконическая точность строк не исключала живости красок, аллегорий, смелых для деловых бумаг примеров, которые, не умаляя весомости написанного, помогали представить общую картину.

Кто-то внес уточняющие поправки, кто-то предложил заменить одно слово другим, и все сошлись на том, что Михаила Сергеевича следует поблагодарить за труд, который можно без преувеличения назвать академическим образцом научно обоснованного заключения для экспедиций такого рода.

Мацоев поблагодарил и сказал:

— Я очень рад, что мне удалось объединить ваши суждения и найти единственно верное выражение наших общих выводов. Признаюсь — не для стенограммы, — я не мог, да и никто из вас не взял бы на себя смелость утверждать, что море в границах увалов является единственно возможным вариантом решения судьбы Пятиречья. Поэтому я привел на страницах доклада все наши «за» и наши «против», все плюсы и минусы. Я, как вы, наверно обратили внимание, заканчивая доклад, пишу, — он перечитал последнюю фразу: — «Теперь остается решать, что предпочесть». Мы не решаем, а лишь даем исчерпывающий материал для решения. Не так ли, Петр Константинович? — обратился Мацоев к молчавшему все это время Дюрягину.

— Так и не так, — ответил тот.

Михаил Сергеевич знал, что Дюрягин выступит и о чем он будет говорить. Сусанна теперь с большей уверенностью отстаивала свое. За ней стоял авторитет Петра Константиновича. Она не пошла на ученый совет, не входя в который могла присутствовать на нем только с совещательным голосом.

Михаил Сергеевич, готовясь выслушать Дюрягина, спросил его:

— В таком случае хотелось бы знать, что не так, Петр Константинович?

Дюрягин неторопливо встал. Прошел вперед, посмотрел на каждого из сидящих, потом остановил свой взгляд на Мацоеве.

— Дорогой Михаил Сергеевич, дорогие товарищи! Я буду говорить для стенограммы. Я не хотел, да и не мог сказать до последних дней, до моей поездки на так называемую седловину, к какому заключению пришел я. Уточняю: к какому заключению привела меня Сусанна Николаевна Веригина. Как жаль, что ее здесь нет. Я думаю, доклад Михаила Сергеевича предельно объективен; точен и справедлив от первой строки до последней. Особенно последней. Я думаю, что море в этом варианте останется морем только на карте.

Сидящие переглянулись. Придвинули стулья. Закурили. Кто-то закашлялся. Дюрягин снова обвел взглядом слушающих и так же монотонно продолжал свою речь:

— Я не поставлю своей подписи на этом, повторяю, объективном, справедливом докладе, потому что Пятиречь в нем показывается фотографически статично, а не в динамике его возможных перспектив. А перспективы, на мой взгляд, состоят в том, что эти пять рек, и во всяком разе четыре из них, не должны течь на север, их путь — на юг, через Урал или сквозь него. Я не берусь пока предрешать. Это дело гидротехников. Ваше право судить меня и называть... Не знаю, как вам захочется назвать меня, но я не могу обманывать себя. В науке, не всегда решает большинство и «старшинство». Не всегда стаж и опыт гарантируют безошибочность выводов. Прошу считать меня не воздержавшимся, а заявившим свое особое мнение, которое я излагаю и аргументирую на этих шести страницах. Кладу их на стол. Не обижайтесь. Я никого не хотел и не хочу обидеть.

Дюрягин вернулся на свое место.

— Как же теперь быть? — спросил Мацоев.

Предложили прочитать написанное Петром Константиновичем.

Сделали перерыв. Была приглашена Веригина.

Сусанна читала «особое мнение» Петра Константиновича с комментариями, демонстрацией карты, фотографических снимков и схематических набросков трассы Евразийского судоходного канала. Она так и назвала его с легкой руки Дюрягина.

Мацоев выслушал молча. Ни слова против, ни одного

замечания и вопроса. По его лицу на этот раз нельзя было узнать, как относится, что думает он о прочитанном и проиллюстрированном Сусанной.

Председательствующий Мацоев поблагодарил Сусанну за интересное выступление и обратился к ученому совету экспедиции:

— Товарищи, мне кажется, написанное Петром Константиновичем и стенограмму комментариев Сусанны Николаевны следует приложить к материалам по Пятиречью как особое суждение о нем. А теперь прошу зачитать мой доклад тех членов совета, которые найдут это возможным для себя.

Семь из двадцати двух членов совета экспедиции отказались поставить свои подписи.

Заседание было закрыто. Оставался традиционный дружеский ужин, а затем разъезд.

Ужин происходил в «казематах», в ресторанном зале под сводами, расписанными художником Лалетинным. Столы были затейливо сервированы в стиле яргородской старины. Под стать ей и яства: лососина, икра всех цветов, до розовато-сероватой — «мелкорыбьей» однодневного засола. Свежекопченая плотва, тающая во рту сосьвенская селедка, шука, фаршированная по-монастырски... Сто кулинарных выдумок из рыбы, вплоть до знаменитых яргородских пирогов. И непременно, конечно тоже яргородские, пельмени. Это чуть ли не культовое блюдо готовилось владелицами секретов замешивания теста, магии комбинаций смесей фарша, мастерицами «сканья» тонких, просвечивающих сочной и даже тапнства варки пельменей в чугунах.

Каждый из участников экспедиции имел право пригласить гостя. Гостьей Мацоева была Надежда Владимировна Смагинцева. Дюрягин пригласил Макарьева. Сусанна — Полихрония Сергеевича. В результате приглашенными оказались все, кто этого хотел. А хотели многие, так как кем-то был пущен слух, что Зотов произнесет речь в стихах. И будто бы некоторым поводом для этой речи послужили монологи Марка Антония из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». И это интриговало всех. От Полихрония Сергеевича, уже блеснувшего сказкой об Ойль, можно было ожидать сюрприза. Поэтому «наш корреспондент» на всякий случай захватил с собою репортерский магнитофон и очутился за столом напротив Зотова.

В разгар веселья Дюрягин спросил:

— Правда ли, что некий почтеннейший вития сочинил прощальные не то сонеты, не то куплеты...

— Нет! Всего лишь разностопные котлеты в а ля ямбических строках,— отозвался Зотов.— Я на этот раз вас не заставляю упрашивать меня. Прочту без приглашения.

Полихроний Сергеевич, увидя, что «наш корреспондент» между кувшином с квасом и горшком с цветами поставил маленький микрофон, предупредил его:

— Не стесняйтесь. Ставьте ближе. Я не стыжусь и не боюсь своей стряпни,— и начал чтение:

По схожести начальных букв слова
Соседствуют различно в словарях.
Однако же находятся шуты-каламбуристы,
Что тешатся игрою букв и слов.
Они твердят, что «перепуск» и «Пятиречье»
Начальной буквой «Пэ» соединились навсегда.
А буква «эС» у них теперь роднит слова:
«Сибирь», «Сусанна», «седловина», «смелость»...

Послышались сдержанные смешки, иронические шепотки. Зотов, будто согласившись с залом, пожал плечами, недоумевающе развел руками и воскликнул:

Какая чушь! Бездарная натяжка!
Так можно буквой «эм» соединить
Несовместимые слова-враги:
И «мель» и «море», «мужество» и «малодушие»,
И «минни-маятник» и «макси эМ Мацоев».

Раздался дружный хохот. Звонко смеялась Машенька Адоева, дружески чмокнув в щеку Мацоева. Смеялся и он, аплодируя и раскачиваясь влево и вправо, будто подтверждая этим строку о маятнике.

— Дальше, дальше, Полихроний Сергеевич, читайте дальше! — попросил оказавшийся также поблизости Макарьев и также с маленьким магнитофоном.

Полихроний Сергеевич, не замечая похвал и неодобрительных вольствий, снова приблизил листок к своим глазам и повторил вступительные строки:

По схожести начальных букв слова
Соседствуют различно в словарях.
Так некогда скромнейшая Калуга
Югясь меж «калачом» и «караваном»,
Себя запечатлела на века
Не только схожей буквой «Ка»
В бескрайнем слове «космос»...

Взрыв аплодисментов заглушил чтение. Те, кто был настроен слишком игриво и «дивертисментно», почувствовали, что шуточные стихи заминированы несогласием с выводами экспедиции. Допуская неожиданный поворот, многие посмотрели на Ладушкина и Сусанну, сидевших в дальнем конце третьего стола.

Зотов приосанился. Расправил кружева «концертного» жабо и вышел в центр банкетного зала. Улыбка сошла с его лица. Он уже не выглядел весельчаком, а представал неким таким глашатаем. Таким он виделся, тем более что читал без бумажки, выразительно и громко акцентируя на этот раз на букве «Я».

И «Яргород», сосуществуя с «ямой» и «ягой»,
Не утонув, быть может, яркой явью озарит
Янтарней янтарей, яснее яхонтов, ярее яшм
Дерзання, поиски, надежды наши...
И наши трепетные маленькие «я»
Своей большой заглавной буквой «Я»
В молве и памяти людской увековечит...

За столами тишина и раздумье. Зотов, как бы между прочим, информационно-небрежно повторил:

По схожести начальных букв слова
Соседствуют различно в словарях...

Внимание к новому блюду затенило прочитанное Полихронием Сергеевичем, все же его голос звучал под старыми сводами, и на сводах сквозь лалетинскую роспись проступали, то кротко улыбаясь, то в чем-то упрекая, стихотворные строки.

А на другой день Макарьев, проверяя запись, как это он делал и прежде, несколько раз прослушивал в своем гостиничном номере с открытыми окнами прочитанное Зотовым. И маленький город в молчаливый, задумавшийся вечер слушал и запоминал пересказываемое магнитофоном. Особенно финальные слова:

И наша трепетные маленькие «я»
Своей большой заглавной буквой «Я»
В молве и памяти людской увековечит...

LXXI

Тягостно жилось Михаилу Сергеевичу. Мазоеву в предотъездные дни. Так недавно, после его выступления по радио, с ним раскланивались и незнакомые люди.

А теперь, когда он шел по улицам, ему казалось, что насупились и дома, неодобрительно глядя на него слезящимися от непрерывающих дождей окнами. Знакомые дворняги и те, поджав хвосты, опустив головы, обходили его, а иные озлобленно таякали из подворотен. Он понимал, что дома, шавки, серое небо, помутневшая после дождей Тьминь и сам Яргород выглядят непристливыми и хмурыми потому, что он, его дурное настроение отраженно рисуют неприязнь к нему окружающего. Нелепо же в самом деле все это ставить в связь с отосланным в Москву докладом о Пятиречье.

Марфа Владимировна не вышла сегодня к завтраку потому что поздно заснула. Она и не знает о докладе Мацоева, а если бы и знала, то не придавала бы ему никакого значения. Для нее Яргород незыблем и вечен. Ей и представить невозможно, что он будет затоплен каким-то морем. Это еще нелепее, чем библейская легенда о всемирном потопе. И Полихроний Сергеевич тоже молчалив не потому, что сердится на Мацоева. Его он любит, жалеет и удивляется, как может человек с такой огневой головой не соглашаться с Дюрягиным.

Обед в честь двух невест и двух женихов не состоялся. Рамазан сказал, что без выходных работает на буровой. Рыжаев занят с утра до вечера на съемках. Ясно, что тот и другой недовольны докладом. Пришлось свадебные подарки послать через Лушу.

Юлик что-то затаил в себе. Он остается до начала учебного года в Яргороде. Как взять его без Сусанны, а она сама предложила заняться завершением экспедиционных дел вместе с бухгалтером.

На это Михаил Сергеевич сказал Сусанне:

— Видимо, нам необходимо отдохнуть друг от друга и постараться переварить в себе весь этот винегрет, всю эту яргородскую окрошку, начиная с нашей встречи. Спасибо тебе, Сусанна, за предложенный тобой антракт.

Холодно было Михаилу Сергеевичу и одиноко. Холодным представлялся ему прощальный разговор в горьком с Надеждой Владимировной Смагинцевой. Пожелает ли она ему счастливого пути, успехов и прочих добрых напутствий, положенных при расставании?

Люди остаются людьми. Вчера какая-то старуха, повстречавшись с ним, плюнула ему под ноги. Также своеобразное пожелание. Михаил Сергеевич не узнал старуху. А это была та самая Фекла Сергеевна Касьянова;

которая, как мы помним, поклонилась ему в пояс после памятного выступления по местному радио. Тогда он, и не предполагая, повысил цену на ее дом. А теперь его никто не покупает. Кому нужен дом в зоне затопления. Люди остаются людьми.

Надежда Владимировна встретила Мацоева приветливо... Правда, она, эта приветливость, была уже не той, что при знакомстве с ним, но не чувствовалось и неприязни к нему.

Разговор начала она:

— Михаил Сергеевич, я внимательно прочитала ваш доклад. Он меня не обрадовал, но убедил. Убедит он и других. Все очень ясно и понятно, даже для не посвященных в тонкости специальных знаний. Меня только насторожило в нем... заставило задуматься, почему же такое очевидное и для Никиты Первонасельникова не было замечено другими. До вас. Не «маятник» же в самом деле вы...

— Об этом же, Надежда Владимировна, я спросил себя на Восточном увале, когда понял, что море возможно, и ответил себе... Это произошло потому, что масштабы затопляемых долин громадны и, более того, — грандиозны. Напугали они и меня. Говоря по способу популяризаторов, пишущих книги для детей, в затопляемые площади могла бы вписаться какая-то из малых стран. И как отдать все это воде?!

— Вот именно, Михаил Сергеевич! Ваше море больше предполагаемого Гаевым моря раз в десять.

— В тринадцать с половиной, Надежда Владимировна.

— Не дорогое ли это предприятие?.. Спрашиваю не я, а кто-то из участвующих в решении этого вопроса... Стоит ли, простите за неудачный подбор пословицы, овчинка выделки?

— В этом же направлении рассуждал и я. В самом деле, стоит ли игра свеч? И ответил: стоит! Огромный выигрыш.

— А проигрыш? Лес, например? Разве не защитят его те, кто ведает лесными богатствами страны?

— Непременно защитят, и я представляю, как это будет. Подсчитают до кубометра и еще прибавят. Но рыбаки, не я, а ведомства, пекущиеся о рыбе, скажут. Точно, с цифрами в руках. Ежегодный прирост леса, давшего, пятиреченского, оценивается в... последуют руб-

ли, копейки. Ежегодный прирост или нагул рыбы в этом огромном пресном и теплом море дает в год... Опять последуют рубли и копейки. Несравнимые рыбные рубли и копейки относительно лесных. И скажут, если бы это море служило только для выращивания и разведения рыб, оно было бы рентабельным и прибыльным.

Смагинцева согласилась:

— Да, это, наверно, так. Но торф? Уголь?

— Выберут. Сложат в незатопляемую зону. И пня выкорчуют. При современной технике на это понадобится не более двух лет. Отошли те времена, когда... Лишь бы затопить... Лишь бы построить ГЭС. Теперь заставляют прежде позаботиться о дне. Если понадобится, то и лечебную грязь доктора Маркина превратят в брикеты. Так, и только так, будут рассуждать при решении вопроса, быть или не быть ГЭС. Надежда Владимировна, я хочу, чтобы вы поняли все «за» и все «против». Как можно спорить, что тепловые электростанции имеют много преимуществ перед гидроэлектрическими станциями по затратам? По вложению средств. Но, Надежда Владимировна, теплоэлектрические станции в условиях Пятиречья за десять-пятнадцать лет пожгут все топливные запасы. И торф и уголь. Нужно будет подвозить. А это дорого. Гидроэлектрическая станция, относительно говоря, вечный источник энергии. Однажды затратился — и не думай ни о чем, кроме очередного ремонта, которого не избегают и тепловые станции. Я хочу, чтобы вы знали все слагаемые, все плюсы и минусы... Торф и уголь в данном случае из минусов превращаются в плюсы. Их добудут, и они пойдут в дело до затопления. Пожалуйста, возрадите мне, Надежда Владимировна. Мне это полезно. «Маятнику», даже «мини», необходимо колебание. Он этим движет время. Мне тоже нужно знать все до последней крохи и понять, не ошибаюсь ли я.

— Нет, вы не ошибаетесь. Вы только... Вы кое-что не принимаете во внимание, Михаил Сергеевич.

Мацосев знал, что сейчас будет назван город, и он опередил вопрос.

LXXII

— Вы хотите, Надежда Владимировна, узнать относительно Яргорода?

— Да, и относительно его.

— Город — это не просто строения, но и люди.

— Вот именно. Пять тысяч душ. Пять тысяч сердец, судеб...

— Я понимаю. Не пять, а даже пять тысяч сто тринадцать человек. Тысяча четыреста шесть строений. По страховой оценке стоят не многим более полутора миллионов рублей.

— Откуда вы так точно знаете?

— Бухгалтеры за что-то едят свой хлеб. Округлим до двух миллионов.

— Так дешево вы цените наш город, Михаил Сергеевич?

— Так ценит город сам себя. С этой, даже с меньшей, суммы он платит в Госстрах.

— А кремль во что вы оцениваете, Михаил Сергеевич?

— Кремль останется.

— А воеводские палаты? Они же под горой.

— Отличное здание. Какая роспись... Лепка... Лестница... Своды... Пол... Но все же это не Оружейная палата. Но если нужно сохранить, если найдут историческим памятником, передвинут на увал. Такие ли дома в Москве передвигали. Деревянные не в счет. Их перевозят. Но захотят ли в них жить те, кто теперь живет? Не предпочтут ли они квартиры в благоустроенных домах?

— Их надо же построить...

— Ну разумеется. Но долго ли собрать десять-двадцать домов средней этажности? По триста квартир в доме, и весь Яргород получит новые жилища.

— Я как-то не задумывалась над этим, Михаил Сергеевич.

— Не задумывался и я, Надежда Владимировна. Когда же дело дошло до докладной, мне пришлось задуматься над всем.

Смагинцева улыбнулась. Погрозила пальцем и сказала:

— Над всем, кроме, конечно, нефти и...

— Тогда давайте прежде о нефти, потом о том, что идет за «и». Полихроний Сергеевич спрашивал меня о ней, показывая письмо академика Танеева. Моего учителя. Где он говорит об океане нефти. Но ведь и на океане бывают острова. О них Иван Павлович пишет Полихронию Сергеевичу в том же письме. Допустим,

Пятиречье не остров. И нефть будет найдена. Я не удивлюсь, если ее найдут в Москве на Красной Пресне или в Лужниках. Приблизненно, теоретически говоря, нефть можно найти всюду, но весь вопрос, в каком количестве она будет найдена. Позвольте уж досказать, Надежда Владимировна. До моего рождения, в бытность того же Ивана Павловича, поехавшего в Пермь, была открыта нефть. Кажется, первая на Урале. В Чусовских городках. Радости не было края! И это понятно. Чусовская нефть не сходила с уст, со страниц газет. В честь ее слагались оды, писались сотни статей, а нефти в Чусовских городках оказалось так мало, что если взять стоимость газетной бумаги, потраченной на прославление нефти, то можно было бы сопоставить, во что нам обходятся восторги по сравнению с тем, чем мы иногда восторгаемся...

— Я слушаю вас, слушаю,— сказала Смагинцева,— продолжайте, пожалуйста, Михаил Сергеевич. Я верю каждому вашему слову и благодарна вам за вашу прямоту. Рассказывайте дальше...

— А дальше под той же Пермью. Ниже ее. На Каме. Открыли через несколько лет настоящую нефть. Открыли не открывая. Бурили артезианскую скважину для питьевой воды. Так я слышал... А выбурили нефть. И какую нефть?! Годы идут, а она не убывает...

— Может быть, и Роман Ладушкин окажется счастливым,— Смагинцева пристально посмотрела в лицо Мацоева. Ей хотелось знать, что думает он о нефти.

— И я, Надежда Владимировна, хотел бы видеть счастливым Романа Тихоновича. У нас с ним есть что-то общее. Конечно, как человек я хуже его в миллион раз, но какие-то клетки наших душ схожи.

— Какие же?

— Не в этом же кабинете признаваться...

— Если не в этом, так в каком же, коммунист Мацоев?

— Извольте... Мы оба не родились в рубашках... Жизнь не баловала нас обоих... Словом... Сейчас сформулирую...

— А вы не формулировочно, а как сами с собой.

Мацоев еще раз сказал «извольте», и снова не сказалось то, что хотелось, а потом неожиданно вылилось само собой:

— Машенька Адоева мне полюбила с первой встречи. Мы с ней познакомились в пути. В вагоне. Она предупредительна, умна, несказанно добра, но и в это же самое время жестока... Как некая Майя. Была такая...

— Ваша первая любовь?

— А как вы об этом догадались?

— Наверное, по интонации, а может быть, по чему-то еще..

— Тогда с вами трудно разговаривать. Но все равно уж, коли начал... Словом, Роман Тихонович добрее, чем она. Лучше! Жертвеннее! Будь бы я женщиной... Лучше задайте следующий вопрос, который вы хотели задать после «и»... О перепуске рек.

— Вы догадливы.

— Пора уже. Тридцать семь... Тридцать восьмой. Мою догадливость есть теперь кому тренировать. Тренаж тренажем, но боюсь, что я не научусь предпочитать ходьбу по канату испытанным путям в науке. Некто, весьма почтенный человек, оставивший нам серьезные научно обоснованные капитальные труды, был одержим в часы досуга «канатоходством». Это было его хобби. Он завел объемистую папку, озаглавленную «Фантазией». Не фантазии, а «фантазей». Через «е». Замена предпоследнего «и» в этом слове на «е» предопределяла как бы его в некотором роде ироническое отношение к содержанию этой папки. В числе «фантазей» был описан канал-лоток для перепуска вод из Азии в Европу. Русло этого железобетонного лотка приближалось, а может быть, и превышало русло реки Камы. Лоток шел через Уральские хребты, покоясь на них и каменных опорах между хребтами. Мощные центробежные насосы подавали из рек Сибири воду в резервуар истока этого лотка, и она стремительным потоком неслась через Урал. Неслась так быстро, что и в морозы не могла застыть. В устье лотка перекаченная в Европу вода, низвергаясь водопадами, прежде чем улучшить водный баланс Европы, приводила в движение лопасти турбин электростанции, а потом уже удваивала Каму. Что вы скажете об этом, Надежда Владимировна?

— Что? Какой-то фантазмагорический пример.

— Мне так не кажется. Лоток через Урал легче перебросить, чем пробить сквозь него туннель. Урал не широк. Местами он суживается до двадцати километров.

Так что длина лотка в шесть раз меньше протяженности канала имени Москвы.

— Вы, Михаил Сергеевич, настроены против переброски наших рек. Простите — перепуска. Вода не торф, ее перепускают, переливают...

— Иногда из пустого в порожнее, но и это не всегда бесполезно.

— Наверное.

Сейчас Мацоев мог употреблять поправившееся ему выражение:

— Я агрессивен к безмускульным идеям. Без мышц идеи — это «фантазии». Один мечтатель, имени которого я тем более не назову, предлагал построить циклопический бульдозер до километра длиной и шириной порядка до ста метров. Этот гигант должен был, вгрызаясь в Уральские хребты, образовать широкую долину и перенести вынутый им грунт, щебень взорванных гор на сибирскую плоскость, образуя дамбы для поворота рек.

Смагинцева, внимательно следившая за лицом восторженно рассказывающего Михаила Сергеевича, за его жестикующей, показывающей, как громадный бульдозер с легкостью преодолевает препятствия, сказала:

— Мне нравится ваш бульдозерист. Вот бы такого для Сусанны.

— Бульдозериста раздобыть не трудно. Бульдозера нет. Вот в чем дело.

LXXIII

— Тогда я вам задам вопрос прямее. Почему вы против перепуска рек?

— Против? Разве где-то, кому-то я это говорил? Как можно отрицать или утверждать то, чего ты не знаешь?

Смагинцева возразила:

— Вы бы могли узнать, Михаил Сергеевич.

— Мог бы, но у меня за эти дни не выкроилось двух лет или хотя бы года для изучения седловины.

— Но день-то вы могли найти для седловины. Вы же не захотели побывать на седловине.

— А если был? И даже — дважды? Правда, я не афишировал свой интерес к седловине. Не прибегал к помощи Урмана Ивановича, когда есть более совершенные транспортные средства, нежели лошадь.

Услышанное отозвалось повеселевшим выражением лица Смагинцевой:

— И что же, Михаил Сергеевич, вывезли оттуда? Какие впечатления?

— За два парения над седловиной не преуспеешь. Но поверхностные общие впечатления составить можно. В самом деле горы здесь не очень высоки. Урал здесь тоже не широк. Примерно двадцать километров или чуть более в поперечнике. Для волока едва ли можно найти лучшее место. И для канала также.

Смагинцева еще более оживилась:

— Мне так приятно... значит, канал для перепуска возможен...

— Нет таких крепостей, которые нельзя взять. Это общеизвестно. Но есть крепости, которые заставляют вас подумать перед штурмом. И очень серьезно подумать и подсчитать. Я сделал грубый черновой подсчет, — Мацов при этих словах вынул небольшой блокнот.

— Заранее благодарю вас, Михаил Сергеевич. Я думаю, что это будет очень интересный подсчет...

— Во всяком случае не бесполезный... Не бесполезный для многих. И для тех, кто отказался завизировать мой доклад, и для тех, кто не пренебрегает цифрами. Итак... Для того, чтобы проложить канал через Урал, необходимо пробить в нем искусственное ущелье. Можно назвать его коридором. Прогалом. Долиной. Улицей. Как бы ни назвали этот проем в горах, он, принимая во внимание склоны берегов, по средней ширине будет минимум километр. Канал же, а не кювет для стока дождевых вод. Средняя высота выемки мною минимально оценивается в двести пятьдесят метров при длине, также минимальной, в двадцать километров. Вооружаемся карандашом и воспользуемся арифметическим правилом умножения, чтобы получить объем работ. Умножаем двадцать километров длины на километр средней ширины нашего проема, и полученное произведение снова умножаем на двести пятьдесят метров, или на ноль двадцать пять сотых километров. Сделаем это на бумаге.

Михаил Сергеевич вырвал листок из блокнота и крупно написал на нем названные цифры:

$$\begin{aligned} 20 \times 1 &= 20 \\ 20 \times 0,25 &= 5 \end{aligned}$$

Надежда Владимировна следила за подсчетом. Кажется, все было правильным.

— Пять кубических километров?

— Совершенно верно. Пять кубических километров грунта должны мы вынуть и переместить для того, чтобы образовать проем в горах. Для вас, Надежда Владимировна, да и для многих и трудно и легко представить, что такое кубический километр. Попробуем представить. Возвышенность Яргорода, например, в пределах его валов от среднего уровня реки Тьмень, включая кремлевский холм, не превышает по объему пятидесятую долю кубического километра. Таким образом, в кубическом километре пятьдесят и даже больше таких пригородских возвышенностей. Обращаясь снова к цифрам, вспомним, что в кубическом километре миллиард кубических метров. Проверим. Тысяча в кубической степени, или тысяча, помноженная на тысячу да еще на тысячу.

Мацоев снова произвел перемножение на листке блокнота и спросил:

— Кажется, я не ошибаюсь? Таким образом, если в одном кубическом километре миллиард кубометров, то в пяти кубокилометрах пять миллиардов кубических метров грунта. Одна средняя грузовая машина — самосвал — может взять пять кубических метров земли, песка, глины... Это в лучшем случае. Предположим, что машина будет способна взять десять кубометров. Допустим. Такие машины уже есть. Снова прибегаем к вычислениям. Пусть самосвал за день сделает десять ездов, или десять курсирований от места погрузки до места сваливания грунта. Получим сто кубических метров. Сто кубических метров может перевезти самосвал за день.

Смагинцева сказала, перебив Мацоева:

— Но их же будет много...

— Сколько? Сто? Извольте. Пусть тысяча. Перемножаем. Тысяча самосвалов перевезет за день сто тысяч кубических метров. За десять дней миллион кубических метров. А миллиард кубометров, то есть кубический километр, за тысячу дней. Округленно — за три года. А нам надо перевезти пять кубических километров грунта. Вычисляем и получаем пятнадцать. Пятнадцать лет. Три пятилетки. При условии фантастического количества машин и минимального объема работ. Но я говорю о тех способах и механизмах рытья каналов, которые мне известны. Не сомневаюсь, в ближайшие годы появится иная техника, другие машины, и то, что мы делаем за пять лет, будем делать за три, а то и за два года. И все

же даже при очень высокой производительности всегда будут очень и очень серьезно взвешивать, где и что производить.

— Вы правы, но Сусанна и Дюрягин имеют в виду перепуск рек туннельным способом. Я не такой сильный математик, как вы, Михаил Сергеевич, но все же, судя по скорости прокладки Московского метрополитена, полагаю, что нам не потребуется и трех лет для прокладки нашего перепускного туннеля под Уральскими горами.

Михаил Сергеевич согласился любезным кивком. Кивнув, он тут же принялся так же неторопливо приводить свои доводы:

— Вы, Надежда Владимировна, конечно, представляете диаметр трубы-тюбинга Московского метрополитена. Через такую трубу не пропустить и Тьмень. И если даже она уместится в этой трубе, то много ли даст она воды Европе? Пять рек потребуют увеличить в пять раз пропускную способность туннеля.

— Михаил Сергеевич,— предупредила Смагинцева,— я уже окончила семилетку... Кроме диаметра трубы ее пропускная способность зависит и от скорости движения в ней воды. Не так ли?

— Так, Надежда Владимировна. Теперь вижу, что вы разговаривали об этом с Петром Константиновичем Дюрягиным.

— А как же? Я же не только при сем присутствую... И если скорость течения будет вдвое большей, то соответственно меньшая понадобится труба. А если втрое? Если в пять раз?

Мацоеву было трудно сдерживать себя:

— Хорошо, пусть в сто! Но почему туннель нужно прокладывать в этом, именно в этом месте? Не все ли равно для туннеля — высоки горы или низки? Важна протяженность туннеля. Чем он короче, тем лучше и дешевле. Повторяю, я за перепуск рек. Он для европейской части нашей страны не просто желателен, а — необходим. Жизненно необходим. Но почему, спросят меня и всякого другого, эти пять рек нужно перепускать выше Пятиреченского моря и тем самым зачеркивать его? А почему не ниже его запруды? После того, как вода приведет в движение турбины. В этом случае она убьет двух зайцев: электроэнергетического и второго — оросительного. Такой вопрос невольно возникает. А я не знаю, Надежда Владимировна, как на него ответить.

Не знаю. Я этого не изучал, а неизученное для меня всегда терра инкогнита. Нил мне известен. О нем я могу разбуженный среди ночи сделать доклад. Знаю Обь. Тоже только в среднем течении. Знаю ее водный переизбыток, от которого ее необходимо освободить. Я это знаю. Печору и Вычегду я тоже знаю лучше, чем Сусанну и Машеньку Адоеву. А вот где и какие реки нужно перепускать из Азии в Европу, я представляю только «фантазейно».

Заметив, как Мацоев украдкой проглотил таблетку, видя усталость на его лице, Смагинцева вынула из ящика своего стола альбом.

— Это вам, Михаил Сергеевич, на добрую память. От города и от меня. Здесь сто фотографий. Виды города. Его достопримечательные места. Кремль. Башни. Палаты. Улицы. Дом, в котором родилась Сусанна. Школа, где будет преподавать Машенька. Наиболее интересные строения... Вам будет что посмотреть и что вспомнить.

Она поднесла альбом.

— Еще один вопрос. Прямой и последний... Вы исключаете, Михаил Сергеевич, при решении судьбы Пятиречья перепуск рек как... Как перспективно допустимый вариант, противостоящий затоплению, которое вы тоже склонны были называть вариантом?

— Я ничего не исключаю, Надежда Владимировна. Не переоценивайте значение моего доклада. Я всего лишь отвечаю в нем на спрошенное пославшим меня сюда: возможно ли, рентабельно ли море в Пятиречье и возведение ГЭС. Я отвечаю: да, возможно море, возможно и возведение ГЭС. Возможно! Но я в данном случае всего лишь диагностик... Консультант. Обозреватель. Комментатор. Оценщик... Разведчик, если хотите, но не командующий фронтом и не начальник штаба. Я устанавливаю, определяю дислокацию и численность энергетических ресурсов на данной территории, но не решаю, как их применить наиболее полезно для края и государства.

Уже темнело. Тоня давно ушла. В горькоме только дежурный.

— Я вас задержала, Михаил Сергеевич... Простите. Но надо же было выяснить... Хотя, по правде говоря, мы ничего не выяснили. Я благодарю вас... Не прощаюсь... Мы еще увидимся. Я испеку для вас пирог в дорогу...

Дождавшись очередной, на этот раз прощальной, пятницы в доме Адоевых, где собрался узкий круг знакомых, Мацоев хотел, чтобы как можно скорее настало утро его отъезда.

Колокол старой яргородской каланчи малиново отбил пять утра.

Приехал на своем вездеходе Роман Ладушкин. «Амфибия» отслужила Мацоеву. Ее передали городскому Совету.

— Уже пора?

— Да нет, Михаил Сергеевич, еще есть время.

Адоевский дом уже на ногах, кроме Марфы Владимировны. Юлик тоже еще не просыпался. С Сусанной переговорено все. Перефразируя знакомые слова, Мацоев сегодня сказал Сусанне:

— Ты промыла русло в «Сахару». Буду ждать в конце августа. Луша передаст тебе свои квартирные ключи. Провожать не надо.

— Но ты же обещал Юлику.

— Придумай что-нибудь убедительное. Ты это умеешь...

Перед дорогой посидели. Помолчали. Потом начали прощаться. Ольга Максимовна всплакнула. Полихроний Сергеевич тоже смахнул маленькую слезинку. Маша простится там, при посадке. Она проводит шер Мишеля.

Был Михаил Сергеевич в Яргороде, и нет его.

Никто из яргородских жителей не пришел к воротам, не махнул на прощанье некогда любимому, обнадеживающему гостю. Только верная Луша стояла у выезда из города. Она напекла подорожничков. Пирожков и ватрушечек. Чай, не чужой человек. Десять лет под одной крышей прожили. На увале остановились. Мацоев оглянулся на Яргород. Посмотрел на далекие вышки, потом на Ладушкина и сказал:

— Жаль! Очень жаль...

Ладушкин промолчал. Будь бы на месте Мацоева он, у него нашлись бы другие слова. Можно не верить в нефть, но пожелать удачи... Если не удачи, то хотя бы счастливой случайности. Хороший, правдивый человек Михаил Сергеевич. Ему не дана и малая этикетная ложь. Каков он есть, таким пусть и будет.

— Поехали с орехами... Но-но, голуба,— понукал, как лошадь, свой вездеход Ладушкин и, трогаясь, свистнул по-ямщицки.— Оглядываться больше не будем. Дед говорит, что есть примета: оглядывающийся возвращается.

— Я, Роман Тихонович, возвратов не боюсь.

Машенька нашла повод заметить Мацоеву:

— Это радует меня, Михаил Сергеевич!

Мацоев не ответил и снова оглянулся на буровые.

— Никаких признаков, Роман Тихонович?

— Никаких, если не считать повышенного обоняния Рамазана и ворожбы на картах его благоверной.

— Как ни раскидываю их,— сказала Луша,— интерес выпадает на крестовую даму. А крестовая дама у меня и есть Ойль.

Мацоев произнес ничего не значащее «мда», Ладушкин прибавил скорость. Подсохшая после непогоды боковая, идущая рядом с трактом дорога позволяла ехать быстрее, не опасаясь скольжения.

Кончился лес. Открылось поле. Показалась вертолетная площадка. Несколько минут, и нужно будет сказать последние слова Машеньке, Ладушкину, Луше. А что сказать? Общие слова? Ничего не будет говорить он. Оправдываться? Но в чем? Желать? А что желать, кроме доброго здоровья?

Но нужно хотя бы поблагодарить. Нужно. И он благодарит:

— Спасибо, милая Машенька, вам за все, за все... Меня никто так не любил и не полюбит, как вы, родная моя. Я не умею выражать чувств. Только вы знаете, что на свете живет Михаил Мацоев, который все сделает для вас. Все, что может и чего не может.

— Я знаю. Спасибо. Знайте и вы, я тоже не пожелаю для вас ничего.

— Ну вот и объяснились, Машенька.

— И доехали,— продолжила она,— до самой последней черты.

Подбежал носильщик.

— Быстренько, товарищи пассажиры,— попросил он.— Раз, два! Где ваш багаж?

Мацоев расцеловался с Машей, с Лушей и с Ладушкиным.

— Я никому не хотел зла, Роман Тихонович...

— Быстренько, быстренько,— торопил носильщик.

Маша не показала слез, а Луша не сумела сдержаться, когда Мацоев поднимался по лестнице. Она заголодела, как только закрылась дверца вертолета.

Снова подошел носильщик и спросил Ладушкина:

— Неужели взаправду этот рыжий нескладень и есть ученый человек Мацоев?

— В самом деле. А почему об этом вы спросили? — поинтересовалась Машенька.

— Умный, говорят, а недотепал с Пятиречьем...

— В чем же недотепал он?

— Вам известно и без меня. Я здесь недавно... Людей не знаю, реки здешние тоже видел только сверху... И не мне судить. В Москве найдутся судьи. Не сердчайте, если я невзначай через него обидел вас... Не обижайтесь.

— За что же? — сказал Ладушкин и дружески пожал носильщику руку.

LXXV

На конном дворе снова оживленно разговаривали, «быть или не быть Яргороду». На этот раз все сходились на том, что верх будет за каналом. За Дюрягиным. За Сусанной.

Имена Сусанны и Дюрягина назывались в каждом доме. Жалели, что он не выступил по радио. Зато небызывестный «наш корреспондент» в «Трудовой вахте» опубликовал короткую беседу с Петром Константиновичем Дюрягиным, и он ясно ответил:

«Не исключена возможность, что после дальнейшего изучения местности водный путь, соединяющий Европу с Азией, может осуществиться».

Коротко и определенно — «может осуществиться». Читающие понимали, что большего не мог сказать Дюрягин. Но если он говорит «может», значит, можно понимать, что «будет».

Яргородские туристы организовали пеший поход по хоженной тропе к седловине. К походу присоединились и наши молодые кинематографисты Яшин и Рыжаев. Жаль было упустить случай снять места, через которые может пройти канал.

Урман согласился в пятый раз стать проводником. Он знал все и мог дать нужные объяснения без Сусанны.

Сусанна, как мы помним, осталась в Яргороде пред-

ставителем экспедиции. Могли приехать из Москвы, и кто-то должен показать местность, отметки, провести по карте. Жила она по-прежнему у Адоевых. Юлик перешел на попечение Машеньки, у Сусанны была уйма свободного времени. Она могла заняться Евразийским каналом и объяснениями к нему. Об этом настоятельно просил ее Дюрягин.

— Пока да что,— наказывал он ей,— готовьте материалы по каналу. Вы автор. Я ваш консультант, Сусанна.

Работа подвигалась быстро. Аэрофотоснимки были живым наглядным подтверждением карте. Объяснительная записка превращалась в научный труд. Писала его Сусанна без оглядки, зная, что Петр Константинович вычеркнет лишнее, впишет недостающее. Так впоследствии и было.

А пока Яргород ждал решений по докладу Мацоева. Первую весть о предполагаемых решениях привез Вадим Ерастович Гаев.

Он побывал в горкоме и очень «сожалел», что Мацоев отверг его подковообразную плотину, которая сохраняла Яргород.

Надежда Владимировна на это заметила ему прямо:

— Товарищ Гаев, я не верю вашим соболезнованиям. Они и не нужны. Город будет жить во всех случаях. И думаю, что не в худшем виде. Ниже, в семнадцати километрах отсюда, есть аналогичный яр. Такой же высокий берег. И мы перевезем все заслуживающие перевозки. Так что пока рановаты некрологические соболезнования.

— Извините, Надежда Владимировна, я от чистого сердца...

— От какого бы там ни было, товарищ Гаев,— не дала договорить ему Надежда Владимировна.— Скажите лучше, вы предполагаете, что вас назначат главой этого строительства?

— Пока решений нет, но знаю, что море в первых инстанциях встречает одобрение. Что же касается меня, то я надеюсь...

— Я поняла. Если надеетесь, тогда я вас свяжу с представителем экспедиции Михаила Сергеевича. Сейчас я ей позвоню.

В тот же день Сусанна встретилась с Гаевым.

Отрекомендовавшись, Гаев оценил Сусанну:

— Извините, Сусанна Николаевна, но я должен начать с комплиментов.

— Ну что же, начинайте с них. Я даже помогу вам.

— Вот как? Прощу.

— Извольте. Пошляки обычно говорят мне: «Я в первый раз встречаю такую женщину...»

— Считайте меня, Сусанна Николаевна, пошляком. Я эти слова про себя сказал.

— И я впервые встречаю такого мужчину. Все виденные ранее были другими. У одного наглей глаза, у другого меньше самонадеянности...

— У третьего... Не продолжайте. Я уже убежден, что вы зубасты.

— Не жалуюсь и на то, что за зубами.

— Прелестно. Поражен вашим великолепным злословием... Как только мог не влюбиться в вас Мацоев?

— Зато я его без памяти люблю...

— У вас отличный вкус. Светило. Колосс. Лев, если судить по гриве.

— Михаил Сергеевич тоже лестно отзывался о вас и сравнивает также с каким-то из животных...

— С ослом?

— Ну что вы, Вадим Ерастович! Это было бы слишком низко...

— Для осла?

— Для Михаила Сергеевича. Он сравнения выбирает не по внешности, а по тому, что в себе она таит.— Кольнув так Гаева, Сусанна изменила тон и направление разговора: — Завтра у главного причала утром, в девять, вас будет ждать катер. Сопровождать вас я попрошу будущего топографа, студента Сережу Заечкина. С ним пришлю и синьки карт.

Гаеву это не понравилось.

— А почему не вы?

— У меня заказан на завтра разговор с Москвой.

— Перенесите свой заказ.

— Что вы! Это невозможно. Я так беспокоюсь за Михаила Сергеевича.

— Он болен?

— Не очень. У Михаила Сергеевича выпала пломба из коренного зуба. Это случилось перед отъездом. А он вы знаете какой. Совершенно не следит за собой. И я хочу проверить, запломбировал ли он свой зуб. Мне это так необходимо.

Она явно издевалась. Самолюбивому Гаеву хотелось взять начальнический тон.

— Но вы же на службе,— поучающе заметил он,— и ваш служебный долг обязывает вас...

— Простите, Вадим Ерастович, осмелюсь доложить вам, что у меня по службе не было указаний на этот счет. Может быть, они есть у вас, тогда я, разумеется...

— Я не предполагал, что в Яргороде, где известно мое имя, нужны какие-то бумаги.

— А как же без бумаг? Вы же приехали не на прогулку. Но я не формалистка. Хотя бы что-то есть при вас? Командировочное удостоверение или в этом роде...

Гаев замялся:

— Его пришлют. Я торопился на самолет. Вы должны оценить, что во имя дела я не пожалел свой летний отпуск. Энтузиазм заставил меня приехать в Яргород и познакомиться на месте...

— Это похвально, Вадим Ерастович. Я тоже пренебрегла своим отпуском,— она подыскивала вежливые слова отказа.— Ваш энтузиазм восхищает меня, но лишает возможности быть полезной вам.

— Я вас не понимаю, Сусанна Николаевна.

— Понять меня нетрудно. Катер служебный. Его механик тоже не частное лицо, как и Сережа Заечкин, которому я должна буду оплатить поездку. Солярку, масло также нужно каким-то образом списать.

— Я дам расписку, удостоверяю...

— Не сомневаюсь, но в данном случае вы частное лицо. Мне могут не утвердить необоснованный расход.

— А синьки карт?

— Синьки? Вам нужно запросить по телеграфу разрешение на синьки.

— Вы мне не доверяете?

— Вадим Ерастович, я на службе. А карты, как вы знаете, да еще не утвержденные, даются только должностным лицам для служебного пользования. Это не формальность, а закон. На них месторождения торфа, угля, глубины. Вам нужен официальный допуск.

— А где найти этого студента?

— Тьминская, дом три. Заечкин Сергей.

— А если он не согласится?

— Вполне возможно... Но попытайтесь.— Сусанна посмотрела на башенные часы.— Я, кажется, могу быть

свободной. Если понадобится, мой телефон легко запомнить. Три тройки. Три тридцать три.

— Мерси!..

— Всего хорошего. Я очень рада знакомству с вами...

LXXVI

Возвратившись из туристического похода, Урман Иванович, узнав, что с нефтью дело по-прежнему плохо, предпринял новую поездку. Размышляя в походе, он пришел к окончательному заключению, что Ойль родня мансийскому святому старику Ойке. А если это так, то почему бы ему не использовать последнюю меру. Маслом кашу не испортишь. Прощаясь, он сказал жене:

— Не спрашивай, Марья, куда я еду. Надо! Ой как надо, для нефти надо.

В хронике жизни Яргорода отъезд Урмана не был замечен. Занимало другое. Приехала комиссия, названная кем-то «большой комиссией», по нефти, морю и по каналу. Начали с канала.

На этот раз проводником была Сусанна. Транспортным средством стал вертолет.

Примерно в эти же дни прибыли из Москвы пробные ленты. Проявлять пленку Макарьев отсылал в Москву. Там оставляли негатив и посылали позитив для просмотра.

Николай Васильевич, влюбленный в Яргород, прижившийся в нем, открыто называл себя «болельщиком Ойль» и противником каких бы то ни было морей, больших, малых, средних.

Рыжаев привез из похода узкоплечные кинотрофы, обрадовав этим своего наставника.

Все тот же «наш корреспондент» Алексей Михеев в газете «Трудовая вахта» сообщил о предстоящем общественном кинопросмотре отснятых кусков. В корреспонденции говорилось, что Николай Васильевич Макарьев будет сопровождать своим рассказом демонстрацию на экране.

Желающих быть на просмотре набралось по крайней мере сеансов на пять. Пришлось прибегнуть к приглашительным билетам и пообещать остальным повторный показ в один из вечеров на главной площади.

Макарьев возлагал большие надежды, готовясь к просмотру. Он, смонтировав куски, решил не импрови-

зировать, а читать по написанному дикторский текст. Он провел своего рода «генеральную репетицию», пробный прогон, пригласив кроме своих из киногруппы Надежду Владимировну, председателя горисполкома, человек шесть-семь из актива города.

Прогон прошел удачно. Надежда Владимировна посоветовала:

— Не следует только так рьяно и откровенно «наскакивать» на море и «педалировать» на канал, который пока что остается мечтой, притом далекой.

Наступил день показа. Кинотеатр едва не берут штурмом. Негде сесть и тем, кто пришел с приглашенными билетами. Один требует пропустить его вместе с женой, к другому приехал сын-студент, а третьи проникали через запасный выход.

Тесно, жарко. Перед микрофоном Макарьев. Он в нарядном светлом костюме. Глаза сияют. Руки немножечко дрожат. Дебют не дебют, но что-то близкое к премьере.

Он постучал карандашиком по микрофону. Зал стих. Свет еще не погашен. Проектор освещает Макарьева. Он объявляет:

— Товарищи! Друзья нашего рождающегося кинофильма! Сегодня необычный для вас и для нашей киногруппы черновой просмотр киносюжетов, из которого далеко не все войдут в фильм. Прошу вооружиться карандашами или мобилизовать свою память, чтобы потом сделать замечания, отметить понравившееся, подсказать недостающее. Словом, вы первые критики, соавторы фильма о вашем прекрасном, древнем городе с большим будущим,— не удержался он, зная, что этого не нужно было говорить.— С большим будущим,— поправился Макарьев,— на этом яре или на другом. Не место красит город, как и человека, а город и его граждане красят место.

Вспыхнувшие было аплодисменты «захлебнулись», как только он сказал «на этом яре или на другом». Члены «большой комиссии» многозначительно переглянулись, и кто-то из них так же многозначительно кашлянул. Многие из сидящих в зале обернулись на ложи.

— Хочу предупредить,— тем же «ворковитым» голосом предупредил Макарьев, переглянувшись с Вуколом Ладушкиным.— Хочу предупредить, товарищи, что на экране вы пока увидите всего лишь сырые заготовки.

Поэтому не будьте строги, если в панорамный сюжет ворвется плясовой, а в бытовой сюжет ворвутся производственные кадры. Спасибо за внимание. Гасите свет. Мотор! Начинаем...

LXXVII

На экране появилась надпись: «Сюжеты из фильма, пока еще не получившего названия». И сразу же затемнение, затем медленное посветление. Восход солнца. В его лучах на козлах восседает Вукол Лукич Ладушкин.

Первые аплодисменты.

— С этого угора,—начал сопроводительный текст Макарьев,—наш уважаемый Вукол Лукич Ладушкин нам показал город и сказал: «Вот он, чудо-юдо, наш Яргород».

На экране в розовых красках утра Яргород. В зале рев восторга.

Крупно показаны катящиеся колеса тарантаса, а затем улицы, площади, дома, кремль, колодцы... Знакомое, родное понятно и без дикторского текста.

— Город просыпается,—объявляет Макарьев.

Женщины с ведрами. Выгон стада. Грачи на березах. Вереница спешащих на работу. Идет Рамазан, беседуя с товарищами по буровой. Через проходную деревообделочного комбината проходят знакомые рабочие. Поет петух. Просыпается мальчик-школьник. Открывается газетный киоск. Катер мчится по Тьмини. Цветет черемуха. Опускается бур в недра. Взволнованный Роман Ладушкин. Смеющиеся лица рабочих. Распахиваются двери школы. Гурьба школьников.

— Это для запева нашего фильма. Что-то доснимается еще, что-то уберется... Не забывайте о своих карандашах, товарищи соавторы,—просит Макарьев.—Теперь сюжеты, снятые с вертолета... Смотрите, как богато зеленое царство Пятиречья... Как зеркальны и ленивы его реки. Невольно спрашиваешь реки: «Течете ли вы? Если течете, то куда и зачем?»

В зале снова аплодисменты. Слышен чей-то поющий молодой голос: «Гей, Сусанна! Гей, Сусанна!» Несколько других таких же молодых девичьих голосов продолжили песню: «Как прекрасна наша жизнь».

Этого не было предусмотрено. Спелось само собой.

— Да, жизнь наша прекрасна, товарищи,— вне писаного текста говорит Макарьев.— Богатейшие запасы первосортнейшего торфа... А вот и уголь высунул свой бурый нос, будто просится в топки котлов... И только красавица Ойль, так всеми ожидаемая нефть, прячась в своих глубинах, не хочет показаться породившему ее солнцу! Зато те, кто ее ждет, кто грезит ею, приглашают ее в своих плясках.

Зал ахнул, увидев на экране на фоне буровой танцующую Саиду. Смуглые руки, смуглые ноги, смуглое лицо озарены солнечным светом. Яков Яшин умело применил прожектор.

— Это наша известная Саида Рамазановна Рыжаева исполняет танец, обращенный к солнцу и недрам. К сказочной владычице темных морей Ойль. Не знаю, как вас, товарищи, а меня волнует это танцевальное моление о нефти...

В зале снова гул, гром, крики...

Комиссия растрогана. Рамазан взволнован. Он утирает лоб, щеки и заодно глаза платком, сунутым ему Лушей.

— Теперь, товарищи, от поэзии к прозе. На экране грязелечебница мечтателя и энтузиаста доктора Филиппа Павловича Маркина. Если вы здесь, Филипп Павлович, то, пользуясь случаем, публично выражаю благодарность вам и вашей чудесной грязи, в которой я оставил свой радикулит,— говорит Макарьев и снова возвращается к тексту: — Это лагерь, город полотняный... Шумливы его улицы... Приехали лечиться из всех краев и даже из зарубежных стран...

За кадрами грязелечебного санатория показываются кадры зверопитомника. Голова мигающей лисы во весь экран. Затем лиса уходит вглубь и оказывается на руках Урмана.

— Еще один энтузиаст. Зверовод Урман Иванович Урманов. Звери у него в неволе и на воле. Кто знает, какая ждет их участь... Участь этой лисы: превращение в горжет нашей общей знакомой Ольги Максимовны Адосовой.

На экране Ольга Максимовна. Она в магазине примеряет горжет, и тут же связки пушнины.

— А этим шкуркам предстоит отправиться на аукцион и затем в Европу. Теперь еще один энтузиаст, вернее, коллектив энтузиастов во главе с Иваном Николаевичем

Иволгиным... Цветная пленка позволяет нам полюбоваться игрой древесного узора яргородской фанеры. Увы! Ее недостает... Кто просит сто листов, получает пять-шесть. Иван Николаевич мечтает о новом большом фанерном комбинате.

На экране большой фанерный комбинат.

— О таком,— поясняет Николай Васильевич.— Комбинат пока еще на ватманской бумаге архитектора Бориса Михайловича. Вот он за работой. А этот бывший сеновал теперь его архитектурная галерея. Приглашаю вас на сеновал. В мечту о завтрашнем индустриальном кольце Яргорода.

В зале тишина. Один комбинат сменяется другим, третьим... Генеральные планы, аксонометрические чертежи в красках. И все дается крупно, сюрпризно, выразительно. В голосе Макарьева легкая грусть, ирония и восторженность достигают своей цели. Члены комиссии что-то записывают в блокноты. Надежда Владимировна видит, какое впечатление производит «шиловский сарай».

— А это, товарищи, Яргород, или, можно сказать, Ново-Яргород, в пылкой мечте большого, талантливого архитектора, проекты которого ожили во многих краях нашей страны. Он... Борис Михайлович Шилов, как и Урман Иванович, как и доктор Маркин, как и мой друг Рамазан Нуруллович Маметкулов, и теперь, пожалуй, также и я, иногородний яргородец Николай Макарьев, тоже, как и Шилов, парим в облаках и, нежно-сыновне любя этот город на юру, желаем ему большой индустриальной славы. Славы, достойной наших пятилетних планов, решений нашей партии, нашего завтрашнего дня.

Говоримое подтверждается на экране, где новый город в большом кольце заводов и в малом кольце жилых новостроек.

— Кто знает, каким будет Яргород,— размышляет вслух Макарьев и как бы между прочим сообщает: — Поэт об этом сказал...

Звучит сокращенный текст стихов Зотова:

И Яргород, не утонув, быть может, озарит
Дерзання, поиски, надежды наши...
И наши трепетные маленькие «я»
Своей большой заглавной буквой «Я»
В молве и памяти людской увековечит...

На экране крупная золотая буква «Я» в орнаментальной вязи, обрамляющей вензель.

— Теперь пятиминутный перерыв, и снова предоставим слово киноаппарату. На этот раз узкоплечному.

LXXVIII

В зале свет. Оживленный обмен мнениями. Из лож члены комиссии направляются к Макарьеву. Жмут ему руки. Кто-то говорит: «Очень смело», кто-то: «Не слишком ли оптимистичны вы, товарищ Макарьев?»

Николай Васильевич независимо отвечает:

— Так это же только пленка. Ее можно сдать в архив или перекроить... Выбросить нефть, заменить морем или каналом...— хитрит Макарьев.— Жизнь доскажет финал фильма.

Снова вопрос:

— А вы каким его видите, товарищ Макарьев?

— Объективным... От слова «объектив». Наше дело — снимать то, что есть.

Еще вопрос:

— А почему же вы, если вы объективны от слова «объектив», не захватили в поле зрения проектируемое море?

Макарьев поднял плечи, склонил «повинную» голову:

— Казните! Не сумел, не мог. Это же документальный фильм. Не скрою, можно было снять крупным планом озерцо или даже лужу. Включить вентилятор — и будут волны. Настоящие морские волны. Но это область штучек-мучек комбинированных съемок... Приятно бы показать карту Михаила Сергеевича Мацоева, но она, как мне сказали, не получила нужных виз...

— Получит, получит очень скоро.— Эти слова произнес Гаев.

— Тогда и снимем. Соорудим макет плотины. А пока я не вправе.

Гаев снова бросил реплику:

— Однако же, Николай Васильевич, Евразийский канал вами снят...

— Мною? Можно ли так говорить о любительской съемке Юрия Рыжаева, участвовавшего в туристическом походе? Можно и не показывать эту его личную пленку.

— Нет, почему же,— сказал член комиссии, назвавший невнятно свою фамилию, знакомясь с Макарь-

свым.— Нужно показать. Доктор и профессор Дюрягин по этому поводу выступал по телевидению и в печати. Канал и его проектант заинтересовали многих в сферах уважаемых и серьезных. Думаю, что там,— заметил он,— хотя и не кричали: «Гей, Сусанна!» — но ее имя называлось. Фильм товарища Рыжаева нужно показать.

— Если нужно,— сыграл уступчивого и послушного человека Макарьев,— покажем! Юрочка... Юрий Павлович! Тебе показывать свою стряпню, тебе и комментировать.

— Извольте! Я готов!

Снова погас свет. И снова куски фильма. Это уже были не тот цвет и другая освещенность, все же увиденное впечатляло.

— Наш первый привал,— начал Рыжаев.— Где-то в этом месте будут... Вернее, могут быть преграждены плотиной реки. Это в двух десятках километров выше Яргорода.

На экране река. Молодые люди в трусиках и майках идут, потом плывут по реке и натягивают над нею бечеву.

— Это мои товарищи хотят изобразить плотину. Плотину,— добавил он,— которая пройдет... Которая может пройти через три или четыре реки. А может, и все пять... Теперь несколько затемненные кадры. Была плохая погода и неудачная проявка...

Показывается длинная цепочка туристов.

— Они, если так можно сказать, изображают предполагаемое направление русла канала. Сейчас вы его увидите на карте, которую любезно разрешила заснять Сусанна Николаевна Веригина. Вот она! Линия канала показана пунктиром. Он, как видите, идет почти без изгибов. А это второй вариант наиболее спрямленного, но более дорогого и трудоемкого канала.

На экране Сусанна показывает карандашом направление канала, изображенного на карте, висящей на стене.

— Дальше,— предупреждает Рыжаев,— однообразные кадры пути следования туристов по тайге... Обратите внимание на засечки. По этим засечкам теперь можно пройти и без проводника. А сейчас, мне кажется, самое интересное. Седловина Уральских гор. Вот это общий ее вид... А это опять туристическая цепочка, изображающая трассу Евразийского канала.

Четкая съемка, хороший цвет, «пунктирная линия» представлена нескончаемо длинной вереницей туристов.

— Привал! — произносит как команду Рыжаев. — Столб, вкопанный нами. Сейчас вы увидите на нем надписи: «Азия». С другой стороны — «Европа». А вот и самый водораздел... Этот ручеек течет в нашу, азиатскую сторону... А этот туда. За Урал. За точность водораздела не отвечаю. Устанавливал его Урман Иванович, потом подтвердил профессор Дюрягин Петр Константинович. И теперь последнее. Это наши ребята вырыли небольшое подобие начала туннеля. А потом решили сняться в этом туннеле. И наконец, самое последнее. Это кварц с вкраплением золотых крупиц. Урман Иванович сказал, что это счастливая находка. Видите, кварц на его руке. Находку хотели подарить Сусанне Николаевне, а она передала ее музею. Наверно, это правильнее.

Рука Урмана, укрупняясь, как бы надвигалась на зрителя. Найденный кусок кварца становился больше и больше, занимая весь экран. На нем проступила надпись: «Конец».

Автор и оператор фильма не мог обижаться на овации. Ему аплодировали и в ложах члены «большой комиссии».

А молодые люди, участвовавшие в туристическом походе, подбежали к Рыжаеву:

— Качать его, качать!

Юрия несколько раз подбросили в воздух.

Затем это же хотели повторить с Сусанной.

— Вы с ума сошли, ребята! — испуганно отбивалась Сусанна, держась за Полихрония Сергеевича. — Я же не в спецовке, а в юбке...

Снова хохот.

Сказанное Сусанной передавалось по рядам, и хохот нарастал.

LXXIX

Обещанный показ фрагментов фильма на Главной площади состоялся на другой день. Сидели и на крышах, и на деревьях. По просьбе комиссии куски показывались в сокращенном виде, и «дикторский текст» просили тоже освободить от некоторых «подтекстов», но впечатление было не меньшим, а несравненно большим.

Показанное разбиралось и школьниками.

Макарьев торжествовал. Он разжег страсти. В комиссии тоже начались дебаты. А остальное шло своим чередом.

Сусанна получила от Мацоева письмо, которое радовало ее и огорчало.

«Милая Сусанна! Стыжусь признаться, но тоскую. Наверно, снова турнут в Яргород. Тогда мне капут...»

А дальше шли огорчительные для Сусанны торопливые строки:

«...Мой «морской вариант», кажется, будет утвержден. Так угрожают консультанты и референты. Я не торжествую, как и прежде. Дважды два не даст ни пять, ни три, и тем более не нуль. Я слышал, что послана на этот раз последняя комиссия и снова смешанная. Не исключено, что снова будут смешаны и торф, и нефть, и реки. А теперь о твоей миленькой «евразийской утопии». Петр Константинович по первой программе телевидения с несвойственной ему экспрессией «мечтал» на весь белый свет, хотя и с некоторыми оговорками, о судоходстве через или «сквозь» Урал. Если бы он был моложе, то я бы заподозрил в... Сама заполни эти строчки. Он только не признавался тебе в любви, а в остальном производил тебя чуть не в члены-корреспонденты Академии наук. У меня создалось такое впечатление, что он впадает в... юность. Что же касается Гаева, его, кажется, метят в первые замы на Яргородскую ГЭС. Так что выводы напрашиваются сами собой».

Письмо завершалось:

«Сусанна, до получи у буха мою полевую надбавку и за работу на дальнем расстоянии и купи к Машенькиному дню рождения, ты знаешь, что именно нужно купить. Люблю ее безмерно, нежно и сердечно: некто Мацоев-Рыжоев».

Сусанна прочитала выдержки из письма Маше. Какие же от нее могут быть секреты. Письмо было полностью прочитано Роману Ладушкину. Читалось оно не без умысла, и в заключении было сказано:

— Не будь размазней. В имени Ромаша есть другое имя — Маша. И это не случайно. — Она подняла глаза к небу. — О провидение! Вразуми безумца!

— Да нет, Сусанна, Ромаша не по Маше. И больше об этом не надо — ни всерьез, ни в шутку. Обижусь...

— Обижайся, но помни, что ты тоже Мацоев, только

в другой редакции. Жизнь тебя отредактирует, а ей я помогу. Теперь у меня есть некоторый навык.

— Отредактируйся прежде сама...— невесело улыбнулся Ладушкин.

LXXX

Эта глава о невероятном. Невероятном во сне и наяву.

Письмо Мацоева разволновало Машу. Неужели нужно постепенно готовить себя к неизбежному? Правда, пройдет два года, а может быть три, пока возведут плотину и насыпят дамбу, но это, видимо, произойдет.

Городской землемер уже в порядке самостоятельности планирует новый Яргород на нижнем яре без названия. Никто не хочет верить в переезд города, но на всякий случай готовят исходные рубежи.

Тревожно в городе. Тревожно в Машенькиной душе. Чтобы успокоиться, она обратилась к бабушкиному средству, к валерьяновым каплям. Она знала, что эти капли проверены временем, но злоупотребила дозой. И развела в теплой воде весь пузырек. Ей не было известно, что валерьянка дважды снотворна. Снотворна, как средство от бессонницы, и снотворна в смысле сотворения сновидений. И капли сотворили кошмарный сон.

Море затопляло вал. Через вал оно хлынуло на Приваловую улицу и в сад Адоевых, затем через окна полилось в дом, и Маша поплыла.

Сазан, похожий на того, что был подан к столу перед отъездом Мацоева, только во много раз больший и почему-то с усами сома, сказал Маше:

— Я тебя спасу! Спасу! Но ты должна стать рыбой!

Маше ничего не оставалось: она тонула, погружаясь вместе с кроватью.

— Хорошо,— ответила она усатому сазану.— Я буду рыбой. Но какой?

— Нельмой! Хочешь?

— Лучше какой-нибудь несъедобной,— попросила Маша.

— Будь по-твоему,— сказал сазан и превратил ее в аквариумную широкую полосато-серебристую рыбку.

Маша обрадованно поплыла по знакомым улицам, заплыла в свою школу, потом вокруг мраморного бюста ее деда Максима Леонтьевича Адоева. Ей встречались

окуни, ерши, зубастые щуки... Одна даже бросилась за ней, но Маша крикнула ей:

— Чур! Я несъедобна!

Щука покорно закрыла свой зубастый рот и уплыла. А Маша незаметно для себя оказалась на буровой Рамазана. Он был в водолажном костюме и продолжал бурение. И вдруг...

И вдруг из скважины появились черные пузыри, а за ними нефтяной фонтан. Фонтан бил с такой силой, что поверхность моря стала темной и невозможно было дышать... Она крикнула:

— Мне душно!

В комнату вбежала мать и сказала:

— Надо открывать окно!

Ольга Максимовна открыла окно. Маша с опаской посмотрела в сад. Там сухо.

— Какой я нелепый видела сон!

— В такой духоте хорошее не приснится. Рассказывай!

Пока Маша рассказывала сон, сторож на буровой рассказал о яви, которая произошла ночью:

— Сiju это я, братцы, малость подремываю и вдруг слышу, кто-то бьет в бубен и чем-то такое звякает. Темнехонько. Я в карман за фонарем. Нажал кнопку, навел луч на то место, откуда слышалось, как кто-то бьет в бубен и наговаривает, как шальной, не поймешь что. Гляжу — шаман!

— Какой шаман? — спросил Рамазан. — Ты не хватил с вечера?

— Я третий год ни синь-пороха, ни рюмки. Я за ружье. И фонарик не отпускаю, а шаман уж пеной исходит... Весь в лентах и тряпье цветастом... Шаманит на полную железку! Гляжу, с бочку его Урман. С кнутом! И нет-нет да подстегивает его!

«Пуще шамань! Прибавлю!» И как звезданет его, а тот еле пляшет. Все рыло в мыле, и слышу знакомое словцо: «Ойль!» Раза четыре он так проойкал — и бац. Как мертвый. Урман дал ему что-то такое нюхнуть. Плеснул из фляги на его харю, смысл пену. Шамана засудорожило.

— А ты стоишь и молчишь? — прикрикнул Рамазан.

— Какое там молчу. Гоню! А Урман бес бесом: «Не трожь! Он свое дело знает! Будет нефть». И поволок в кусты шамана. А тот еле-еле оклемавается.

История с шаманом стала известна в Яргороде. Как быть? Выход нашелся. Вызвали персонального пенсионера Евстигнеева:

— Ты, Митрофан Григорьевич, по культам, тебе и говорить с Урманом.

Евстигнеев отправился к Урману. Он дома. Шаман храпел в сенцах под лавкой. Пьяней вина.

— Как же это, Урман Иванович... К лицу ли тебе этикие обряды?

Урман не оправдывался, не отрицал и утверждал свое. Он начал с Ойки.

— Я ни в какого бога не верю. В его пророка Ойку тоже не верю. Но старики говорят, что Ойка ой-ой как им помогал. Почему не проверить. А вдруг да Ойль дочь Ойки или сестра?

— Какая же сестра? — сердился Евстигнеев. — Ойль же из сказки. Из сказки! Понял?

— Как не понять, Митрофан Григорьевич. Понимаю. Ойка тоже из сказки. А вдруг?

— Что вдруг?

— Вдруг сказка не врет!

— Урман, ты же передовой человек. Умный.

— Не дурак.

— Не дурак, а привез шамана.

— А что шаман? Шаман тот же поп Евложка. Твоей мамаше можно «господи помилуй», а другим нельзя «тра-ля-ля»? Разве я для себя привез шамана, а не для всех?

Евстигнеев устал спорить с Урманом. Да и нет никакого спора. Виноват Зотов. На кой ляд ему было рассказывать сказку. Митрофан Григорьевич теперь спорил с самим собой. Ему очень хотелось, осуждая Урмана, оправдать его. Он же на самом деле старался для людей. Для Яргорода. Как ни смешны надежды, что шаман вызовет Ойль, но Урман по-своему был прав. Он решил испробовать последнее, призвать на помощь божество своих дедов. Евстигнеев даже склонен был видеть в некотором роде подвиг Урмана. Гонял в такую даль. Нашел шамана. Не пожалел денег. Подстегивал кнутом шамана, лишь бы его бубен, его бормотанье дошло до Ойки и до Ойль.

Это ужасно! Но если уж быть справедливым, то чем его дикое моление принципиально разнится от всякого другого, разве только неприглядностью.

Нет, нужно быть справедливым. Хвалить не за что, но и глумиться тоже невозможно.

— Забудем, Урман, наш разговор. Как стемнеет, увези своего шамана, и концы в воду.

— В воду,—повторил Урман.— Я всегда знал, ты, товарищ Евстигнеев, ой-ой какой хороший человек. Не поможет, и лешак с ним. А вдруг поможет? Почему не попробовать? Пробовать теперь нужно все. Макарьев Николай Васильевич тоже пробует. В гости шамана зовет.

— Зачем же это?

— Снимать будет. Народу показывать. Америке картину продаст. Бо-ольшие, ой-ой большие деньги финансовый отдел получит.

— Тьфу! — Этим закончил Евстигнеев разговор с Урманом Ивановичем Урмановым.

LXXXI

Но на этом не закончилось моление об Ойль, которую старухи, исповедующие православие, называли именем Ольга. Недаром Ольга Адоева завела этот разговор. Бог знает, кому и что вложить в уста. Поэтому нужно служить молебен святой княгине Ольге.

Идолопоклонец Урманко служит, а им, коренным, старым яргородкам, разве запрет. И если нефть хлынет, выйдет, что ее вызвал из преисподней шайтан, а не господь бог.

Нет попа? Добыть. Из области доставить. А лучше всего заставить Евложку отслужить молебен. Похабен, но еще пока не расстрижен. Откажется — за волосы и на буровые.

Евлогий отбился от старух руками и ногами.

Оставалось последнее. Заставить старую Евстигнееву, знающую наизусть обедни и молебны, отслужить всенощное бдение в церкви.

Евстигнеева, мать Митрофана Григорьевича Евстигнеева, в черном кашемировом платье, со скуфьей на голове поверх платка, вместе с псаломщиком при стечении более сорока старух отслужила подобие всенощной во славу покровительницы земных даров княгини Ольги.

Приплелась блаженная в веригах и выкрикивала не хуже шамана во время ночного моления:

— Хлынь, пресвятая Ольга! Хлынь!

Наутро Матрофану Григорьевичу Евстигнееву пришлось разговаривать с первым секретарем:

— А что я могу сделать, Надежда Владимировна? Что? Не поднимать же руку на мать? Не укорачивать же ей жизнь? Может быть, и ваша бабушка, Надежда Владимировна, на ночь под одеялом осеняет себя крестным знамением?

— Моя бабушка не имеет отношения к этому делу, товарищ Евстигнеев. Я же не собираюсь прорабатывать вас, но вы же, пусть на общественных началах, занимаетесь культами, и хоть какое-то влияние должно быть с вашей стороны.

— Влияние? Матери девяносто три. Пойди повлияй. Мулла в Якшине, говорят, тоже молится за удачу безверного Рамазана. Что же ему, рот чалмой затыкать? Еще не то будет, если комиссия прихлопнет разведку нефти. Не я сеял темень в души. Религия, Надежда Владимировна, не «трень-брень»... Поговорите сами с Урманом. Добрее человека не скоро сыщешь. Какой отец! Какой муж! Собаку не обидит. А как нахаживал ремненным кнутом шамана. До крови, сторож говорит, хлестал. Лишь бы выжать из него все заклятья, какие только есть.

— Неужели он бил его? Это просто зверство! Выпроводили шамана?

— Какое там! Макарьев не дал.

— Зачем он понадобился ему?

— Сюжет, гбворит... В Америке с руками оторвут такую пляску-тряску с бубном, с пеной, с подвесками и все такое прочее.

— И где же он теперь, этот шаман?

— Шаманит перед аппаратом на Сохатом мысу.

— Невероятно, что происходит.

— Кабы только он один. Нашли бы общий язык. Рамазан телеграмму дал в Верховный Совет... Требуется дать добурить еще сколько там, не знаю, сколько метров. Нефтяные начальники ему и так и сяк, и то и это... А он перевел много денег на их счет. Боятся, говорит, рисковать... Плачу за рюк... Его бригада соглашается работать без копыя. В фонд пятилетки... Все заваривается куда как круто. Гаеву в номере нагаили коровьих отходов. К какому это культу отнести... Евстигнеев тут ни ухом ни рылом.

Вошла секретарша Тоня:

— Телеграмма, Надежда Владимировна. О демонтаже буровых...

Евстигнеев посмотрел в окно:

— Никак опять темнеет... Успею, думаю, добраться до дождя... И откуда только эти грозы?

Надежда Владимировна, простившись с Евстигнеевым, сказала Тоне:

— Закрой окна. И не соединяй меня ни с кем по телефону...

— Ясно, Надежда Владимировна.— Тоня ушла, закрыла за собою дверь и выдернула из нее ключ.

LXXXII

Макарьев связался с Москвой и сообщил, что демонтаж буровых срывает ему съемки.

Всемогущее кино на десять дней приостановило демонтаж. Прилетели еще два оператора и начали до съемку.

Николай Васильевич рассуждал так:

— Будет в Яргороде нефть или не будет, в нашем фильме она должна быть. Переназовем город каким-нибудь Тьминь-городом, Вышгородом. Фильм просится стать игровым... Фонтан должен забить! Ночью, скажем, или утром, когда уставший буровой мастер прилег на часок вздремнуть, ему приснилась Ойль! Товарищи,— обратился он к группе,— мы не имеем права лишать миллионы зрителей такого типичного для нашего времени фильма! Нефть фонтанирует по всей Сибири... И это жизнь! Правда жизни! А если это так, она должна стать правдой нашего великого искусства...

Это же Макарьев повторит в пятницу у Адоевых. Пятница совпадает с днем рождения Машеньки. Соберутся гости всех возрастов.

Наступила пятница. Наступил день рождения Машеньки Адоевой.

Подарок от Мацоева Сусанна вчера ночью поставила в столовой. Им был голубой мотороллер, покрытый чехлом с вышитым золотисто-рыжими нитками вензелем. Вензель состоял из трех букв «М», обрамленных крупными ромашками.

Машенька проснулась, разбуженная будильником, поставленным на шесть утра, чтобы первый поцелуй был мамин. Маша, как и прежде, обнимет колени матери и

скажет ей: «Спасибо, мамочка, тебе за день и час моего рождения».

Маша родилась в шесть часов утра.

Выбежав из своей комнаты в длинной ночной рубашке, она обмерла, увидя мотороллер.

— Кто это мог подарить его?

Под столом ответил женский голос, притворившийся мужским:

— Я написал вам, Машенька... Три буквы... Три буквы,— пропел голос, как Герман в «Пиковой даме».

— А что значат эти три буквы, таинственный и очень: незнакомый сюрпризик?

Сусанна выползла из-под стола и так же нараспев ответила:

— «М» первое означает — милой... Второе «М»...

— Я догадалась... Мне Маше. А третье?

Вошла Ольга Максимовна.

— Мацюев, доченька. Мацюев. Поздравляю тебя, моя волнушечка...

— Нет, прежде я, мама.— Маша присела, обняла колени матери и сказала: — Спасибо, мамочка, тебе... Ты знаешь за что!

Мать и дочь обнялись.

— Теперь ты, «Гей»! — подошла она к Сусанне.

— Целую от имени всех рыжих,— она поцеловала Машеньку.— И от всех счастливых семьдесят семь поцелуев... И от них же маленький подарок. В цвет глазам и мотороллеру.— Сусанна подарила колечко с бирюзой.

Колечко тут же оказалось на пальце, а Маша — на мотороллере. Он завелся с первого нажима на педаль.

— С ума ты...

— Я только попробовала.

— Хороша проба... Не проветришь и за неделю...

— Провеетрив мигом,— Сусанна открыла окно.— Я бы тоже на месте Маши завела его и погудела бы на весь дом!

Машенька, не слезая с мотороллера, нажала кнопку сигнала:

— Первый короткий! Бабушка, вставай! Второй короткий! Входите, Полихроний Сергеевич! И третий длинный... Для Москвы... Спасибо, шер Мишелы!

До завтрака Машенька, наскоро одевшись, помчалась на мотороллере к Ладушкиным. Дом оказался на замке. Соседка, живущая рядом, сказала:

— Роман ушел до света. Вукол в отъезде. А приходящая ихняя, наверно, на базаре.

— Жаль. Ну, ничего. Поздравит вечером.

Маша выплела из косы ленту и бантом завязала ее на скобке двери. Ромаша догадается.

Теперь остается сделать круг по Приваловой улице, и можно считать, что день рождения начался счастливо. Жаль, что нет Юлика. Его бы первым нужно прокатить было на отцовском подарке. Юлик еще прокатится. Ему не до мотороллеров. Его взяли в настоящий пионерский поход, на целую неделю. Жюли тоже в походе. Она запряжена в тележку с продуктами.

Веселое лето! Счастливые дни!

LXXXIII

К завтраку явились Рыжаев и Саида.

— Я,— сказала Саида,— в помощь «ханум-лукум». А Юра при мне, кухонным мужиком.

На руке Маши появился старинный широкий татарский серебряный браслет. Вторым подарком молодой четы был голубой шлем.

— Это от меня! — приподнес его Юрий. — По правилам уличного движения шлем обязателен.

— Спасибо, Юрочка! Кто это подсказал вам такой подарок?

— Михаил Сергеевич! — смеясь, солгал Рыжаев. — Дал телеграмму, в которой назвал цвет и размер шлема.

— Как он предупредителен! Спасибо вам, шер Мишель. — При этих словах Маша поклонилась Сусанне. — Только почему же вы, мой кузен, забыли прислать мне поздравительную телеграмму?

— Ну, что вы, Машенька, — снова подражала Сусанна голосу Мацоева. — Как я мог забыть. Телеграмму я послал вчера и вручаю вам ее сегодня.

Маша вслух прочла телеграмму: «Двадцать два раза целую и двадцать два раза обнимаю мою двадцатидвухлетнюю кузину, милую Машеньку. Михаил Мацоев».

— Мама, — спохватилась Машенька. — Уже двадцать два. В Яргороде в двадцать два года девушку называют старой девой!

— Так называют девушек, а не девчонок, — сказала Ольга Максимовна. — Тебе до двадцати двух многого недостает... — В подтверждение к сказанному она закаш-

лялась.— Все еще дымно в доме. Вы представляете, Юрий, эта двадцатидвухлетняя особа вздумала пробовать свой мотороллер дома. Здесь. На этом месте.

— Как прелестно, Ольга Максимовна! Это нужно повторить для киноплёнки.

— И повторю, Юрочка. Мне тоже хочется попасть в ваш фильм. Хоть бы мелькнуть в нем и потом всю жизнь хвалиться этим. Как хочется мне сегодня быть еще глупее... Вы знаете, Юрочка, я надену шлем. Он предохранит меня от поумнения.

Машенька надела голубой шлем, села верхом на стул, взявшись за его спинку, как за ручки мотороллера, крикнула:

— С дороги, с дороги, куриные ноги! Мне уже двадцать два с немногим!.. С тремя часами. Двадцать два и три часа! Я смеюсь, а маятник,— Маша указала пальцем на часы,— прибавляет секунды за секундой мой возраст! Теперь ты видишь, мама, как я взрослею!

— Вижу и прошу всех к столу,— пригласила Ольга Максимовна.— Завтрак будет легким, чтобы не занимать место, предуготованное для ужина. Саида, хозяйничай... Почему же не заехал утром Ром-Ромашевич?

— Зато приедет рано вечером. У них сегодня короткий день,— сказала Саида и занялась столом.

Луша по старой дружбе согласилась поухарить и привезла корзину своих тарелок.

— И то, наверно, мало будет,— сокрушалась она.— Могут навернуться и незваные. Гаев уже с утра набился гостем.

Гаев приходил утром. Принес букет чайных роз. Маше пришлось сказать, что она рада будет видеть его вечером. Он поблагодарил. Ему хочется втереться в круг друзей Адоевых. Хочется установить хорошие отношения с подающей большие надежды Сусанной Николаевной. Не беда, что заглазно она третирует его. Стоит ли на это обращать внимание. Не лучше ли на всякий случай быть с нею учтивее, отдавать ей должное. Она и в самом деле может оказаться на коне. Для этого немало «ситуаций».

Гаев, побывав на месте сближения увалов, познакомившись очень внимательно с синьками, прикинув размеры «большого моря», подумал:

«А что, если Мацоев, говоря об этом море как о единственно возможном варианте, хитрит?»

Так он подумал потому, что усомнился в осуществимости «большого моря». Впервые эта мысль заползла в его голову после просмотра кусков макарьевского фильма. А теперь его наводят на размышления гигантские объемы земляных работ и чудовищные площади затопления. И он представил, как может все это осложнить решение вопроса. В конечных инстанциях непременно спросят о затратах и сопоставят их с мощностью Яргородской ГЭС, которая далеко не станет в первый десяток своих старших сестер. Не так же ли рассуждал Мацоев, чтобы скомпрометировать окончательно «малое море» Гаева, выдвигая явно несостоятельное — большое свое?

Может случиться всякое, особенно после телевизионного выступления Дюрягина. Канал в главном нерве водного переустройства страны. Поэтому он должен сегодня же вечером у Адоевых слегка и между прочим усомниться в строительстве Яргородской ГЭС и также вскользь коснуться новых способов крепления туннелей на скальном естественном основании.

Скорей бы вечер...

LXXXIV

Вечер пока еще далек. Вадим Ерастович успеет словесно скомпоновать, комплементарно упаковать свои мысли относительно Евразийского канала, который вполне можно назвать Евразийско-Веригинским. Не один же он пройдет через Урал, и надо как-то различать каналы. Он и различит.

Думая о канале впрок и на всякий случай, Гаев, незаметно для себя, увлекался им. Авантюрный по своей природе, стремясь быть на виду, он хотел стать замеченным во что бы то ни стало. Гаев не интересовался, куда потекут пятиреченские воды, сколько кубических километров воды дадут они югу страны. Его манило другое. Шум. «Первопроходчество». Возможность блеснуть: «Я и... некоторые мои товарищи указываем новый путь течению старых рек». Разве это не заманчиво?

Строительством очередной, еще одной гидроэлектростанции, которым в стране потерян счет, никого не удивишь, если даже его назначат начальником строительства. А это сомнительно, коли рассуждать трезво. Спрашивается, не лучше ли на Евразийском канале стать

хотя бы... Безразлично кем! Во всех случаях его заметят. Поэтому нужно не когда-то, а теперь примкнуть к Дюрягину и тем самым расположить Веригину.

Но как?

Очень просто. Есть старый способ. Интервью или публикация статьи в газете. Сначала нейтральной, осторожной, а потом и...

А потом покажет ход событий. Как хорошо, что его сегодня пригласили к Адоевым, и как плохо, что так долго тянется день.

В доме Адоевых этого не замечали. Там день стремителен в хлопотах приготовлений к вечеру, в поздравлениях по телефону, в приеме дневных гостей. Они припожаловали двумя отрядами. В красных галстуках, в белых блузках и рубашках. Это будущие ученики Марии Николаевны Адоевой.

Бой барабанов. Звуки горнов. Ворота настежь, и громкое дружное поздравление:

— С днем рождения, Мария Николаевна! Гип-гип-ура! Гип-гип-ура!

Подарок от школьников — кедр в ящике. Он тут же был посажен в сад перед окном комнаты Марии Николаевны.

Пионерка, имя которой было тоже Маша, прочитала сочиненное ею стихотворение.

Благодаря за поздравления, Маша отлично понимала, что этот парад дается не для нее, хотя и отмечаются первые заслуги молодой учительницы, проходившей в яргородской школе педагогическую практику. В дни рождения всегда главным «именинником» была и будет мать. И для нее, для Ольги Максимовны Адоевой, стоящей в сторонке и остающейся в центре торжества, гремят поздравительные барабаны, фанфарно звучат горны и церемониально маршируют ее, а теперь и Машенькины ученики.

Послышалась команда вожатой построиться. Прозвучали ее слова. Простые, обычные слова, растрогавшие Машу, ставшую сегодня Марией Николаевной.

— Пионеры и пионерки, будем готовы встретить наш новый учебный год!

— Всегда готовы! — ответили отряды, и Мария Николаевна Адоева, тоже салютуя вместе с учениками, подняла правую руку над головой. Давно ли она стояла в таком же строю.

Увидев салютующую Марию Николаевну, вожатая вспомнила и о чем-то шепнула правофланговой, самой высокой школьнице, которая тут же подбежала к своей учительнице.

— Простите, Мария Николаевна, мы забыли самое главное.— Она выпрямилась и громко объявила: — Мы постановили избрать комсомолку Марию Адоеву нашей почетной пионеркой.

Снова бой барабанов! Приветствие горнами! Самая маленькая пионерка на вытянутых руках выносит красный галстук!

— Салют! — слышится голос вожатой.

Марии Николаевне повязывают галстук.

Как будто тоже ничего особенного. Знакомая церемония. Но почему так волнуются Адоевы, Рыжаев, Саида, Полихроний Сергеевич и стоящие за воротами соседи? Почему?

Не на всякое простое «почему» просто ответить человеку и в двадцать два года и в восемьдесят три...

«Иногда мудрее не мудрствовать». Эту фразу любил Полихроний Сергеевич. Он повторил ее про себя и сегодня после ухода пионеров.

LXXXV

Стол заказов доставил коробки, ящики, пакеты. От кого они, не говорилось, но догадаться было легко. Друзья адоевского дома понимали, что с собой не принесешь увесистый взнос. И Макарьев, и Роман Ладушкин особенно, архитектор Шилов, как и доктор Маркин, находили, что в этот день Адоевым нужна серьезная подмога.

— Куда же столько? — поражалась Ольга Максимовна.— Это на пять кабаков много.

— Останется на другую пятницу, если останется. Боюсь, что мало будет и на эту,— предупреждал Полихроний Сергеевич, проверяя свою, тоже «анонимную», посылку. В ней все было в ажуре.

Рыжаеву нравилась порученная ему работа. Он с удовольствием распаковывал гастрономические подарки. На одном было написано слово «Яшвинтрест». По почерку Юрий узнал своего друга Якова Яшина. Молодец! Широкая натура. И на каждой бутылке имя «Мария» во всех его звучаниях: Маша, Машенька, Машута, Ма-

шюня, Манюрочка... А на одной — рисованный ярлык: «Выдержанная двадцатидвухлетняя Ромашея».

— Не очень остроумно, — улыбнулся Рыжаев Маше. Маша:

— Зато весело и от души. Я непременно выпью полную рюмку этой Ромашеи с милым Яшечкой на брудершафт.

Чем ниже солнце, тем суетливее в доме Адоевых. Собрали все столы. Стаскали в столовую стулья, кресла, табуреты, приставили диван, кушетку...

— Кабак! Честное слово, кабак, — повторяла Ольга Максимовна. — Один стол ниже, другой совсем как в трактире.

— Скатерти все скроют, как первый снег. А вино не даст увидеть, кто и на чем сидит.

Слова Луши подтвердились, когда разномастные столы, покрытые скатертями, породнились белизной. Расставленные порознь, они, по выражению Сусанны, «увеличивали сумму своих периметров и число посадочных мест».

— Люблю ученые формулировки, — похвалил Сусанну Полихроний Сергеевич. — После сказанного можно и подводить итог «посадочным местам». — Он принялся считать и, увидев, что это напрасный труд, успокоил: — У нас еще в резерве подоконники. По паре на окно. И стол и стул. Всем хватит места.

— А если не хватит, кому-то можно и «а ля фуршет».

— Тоже правильно, Сусанна!

Сегодня Полихроний Сергеевич в парадном сюртуке.

— Моль не доела его полностью, — шутил он. — Остались целые места. А рукава и не тронуты.

Бабушка Маши Марфа Владимировна в белом платье, в кружевной наколке. Лайковые туфли давно отпраздновали свое семидесятилетие. Сусанна освежила их молоком.

Заканчивается сервировка. Начинается приход ранних гостей. Макарьев пришел первым.

— Надеюсь, не опоздал? Машенька, ручку... Другую. А теперь ножку... Прошу примерить при мне... Если ошибся в размере, Юрашка сейчас обменяет на другие...

Машенька тут же примерила белые туфли.

— Спасибо-преспасибо, Николай Васильевич! Я сегодня же их надену. Какая белизна!

Макарьев по-восточному скрестил руки на груди и поклонился.

Чаще скрип калитки адоевских ворот. Прибывали гости, а с ними и подарки. Ваза. Сервиз. Набор ножей и вилок. Электрический кофейник. Маленький портфель. Семь шариковых ручек семи цветов. меховой жилет с вышивкой. Свертки с предупреждением: «Развернешь потом». Это женские подарки...

Снова благодаря за честь и за внимание, Машенька оценивает здраво и подарочный «пересол», поздравительные преувеличения. За ее спиной снова стоит мать и внимание к ней.

Щепетильность тончайшая и привередливая из нитей в переплетении человеческих отношений. Никто не хочет остаться неблагодарным адоевскому дому, а, напротив, на этот раз мотивированно и деликатно отплатить полной мерой за добро добром. И в мацоевском дорогом подарке, кроме широты его натуры, едва уловимо сквозят некоторые «взаимные расчеты» за стол, за комнаты и за «обслужу». Это немножечко обидновато... Однако же люди живут не только в сфере взаимных улыбок и любезностей, но и... Но и принимается во внимание все остальное, чему есть свой счет.

От этого ореол подарков чуточку меркнет в глазах Машеньки, а подарки, несмотря на это, продолжают радовать и восхищать. Машенька не успевает благодарить, подставлять щечку, а...

А Ромаша все еще не появляется.

Обеспокоенная Сусанна дважды звонила в контору буровых. И дважды дежурная ответила: «Роман Тихонович занят на третьей буровой, просил не подзывать к телефону».

— Что за дьявольщина! — не выдержал Макарьев. — Я позвоню сам. Юраша, набери номер. Дамы, заткните уши.

В трубке послышалось: «Скоро выедет. Скоро».

— «Скоро», — повторил Макарьев. — Знаю я это «скоро». Нефть тоже обещала быть «скорой».

— Жаль! Но придется начинать без него. — Ольга Максимовна попросила Сусанну подавать рыбные заливные блюда.

Ужин начался. Первые тосты. Полихроний Сергеевич нарочно говорил длинно. И Сусанна, чтобы оттянуть время, поет вне программы «детскую именинную»:

Мы для Маши в именины
Испекли пирог из глины.

И все подхватывают:

Вот такой ширины...
Вот такой вышины...

Песня заканчивается:

Каравай, каравай!
Кого любишь, выбирай!

Маша косится на пустующее место Ромаши и говорит:

— Пора подавать горячее...

Ольга Максимовна медлит и вопросительно смотрит на Макарьева. Заметя это, Николай Васильевич предложил «разрядку».

LXXXVI

«Разрядку» Макарьев начал так:

— Нас иногда упрекают в том, что искусство, в частности кинематографическое, расходится с правдой жизни. Между тем правда жизни в искусстве очень часто выглядит неправдоподобной.

— Как же это, правда и неправдоподобна? — изумился Полихроний Сергеевич. — Не ясно! Просветите на примере.

— Попытаюсь... Вот, скажем, я сижу и думаю, почему Роман Тихонович задерживается на буровой... У меня возникают самые неожиданные подозрения.

— Какие?

— Сейчас я вам отвечу... Допустим, я это не я и вы это не вы, а действующие лица... И все, что происходит здесь сейчас, происходит в фильме. Представляете?.. Я, действующее лицо фильма, скажем, не Макарьев, а, допустим, Макоцветов...

— Чудесная фамилия.

— И вот, изволите ли видеть, этот самый Макоцветов по профессии, скажем, врач, зверовод, ну на худой конец кинорежиссер, повесив телефонную трубку, как это и было сделано мною, интригуяюще сообщает: «Друзья, мне кажется, Ладушкин везет необычный подарок Машеньке». Вы все заинтригованы... Зритель тоже... И вы спрашиваете: «Какой? Какой?»

— Да, мы спрашиваем: «Какой? Какой?»

— А Макоцветов еще более таинственно, полушепотом, таким, знаете, трагикодраматическим полушепотом говорит: «Мне кажется, он везет дар от...» Вы опять: «От кого? От кого?» Произнесите эти слова... Почувствуйте себя в фильме.

Послышались голоса мужские и женские:

— От кого? Какой? Не томите нас...

— Выкладывайте, товарищ Макоцветов, правду,— громче всех требует, входя в роль, Сусанна.

— В-во! Настоящий игровой вопрос! И я, то есть товарищ Макоцветов, еще таинственнее отвечаю: «Даррр... волшебницы Ойль». Вы поражаетесь, аплодируете... Поражайтесь. Смелей входите в роли.

Послышалось: «Ах!», «Какое счастье!», «Вы нас сводите с ума!»

— Этому нельзя поверить, товарищ Макоцветов,— снова громко произносит Сусанна.

— И я, Макоцветов, развожу руками, нервно расхаживая между столов, говорю вам: «Не верится мне, но сердце чувствует, Ладушкин... лучше... Оладушкин открыл нефть!»

Гости входят в игру. Вино помогает им чувствовать себя на экране. Скромнейший архитектор Шилов, «ломая руки», кричит:

— Я не геолог, но как ученый считаю это событием всемирного, хотя и...

— Не важно, что «хотя»,— продолжает импровизировать Макарьев.— Важно, что в это время открывается дверь и входит Оладушкин и... Раметкулов...

Саида восхищена. Хлопает в ладоши. За нею — Рыжаев.

— Уместная деталь,— кивает в их сторону Макарьев и продолжает: — Глаза Оладушкина и Раметкулова по блюдцу. Не глаза, а фары. Оладушкин подходит к Дашеньке или Сашеньке Удоевой. Идет крупный план. То есть во весь экран. Оладушкин восклицает: «Сашуня, в день твоего рождения Ойль тебе вручает свой дар!..» — и подает бутылку... Литров на пять. А в ней коричневая густая жидкость. Все гости замерли... Замрите! Вы же в кульминационной сцене. Замирайте!

— Мы без того еле живые, Николай Васильевич,— подала свой голос Марфа Владимировна.

И в самом деле, в столовой Адоевых стало тихо. Пере-

стали есть. Все внимание, все взоры устремлены на Макарьева. И он:

— После тишины взрыв! Голоса без слов. Междометийные возгласы! А! Ой! Ух! Эх! Играйте же, играйте, не молчите,— требует увлекшийся Макарьев. Но все молчат. Он изменяет задуманный ход действия: — А может быть, вы и правы. Молчание тоже своеобразный способ выражения восторженного изумления. И тут... И тут среди общего молчания кто-то знакомый с обычаем нефтяников мазнул свое лицо первой нефтью. Мазнул второй и третий... Пятый... И двадцатый! Какой-то из комических персонажей чуть ли не умывается нефтью... Его лицо черно. Хохот. Объятия и поцелуи...

— И поцелуи,— вторит Маркин.— Натурально, очень натурально. Николай Васильевич! Такая радость.

— Вы правы, милый доктор,— утверждает и тут же отрицает Макарьев.— Именно натурально, но не правдоподобно. Выдуманно. Нарочито.

— Почему же нарочито? — не желает соглашаться Зотов.— Как же так... И выдуманно и нарочито, когда еще два дня тому назад мне лично Рамазан шепнул, что нефть показала много своих глазков.

Макарьев, как на семинаре начинающих киносценаристов, пояснил:

— Я тоже слышал приятную весть от Рамазана Нурулловича. Однако же всякий кинокритик и просто требовательный зритель неизбежно скажут, что драматург и режиссер одного «натурального» фильма искусно, но искусственно — понимаете, искусственно — приноровили день рождения нефти ко дню рождения юной героини фильма... Как я ее назвал?

— Сашенькой Удоевой,— напомнила Маша.

— И даже сама фамилия Удоева, от слова «удой», тоже прозвучала бы нарочито.

— Значит, я выжил из ума,— запротестовал Зотов.— Правда и неправдоподобна... Счастливое совпадение открытия нефти с днем рождения Машеньки, видите ли, нарочито, противопоставлено, когда это могло быть на самом деле.

— В жизни, а не в искусстве!

— Да бог с ним, с искусством. Мы же в жизни, а не в вашем «тру-ля-ля». И такое может быть... Разные бывают совпадения.

При слове «совпадения» скрипнула калитка. За нею —

ворота. Знакомый шум машины. Фары ярко осветили двор и погасли.

Сусанна и Машенька побежали встречать Ромашу. А он уже на пороге.

— Что случилось? — испуганно спросила Ольга Максимовна. — Ты весь в грязи, в каких-то пятнах... Измазано лицо...

Ладушкин, тяжело дыша, поставил на пол канистру и сказал:

— Сейчас...

LXXXVII

— Что это? — коснулась Маша пальчиком канистры. — Приложение к мотороллеру? Как мило!

Ладушкин еле держался на ногах. Шатаясь, он снова взял канистру и прошел в столовую.

Макарьев первым понял, что произошло.

— Неужели, Роман Тихонович, вы... — Он не договорил.

— Да, Николай Васильевич, да! — Ладушкин будто подслушал импровизированные, происходившие здесь сцены и почти дословно повторил: — Ойль поручила мне поздравить вас всех и тебя, Машенька, с первой нефтью.

Макарьев вместо стула сел на колени Саиды.

— Я схожу с ума. Сон в руку!

— Покажи же нефть, Ромашечка... — просила бледная, готовая заплакать Маша.

— Лей сюда ее, Роман, — подставила Сусанна освобожденную от фруктов хрустальную «ладью» и помогла поднять Ладушкину тяжелую канистру.

Запахло нефтью. Золотисто-светлая густая струя наполняла хрустальную «ладью».

Мертвейшее молчание. Все взоры скрещены на янтарной струе. И грани хрусталя как будто отражали цвет людских глаз, играя и сверкая...

«Ладья» полна. Сусанна ставит канистру на пол.

— Я еще не вышла из моей роли... Машенька, родная моя, первый мазок на твоей щеке.

— Ойль, не проверяй нас счастьем! Утихни неправдоподобное и нарочитое биение сердец, — продекламировал Полихроний Сергеевич. Он окунул руки в нефть и омыл ею свое лицо. — Смотрите же... Смотрите, Николай

Васильевич, как старый комик смешит почтеннейшую публику!

Яшин успел «схватить» на пленку и этот миг.

— Ты молод, Полихроний. Молод! — Марфа Владимировна опустила в «ладью» мизинец и провела им от виска до бровей. За нею Шилов, Маркин, Ольга Максимовна благоговейно продолжили и открыли всеобщее «нефтепомазание».

Машенька тем временем вытирала салфеткой лицо Полихрония Сергеевича. Нефть, окрасив его бородку, стекала тоненькими струйками на старинную манишку.

— Ну, вот теперь вполне умеренно и прилично, — сказала Машенька, приведя в порядок лицо Полихрония Сергеевича.

Не оставалось лица без нефтяного мазка. Рыжаев по-бронзовел до неузнаваемости. На смуглом лице Санды нефть оставалась незаметной. Сусанна эффектно навела светло-коричневый румянец. Скатерти главного стола досталось больше всех.

— Ничего, ничего, — торжествовала Ольга Максимовна. — Эти пятна я не буду выводить. Они останутся памятью о счастливом дне.

Определилось все. Нефть найдена. Яргород открыл новую страницу своей истории, но до сознания это открытие доходило удивительно медленно. То ли не верилось... То ли мешало выпитое... А может быть, неожиданность, как это бывает, оглушила сидящих за столом, и было необходимо какое-то время, чтобы понять, что произошло.

Гаев это понял одним из первых. Он поднял бокал и произнес:

— Товарищи! Решились все проблемы! Я понимаю, нам трудно пока представить, что произошло...

— Нет, теперь уже не трудно, Вадим Ерастович. Неправдоподобно, но неопровержимо, — настаивал на своем Макарьев и обратился к нефти в «ладье»: — С днем рождения, золотое золото! С днем рождения, Машенька, так счастливо совпавшим, наперекор драматургии, со вторым рождением вашего родного города!

Сусанна продолжила поздравление Макарьева на рояле. Сыграла туш и перешла на «многие лета».

— «Многие лета...» — запел Шилов.

— «Многие лета», — подхватил Маркин, а за ним и остальные.

— «Многие лета»,— понёслось за окна, за ограду дома и как бы отозвалось далеким эхом торжествующего города.

LXXXVIII

А город торжествовал...

Празднование дня второго рождения города началось сразу же после передачи «внеочередных чрезвычайных известий». Они начались приглашением к репродукторам:

«Слушайте все! Слушайте все! Говорит яргородский трансляционный узел». Трижды послышался голос диктора, перемежаемый позывными местного радиоузла. А затем:

«Сегодня, после двадцати часов по яргородскому времени, разведывательно-буровая скважина № 3, оборудованная фонтанной арматурой, дала первую яргородскую нефть!..»

Все услышали знакомый торопливый окающий говорок «нашего корреспондента» Алексея Михеева. Он заметно сдерживал свой жар. Слышалось шелестение листков, по которым читалась счастливая информация. Назывались имена Маметкулова, его бригады, начальника нефтеразведки Ладушкина, вкраплялись специальные термины: «обсадная десятидюймовая колонна», «превентор», «двухдюймовый отвод»... Эти технические подробности, которыми немножечко щеголял «наш корреспондент», слушателями не слушались. Главное — нефть. Найдена нефть! И каждому хотелось бежать. Куда? Неизвестно куда. Или на буровую, или к друзьям поделиться радостью, а лучше на Главную площадь. Там, говорят, пылает первая нефть.

Ожили, зашумели улицы. На площади и впрямь пламя выше домов. Это Рамазан и его орлы прикатали первую бочку дорогой добычи. Вылитая в асфальтовый котел, она горела, ярилась, дымила, подняв на ноги пожарников обеих частей города.

Ночь была тихой. Огонь не угрожал. Пожарники уехали, оставив для дежурства цистерну с водой и машину с песком. Мало ли...

На площади — «авилон». Крики, слезы радости. На телеграфе заняты все линии. На междугородном телефоне прекращены частные разговоры.

Яргород звучит по проводам, в эфире. «Трудовая вахта» задержана в печатной машине. Перебирается первая полоса исторического номера газеты. Печать в две краски. Добавочный тираж для розницы. Красная «шапка», набранная крупным шрифтом, оповещает:

«ЗДРАВСТВУЙ, ДОЛГОЖДАННАЯ НЕФТЬ!»

Надежда Владимировна Смагинцева, радуясь, побаивается нарастающего торжества в городе и в своей душе.

Не рано ли? Не слишком ли?

В ее памяти звучат слова Мацоева, рассказывавшего о большом шуме и малой нефти в Чусовских городках. Хотя и названы обнадеживающие цифры разведанной нефти, названы не только Романом Ладушкиным, но и специалистами из «большой комиссии» и месторождение признано рентабельным, и тем не менее... Сколько раз за это время утверждалось одно, а оказывалось другое. Гаев носится по площади, поздравляет и говорит, что нефть решила все споры. Но как верить этому болтуну? Пересилит ли нефть воду? На Мацоева можно сердиться, быть недовольным его чрезмерно аналитическим умом, поражаться его какой-то чуть ли не маниакальной одержимости подвергать сомнению все не проверенное им. И все же Мацоев при всех его сомнениях не дает основания сомневаться в нем. Для всех затопление низины Пятиречья перечеркнуто, а для нее — нет. Она подходит к Маметкулову:

— Поздравляю, Рамазан Нуруллович, с первой нефтью! Будет ли вторая?

— На этих днях,— твердо заявил он.— В старой зацепинской скважине уже зацепилась нефть. Будет, Надежда Владимировна, и вторая нефть, и третья... И скоро шестая будет. Теперь Маметкулов может в отпуск пойти.

От Рамазана пахло винцом, но ему нельзя не верить.

— Может быть, хватит, Рамазан Нуруллович?

— Не подведу, Надежда Владимировна, я свою меру знаю. Не подведу! Еще стакан — и к Адоевым. Там и заночую.

Среди толпящихся у котла был старик в клетчатой куртке Макарьева и в его же узеньких полосатых брючках. О нем знают все, но никто не видел его в лицо. Это шаман. Он пьян. Рвется в пляс. Но нет бубна.

Он продал его Николаю Васильевичу вместе с подвесками. Осталась одна колотушка — и та в руках Урмана, утихомиривающего ею время от времени развеселившегося шамана. Ему хочется славы. Ему кажется, что эту славу отберет у него Урман и присвоит его вызволение Ойль, в которое он не верит. Не верит и в свое шаманство, называя его для себя недавно узванным им словом «халтура».

В действующей церкви за валом моление. Ночной молебен святой княгине Ольге. Евстигнейха в скуфье поверх белого пасхального полушалка заменяет священника.

В асфальтовом котле, догорая, коптят нефть и остатки асфальта. Пожарники засыпают песком угасающее пламя. За Тьминью светлеет небо, а народ не убывает. Надежду Владимировну просят к прямому проводу.

— Еле вас нашел,— жалуется телеграфист.— Москва вызывает, Москва!

Заря сегодня тороплива, а Яша негодует. Боятся, что не хватит света и сверхчувствительная пленка не повторит ликующую площадь. Не бойся, милый Яша. И первый план и третий у тебя в кассете, как в кармане.

— Здравствуй, утро! Новое, большое утро!

Машенька не сумела заснуть. Пробовала, но не сумела. Она стояла у окна, дожидаясь солнца. Ему тоже нужно сказать «здравствуй!».

Уставший Ромаша спит в столовой на диване. Лег не раздеваясь. Ей слышно, как он с кем-то разговаривает во сне и кого-то уверяет.

— Я же перекасти-поле... А она — цветок оранжерейный!

«О чем он?» — спрашивает себя Машенька.

Сусанне тоже не спалось. В ее ушах не отшумел минувший вечер. От подушки пахнет нефтью. Нужно встать. Умыться. Привести себя в порядок. Успокоиться. И... И, может быть, сходить на берег Тьмини. Или подняться в третий ярус главной башни. Посмотреть на Пятиречье. Подремать в шезлонге...

Сон взял свое. Сусанна задремала и уснула.

Все в тот день уснули поздно и проснулись в новом городе. Он был тем же, но выглядел другим. И солнце светило ярче, грело жарче. Повеселели дома. Легче

дышалось... Люди принарядились, как на Первое мая
На улицах стало теснее. Никому не сиделось дома.

Начались перемены. Еще не пришли центральные газеты, но все знали, что в них напечатано об открытии нового яргородского месторождения нефти. Еще не вылетели из Москвы корреспонденты и представители заинтересованных министерств и главков, а мест в гостиницах и Доме колхозника нет. Все забронировано. Подготовлены два добавочных вертолета. «Наш корреспондент» Алексей Михеев стал «всеобщим». Он первым сообщил в АПН, и в ТАСС о нефти. Счастливцев всю ночь провел на телеграфе, отвечая на запросы. Теперь он там и днем. Требуют интервью с Маметкуловым, с Ладушкиным.

Рестораны и кафе наводят чистоту. В магазинах ни бутылки. Послали трактор с двумя прицепами на станцию. Из областных организаций прилетели гости и должностные лица. Понаехали из колхозов. Радио — это одно, а свои глаза увидят больше.

Как гимны в репродукторах попеременно звучат «Широка страна моя родная» и в новой редакции старые знакомые слова Зотова:

И ярче яхонта
И янтаря янтарней
Родной наш Яргород
На карте Родины
Победно светится
На радость нам,
На страх врагам!

По всему видно, что досочинителям этой маршеобразной песни было не до отбора слов и не до подыскания рифм. Как сочинилось, так и пелось.

Якшинским пионерам, марширующим по улицам города, очевидно, тоже важнее было злободневное содержание песни, нежели ее литературные достоинства:

Да здравствует нефть огневая!
Да здравствует наш Рамазан!
Все Якшино нынче гуляет!
И Яргород тоже гуляй!

И на том же уровне словотворчества припев:

Гули-гули Гулливер
Маметкулов — пионер!
Первый нашу нефть открыл,
Все рекорды перекрыл!

И этот неудобопроизносимый набор слов повторяет жена «Гули-гули Гулливера» Луша. Это понятно. Но почему произвольно шевелятся губы Надежды Владимировны Смагинцевой и тоже повторяют: «Да здравствует нефть огневая!» — этого, пожалуй, она не объяснит и сама. Зато доктор Маркин на летучем митинге в санатории со всей определенностью сформулировал:

— Товарищи! Произошла катастрофа, только «катастрофа наоборот» — не разрушающая, а созидательная...

LXXXIX

Роман Тихонович получил первую поздравительную телеграмму:

«С ДОБРЫМ СЧАСТЛИВЫМ УТРОМ БОЛЬШОГО ДНЯ СВЕРШИВШИХСЯ НАДЕЖД ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС РОМАН ТИХОНОВИЧ ПРЕКЛОНЯЮЩИЙСЯ ПЕРЕД ВАШЕЙ НЕСОКРУШИМОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПОБЕЖДЕННЫЙ И ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ МАЦОЕВ».

— Ну, вот видишь, Машенька... Все произошло, как я говорил. Не пройдет и недели, как прискачет на сером волке твой «царевич».

Маша молча слушала Ромашу. Разговор происходил в саду. Он походил на правду. И эта правда почему-то пугала Машу.

— Как приедет, так и уедет!

— Нет, Машенька, не уедет. Яргород теперь не будет дном. Наш город станет известен миру. А в мире не один он историк. Твой Княженикин отлично это понимает. А понимая, первым застолбит свою заявку.

— А вдруг он в самом деле явится, Ромаша?

— На той неделе.

— Ромаша, женись на мне!

— Когда?

— Да хоть сегодня. Нет, я серьезно. Ты еще не знаешь, сколько во мне решимости. Я только кажусь такой...

— Какой?

— Инфантильной. На самом же деле я змея и так могу ужалить, так...

— Как?

— Как кобра! Женись на мне. Хочешь, я стану на колени. Ты ангел. Ты лучше, ты больше Мацоева. Ты святее. И если я пока еще не без памяти тебя люблю, но

очень и очень. Меньше, чем ты меня, но я думаю, что на немного. Потому что ты в скорлупе. Выйди из нее. Ну, где ты найдешь ближе человека, чем я? Роднее?

— Нигде. Я не буду искать его.

— Но это же, Ромаша, ненормально. Противоестественно. Должны же быть у тебя дети...

— Сколько?

— Хотя бы двое.

— Двое — это неплохо. Трое — уже многовато.

— Дурак!

— Так это давным-давно известно...

— Плюнуть хочется!

— Плюнь. Я не утрус!

— А хочешь, поцелую?

— Ты повторяешься.

— Для таких, как ты, нужны не поцелуи, а каблук. И ты будешь под ним. Под этим!

— Не тонок?

— Ромаша! Я тебя ударю.

Нарастающий диалог был прерван и возобновлен с новой силой Ольгой Максимовной. Она крикнула из окна дома:

— Маша! Телеграмма! Теперь тебе.

— От кого?

— Валерий Княженикин поздравляет тебя с днем рождения!

Роман улыбнулся.

— Ты страш-ш-шный человек,— прошипела Маша. Она замахнулась, но не ударила Ромашу. Помешал голос Ольги Максимовны:

— Роман Тихонович... Где вы? Вас спрашивает мужчина.

— Пожалуйста, пожалуйста,— приглашает Сусанна.— Идите за мной.

Она привела толстячка средних лет, увешанного фотоаппаратами.

— Здравствуйте!.. Вы Роман Тихонович Ладушкин?

— Да. Нужен паспорт?

— Вы весельчак. Я даже не предполагал. А это ваша супруга? — поклонился он пришедшей Машеньке.

— Нет. Внучка!

— Извольте шутить? А я вполне официально. Имею честь представиться. Шувалин Федор Николаевич. Специальный фотокорреспондент по нашей области. Поручу-

чение из центра. А где, позвольте вас спросить, товарищ Маметкулов?

— Сбегать?

— Ну, что вы, что вы... Мне хотелось бы сфотографировать вас вместе. Это же для всей печати...

— Во! Видишь, Машенька: «для всей печати»... Мне как, переодеться?

— Желательно бы в пиджачке... А то, знаете, как-то очень по-домашнему. Не прозвучит.

— Как жаль! Но это исправимо. Я живу рядом. У меня есть транспортные средства, и мы катнем к товарищу Рамазану... Запишите... Нурулловичу Маметкулову, в Якшино. Это в двух километрах.

— Вы очень любезны.

— Еще бы! Коли так официально. Сусанна, Машенька... Сгоняем к Рамазану?

— Я с удовольствием,— согласилась Сусанна.

— Я на своих «транспортных средствах». Мама! — крикнула Машенька.— Брось мне в окно мой шлем.

ХС

Вечером началось гулянье. Без излияний. То, что осталось, береглось для приезжих.

В Якшине Рамазана искали долго и нашли за селом. В кругу односельчан. Пели татарскую плясовую. Плясали старые и молодые женщины. Рамазан Нуруллович был абсолютно неудобоснимаем.

Он бросился целоваться с приезжими. Фотокорреспондента он тоже поцеловал и пригласил выпить «уголовно наказуемой, но крепкой». Тот отказался. Рамазан отказался сниматься.

— Завтра выплюсь,— сказал он,— и снимусь при всех моих наградах. Понял, товарищ фотограф? Буду ждать, если не вызовут на буровую.

Напрасно было убеждать Маметкулова. Ничего не оставалось, как вернуться в Яргород.

В Яргороде новое событие. Тьмень покрылась нефтью. На первой буровой счастливые неполадки. Немного сплеховали с фонтанирующей нефтью, но справились. Перекрыли. Тьмень скоро очистилась, и только редкие радужные пятна, уплывая вниз по реке, рассеивали последние сомнения Надежды Владимировны Смагинцевой.

Как легенда в городе рассказывалась быль о дотошном богаче Зацепине и даровитом горном инженере Иволгине, первым начавшим разведывательное бурение. Кому-кому, а Вуколу Лукичу Ладушкину было что поведать о недобуренной зацепинской скважине.

Вчера, сегодня и завтра Яргорода виделись теперь дедом, отцом и внуком в колыбели.

Опережая события, скажем, что не прошло и двух недель, как скважины, считавшиеся «пустыми», «безнадежными», потребовали емкостей для слива нефти. Появились люди новых профессий, а с ними машины и механизмы, не виданные в Яргороде. Они будут работать и зимой. А пока...

Пока еще все впереди. Но начиная с понедельника приезжих придется расквартировывать в частных домах. Яргородцы, живущие просторно, с превеликим удовольствием сдадут пустующие комнаты. Незнакомые слова «жилищный кризис» скоро будут называться каждым жителем. Скоро появятся барачные городки. Скоро и монастырские пустующие дома станут жилыми.

Прошел слух, что шоссе на станцию железной дороги начнут строить трехсменно и закончат к середине октября.

Вукол Лукич Ладушкин радостно сказал:

— Отъездил!

А спустя два дня прошел слух еще удивительнее. Будто бы большое воинское саперное подразделение включает в свою учебную программу железнодорожную ветку в Яргород.

Каждый день приносил новое, и настал такой, когда предрешенное стало решенным. «Большое море» отказались передавать на утверждение.

Первым об этом позвонил Сусанне Гаев:

— Вы знаете, Сусанна Николаевна, что некий Гаев скоро будет искать у вас протекции.

— Какой, Вадим Ерастович?

— Плотинной. Вам же потребуется плотина для перепуска рек.

— Я вас не понимаю, Вадим Ерастович.

— Яргороду больше не грозит затопление. Зато вам угрожает новая работа.

— Какая?

— Осуществлять свою мечту. И я готов наняться к вам землекопом, а до этого муссировать в Москве вод-

ный путь через Урал. Прочтите сегодня в областной газете маленькое интервью, скромно озаглавленное: «Из Азии в Европу».

Сусанна поблагодарила. Зачем ей наживать врага. От Гаева, конечно, не зависит ничего. Говорят, «собака лает, ветер носит». Но ветер не заглушает «лай» и куда-то «носит» его. Таким, как Гаев, лучше бросить кость, чем камень.

На другой день интервью было прочитано. Набор слов. Повторение сказанного Петром Константиновичем по телевидению. Но была свежая мысль.

«Скоро станет очевидным, что сырая Яргородская равнина должна стать суше. Этого потребует новый промышленный район. И тогда проблема перепуска рек через Урал станет насущной. Канал из Азии в Европу, кроме всего, осушит и громадный район».

Он прав. Сусанна думала и писала об этом как о весьма второстепенном, поняла, как необходимо краю избавиться от этих рек. Болота стекут в обмелевшие русла. Появятся новые пахотные земли, луга, леса там, где царствовали топи.

Этот гаевский абзац будет замечен и оценен строителями будущих заводов, комбинатов, дорог, жилых поселков.

Нужно пригласить Гаева и познакомить с Шиловым.

Шилов стал теперь центром внимания, а его сеновал «Меккой» для представителей многих ведомств. Бумажники, не задумываясь, брали его «бумагоделательный комбинат». Что-то исправится, добавится по ходу дела. Это детали. Есть основа.

Проект фанерного комбината, как заверяли, хоть завтра можно переносить на строительную площадку. Шиловский химкомбинат тоже называли опередившим своих собратьев лет на десять.

Сбылась, Борис Михайлович, твоя мечта. Не зря ты отдал столько лет своему Яргороду. И если только половина, даже треть твоих работ заживет в бетоне, стали, стекле и дереве, ты в свои пятьдесят лет увидишь себя юношей, у которого еще все впереди.

Сладко плакалось жене «тронутого» архитектора Елене Васильевне Шиловой. Дай бог побольше таких «свихнутых». Как стыдно ей теперь. Она припоминает мелкие «уколы», когда ее муж, вскакивая ночью в полусне, набрасывал пришедшие ему в голову подробности

рождающегося на чертежных досках. Как она мала, мелка по сравнению с ним, а он целует ей руки, неустанно повторяет:

— Леночка, если б не ты, твои заботы, мог ли бы я стать таким счастливым.

В его словах какие-то крупницы правды есть. Она страдала и ободряла его в минуты неверия в себя, в свои работы. Но это, она отлично помнит, рождала не вера в талант своего мужа, а боязнь за необратимое, неизлечимое, кончающееся в психиатрической больнице.

А он был здоров. Здоров всегда. Здоров в каждом своем замысле. И не тогда, а теперь ей нужно бояться, чтобы милый ее Борик не сошел с ума от счастья и радостей, похвал и шумного признания его трудов.

ХСІ

Узел за узлом развязывает нефть судьбы живущих в Яргороде и его феерическую судьбу.

Доктору Маркину прожить еще бы пять лет. Три года, наконец... И он увидит грязелечебный санаторий имени... Неважно, чье имя будет носить его детище. Стыдно при жизни мечтать об этом. Но совсем не стыдно сидеть в президиуме на открытии круглогодично действующей волшебной здравницы. Он доживет! Сердце достучит! Так ли уж много ему лет по сравнению с Полихронием Сергеевичем? Всего лишь семьдесят семь... И никаких предынфарктных признаков. Ослаблена сердечная мышца. Ему и в сорок лет об этом говорили. Он доживет.

Доживет ли зверопитомник Урмана Ивановича до будущего года? В это он не верит. Его застроят. Он близко к городскому валу. Но Урман знает, что за Ленвой ему отведут гектаров сто, а то и двести для настоящего заповедника. Божок за голенищем послушен и труслив. Стоит дать два-три щелчка или помазать рыбьей кровью губы, и он ой-ой какой податливый божок. Все может...

В упоении общей радостью, счастьем всех жила и Сусанна Николаевна Веригина.

«Нефть,— пишет она Мацоеву,— затмила все. Личное, как никогда, в Яргороде слилось с общественным. Нефть возвысила город и души живущих в нем, и одновременно ее золотой поток ослепил многие глаза, поте-

рявшие способность видеть дальше своей Пятиреченской низины».

Так начиналось письмо Сусанны, которое она писала урывками по вечерам или до света.

«Ромаше,— продолжала она,— нашему очаровательному Роману Тихоновичу показалось, что, открыв нефть, он исчерпал и предрешил все. А между тем он и нефть всего лишь начали предрешать неизбежное. Миленький Полихроний Сергеевич уже на радостях позабыл предостережение летописца о том, что «в оных долинах рек яргородовых» случается каждые тридцать три года «малое сатанинское беснование пяти рек» и каждые семьдесят семь лет «потоп великий и грозный». Обе эти библейские цифры придуманы летописцем. Но я сама видела в детстве «беснование рек». Не знаю, было ли оно «малым» или «великим», но знаю, что зрелище было устрашающим. Тогда оно не угрожало ничему, и все любовались им. Тогда «потоп» не угрожал заводам, которых не было, и комбинатам, которые даже не замышлялись... А теперь? Могу ли я не думать об этом и не предупреждать...

О возможной угрозе разливов будущим пятиреченским заводам я разговаривала с Борисом Михайловичем Шиловым, главным планировщиком и душой нового Пятиречья. Душа сказал: «Сусенька, не пугай пуганых, мы перепустим реки за Восточный увал, и вся недолга».

И это говорит человек, которым я восхищаюсь. Как будто за Восточным увалом не наша земля. Как будто там и без наших рек мало воды. Стыдно, очень стыдно думать только о своем яргородском болоте.

А Надежда Владимировна Смагинцева мне сказала: «Всему свой черед. Дойдет очередь и до твоей седловины».

Миша! Разве седловина моя и нужна только мне? И только Пятиречью? Разве перепуск этих малых по сибирским масштабам пяти рек не повлечет за собой перепуск и других рек, о которых я не говорю, боясь насторожить «грандиозным» замыслом и отпугнуть от малого.

Миша! Я одна здесь. Такой одинокой я не чувствовала себя и на Ямале. Гаев, чужой для меня человек, стал ближе других. Если говорить объективно, то не все ли равно, что руководит им. Тщеславие, карьеризм

или прирожденный авантюризм. Он понимает существо перепуска и борется за него. Извини, Миша, за неудачный пример, но разве человечеству есть дело до того, чем руководствовался Колумб, отправляясь в плавание? Золото или перец Индии были у него на уме или тот же авантюризм? Важно, что он открыл новую землю. Мифический Икар тоже не собирался лететь на Марс и... полетел на него. А Циолковский? Кто не смеялся над ним? А Мичурин? Их имена не соизмеримы с нашими, как и маленькое Пятиречье — с Большой Сибирью. Но, Миша, разве это малое — не уменьшенное подобие большого?»

Ей нужно было рассказать ему все, исчерпать себя до последней мысли, до мелочей.

Верила ли она в свой Евразийский канал?

Она хотела верить. Все в ней и вся она требовали этой веры. Даже сны требовали этого. Она опять проснулась и писала:

«Допустим, я ошибаюсь от начала до конца. Допустим, моя седловина окажется полностью несостоятельной, авантюрной, досужей, научно безграмотной или еще какой-то в этом роде. Допустим, и туннель будет осмеян и признан шарлатанством. Но и в этом случае я не буду раскаиваться в предпринимаемом и пропагандируемом мною. Не буду потому, что мой просчет полезен, моя «утопь» прогрессивна и необходима, может быть, для таких, как ты. Отрицание всегда рождает утверждение. Отрицающие зачеркнули меня, мои пути и способы перепуска, но — не перепуск. Не самую необходимость перепуска. Он в насущных обстоятельствах ближайших лет. Пусть десятилетий.

Новые каналы требуют нового пополнения их влагой. Прибывает расход на орошение, а приход остается прежним. Отсюда неизбежен дефицит.

Анализ прост и очевиден. Передел запасов пресных вод нашего материка пока всего лишь желательное улучшение жизни людей, увеличение животных и расширение растительного мира. Желательное же неизбежно будет обязательным. Первоочередным. Неотвратимым. Решающим условием жизни. Вот тогда-то и я окажусь «на коне» и в «седловине» при всех моих возможных промахах и печальных недопониманиях. Оуэн, еще раз извини за несоизмеримость, тоже многого недопонимал и между тем вписан в историю как пылкий,

добрый и целеустремленно-правильный недопониматель».

Строка за строкой накапливают страницы «длинного письма» Сусанны. Она не боится быть многословной. Какая-то из фраз, какое-то из слов тронет Мацоева, высечет в нем искру, и он загорится «великим перепуском», как называет она про себя свою мечту.

Видимо, прошел опять ливень. Где-то в верховьях. Тьминь неистовствует. Мутная. Злая. Ревущая. Она подмывает яр. Сегодня Сусанна видела, как сполз в реку большой обвалившийся край берега. До этого пока никому нет дела. Но есть дело ей. Она вспоминает Тьминь своего детства. Тогда река текла в полукилометре от города, а теперь она угрожает городу.

— Ничего, ничего,— успокаивают Сусанну в горсовете,— возведем набережную и обезопасим берег.

— Зачем же,— спорит Сусанна,— укреплять берег, когда можно обуздать реку?

Сусанну почти не слушают. Она уже попадает в ряд тронутых и одержимых. С ней уже остороженько и деликатно беседовал невропатолог. Тот самый, кто беспокоился еще так недавно об архитекторе Шилове. Теперь он опасается за Веригину.

— Отдохнуть бы тебе,— советует Ольга Максимовна.— Три года на Ямале и опять не разгибая спины... Не сорваться бы тебе, не оступиться...

«Я не сорвусь, не оступлюсь,— разговаривает на десятой странице с Мацоевым Сусанна,— и чем труднее мне, тем настойчивее сопротивляюсь...»

ХСII

И в жизни Машеньки Адоевой тоже произошли некоторые изменения...

Княженикин прибыл в Яргород неделей позднее, чем предсказывал Ромаша, но прибыл капитально. Семь чемоданов, три узла и два ящика книг. В гостиницах сму, конечно, места не нашлось. Ни в «кельях», ни тем более в «казематах», но вещи взяли на хранение. Снесли в подвал.

Жизни, «очень часто расходящейся с правдой искусства», угодно было и на этот раз устроить «нарочито неправдоподобную» встречу Княженикина и Сусанны. Он, скитаясь по городу в поисках квартиры, шел через

Базарную площадь. Сусанна возвращалась с городского рынка «Переторга». Тяжелая хозяйственная сумка заставила ее остановиться около коновязи.

Княженикин, воспользовавшись этой остановкой, попросил у Сусанны извинения за смелость обращения, сказал:

— Вы, наверно, местная?

— Почти,— ответила Сусанна.

— Может быть, вы будете любезны, посоветуете мне, где я могу остановиться на несколько дней, пока не устроюсь там, где надеюсь.

Сусанна, как мы знаем, дитя злословия, посоветовала Княженикину:

— Если на несколько дней, то можно снять баню. В Яргороде они удивительно чисты. Теперь сдают и бани, с условием освобождать их на дни мытья.

Так сказала она ему только потому, что он показался ей повышенно благовоспитанным и элегантным. К тому же он выглядел преуспевающим, начавшим полнеть работником слишком умственного труда, далеким от волнений и забот.

— Я наслышан о яргородских банях и даже, извините, мылся в одной из них. Но мне бы хотелось ночевать не на банном полке, а хотя бы на скамейке или нарах.

— Тогда вам прямой путь в Якшино. Там найдутся нары. Это в двух километрах. Моя знакомая подыщет вам жилье. Татары очень гостеприимны. Их жилища до стерильности чисты.

— Спасибо. Как звать вашу знакомую?

— Ее зовут Лукерья Ефимовна Маметкулова. Она русская. Назовите ей мое имя... Сусанна... легко запомнить, и она подыщет вам квартиру.

— Позвольте записать. Лукерья Ефимовна Маметкулова? А ваше имя, как и лицо, я не забуду.

— Как вы любезны. Нынче очень редко,— упрощала свою речь Сусанна,— можно встретить таких мужчин.

У Княженикина порозовели щеки, засияли красивые темные глаза, и он представился:

— Позвольте назваться: Валерий Викторович Княженикин. Кандидат исторических наук...

В эту минуту, как никогда, Сусанне был нужен стул. Она оперлась на брус коновязи.

— Очень приятно... Надеюсь, мы с вами встретимся...

— Буду счастлив. Вы где-то работаете?

— Да.

— Осмелюсь вас спросить — где и кем?

— Приживалкой в доме Адоевых... Успехов вам в Якшине.

Коновязь сослужила вторую службу. Княженикин, подержавшись за нее, понял, что ему не следует откладывать на завтра свой визит к Адоевым. Он туда пришел минутой позже Сусанны. Но ей хватило минуты, чтобы сказать:

— Новости! Княженикин в Яргороде!

А он в это время был уже у адоевских ворот. Княженикин, осторожно закрыв адоевскую калитку, прошел черным ходом. Через кухню. Там Ольга Максимовна защищывала рыбный пирог.

— Какая неожиданность! С приездом, Валерий Викторович! Давно?

Княженикин поцеловал руку Ольге Максимовне:

— Здравствуйте, Ольга Максимовна! Я только что...

— Маша! Машенька! — позвала ее через дверь Ольга Максимовна. — Приехал твой потерянный жених...

За дверью отозвалась и тут же вошла в кухню Сусанна:

— Ольга Максимовна, разве вы забыли, что Машенька больна... А вы почему не в Якшине? — Сусанна изобразила недоумение...

— Я мимоходом...

— Так ты знакома, Сусь, с Валерием Викторовичем?

— Да, Ольга Максимовна. Мы познакомились у коновязи возле «Переторга». И разговаривали о квартире. Я посоветовала остановиться в Якшине.

— Почему же не у нас?

— А где же? У нас двое больных. Завтра приезжают ваши московские друзья...

Ольга Максимовна поняла, что, сказавшись нездоровой, Машенька не хочет видаться с Княженикиным.

— Может быть, переехать мне и уступить комнату гостю?

— Ну, что ты, пташечка моя! Зачем ты так? — исправляла Ольга Максимовна свой промах. — Как жаль, Валерий Викторович. Может быть, в архив? У Полихрония Сергеевича, наверно, там найдется закуток?

— Не беспокойтесь, Ольга Максимовна. Я и не имел в виду... Да и как бы я мог посметь...

Сусанна не спускает глаз с Княженикина. Сусанна готова пожалеть его:

— В самом деле, может быть, в архив...

Полихроний Сергеевич, словно услышав родное слово, входит в кухню.

— А-а-а...— Он удивляется не удивляясь.— Ренегат Исхирионович, господин Кудаветердуев пришел просить прощения.

Княженикин покорно опустил голову:

— Я не оправдываю свою измену яргородской старине.

— Тогда с приездом, кающийся грешник.

Полихроний Сергеевич поздоровался с Княженикиным. Принял во внимание весь «комплекс ситуаций». Архивных. Драматических. Любовных. Данных и перспективных. Сказал:

— В архиве так в архиве...

В этот же день Княженикин поселился в комнатке архива, где Зотов принимал Макарьева, где Полихроний Сергеевич, засидевшись допоздна, ночевал, чтобы не будить своих и не тащиться по темным улицам.

Первый шаг сделан. Со вторым Княженикин помедлит. Может быть, пригласят к Адоевым. Может быть, Полихроний Сергеевич поможет встретиться с Машей. А может быть, она сама... На «может быть» надежд было мало. За все это время он не получил ни одного ответа на свои письма.

Его душа полна высоких чувств. Ему не нужно убеждать в этом себя. Убедится и она. Поймет. Простит. Нужно быть терпеливым. Его приезд заставит Машеньку задуматься. Ничего теперь не помешает ему.

Ничего! Не Ладушкин же...

ХСIII

Ладушкин пришел прощаться к Адоевым. Он уезжал в Москву. Его назначили главой Яргородского нефтепромыслового и нефтеразведочного управления. В главке не хотели разъединять ставшее промыслом и остающееся плацдармом дальнейшего разведывательного бурения. Роман Тихонович был самым подходящим кандидатом на пост управляющего «Яргороднефти». Может быть, так и назовут это учреждаемое комбинированное нефтеобъединение.

Машеньку не обрадовал отъезд Ладушкина.

— Надолго, Ромаша?

— Не сказали. Во всех случаях не на неделю. Новые сметы... Предварительные увязки, привязки к предприятням, которые намечаются в Пятиречье...

— Но не на год же,—сердилась Маша.— Как это не вовремя.

— Геология — трудно планируемая особа. Сегодня нефть, а завтра, может быть, и газ. Так что нужно все принимать во внимание. Но к твоей свадьбе я приеду.

Машенька вспыхнула. Побледнела. В ней клокотало озлобление. Смиреница была и скандалисткой. Она, себя не помня, ударила его по щеке, затем — по другой.

— Маша! Ты ли это? Ромашенька, как это понять?

— Это, Ольга Максимовна, продолжение разговора руками. Не обращайтесь внимания. Она в порядке обмена мнений на тему о... о предпрешенном...

— Не предрешал бы ты, Ромаша, за других... Любовь не геология, Роман Тихонович,— сказала Ольга Максимовна.— Она планируема.

Ладушкин отшутился:

— Кем? Сердцем?

Ольга Максимовна прикрикнула, как когда-то в школе:

— Ладушкин, не отвлекайся! Отвечай на заданный вопрос.

— Ольга Максимовна, поставьте двойку. Я не буду отвечать.

— Дочь тебе ее уже поставила, и очень звонко. Садись, Ладушкин. Перед дорогой принято присесть.

Ольга Максимовна, Маша, Ладушкин сели на диван. Помолчав минуту-две, встали.

— Прощайтесь, бьющие и битые.

Машенька поцеловала Ромашу. В правую, потом в левую щеку.

— Теперь не больно?

— Вот видите, Ольга Максимовна, какие нынче педагоги.

— Вижу. Давно вижу и молчу. Подставь лоб. Пусть он поумнеет.— Поцеловав по-матерински Ладушкина, она сказала: — Ромаша, каждый день письмо. Каждые три дня телеграмму.

— У меня плохой почерк. Я буду лучше позванивать. Телефонный разговор имеет много преимуществ.

— Ты на чем поедешь?

— На дедушке.

— Пусть Вукол Лукич везет твой чемодан,— сказала Маша,— а я доставлю пассажира.

— Мой багаж весь в портфеле.

— Тем лучше. Привяжу к рулю. Поедем втроем: ты, я и портфель.

— Давно бы так, дети мои... Дорога скатертью... Осторожнее на ухабах.

— А мы, мамочка, по пешеходке. Через лес... Я не буду гнать. Не беспокойся, мама. Иди, Ромаша, за своим портфелем, я приведу себя в мотороллерный вид.

В этот день вернувшаяся домой Маша сказала матери:

— Если бы не школа, я бы тоже уехала в Москву и остановилась бы тоже у Мацоева.

Мать знала, что было на уме у дочери. Ей она сказала так:

— Меня тоже не радует твоя встреча с Княженикиным. Но долг, приличия требуют выслушать его. Ответить с достоинством. Вернуть ему его нераспечатанные письма... Ты увидишь, как нужно себя вести. А если ты чего-то опасешься, то...

— Что, мама, «то»?

— То...— повторила мать,— Романа Ладушкина придется признать настоящим, великодушным, дальновидным другом. Я ничего не подсказываю тебе, ни в чем не предупреждаю. Тебе двадцать третий год. И никто не должен решать за тебя. Ведь Сусанна не ждала подсказки...

— Сусанна, мама, другое дело... Другой характер... Другая сила. Она могла уехать на три года и дать Мацоеву разобраться в своих чувствах.

— А кто тебе мешает? Кто тебя торопит?..

— Торопит торопливость. Ты ведь тоже была тороплива, мама...

— И наказана за торопливость. Но разговор не обо мне. Ты любишь его?

— Если бы я знала.

— Тогда узнай. Узнай и не водевильничай и тем паче не инфантильничай там, где решается судьба. Три судьбы. И все три решаешь ты. Ты—Мария Адоева. Последняя из нашей, можно сказать, династии. Думай и о ней. Роман тебе не пешка. Ты его ударила. Так

сказать, л-л-любя. И потом поцеловала... Тёже л-л-любя. Мне стыдно за тебя. Мне больно за Романа.

Маша отвернувшись к окну и, всхлипывая, сказала матери:

— Какое бессердечие...

— Ты ожесточишь и ангела. Слезы самообороняют, но скоро высыхают... Слезливых жалеют и подчиняют, а уважают таких, как Сусь... Не разнюнься перед ним. Я мать. А мать должна не только любить своих детей, но и гордиться ими!.. Ах!.. Кажется, уплыло молоко.

Ольга Максимовна ушла на кухню. Маша вылезла через окно в сад. Там у нее есть старая рябина, ей она расскажет все, что боязно и стыдно рассказать другим.

Валерий, неужели я тебя не разлюбила?..

XCIV

С каждым днем Сусанне казался ближе далекий, а то и очень далекий перепуск рек. Ее никто не торопил, ничто не мешало ей в старом кабинете деда Машеньки, где жил Мацоев и где сохранялся еще его запах, перечитывать и переписывать свою объяснительную записку и уточнять карту Евразийского канала.

Она могла продолжить свою работу в Москве. Ее не удерживает более завершение экспедиционных дел. Никто уже не придет знакомиться с местами затопления. Бухгалтер давно закончил отчет и работает в строительно-монтажном управлении ТЭЦ.

Близится первое сентября — начало учебного года. От Мацоева письма каждый день. И какие письма. Но близость седловины удерживает ее в Яргороде. Она должна закончить здесь свою работу и, закончив, еще раз пройти по карте за хребет и обратно вместе с Сержей Заечкиным, вызвавшимся помочь ей. И если Юлик запоздает на неделю в школу, Ольга Максимовна не даст ему отстать. И все обойдется хорошо.

Обошлось лучше, чем думала Сусанна.

Юлик все эти дни жил в Якшине у Луши. Там же у него Жюли. Нужно последние денечки побыть со своей маленькой лошадкой, а потом отдать ее в школу. К ней привыкли, ее полюбили в походе пионеры, и она будет жить при школе, привозить с фабрики-кухни горячие завтраки. Для нее запасено много душистого сена и овса. Ей будет очень хорошо в маленькой конюш-

не, которую начали строить юннаты. Жюли останется без него не одна. Так говорит Луша, и так же говорит Рамазан Нуруллович. Не везти же ее в самом деле в Москву. Где ей там жить? Не в ванной же комнате.

Очень разумно рассуждает Луша. Но самое разумное ее рассуждение было о поездке в Москву не когда-то, а теперь. На этих днях.

У Рамазана Нурулловича длинный отпуск. Он очень измучился и устал. Столько переживаний из-за нефти; а потом из-за того, что она найдена. И Луша сказала:

— Как вы думаете, Юлий Михайлович, если мы проживем в пустующей квартире месяцок-другой?

— Как я могу думать, Луша? Только так же, как ты.

И все решилось. Юлику нужно было вовремя в школу. Луша должна взять свое имущество и перевезти в Яргород. Взять с книжки наследственный вклад Анны Самсоновны. Рамазан бывал в Москве «прыгом-скоком». А теперь там два друга: Ладушкин и Мацоев.

Для порядка Луша позвонила Михаилу Сергеевичу. Тот икал от радости.

— Жду, Лушенька! Жду, родная моя.

— Это логично, мама. Ты понимаешь, логично,— нажимал Юлик на новое понятое им слово.— И Маметкуловым будет приятно, и я тебе не буду мешать чертить...

— А ты не боишься, Юлик, что я...

Юлик не дал ей договорить:

— Люди должны верить друг другу.— Он явно повторял чужую фразу.

— Будем верить друг другу, Юлик,— сказала она перед отъездом и повторила при посадке на вертолет: — Будем верить друг другу.

«Будем верить друг другу, Сусы!» — начиналось длинное письмо Мацоева, полученное Сусанной неделю спустя после приезда Юлика, Луши и Рамазана в Москву.

А до того как Михаил Сергеевич написал это письмо, ему предшествовала встреча, названная им «ямальской». О ней он рассказывает на нескольких страницах.

Мацоев пишет:

«Мне стыдно, мне очень стыдно, Сусанна, но я носил в себе оскорбительные и для тебя и для себя подозрения о твоей жизни на Ямале. Но «провидение», иначе бы и не сказала Марфа Владимировна, устроило мне встречу с твоими ямальскими друзьями. Встреча про-

изошла в «Праге». Там я и Роман Тихонович, как ты знаешь, ужинаем. Было тесно. Ни одного столика. И нас пригласила за свой стол веселая, но довольно трезвая компания. Оказалось, что все они с Ямала, в Москве проездом. Дипломатичный Роман осторожно заговорил о яргородской нефти, провокационно перейдя на Евразийский канал, и всплыло твое имя. Не Роман, а ямальцы первыми называли тебя. Ладушкин вскользь сказал, что встречался с тобой два-три раза. И тут началось. О тебе говорили так, что чистейшая Машенька померкла в моих глазах рядом с тобой, увиденной мною на Ямале. Стыдно, очень стыдно собирать сведения о прошлом своей жены, Сусанна. Так это ты стащила фотографию, где я снят вместе с Юликом? Спасибо тебе за воровство. Я счастлив, что Юлик и я были над твоей кроватью на Ямале. По этой фотографии один из ямальцев (кажется, Ликин) узнал меня и назвал «товарищем Веригиным». Твоим «родным братом». Старик (которого я называю Ликиным) просил дать твой адрес. Я назвал ему нашу «Сахару».

Неожиданно вспомнилась твоя глупенькая песенка, которая так неожиданно нравилась Ивану Павловичу. Я запомнил ее:

На фестивале танца
Влюбилась в мавританца,
А он и в ус не дует —
С другой танцует.

Теперь я напеваю на эту же мелодию «Матчиша» свои слова. Я оказался тоже сочинителем:

Однажды на Ямале
Слона поймали.
Он от испуга сжался
И... мухой оказался.

Каково? Пошлее не придумаешь.

Сусь, моя милая Сусь! Теперь я понимаю, как давно я мог стать счастливым...»

Растроганная Сусанна отложила письмо и заметила, что на обороте страницы есть карандашная приписка:

«Сусанна! Сегодня утром, перед тем как положить в конверт это письмо, я, перечитав, захотел его порвать. А потом решил его уравновесить этим «постскриптумом». Оказывается, я не полностью верю очаровательным «ямальцам». Видимо, мне никогда не уйти от сом-

нений. Теперь я понимаю, что всю жизнь буду любить тебя и сомневаться в тебе. Очень скверно, что я такой, но согласись, Сусанна, не бывает на свете таких, как ты, а какой я тебя хочу видеть — не может быть.

Целую тебя, моя Сусь, и жду!

Твой М.».

ХСV

Где-то здесь, за Восточным увалом, кончается Урал и начинается Сибирь. Яргород в разные времена относился и к уральским и к сибирским городам.

Пятиреченская низменность — явная Сибирь, но просевшая «крыша» Урала опознается геологами далеко от этих мест. В Яргороде Урал называют своим батюшкой, а Сибирь — родимой матушкой. Когда запуржит, задует с востока, говорят: «Мамаша сердится». Если же стоит теплая погода, благодарят Урал, заслоняющий город от сквозных ветров.

Сентябрь в Пятиречье почти всегда похож на май. В этом году особенно. И по погоде и по другим немаловажным причинам.

В «женском» городе Яргороде по статистике мужское население не превышало тридцати девяти процентов, считая и тех «мужчин», которые были в пеленках или учились в школе. Мужчин от двадцати до сорока лет было так мало, что и девицам-красавицам оказывалось не легко припеть самого захудалого парня.

— Шутки шутками, а жутки жутками, — не раз говорил Вукол Лукич Ладушкин, — девичий возраст требует свое, ибо жизнь остается жизнью. Но какая может быть жизнь, когда на десять невест полтора жениха.

Теперь старик Ладушкин говорит другое:

— Вдовы и те юбки окоротили. Роются в нашем словни, как в сору. Ротами, батальонами ходят женихи. Одних строителей у нас за две тысячи. И все больше холостежь. Вовсе затоваренные девки-перестарки думают-гадают, которому-какому глаза сощурить. В Якши-не с легкой ноги Саиды Рамазановой все в Ойлях выкадриливают. И чем деваха смуглее, тем «ойлее». Большой спрос на татарских невест. Особливо на тех, что взаперти держатся, да не удерживаются. Двери на запоре, зато окна на отворе.

Вукол Лукич совсем немного преувеличивал.

Сентябрь цвел в Яргороде маем. И только для Княженикина небо не виделось синим, а солнце — золотым и не были теплыми теплые ночи. Но и он дождался обнадеживающего приглашения к обеду в дом Адоевых.

Настал для Валерия Викторовича желанный покаянный час. При всех Адоевых, при Зотове и при Сусанне он, казня себя, произнес блистательную покаянную речь. Полихроний Сергеевич, слушая ее, убеждался в риторическом совершенстве Валерия Викторовича. Мать Маши и Маша слышали в ней крик души, любовь и верность. Марфа Владимировна сожалела, что Княженикин говорит эти хорошие слова стоя, а не на коленях.

Он пленял. Пленив раскаянием, Валерий Викторович мог от обороны перейти в наступление.

— Да, я смалодушничал, — сказал он. — Я изменил архиву, но не своей невесте. Доказательством этому письма. Их было более тридцати. И ни одного письма в ответ.

— Я их не раскрывала, — сказала Машенька против воли, и Княженикин сделал еще один шаг, оправдывающий его.

— Не раскрывали? То есть лишили меня возможности быть выслушанным. Не легковёрность ли это? Не измена ли тому, что было... Было здесь, в этой комнате, когда мы обручались... Я отказался писать книгу... И только. Но разве на ней держались отношения и... И, смею думать, любовь ко мне... Любовь Машеньки и... самые добрые чувства Ольги Максимовны... И ваши, Полихроний Сергеевич... И ваши, Марфа Владимировна...

Все молчали. Молчание воодушевило Княженикина:

— Спросите себя, так ли уж виновен я и так ли уж безвинны... — Он остановился, опасаясь сказать лишнее, тем более что Ольга Максимовна сдвинула брови, а Маша подошла к старинному буфету, где в нише лежала стопка писем, и подала ее Княженикину. Он спрятал руки за спину и отказался взять письма.

— Как вам угодно, Валерий Викторович. Пусть лежат, как лежали. — Она положила письма на прежнее место и сказала: — Мы пригласили вас к обеду. У нас заведено не нарушать положенных часов. Прошу быть гостем. Гостем, — повторила Маша. — Мы выяснили наши отношения и перейдем к столу.

Княженикин не возвращался больше к начатому разговору. Он ждал худшего... Боялся, что вместо Маши ответит ее бабушка Марфа Владимировна, обиженная больше всех. А она сказала:

— Худой мир лучше доброй ссоры. Как ни стара пословица, а не седеет.

— Сегодня у нас пирог пословичный. Пирог с грибами,— наемкнула Ольга Максимовна.

Княженикин понял сказанное и ответил:

— Я буду нем.

— Это уже двадцать два,— заметила Сусанна.— Исчерпали одно, найдем другое. Мало ли тем... Например, сегодня,— обратилась она ко всем,— «палаты воеводы» из Дворца бракосочетаний начали переоборудовать в общежитие для молодых строительных рабочих.

Маша слегка съязвила:

— Суть, твое «другое» оказалось тем же. Лучше скажи, что пишет Луша?

— «Сахару» переименовали в «Пятиречье». Их пятеро теперь. Веселья через край. Дурачатся, как мальчишки. Купили на Птичьем рынке говорящего попугая...

— И очень разумная покупка,— одобрил Полихроний Сергеевич.— Макарьева бы им еще в упряжку... Где он?

— У него страдная пора, Полихроний Сергеевич. Дороги. Промысел. Траншеи снимает. Снимают в семь аппаратов. Я видела его вчера. Он очень исхудал бедняжка.

— Это ему, Сусанночка, весьма полезно для здоровья. Худоба — великое богатство человека. Чем я не гусар? А вот вы, Валерий Викторович...

— Увы, Полихроний Сергеевич... Увы. Но я скоро убавлю свой вес,— пообещал Княженикин, стараясь войти в «разговор для разговора», понимая, что он ведется потому, что было нужно о чем-то говорить. И говорили ни о чем. Видимо, всем хотелось свести на нет происходившее в этой комнате и показать, что ничего особенного не происходило. Им это всем необходимо. Необходимо и ему найти какой-то новый тон, способ, пути налаживания отношений с адоевским домом и, конечно, с Машей, а этого пока не получалось.

Поэтому после обеда, посидев для приличия десять-пятнадцать минут, Княженикин поблагодарил за обед, попросил не придавать значения тому, что было,

поцеловал «дамам» ручки, простился с Полихронием Сергесвичем и удалился.

Как только хлопнула дверь калитки, Сусанна сказала:

— Вам всем, наверно, кажется, что он ушел. Закрыв калитку. Нет. Он открыл ее сегодня.

— Я так не думаю, Сусанна. И у него нет основания так думать. Впрочем, пусть думает, как ему хочется.— Маша боязливо посмотрела на стопку его писем, лежавших в нише старого буфета.

Сусанна сделала вид, что не заметила этого.

ХСVI

Ночью Маша вскрыла и прочитала все письма Княженикина. Утром, перед уходом в школу, она еще боролась с собой, а вечером письма заговорили в ней.

Зачем только она прочла их? Письма убедили ее, что ничего не прерывалось. Он ждал, он звал ее. Был верен ей. Говорил, что «море» не разлучит их, а соединит.

Можно ли обвинять его за «море»? Один ли он верил, что Яргород будет затоплен? Опасалась и она. Не благоразумие ли руководило им тогда, и не оно ли привело его в Яргород теперь? Можно обвинить его в корысти. Можно. И все же он прав по-своему. Разве тот же Ромаша Ладушкин мог бы выступать в газетах в защиту яргородской нефти, если б скважины оказались мертвыми? Кто бы стал читать и печатать о них?

Яргород воскрес тоже из мертвых. Так его и называли. Почему же Валерий Княженикин должен выглядеть конъюнктурщиком, делягой... Сусанна не стесняет себя в выборе слов. Но права ли она? Прав ли Полихроний Сергеевич, назвав его, хотя и в шутку, ренегатом?

Права ли ты, Мария Адоева? Что произошло? Разве он изменил тебе? Оскорбил тебя? Да, он педант. Рационалист. И, может быть, излишне заботится о славе... Но разве Мацоев не мечтает стать членом-корреспондентом Академии наук? Разве ее родная мать не ждет, когда ей вручат орден Ленина и Золотую Звезду? А Ромаша? Огорчился ли он, когда его назначили кем-то там... над яргородской нефтью? А Сусанна? Сказала ли она хотя бы раз, что ее переоценивают? Конечно, и Су-

санна, и Ромаша, и Мацоев себя не ставят выше своей работы. Они не говорят «мой канал», «моя нефть», не говорят потому, что и канал и нефть не принадлежат им одним.

А книга «Яргород» разве будет принадлежать только Княженикину? Он, разумеется, в предисловии отблагодарит Полихрония Сергеевича и скажет, чем он ему обязан. Но книгу-то напишет он. Нужно быть справедливой и к нему, и к себе.

После этих размышлений Маша не скрывала своих чувств к Валерию Княженикину. Не скрыла бы она их и от него, но что-то пока еще мешало ей, что-то удерживало ее сказать свое решительное «да», но «полуда» уже сказалось. В парке. На берегу Тьмини.

— Я понимаю, Машенька, всем сердцем понимаю,— сказал Княженикин,— вы хотите дождаться приезда Романа Тихоновича...

И Маша не скрыла:

— Вы не представляете, как мне дорого то, что вы сейчас сказали. Ромаша навсегда, на всю жизнь останется моим другом. Когда-нибудь вы убедитесь. Какой он... Трудно поверить, что Роман Тихонович в жизни, а не в воображении. Не в мечте, не в сказке...

— Он любит вас?

— Мама тоже любит меня. Любит и Мацоев. Я избалована любовью. Незаслуженно избалована. И это потому, что я, не желая, кажусь не той, какая на самом деле. Я жестока. Безжалостна. Я почти змея. Вы это испытали на себе. А они любят! Нянчатся со мной! Некоторые люди, в том числе Ромаша, страдают особого рода дальтонизмом. Они видят и в моих пороках добродетель.

— А если ваш Ромаша,— спросил Княженикин,— не посоветует вам?..

— Перестаньте. Он самый главный ваш сват. Приедет, и вы увидите, как он будет счастлив за вас и за меня.

Через неделю Роман Тихонович приехал вместе с Мацоевым.

— Я за тобой, ямаленькая, ямаленькая, родная моя,— придумывал Мацоев самые неожиданные для него и для Сусанны сюсюкающие словечки, открывая при всех и всем свои чувства.

Адоевы Михаила Сергеевича знавали всяким, но не

таким. А он на этот раз, как никогда, был самым собой. Без защитного панциря. Без боязни произвести плохое впечатление.

В нем появились независимость, собственное достоинство. Любовь Сусанны и любовь к ней возвысила его, очистила, преобразила. Стало другим и его лицо, оставаясь тем же самым, со всеми присущими ему, скажем смягченно, «отклонениями».

И Роман Тихонович вернулся тем же. Маша в первый же день приезда рассказала ему все.

— Как ты был прав, Ромаша, и как я наивна в своем противлении себе. Я решилась, Роман. Выхожу замуж... Мне кажется, я в чем-то виновата перед тобой и... И все же я должна быть счастлива, Роман...— Она не смотрела ему в лицо.

— Конечно, конечно, должна,— говорил он, оставив при себе недосказанные слова: «Но будешь ли ты счастлива с ним?»

ХСVII

Ему стыдно было потом перед собой за несказавшиеся слова. Но ему еще стыднее было бы, если бы он сказал их. Он впервые понял, что сейчас решает он, и только он. И достаточно его маленького сомнения, стоит ему усомниться только «бровью» или улыбкой, как все полетит. Но что будет потом? Не страдания ли принесет он ей, сломав ее замужество? Не будет ли ей казаться, что она пренебрегла ради него своим счастьем?

Это одна сторона. Теперь другая.

Выйдя замуж, она будет несчастна. Он знает об этом твердо. Несчастливым будет и дом Адоевых. Княженикин войдет в него чужаком. Значит, кроме Маши, он принесет огорчения, а может, и горе еще троим. И ему, четвертому. И, зная, что так произойдет, что Маша отвернется от него и отвернутся остальные, он все же не противится, не предупреждает неизбежное, будто желая, чтобы Маша, да и все остальные были наказаны за свою ошибку. Не жестоко ли это с его стороны?

Оттянуть бы свадьбу хотя бы на месяц. За этот месяц Княженикин обязательно бы раскрылся, но Маша не хочет ждать и недели. Она по-детски эгоистична.

На другой день Маша и Княженикин были в загсе. Там сказали, что заявление могут принять, но...

— Познакомьтесь с этой бумагой.

— Я знакома с этой бумагой,— сказала Маша.— И положенные сроки нас не касаются. Наше заявление у вас уже, наверное, пожелтело.

Был назван месяц и число, когда Княженикин и Маша были в загсе и подписали положенное заявление.

Оно нашлось, и девушка сказала:

— Все в порядке...

— Все в порядке,— повторил Валерий.— Теперь остается назначить день свадьбы.

Маша сказала:

— Мы обойдемся без торжеств. В пятницу, как всегда, придут те, кто у нас бывает. И Ромаша им объявит сюрпризно, как о нефти.

Так она и сказала, вернувшись с Княженикиным домой, где Роман Тихонович заклеивал белыми полосками бумаги окна. Зима обещала быть ранней, и окна уже дышали стужей. Кто же, как не Ромаша, заменит Ольгу Максимовну и заклеит щели окон ровно, без складочек и морщинок. Только Ромаша, главный мужчина в доме.

Маше было необходимо, чтобы Роман был главным и на свадьбе, поэтому она сказала:

— Ромашечка, милый, ты, конечно, будешь поручителем в загсе и скрепишь своей рукой наш союз.

— И я прошу об этом, Роман Тихонович,— заискивающе улыбнулся Княженикин.

Роман Тихонович положил кисть в клейстер и, разглаживая бумажную полоску, подумал, что сейчас было бы самое время отказаться от поручительства без объяснения причин. А он вновь оказался предательски «деликатен» и, отказавшись, объяснил:

— В эту пятницу приезжают из главка, и я обязан быть с ними на дальних буровых.

— Тогда, Валерий, свадьбу перенесем на другую пятницу. Мацоевы, может быть, еще не уедут.

— Я буду занят до следующей субботы,— предупредил Роман Тихонович, желая оттянуть свадьбу еще на неделю.

«Капитулирует,— подумал Княженикин,— он еще на что-то надеется, болван. Еще как-то хочет приклеиться к этому дому».

Тонкие губы Валерия едва сдерживали замеченную Машей торжествующую, самодовольную улыбку.

— Зачем же, Мария, мы должны переносить на третью пятницу то, что может свершиться в эту? Роман Тихонович страшно занят большими делами, и ему не до наших малых дел.

В эту минуту Роману нестерпимо захотелось мазнуть по наглежащим губам Княженикина. Какая-то сила заставила взять его кисть и обмакнуть в густой раствор мучного клейстера. Один мазок, одно движение руки, и выяснилось бы все. И его любовь к ней, и его ненависть к подлизе... и... И ничего не надо было бы добавлять. Никаких слов. Сказано все. Но...

Но не случайно в шутильной песенке Сусанна рифмовала «Ромаша» — «простокваша». Ею он был и на этот раз. Стерпел. Промолчал. Продолжил заклею окон.

Пусть будет ей тепло.

А ей не было тепло в этот вечер.

— Не заболела ли? — спросила мать.

— Холодно как-то у нас, мама... Может быть, мне только так кажется.

Рано легла Маша в этот вечер. Холодно было ей и в теплой постели.

«Ничего, ничего, все пройдет», — уговаривала она себя и, кажется, уговорила.

ХСVIII

Регистрация брака не была перенесена. Уезжали Мацоевы и кинематографисты. А без них какая же пятница?

В загс Валерий Викторович явился вместе с Гаевым. Гаев был вызван телеграммой. Как-никак друг детства, и ему нужно закреплять «свразийские отношения» с Сусанной Николаевной. Княженикин поможет в этом Вадимику.

С некоторым опозданием пришел Макарьев. Его попросил расписаться Полихроний Сергеевич, сославшись на боль в пояснице. Роман Тихонович уехал на дальние буровые.

Машу ждали долго. Позвонили в школу. Там сказали, что она ушла два часа тому назад.

— Не случилось ли чего? — беспокоился жених. — Может быть, позвонить домой?

— Не надо, — сказала Сусанна, входя в комнату загса. — Я пришла огорчить вас, Валерий Викторович, Маша не придет.

— Что случилось? Здравствуйте, Сусанна Николаевна. Что произошло?

— То, что должно, чего не могло не произойти.

У Княженикина были основания побледнеть, но этому помешал его румянец.

— Что же?

Сусанна ответила приподнято и громко:

— Мария Николаевна Адоева поручила мне уведомить вас, Валерий Викторович, о своем отказе в регистрации с вами акта бракосочетания и просила передать записку. Извините, что она на листке школьной тетради.

— Не верю! Этого не может быть!

Румянец на его лице полиловел.

Сусанна в той же канцелярской манере, будто читая протокол, ответила:

— Не смею вас разубеждать, Валерий Викторович. — Она повернулась к Макарьеву и Гаеву, сидевшим подле регистрационного стола: — Мне поручено принести вам извинения за беспокойство и потерю времени.

Княженикин перечитал записку. Несколько слов без обращения:

«Все кончено, и навсегда. М. А.».

— Сюжетец, я вам скажу, не из приятных, но закономерных.

Кому принадлежат эти слова, едва ли нужно пояснять.

— Вадим, ответь за меня товарищу режиссеру и заодно другому режиссеру этой несостоявшейся постановки. — Княженикин зло смотрел на Сусанну.

— А что же я могу ответить, Валя? — оправдывался Гаев. — Не я сливаю и перепускаю «реки».

Макарьев и Сусанна хотели проститься за руку, но Княженикин повернулся к ним спиной. Они молча раскланялись и ушли. Гаев сделал то же самое и отправился вслед за Сусанной. Ради нее он приехал. У него было что сообщить Веригиной о канале, в который он верил теперь по-настоящему.

Перечитав трижды записку, Княженикин направился

в раздевалку. Получив пальто и шляпу, он вышел на площадь.

На площади дули все сто ветров. Искирион еле успевал повертываться на штоке шпилья башни. Княженикин озлобленно погрозил архангелу кулаком...

Валерию Викторовичу, обдутому свежим ветром происшедшее в загсе не показалось катастрофой, а лишь печальным осложнением, причиной которому была эта зеленоглазая чертовка. И когда уедет она вместе с околпаченным ею рыжим «квазимодой», недоразумение будет названо недоразумением... Нет, нет.. Маша для него не потеряна.

Потерянной навсегда считал для себя Машу Роман Ладушкин, представляя на дальних буровых, как пируется свадьба. Роман мог бы вернуться в этот день, какое-то смутное предчувствие чего-то недоброго звало его.

Он нещадно, остервенело бил гусей и уток, оставшись на болоте, не зная, что Машенька слегла.

В Яргороде Ладушкин появился только в понедельник, когда больной стало легче.

ХСІХ

На низеньком стульчике возле кровати выздоравливающей Машеньки сидел Роман Ладушкин.

— Твое лицо такое же, как и прежде. Следы пятен совсем незаметны. Ты выздоравливаешь.

— Я знаю... Поцелуй меня...

— Маша! — взмолился Ладушкин.

— Разве ты не помнишь, что сказал Филипп Павлович?

— Помню. Он велел исполнять все твои просьбы.

— И ничем не раздражать меня, чтобы я не нервничала. Забыл?

— Нет, не забыл.

— И главное, говорил он, покой. Отвлечение. Так отвлесаи же.

Машенька явно капризничала, и это было лучшим признаком выздоровления.

Нервное потрясение у Маши началось после уроков, в ту злую пятницу, когда она почувствовала себя змеей, а свой язык жалом. От ядовитых слов, которые она должна была сказать Княженикину, было горько и тес-

но во рту. Она не смогла тогда пойти в загс и поручила Сусанне:

— Будь змеей ты! Это очень просто.— Маша показала язык.— Передай ему эту записку без конверта. Так оскорбительнее и княже... княжевитийственнее и яргороднее по существующим резюме...

К вечеру Маша начала еще больше «заговариваться». Температура и бред. Она без конца полоскала свой «горький рот». Доктор Маркин дал ей большую дозу снотворного.

Утром лицо Маши покрылось красными пятнами. Снова был доктор Маркин и снова подтвердил:

— Покой и сон! Сон и покой... И опять сон,— повторил он, зная, что произошло.— Опасного ничего нет, Психика у нее в полном порядке.

Она рассказывает матери:

— Я помню, я отлично помню, мама, что все началось с его губ. Тонких синеватых губ. С его улыбки. Торжествующей и всеядной.— Маша несколько раз повторяла слова «торжествующей и всеядной».— Он торжествовал, он радовался, когда Ромаша отказался быть поручителем в загсе.

— Машенька, ты мне потом расскажешь. Успокойся,— просила мать.

— А я ни капли не волнуюсь. Я только хочу, чтобы ты, мама, знала все. Мне тогда будет еще легче. Так слушай же, мама... Эта его улыбка мне выболтала все. И я увидела его душу, тоже торжествующую и всеядную. И я тогда... Не тогда, а через несколько дней поняла, что он человек для себя. У него все для себя, и любовь ко мне тоже только для себя, а не для меня. И книгу он пишет только для себя, а не для людей. И мне тогда,— шепотом признавалась Маша,— захотелось стать змеей. Сначала в переносном смысле, а потом в самом прямом. В школе после уроков у меня закружилась голова. Мне стало холодно, и я почувствовала себя скользкой, холодной, чешуйчатой... Ну, а потом ты знаешь, что произошло в загсе.

— Знаю, я все знаю,— Ольге Максимовне хотелось, чтобы дочь перестала вспоминать.

Маша же не желала останавливаться. Она поражалась, как Княженикин мог остаться в Яргороде.

— На его месте, мамочка, всякий бы провалился со стыда. А ему не стыдно. Он же только «для себя». Для

своей славы. Прежде мне хотелось объяснить это, и я сравнивала его с Мацоевым, Ромашей и даже с тобой. И мне стыдно. Ромаша, и ты, и Мацоев, и Сусанна тоже, и архитектор Шилов, и доктор, Урман — люди для всех людей. Это так ясно для меня было всегда... Но я хотела оправдать его. А для этого я поставила вас всех с ним в один ряд. А вы не стали. И я, и мое сознание тоже не захотели стоять с ним рядом. Мама, почему молчит Ромаша? Разве он не понимает, что я все это сделала для него...

С

В Москву Мацоев и Сусанна собирались отбыть на той неделе по «асфальтовке». Этим словом яргородцы называли новое широкое шоссе, соединяющее город с железной дорогой.

Отбывала и киногруппа. Макарьев, Рыжаев, Саида, Яша Яшин пришли с прощальным шампанским.

— Фильм, я думаю, — делился Николай Васильевич у Адоевых, — будет назван нейтрально: «За горами, за долами...» И многоточие. Такое название, с одной стороны, окрашивает фильм чем-то таким... Сказочным. Что мне кажется справедливым по существу самого материала... С другой стороны, это название обобщенное... Или обобщающее. Пусть любезные педагоги литературы поправят меня.

— Широкоохватнее, — дурачась, подсказала Машенька. — А еще лучше — «длявсехнее».

— Так вот, — развивал свою мысль Макарьев, — с этой «длявсехней» точки зрения мы, рассказывая об Яргороде, показывая его, говорим о десятках возрождающихся старых городов и рождающихся новых. Поэтому название «Яргород», я бы сказал, «онокретит», «олокалит» наш «широкоохватный» фильм.

— Я необратимо одержим местническим патриотизмом и все же присоединяюсь к названию «За горами, за долами...» — сказал Полихроний Сергеевич. — Кому же нужно увидеть только свой Яргород, он увидит его при любом названии. Мы живем «за горами, за долами» — так что название географически правильно. В этом есть какая-то тонкая ирония, утверждающая обратное. Не за горами, не за долами теперь Сибирь и тем болсс наше пятиреченское урало-сибирское преддверие.

Сусанна села за рояль и принялась импровизировать мелодию и слова песни-тоста:

За горами, за долами,
За Уральскими хребтами,
За богатыми нефтями
Мы справляем нынче с вами...
Пир-р-р!

Оборвала она аккордом пропетый куплет и тут же продолжила свое сочинительство:

И стране, стране далекой,
Щедрой, доброй и широкой,
Пр процветания желаем!
Будет край неузнаваем,
Бором станет лес таежный,
Невозможное — возможным.
За отважных поднимаем,
За дерзання выпиваем
Мы до доньшка, до дна
Чары пенного вина!
Ойль!

— Экспромт покупаю экспромтом на корню,— Николай Васильевич подал Сусанне две двадцатикопеечных монетки.— Первую за сочинение, вторую за исполнение и третью... Третью тебе, Яша, за операторскую оперативность.

Третьей монетки у Макарьева не нашлось. Он заменил ее листком висевшего на стене отрывного календаря.

— Тоже двадцать,— сказал он, подавая листок Яшину.— Двадцатое октября? — Макарьев задумался.— Мы приехали в Яргород точнехонько двадцатого апреля. Неужели мы здесь прожили полгода? — пересчитал по пальцам месяцы.— Да, ровно полгода, а кажется, две-три недели тому назад... Так вот и пролетает... Ничего не пролетает. Не будем об этом. Итак, дорогие мои... Очень дорогие и любимые... Последнюю отвальную...

В тот же день киногоруппа освободила пять «казематов» и ошастливила очередников на гостиничные номера.

Подали автобус. Снимали отъезд, убегающую дорогу, удаляющийся Яргород. Не обошлось без увала и на этот раз. На его гриве стоял знакомый тарантас. Вукол Лукич, не слезая с козел, поднял руку. Макарьев попросил остановить автобус. Ладушкин предупредил:

— Теперь нам огляд не заказан. В былое глядишь — грядущее видишь. Не так ли, Николай Васильевич?

— Так, дорогой Вукол Лукич, так!

— Ехали вы снимать конец, а сняли начало. И-и-эх! — взмахнул кнутом старик и молодецки свистнул так, что прижали уши лошади. — Одним словом, ой ты гой еси, подавай такси! Вот они какие дела вытворяются. А теперь прощайтесь с Яргородом, да кланяйтесь ему поглубже, не бойтесь спину переломить, ноги надсадить, себя унизить... Есть чему поклониться, будет чему и в памяти запечатлеться, чем вспомнить, о чем вздохнуть, что добрым людям по первой программе показать и своим ворковитым голосом пересказать. Гладенького вам асфальта и веселого пути...

В пояс поклонился Вукол Ладушкин. Яша Яшин не оплошал и тут. Схватил на пленку заключительную сцену.

Проводив глазами автобус, Вукол Лукич сел в свой тарантас, шевельнул вожжами и сказал коням:

— Все как по-писаному. Чем начали, тем и кончили. Амины!

СИ

Прощались с городом и Мацоевы. Отдавали последние визиты и принимали у себя пришедших проститься с ними.

Михаилу Сергеевичу захотелось побывать на третьем ярусе Исихирионовой башни. Одному. И поговорить с Пятиречьем с глазу на глаз. Выяснить свои отношения с разгулявшимися по осени реками.

Холодновато было наверху. Шезлонги убраны на зиму. Приумолкли голуби, забившись в закуток под крышей. Ничто не напоминало весны. Только стрелка с буквой «Ю», прочерченная пилочкой Сусанны на белой известковой штукатурке до кирпичной красноты стены, упрямо настаивала на своем.

— Да будет тебе, право, — сказал он стрелке, — не надо так... — И отвернувшись от нее, стал смотреть на Пятиречье.

Белыми клочьями, как под крылом самолета, проносились над лесом последние лоскутья рассеявшегося тумана.

Прояснялось.

Осеннее Пятиречье представляло излишне многоводным. Изнемогающим от воды.

Природа, тебя считают умной, мудрой, но как ты несправедливо распределила влагу. Сколько суши ты превратила в гниль болот. Сколько влаги ты отняла у плодородных засушливых земель. Здесь, по эту сторону Урала, в малонаселенных северных и восточных краях, почти девять десятых водных богатств страны. Там же, в густонаселенной европейской части, немногим больше одной десятой доли наших вод.

Мацоев вспоминает старое недовольство своего учителя заболоченными землями. Его слова повторяют тысячи людей.

Каким бы стал край, если б не было болот! Здесь еще их немного, а там, за Восточным увалом, начинается империя трясин. Мацоев снова думает о седловине. И перед его взором настойчиво встает туннель. И он, кажется, верит в него...

Но что один туннель или канал? Вода нужна не только Каме, Волге, Дону, но и Днепру...

На Пятиреченскую низину наплывает другая, несравненно бóльшая: Западно-Сибирская низменность. И реки Тьминь, Ярга, Леньва, Тиша, Мертвь видятся ему иными, величественными реками Сибири, и само Пятиречье предстает ее наглядным уменьшением — во много и очень много крат. Оно как бы рельефная карта-макет Западной Сибири, ее миниатюра.

Бабушка с дедушкой больше не ссорятся в нем, а говорят в один голос. К ним присоединяются другие голоса: Танеева, Дюрягина, Зотова, громче говорит «длинное письмо» Сусанны. И чьи-то еще и еще неизвестные, но настойчивые голоса.

Вспомни, ты был совсем юным, когда по твоему настоянию перерешилась судьба горной реки Граи. Не ты ли боролся за восстановление старых колодцев в пустынях, не ты ли обводнял овраги, балки, показывая, как можно сохранить воду. Что же теперь останавливает тебя? Масштабы? А вдруг уже возраст?..

Долго пробыл на башне Михаил Сергеевич, разговаривая с собою и с теми, кто жил в нем... Мацоев не прощался с Пятиречьем, не закрывал за собою ворота в Большую Сибирь.

Перепуск рек Тьмини, Леньвы, Тиши для него лишь

подсказка. Он думал о великом переливе водного переизобилия в края, обиженные влагой. И если для этого потребуется вся его жизнь — он ее отдаст.

И ты, Мацоев, не обошелся без «вавилонского сказания» Зотова. И тебе на ум пришла сумасбродная дочь мирового Хаоса Стихия, так зло затопившая сотнями рек неоглядную богатейшую низменность, будто в самом деле желая возвести еще одну препону для выхода низведенной в недра Ойль.

Чем больше размышляет Мацоев о вопиющей неравномерности распределения воды, второго, после солнца, блага, дающего жизнь земле, тем очевиднее становится ему, что недалеко и очень недалеко время революционного переустройства природы Евразийского материка.

Повтори же собой архитектора Шилова. Ему никто не поручал, никто не заказывал проектов заводов и комбинатов, а он создавал их. Создавал потому, что верил и знал, что будет так, а не иначе. Так же знает и верит Сусанна. Так же теперь, но с большей силой веришь и ты, Михаил Мацоев. Ты же знаешь, ты же видишь, что придет время, наступит год, когда могучие силы, тысячи тысяч людей подымутся на бескровную битву за торжество справедливого передела водных источников жизни. Ты же знаешь, Мацоев, что статистики черным по белому утверждают, что десять-пятнадцать лет Европа еще не будет испытывать недостатка в пресной воде. А потом?..

Так не жди этого «потом». Не останавливайся на задуманном Сусанной частном малом перепуске рек. Думай планетарно. Ты же коммунист. Ты же живешь не только для живущих, но и для тех, кто будет жить. Не бойся мечтать! В безбрежном потоке фантазии всегда прячется и находится фарватер истины. Ищи его. Создавай! Предполагай! Ошибайся! Дерзай! Не бойся, если тебя зачислят в разряд одержимых и душевнобольных.

Не бойся!

Кто из больших и великих открывателей не побывал в этом разряде, зачисленным в него людьми малого дыхания и большого самоуверенного всезнайства.

Кто?

А ты наперекор им помогай хладнотруйным сибирским красавицам поделиться своим полнокровием с застаревшими водными артериями Европы, чтобы омоло-

дить, очистить, восполнить и убыстрить их стремительно текущее наполнение.

К тебе и таким, как ты, а их много в нашей стране, придут волшебники ихтиологи. Придут и наперекор миллионолетним традициям ответвляют новые пути мириадам нерестящихся обитателей сибирского многоводия. Ответвляют по каналам, туннелям и каким-то еще не придуманным акведукам белужьи, осетровые, лососевые, стерляжи, семговые тропы.

Не бойся мечтать и замахиваться, Михаил Сергеевич Мацоев, на великие и добрые деяния. Не страшись танеевских «фантазёй». Легализуй их в кругах ученых, и, может быть, какая-то из них, выглядящая заvirальной идеей, кому-то подскажет осуществимое.

Не бойся мечтать, гражданин «страны мечтателей, страны ученых».

Спускайся же с башни на землю, которую тебе предстоит преобразить. А до этого поцелуй красную «стрелку», а потом твердую трепетную руку, начертавшую ее на башенной стене и в твоём сердце.

Ты счастливцев, Мацоев! Тебя любит нашедшая тебя в большом мире, помолвленная с тобой твоим дважды отцом. Отцом твоей науки и твоим отцом, не породившим тебя, но вдохнувшим в твою плоть себя.

Беги же к ней, рыжий любимец, и обезумей от счастья. Сегодня она признается тебе в шевельнувшемся под ее сердцем соединении и продолжении вас обоих, которых мы за что-то любим и почему-то радуемся тому, что происходит...

СII

А через день на двух новых «Волгах», принадлежащих «Яргороднефти», Маша, Ольга Максимовна, Полихроний Сергеевич и Роман Тихонович провожали Мацоева и Сусанну. Она сидела в машине полулежа, вытянув свои ноги. Хотя такая поза далеко еще не приехала ей и никто не замечал до этого того, что было известно ей да Михаилу Сергеевичу. Мацоев же, стремясь выболтать украшающий его приятный секрет, принимал все меры, чтобы он стал известен остальным. А остальные или не были догадливы, или деликатны, ничем не показывая своего умения понимать. И только на станции, где Мацоев подчеркнуто тихо и откровенно

бережно вел под руку Сусанну, предупреждая ее не оступиться на гладко залитом асфальтовом перроне и не запнуться о пустую коробку из-под сигарет, Ольга Максимовна, поняв, что хотят от нее, заметила как бы между прочим:

— Если у Луши родится сын, она его назовет Саидом.

— А мы еще не решили,— хотел было открыто признаться Мацоев, но приставил новый конец к выпорхнувшей фразе,— и еще думаем-гадаем, где провести нам отпуск.

Проводившие Сусанну и Михаила Сергеевича возвращались под низким темно-серым небом. Тяжелые тучи, едва удерживавшие в себе снег, на увале чуть ли не касались его отзеленевшей гривы.

Ночью тучи разрешились от бремени.

О первом снеге говорилось, пелось и писалось так много, что кажется, не прибавишь и одного свежего словца. Между тем никогда не перестанут говорить и писать о нем, потому что каждый раз он по-новому забеляет землю и всякий человек видит в первом снеге неповторимое свое.

Для Машеньки Адоевой он заботливо и всепрощающе застилал сверкающим ковром пережитое, запорашивая недавние ее и его следы на дорожках сада, на тропках тьминского набережного парка... Мало ли что укрыл великодушный снег...

По другой земле идет другая Маша. Совсем другая.

Только где-то в ее голове или груди добаливают ожоги угасшего огня.

Как оскорбительно нелепо он был нарисован ею в себе. И она так долго любила не его, а обманчивую прелесть акварели. Одна ли ты такая несчастная художница-раба своей же восторженной и мягкой кисти? Ты ли одна слепила своего кумира из легкоплавкого нежно-розового пластилина? Одна ли?

Марфа Владимировна, любуясь снежным покровом, вспоминала древнее народное речение в переиначенном ею же звучании для утонченных ушей: «Покров, покрой землю снежочком, а невесту — белым свадебным платочком».

Все были уверены, что женишочек вот-вот повяжет на Машиной шейке свадебный платочек. Маша в этом не сомневалась и на миг, а Роман медлил.

Не предлагать же ей себя ему в невесты. Когда-то, совсем не так давно, ей это сделать было просто, а теперь что-то мешает ей первой начинать, как выяснилось, очень серьезный разговор. Тогда это было легко, и легко было потому, что было легковесно. Сейчас совсем другое. Другой и он. Правда, Ромаша все так же часто приходит к ним, выполняет какие-то поручения. В доме же только женщины. Полихрончику тоже не разорваться. Нужно же топить печи, наносить дров. Принять кого-то стало невозможно. В городе не хватает рабочих рук. И вообще в доме стало пусто. Приход Ромаша оживляет всех. Он как глава семьи. И кому же быть ею, как не ему. Все и всё в ожидании его. Ему ничто больше не мешает. Никто и ничто. Даже стопка писем в нише старого буфета. Она ее при нем сожгла в камине.

Чего же ждать? Может быть, он робеет? Не похоже. Похоже или нет, но ей нужно знать, что будет дальше и долго ли он намерен так себя вести. Необходима ясность. Она о ней позаботится сегодня же, если он придет.

СНН

Он пришел и принес полную кошелку крупных апельсинов и для бабушки коробку вишневой пастилы. Маша зазвала его к себе и спросила без предварительных подготовленных ею фраз:

— Ромаша, я хочу выяснить наши отношения.

Он не искал ответа:

— Ты сначала выясни свои отношения к себе. Сама с собой. Выясни спокойно. Остынь. Подмети мусор внутри себя. Проветри внутренние лабиринты. И мне дай возможность провентилировать свои обиды.

— На что, Роман? Какие?

— Если ты задаешь такой вопрос, то мы ничего не выясним. Я хотя и ординарное, но все же не одноклеточное существо. Кроме пищеварительных способностей я недавно обнаружил в себе и другие. Впрочем, зачем я говорю о себе. Лучше опираться на других. У одного нашего общего знакомого была первая любовь...

Маша не дала договорить:

— Я знаю. Майя. Но почему ты заговорил о ней? Разве что-то есть общее между нами? Что? Только две первые буквы наших имен.

— И очень хорошо, что только две буквы. Наверно, поэтому я и вспомнил рассказ Мацоева о его первых жестоких юношеских страданиях, которые шли от доброты ее близорукой девичьей души. Я, между прочим, встретил в Москве эту Майю... Майю Семеновну. Ей уже тридцать семь. Она приходила к Михаилу Сергеевичу. По делу. Просила взять ее сына на поруки. Я разговаривал с ней. Вызвался проводить ее до станции метро. Было уже поздно. Она до сих пор, спустя двадцать лет, не поняла, почему тогда обиделся Миша. Она все еще называла его по-прежнему и все еще помнила, как она великодушно доверяла ему самые сокровенные тайны, а он этого не оценил.

Лицо Маши было красным. Заметив это, Ладушкин стал говорить о своем отпуске. Он собирался провести его в Крыму вместе с Мацоевым. А потом рассказал о длительной командировке в Уфу и после этого в Татарию. Он должен был поближе познакомиться с нефтеперерабатывающими заводами. Таких в Пятиречье намечено построить два.

— Я здесь пока не нужен. Строители обойдутся и без меня. Борис Михайлович Шилов им нужнее. Новые буровые за Тишью и Ленвой определены на карте и в натуре. Там горизонт залегания нефти выше. Нефть у нас везде, куда ни ткнишь. Надеюсь и на газ. Тебе первый баллон. Газовую плиту я уже заказал для Ольги Максимовны. Хорошая югославская плита. С крышкой. Створка у духового шкафа с огнеупорным стеклом. Видно, что и как печется.

Он подробно рассказывал о нефтепроводах, о закладке домостроительного комбината, перескакивая на появившиеся в продаже охотничьи меховые лыжи, снова говорил о газе, о трудностях с жильем. Не забыл сообщить о радости старухи Касьяновой, благодарившей его за нефть, которая вернула ей приехавшего в Яргород сына, а вместе с ним и внуков. Он говорил о чем угодно, только не о самом важном для нее теперь.

А через пять-шесть дней Роман уехал, оставив Машеньку с ее раздумьями.

CIV

Не развязав, как бы хотелось нам, старые узлы, жизнь завязывала новые, сплетая из тысяч людских судеб счастливую судьбу Яргорода.

Снег шел и шел. Росли декабрьские сугробы. Синоптики предсказывали морозы. Они припожаловали в январе. А зима по-прежнему была горячей, животворной, созидательной зимой.

Мороз навел свои мосты на реках, заледенил болота. Для грузовиков с тяжелой ношей теперь везде была дорога. Завозились строительные материалы на весну, на лето и на осень. Экскаваторы выкапывали котлованы под фундаменты промышленных и жилых строений. Громко стрекочущие роторы готовили трубоукладчикам траншеи. Поднимались новые буровые вышки, они, как и башенные краны, высились над лесом.

Шла вскрыша угольных пластов. Дальний увал превращается в карьер. Оттуда слышен гул. Там строители взрывают камень. Шумно в Пятиречье. Людно. Нет больше в Яргороде тоскливой глухоты длинных ночей. И дни теперь не уходили обиженно и молча за ближний увал, не отгорали там вместе с вечерней зарей. Они оставались жить с людьми. Жить в их памяти неизбежно и ярко на долгие времена. На радости!

На радость всем!

1969—1973

СОДЕРЖАНИЕ

Сольвинские мемории. <i>Роман</i>	5
Царство Тихой Лутони. <i>Роман</i>	93
Яргород. <i>Роман</i>	285

Пермяк Е. А.
П27 Собрание сочинений в четырех томах. Том 3.
Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1979.
560 с.

В третий том собрания сочинений включены два исторических романа — «Сольвинские мемории» и «Царство Тихой Лунии», а также современный роман «Яргород», посвященный одной из важных проблем сегодняшнего дня — разумному сочетанию экономического прогресса с интересами общества. Конкретным выражением этой проблемы является судьба древнего Яргорода.

П 70302—069
М158(03)—79

P2

ИБ № 571

Евгений Андреевич Пермяк
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ.
ТОМ 3.

Редактор И. А. Круглик
Художник Д. Б. Шимилис
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректоры Г. М. Смирнова, Е. В. Иванова

Сдано в набор 29/XII 1977 г. Подписано в печать 1/IX 1978 г.
НС 12257. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
Уч.-изд. л. 30,4. Усл. печ. л. 29,4. Тираж 150 000. Заказ 733.
Цена 2 р. 30 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

2p504

